А·А·БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ
2

А·А·БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ
СОЧИНЕНИЯ

А·А·БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

•

сочинения

А·А·БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

сочинения
в двух томах

Москва
„Художественная
литература“
1981

А·А·БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ
СТИХО-
ТВОРЕНИЯ
СТАТЬИ
ПИСЬМА

Москва
„Художественная
литература“
1981

Р1
Б53

Составление, подготовка текста
и комментарии

В. И. Кулешова

Оформление художника

Н. И. Крылова

Б53 Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. В 2-х т. — М.: Худож. лит., 1981. Т. 2. Повести; Рассказы; Очерки; Стихотворения; Статьи; Письма/Сост.; подгот. текста; коммент. В. И. Кулешова. 1981, 591 с.

Во втором томе «Сочинений» напечатаны повести «Фрегат «Надежда», «Мореход Никитин» и др., очерки «Письма из Дагестана», избранные стихотворения, литературно-критические статьи и избранные письма.

Б $\frac{70301\text{-}267}{028(01)\text{-}81}$ 33-80 4702010100 Р1

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

АММАЛАТ-БЕК

Кавказская быль,

ПОСВЯЩАЕТСЯ НИКОЛАЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПОЛЕВОМУ

Будь медлен на обиду — к отмщенью скор!
Надпись дагестанского кинжала

ГЛАВА I

Была джума[1]. Близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь съехалась на скачку и джигитовку, то есть на ристанье, со всеми опытами удальства. Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, опеpенный лесом; вправо берег, понижаясь неприметно, раскидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли свои и толпами собирались по обеим сторонам дороги. Женщины без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими архалуками (тюника), и в широких туманах[2],

[1] Джума соответствует нашей неделе, то есть воскресенью. Вот имена прочих дней магометанской недели: шамби (наша суббота), ихшамба (воскресенье), душамба (понедельник), сешамба (вторник), чаршамба (середа), пханшамба (четверг), джума (пятница). *(Примеч. автора.)*

[2] Хотя, в существе, нет никакой разницы между мужскими шальварами и женскими туманами(панталонами), но для мужчины будет обидно, если вы скажете, что он носит туманы, и наоборот. *(Примеч. автора.)*

садились рядами, между тем как вереницы ребят резвились перед ними. Мужчины, собравшись в кружки, стоя, или сидя на коленях[1], или по двое и по трое, прохаживались медленно кругом; старики курили табак из маленьких деревянных трубок; веселый говор разносился кругом, и порой возвышался над ним звон подков и крик: «качь, качь (посторонись)!» от всадников, приготовляющихся к скачке.

Дагестанская природа прелестна в мае месяце. Миллионы роз обливают утесы румянцем своим, подобно заре; воздух струится их ароматом; соловьи не умолкают в зеленых сумерках рощи. Миндальные деревья, точно куполы пагодов, стоят в серебре цветов своих, и между них высокие раины, то увитые листьями, как винтом, то, возникая стройными столпами, кажутся мусульманскими минаретами. Широкоплечие дубы, словно старые ратники, стоят на часах там, инде, между тем как тополи и чинары, собравшись купами и окруженные кустарниками как детьми, кажется, готовы откочевать в гору, убегая от летних жаров. Игривые стада баранов, испещренных розовыми пятнами; буйволы, упрямо погрязающие в болоте при фонтанах или по целым часам лениво бодающие друг друга рогами; да там и сям по горе статные кони, которые, разбросав на ветер гриву, гордой рысью бегают по холмам, — вот рамы каждого мусульманского селения. Можно себе вообразить, что в день этой джумы окрестности Буйнаков еще более оживлены были живописною пестротою народа. Солнце лило свое золото на мрачные стены саклей с плоскими кровлями и, облекая их в разнообразные тени, придавало им приятную наружность... Вдали тянулись в гору скрипучие арбы, мелькая между могильными камнями кладбища... Перед ним несся всадник, взвевая пыль по дороге... Горный хребет и безграничное море придавали всей картине величие, вся природа дышала теплою жизнию.

— Едет, едет! — раздалось из толпы, и все зашевелились.

---

[1] Обыкновенный образ сиденья у азиатцев на улице или перед старшим. А потому Н. М. Карамзин очень ошибся, переведя слова волынского летписца: «Зле те, Романе, на коленях пред ханом седиши» — «худо тебе, Роман, на коленях стоишь перед ханом». Конечно, сидеть на корточках было невесело для галицкого князя, но не так унизительно, как думает историк. *(Примеч. автора.)*

Всадники, которые доселе разговаривали с знакомыми, ступив на землю, или нестройно разъезжали в поле, вскочили на коней и понеслись навстречу поезда, спускающегося с горы: то был Аммалат-бек, племянник тарковского шамхала[1] со своею свитою. Он был одет в черную персидскую чуху, обложенную галунами; висячие рукава закидывались за плечи. Турецкая шаль обвивала под исподом надетый архалук из букетовой термоламы. Красные шальвары скрывались в верховые желтые сапоги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была дорогими каменьями. Сей владетель Тарков был высокий, статный юноша, открытого лица; черные зильфляры (кудри) вились за ухом из-под шапки... легкие усы оттеняли верхнюю губу... очи сверкали гордою приветливостию. Он сидел на червонном коне, и тот крутился под ним как вихорь. Против обыкновения, не было на коне персидского круглого, расшитого шелками чепрака, но легкое черкесское седло с серебром под чернетью, с расписанными потебнями и со стременами черного хорасанского булата под золотою насечкою. Двадцать нукеров[2] на лихих скакунах, в чухах, блестящих галунами, сдвинув шапки набекрень, скакали, избочась, сзади. Народ почтительно вставал перед своим беком и склонялся, прижимая правую руку к правому колену. Ропот и шепот одобрения разливался вслед ему между женщин.

Подъехав к южному концу ристалища, Аммалат остановился. Почетные люди, старики, опираясь на палки, и старшины Буйнаков обстали его кругом, стараясь вызвать на себя приветливое слово бека, но Аммалат ни на кого не обращал особенного внимания и с холодною учтивостью отвечал односложными словами на лесть и поклоны своих подручников. Он махнул рукой: это был знак начинать скачку.

---

[1] Первые шамхалы были родственники и наместники халифов дамасских. Последний шамхал умер, возвращаясь из России, и с ним кончилось это бесполезное достоинство. Сын его, Сулейман-паша, владеет наследством просто как частным имением. *(Примеч. автора.)*

[2] Нукер — общее имя для прислужников; но, собственно, это то же самое, что у древних шотландцев Henchman (прибедренник). Он всегда и везде находится при господине, служит за столом, режет и рвет руками жаркое и так далее. *(Примеч. автора.)*

Без очереди, без всякого порядка кинулись человек двадцать самых горячих ездоков скакать взад и вперед, гарцуя, перегоняя друг друга. То перерезывали они друг другу дорогу и вдруг сдерживали коней, то вновь пускали их во всю прыть с места. После этого все взяли небольшие палки, называемые джигидами, и начали на скаку метать вслед и встречу противников, то ловя их на лету, то подхватывая с земли. Иные падали долой из седла от сильных ударов, и тогда раздавался громкий смех зрителей побежденному, громкие клики привета победителю, иногда кони спотыкались и всадники редко не падали через голову, выброшенные двойною силою коротких стремян. Затем началась стрельба.

Аммалат-бек все это время стоял поодаль, любуясь на скачку. Нукеры его один по одному вмешивались в толпу джигитующих, так что под конец при нем осталось только двое. Сначала он стоял неподвижен и равнодушным взором следил подобие азиатской битвы, но мало-помалу участие стало разыгрываться в нем сильнее и сильнее... Он уже с большим вниманием смотрел на удальцов, стал ободрять их голосом и движением руки, вставать выше на стременах, и, наконец, наездническая кровь закипела в нем, когда любимый его нукер не попал на всем скаку в брошенную перед ним шапку; он выхватил у своего оруженосца ружье и стрелой полетел вперед, увиваясь между стрелками.

— Раздайся, раздайся! — послышалось кругом, и все, как дождь, рассыпались по сторонам, дав место Аммалат-беку.

На расстоянии одной версты стояло десять шестов с повешенными на них шапками. Аммалат проскакал в один конец, крутя ружье над головою; но едва миновал крайний столб смелым поворотом, он встал на стременах, приложился назад, паф — и шапка упала наземь; не умеряя бега, он зарядил ружье, с брошенными поводами, сбил шапку с другого, с третьего и так со всех десяти... Говор похвал раздался со всех сторон, но Аммалат, не останавливаясь, бросил ружье в руки нукера, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом из него отбил подкову с задней ноги своего скакуна; подкова взвилась и, свистя, упала далеко назади; тогда он снова подхватил заряженное нукером ружье и велел ему скакать перед собою...

Быстрее мысли понеслись оба. На полдороге нукер вынул из кармана серебряный рубль и высоко взбросил его в воздух; Аммалат приложился вверх, не ожидая падения, но в то же самое мгновение конь его споткнулся со всех четырех ног и, бороздя пыль мордою, покатился вперед с размаху. Все ахнули, но ловкий всадник, стоявший стоймя на стременах, не тряхнулся, не подался вперед, как будто не слышал падения, — выстрел сверкнул, и вслед за выстрелом серебряный рубль улетел далеко в народ. Толпа заревела от удовольствия: «Игид! игид (удалец)! Алла, Вал-ла-га!» Но Аммалат-бек скромно отъехал в сторону, сошел с коня и, бросив повода в руки джиладара, то есть конюшего, велел сей же час подковать коня. Скачка и стрельба продолжались.

В это время подъехал к Аммалату эмджек[1] его, Сафир-Али, сын одного из небогатых беков буйнакских, молодой человек, приятной наружности и простого, веселого нрава. Он вырос вместе с Аммалатом и потому очень коротко обходился с ним. Он спрыгнул с коня и, кивнув головою, сказал:

— Нукер Мемет-Расуль измучил твоего старика безгривого жеребца[2], заставляет его скакать через ров шириною шагов семи.

— И он не прыгает? — вскричал нетерпеливый Аммалат. — Сейчас, сей же миг привести его ко мне.

Он встретил коня на полдороге, не ступая в стремя, вспрыгнул в седло и полетел к утесистой рытвине, доскакал, стиснул колена, но усталый конь, не надеясь на свои силы, вдруг повернул направо на самом краю, и Аммалат должен был сделать еще круг.

Во второй раз конь, подстрекаемый плетью, взвился на дыбы, чтобы перепрянуть через ров, но замялся, заартачился и уперся передними ногами.

Аммалат вспыхнул.

---

[1] Эмджек — грудной, молочный брат; от слова *эмджек* — сосец. У кавказских народов это родство священнее природного; за своего эмджека каждый положит голову. Матери стараются заранее связать таким узлом надежные семьи. Мальчика приносят к чужой матери, та кормит его грудью, и обряд кончен, и неразрывное братство начато. *(Примеч. автора.)*

[2] Славная в Персии порода туркменских лошадей, называемая теке. *(Примеч. автора.)*

Напрасно упрашивал его Сафир-Али, чтобы он не мучил бегуна, утратившего в боях и разъездах упругость членов; Аммалат не внимал ничему и понуждал его криком, ударами обнаженной сабли. И в третий раз подскакал он к рытвине, и когда в третий раз стал с размаху старый конь, не смея прыгать, он так сильно ударил его рукоятью сабли в голову, что конь грянулся наземь бездыханен.

— Так вот награда за верную службу! — сказал Сафир-Али, с сожалением глядя на издохшего бегуна.

— Вот награда за ослушанье! — возразил Аммалат, сверкая очами.

Видя гнев бека, все умолкли и отсторопились. Всадники джигитовали.

И вдруг загремели русские барабаны, и штыки русских солдат засверкали из-за холма. То была рота Куринского пехотного полка, отправленная из отряда, ходившего тогда в Акушу, возмущенную Ших-Али-ханом, изгнанным владетелем Дербента. Рота сия должна была конвоировать обоз с продовольствием из Дербента, куда и шла горною дорогою. Ротный командир, капитан***, и с ним один офицер ехали впереди. Не доходя до ристалища, ударили отбой, и рота стала, сбросила ранцы и составила в козлы ружья, расположась на привал, но не разводя огней.

Прибытие русского отряда не могло быть новостью для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не делает им удовольствия. Изуверство заставляет их смотреть на русских как на вечных врагов, но врагов сильных, умных, и потому вредить им решаются они не иначе как втайне, скрывая неприязнь под личиною доброхотства.

Ропот разлился в народе при появлении русских; женщины окольными тропинками потянулись в селение, не упуская, однако ж, случая взглянуть украдкою на пришлецов. Мужчины, напротив, поглядывали на них искоса, через плечи, и стали сходиться кучками, разумеется потолковать, каким бы средством отделаться от постоя, от подвод и тому подобного. Множество зевак и мальчишек окружили, однако, русских, отдыхающих на травке. Несколько кекхудов (старост) и чаушей (десятников), назначенных русским правительством, поспешили к капитану и, сняв шапки, после обычных приветов: хош гяльды (милости просим) и яхшимусен, тазамусен сен-немаму-

сеп (как живешь-можешь), добрались и до неизбежного при встрече с азиатцами вопроса: «что нового? на хабер?»

— Нового у меня только то, что конь мой расковался и оттого, бедняга, захромал, — отвечал им капитан, довольно чисто по-татарски. — Да вот, кстати, и кузнец, — продолжал он, обращаясь к широкоплечему татарину, который опиливал уже копыто вновь подкованного Аммалатова бегуна. — Кунак, подкуй мне коня!.. Подковы есть готовые; стоит брякнуть молотком, и дело кончено в минуту!

Кузнец, у которого лицо загорело от горна и от солнца, угрюмо взглянул на капитана исподлобья, поправил широкий ус, падающий на давно не бритую бороду, которая бы щетинами своими сделала честь любому борову, подвинул на голове аракчин (ермолку) и хладнокровно продолжал укладывать в мешок свои орудия.

— Понимаешь ли ты меня, волчье племя? — сказал капитан.

— Очень понимаю! — отвечал кузнец. — Тебе надобно подковать свою лошадь...

— И ты сам должен подковать ее, — отвечал капитан, заметя в татарине охоту шутить словами.

— Сегодня праздник: я не стану работать.

— Я заплачу тебе за труды что хочешь; но знай, что волей и неволей ты у меня сделаешь, что я хочу.

— Прежде всех наших идет воля аллаха, а он не велел работать в джуму. Довольно грешим мы из выгоды и в простые дни... так в праздник не хочу я себе покупать за серебро уголья.

— Да ведь ты работал же сейчас, упрямая башка? Разве не равны кони? Притом же мой настоящий мусульманин. Взгляни-ка тавро: кровный карабахский...

— Кони все равны, да не равны те, кто на них ездит, Аммалат-бек мой ага (господин).

— То есть, если бы вздумал отнекиваться, он бы велел обрезать тебе уши; а для меня ты не хочешь работать в надежде, что я не смею сделать того же? Хорошо, приятель: я точно не обрежу тебе ушей, но знай и верь, что я в твою православную спину влеплю двести самых горячих нагаек, если ты не перестанешь дурачиться. Слышал?

— Слышал, и все-таки буду отвечать по-прежнему: не кую, потому что я добрый мусульманин.

— А я заставлю тебя ковать, потому что я добрый солдат. Когда ты работал для прихоти своего бека, ты бу-

дешь работать для необходимости русского офицера: без этого я не могу выступить. Ефрейторы, сюда!!

Между тем кружок любопытных около упрямого кузнеца расширялся, подобно кругу на воде от брошенного камня. В толпе иные уже ссорились за передние места, не зная, что смотреть бегут они, и, наконец, раздалось: «Этого не надо, этому не бывать, сегодня праздник, сегодня грех работать!»

Некоторые смельчаки, надеясь на число, надвинули шапки на глаза и, держась за рукоятки кинжалов, подле самого капитана стали кричать: «Не куй, Алекпер, не делай ему ничего... Вот тебе новости! Что нам за пророки эти немытые русские!»

Капитан был отважен и знал очень коротко азиатцев.

— Прочь, бездельники! — закричал он гневно, положа руку на ручку пистолета. — Молчать, или я первому, кто осмелится выпустить брань из-за зубов, запечатаю рот свинцовою печатью!

Это увещание, подкрепленное штыками нескольких солдат, подействовало мгновенно: кто был поробче — давай бог ноги, кто посмелее — прикусил язык. Сам набожный кузнец, видя, что дело идет не на шутку, поглядел на все стороны, проворчал: «Неджелеим (что ж мне делать)?», засучил рукава, вытащил из мешка клещи и молот и начал подковывать русскую лошадь, приговаривая сквозь зубы: «Валла билла битмы эддым» (а это значит наравне с польским: дали буг, не позволям).

Надобно сказать, что все это происходило за глазами Аммалата: он, едва завидел русских, как, избегая неприятной для себя встречи, сел на новоподкованного коня и поскакал в дом свой, над Буйнаками стоящий.

Между тем как это происходило на одном конце ристалища, ко фронту отдыхающей роты подъехал всадник среднего роста, но атлетического сложения; он был в кольчуге, в шлеме, в полном боевом вооружении; за ним следом тянулось пять нукеров. По запыленной их одежде, по коням в поту и пене виделось, что они совершили скорый и дальний переезд. Первый всадник, рассматривая солдат, тихим шагом проезжал вдоль составленных в козлы ружей, задел и опрокинул две пирамиды. Нукеры, следуя за господином, вместо того чтоб своротить в сторону, дерзко топтали упавшее оружие. Часовой, который еще издали кричал, чтоб они не приближались, схватил под

уздцы коня панцирника, между тем как множество солдат, раздраженных таким презрением от мусульман, окружили поезд с бранью.

— Стой, кто ты? — было восклицание и вместе вопрос часового.

— Ты, видно, рекрут, когда не узнал Султан-Ахмет-хана Аварского[1], — хладнокровно отвечал панцирник, отрывая руку часового от поводьев. — Кажется, в прошлом году я задал русским в Башлах[2] по себе славную поминку. Переведи ему это, — сказал он одному из своих нукеров. Аварец повторил его слова по-русски довольно понятно.

— Это Ахмет-хан! Ахмет-хан... — раздалось между солдатами. — Лови его, держите его! Тащите его на расплату за башлинское дело... Бездельники в куски изрубили наших раненых!

— Прочь, грубиян! — вскричал Султан-Ахмет-хан по-русски рядовому, который снова схватил коня за узду. — Я русский генерал!

— Русский изменник! — зашумели множество голосов. — Ведите его к капитану, потащим его в Дербент, к полковнику Верховскому!

— Только в ад пойду я с такими проводниками, — сказал Ахмет-хан с презрительною улыбкою и в то же мгновение поднял коня на дыбы, бросил его влево, вправо и вдруг, повернув на воздухе кругом, ударил нагайкою и был таков. Нукеры не сводили глаз с хана и с гиком кинулись за ним следом, опрокинули некоторых солдат и открыли себе дорогу. Отскакав не более как шагов на сто, хан снова поехал шагом, не оглядываясь назад, не изменяясь в лице и хладнокровно поигрывая уздечкою. Толпа татар, собравшаяся около кузнеца, привлекла его внимание.

— Что у вас за споры, приятели? — спросил у ближних Ахмет-хан, сдержав коня.

Все с уважением приложили руки ко лбу при поклоне, завидев хана. Те, которые были поробче или посмирнее,

[1] Он был родной брат Гассан-хана Джемутайского, а сделался ханом Аварским, женясь на вдове хана, единственной его наследнице. *(Примеч. автора.)*

[2] Тогда отряд наш, состоявший из трех тысяч человек, окружен был шестьюдесятью тысячами горцев. Там был уцмий Каракайдахский, аварцы, акушинцы, койсубулинцы и другие. Русские пробились ночью — и с уроном. *(Примеч. автора.)*

очень смутились от этой встречи: того и гляди, попадешь в беду от русских, зачем не взяли врага их, или под месть хана, если ему не уважишь. Зато все головорезы, все бездельники и все, которые с досадой смотрели на владычество русское, окружили его веселою толпою. Ему в один миг рассказали в чем дело.

— И вы, как буйволы, смотрите, когда вашего брата запрягают в ярмо, — громко сказал хан окружающим, — когда вам в глаза смеются над вашими обычаями, топчут под ноги вашу веру! И вы плачете, как старые бабы, вместо того чтобы мстить, как прилично мужам! Трусы! трусы!

— Что мы сделаем! — возразили ему многие голоса. — У русских есть пушки! есть штыки!..

— А у вас разве нет ружей, нет кинжалов? Не русские страшны, а вы робки! Позор мусульманам: дагестанская сабля дрожит перед русскою нагайкою. Вы боитесь пушечного грома, а не боитесь укоров. Ферман русского пристава для вас святее главы из Курана. Сибирь пугает вас пуще ада... Так ли поступали деды ваши, так ли думали отцы?.. Они не считали врагов и не рассчитывали, выгодно или невыгодно сопротивляться насилию, а храбро бились и славно умирали. Да и чего бояться? Разве чугунные у русских бока? Разве у их пушек нет заду? Ведь скорпионов ловят за хвост!!

Речь эта возмутила толпу. Татарское самолюбие было тронуто заживо.

— Что смотреть на них? Что позволять им хозяйничать у нас, будто в своем кармане? — послышалось отовсюду. — Освободим кузнеца от работы, освободим! — закричали все и стеснили кружок около русских солдат, посреди коих Алекпер ковал капитанскую лошадь.

Смятение росло.

Довольный возбуждением мятежа, Султан-Ахмет-хан не желал, однако ж, замешиваться в ничтожную схватку и выехал из толпы, оставя там двух нукеров для поддерживания духа запальчивости между татар, а с двумя остальными быстро поскакал в утах[1] Аммалата.

---

[1] Дом по-татарски *эвь*; *утах* — значит палаты, а *сарай* — вообще здание. *Гарам-Хане* — женское отделение (от этого происходит русское слово хоромы). В смысле дворца употребляют иногда слово *игарат*. Русские все это смешивают в одно название — *сакли*, что по-черкесски значит дом. *(Примеч. автора.)*

— Будь победитель! — сказал Султан-Ахмет-хан Аммалат-беку, который встретил его на пороге.

Это обыкновенное на черкесском языке приветствие было произнесено им с таким значительным видом, что Аммалат, поцеловавшись с ним, спросил:

— Насмешка это или предсказание, дорогой гость мой?

— Зависит от тебя, — отвечал пришелец. — Настоящему наследнику шамхальства[1] стоит только вынуть из ножен саблю, чтобы...

— Чтобы никогда ее не вкладывать, хан? Незавидная участь: все-таки лучше владеть Буйнаками, нежели с пустым титулом прятаться в горах, как шакалу.

— Как льву, прядать с гор, Аммалат, и во дворце твоих предков опочить от славных подвигов.

— Не лучше ль не пробуждаться от сна вовсе?

— Чтобы и во сне не видать, чем должен ты владеть наяву? Русские недаром потчуют тебя маком и убаюкивают сказками, между тем как другой рвет золотые цветы[2] из твоего сада.

— Что могу я предпринять с моими силами?

— Силы — в душе, Аммалат!.. Осмелься, и все преклонится перед тобою... Слышишь ли? — промолвил Султан-Ахмет-хан, когда раздались в городе выстрелы. — Это голос победы.

Сафир-Али вбежал в комнату со встревоженным лицом.

— Буйнаки возмутились, — произнес он торопливо, — толпа буянов осыпала роту и завела перестрелку из-за камней...

— Бездельники! — вскричал Аммалат, взбрасывая на плечо ружье свое. — Как смели они шуметь без меня? Беги вперед, Сафир-Али, грози моим именем, убей первого ослушника.

— Я уже унимал их, — возразил Сафир-Али, — да меня никто не слушает, потому что нукеры Султан-Ах-

---

[1] Отец Аммалата был старший в семействе и потому настоящий наследник шамхальства; но русские, завладев Дагестаном и не надеясь на его доброхотство, отдали власть меньшему брату. *(Примеч. автора.)*

[2] Игра слов, до которой азиатцы большие охотники: кызыльгюлларь, собственно, значит *розы,* но хан намекает на кызыль — червонец. *(Примеч. автора.)*

мет-хана поджигают их, говорят, что он советовал и велел бить русских.

— В самом деле мои нукеры это говорили? — спросил хан.

— Не только говорили, да и примером ободряли, — сказал Сафир-Али.

— В таком случае я очень ими доволен, — молвил Султан-Ахмет-хан, — это по-молодецки.

— Что ты сделал, хан? — вскричал с огорчением Аммалат.

— То, что бы тебе давно следовало делать.

— Как оправдаюсь я перед русскими?!

— Свинцом и железом... Пальба загорелась, судьба за тебя работает. Сабли наголо, и пойдем искать русских...

— Они здесь! — возгласил капитан, который с десятью человеками пробился сквозь нестройные толпы татар в дом владетеля.

Смущен неожиданным бунтом, в котором его могли счесть участником, Аммалат приветливо встретил разгневанного гостя.

— Приди на радость, — сказал он ему по-татарски.

— Не забочусь, на радость ли пришел я к тебе, — отвечал капитан, — но знаю и испытываю, что меня встречают в Буйнаках не по-дружески. Твои татары, Аммалат-бек, осмелились стрелять в солдат моего, твоего, общего нашего царя!

— В самом деле, это очень дурно, что они стреляли в русских... — сказал хан, презрительно разлегаясь на подушках, — когда им бы должно было убивать их.

— Вот причина всему злу, Аммалат, — сказал с гневом капитан, указывая на хана. — Без этого дерзкого мятежника ни один курок не брякнул бы в Буйнаках! Но хорош и ты, Аммалат-бек... Зовешься другом русских и принимаешь врага их как гостя, укрываешь как товарища, честишь как друга. Аммалат-бек! именем главнокомандующего требую: выдай его.

— Капитан, — отвечал Аммалат, — у нас гость — святыня. Выдача его навлекла бы на мою душу грех, на голову — позор неокупимый; уважьте мою просьбу, уважьте наши обычаи.

— Я скажу тебе в свою очередь: вспомни русские законы, вспомни долг свой; ты присягал русскому государю, а присяга велит не жалеть родного, если он преступник.

— Скорее брата выдам, чем гостя, г. капитан! Не ваше дело судить, что и как обещал я выполнять. В моей вине мне диван (суд) аллах и падишах!.. Пускай в поле бережет хана судьба, но за моим порогом, под моею кровлею я обязан быть его защитником и буду им!

— И будешь в ответе за этого изменника!

Хан безмолвно лежал во время этого спора, гордо пуская дым из трубки, но при слове *изменник* кровь его вспыхнула; он вскочил и с негодованием подбежал к капитану.

— Изменник я, говоришь ты? — сказал он. — Скажи лучше, что я не хотел быть изменником тем, кому обязан верностию. Русский падишах дал мне чин, сардарь ласкал меня, и я был верен, покуда от меня не требовали невозможного или унизительного. И вдруг захотели, чтоб я впустил в Аварию войска, чтобы позволил выстроить там крепости; но какого имени достоин бы я стал, если б продал кровь и пот аварцев, братьев моих! Да если бы я покусился на это, то неужели думаете вы, что мог бы это исполнить? Тысячи вольных кинжалов и неподкупных пуль устремились бы в сердце предателя, самые скалы рухнули бы на голову сына-отцепродавца. Я отказался от дружбы русских, но еще не был врагом их, и что ж было наградой за мое доброжелательство, за добрые советы? Я был лично, кровно обижен письмом вашего генерала, когда предостерегал его... Ему дорого стоила в Башлах дерзость... Реку крови пролил я за несколько капель бранчивых чернил, и эта река делит меня навечно с вами.

— Эта кровь зовет месть! — вскричал капитан сердито. — И ты не уйдешь от нее, разбойник!

— А ты от меня, — возразил вспыльчивый хан, вонзая кинжал в живот капитана, когда тот занес руку, чтобы схватить его за ворот.

Тяжело раненный капитан, простонав, упал на ковер.

— Ты погубил меня, — произнес Аммалат, всплеснув руками, — он русский и гость мой.

— Есть обиды, которых не покрывает кровля, — возразил мрачно хан. — Кости судьбы выпали; колебаться не время; запирай ворота, скличь своих, и ударим на неприятелей.

— За час еще я не имел их... Теперь нечем их отражать... У меня нет в запасе ни пуль, ни пороху; люди в разброде...

— Народ разбежался! — в отчаянии вскричал Сафир-Али. — Русские идут в гору скорым шагом. Они уж близко!!

— Если так, то поезжай со мною, Аммалат, — молвил хан. — Я ехал в Чечню, чтобы поднять ее на линии... Что будет, бог весть, но и в горах хлеб есть!.. Согласен ты?

— Едем!.. — решительно сказал Аммалат. — Теперь мне одно спасение — в бегстве... Не время теперь ни споров, ни укоров.

— Гей, коня, и шесть нукеров за мною!

— И я с тобой, — произнес со слезой в оке Сафир-Али, — с тобой в волю и в неволю.

— Нет, добрый мой Сафир-Али, нет! Ты останешься здесь похозяйничать, чтобы свои и чужие не растащили всего дома. Снеси от меня привет жене и проводи ее к тестю, шамхалу. Не забудь меня, — и до свиданья!

Едва успели они выскакать в одни ворота, как русские вторглись в другие.

ГЛАВА II

Вешний полдень сиял над высью Кавказа, и громкие крики мулл звали жителей Чечни к молитве. Постепенно возникали они от мечети до незримой за гребнями мечети, и одинокие звуки их, на миг пробуждая отголосок утесов, затихали в неподвижном воздухе.

Мулла Гаджи-Сулейман, набожный турок, один из ежегодно насылаемых в горы стамбульским диваном для распространения и укрепления православия, а с тем вместе и ненависти к русским, отдыхал на кровле мечети, совершив обычный призыв, омовение и молитву. Он был еще недавно принят муллою в чеченском селении Игали, и потому, погруженный в глубокомысленное созерцание своей седой бороды и кружков дыма, летящих с его трубки, порою он поглядывал с любопытным удовольствием и на горы и на ущелие, лежащее к северу, прямо под его глазами. Влево возникали стремнины хребта, отделяющего Чечню от Аварии, далее сверкали снега Кавказа. Сакли, неправильно разбросанные по обрыву, уступами сходили до полугоры, и только узкие тропинки вели к этой крепости, созданной природою и выисканной горскими хищниками для обороны воли своей, для охраны

добычи. Все было тихо в селении и по горам окрестным; на дорогах и улицах ни души... Стада овец лежали в тени скал, буйволы теснились в грязном водоеме у ключа, выставляя одни морды из болота. Лишь жужжание насекомых, лишь однозвучная песня кузнечика были голосом жизни среди пустынного безмолвия гор, и Гаджи-Сулейман, залегши под куполом, вполне наслаждался тишью и бездействием природы, столь сходными с ленивою неподвижностью турецкого характера. Тихо поводил он глазами, в которых погас свой огонь и потуск свет солнца, и, наконец, взоры его встретили двух всадников, медленно взбирающихся вверх по противоположной стороне ущелия.

— Нефтали! — закричал наш мулла, обратившись к ближней сакле, у дверей которой стоял оседланный конь.

И вот стройный чеченец с подстриженною бородкою, в мохнатой шапке, закрывающей пол-лица, выбежал на улицу.

— Я вижу двух вершников, — продолжал мулла, — они объезжают селение!

— Верно, жиды, либо армяне, — отвечал Нефтали, — им, конечно, не хочется нанимать проводника; да они сломят себе шею на объездной тропинке. Там и дикие козы, и наши первые удальцы скачут оглядываясь.

— Нет, брат Нефтали, я два раза ходил в Мекку[1] и навидался армян и жидов во всех сторонах... Только эти всадники не тем глядят, чтобы им торговать по-жидовски, — разве на перекрестке менять железо на золото! С ними нет и вьюков. Взгляни-ка сам сверху, твои глаза вернее моих; мои отжили и отглядели свое. Бывало, за версту я мог считать пуговицы на кафтане русского солдата и винтовка моя не знала промаха по неверным, а теперь я и дареного барана вдали не распознаю.

Между тем Нефтали стоял уже подле муллы и орлиным взором своим следил проезжих.

— Полдень жарок, и путь тяжел, — промолвил Сулейман, — пригласи путников освежить себя и коней; мо-

[1] Гаджи, собственно, значит путешественник, но придается вроде титула тем, кои были в Мекке. Они имеют право носить белую витую чалму; шагиды редко, однако ж, ее носят. *(Примеч. автора.)*

жет, не знают ли чего новенького, да и принимать странника крепко-накрепко заповедано Кураном.

— У нас в горах и раньше Курана ни один путник не выходил из деревни голоден или грустен, никогда не прощался без чурека, без благословения и без провожатого в напутье; только эти люди мне подозрительны: зачем им обегать добрых людей и по околицам, с опасностью жизни, миновать деревню нашу?

— Кажется, они земляки твои, — сказал Сулейман, осенив глаза рукою, чтобы пристальнее вглядеться. — На них чеченское платье. Может быть, они возвращаются из набега, куда и твой отец помчался с сотнею других соседов; или, может быть, едут братья мстить кровью за кровь.

— Нет, Сулейман, это не по-нашему. Утерпело ли бы сердце горское не заехать к своим похвалиться молодечеством в бою с русскими, пощеголять добычью? Это и не кровоместники и не абреки: лица их не закрыты башлыками; впрочем, одежда обманчива, и кто порука, что это не русские беглецы? Недавно из Гумбет-аула ушел казак, убив узденя хозяина, у которого жил, и завладев его конем, его оружием... Черт силен!

— На тех, у кого слаба вера, Нефтали... Однако, если я не ошибаюсь, у заднего всадника из-под шапки вьются волосы!

— Пускай я рассыплюсь прахом, если не правда! Это или русский, или еще и того хуже, шагид-татарин[1]. Постой, приятель, я расчешу тебе твои зильфляры (кудри); через полчаса я возвращусь, Сулейман, или с ними, или кто-нибудь из нас троих упитает горных беркутов.

Нефтали стремглав сбежал с лестницы, накинув на плечо ружье, прянул в седло и помчался с горы кубарем, не разбирая ни рытвин, ни камней. Только пыль взвивалась и камни катились следом за бесстрашным наездником.

— Алла акбер! — преважно сказал Сулейман и закурил трубку.

Нефтали скоро догнал всадников. Усталые кони их, покрытые пеною, кропили потом узкую, стремнистую

---

[1] Все горцы плохие мусульмане, но держатся секты сунни; напротив, большая часть дагестанцев шагиды, как и персияне... Обе секты сии ненавидят друг друга от чистого сердца. *(Примеч. автора.)*

стезю, по которой взбирались они в гору. Передний был в кольчуге, задний в черкесском платье; только персидская сабля вместо шашки висела на позументовом поясе. Левая рука его была окровавлена, перевязана платком и висела на темляке. Лиц обоих не мог он видеть. Долго ехал он сзади по скользкой тропе, висящей над пропастью, но при первой площадке заскакал вперед и поворотил коня навстречу.

— Селам алейкюм, — сказал он, преграждая путь на едва пробитую в скале стезю и выправляя оружие.

Передовой всадник поднял бурку на лицо, так что лишь одни нахмуренные брови его остались видимы.

— Алейкюм селам! — отвечал он, взводя курок ружья и укрепляясь в стременах.

— Дай бог доброго пути, — молвил Нефтали, повторяя обыкновенный привет встречи и между тем готовясь при первом неприязненном движении застрелить незнакомца.

— Дай тебе бог ума, чтобы не мешать путникам! — возразил нетерпеливо противник. — Чего ты хочешь от нас, кунак?

— Предлагаю покой и братскую трапезу вам, ячмень и стойло коням вашим. Порог мой искони цветет гостеприимством. Благодаренье путников множит стада и закаляет оружие доброго хозяина... Не кладите же клейма упрека на все наше селение, чтоб не сказали: «Они видели путников в полдневный жар и не освежили, не угостили их!»

— Благодарим за участие, приятель. Мы не привыкли на своре ходить в гости... да и быстрота для нас нужнее покоя.

— Вы едете навстречу погибели, не взявши провожатого.

— Провожатого! — воскликнул путник. — Да я знаю все туриные стежки на Кавказе, не только ваши конные проезды. Я бывал там, куда не ползали змеи, не взбирались тигры, не летали орлы ваши... Отсторонись, товарищ... на божьей дороге нет твоего порога; мне некогда точить с тобою вздоры.

— Я не уступлю шагу, покуда не узнаю, кто ты и откудова.

— Дерзкий мальчишка! прочь с дороги... иль через миг твоя мать будет вымаливать у чакалов и ветров твои раздробленные кости! Благодари судьбу, Нефтали, что я

водил хлеб-соль с отцом твоим и не раз обок с ним пускал коня в сечу. Недостойный сын! Ты бродишь по дорогам и готов нападать на мирных путников, а тело отца твоего тлеет теперь на полях русских, и жены казаков продают на станичном базаре его оружие!!! Нефтали! отец твой убит вчерась за Тереком: узнай меня!

— Султан-Ахмет-хан! — вскричал чеченец, пораженный нечаянным, пронзающим взором хана и страшною вестию; голос его замер; он упал на гриву коня в тоске невыразимой.

— Да, я Султан-Ахмет-хан! Но врежь в память, Нефтали, что, если ты скажешь кому-нибудь: «Я видел Аварского хана», месть моя переживет поколения!

Странники проехали мимо.

Хан безмолвствовал, погруженный, как видно, в неприятные воспоминания; Аммалат-бек (это был он) — в черные думы. У обоих платье носило следы недавнего боя, усы были опалены вспышками полки, и брызги чужой крови засохли на лицах. Но гордый взор первого вызывал, казалось, на бой судьбу и природу; мрачная улыбка досады, смешанная с презрением, сжимала уста. Напротив, истома была написана на бледном лице Аммалата. Он едва поводил полузакрытыми глазами, и порою стон вырывался от боли в раненой руке его: неровный ход татарского, непривычного к горным дорогам коня еще более разбережал рану. Он первый прервал молчание.

— Почему ты отказался от предложения этих добрых людей? Заехали бы отдохнуть часочек-другой и по росе помчались бы далее.

— Ты думаешь, потому что ты чувствуешь, как юноша, любезный Аммалат. Привык ты повелевать своими татарами, как рабами, и полагаешь, что так же легко обходиться с вольными горцами! Рука судьбы отяготела над ними: мы разбиты и прогнаны, сотни храбрых горцев, твои и мои нукеры легли в битве с русскими... и показать чеченцам побежденное лицо Султан-Ахмет-хана, которое привыкли они видеть звездой победы, явиться посреди их беглецом, быть вестником своего позора, принять нищенское угощение, может быть слышать укоры за гибель мужей и сынов, увлеченных мною в дерзкий набег, — значит навсегда потерять их доверие. Пройдет время, слезы высохнут, жажда мести заменит тоску по убитым,

и тогда снова увидят они Султан-Ахмета, пророка добыч и крови; тогда снова раздастся в этих горах призыв к бою, и снова поведу я летучие толпы мстителей в русские границы. Приди я теперь, и в пылу огорчения чеченцы не рассудят, что аллах дает и отнимает победу... Они могут, пожалуй, обидеть меня дерзким словом, а мои обиды неискупимы, и личная месть может заградить широкую дорогу на русских. Зачем же накликать себе ссору с храбрым народом и сокрушать идола собственной славы, на который привыкли они глядеть с изумлением? Человек никогда не кажется обыкновеннее, как в бессилии, когда всякий безбоязненно может померять с ним плечо. Притом, тебе нужен искусный лекарь, а нигде не найдешь ты лучшего, как у меня. Завтра мы будем дома; потерпи до тех пор.

Аммалат-бек с признательностью приложил руку к сердцу и ко лбу: он чувствовал вполне справедливость речей хана, но слабость одолевала его с каждым часом.

Избегая селений, они провели ночь между утесами, питаясь горстью пшена, варенного с медом, без которого горцы редко отправляются в дорогу. Переправясь через Койсу, по мосту близ Аширте, они давно уже оставили за собой северный рукав ее, и Анде, и землю койсубулинцев, и голый хребет Салатау. Непроторенный путь их лежал по лесам, по крутизнам, ужасающим взор и дух; и вот стали они взбираться на последний хребет, разделяющий их с севера от Хунзаха, или Авара, — столицы ханов. Исчез и лес и кустарник на кремнистой пустыне гор, по которой кочуют лишь облака и вьюги. Чтобы достичь гребня, принуждены были наши путники ехать то вправо, то влево реями: так стремниста была круть утесов. Привычный конь хана осторожно и верно ступал с камня на камень, пытал копытом, не катятся ли они, и на хвосте сползал в обрывы; но гордый, пылкий жеребец Аммалата, питомец холмов дагестанских, горячился, прядал и оступался. Избалованный холею, он не мог выдержать двухдневного побега на зное солнца и холоду вершин, по острым скалам, едва подкрепленный скудною травою в расселинах. Тяжело храпел он, взбираясь выше и выше; пот струею бежал с нагрудника; широкие ноздри пышели огнем, и пена кипела на удилах.

— Аллах-Берекет! — воскликнул Аммалат, достигнув до вершины, с которой открылся ему вид на Аварию, но в

ту же минуту изнемогший конь грянулся под ним на землю, кровь хлынула из оскаленного рта, и последний вздох его порвал седельную подпругу.

Хан поспешил помочь беку выбиться из стремян. Он со страхом заметил, что усилия сдвинули перевязку с раны Аммалатовой, и кровь пробилась снова. Молодой человек, казалось, был нечувствителен к боли: слезы его катились о павшем бегуне... Так одна капля не наполняет, но переполняет чашу.

— Ты уж не будешь носить меня как пух по ветру, — говорил он, — ни в пыльном облаке на скачке, слыша за собой досадные клики соперников и восклицания народа, ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под чугунного дождя русских пушек. С тобой добыл я славу наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?!

Он склонил лицо в колена и долго, долго безмолвствовал, между тем как хан заботливо перевязывал раненую его руку. Наконец Аммалат подднял голову.

— Оставь меня, Султан-Ахмет-хан, — сказал он решительно, — оставь несчастливца собственной участи. Путь далек, а я изнемогаю. Оставшись со мной, ты даром погибнешь. Взгляни, как вьется над нами орел: он чует, что мое сердце скоро замрет в когтях его... И слава богу. Лучше найти воздушный гроб в хищной птице, чем отдать свой прах под ногу христианина. Прощай, не медли.

— Не стыдно ли тебе, Аммалат, падать, запнувшись за соломинку?.. Велика беда, что ты ранен, что конь твой пал! Рана заживет до свадьбы, коня найдем лучше прежнего, и впереди у аллаха не одни беды приготовлены. В цвете лет и в мужестве ума грешно отчаиваться. Садись на моего коня: я поведу его под уздцы, и к ночи мы дома. Время дорого!

— Для меня уже нет времени, Султан-Ахмет-хан... Благодарю от сердца за твою братскую заботливость, но я не попользуюсь ею; тебе самому не вынести пешеходного пути после такой усталости. Повторяю: оставь меня на произвол судьбы. Здесь, на неприступных высотах, умру я волен и доволен... Да и чем может манить меня жизнь! Родители мои лежат в земле, жена лишилась зрения, дядя и тесть шахмал ползают в Тарках перед русскими; в родине, в наследии моем пируют гяуры, и теперь сам я изгнанник из дому, беглец из боя. Я не хочу и не должен жить!

— Не должен бы говорить такого вздора, любезный Аммалат, и одна только лихорадка извиняет тебя. Мы созданы для того, чтоб жить долее отцов наших; жен ты можешь найти еще три, если одна не наскучила; если нелюб тебе шамхал, а любо твое кровное наследство, так для этого самого и надо тебе жить: потому что для мертвеца не нужна власть и невозможна победа. Мстить русским — святой долг: оживи хоть для него; а что мы разбиты, это не новость для воина; сегодня выпадает удача им, завтра выпадет нам. Аллах дает счастье, но человек создает себе славу не счастьем, а твердостию... Ободрись, друг Аммалат... Ты ранен и слаб, я крепок привычкою и не утомлен бегом; садись на коня, и мы еще побьем не раз русских!

Лицо Аммалата вспыхнуло...

— Да, я буду жить для мести им! — вскричал он, — для мести тайной и явной. Верь, Султан-Ахмет-хан, лишь для этого я принимаю твое великодушие!.. Отныне я твой... клянусь гробом отца: я твой! Руководи моими шагами, направляй удары моей руки, и если я, потонув в неге, забуду клятву свою, напомни мне эту минуту, эту вершину: Аммалат-бек пробудится, и кинжал его будет молния!

Хан обнял, поднимая на седло, воспламененного юношу.

— Теперь я узнаю в тебе чистую кровь эмиров, — сказал он, — кровь пламенную детей гор, которая, как сера, течет в жилах наших и в недре утесов и порой, вспыхивая, потрясает и рушит громады.

Поддерживая одною рукою в седле раненого, хан осторожно стал спускаться с обнаженного черепа. Случалось, камни с шумом катились из-под ног или конь скользил вниз по гладкому граниту, а потому они очень рады были, добравшись до мшистой полосы. Мало-помалу кудрявые растения начали расстилать свою зеленую пелену, то вея из трещин опахалами, то спускаясь с крутин длинными плетеницами наподобие лент и флагов. Наконец они въехали в густой лес орешников, потом дуба, черешни и еще ниже чинара и чиндара. Разнообразие, богатство растений и величавое безмолвие сенистых дубрав вселяло какое-то невольное благоговение к дикой силе природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, рассветала поляна, украшенная благоуханным ковром цветов, не мятых стопою

человека. Тропинка то скрывалась в чаще, то выходила на край утеса, и под ним в глубине шумел и сверкал ручей, то пенясь между каменьями, то дремля на каменном дне водоема, под тенью барбариса и шиповника. Фазаны, сверкая радужными хвостами, перелетывали в кустарниках; стада диких голубей вились над скалами то стеной, то столбом, восходящими к небу, и закат разливал на них воздушный пурпур свой, и тонкие туманы тихо подымались в ущелиях; все дышало вечернею прохладою, незнакомою жильцам полей.

Уже путники наши были близки к селению Акок, лежащему за небольшой горой от Хунзаха. Невысокий гребень разделял их с этим селением, когда ружейный выстрел раздался в горах и, как зловещий знак, повторился отголоском утесов. Путники остановились в недоумении: перекаты постепенно затихли.

— Это наши охотники, — сказал Султан-Ахмет-хан, отирая пот с лица. — Они не ждут меня и не чают встретить в таком положении. Много радостных, много и горестных слез принесу я в Хунзах!

Непритворная горесть изобразилась на грозном лице Ахмет-хана: все нежные и все злобные чувства так легко играют душой азиатца!

Другой выстрел, однако ж, развлек его внимание... Удар и удар еще... Выстрелы отвечали выстрелам и, наконец, слились в жаркую перепалку.

— Там русские! — вскричал Аммалат, выхватывая из ножен саблю, и сжал каблуками коня, как будто одним прыжком хотел перепрыгнуть за гребень, но мгновенные силы его оставили, и клинок, звуча, покатился из опавшей руки. — Хан, — сказал он, ступая на землю, — спеши на помощь своим землякам: твое лицо будет для них дороже сотни воинов.

Хан не слышал слов его: он прислушивался к полету пуль, как будто желая различить русские от аварских.

— Ужели с легкостью коз заняли они и крылья у орлов Казбека! И откуда могли они пройти на наши неприступные твердыни? — говорил он, весь склонясь над седлом, со вложенною в стремя ногою. — Прощай, Аммалат! — вскричал он наконец, послышав, как загорелась сильней пальба. — Я еду погибнуть на развалинах, разразясь, как перун, ударом!

В это время пуля, жужжа, упала к ногам его; он наклонился, поднял ее, и лицо его просияло улыбкою. Спокойно вынул он ногу из стремени и обратился к Аммалату.

— Садись верхом, — сказал он ему, — скоро ты своими глазами разгадаешь эту загадку... У русских свинцовые пули, а это медная, аварская[1], моя милая землячка. Притом же она прилетела с южной стороны, откуда никак не могут прийти русские.

Они въехали на вершину гребня, и взорам их открылись две деревни, лежащие на двух противоположных краях глубокой рытвины; и из них-то производилась перестрелка. Жители, залегши за камнями, за оградами, палили друг в друга. Между ними беспрестанно бегали женщины, с воплем и плачем, когда какой-нибудь удалец, приближаясь к самому краю пропасти, падал раненый. Они носили каменья и заботливо и бесстрашно под свистом пуль складывали перед ним род щита. Радостные крики раздавались на той или другой стороне, когда видели, что выносят из дела раненого противника. Печальные стоны оглашали воздух, когда падал кто-нибудь из родных или товарищей. Аммалат долго и с удивлением смотрел на битву эту, в которой было более грому, чем вреда. Наконец он обратил вопрошающий взор к хану.

— У нас это обыкновенная вещь, — отвечал тот, любуясь каждым удачным выстрелом. Такие сшибки поддерживают между нами воинственный дух и боевой навык. У вас частные ссоры кончаются несколькими ударами кинжала; у нас они становятся общим делом целых селений, и самая безделица может дать к тому повод. Я чай, и теперь дерутся за какую-нибудь украденную корову, которую не хотели отдать. У нас не стыдно воровать в чужом селении; стыдно только быть уличену в том. Полюбуйся на смелость наших женщин, пули, как мухи, жужжат, а им и горя мало! Достойные матери и жены богатырей!.. Конечно, в великий стыд вменится тому, кто ранит женщину; да ведь за пулю нельзя поручиться. Острый глаз направляет ее, но слепая судьба несет в цель.

---

[1] Не имея собственного свинца, аварцы большею частью стреляют медными пулями, ибо у них есть медные руды. *(Примеч. автора.)*

Однако темнота льется с неба и разлучает минутных врагов. Поспешим к родным моим.

Одна привычка хана могла спасти наших путников от частых падений по крутому спуску к реке Узени. Аммалат почти ничего не видал перед собою: двойная завеса ночи и слабости задергивала его очи; голова его кружилась; будто сквозь сон взглянул он, поднявшись снова на высоту, на ворота дома ханского, на сторожевую башню. Неверной ногой ступил он на землю середи двора, середи восклицаний нукеров и челядинцев, и едва перешагнул за решетчатый порог гарама, дух его занялся, смертная бледность бросила снег свой на лицо раненого, и юный бек, истощенный кровью, утомленный путем, голодом и душевною тоскою, без чувств упал на узорные ковры.

ГЛАВА III

Аммалат пришел в память на заре.

Медленно, поодиночке сходились в ум его мысли, и те мелькали, будто в тумане, от чрезвычайного расслабления. Он вовсе не ощущал боли в теле своем, и это состояние было даже приятно ему: оно отнимало у жизни горе, у смерти — ужас, и в эту пору он услышал бы весть о выздоровлении так же беспечно, как весть о неизбежной кончине. Ему не хотелось молвить слова, пошевелить пальцем. Это полуусыпление было, однако ж, непродолжительно. В самый полдень, после посещения лекаря, когда прислужники разошлись исполнять обряды полуденной молитвы, когда стих усыпляющий говор их и только крик муллы раздавался вдали, Аммалат послышал тихие, осторожные шаги по коврам спальни. Он приподнял тяжелые веки, и сквозь сеть ресниц показалось ему, что прелестная черноокая девушка, в оранжевой сорочке, в глазетовом архалуке с двумя рядами эмалевых пуговок, с длинными косами, распущенными по плечам, тихо приблизилась к его ложу и так заботливо обвеяла его чело, так сострадательно взглянула на рану, что в нем затрепетались все жилки. Потом осторожно налила она лекарства в чашечку и... больше не мог он рассмотреть: веки его опали как свинец; он только ловил слухом шелест ее шелкового платья, будто шум крыльев улетающего ангела, и снова все стихло. И каждый раз потом, когда нетвер-

дый еще разум его хотел разгадать ее появление, оно сливалось с неясными грезами горячки, так что первым вздохом, первым словом его, когда он очнулся, было: «Это сон!»

Но это не был сон.

Прелестная эта девушка была шестнадцатилетняя дочь Султан-Ахмет-хана. У всех горцев вообще незамужние пользуются большою свободою обращения с мужчинами, несмотря на закон Магомета. Тем более независима была любимая дочь хана. Подле ней только отдыхал он от забот и досад; подле ней только лицо его находило улыбку, а сердце — шутки. В кругу ли аварских старшин и узденей рассуждал он о делах горской политики, или давал суд правым и виноватым, между домашними ли слушал рассказы о прежних удальствах, или замышлял новые набеги, она прилетала, как ласточка, и приносила ему весну душевную. Счастье было того виноватого, на чье осуждение являлась она при отце. Взмахнутый кинжал останавливался на воздухе, и часто, взглянув на нее, хан отлагал кровавые замыслы, чтобы не разлучаться с милою дочерью. Все было ей позволено, все доступно. Запретить ей что-либо не подумал бы Ахмет-хан ни для каких обычаев, ни для каких пересудов; а подозрение в чем-нибудь, недостойном ее пола или ее сана, было так же далеко от его мыслей, как от ее сердца. Да и кто мог ей внушить нежные чувства из окружающих хана? Склонить свои мысли, унизить свои чувства до человека, низшего ее родом, было бы неслыханным позором для дочери последнего узденя; тем выше ханская дочь от самой колыбели напитывалась гордынею предков, и она, как ледяное забрало, отделяла сердце ее от всего видимого общества. Доселе ни один гость не был равен с нею родом; по крайней мере ни про одного не спросило о том сердце. Вероятно, что и беспечный, бесстрастный возраст ее был тому виною, может быть, но теперь час любви пробил, и сердце встрепенулось в груди неопытной красавицы. Она спешила заключить в объятия отца и со страхом увидала прекрасного юношу, падающего как мертвец к ногам ее... Первое ее чувство был ужас; но когда отец рассказал, как и почему Аммалат гость его, когда сельский лекарь объявил, что рана неопасна, нежное соучастие к раненому проникло все ее существо. Целую ночь напролет мечтался ей окровавленный гость, и она встретила зарю впервые не так румяная, как заря; в первый раз прибегла она к хитрости, чтобы взгля-

путь на приезжего, вошла в комнату его, чтобы поздороваться с отцом, и потом вкралась туда в полдень. Непостижимое, неодолимое любопытство влекло ее посмотреть на глаза Аммалата. Никогда в детстве не желала она так сильно игрушки, никогда в настоящем возрасте не манило ее так неодолимо новое, богатое платье или блестящее украшение, как страстно хотелось ей встретить глаза гостя; и, наконец, ввечеру она встретила томный, но выразительный, беспламенный, но светлый взор его. Она не могла отвести очей с черных очей Аммалата, прилепленных к ней. Казалось, они говорили: «Не скрывайся, звезда души моей!», поглощали исцеление и отраду из ее взоров. Она не знала, что с нею делается, не чувствовала, на земле ли была она или в воздухе носилась; летучие краски сменялись на лице ее. Наконец она решилась дрожащим голосом спросить его о здоровье...

Надо быть татарином, который считает за грех и обиду сказать слово чужой женщине, который ничего женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы вообразить, как глубоко возмущен был пылкий бек взором и словом прелестной девушки, столь близко и столь нежно на него брошенным. Сладкий огонь пробежал по сердцу его, несмотря на слабость.

— О, мне очень хорошо теперь, — отвечал он, стараясь приподняться, — так хорошо, что я бы готов был умереть, Селтанета.

— Алла сахла-сын (бог да сохранит тебя), — возразила она. — Живи, живи долго!.. Неужели не жаль тебе жизни?

— В сладкие минуты сладка и смерть, Селтанета. А если б я прожил еще сто лет, краше настоящей не нашел бы!

Селтанета не поняла слов гостя, но она поняла взор его, поняла выражение его голоса. Она закраснелась еще более и, сделав рукою знак, чтоб он успокоился, упорхнула из комнаты.

Между горцами есть весьма искусные лекаря, особенно для всех переломов и ран; но Аммалата исцеляло лучше всех трав и пластырей присутствие милой горянки. С приятною надеждою засыпал он, уверенный, что увидит ее во сне, и радостен просыпался, зная, что наяву с нею встретится. Силы его возвращались быстро, и с силами росла привязанность к Селтанете. Аммалат был же-

нат, но, как водится на Востоке, для одних расчетов. Он никогда не видал до свадьбы невесты своей и после ничего не нашел в ней привлекательного, ничего такого, что бы могло пробудить его спящее сердце. Впоследствии жена его ослепла, и это обстоятельство еще более охладило связь, основанную на азиатской чувственности. Семейная неприязнь к тестю и дяде шамхалу еще более разделяла молодых супругов, до того, что они очень редко бывали вместе. Мудрено ли ж после этого, что юноша, пылкий по природе, своевластный по привычке, загорелся новою для него любовью! Быть с нею было для него самым высоким счастьем, ждать ее появления — приятнейшим занятием. Бывало, он вздрогнет, чуть заслышит ее голос; каждый звук, будто луч солнца, проникал в душу, и ощущение его походило на боль, но боль так восхитительную, что он желал бы навеки продлить ее. Мало-помалу знакомство между молодыми людьми скрепилось в дружбу... Они почти беспрестанно бывали вместе. Хан часто уезжал внутрь Аварии по делам хозяйства, по расправам, по военным распоряжениям, оставляя гостя на попечение жены своей, тихой, молчаливой женщины. Он очень видел склонность Аммалата к дочери своей и втайне тому радовался; это оживляло его честолюбивые и воинственные виды: родство с беком, имеющим право на шамхальство, предавало ему в руки тысячу поводов и средств вредить русским. Ханша, занимаясь урядом домашним, оставляла нередко по целым часам Аммалата в покоях своих, как родного, и Селтанета, с двумя или тремя своими приближенными девушками, сидя на подушке за рукодельем, не видела, как летит время, то разговаривая с гостем, то внимая его рассказам. Бывало и то, что долго, долго сиживал Аммалат, склонясь у ног своей Селтанеты, не вымолвив слова, то глядясь в черные, поглощающие глаза ее, то любуясь с ней горными видами из окна ее, обращенного к северу, и крутыми берегами и крутыми изворотами гремучей Узени, над которою висит замок ханский. Подле этого детски невинного существа забывал Аммалат желания, которых она еще не знала, и, тая в неизвестном, непонятном для него наслаждении, он не думал ни о прошедшем, ни о будущем; он не думал ни о чем, он только мог чувствовать и беззаботно, не отнимая от чаши уст, пил блаженство каплю по капле.

Так протекло лето.

Аварцы — народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем, и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барином. Бедны, следственно, и храбры до чрезвычайности; меткие стрелки из винтовок, славно действуют пешком; верхом отправляются только в набеги, и то весьма немногие. Лошади их мелки, но крепки невероятно; язык дробится на множество наречий, но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени лезгинского. Помнят христианскую веру, ибо не более ста двадцати лет поклонились Магоммеду, но до сих пор плохие магометане: пьют водку, пьют бузу, нередко виноградное вино, но всего чаще вино вареное, называемое у них джапа. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут ни жен, ни дочерей; за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений. Месть для них — святыня, разбой — слава. Впрочем, нередко принуждены бывают к тому необходимостию. Выходя по вершине Аталы и Тхезерук, через хребет Турнитау в Кахетию, за реку Алазань, для сельских работ, из очень скудной платы, они нередко остаются дня по два и по три без дела и потом, сговорившись, как голодные волки, бросаются ночью на ближние селения и, если удастся, угоняют стада, похищают женщин, захватывают пленников, но всего чаще слагают свои буйные головы в неравном бою. В русские границы впадения их затихли с тех пор, как укротили акушинцев, и Аслан-хан Кумыкский стережет через его владения лежащий выход из Аварии. Но селение Хунзах, или Авар, лежащее на восточном краю Аварии, искони составляет наследие ханов, и власть их там закон. Но имея право велеть своим нукерам изрубить кинжалами любого жителя Хунзаха, даже любого проезжего, хан не смеет наложить никакой подати, никакой пошлины на народ и должен довольствоваться доходами со стад и с полей своих, обрабатываемых каравашами (рабами) и есырями (пленниками). Не бравши, однако ж, прямых налогов, ханы не отказываются от требования повинностей, освященных более силою, чем обычаем. Взять во двор мальчика или девку, нарядить подводы на волах или буйволах для собственной перевозки или работы, послать гонца и тому подобное — суть вещи ежедневные. Жители Хунзаха живут, однако же, богаче всех своих одноземцев; дома их чисты и почти все в два

яруса; мужчины стройны, женщины красивы, тем более что между ними множество грузинок, захваченных в плен. В Аварии много занимаются арабским языком, и потому слог людей грамотных очень цветен. Гарам ханский всегда полон гостями и нередко просителями, которые, по азиатскому обычаю, не смеют показать глаз без пешкеша (подарка), хотя бы то был пяток яиц. Нукеры ханские, на числе и отважности коих опирается власть его, с утра до вечера толкаются во дворах и в комнатах хана, всегда с заряженными пистолетами за поясом и с кинжалом на брюхе[1]. Любимые уздени и приезжие гости из чеченцев или из татар обыновенно каждый день являлись поутру на поклон к хану, оттуда всей гурьбой отправлялись к ханше и нередко целый день оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в отсутствие хана изобильно.

Однажды приходит в беседу уздень аварский и за новость рассказывает, что невдалеке появился огромный тигр и что двое отличнейших стрелков легли жертвою его лютости. Это так напугало наших охотников, что никто не решается в третий раз отведать удачи.

— Я отведаю счастья! — вскричал Аммалат, горя нетерпением выказать удальство свое перед горцами. — Пусть только наведут меня на след зверя.

Широкоплечий аварец измерил взором с ног до головы дерзостного бека и, улыбнувшись, молвил:

— Тигр не чета дагестанскому кабану, Аммалат! Его след нередко ведет к смерти!

— Неужели ты думаешь, — возразил тот гордо, — что на этой скользкой дорожке у меня закружится голова или дрогнет рука? Не зову тебя помогать, зову посмотреть моего боя с тигром. Я надеюсь, ты поверишь тогда, что если сердце аварца твердо, как гранит его гор, то сердце дагестанца закалено, как славный булат их. Согласен?

Аварец был пойман.

Отказаться было бы постыдно, и он протянул руку, развеселил лицо...

— Охотно иду с тобою, — отвечал он.— Отлагать нечего; совершим клятву в мечети, и в путь и в бой неразлучно. Аллах судит: нам ли взять его кожу на чапрак или ему скушать нас.

---

[1] Азиатцы носят кинжал не на боку, а впереди. *(Примеч. автора.)*

Не в азиатском нраве, еще менее в азиатском обычае, прощаться с женщинами, отправляясь даже надолго, навсегда. Это принадлежит одним родным, и разве случаем выпадает гостю. Аммалат-бек со вздохом, однако ж, взглянул на окна Селтанеты и тихими шагами пошел к мечети. Там уже ожидали его старшины селения и толпа любопытной молодежи.

По старинному аварскому обыкновению, ловцы должны были поклясться на Куране, что не выдадут друг друга ни в битве со зверем, ни в преследовании; не покинут раненого, если судьба допустит, что зверь сломает его; будут защищать друг друга, лягут рядом, не щадя жизни, и во всяком случае без шкуры зверя не воротятся назад; или тот, кто преступит завет сей, да будет сброшен со скалы, как трус, как изменник.

Товарищи после присяги обнялись, мулла надел на них оружие, и они отправились в путь при громких кликах всей толпы.

— Или оба, или ни одного! — кричали им вслед.

— Убьем или умрем! — отвечали охотники.

Минул день. Укатил другой за хребты ледяные. Старики притомили глаза, глядя с кровель на дорогу. Мальчики далеко выбегали на окрестные холмы, чтобы встретить охотников: все их нет как нет. В целом Хунзахе, едва ль не у каждого очага, кто от безделья, кто от участия, толковали об этом, но всех более горевала Селтанета. Крикнут ли на дворе, зашумит ли кто на лестнице, вся кровь у нее вспыхнет, как на огне можжевельник, и сердце запрыгает от ожидания; вскочит, бывало, бедняжка и побежит к окну или дверям и, в двадцатый раз обманутая, потупив очи, тихо пойдет за рукоделье, которое впервые показалось ей скучно и бесконечно. Наконец, за сомнением, и страх наложил свою ледяную руку на сердце красавицы. Она спрашивала у отца, у братьев, у гостей, каков зверь тигр на рану, далеко ли, близко ли ходит он к селениям? И всякий раз, рассчитав время, она, сплеснув руками, говорила сама себе: «Они погибли!» и тихо клонила голову к неровно волнуемой груди, и крупные слезы катились по ее прелестному лицу.

На третий день оказалось, что опасения всех не были напрасны. Уздень, товарищ Аммалата в ловитве, насилу привлекся один до Хунзаха. Кафтан его был изодран когтями звериными, сам он бледен как смерть и в изнеможе-

нии от голода и устали. С изумлением, с любопытством обстали его и стар и мал, и вот что рассказывал он, подкрепив себя чашкою молока и куском чурека:

— В тот же день, как вышли отсюдова, выследили мы тигра. Мы нашли его спящим между таким каменником и чащею, что аллах упаси. По жеребью досталось первому стрелять мне: я подкрался и наметил очень ловко; стрельнул... ан на беду зверь спал, закрыв морду лапою, и пуля, пробив ее, угодила в шею. Пробужден громом и болью, тигр взревел и в два прыжка прямо ринулся на меня, так что я не успел выхватить и кинжала; с размаху он сбил меня с ног, смял задними ногами, и только помню я, что в миг этого промежутка раздался крик и выстрел Аммалата и затем оглушающее, ужасное рыкание. Раздавленный, я потерял память и дыхание и, долго ли я лежал в обмороке, не ведаю.

Когда открыл я глаза, все было тихо кругом меня; мелкий дождь сеялся из густого тумана; был ли то вечер, было ли то утро? Мое ружье, подернутое ржавчиной, лежало подле; ружье Аммалата, переломленное пополам, невдалеке; там и сям обрызганы были камни кровью, только чьею кровью: тигровой ли, Аммалатовой ли, как дознаться? Выломленные кустарники лежали кругом: верно, зверь выторгнул их упорными прыжками. Я кликал, сколько было голосу, товарища; нет ответа. Посижу-посижу да еще покличу; напрасно! Ни зверя, ни птицы перелетной. Много раз пытался я идти, искать по следу Аммалата, или найти его, или умереть на его теле... хоть бы отомстить зверю за смерть удалого: силы нет. Взяло меня горе; я всплакался горько: зачем погибаю и телом и доброю славою! Решился было ждать смертного часа в пустыне, только голод одолел меня. Дай, подумал я, повещу в Хунзахе, что Аммалат пропал без вести, и хоть умру между своими. Вот я и приполз сюда, как раздавленный змей. Братья! голова моя перед вами: судите как положит аллах на сердце. Приговорите ли мне жить — буду жить, поминаючи вашу правду; приговорите умереть — и то воля ваша! — умру невинен. Аллах свидетель; я сделал что мог!

Ропот рассыпался по народу, когда выслушали пришельца. Одни правили, другие винили его, хотя и все жалели.

— Всякий себя охраняет, — говорили некоторые из обвинителей. — Кто порука, что он не бежал с поля? На

нем нет раны, нет и свидетельства; а что он выдал товарища, это почти без сомнения! Не только выдал, может и нарочно предал, — толковали другие: они неладно между собою говаривали!

Ханские нукеры пошли еще далее; они подозревали, что уздень убил Аммалата из ревности. Он слишком умильно поглядывал на дочь ханскую, а ханская дочь не ему чету нашла в Аммалате.

Султан-Ахмет-хан, сведав, для чего собрался народ на улице, прискакал и сам на сходку.

— Трус! — сказал он вместе с гневом и огорчением узденю. — Ты пустил позор на имя аварское. Теперь может всякий татарин укорить нас, что мы зверям скормили гостя, не умея защитить его! По крайней мере мы сумеем за него отмстить: ты клялся на Куране по старине аварской не покидать в беде товарища и, если он падет, не ворочаться домой без шкуры зверя; ты изменил клятве, но мы не переступим завета: гибни! Даю три дня срок душе твоей, но потом, если Аммалат не найдется, тебя сбросят с утеса! Вы головами отвечаете мне за его голову! — примолвил он, обращаясь к своим нукерам, надвинул шапку на брови и поворотил к дому коня своего.

Тридцать горцев помчались из Хунзаха во все стороны проведывать хоть об останках буйнакского бека. У горцев священною обязанностью считается с честью похоронить своего родственника или товарища, и они часто, как омировские герои, кидаются в пыл битвы, чтобы выхватить из рук русских убитого собрата, и порой десятками падают на тело, которого не хотят выдать.

Несчастного узденя повлекли на конюшню ханскую — место, заменяющее обыкновенно тюрьму. Народ, рассуждая о происшедшем, угрюм, но безропотен разошелся по домам, ибо приговор ханский был согласен правде их обычаев.

Печальная весть скоро проникла до Селтанеты; и, как ни желали смягчить ее, она жестоко поразила девушку, столь много любящую. Со всем тем она против ожидания казалась спокойною: не плакала, не жаловалась, но зато и не улыбалась более, не молвила слова. Ей говорила мать, она не слышала. Искры из трубки отца прожигали ее платье, она не замечала. Холодный ветер веял на грудь ее, она не чувствовала. Все ее чувства сжались в

сердце на муку его; но это сердце глубоко лежало от взоров, и ничего не отражалось на гордом лице ее. Ханская дочь боролась с шестнадцатилетнею Селтанетою; можно было предсказать, кто падет прежде.

Но эта скрытая тоска удушала Селтанету; ей хотелось убежать от людских глаз и на свободе выплакать горе.

«Боже мой! — думала она, — зачем, потеряв друга, не имею права плакать о нем! Все так и смотрят на меня, чтобы посмеяться после; так и стерегут каждую слезку, чтобы поймать ее на злословный язык свой. Чужое горе им потеха».

— Секине! — молвила она своей прислужнице, — пойдем гулять по берегу Узени!

На треть агача[1] расстояния от Хунзаха к западу есть развалины старинного христианского монастыря, уединенного памятника забытой веры туземцев. Рука времени, будто из благоговения, не коснулась самой церкви, и даже изуверство пощадило святыню предков. Она стояла цела между разрушенных келий и павшей ограды. Глава ее с остроконечною каменною кровлею уже почернела от дыхания веков; плющ заплел сеткою узкие окна, и в трещинах стен росли деревья. Внутри мягкий мох разостлал ковер свой, и в зной влажная свежесть дышала там, питаемая горным ключом, который, промыв стену, прислоненную к утесу, падал через каменный алтарь и распрядался в серебристые, вечно звучные струны чистой воды, и потом, сочась в спаи плитного пола, вился ниже и ниже. Одинокий луч солнца, закравшись сквозь окно, мелькал и переливался сквозь зыбкую зелень по угрюмой стене, как резвый младенец на коленях столетнего деда. Туда-то направила Селтанета свою прогулку; там-то отдохнула она от взоров и вопросов, тяготивших ее. Все было так мирно, так прелестно, так счастливо около нее, и все это тем более множило печаль — первую печаль ее. Переливный свет на стене, лепетание ласточек и журчанье ключа растопило в слезы свинец, лежавший у нее на сердце, и горесть ее разлилась жалобами. Секине убежала нарвать груш, растущих в изобилии около церкви, и Селтанета тем беззаветнее предалась природе, требующей облегчения.

---

[1] Агач — семь верст. Он называется конным. Пешеходный — четыре версты. *(Примеч. автора.)*

И вдруг, подняв голову, она вскрикнула от испуга: перед нею стоял стройный аварец, забрызганный грязью и кровью. Кожа тигра падала наземь с плеч его.

Ужели твое сердце, твои глаза, Селтанета, не узнали своего любимца? Нет, с другого взора она узнала Аммалата и, забыв все на свете, кинулась ему на шею, обвила ее руками своими и долго, долго вглядывалась в истомленное, но всегда милое лицо, и, наконец, огонь уверения, огонь восторга заблистал сквозь не обсохшие еще слезы печали. Мог ли тогда удержать пылкий Аммалат радость свою? Он прильнул, как пчела, к розовым губкам Селтанеты. Он довольно слышал за минуту для своего счастия; теперь он был наверху блаженства. Еще ни слова не вымолвили любовники о любви своей, но они уже поняли друг друга.

— И ты, ангел, любишь меня? — произнес, наконец, Аммалат, когда Селтанета, застыдясь поцелуя, уклонилась из его объятий. — Ты меня любишь?

— Сохрани, алла! — отвечала невинная девушка, опустя ресницы, но не очи. — *Любишь!* Это страшное слово. С год тому назад, проходя по улице, я увидела, как побивали каменьями девушку; с ужасом убежала я домой, но нигде не могла спрятаться. Кровавая грешница везде стояла передо мною, и стон ее еще до сих пор отзывается в ушах моих. Когда я спросила, за что так бесчеловечно казнили эту несчастную, мне отвечали: она любила одного юношу!

— Нет, милая, не за то, что любила она, а за то, что любила не одного, за то, что изменила, быть может, обоим, ее убили!

— Что значит *изменила,* Аммалат? Я не понимаю этого!

— О, дай бог, чтоб ты никогда не испытала, никогда не выучилась изменять, чтобы ты никогда не забыла меня для другого.

— Ах, Аммалат, в эти четыре дня я узнала, как тяжела для меня с тобой разлука! Бывало, долго не вижу братьев, Нуцала и Сурхая, и рада с ними свидеться, но без них не тоскую; без тебя же на свете жить не хочется!

— Для тебя готов я умереть, звезда моя утренняя, за тебя положу свою душу, не только жизнь, милая!

Шелест шагов прервал речи любящихся: то была прислужница Селтанеты.

Втроем они поспешили обрадовать хана, и хан был рад, был утешен непритворно.

Аммалат в коротких словах рассказал, как было с ним дело.

— Чуть завидел я павшего товарища впереди меня, я встретил зверя на лету пулею: она разбила ему челюсть. Чудовище с ужасным ревом кинулось кружиться, прыгать, метаться, несколько раз порывалось ко мне и снова, развлекаемо болью, бросалось в сторону. В это-то время, ударив его прикладом по черепу, изломал я ружье. Я долго гнался за ним, когда он пошел на уход, то на виду, то по кровавому следу; между тем день вечерел, и когда я вонзил кинжал в горло павшего тигра, темная ночь падала на землю. Волей и неволею принужден я был ночевать, имея палатами утесы, а собеседниками — волков и чакалов. Утро было дождливо и туманно; облака, задевая меня за голову, выжимали, как губки, на мне свою воду. В десяти шагах перед носом ничего нельзя было видеть. Не видя солнца, не зная места, напрасно бродил я вокруг да около... дорога убегала меня, усталость и голод томили. Застреленная из пистолета куропатка подкрепила на время силы, но все-таки не мог я найти выхода из этого каменного гроба. Только шум вод, ниспадающих с крутин, только шум крыльев пролетающих в туче орлов слышались мне вечером, а ночью дерзкие чакалы в трех шагах от меня заводили свою плачевную песню. Сегодняшним утром красно встало солнце, и сам я встал бодрее, направил бег к востоку и скоро послышал крик и выстрелы: это были твои посланцы. Утомлен жаром, зашел я напиться чистой ключевой воды в старую мечеть и там нашел Селтанету. Благодарность тебе, слава богу!

— Слава богу, хвала и тебе! — сказал, обнимая его, хан. — Но удальство твое чуть-чуть не стоило жизни твоей и вместе твоего товарища. Промедли ты день, он бы отправился плясать лезгинку на воздухе. Кстати явился ты. Джембулат, известный наездник Малой Кабарды, присылал звать тебя в набег на русских: вот достойное тебе поле. Вместо того чтоб дразнить судьбу, гоняясь за тиграми, лучше гонять русских. Тебе же надо выкупить свою славу, плененную в прошлом бегстве. Время не терпит; завтра чем свет тебе должно отправиться.

Как ни досадна была такая весть Аммалату, но он скрепя сердце отвечал, что едет охотно. Он очень чувство-

вал, что громкое имя наездника есть порука будущих успехов.

Но Селтанета поблекла, склонилась, как цветок, головою, услышав о новой, грознейшей разлуке; взор ее, остановленный на Аммалате, выражал тоску опасения, боль предчувствия беды.

— Алла! — произнесла она с горестию, — опять набеги, опять убийство! Когда-то перестанет литься кровь на угориях?

— Когда горные потоки потекут молоком и сахарный тростник заколышется на снежных вершинах, — сказал хан с усмешкою.

ГЛАВА IV

Дико-прекрасен гремучий Терек в Дарьяльском ущелии. Там, как гений, черпая силы из небес, борется он с природой. Инде светел и прям, как меч, рассекший гранитную стену, сверкает он между утесами. Инде, чернея от гнева, ревет и роется, как лютый зверь, под вековые громады: отрывает, рушит, катит вдаль их обломки. В бурную ночь, когда запоздалый всадник, завернувшись в косматую бурку, озираясь, едет по забережью, висящему над пучиною Терека, все ужасы, какие только породить может досужее воображение, ничто в сравнении с истинными, его одолевающими. С глухим шумом крутятся дождевые потоки под ногами, падают на голову со скал, нахмуренных над нею и каждый миг грозящих подавлением. Вдруг, как лава, прорывается молния, и вы с ужасом видите только черную, расторгнутую тучу над собою, а под собою зияющую бездну, утесы по сторонам, и навстречу вам с крутизны ревущий, прыщущий Терек, осыпанный огненной пеною. На один миг видите вы, как мутные, буйные волны его, словно адские духи, скачут, прядают, мечутся в бездну со стоном, пораженные мечом архангелов. Вслед им с грохотом катятся огромные камни. И вдруг, после ослепительного озарения молниею, вы опять погружены в черное море ночи; и вдруг за тем раздается выстрел грома, зыблющий основание скал, будто тысячи гор рушатся друг на друга: так вторят отголоски удару небес. Потом долгий протяжный гул, будто стон оторванных с корней дубов, или звук сокрушенных скал,

или вой раздавленных в бездне великанов, сливается с шумом ветра, и ветер превращается в ураган, и дождь низвергается ливнем. И снова молния слепит вас, и снова гром, на который отвечает вдали рокот обвалов, оглушает... камни сыплются мимо и звучно падают в воду... Испуганный конь упирается, садится назад, фыркает, трепещет, грива его хлещет в глаза всадника, и всадник творит невольную молитву...

Но зато как приветливо заглядывает утро в ущелие, на дне которого бьет, и кипит, и плещет Терек! Облака, будто раздернутый полог, клубятся от ветра, и сквозь них являются и опять исчезают ледяные вершины. Точно резные из золота, лучи солнца рисуют зубчатые силуэты вершин восточных на противоположной стене гор. Скалы блестят, еще высеребренные дождевою влагою. Ключи и горные потоки пышны пеною, летят сквозь туман с крутин, и самые туманы инде катятся вниз по ущелию, подобны потоку, инде вьются улиткой с ключа, будто дымок с хижины, инде обвивают, как чалмой, одинокую, древнюю на утесе башню, а мрачный Терек прядает по каменьям и кружится, будто ищет места успокоиться.

Должно признаться, однако ж, что на Кавказе нет вод, в кои бы достойно могли глядеться горы — исполины творения. Нет на нем рек плавных, нет огромных озер, и Терек между громадами, его теснящими, кажется ручейком. Под Владикавказом, вырвавшись на долину, он, кажется, рад вольному раздолью: ходит по ней широкими кругами, разбрасывая похищенные в горах валуны. Дальше, уклоняясь к северо-западу, он все еще быстр, но менее шумен, будто усталый, после трудного подвига. Наконец, охватив крутым поворотом мыс Малой Кабарды, он, как мусульманин, набожно обращается к востоку и, мирно напояя враждующие берега, несется то по грядам камней, то по глинистым отмелям упасть за Кизляром в чашу Каспия. Тут уже он терпит на себе челны и, как работник, ворочает огромные колеса плавучих мельниц. По правому берегу его, между холмами и перелесками, рассеяны аулы кабардинцев, которых мы смешиваем в одно название черкесов, живущих за Кубанью, или чеченцев, обитающих гораздо ниже к морю. Побережные аулы сии мирны только по имени, но в самом деле они притоны разбойников, которые пользуются и выгодами русского правления, как подданные России, и барышами грабежей,

производимых горцами в наших пределах. Имея всюду свободный вход, они извещают единоверцев и единомышленников о движении войск, о состоянии укреплений; скрывают их у себя, когда те сбираются в набег; делят и перекупают добычу при возврате, снабжают их солью и порохом русскими и нередко участвуют лично в тайных и явных набегах. Самое дурное, что, под видом этих мирных горцев, враждующие нам народы безбоязненно переплывают Терек человека по два, по три, по пяти и среди белого дня отправляются на разбой, никем не преследуемые, ибо одежда их ничем не отлична. Наоборот, сами мирные, пользуясь этою отговоркою, нападают, когда в силах, открыто на проезжих, или похищают скот и людей украдкою, рубят без пощады, или перепродают в плен далеко.

Правду сказать, местное положение их между двумя сильными соседями поневоле заставляет так коварствовать. Зная, что русские не поспеют из-за реки защитить их от мести горцев, налетающих как снег, они по необходимости, равно как по привычке, дружат однокровным, но в то же время лисят перед русскими, которых боятся.

Конечно, между ними есть несколько человек, истинно преданных русским, но большая часть даже и своим изменяет из награды, и то лишь при верном успехе, и то лишь до тех пор, покуда видит в том свою пользу. Вообще, нравственность этих мирных самая испорченная; они потеряли все доблести независимого народа и уже переняли все пороки полуобразованности. Клятва для них игрушка, обман — похвальба, самое гостеприимство — промысел. Едва ли не каждый из них готов наняться поутру к русскому в кунаки, а ночью в проводники хищнику, чтобы ограбить нового друга.

Левый берег Терека унизан богатыми станицами линейских казаков, потомков славных запорожцев. Между ними кое-где есть крестьянские деревни. Казаки эти отличаются от горцев только небритою головою: оружие, одежда, сбруя, ухватки — все горское. Мило видеть их в деле с горцами: это не бой, а поединок, где каждый на славу хочет доказать превосходство силы, храбрости, искусства. Двое казаков не струсят четверых наездников, — в равном числе всегда победители. Почти все они говорят по-татарски, водят с горцами дружбу, даже родство по похищенным взаимно женам, но в поле враги не-

умолимые. Как ни запрещено переезжать на горную сторону Терека, но удальцы отправляются туда вплавь, на охоту разного рода. В свою очередь горские хищники бродятся за Терек ночью или переплывают его на бурдюках (мехах), залегают в камыши иль под навес берега, потом перелесками пробираются к дороге, чтобы увлечь в плен беспечного путника или захватить женщин на гребле сена. Случается, что самые отчаянные проводят дня по два в виноградниках при деревне, выжидая удобного случая напасть врасплох, и оттого линейский казак не ступит на порог без кинжала, не выедет в поле без ружья за спиной: он косит и пашет вооруженный.

В последнее время большими толпами горцы стали нападать только на крестьянские деревни, ибо в станицах отпор становился им очень дорого. Для угонки табунов они смело и глубоко впадают в границы наши, но в таком случае редко обходится без битвы. Самые лихие уздени стараются попасть в подобные наезды, чтобы снискать себе имя, которое ценят они выше всякой добычи.

Осенью, в 1819 году, кабардинцы и чеченцы, ободренные отсутствием главнокомандующего, собрались в числе полуторы тысячи человек сделать нападение на какую-нибудь деревню за Тереком, ограбить ее, увезти пленников, угнать табун.

Предводителем был кабардинский князек Джембулат. Аммалат-бек, приехавший к нему с письмом от Султан-Ахмет-хана, был принят с радостию. Правду сказать, ему не дали никакого отряда, но это оттого, что у них нет никакого строя, ни порядка в войске; борзый конь и собственная запальчивость указывают каждому место в битве. Сначала сдумают, как завязать дело, как завлечь неприятеля, но потом нет ни повиновения, ни повеления, и случай доканчивает сражение. Обославшись с соседними узденями и наездниками, Джембулат назначил сборное место, и вдруг, по условному знаку, во всех ущелиях раздался крик: «Гарай! гарай (тревога)!», и в один час слетелись со всех сторон наездники чеченские и кабардинские. Во избежание измены никто не знал, кроме вождей, где будет ночлег, где переправа. Разделясь на небольшие кучки, пошли они по едва видным тропам в мирный аул, где должно было скрыться до ночи. В сумерках все отряды уже сошлись туда. Разумеется, мирные встретили своих земляков с распростертыми объятиями, но Джембулат, не

доверяя этому, оцепил селение часовыми и объявил жителям, что если кто покусится уйти к русским, будет изрублен в куски. Большая часть узденей разошлась по саклям кунаков или родственников, но сам Джембулат с Аммалатом и лучшими наездниками остался на чистом воздухе, подле разведенного огня, покуда освежались усталые их кони. Джембулат, простершись на бурке, опершись рукою об руку, раздумывал распорядок набега; но далека была мысль Аммалата от поля битвы; она орленком носилась над горами Аварии, и тяжко-тяжко ныло сердце разлукою. Звук металлических струн горской балалайки (комус), сопровождаемый протяжным напевом, извлек его из задумчивости: то кабардинец пел песню старинную.

На Казбек слетелись тучи,
Словно горные орлы...
Им навстречу, на скалы
Узденей отряд летучий,
Выше, выше, круче, круче,
Скачет, русскими разбит:
След их кровию кипит!

На хвостах полки погони;
Занесен и штык и меч;
Смертью сеется картечь...
Нет спасенья в силе, в броне...
«Бегу, бегу, кони, кони!»
Пали вы, — а далека
Крепость горного леска [1].

Сердце нашим русским мета...
На колени пал мулла —
И молитва как стрела
До пророка Магомета,
В море света, в небо света,
Полетела, понеслась:
«Иль-алла, не выдай нас».

Нет спасенья ниоткуда!
Вдруг, по манию небес,
Зашумел далекий лес:
Веет, плещет, катит грудой
Ниже, ближе, чудо, чудо!..
Мусульмане спасены
Средь лесистой крутизны!

---

[1] Редко случались примеры, чтобы мы стрелками своими могли выжить горцев из лесу, и потому лес считают они лучшею крепостью. Вся песня переведена почти слово в слово. *(Примеч. автора.)*

— Так бывало в старину, — сказал с улыбкою Джембулат, — когда наши старики больше верили молитве, а бог чаще их слушал; но теперь, друзья, лучшая надежда — своя храбрость. Наши чудеса в ножнах шушки (сабли), и нам точно должно показать их, чтобы не осрамиться. Послушай, Аммалат, — промолвил он, крутя ус свой, — не скрою от тебя, что дело может быть жаркое. Я сейчас проведал, что полковник Коцарев собрал отряд свой, но где он, но сколько у него войска, этого никто не знает.

— Чем больше будет русских, тем лучше, — отвечал Аммалат спокойно, — тем менее будет промахов.

— Зато труднее добыча!

— По мне хоть бы век ее не было: я хочу мести, ищу славы.

— Хороша лишь та слава, которая несет золотые яйца, а то, с пустыми тороками воротясь домой, стыдно жене глаза показывать. Близка зима: надобно запастись хозяйством на русский счет, чтобы угощать друзей и приятелей. Выбирай себе место, Аммалат-бек: хочешь, ступай в передовые, заскакать стадо; хочешь, останься со мной назади. Я с абреками шаг за шаг буду удерживать погоню!

— Разумеется, я буду там, где больше опасности. Но что такое абреки, Джембулат?

— Это нелегко тебе растолковать. Вот видишь, многие из самых удалых наездников иногда дают зарок года на два, на три, на сколько вздумается, не участвовать ни в играх, ни в веселиях, не жалеть своей жизни в набегах, не щадить врагов в битве, не спущать ни малейшей обиды ни другу, ни брату родному, не знать завету на чужое, не боясь преследований или мести; одним словом, быть неприятелем каждого, чужим в семье своей, которого каждый может, если сможет, убить. В ауле они опасные соседи, потому что, встречаясь с ними, надо всегда держать курок на взводе. Зато в деле на них первая надежда[1].

— Для какой же выгоды, для какой причины берут на себя уздени такую обузу?

— Одни просто из молодечества, другие от бедности, третьи с какого-нибудь горя. Вон этот, например, высокий

---

[1] Это настоящие берсеркеры древних норманнов, которые, приходя в неистовство, рубили даже товарищей. Примеры такой безумной храбрости нередки между азиатцами. *(Примеч. автора.)*

кабардинец поклялся пять лет быть абреком, после того, как любовница его умерла от оспы. С тех пор лучше водить дружбу с тиграми, чем с ним. Он уж три раза ранен в оплату за кровь, а все неймется.

— Чудный обычай! Как же воротится абрек в мирную жизнь после такой жизни?

— Что тут мудреного: старое, как с гуся вода. Соседы будут радехоньки, что срок ему кончился разбойничать; а он, скинув с себя абречество, будто змеиную шкуру, станет смирнее овна. У нас одни кровоместники помнят вчерашнее. Однако ночь стемнела; туман стелется над Тереком: пора за дело.

Джембулат свистнул, и свист его повторился во всех концах стана: вмиг собралась вся шайка. К ней присоединились многие уздени из окрестных мирных деревень. Потолковав с ними, где лучше переправиться, отряд в тишине двинулся к берегу. Аммалат-бек не мог надивиться молчаливости не только всадников, но и самих коней: ни один из них не ржал, не храпел и, будто остерегаясь, ставил копыто на землю. Отряд несся неслышным облаком; скоро добрались до берега Терека, который излучиною образовал в том месте мыс, и от него к противоположному берегу тянулась каменистая коса. Вода в то время была невысока и брод возможен; несмотря на это, часть отряда потянулась выше, для переправы вплавь, чтобы оттянуть казаков от главной переправы и прикрыть ее, ежели бы дали отпор. Те, которые надеялись на коней своих, прыгали прямо с берега. Другие подвязывали под передние лопатки по паре небольших мехов, надутых как пузыри. Быстрина сносила и разносила их, и каждый выходил на сушу, где находил удобное место, чтобы вскарабкаться коню. Непроницаемая завеса тумана скрывала все движение.

Надобно знать, что по всей горской прибрежной линии тянется маячная и сторожевая цепь. По всем курганам и возвышенностям стоят конные пикеты. Проезжая мимо днем, вы видите на каждом холме высокий шест с бочонком наверху: он полон смолой и соломою и готов вспыхнуть при первой тревоге. При этом шесте обыкновенно привязана казацкая лошадь, и подле нее лежит часовой. В ночь часовые удваиваются. Но, несмотря на такую предосторожность, черкесы, под буркой мрака и тумана, нередко малыми шайками протекают сквозь цепь, будто вода сквозь сито. Точно то же случилось и теперь: зная

совершенно местность, белады (проводники) из мирных вели каждую партию и тихомолком миновали курганы. В двух только местах хищники, чтобы прервать линию маяков, могущих изменить им, решились снять часовых. На один пост отправился сам Джембулат, а нашему беку велел ползком выбраться на берег, обогнуть пикет сзади, сосчитать сто и потом ударить несколько раз в огниво. Сказано — сделано. Чуть подняв голову с забережья, весьма крутого, Джембулат высмотрел казака, дремлющего над фитилем, держа в поводу лошадь. Послышав шорох, часовой встрепенулся и устремил беспокойные взоры на реку. Боясь, чтобы тот не заметил его, Джембулат метнул вверх шапку и припал за кряж.

— Проклятая утица! — сказал донец. — Им и ночью масленица: плещутся да летают, словно ведьмы киевские.

Но в это время искры, мелькнувшие в другой стороне, привлекли его внимание.

«Неужто волки? — подумал он. — Бывает, они крепко сверкают глазами».

Но искры посыпались снова, и он обомлел, вспомнив рассказы, что чеченцы дают такие сигналы, управляя ходом своих товарищей. Этот миг изумления и раздумья был мигом его погибели; кинжал, ринутый сильною рукою, свистнул, и пронзенный казак без стона упал на землю. Товарищ его был изрублен сонный, а вырванный шест с бочонком кинули в воду.

Быстро соединился весь отряд по данному знаку и разом устремился на деревню, на которую заранее предположено было напасть. Набег совершен был очень удачно, то есть вовсе неожиданно. Все крестьяне, которые успели вооружиться, были перебиты после отчаянного сопротивления; другие спрятались или разбежались. Кроме добычи, множество пленных и пленниц были наградой отваги. Кабардинцы вторгались в домы, уносили что поценнее или что второпях попадало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, не ломали виноградников. «Зачем трогать дар божий и труд человека», — говорили они, и это правило горского разбойника, не ужасающегося никаким злодейством, есть доблесть, которою бы могли гордиться народы самые образованные, если бы они ее имели. В час все было кончено для жителей, но не для грабителей: тревога распространилась уже по всей линии. Как утренние звезды, засверкали сквозь туман

маяки, и призыв к оружию раздавался во всех сторонах.

Между тем несколько человек опытных наездников обскакали большой табун, далеко в степи ходивший. Пастух был захвачен сразу. С криком и выстрелами бросились они потом на коней с полевой стороны; кони шарахнулись, взбросили гривы и хвосты на ветер и стремглав кинулись вслед за черкесом, которого на лихом скакуне нарочно оставили на речной стороне, чтобы он был водаком испуганного стада. Как добрый кормчий, зная и в туманах наизусть все опасности этого степного моря, черкес летел впереди прядающих коней, вился между постами и, наконец, избрав самое крутое место берега, спрыгнул в Терек со всего расскака. Весь табун за ним следом: только прыскала шумная пена от падения.

Занялась заря, расступились туманы и открыли картину вместе пышную и ужасную. Главная толпа наездников влачила с собою пленных, кого при стремени, кого за седлом, со связанными руками. Плач и стон и вопль отчаяния заглушались угрозами и неистовым криком победной радости. Отягощенные добычей, замедляемые в ходу стадами рогатого скота, они медленно подвигались к Тереку. Князья и лучшие наездники в кольчугах и шлемах, блистающих, переливающихся как вода, увивались около поезда, словно молнии из сизой тучи. Вдали со всех сторон скакали линейские казаки, залегали за дубы, за кустарники и скоро завязали перепалку с высланными против них удальцами. Там и сям сверкали, гремели выстрелы; порой падал черкес с коня. Между этим передовые успели переплавить часть стада, когда пыльное облако и топот коней возвестили, что на них несется гроза. Сот шесть горцев, предводимых Джембулатом и Аммалатом, оборотили коней, чтоб отразить нападение и дать время своим убраться за реку. Без всякого порядка, с гиком и криком пустились они навстречу казакам, но ни одно ружье не было вынуто из нагалища за спиною, ни одна шашка не сверкала в руках: черкес до последнего мгновения не обнажает оружия. И точно, доскакав лишь на двадцать шагов, они выхватили ружья свои, выстрелили на всем скаку, забросили ружья за левую руку и ударили в шашки. Но линейские казаки, ответив им залпом, понеслись прочь, и, разгоряченные преследованием, горцы дались в обман, столь часто самими употребляемый. Каза-

ки навели их на скрытых в опушке егерей храброго 43-го полка. Будто из земли выросли небольшие кареи, штыки склонились, и беглый огонь посыпался наперекрест. Напрасно, спешась, хотели они занять лески и с тыла ударить на наших, подоспевшая артиллерия решила дело. Опытный полковник Коцарев, гроза чеченцев, человек, которого они равно боялись храбрости и уважали праводушие, бескорыстие, распоряжал действиями войск, и успех не мог быть сомнителен. Пушки развеяли толпы хищников, и картечь прыснула в бегущих. Поражение было ужасно. Две пушки заскакали на мыс, невдали от которого черкесы кидались вплавь с берега, и пронизывали вдоль всю реку. С ревом прыгала картечь по вспененным волнам, и за каждым выстрелом несколько лошадей обращались вверх ногами, утопляя своих всадников. Жалко было видеть, как раненые цеплялись за хвосты и узды чужих коней, погружали их и не спасали себя; как бились усталые у крутого берега, желая выползть, обрывались, и несытая пучина уносила, поглощала их. Трупы убитых неслись между полуживыми, и кровавые полосы змеями вились по белой пене, дым катился по Тереку, и вдали снеговые вершины Кавказа, нахмуренные туманами, грозно замыкали поле боя.

Джембулат и Аммалат-бек дрались как отчаянные: двадцать раз опрокинуты и двадцать раз нападая, утомлены, но не побеждены, с сотнею удальцов переплыли они за реку, спешились, сбатовали коней[1] и завели жаркую перестрелку с другого берега, чтобы прикрыть остальных спутников. Занятые этим, они поздно заметили, что выше их плавятся за реку линейские казаки наперерез им. С радостным криком перескакивали, окружали их русские. Гибель была неизбежна.

— Ну, Джембулат! — сказал бек кабардинцу, — судьба наша кончилась! Делай сам как хочешь, но я не отдамся в плен живой. Лучше умереть от пули, чем от позорной веревки.

---

[1] Русской коннице не худо бы перенять горский образ батовать (связывать при спешивании) коней. Мы батуем, продевая повод в повод, но для этого нужно много сторожей, и лошади имеют слишком много места беситься. Черкесы, напротив, ворочают чрез одну лошадь головой к хвосту, продевают повод сквозь пахви соседней и потом уже петляют в узду третьей. От этого кони не могут шевельнуться, так что можно их оставлять без надзора. *(Примеч. автора.)*

— Не подумаешь ли ты, — возразил Джембулат, — что мои руки сделаны для цепей? Сохрани меня алла от такого поношения! Русские могут полонить мое тело, но душу — никогда, никак. Братцы, товарищи! — крикнул он к остальным, — нам изменило счастье, но булат не изменит: продадим дорого жизнь свою гяурам! Не тот победитель, за кем поле: тот, за кем слава, а слава тому, кто ценит смерть выше плену!

— Умрем! Умрем! только славно умрем! — закричали все, вонзая кинжалы в ребро коней своих, чтобы они не достались врагам в добычу, и потом, сдвинув из них завал, залегли за него, приготовляясь встретить нападающих свинцом и булатом.

Зная, какое упорное сопротивление встретят, казаки остановились, сбираясь, готовясь на удар. Ядра с противоположного берега иногда ложились в круг бесстрашных горцев; порой разрывало между них гранату, осыпая их землей и осколками, но они не смущались, не прятались и, по обычаю, запели грозно-унылым голосом смертные песни, отвечая по очереди куплетом на куплет.

СМЕРТНЫЕ ПЕСНИ

Хор

Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, алла-гу!!

Полухор

Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последнею меткою пулей
Мы покидаем Кавказ.

Здесь не цевница к ночному покою,
Нас убаюкает гром;
Очи не милая черной косою —
Ворон закроет крылом!
Дети, забудьте отцовский обычай:
Он не потешит вас русской добычей!

Второй полухор

Девы, не плачьте; ваши сестрицы,
Гурии, светлой толпой,
К смелым склоняя солнца-зеницы,
В рай увлекут за собой.

Братья, вы нас поминайте за чашей:
Вольная смерть нам бесславия краше!

Первый полухор

Шумен, но краток вешний ключ!
Светел, но где он — зарницы луч?
Мать моя, звезда души,
Спать ложись, огонь туши!
Не томи напрасно ока,
У порога не сиди,
Издалека, издалека
Сына ужинать не жди.

Не ищи его, родная,
По скалам и по долам:
Спит он... ложе — пыль степная,
Меч и сердце пополам!

Второй полухор

Не плачь, о мать! твоей любовью
Мне билось сердце высоко,
И в нем кипело львиной кровью
Родимой груди молоко;
И никогда нагорной воле
Удалый сын не изменял:
Он в грозной битве, в чуждом поле,
Постигнут Азраилом, пал.
Но кровь моя на радость краю
Нетленным цветом будет цвесть,
Я детям славу завещаю
А братьям — гибельную месть!

Хор

О братья! творите молитву;
С кинжалами ринемся в битву!
Ломай их о русскую грудь...
По трупам бесстрашного путь!
Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, алла-гу!

Поражены каким-то невольным благоговением, егеря и казаки безмолвно внимали страшным звукам сих песен, но, наконец, громкое *ура* раздалось с обеих сторон[1].

Черкесы вскочили с воплем, выстрелили в последний раз из ружей и, разбивая их о камни, кинулись на русских с кинжалами. Абреки, чтоб не разорваться в натиске, связались друг с другом поясками и так бросились в сечу. Она была беспощадна; все пало под штыками русских.

---

[1] Ур, ура — значит *бей* по-татарски. Нет сомнения, что этот крик вошел у нас в употребление со времени владычества монголов, а не со времени Петра, будто бы занявшего hurra у англичан. *(Примеч. автора.)*

— Вперед, за мной, Аммалат-бек! — вскричал неистовый Джембулат, кидаясь в последнюю для него схватку. — Вперед! Для нас смерть — свобода.

Но Аммалат уже не слышал призыва: удар сзади прикладом по голове поверг его на земь, усеянную убитыми, залитую кровью.

ГЛАВА V

ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА ВЕРХОВСКОГО К ЕГО НЕВЕСТЕ

Из Дербента в Смоленск

1819 года в октябре.

Два месяца — легко сказать! — два века ползло до меня, бесценная Мария, письмо твое! В это время луна дважды совершила свое путешествие около земли. Не поверишь, милая, как грустно мне жить без настоящего, даже в самой переписке. За воротами встречаешь казака, с трепетом сердца ломаешь печать, с восхищением целуешь строки, написанные милою ручкою, внушенные чистым сердцем твоим, с жадною радостью пожираешь очами письмо... В то время я счастлив, я вне себя. Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут. Все это прекрасно, думается, но все это *было*, а я хочу знать, что *есть*. Здорова ль, любит ли она меня теперь по-прежнему?.. О, скоро ль, скоро ль придет блаженное время, когда ни время, ни пространство не будет разлучать нас! когда выражения любви нашей не будут простывать на почте иль, наоборот, когда не станут пылать письма любовию, может быть теперь уже остывшею!! Прости, прости меня, бесценная! Все такие черные думы — припадки разлуки. Сердце близ сердца — жених всему верит, в удалении — во всем сомневается.

Ты велишь мне, то есть ты желаешь, чтобы я описывал жизнь свою день за днем, час за часом... О, какая бы грустная, скучная летопись была, если б я на то решился! Ты очень хорошо знаешь, злая женщина, что я не живу без тебя; зачем же морить меня дважды и один раз несносною разлукою? Мое бытие — след цепи на бесплодном песке. Одна служба, утомляя, если не развлекая меня, по-

собляет коротать время. Брошен в климат, убийственный для здоровья, в общество, удушающее душу, я не нахожу в товарищах людей, которые бы могли понять мои мысли, не нахожу в азиатцах, кто бы разделил мои чувства. Все окружающее меня так дико или так ограниченно, что берет тоска и досада. Скорей добудешь огня, ударяя лед о камень, чем занимательность из здешнего быта. Но мне святыня — твое желание, и я хоть в перечне представлю прозябение последней моей недели: она еще более разнообразна, чем другие.

Помнится, я уже писал, что мы возвращаемся с главнокомандующим из похода в Акушу. Мы свое справили: Ших-Али-хан бежал в Персию; мы сожгли множество деревень; спалили сена, хлеб, покушали мятежнических баранов, и, наконец, когда снег согнал непокорных с вершин недоступных, они поклонились головою, дали заложников, и вот мы поднялись в Бурную крепость. Оттуда отряд должен был разойтись по зимним стоянкам, в том числе и мой полк в свою штаб-квартиру Дербент. Назавтра главнокомандующий хотел распрощаться с нами, отправляясь в другой поход на линию, и потому народу собралось к обожаемому начальнику более обыкновенного. Алексей Петрович вышел к нам из палатки, к чаю. Кто не знает его лица, по портрету? Но тот вовсе не знает Ермолова, кто станет судить о нем по мертвому портрету. Мне кажется, ни одно лицо не одарено такою беглостию выражения, как его! Глядя на эти черты, вылитые в исполинскую форму старины, невольно переносишься ко временам римского величия; про него недаром сказал поэт:

Беги, чеченец, — блещет меч
Карателя Кубани;
Его дыханье — град картечь,
Глагол — перуны брани!
Окрест угрюмого чела
Толпятся роки боя...
Взглянул — и гибель протекла
За манием героя!

Надобно видеть его хладнокровие в час битвы. Надо любоваться им в день приемов, то осыпающего восточными цветами азиатцев, то смущающего их козни замечанием (напрасно прячут они свои коварные замыслы в самые сокровенные складки сердца: его глаз преследует,

разрывает их, как червей, и за двадцать лет вперед угадывает их мысли и дела), то дружески открыто приветствующего храбрых офицеров своих, то с величавой осанкою пробегающего ряды гражданских чиновников, приехавших в Грузию на ловлю чинов или барышей. Забавно глядеть, как все, у которых нечиста совесть, мнутся, краснеют, бледнеют, когда он вперит в них пронзительный, медленный взор свой, — вы, кажется, видите, как перед глазами у виноватого проходят взяточные рубли, а в памяти — все его бездельничества; видите, какие картины ареста, следствия, суда, осуждения и наказания рисует им воображение, забегая в будущее. Зато как он умеет отличить достоинство одним взором, одною улыбкою, наградить отвагу словом, которое идет прямо от сердца и прямо к сердцу, — ну, право, дай бог век жить и служить с таким начальником!

Но если любопытно видеть его на службе, как приятно быть с ним запросто в беседе, куда каждый из людей, отличных чином, храбростию или умом, имеет свободный доступ; там нет чинов, нет завета: всяк говори и делай что хочешь, потому что только те, которые думают и делают как *должно,* составляют общество. Алексей Петрович шутит со всеми, как товарищ, учит, как отец: он не боится, что его увидят вблизи.

По обыкновению, во время чаю один из адъютантов его читал в этот раз вслух записки наполеоновского похода в Италию — эту поэму военного искусства, как называет ее главнокомандующий. Дивились, рассуждали, спорили. Замечания Алексея Петровича были светозарны, поразительны истиною. Потом пошли гимнастические игры: беганье, прыганье через огонь, пытанье силы разными образами. Вид и вечер были прелестнейшие: лагерь раскинут был обок Тарков. Над ними висит крепость Бурная, за которую склонялось солнце; под скалою дом шамхала, потом по крутому склону город, объемлющий лагерь, и к востоку необозримая степь Каспийского моря. Татарские беки, черкесские князья, казаки с разных рек необъятной Руси, аманаты с разных гор мелькали между офицерами. Мундиры, чухи, кольчуги перемешаны были живописно; песельники, музыка гремели посреди стана, и солдаты, гордо заломив шапки набекрень, толпами гуляли вдали. Все пленяло пестротою, изумляло разнообразием, радовало свежестью, силою боевой жизни.

Капитан Бекович похвалился, что он отсечет кинжалом[1] голову буйволу, и сейчас привели две пары этих нескладных животных. Держали заклады, спорили, сомневались; капитан улыбался, взмахнул левою рукою огромный кинжал — и рогатая голова покатилась к ногам удивленных зрителей. Но за удивлением родилось желание сделать то же: давай рубить — все напрасно. В свите Алексея Петровича было много силачей и удальцов из русских и азиатцев, — но для этого нужна была не одна сила.

— Дети вы дети, — сказал главнокомандующий и встал, велел принести свою саблю, свой меч, не ударяющий дважды, как говаривал он. Притащили огромную тяжелую саблю, и Алексей Петрович, как ни был уверен в силе своей, но, подобен Улиссу в «Одиссее», намазывающему елеем лук свой, которого никто не мог натянуть, сперва попытал лезвие, раза три махнул саблей в воздухе и потом уже приступил к делу. Закладчики не успели ударить по рукам, как голова буйвола вонзилась рогами в землю. Удар был так быстр и верен, что туловище несколько минут стояло на ногах и потом тихо, тихо рухнуло. Крик изумления вырвался у всех. Алексей Петрович хладнокровно посмотрел, не иззубрилась ли сабля, стоящая несколько тысяч, и подарил ее в знак памяти капитану Бековичу.

Мы еще жужжали между собою, когда к главнокомандующему явился офицер линейских казаков с донесением от полковника Коцарева, который оставался на линии.

Прочитав рапорт, Алексей Петрович разгладил чело.

— Коцарев славно пощипал горцев, — сказал он нам. — Бездельники эти сделали набег за Терек, далеко прорвались за линию, пограбили одну деревню, но не только потеряли обратно полон, но все легли жертвою безрассудного молодечества.

Расспросив подробно есаула, как было дело, он велел привести пленников, которых нашли ранеными и оживили. Пятерых привели перед главнокомандующего.

Туча налетела на его чело, когда он их увидел; брови сошлись, очи сверкнули.

---

[1] Очень забавно неверие европейцев к тому, что кинжалом можно отрубить голову; стоит пожить неделю в Азии для убеждения в противном. Кинжал в опытной руке стоит и топора, и штыка, и сабли. *(Примеч. автора.)*

— Мерзавцы! — сказал он узденям. — Вы три раза присягали не разбойничать и три раза нарушали присягу. Чего недостает вам? Лугов ли? Стад ли? Защиты ли того и другого? Так нет, вы хотите брать с русских награды за имя мирных и добычу, наводя черкесов на наши деревни, разбойничая с ними вместе! Повесить их! — сказал он грозно. — Повесить на собственных воровских арканах. Пусть только бросят жеребий: четвертому воля, — велеть ему рассказать своим товарищам, что я приду научить их держать слово и *замирить* по-своему.

Узденей вывели.

Остался один татарский бек, и мы лишь тогда обратили на него внимание. Это был молодой человек, лет двадцати трех, красоты необыкновенной, строен, как Аполлон Бельведерский. Он слегка поклонился главнокомандующему, когда тот подошел к нему, приподнял шапку и снова принял свою гордую, хладнокровную осанку; на лице его была написана непоколебимая покорность к судьбе своей.

Главнокомандующий смотрел ему в очи грозными своими очами, но тот не изменился в лице, не опустил ресниц.

— Аммалат-бек, — сказал, наконец, ему Алексей Петрович, — помнишь ли ты, что ты русский подданный? Что над тобой стоят русские законы?

— Мне нельзя было забыть этого, — отвечал бек, — если б в них я нашел защиту прав моих, теперь бы не стоял перед вами виновником.

— Неблагодарный мальчик! — возразил главнокомандующий. — Отец твой, ты сам враждовал против русских. Будь это при персидском владении, семьи твоей не осталось бы праха, но наш государь был так великодушен, что вместо казни даровал тебе владение. И чем заплатил ты за милость? Тайным ропотом и явным возмущением! Этого мало: ты принял и скрыл у себя заклятого врага России, ты позволил ему при своих глазах предательски изрубить русского офицера! Со всем тем, если б ты принес покорную голову, я бы простил тебе за твою молодость, для обычаев ваших. Но ты бежал в горы и вместе с Султан-Ахмет-ханом злодействовал в границах русских, был разбит и снова сделал набег с Джембулатом. Ты должен знать, какая судьба ждет тебя.

— Знаю, — отвечал Аммалат-бек хладнокровно. — Меня расстреляют.

— Нет, пуля — слишком благородная смерть для разбойника, — произнес разгневанный генерал.— Арбу вверх оглоблями и узду на шею — вот тебе достойная награда.

— Все равно как ни умереть, только бы умереть скоро, — возразил Аммалат, — я прошу одной милости, не терзать меня судом, это тройная смерть.

— Ты стоишь сотни смертей, дерзкий! Но я обещаю тебе, так и быть, что завтра же тебя не станет. Нарядить военный суд, — сказал главнокомандующий, обращаясь к начальнику своего штаба. — Дело явное, улики налицо, и потому кончить все в одно заседание к моему отъезду!

Он махнул рукой, и осужденного вывели.

Участь прекрасного юноши тронула всех. Все шептались о нем, все его жалели, тем более что не было средств его спасти. Каждый очень хорошо знал и необходимость наказания за двукратную измену и неизменную волю Алексея Петровича в делах такой гласности, а потому никто не осмеливался просить за несчастного. Главнокомандующий был необыкновенно угрюм во весь остаток вечера; гости разошлись рано. Я решился замолвить за него слово, — авось, думаю, выпрошу какое-нибудь облегчение. Я отдернул полу внутренней палатки и потихоньку вошел к Алексею Петровичу. Он сидел один, подпершись обеими руками о стол, на котором лежало не дописанное им прямо набело донесение к государю. Алексей Петрович знал меня еще свитским офицером; мы знакомы с ним с Кульмского поля. Здесь он был всегда ко мне очень хорош, и потому посещение мое не могло для него быть новостию. Значительно улыбнувшись, он сказал:

— Вижу, вижу, Евстафий Иванович, ты крадешься под мое сердце! Обыкновенно ты входишь ко мне как на батарею, а теперь чуть ступаешь на цыпочках, — это недаром: я уверен, что с просьбой за Аммалата!

— Вы угадали, — отвечал я Алексею Петровичу, не зная, с чего начать.

— Садись же и потолкуем о том, — произнес он; потом, помолчав минуты две, дружески сказал мне: — Я знаю, что про меня идет слава, будто жизнь людей для меня игрушка, кровь их — вода. Самые жестокие завоеватели скрывали под личиной милосердия кровожадность свою. Они боялись ненавистной молвы, совершая ненавистные дела; но я — я умышленно создал себе такую славу, нарочно облек себя ужасом. Хочу и должен, чтобы имя

мое стерегло страхом границы наши крепче цепей и крепостей, чтобы слово мое было для азиатцев верней, неизбежнее смерти. Европейца можно убедить, усовестить, тронуть кротостию, привязать прощением, закабалить благодеяниями; но все это для азиатца несомненный знак слабости, и с ними я, прямо из человеколюбия, бываю жесток неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены. Евстафий Иванович! Многие могут не верить словам моим, потому что всякий скрывает природную злость и личную месть под отговорками в необходимости, всякий с чувствительною ужимкою говорит: «право, я бы сердечно хотел простить, но рассудите сами: могу ли я? Что ж после этого законы? Где общая польза?» Я никогда не говорю этого; на глазах моих не видят слезинки, когда я подписываю смертные приговоры, но сердце у меня обливается кровию!

Алексей Петрович был тронут; в волнении он прошелся несколько раз по палатке, потом сел и продолжал:

— Никогда со всем тем не была столь тяжка для меня обязанность наказывать, как сегодня. Кто, подобно мне, потерся между азиатцами, тот, конечно, перестал верить Лафатеру и прекрасному лицу верит не более как рекомендательному письму; но взгляд, но поступь и осанка этого Аммалата произвели на меня необыкновенное впечатление: мне стало жаль его.

— Великодушное сердце — лучший вдохновитель разума, — сказал я.

— Сердце должностного человека, любезный друг, должно быть навытяжку перед умом. Конечно, я *могу* простить Аммалата, но я *должен* казнить его. Дагестан еще кипит врагами русских, несмотря на поклоны и уверения в преданности; самые Тарки готовы подняться при первом ветре с гор; надобно пресечь эти ковы казнию и показать татарам, что никакая порода не спасет преступника, что все равны перед лицом русского закона. Прости же я Аммалата, как раз все родственники наказанных прежде станут славить, что Ермолов побоялся шамхала.

Я заметил, что уважение к обширному родству его будет иметь доброе влияние на край. Особенно шамхал...

— Шамхал — азиатец, — прервал меня Алексей Петрович, — он будет радехонек, что этот претендент на шам-

хальство отправится в Елисейские. Впрочем, я столь же мало забочусь угадывать или угождать желаниям его родственников...

Видя, что главнокомандующий поколебался, я стал его упрашивать убедительнее.

— Заставьте меня служить за троих, — говорил я, — не отпускайте этот год в отпуск, только помилуйте этого юношу. Он молод, и Россия может найти в нем верного слугу. Великодушие никогда не падает напрасно.

Алексей Петрович качал головою.

— Я уже сделал много неблагодарных, — сказал он, — впрочем, так и быть: я его прощаю, — и не вполовину: это не моя манера. Спасибо тебе, что ты помог мне решиться быть добрым, чтобы не сказать слабым. Только помни мое слово: ты хочешь взять его к себе, — не доверяйся же ему, не отогревай змеи на сердце.

Я был так рад успехом, что, поблагодаря наскоро главнокомандующего, побежал в палатку, в которой содержался Аммалат-бек. Трое часовых окружали ее, в средине горел фонарь. Вхожу, пленник лежит на бурке; на лице сверкают слезы. Он не слышал моего прихода: так глубоко погружен был в думу, — кому весело расстаться с жизнию! Я был счастлив, что мог обрадовать его в такую горькую минуту.

— Аммалат! — сказал я. — Аллах велик, а сардар милостив, — он дарует тебе жизнь!

Восхищенный осужденник вскочил, хотел было говорить, но дух занялся в груди его, и вдруг за тем тень сомнения покрыла его лицо.

— Жизнь! — произнес он. — Я понимаю это великодушие. Истомить человека в душной тюрьме без света и воздуха или заслать его в вечную зиму, в нерассветающую ночь; погрести его заживо в утробе земли и в самой могиле мучить каторгою, отнять у него не только волю действовать, не только удобства жить, но даже средства говорить с родными о печальной судьбе своей; запрещать ему не только жалобу, но даже ропот на ветер, — и это называете вы жизнию, и этою-то бесконечною пыткою хвалитесь как неслыханным великодушием! Скажите генералу, что я не хочу такой жизни, что я презираю такую жизнь.

— Ты ошибаешься, Аммалат, — возразил я, — ты прощен вполне; останешься тем же, чем был прежде, госпо-

дин своим поместьям и поступкам, — вот твоя сабля. Главнокомандующий уверен, что ты отныне будешь обнажать ее только за русских. Предлагаю тебе одно условие: поживи со мной, покуда перепадет молва о твоем похождении. Ты будешь у меня как друг, как брат родной.

Это изумило азиатца. Слезы брызнули у него из глаз.

— Русские меня победили! — вскричал он. — Простите, полковник, что я думал худо обо всех вас. С этой поры я верный слуга русскому царю, верный друг русским, душой и саблею. Сабля моя, сабля! — промолвил он, разглядывая драгоценный клинок свой, — пускай эти слезы смоют с тебя русскую кровь и татарскую нефть![1] Когда и чем могу заслужить я за жизнь, за волю!

Я уверен, милая Мария, ты сохранишь для меня за это дело один из самых сладостных поцелуев своих. Всегда, всегда поступая, чувствуя великодушно, я утешал себя мыслию: Мария меня похвалит за это! Но когда ж это будет, бесценная? Судьба нам мачеха. Твой траур длится, а мне главнокомандующий решительно отказал в отпуске, и я не сержусь, хоть очень досадую. Полк мой расстроен как только можно вообразить; к тому же мне поручены постройки новых казарм и поселение женатых рот. Уезжай я на месяц, и все пойдет вверх дном. Остаюсь; но что стоит эта жертва моему сердцу!

Вот уже мы три дня в Дербенте. Аммалат живет со мною. Молчит, грустит, дичится, но страх занимателен, несмотря на это. Он хорошо говорит по-русски; я заставил его учиться грамоте. Понятливости необычайной; со временем я надеюсь сделать из него премилого татарина.

(Окончание письма не касается нашего предмета.)

ОТРЫВОК ИЗ ДРУГОГО ПИСЬМА ПОЛКОВНИКА ВЕРХОВСКОГО К ЕГО НЕВЕСТЕ, ПОЛГОДА СПУСТЯ

Из Дербента в Смоленск

...Любимец твой Аммалат, милая Мария, скоро совсем обрусеет. Татарские беки первою степенью образования считают обыкновенно беззазорное употребление вина и свинины: я, напротив, начал перевоспитывать душу Ам-

---

[1] Для черноты и предохранения от ржавчины клинки коптят и мажут нефтью. *(Примеч. автора.)*

малата. Выказываю, доказываю ему, что есть дурного в их обычаях, что хорошего в наших; толкую истины всеместные и всевечные. Читаю с ним, приохочиваю к письму и с радостию вижу, что он пристрастился к чтению и к сочинению. Говорю пристрастился, потому что каждое его желание, прихоть, воля есть страсть пылкая, нетерпеливая. Трудно вообразить, еще труднее понять европейцу вспыльчивость необузданных или, лучше сказать, разнузданных страстей азиатца, у которого с самого младенчества одна воля была границею желаний. Наши страсти — домашние животные или хоть и дикие звери, но ручные, смирные, выученные плясать по веревке приличий, с кольцом в носу, с обстриженными когтями; на Востоке они вольны, как тигры и львы. Любопытно взглянуть на лицо Аммалата, каким заревом загорается оно при первом противоречии, каким огнем загораются очи при каждом споре; но зато, едва почувствует он свою ошибку, он краснеет, бледнеет, готов плакать. «Я виноват, — говорит он, — прости меня, тахсырумдан гичь (уничтожь вину), забудь, что я был виноват и что ты простил меня!» Он имеет предоброе сердце, но сердце, готовое вспыхнуть и от солнечного луча и от адской искры. Природа на зубок подарила ему все, чтобы быть человеком в нравственном и физическом смысле, но предрассудки народные и небрежность воспитания сделали все, чтоб изурочить, изувечить эти дары природы. Ум его — чудное смешение всяких несообразностей, мыслей самых нелепых и понятий самых здравых. Иногда он чрезвычайно быстро схватывает предметы отвлеченные, когда их просто излагают ему, и нередко упорно противится самым близким, самым очевидным истинам, оттого, что первые для него вовсе новы, а другие заслонены уже от него прежними верованиями и впечатлениями. Начинаю верить, что гораздо легче строить вновь, чем перестраивать старое.

Но отчего грустен и рассеян Аммалат наш? Он делает большие успехи во всем, что не требует последовательного размышления, постепенного развития; но когда дело коснется до далеких выводов, ум его походит на короткое ружье, которое бьет метко и сильно, только недалеко. Но полно, ум ли его виноват в том? Не поглощено ли его внимание чем-нибудь другим?.. Для двадцать третьего года возраста легко можно сказать, что такое это другое. Иногда он, кажется, внимательно слушает мои рас-

сказы, — спрошу ответа, а он будто с облаков падает; иногда застаю, что слезы градом катятся у него по лицу, говорю ему, не видит и не слышит. В прошлую ночь, наконец, он метался в беспокойном сне, и слово *Селтанет, Селтанет* (власть, власть)! вырывалось часто из уст его. Ужели властолюбие может так мучить юное сердце? Нет, нет, иная страсть волнует душу, возмущает ум Аммалата... Мне ли сомневаться в признаках божественной болезни — любви! Он влюблен; он страстно влюблен: но в кого? О, я узнаю это!.. Дружба любопытна, как женщина.

ГЛАВА VI

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАПИСОК АММАЛАТ-БЕКА

(Перевод с татарского)

...Спал ли я до сих пор или теперь во сне мечтаю?.. Так этот-то новый мир называется *мыслию!..* Прекрасный мир! Ты долго был для меня мутен и слитен, как Млечный Путь, который, говорят, составлен из тысячи тысяч сверкающих звезд! Мне кажется, я всхожу на гору познания из мрака и тумана... Каждый шаг открывает мне зренье шире и далее... Грудь моя дышит свободнее, я гляжу в очи солнцу... гляжу вниз — облака шумят под ногами!.. досадные облака! С земли вы мешаете видеть небо, с неба — разглядывать землю!

Дивлюсь, как самые простые вопросы: *отчего* и *как* не западали мне в голову прежде? Весь божий свет, со всем, что в нем есть худого и хорошего, виден был в душе моей, будто в море; только я знал о том столько же, как море или зеркало. На памяти, правда, сохранялось многое, но к чему мне служило это? Понимает ли сокол, для чего ему надевают на глаза шапочку? Понимает ли конь, для чего куют его? Понимал ли я, почему в одном месте необходимы горы, а в другом степи, там вечные снега, а там океаны песков? Для чего нужны бури и трепетания земли? И ты, всего чуднейший человек! Мне и на мысль не вспадало, чтобы следить тебя от колыбели твоей, повешенной на кочевом вьюке, до города пышного, какого я не видал, но каким, по слухам, восхищен!.. Сознаюсь, что я пленен уже одною оболочкою книги, не постигая смысла таинственных букв... Но Верховский не только манит меня к познанию, но дает и средства

присвоить их. С ним, как с матерью молодая ласточка, пытаю новые крылья... Даль и вышина еще дивят меня, но не ужасают. Придет пора, и я облечу поднебесье!..

...Однако счастливей ли я с тех пор, как Верховский и его книги учат меня мыслить? Бывало, борзый конь, дорогая сабля, меткое ружье радовали меня, как ребенка... Теперь, познав преимущества ума над телом, для меня смешна, чуть не жалка прежняя моя похвальба стрельбой и скачкою. Стоит ли посвящать себя ремеслу, в котором последний широкоплечий нукер может победить меня?.. Стоит ли полагать славу и счастье в удальстве, которого может лишить первая рана, первый неловкий скачок? У меня вырвали эту гремушку; но чем заменили ее?.. Новыми нуждами, новыми желаниями, коих не может ни утомить, ни утолить сам алла. Я считал себя важным человеком; я убедился теперь в своем ничтожестве. Прежде за памятью моего деда или прадеда начиналась для меня ночь прошлого, со своими сказками и грезами преданий... Кавказ запирал свет мой, но я спокойно спал в этой ночи. Я полагал: быть известным в Дагестане — вершина знаменитости, — и что же? История населила прежнюю пустыню мою народами, крушившими друг друга со славою, героями, изумлявшими народы доблестию, до которой никогда нам не удастся возвыситься. И где они? Полузабыты, стлели во прахе веков. И что ж? Описание земель показало мне, что татары занимают уголок света, что они жалкие дикари в сравнении с европейскими народами и что о целом составе их, не только об их наездниках, никто не думает, не знает, да и знать не хочет! Стоит ли же труда быть светляком между червями? Стоило ли напрягать ум, чтобы убедиться в такой горькой истине?

Что мне пользы в познании сил природы, когда я не могу переменить души своей, повелевать своему сердцу! Меня учат заграждать море, а я не могу удержать слезы!.. Отвожу молнию от кровли, а не могу стряхнуть кручины!! Не довольно ли я был несчастлив одними чувствами, чтобы накликать мыслей, как ястребов! Много ли выигрывает больной, узнав, что болезнь его неисцелима!.. Мучения безнадежной любви моей стали тонее, острее, разнообразнее с тех пор, как прояснел мой разум.

Нет, я несправедлив. Чтение сокращает мне долгие, как зимняя ночь, часы разлуки. Приучив меня ловить на бумагу перелетные мысли, Верховский дал мне отраду сердечную. Когда-нибудь свижусь я с Селтанетою и покажу ей эти страницы, на которых имя ее чаще, нежели имя аллы в Куране... «Вот летопись моего сердца... — скажу я ей. — Погляди сюда: в такой-то день я то-то о тебе думал, в такую-то ночь я вот как видел тебя во сне! По этим листкам, как по четкам алмазным, ты можешь счесть мои воздыхания, мои по тебе слезы. О милая, милая! ты не раз улыбнешься моим причудливым мечтам; они дадут надолго пищу разговорам нашим!.. Но возмогу ли я вспоминать прошлое, подле тебя, очаровательница?.. Нет, нет... все исчезнет тогда предо мною и вокруг меня, кроме настоящего блаженства: быть с тобою! О, как жарка и светла будет душа моя! Растопленное солнце потечет во мне, я сам буду плавать в небе, как солнце! Забвение подле тебя сладостнее самой высокой мудрости!»

Читаю рассказы о любви, о прелестях женщин, об изменах мужчин, и ни одна из них не приблизится к моей Селтанете красотою души и тела, ни на одного из них не похож сам я. Завидую любезности, уму любовников книжных, но зато как вяла, как холодна любовь их! Это луч месяца, играющий по льду! Откуда набрались европейцы фарсийского пустословия, этого пения базарных соловьев, этих цветов, варенных в сахаре? Не могу верить, чтобы люди могли пылко любить и плодовито причитать о любви своей, словно наемная плакальщица по умерших. Расточитель раскидывает сокровище на ветер горстями; любитель хранит, лелеет его, зарывает в сердце кладом!

Я молод — и спрашиваю: что такое дружба? Имею друга в Верховском, друга нежного, искреннего, предупредительного, — и не есмь друг! Чувствую, упрекаю себя, что не ответствую ему как должно, как он заслуживает; но в моей ли это воле?.. В душе нет места никому, кроме Селтанеты; в сердце нет иного чувства, кроме любви.

...Нет, не могу читать, не могу понимать, что толкует мне полковник!.. Я обманывал себя, воображая, что мне доступна лестница наук... Я утомлен на первых ступенях, теряю терпение на первом затруднении, путаю нити, вместо того чтобы развивать их, дергаю, рву, — и добыча моя ограничивается немногими обрывками. Обнадеживание полковника принял я за собственные успехи... Но кто, но что мешает этим успехам?.. То, что составляет счастие и несчастие моей жизни: любовь. Во всем, везде вижу и слышу Селтанету, и часто одну только Селтанету. Устранить ее от мысли моей почел бы я святотатством; да если б и захотел, то не мог бы исполнить этой решимости. Могу ли я видеть без света? Могу ли дышать без воздуха? А Селтанета мой свет, мой воздух, жизнь моя, душа моя!

...Рука моя дрожит, сердце рыщет в груди... Если б я писал кровью моею, она бы сожгла бумагу. Селтанета! Образ твой преследует меня во сне и наяву! Воображение твоих прелестей опаснее для меня их близости! Дума, что я никогда не буду владеть ими, касаться их, может быть видеть их, бросает меня в страстную тоску: я вместе таю и неистовствую!.. Припоминаю себе каждую милую черту твоего лица, каждое положение твоего стройного стана... и эту ножку — печать любви, и эту грудь — гранату блаженства!.. Память о твоем голосе заставляет дрожать душу, как струну, готовую порваться от высокого звука... И поцелуй твой! поцелуй, в котором я выпил твою душу!.. Он сыплет розы и уголья на одинокое ложе мое... Я сгораю; жаркие уста томятся жаждою лобзания; рука хочет обвить стан твой, коснуться твоего колена!.. О, приди... прилети... чтобы я умер от наслаждения, как теперь умираю от скуки!..

Полковник Верховский, желая всеми способами рассеять печаль Аммалата, вздумал потешить его охотою на кабанов, любимым занятием дагестанских беков.

На зов съехалось их человек двадцать, каждый со своими нукерами, каждый желая попытать счастья, погарцовать на поле, похвалиться удальством.

Седой декабрь осыпал уже верхи окрестных гор порошею. По улицам Дербента кое-где лежал ледяной череп,

по сверх его густыми волнами катилась грязь по зубристой мостовой. Лениво плескало море в затопленные башни сходящих в воду стен. Сквозь туман свистели крыльями стада стрепетов и дудаков; вереницы гусей с жалобным криком мелькали над валами, — все было мрачно и угрюмо; даже глупо-несносный рев ослов, навьюченных хворостом на продажу, походил на плач по красной погоде. Присмирелые татары сидели на базарах, завертывая носы свои в шубы.

Но такая-то погода и мила охотникам.

Едва городские муллы прокричали молитву, полковник с несколькими из своих офицеров, с городскими беками и с Аммалатом, ехал, или лучше сказать, плыл, верхом по грязи.

Поворотив к северу, все они выехали за город в главные ворота (Кырхлар-Капи), убитые железными пластами. Дорога, ведущая к Таркам, бедна видами: кое-где вправо и влево гряды марены, потом обширные кладбища и только к морю редкие виноградники. Зато виды сего предместия гораздо величавее южных. Влево, на скалах, виднелись Кефары, казармы Куринского полка, а по обеим сторонам дороги лежали в живописном беспорядке огромные камни, скаченные, сброшенные и оторванные силой вод с высот нагорных.

Лес, осыпанный инеем, густел по мере приближения к Велликенту, и на каждой версте свита Верховского возрастала прибывающими беглярами и агаларами[1].

Облава была закинута влево, и скоро послышали крик гаяльщиков, собранных с окрестных деревень. Охотники растянули цепь, кто на коне, кто спешась; скоро показались и кабаны.

Тенистые леса Дагестана, изобилующие дубами, искони служат притоном многочисленным стадам вепрей, и хотя татары, как мусульмане, считают грехом прикоснуться к нечистому животному, не только есть его мясо, но истреблять их почитают они делом достойным, по крайней мере они учатся на них стрелянью и с тем вместе показывают свое удальство, ибо преследование вепрей

---

[1] *Лар* есть множественное число всех существительных в татарском языке, а потому *бегляр* значит *беки, агалар — аги.* Русские по незнанию употребляют иногда и в единственом так же. *(Примеч. автора.)*

сопряжено с большими опасностями, требует искусства и твердости духа.

Растянутая цепь ловцов занимала большое пространство. Самые бесстрашные стрелки выбирали места самые уединенные, чтобы ни с кем не делить славы удачи и для того, что на безлюдье вернее бежит зверь.

Полковник Верховский, надеясь на свои исполинские силы и меткий глаз, забрался далеко в чащу и остановился на полянке, на которой сходилось много кабаньих следов. Один-одинехонек, прислонясь к суку обрушенного дуба, нажидал он добычи. То вправо, то влево от него раздавались выстрелы; порой мелькал вдали кабан за деревьями; наконец послышался треск валежника, и скоро потом показался необыкновенной величины вепрь, который несся через поляну, как из пушки пущенное ядро.

Полковник приложился; пуля свистнула, и раненый вепрь вдруг остановился, как будто от изумления; но это было на миг; он с остервенением кинулся на выстрел; с оскаленных клыков его дымилась пена, глаза горели кровью, и он с визгом близился к неприятелю. Но Верховский не смутился, нажидая его ближе; в другой раз брякнул курок... осечка! Отсыревший порох не вспыхнул. Что оставалось делать охотнику? У него не было даже кинжала на поясе. Бегство было бы напрасно; вблизи, как нарочно, ни одного толстого дерева; только один сухой сук возвышался от лежащего подле него дуба, и Верховский бросился на него как единственное средство спасти себя от гибели. Едва успел он взобраться аршина на полтора от земли, рассвирепелый кабан ударил в сук клыком своим; затрещал сук от удара и от тяжести, на нем висящей... Напрасно Верховский порывался вскарабкаться выше по обледенелой коре: руки его скользили, он сползал, а зверь не отходил от дерева, грыз его, поражал его своими острыми клыками, четвертью ниже ног охотника... С каждым мгновением ожидал Верховский, что он падет в жертву, и голос его умирал в пустой окружности напрасно...

Нет, не напрасно!

Конский топот раздался вблизи, и Аммалат-бек прискакал как исступленный, с поднятою шашкою. Завидя нового врага, вепрь обратился ему навстречу, но прыжок коня в сторону решил бой; удар Аммалата поверг его на землю.

Избавленный Верховский спешил обнять своего друга, но тот в запальчивости еще рубил, терзал убитого зверя.

— Я не принимаю незаслуженной благодарности! — отвечал он наконец, уклоняясь от объятий полковника. — Этот самый кабан, в глазах моих, растерзал одного табасаранского бека, моего приятеля, когда он, промахнувшись по нем, занес ногу в стремя. Я загорелся гневом, увидя кровь товарища, и пустился в погоню за кабаном. Чаща помешала мне насесть на него по следу; я было совсем потерял его, и вот бог привел меня достичь это проклятое животное, когда оно готово было поразить еще благороднейшую жертву — вас, моего благодетеля.

— Теперь мы квиты, любезный Аммалат! Не поминай про старое. Сегодня же отомстим мы зубами этому клыкастому врагу за страх свой. Я надеюсь, ты не откажешься прикушать запрещенного мясца, Аммалат?

— И даже запить его шампанским, полковник. Не во гнев Магомету, я лучше люблю закаливать душу в пене вина, чем в правоверной водице.

Облава обратилась в другую сторону: вдали слышались гай и крик и бубны гонящих татар; в другой стороне по временам раздавались выстрелы. Полковнику подвели коня, и он, любуясь надвое рассеченным кабаном, потрепал по плечу Аммалата, примолвив: «Молодецкий удар!»

— В нем разразилась месть моя, — возразил тот, — а месть азиатца тяжка!

— Ты видел, ты испытал, Аммалат, — сказал ласково полковник, — как мстят за зло русские, то есть христиане, будь же это не в упрек, а в урок тебе!

И оба поскакали к цепи.

Аммалат-бек был чрезвычайно рассеян: он то не отвечал, то невпопад отвечал на вопросы Верховского, подле которого ехал, поглядывая во все стороны... Тот, думая, что он, как горячий охотник, занят поисками, оставил его и поехал далее. Наконец, Аммалат увидел, кого ждал так нетерпеливо: к нему навстречу несся эмджек его, Сафир-Али, весь забрызган грязью, на дымящейся лошади. С восклицаниями *алейкюм селам,* оба они спрыгнули с коней и сжали друг друга в объятиях.

— Итак, ты был там, ты видел ее, ты говорил с нею?! — вскричал Аммалат, снимая с себя кафтан и задыхаясь от

торопливости. — По лицу вижу, что ты привез добрые вести, и вот тебе моя новая чуха за это[1]. Живы ли, здоровы ли, любят ли меня по-прежнему?

— Дай образумиться, — возразил Сафир-Али. — Дай хоть дух перевести. Ты насыпал столько расспросов и сам я везу столько поручений, что они столпились, как бабы у дверей мечети, и растеряли свои башмаки. Во-первых, по твоему желанью, а по моему летанью, я был в Хунзахе. Пробрался так тихо, что не спугнул ни одного дрозда с дороги. Султан-Ахмет-хан здоров и дома. Он расспрашивал о тебе, преважно качал головою и спросил, не нужно ли тебе веретена рассучивать дербентский шелк. Ханша посылает чох селаммум (много приветствий) и столько же сладких пирожков. Я выбросил их на первом привале: все изломались, проклятые. Сурхай-хан, Нуцал-хан...

— Черт их побери одним разом!.. Что же Селтанета?

— Ага, наконец дотронулся до сердечной мозоли. Селтанета, милый мой, хороша, как небо с звездами; только на этом небе я видел зарницу лишь тогда, как о тебе разговаривал. Она чуть не кинулась мне на шею, когда наедине я открыл ей причину моего приезда. Я насказал ей верблюжий вьюк от тебя приветствий, уверил, что ты с любви к ней чуть жив, бедняга... а она так и заливается слезами!

— Милая, добрая душа!! Что же велела мне сказать она?

— Спроси лучше, чего не велела! Говорит, что, с тех пор как ты уехал, она и во сне не радовалась, что зимний снег выпал на ее сердце и одно только свидание с милым, как вешнее солнце, может растопить его... Впрочем, если б мне дождаться конца ее наказов, а тебе — моих пересказов, то мы оба приехали бы в Дербент с седыми бородами. Со всем тем, она чуть не выгнала меня, торопя: ей хотелось, чтобы ты ни минуты не сомневался в ее любви!

— Бесценная девушка!.. Не знаешь ты, да и сам я не умею высказать, какое блаженство мне быть с тобою, какое мученье быть в разлуке, не видеть тебя.

---

[1] У татар непременное обыкновение отдавать вестнику чего-нибудь приятного свою верхнюю, с плеча, одежду. *(Примеч. автора.)*

— То-то и есть, Аммалат; она крепко скучает, что не может наглядеться на ненаглядного; говорит: «Неужели он не может приехать хоть на денек, хоть на часок, хоть на минуточку?»

— Взглянуть на нее и потом умереть готов бы я!

— Эй, жить захочется, когда на нее взглянешь! Присмирела она против прежнего, а все еще такой живчик, что взглянет — так кровь заиграет.

— Рассказал ли ты ей, почему нельзя мне выполнить ее воли и своего страстного желания?

— Насказал таких небылиц, что ты бы подумал, будто я стихотворец персидского шаха. Расплакалась Селтанета, словно горный ключ после дождя. Рюмит, да и все тут.

— Зачем же приводить ее в отчаяние! Нельзя теперь — не значит еще: навек невозможно. Знаешь женское сердце, Сафир-Али: конец надежде — для них конец любви!

— Сеешь слова на ветер, джаным (душа моя). Надежда у влюбленных — бесконечный клубок. С холодной кровью и глазам не верится, а полюбишь — так и чудесам станешь веровать. Я думаю, Селтанета надеялась бы, что ты из гроба прискачешь к ней, не то что из Дербента.

— Чем лучше гроба для меня этот Дербент? Не тем ли, что сердце чувствует истление и не может избежать его? Здесь один труп мой: душа далеко, далеко!

— Кажется, и ум у тебя нередко изволит гулять невесть где, любезный Аммалат! Чем тебе не житье у Верховского! Волен и доволен: любим как брат меньшой, лелеем словно невеста. Пусть так: мила твоя Селтанета; да ведь и Верховских немного. Разве нельзя принести в жертву дружбе хоть частичку любви?

— Разве я этого не делаю, Сафир-Али? Но, если б ты знал, чего мне это стоит: все равно если б я рвал на клочки сердце свое. Дружба — прекрасное дело, но она не заменит любви.

— По крайней мере она может утешить ее, может быть, помочь ей. Говорил ли ты об этом с полковником?

— Никак не решусь. Слова замирают на губах, когда вздумаю завести речь о любви своей. Он так рассудителен, что мне совестно скучать ему своим безумием; он

так добр, что я не смею употребить во зло его терпения. Правду молвить, он своею откровенностию вызывает, ободряет мою. Вообрази себе, что он влюблен от самого младенчества в женщину, с которою вырос, и, верно бы, женился на ней, если б по ошибке его не поставили в списке убитых во время войны с фиренгами. Невеста его поплакала, и, разумеется, ее выдали замуж. Вот он летит на родину и находит свою милую женою другого. Что же бы ты думал, что бы я сделал в таком случае? Вонзил кинжал в грудь похитителя сокровища... увез бы ее на край света, чтобы хоть час, хоть миг повладеть ею... или хоть в мести насладиться за отнятое счастие! Ничего не бывало. Он узнал, что соперник его предобрый и предостойный человек. Он имел хладнокровие подружиться с ним, имел терпенье быть часто с прежнею невестою и ни словом, ни делом не изменить новому другу со старою подругою!

— Редкий человек, если это не сказка, — молвил Сафир-Али с чувством, бросив повода, — твердый друг!

— Зато какой ледяной любовник! Этого мало. Чтоб избавить от толков обоих супругов, он уехал сюда на службу. Недавно, к счастию ли, к несчастию ли его, умер его приятель-соперник. И что ж? Ты думаешь, он бросился скакать в Россию? Нет, служба удержала его. Главнокомандующий сказал ему несколько слов, уверил, что он необходим здесь еще на год, и он остался, питая любовь свою бумагою. Может ли такой человек, со всей своею добротою, понять страсть мою!.. Притом, между нами столько разницы в летах, в понятиях! Он убивает меня своим недоступным достоинством; и все это холодит мою дружбу, вяжет искренность.

— Ты большой чудак, Аммалат: за то не любишь Верховского, что он всех более достоин любви и откровенности.

— Кто сказал тебе, что я не люблю его?.. Мне не любить его, моего воспитателя, моего благодетеля? Да и могу ли кого-нибудь не любить с тех пор, как люблю Селтанету? Я люблю весь свет, всех людей!

— Не помногу же достанется на брата, — сказал Сафир-Али.

— Стало бы ее не только напоить, но утопить весь мир! — возразил, улыбаясь, Аммалат.

— Ага! Вот что значит видеть красавиц без покрывала и потом ничего не видеть, кроме покрывал и бровей. Видно, тебе, как урмийскому соловью[1], надобна для песен клетка.

Так разговаривая, друзья скрылись в чаще леса.

ГЛАВА VII

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ПОЛКОВНИКА ВЕРХОВСКОГО К ЕГО НЕВЕСТЕ

Дербент, апрель.

Прилети ко мне, сердце моего сердца, милая Мария! Полюбуйся на прелестную вешнюю ночь Дагестана. Тих лежит подо мною Дербент, подобен черной полосе лавы, упавшей с Кавказа и в море застылой. Ветерок навевает мне благоухание цветущих миндальных деревьев, соловьи перекликаются в ущелье, сзади крепости; все дышит жизнию и любовью, и стыдливая природа, полная сим чувством, как невеста, задернулась дымкой туманов. И как дивно разлилось их море над морем Каспийским! Нижнее колышется, как вороненая кольчуга, верхнее ходит серебряной зыбью, озаренное полною луною, которая катится по небу, словно золотая чаша, а звезды блещут кругом нее, как разбрызганные капли. Каждый миг отражение лучей луны в парах ночи изменяет картины, упреждая самое воображение, то изумляя чудесностию, то поражая новостию. Иногда кажется, будто видишь скалы дикого берега и об них в пену разбитый прибой... Валы катятся в битву, буруны крутятся, всплески летят высоко; но безмолвно, медленно опадает волнение, и серебряные пальмы возникают из лона потопа, ветер движет их стебли, играет их долгими листьями, — и вот они распахнулись парусами корабля, скользящего по воздушному океану! Видишь, как он качается: брызги дождят на грудь его, волны скользят вдоль ребер, и где он?.. где сам я?..

Не поверишь, бесценная, какое сладостно-грустное чувство наводит на меня шум и вид моря. С ним не-

---

[1] Урмийская долина есть сад печальной, каменистой Персии. Весною это царство роз, осенью — винограда. *(Примеч. автора.)*

разлучна во мне мысль о вечности, о бесконечности, о любви нашей. Видно, сама она безгранична, как вечность. Чувствую, душа моя будто разливается и объемлет мир, подобно океану, светлыми волнами любви; она во мне и окрест меня, она единственное, великое, бессмертное во мне чувство. Искра его греет и озаряет меня в зиму горестей, в ночи сомнений. Тогда я так беззаветно люблю, так тепло верю и верую!!! Ты улыбаешься моей мечтательности, друг и подруга души моей! Ты изумляешься этому туманному наречию!.. Не вини меня. Дух мой, как жилец иного света, не может противостоять призывному мерцанию месячного луча... отрясает могильный прах, разыгрывается и, как луч месяца, обрисовывает все предметы тускло, неопределенно. Впрочем, ты знаешь, что к одной тебе пишу я все, что ни вспадет на стекло моего волшебного фонаря-сердца, уверенный, что сердцем, а не привязчивым умом будешь ты разгадывать сказанное. Притом, в августе месяце счастливый жених твой будет лично пояснять все темные места в своих письмах. Не могу вздумать без восхищения о минуте встречи нашей!.. Я считаю песчинки часов, разлучающие нас, считаю версты, между нами лежащие. Итак, в половине июня ты будешь на Кавказских водах? Итак, лишь одна ледяная цепь Кавказа останется между двумя пылкими сердцами... Как близко и как еще неизмеримо далеко будем мы друг от друга! О, сколько бы лет жизни отдал я, чтобы приблизить час свидания! Души наши обручены так давно... для чего ж разлучены доселе?..

Аммалат мой скрытен и недоверчив. Я не виню. Я знаю, как трудно переломить привычки, всосанные с матерним молоком и с воздухом родины. Варварский деспотизм Персии, столь долго владевший Адербиджаном, воспитал в кавказских татарах самые низкие страсти, ввел в честь самые презрительные происки. Да могло ли быть иначе в правлении, основанном на размене крупного деспотизма на мелкий, где и самая справедливость суда поражает украдкою, где хищение есть преимущество власти?.. Делай со мною, что хочешь, но позволь мне делать с нижними, что я хочу, — вот азиатское управление, честолюбие и нравственность. От этого каждый, находясь между двумя врагами, привыкал прятать свои мысли, как свои деньги. От этого каждый старался лукавить перед сильным, чтобы добыть через него силу, и перед богатым,

чтобы выжать из него взятку угнетением или доносом. От этого здешний татарин не скажет слова, не ступит шага даром, не подарив огурца без надежды получить за него отдарка. Грубый до дерзости с каждым, кто не облечен властию, он плашмя перед чином, перед полным карманом. Горстями сыплет лесть, отдает вам дом, детей, душу свою, для того чтоб словами уклонить от себя дело, и если делает услугу, то верно по расчету. В делах денежных (это самая слабая сторона татар) червонец есть камень преткновения: трудно вообразить, до какой степени падки они до выгод! Армяне тысячу раз ниже их в характере, но едва ли они уступят им в продажности, в корыстолюбии... Et c'est tout dire[1]. Мудрено ли же, что, с младенчества видя такие примеры, Аммалат хотя и сохранил в себе свойственное благородной крови отвращение ко всему низкому, но принял скрытность как необходимое оборонительное оружие противу явных злодеев своих и тайных недоброхотов? Священные узы родства почти не существуют для азиатца. У них сын — раб своего отца, брат — его соперник. Нет доверия к ближнему, потому что нет верности ни в ком. Ревность к женам и подозрение в подысках задушают братство и дружество. Ребенок, воспитанный матерью-невольницею, не знающий ласки отца и потом задушенный арабскою грамотою, скрывается в самом себе даже и от товарищей; с первых ногтей заботится только о себе. С первым пухом на бороде для него закрыты все двери и все сердца: мужья смотрят на него искоса, женщины бегут, как от зверя, и первые, самые невинные движения его сердца, первый голос человечества, первое стремление природы — суть уже преступления перед изуверским магометанством. Он не смеет открыть их родному, доверить приятелю... Он должен даже плакать тайно от других.

Все это говорю я, милая Мария, в извинение Аммалату: полтора года живет он у меня и до сих пор не открылся мне, кого любит, хотя очень мог видеть, что не из пустого любопытства, а из душевного участия хотел я вызнать тайны его сердца. Наконец он рассказал мне все, и вот как это случилось.

Вчерась я выехал с Аммалатом прогуляться за город. Мы поднялись по ущелию в гору, на запад; далее и да-

[1] И этим все сказано *(фр.)*.

лее, выше и выше, мы незаметно очутились подле деревни Кемек, рядом с которою видна уже стена, защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы. Дербентская летопись (Дербент-наме) приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку какому-то Исфендиару; вот начало молвы, передавшей сей труд Искендару, то есть Александру Великому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван отрыл, возобновил ее, поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Осталось поверье, будто стена эта от Каспия шла до Черного моря[1], пересекая весь Кавказ, имея крайними *железными воротами* Дербент, а средними Дарьял; но это более чем сомнительно вообще, хотя несомненно в частном. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущелиями до Военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется, по Мингрелии, нет никаких признаков продолжения.

Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древних даже в самых безумных прихотях деспотизма, величию, до которого достигнуть не дерзают и мыслию, не только исполнением, нынешние женоподобные властители Востока. Чудеса Вавилона, Меридово озеро, пирамиды фараонов, бесконечная ограда Китая и эта стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий, — свидетели железной, исполинской воли и необъятной власти прежних царей. Ни время, ни землетрясения не могли совершенно разрушить трудов тленного

[1] Я убежден, что Кавказские ворота древних, Железные ворота русских историков, находились не в Дербенте, а в Дарьяле (Дал-юл — узкая дорога, теснина). Что восточные историки называли иногда Дербент Темир-капи, это не доказательство: они и двадцать других городов величали тем же именем; а ныне, вопреки рассказам иных вторящих одно и то же путешественников, в целой Азии никто не знает Дербента под названием Железных ворот. Плиний описывает Дарьял очень подробно. Прокоп называет оный Каспийскими воротами, но, видимо, разумеет Дарьял, а не Дербент. И, наконец, хан половецкий, разбитый Мономахом, ушел в Абазинскую землю за Железные ворота, следственно, за Дарьял, а не Дербент, ибо через сей последний нет средства пробраться в Абхазию. Грузинские летописи приписывают построение Дарьяльского замка Мирвану, царю своему; Прокоп отдает эту честь Александру, сыну Филиппа!!! *(Примеч. автора.)*

человека, и пята тысячелетий не совсем раздавила, не совсем втоптала в землю останки древности незапамятной. Места эти возбуждали во мне еще благоговейные думы... Я бродил по следам великого Петра, я воображал его, основателя, преобразователя юного царства, на сих развалинах дряхлеющих царств Азии, из среды коих вырвал он Русь и мочной десницею вкатил в Европу. Какой огонь сверкал тогда в орлином взоре его, брошенном с выси Кавказа! Какие гениальные думы звездились в уме, какие святые чувства вздымали геройскую грудь! Великая судьба отечества развивалась перед его очами, вместе с горизонтом; в зеркале Каспия зрелась ему картина будущего благоденствия России, им посеянного, окропленного кровавым его потом. Не пустые завоевания, но победа над варварством, но благо человечества были его целью. Дербент, Бака, Астрабат — вот звенья цепи, которою хотел он опутать Кавказ и связать торговлю Индии с русскою. Полубог севера! Ты, которого создала природа, чтобы польстить гордости человека и привести в отчаяние недоступным величием! Твоя тень возникла передо мной, огромна и лучезарна, и водопад веков, казалось, рассыпался в пену у твоих стоп[1]. Задумчив и безмолвен ехал я далее.

Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещины, в спаи, раздирают камни корнями деревьев, из них проросших, и в союзе с дождями низвергают долу громады, и по развалинам всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натасканные туда чакалами. Инде исчезал вовсе след развалин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и проехали на южную сторону, сквозь свод, по-

---

[1] Татары с уважением вспоминают Петра. Угловая комната, в которой жил он в ханском доме в крепости Дербента, сохранялась, как она была при нем. Русские все переделали: не пощадили даже окна, из которого любовался он морем. Петр оставил здесь майора Туркула, родом венгерца, который усовершил виноделие; теперь нет в Дербенте даже порядочного уксусу!!! *(Примеч. автора.)*

дернутый мохом и заросший кустарником. Не успели мы сделать двадцать шагов, как вдруг, за огромною и высокою башнею, наткнулись на шестерых вооруженных горцев, по всем приметам принадлежащих к разбойничьим шайкам вольных табасаранцев. Они лежали в тени, близ пасущихся коней своих. Я обомлел. Я тогда только раздумал, как безрассудно поступил, заехав так далеко от Дербента без конвоя. Скакать назад было невозможно по кустам и каменьям; драться с шестерыми удальцами было бы отчаянно; со всем тем я схватился за седельный пистолет; но Аммалат-бек, увидев, в чем дело, опередил меня, сказав тихо: «Не беритесь за оружие, или мы погибли».

Разбойники, заметив нас, вскочили и выправили ружья; только один широкоплечий, видный, с самым зверским лицом лезгин остался лежащим на земле; он хладнокровно приподнял голову, посмотрел на нас и махнул своим рукою. В одну минуту мы очутились в кругу их, между тем как узкая тропа вперед заграждена осталась атаманом.

— Прошу долой с коней, милые гости, — произнес он, улыбаясь; но видно было, что вторым приглашением будет пуля. Я мешкал, но Аммалат-бек проворно соскочил с коня и прямо пошел к атаману.

— Здорово, — сказал он ему, — здорово, сорвиголова! Не чаял я тебя видеть; я думал, из тебя уже давно черти лапшу сделали.

— Скоро ездишь, Аммалат-бек, — отвечал тот. — Я надеюсь еще выкормить здешних орлов телами русских и вашей братьи татар, у которых киса больше, чем сердце.

— Ну что, какова ловля, Шемардан? — спросил небрежно Аммалат-бек.

— Было плохо. Русские сторожки, и разве с лезвия случалось угнать полковой табун или продать в горы человек двух солдат. С мареной и шелком гро́моздко возиться, а персидских тканей стали мало возить на арбах. Приходилось и сегодня порыскать и повыть даром поволчьи, да, спасибо, аллах смилостивился: в руки дал богатого бека и русского полковника!

У меня замерло сердце, когда я услышал эти слова.

— Не продавай сокола в небе, — возразил Аммалат, — продавай, когда посадишь его на перчатку.

Разбойник сел, схватился за курок ружья и устремил на нас проницательные взоры.

— Послушай, Аммалат, — сказал он. — Неужели вы думаете убежать от меня? Неужто дерзнете защищаться?

— Будь покоен, — возразил Аммалат. — Что мы за глупцы — идти двум на шестерых? Любо нам золото, однако душа дороже. Попались, так нечего делать; лишь бы ты не заломил беспутной цены за выкуп. У меня, сам ты знаешь, ни отца, ни матери, а у полковника и подавно ни роду, ни племени.

— Нет отца, так есть наследство от отца. Ведь мне с тобою не роднею считаться. Впрочем, я человек совестливый: нет червонцев, так я возьму и баранами; а про полковника ты не пой мне песен: я знаю, что за него отдадут все солдаты последнюю пуговицу с мундира. Уж коли за Швецова[1] дали выкупу десять тысяч рублевиков, за этого дадут и больше. Впрочем, увидим, увидим! Коли будете смирны... Я ведь не джеуд (жид) какой, не людоед, первиадер (всевышний) прости.

— Ну, то-то же, приятель, корми да пои нас хорошенько, так присягу даю и честью моей заверяю, мы не задумаем ни бить тебя, ни бежать от тебя.

— Верю, верю! Люблю, что без шуму дело сладили. Какой ты молодец стал, Аммалат: конь не конь, ружье не ружье, загляденье, да и только! Покажи-ка, друг, кинжал свой? Верно, кубачинская насечка на ножнах?

— Нет, кизлярская, — отвечал Аммалат, покойно растягивая поясок кинжала. — Да клинок-то посмотри: диво! Гвоздь пополам, словно свечу. На этой стороне имя мастера; на, хоть сам читай: Али-уста Казанищский.

И между тем он повертывал обнаженным клинком перед глазами жадного лезгина, который хотел показать, что знает грамоте, и со вниманием разбирал связную надпись...

Но вдруг кинжал сверкнул как молния: Аммалат, улуча миг, рубнул Шемардана по голове со всего размаху, и удар был столь жесток, что кинжал остановился в зубах нижней челюсти. Труп рухнул на траву. Не сводя глаз с Аммалата, я последовал его примеру и положил из пистолета ближнего ко мне разбойника, державшего за узду моего коня. Это было знаком к бегству остальных

---

[1] За Швецова — полковник Швецов был выкуплен офицерами Кавказского корпуса. *(Примеч. автора.)*

бездельников, как будто со смертью атамана расторгся узел своры, на которую были они привязаны.

Между тем как Аммалат, по азиатскому обычаю, снимал с убитых оружие и связывал вместе повода оставленных коней, я выговаривал ему за его притворство и клятвы перед разбойником. Он с удивлением поднял голову:

— Чудный вы человек, полковник, — возразил он мне. — Этот злодей наделал исподтишка русским тьму вреда, то пожигая стоги сена, то уводя в плен одиноких солдат-дровосеков! Знаете ли, что он бы замучил, истиранил нас, для того чтобы мы пожалобнее писали к своим и тем более дали выкупу.

— Все это так, Аммалат, — сказал я, — но лгать, но клясться не должно ни в шутке, ни в беде. Разве не могли мы прямо кинуться на разбойников и начать тем, чем кончили?

— Нет, полковник, не могли. Если б я не заговорил атамана, нас бы при первом движении пронзили пулями. Притом, я знаю эту сволочь весьма хорошо: они храбры только в глазах атамана, и с него надобно было начать расправу.

Я качал головою. Азиатское коварство хотя и спасло меня, но не могло мне понравиться. Какую веру могу я иметь к людям, привыкшим играть честью и душою?

Мы собрались было садиться на коней, когда услышали стон раненного мною горца. Он очнулся, приподнялся и жалобно умолял нас не покидать его на съеденье зверям лесным. Мы оба кинулись помогать несчастному, и каково было удивление Аммалата, когда он узнал в нем одного из нукеров Султан-Ахмет-хана Аварского. На вопрос, как он попал в шайку разбойников, он отвечал:

— Шайтан соблазнил меня. Хан послал меня в соседнюю деревню Кемек, с письмом к славному гакиму (доктору) Ибрагиму, за какой-то травой, что, говорят, всякую болесть как рукой снимает. На беду повстречал меня на дороге Шемардан! Пристал: поедем да поедем со мной наездничать, из Кубы едет армянин с деньгами. Не утерпело сердце молодецкое... Ох, алла, гиль алла! Вынул он из меня душу.

— Тебя послали за лекарством, говоришь ты? — спросил Аммалат. — Да кто же у вас болен?

— Наша ханум Селтанета при смерти; вот и писанье к лекарю про болезнь ее.

При этом слове он отдал Аммалату серебряную трубочку, в которую вложена была свитая бумажка.

Аммалат побледнел как смерть; руки его дрожали, очи скрылись под бровями, когда пробегал он записку... Прерывающимся голосом повторял он несвязные слова:

— Не ест, не спит уже три ночи... бредит! Жизнь ее в опасности, спасите! Боже правды! А я здесь веселюсь, праздничаю, в то время как душа души моей готова покинуть землю и оставить меня тлеющим трупом! О, да падут на голову мою все ее болезни[1], да лягу я в гроб, если этим искупится ее здоровье! Милая, прелестная девушка! Ты вянешь, роза Аварии, и на тебя простерла судьба свои железные когти! Полковник! — вскричал он наконец, схватив меня за руку. — Исполните мою единственную священную просьбу: позвольте мне хоть еще однажды взглянуть на нее...

— На кого, друг мой?

— На мою бесценную Селтанету, на дочь хана Аварского, которую люблю более, чем жизнь, чем душу свою... Она больна, она умирает, может быть уже умерла теперь, когда я теряю слова даром! И не я принял в сердце последний взор, последний вздох ее, не я отер ледяную слезу кончины. О, зачем угли разрушенного солнца не падут на мою голову, зачем не погребет меня земля в своих развалинах?

Он упал на грудь мою и, задушенный тоскою, рыдал без слез, не могши промолвить слова.

Не время было упрекать его в недоверчивости, еще менее представлять причины, по которым ему бы неприлично было ехать ко врагу русских. Есть обстоятельства, пред которыми рассыпаются в прах все приличия, и я чувствовал, что Аммалат находился в подобных. На свой страх решился я отпустить его. Кто обязывает от чистого сердца и скоро, тот обязывает дважды, — моя любимая пословица и твердое правило. Я сжал в объятиях тоскующего татарина, и слезы наши смешались.

— Друг Аммалат! — сказал я, — спеши, куда зовет тебя сердце. Дай бог, чтобы ты привез туда выздоровление, а оттуда покой душевный... Счастливый путь!

---

[1] Это самое нежное выражние татарских песен и самый обязательный привет женщине. *(Примеч. автора.)*

— Прощайте, благодетель мой! — произнес он, тронутый. — И, может быть, навек. Я не ворочусь к жизни, если алла отнимет у меня Селтанету. Бог да хранит вас!

Мы завезли раненого аварца к гакиму Ибрагиму, взяли у него по рецепту ханскому травы целительной, и через час Аммалат-бек с четырьмя нукерами выехал уже из Дербента.

Итак, загадка разгадалась: он любит. Это плохо, а еще того хуже, что он любим взаимно. Я вижу, милая, я слышу твое изумление. «Может ли то быть нечастием для другого, чего ждешь ты для себя как благополучия?..» — спрашиваешь ты. Одно зернышко терпения, ангел души моей! Хан, отец Селтанеты, — непримиримый враг России, тем более что, будучи взыскан царскими милостями, он изменил оным; следственно, брак возможен только в таком случае, если Аммалат изменит русским или хан смирится перед ними и будет прощен; обе вещи малосбыточные. Я сам испытал горе, безнадежное в любви; я много пролил слез на уединенное изголовье мое и сколько раз жаждал могильной тени, чтобы простудить в ней бедное сердце! Могу ли же не жалеть юноши, которого люблю бескорыстно, который любит безнадежно! Но это не намостит мосту к счастью, и потому думаю, что если б он не имел несчастья быть любимым взаимно, он бы понемногу забыл ее.

«Однако, — говоришь ты (и мне кажется, я слышу твой серебристый голос, любуюсь твоей ангельскою улыбкою), — однако обстоятельства могут перемениться для них, как они переменились для нас. Неужели одно несчастие имеет привилегию быть вечным на свете?» Не спорю, милая, но со вздохом признаюсь: сомневаюсь... даже боюсь и за них и за нас. Судьба улыбается нам, надежда поет сладкие песни, но судьба — море, надежда — сирена морская; опасна тишина первого, гибельны обеты второй. Все, кажется, споспешествует нашему соединению, но вместе ли мы? Не понимаю, отчего, милая Мария, холод вникает в грудь вместе с самыми жаркими мечтами о будущем блаженстве и мысль о свидании потеряла свою определенность!.. Но это все минет, все обратится в наслаждение, когда я прижму твою ручку к устам своим, твое сердце к своему сердцу!! Ярче сверкает радуга на черном поле туч, и самые счастливейшие мгновения суть междометия горести.

ГЛАВА VIII

Аммалат загнал двух коней и бросил на дороге нукеров своих; зато к концу другого дня был уже невдалеке от Хунзаха. С каждым шагом росло его нетерпение, и с каждым мигом увеличивался страх не застать в живых свою милую. Он затрепетал, когда показались ему из утесов верхи башен ханского дома... В глазах померкло. «Жизнь или смерть встречу я там!» — молвил он в самом себе и скрепя сердце удвоил бег коня.

Он настиг всадника, вооруженного с головы до ног; другой всадник ехал из Хунзаха ему навстречу, и едва завидели и разглядели они друг друга, пустили коней вскачь, съехались, соскочили на землю и вдруг, обнажив сабли, с ожесточением кинулись друг на друга, не вымолвя ни одного слова, как будто бы удары были обычным дорожным приветствием.

Аммалат-бек, которому они заградили узкую тропинку между скал, с изумлением смотрел на бой двух противников; он был короток. Попутный всадник упал на камни, обливая их кровью из разверстого черепа; победитель хладнокровно отирая полосу, обратил слово к Аммалату.

— Кстати приход твой! Я рад, что судьба привела тебя в свидетели нашего поединка. Бог, а не я, убил обидчика, и теперь родные его не скажут, что я умертвил врага украдкою из-за камня, не подымут на мою голову мести крови.

— За что встала ссора у тебя с ним? — спросил Аммалат. — За что заключил ты ее такой ужасною местью?

— Этот харамзада, — отвечал всадник, — не поладил со мной за подел грабленых баранов, в досаде мы всех их перерезали: не доставайся же никому... И он дерзнул выбранить жену мою. Пускай бы он лучше опозорил гроб отца и доброе имя матери, нежели тронул славу жены! Я было кинулся на него с кинжалом, да нас розняли; мы стакнулись при первой встрече рубиться, и вот аллах рассудил нас. Бек, верно, едет в Хунзах, верно, в гости к хану? — примолвил всадник.

Аммалат, заставляя своего коня перепрыгнуть через труп, лежащий поперек дороги, отвечал утвердительно.

— Не в пору едешь, бек, очень не в пору!

Вся кровь кинулась в голову Аммалата.

— Разве в доме хана случилось какое несчастье? — спросил он, удерживая коня, которого за миг прежде ударил плетью, чтобы скорей домчаться до Хунзаха.

— Не то чтобы несчастье: у него крепко была больна дочь Селтанета, и теперь...

— Умерла? — вскричал Аммалат, бледнея.

— Может быть и умерла; по крайней мере умирает. Когда я проезжал мимо ханских ворот, на дворе поднялась такая беготня и плач и вой женщин, будто русские берут Хунзах приступом... Заезжай, сделай милость...

Но Аммалат уже не слышал ничего более; он стремглав ускакал от удивленного узденя, только пыль катилась дымом с дороги, словно зажженной искрами, сыплющимися из-под копыт. Быстро прогремел он по извилистым улицам, взлетел на гору, спрыгнул с коня середи двора ханского и, задыхаясь, пробежал по переходам до комнаты Селтанеты, опрокидывая, расталкивая нукеров и прислужниц, и, наконец, не приметив ни хана, ни жены его, прорвался до самого ложа больной и почти без памяти упал при нем на колени.

Внезапный, шумный приход Аммалата возмутил печальное общество присутствующих.

Селтанета, в которой кончина пересиливала уже бытие, будто проснулась из томительного забытья горячки; щеки ее горели обманчивым румянцем, как осенний лист перед паденьем, в туманных глазах догорали последние искры души; уже несколько часов была она в совершенном изнеможении; безгласна, неподвижна, отчаянна. Ропот неудовольствия в окружающих и громкие восклицания исступленного Аммалата, казалось, воротили отлетающий дух больной... Она вспрянула... Глаза ее заблистали...

— Ты ли это, ты ли?! — вскричала она, простирая к нему руки. — Аллах берекет!.. Теперь я довольна! Я счастлива, — промолвила она, опускаясь на подушки.

Улыбка сомкнула уста ее, ресницы упали, и она снова погрузилась в прежнее беспамятство.

Отчаянный Аммалат не внимал ни вопросам хана, ни выговорам ханши; никто, ничто не отвлекало его внима-

кия от Селтанеты, не исторгало из скорби глубокой. Его насилу могли вывести из комнаты больной. Прильнув к ее порогу, он рыдал неутешно, то умоляя небо спасти Селтанету, то обвиняя, укоряя его в ее болезни. Трогательна и страшна была тоска пылкого азиатца.

Между тем появление Аммалата произвело на больную спасительное влияние. То, чего не могли или не умели сделать горные врачи, произошло от случая. Надобно было пробудить онемевшую жизненную деятельность сильным колебанием, — без этого она погибла бы, не от болезни, уже затихшей, но от изнеможения, как лампа, гаснущая не от ветра, но от недостатка воздуха. Наконец молодость взяла верх; после перелома жизнь опять разыгралась в сердце умиравшей. После долгого, кроткого сна она пробудилась с обыкновенными силами, с свежими чувствами.

— Мне так легко, матушка, — сказала она ханше, весело озираясь, — будто я вся из воздуха. Ах, как сладостно отдохнуть от болезни; кажется, и стены мне улыбаются. Да, я была очень больна, долго больна; я много вытерпела; теперь, слава аллаху, я только слаба, это пройдет скоро; я чувствую, что здоровье, как жемчуг, катится у меня по жилам. Все прошлое представляется мне в каком-то мутном сне. Мне виделось, будто я погружаюсь в холодное море и сгораю жаждою; вдали носились, будто во мраке и в тумане, две звездочки; тьма густела и густела; я погрязала ниже и ниже. И вдруг показалось мне, что кто-то назвал меня по имени и могучею рукою выдернул из леденеющего, безбрежнего моря... Лицо Аммалата мелькнуло передо мной, словно наяву, звездочки вспыхнули молниею, и она змеей ударила мне в сердце; больше не помню...

На другой день Аммалату позволили видеть выздоравливающую.

Султан-Ахмет-хан, видя, что от него не добиться путного ответа, покуда сомнение не стихнет в душе, кипучей страстью, склонился на его неотступные просьбы.

— Пускай все радуются, когда я радуюсь, — сказал он и ввел гостя в комнату дочери.

Селтанету предупредили, но со всем тем волнение в ней было чрезвычайно, когда очи ее встретились с очами Аммалата, столь много любимого, столь долго и напрасно ожидаемого. Оба любовника не могли вымолвить слова,

но пламенная речь взоров изъяснила длинную повесть, начертанную жгучими письменами на скрижалях сердца. На бледных щеках друг друга прочитали они следы тяжких дум и слез разлуки, следы бессонницы и кручины, страхов и ревности. Пленительна цветущая краса любимой женщины; но ее бледность, ее болезненная томность — очаровательны, восхитительны, победны! Какое чугунное сердце не растает от полного слез взора ее, который без упрека, нежно говорит вам: «Я счастлива, я страдала от тебя и для тебя!»

Слезы брызнули из глаз Аммалата, но, вспомнив наконец, что он тут не один, он оправился, поднял голову, но голос отказывался вылиться словом, и он насилу мог сказать:

— Мы очень давно не видались, Селтанета!

— И едва не расстались навечно, — отвечала Селтанета.

— Навечно? — произнес Аммалат полуукорительным голосом. — И ты могла думать это, верить этому? Разве нет иной жизни, жизни, в которой неведомо горе, ни разлука с родными и с милыми? Если бы я потерял талисман своего счастия, с каким бы презрением сбросил я с себя ржавые, тяжкие латы бытия! Для чего бы мне тогда сражаться с роком?

— Жаль, что я не умерла, коли так, — возразила Селтанета шутя, — ты так заманчиво описываешь замогильную сторону, что хочется поскорее перепрыгнуть в нее.

— О нет, живи, живи долго, для счастия, для... — *любви* хотел примолвить Аммалат, но покраснел и умолкнул.

Мало-помалу розы здоровья опять раскинулись на щеках довольной присутствием милого девушки. Все опять пошло обычной чередою.

Хан не уставал расспрашивать Аммалата про битвы и походы и устройство войск русских; ханша скучала ему спросами о платьях и обычаях женщин их и не могла пропустить без воззвания к аллаху ни одного раза, слыша, что они ходят без туманов. Зато с Селтанетой находил он разговоры и рассказы прямо по сердцу. Малейшая безделка, друг до друга касающаяся, не была опущена без подробного описания, повторения и восклицания. Любовь, как Мидас, претворяет все, до чего ни коснется, в золото

и ах! часто гибнет, как Мидас, не находя ничего вещественного для пищи.

Но с крепнущими силами, с расцветающим здоровьем Селтанеты на чело Аммалата чаще и чаще стали набегать тени печали. Иногда вдруг середи оживленного разговора он останавливался незапно, склонял голову, и прекрасные глаза его подергивались слезною пеленою, и тяжкие вздохи, казалось, расторгали грудь; то вдруг он вскакивал, очи сверкали гневом, он с злобной улыбкою хватался за рукоять кинжала и после того, будто пораженный невидимою рукою, впадал в глубокую задумчивость, из которой не могли извлечь его даже ласки обожаемой Селтанеты.

Однажды, в такую минуту, любовники были глаз на глаз. С участьем склонясь на его плечо, Селтанета молвила:

— Азиз (милый), ты грустишь, ты скучаешь со мной?

— Ах, не клевещи на того, кто любит тебя более неба, — отвечал Аммалат, — но я испытал ад разлуки и могу ли без тоски вздумать о ней. Легче, во сто раз легче мне расстаться с жизнию, чем с тобою, черноокая!

— Ты думаешь об этом... стало быть, желаешь этого.

— Не отравляй моей раны сомнением, Селтанета. До сих пор ты знала только цвести, подобно розе, порхать, подобно бабочке; до сих пор твоя воля была единственною твоею обязанностью. Но я мужчина, я друг; судьба сковала на меня цепь неразрешимую, цепь благодарности за добро; она влечет меня к Дербенту.

— Долг! Обязанность! Благодарность! — произнесла Селтанета, печально качая головою. — Сколько золотошвейных слов изобрел ты, чтобы ими, как шалью, прикрыть свою неохоту остаться здесь. Разве не прежде ты отдал душу свою любви, нежели дружбе?.. Ты не имел права отдавать чужое! О, забудь своего Верховского, забудь русских друзей и дербентских красавиц!.. Забудь войну и славу, добытую убийствами. Я ненавижу с тех пор кровь, как увидела тебя, ею облитого. Не могу без содрогания вздумать, что каждая капля ее стоит неосушимых слез сестре, или матери, или милой невесте. Чего недостает тебе, чтобы жить мирно, покойно в горах наших? Сюда никто не придет возмутить оружием счастия душевного. Кровля наша не каплет, плов у нас не купленного пшена, у отца моего много коней и оружия, много

казны драгоценной; у меня в душе много любви к тебе. Не правда ли, милый, ты не едешь, ты останешься с нами?

— Нет, Селтанета, я не могу, я не должен здесь остаться! С тобою одной провести жизнь, для тебя кончить ее — вот моя первая мольба, мое последнее желанье; но исполнение обоих зависит от отца твоего. Священный союз связывает меня с русскими, и, покуда хан не примирится с ними, явный брак с тобою мне невозможен... и не от русских, но от хана...

— Ты знаешь отца моего, — грустно сказала Селтанета, — с некоторого времени ненависть к неверным усилилась в нем до того, что он не пожалеет принести ей в жертву и дочь и друга. Особенно он сердит на полковника за то, что убил его любимого нукера, посланного за лекарством к гакиму Ибрагиму.

— Я уже не раз заводил речь с Ахмет-ханом о моих надеждах, и всегдашним ответом его было: поклянись быть врагом русских, и тогда я выслушаю тебя.

— Стало быть, надобно сказать *прости* надежде?

— Зачем же надежде, Селтанета! Зачем не сказать только *прости, Авария!*

Селтанета устремила на него свои выразительные очи.

— Я не понимаю тебя, — произнесла она.

— Полюби меня выше всего на свете: выше отца и матери и милой родины, и тогда ты поймешь меня. Селтанета! жить без тебя я не могу, а жить с тобою не дают мне... Если ты любишь меня, бежим отсюда!..

— Бежать, дочери ханской бежать, как пленнице, как преступнице!.. Это ужасно!.. Это неслыханно!

— Не говори мне этого... Если необыкновенна жертва, то необыкновенна и любовь моя. Вели мне отдать тысячу раз жизнь свою, и я кину ее с усмешкою, будто медную пулу;[1] брошу в ад душу свою за тебя, не только жизнь. Ты напоминаешь мне, что ты дочь хана; вспомни, что и мой дед носил, что мой дядя носит корону шамхальскую!.. Но не по этому сану, а по этому сердцу я чувствую, что достоин тебя, и если есть позор быть счастливым вопреки

---

[1] Пул — вообще деньги. Карапул — наша денежка, или полушка, которая произошла вовсе не от *пол-ушка,* а от татарского *пул.* Да и слово *рубль* происходит, по мнению моему, не от *рубки,* а от арабского слова *руп* (четверть) и перешло к нам от кочевых азиатцев древности. Ногат значит точка. *(Примеч. автора.)*

злобы людей и прихотей рока, то он весь падет на мою, не на твою голову.

— Но ты забыл месть отца моего!

— Придет пора, и он сам забудет ее. Видя, что дело свершено, он отбросит неумолимость; сердце его не камень; да если б было и камень, то слезы повинные пробьют его, наши ласки его тронут!.. Счастие приголубит тогда нас крылами, и мы с гордостью скажем: «Мы сами поймали его».

— Милый мой! я мало живу на свете, а что-то в сердце говорит, что неправдой не изловить счастья!.. Подождем, посмотрим, что аллах даст. Может, и без этого средства совершится союз наш.

— Селтанета! аллах дал мне эту мысль... Вот его воля!.. Умоляю тебя: сжалься надо мною... Бежим, если ты не хочешь, чтобы час брака пробил над моею могилою. Я дал честное слово возвратиться в Дербент и должен сдержать его, сдержать скоро; но уехать без надежды увидать тебя и с опасением узнать тебя женою другого — это ужасно, это нестерпимо! Не из любви, так из сожаления раздели судьбу мою, не лишай меня рая, не доводи меня до безумства. Ты не знаешь, до какой степени может увлечь обманутая страсть: я могу забыть и гостеприимство и родство, разорвав все связи человеческие, попрать ногами святыню, смешать кровь мою с драгоценною мне кровью, заставить злодеев содрогаться от ужаса при моем имени и ангелов плакать от моих дел... Селтанета! спаси меня от чужих проклятий, от своего презрения, спаси меня от самого меня!.. Нукеры мои бесстрашны, кони — ветер, ночь темна; бежим в благодатную Россию, покуда перейдет гроза. В последний раз умоляю тебя; жизнь и смерть, слава и душа моя в одном слове твоем: да или нет?

Обуреваемая то страхом девическим и уважением к обычаям предков, то любовью и красноречием любовника, неопытная Селтанета, как легкая пробка, летала по мятежным бурунам противоположных страстей. Наконец она встала, с гордым, решительным видом отерла слезы, сверкавшие на ресницах, как янтарная смола на иглах лиственницы, и сказала:

— Аммалат! не обольщай меня: огонь любви не ослепит, дым ее не задушит во мне совести; я всегда буду знать, что хорошо и что худо, и очень ведаю, как стыдно,

как неблагодарно покинуть дом отеческий, огорчить любимых, любящих меня родителей; знаю, и теперь измерь же цену моей жертвы: я бегу с тобою... я твоя! Не язык твой убедил, а сердце твое победило меня. Аллах судил мне встретить и полюбить тебя, — пусть же будут связаны сердца наши вечно и крепко, хотя бы терновым венком! Теперь все кончено: твоя судьба — моя судьба!

Если бы небо обняло Аммалата необъятными своими крыльями, прижав к сердцу мира, солнцу, и тогда бы восторг его был не сильнее, как в эту божественную минуту. Он излился в нестройных словах и восклицаниях благодарности. Когда стихли первые порывы, любовники условились во всех подробностях побега. Селтанета согласилась спуститься на простынях из спальни своей на крутой берег Узени. Аммалат выедет вечером из Хунзаха со своими нукерами, будто на дальнюю соколиную охоту, и окольными путями воротится к ханскому дому, когда ночь падет на землю; он на руки свои примет милую спутницу. Потом они тихомолком доберутся до коней, и тогда враги прочь с дороги!

Поцелуй запечатлел обеты, и счастливцы расстались со страхом и надеждою в сердцах.

Аммалат-бек, изготовя к побегу и бою удалых нукеров своих, с нетерпением смотрел на солнце, которое, будто ревнуя, не хотело сойти с теплого неба в холодные кавказские ледники. Как жених, жаждал он ночи и, как докучного гостя, провожал он глазами светило дня. Сколь медленно шло, ползло оно к закату! Еще целый век пути оставался между желаньем и счастьем.

Безрассудный юноша! Что порука тебе за удачу? Кто уверит тебя, что твои шаги не сочтены, твои слова не пойманы на лету? Может быть, с солнцем, которое ты бранишь, закатится твоя надежда!

Часу в четвертом за полдень, в обычное время мусульманского обеда, Султан-Ахмет-хан был обыкновенно дик и мрачен. Глаза его недоверчиво блистали из-под нахмуренных бровей; долго останавливал он их то на дочери, то на молодом госте своем; иногда черты лица его принимали насмешливое выражение, но оно исчезало в румянце гнева; вопросы его были колки, разговор отрывист, — и все это пробуждало в душе Селтанеты раскаяние, в сердце Аммалата — опасенье. Зато ханша-мать,

словно предчувствуя разлуку с милой дочерью, была так ласкова и предупредительна, что эта незаслуженная нежность исторгала слезы у доброй Селтанеты, и взор, брошенный украдкою Аммалату, был ему пронзительным укором.

Едва совершили после обеда обычное умовенье рук, хан вызвал на широкий двор Аммалата; там ждали их оседланные кони и толпа нукеров сидела уже верхом.

— Поедем попытать удали новых моих соколов, — сказал хан Аммалату, — вечер славный, зной опал, и мы успеем еще до сумерек заполевать птичку-другую!

С соколом на руке безмолвно ехал хан рядом с беком; влево, по крутой скале, лепился аварец, забрасывал железные когти, на шесте прикрепленные, в трещины, и потом, на гвозде оперщись, подымался выше и выше. На поясе у него привязана была шапка с семенами пшеницы; длинная винтовка висела за плечами. Хан остановился, указал на него Аммалату и значительно сказал:

— Посмотри на этого старика, Аммалат-бек. Он в опасности жизни ищет стопы земли на голом утесе, чтобы посеять на ней горсть пшеницы. С кровавым потом он жнет ее и часто кровью своею платит за охрану стада от людей и зверей. Бедна его родина; но спроси, за что любит он эту родину, зачем не променяет ее на ваши тучные нивы, на ваши роскошные паствы? Он скажет: «Здесь я делаю что хочу, здесь я никому не кланяюсь; эти снега, эти гольцы берегут мою волю». И эту-то волю хотят отнять у него русские, как отняли у вас, и этим-то русским стал ты рабом, Аммалат!

— Хан! ты знаешь, что не русская храбрость, а русское великодушие победило меня: не раб я, а товарищ их.

— Тем во сто раз хуже и постыднее для тебя! Наследник шамхалов ищет серебряного темляка, хвалится тем, что он застольник полковника!

— Умерь слова свои, Султан-Ахмет! Верховскому обязан я более чем жизнию: союз дружбы связал нас.

— Может ли существовать какая-нибудь священная связь с гяурами? Вредить им, истреблять их, когда можно, обманывать, когда нельзя, суть заповеди Курана и долг всякого правоверного.

— Хан! перестанем играть костями Магомета и грозить тем другому, чему сами не верим. Ты не мулла,

я не факир... Я имею свои понятия о долге честного человека.

— В самом деле, Аммалат-бек? Не худо, однако ж, если б ты чаще держал это на сердце, чем на языке. В последний раз позволь спросить тебя: хочешь ли послушать советов друга, которого меняешь ты на гяура? Хочешь ли остаться с нами навсегда?

— Жизнь бы свою отдал я за счастье, которое предлагаешь ты мне так щедро, но я дал обет воротиться и сдержу его.

— Это решительно?

— Непременно.

— Итак, чем скорее, тем лучше. Я узнал тебя, ты меня знаешь издавна; обиняки и лесть между нами некстати. Не скрою, что я всегда желал видеть тебя зятем своим; я радовался, что тебе полюбилась Селтанета. Плен твой на время удалил мои замыслы; твое долгое отсутствие, слухи о твоем превращении огорчали меня. Наконец ты явился к нам и все нашел по-прежнему; но ты не привез к нам прежнего сердца. Я надеялся, ты опять нападешь на прежний путь, и обманулся, горько обманулся! Жаль, но делать нечего: я не хочу иметь зятем слугу русских...

— Ахмет-хан! я однажды...

— Дай мне кончить. Твой шумный приезд, твое исступление у порога больной Селтанеты открыли всем и твою привязанность и наши взаимные намерения. Во всех горах прославили тебя женихом моей дочери... но теперь, когда разорван союз, пора рассеять и слухи. Для доброй славы моего семейства, для спокойствия моей дочери тебе должно оставить нас, и теперь же. Это необходимо, это неизменно, Аммалат! мы расстанемся добрыми друзьями; но *здесь* увидимся только родными, не иначе. Да обратит алла твое сердце и приведет к нам нераздельным другом... До тех пор прости!

С этим словом хан поворотил коня и поскакал во весь опор, вправо к своему поезду.

Если б на сонного Аммалата упал гром небесный, и тогда он не был бы так изумлен, испуган, как этим неожиданным объяснением. Уже давно и пыль легла на след хана, но Аммалат все еще стоял неподвижен на том же холме, чернея в зареве заката.

ГЛАВА IX

Для укрощения мятежных дагестанцев полковник Верховский с полком своим стоял в селении Кяфир-Кумык лагерем. Палатка Аммалат-бека разбита была рядом с его палаткою, и в ней Сафир-Али, развалившись небрежно на ковре, потягивал донское, несмотря на запрещение пророка. Аммалат-бек, худой, бледный, задумчивый, лежал, склонив голову на валек, и курил трубку. Уже три месяца прошли с той поры, как он, изгнанник рая, скитался с отрядом в виду гор, куда летело его сердце и не смела ступить нога. Тоска источила его, досада пролила желчь на его прежде радушный нрав. Он принес жертву своей привязанности к русским и, казалось, упрекал в ней каждого русского. Неудовольствие пробивалось в каждом его слове, в каждом взгляде.

— Прекрасная вещь — вино! — приговаривал Сафир-Али, преисправно осушая стаканы. — Верно, Магомету попались на аравитском солнце прокислые подонки, когда он запретил виноградный сок правоверным. Ну право, эти капли так сладки, будто сами ангелы с радости наплакали своих слез в бутылки. Эй, выпей еще хоть стаканчик, Аммалат-бек. Сердце твое всплывет на вине легче пузырька. Знаешь, что пел про него Гафиз?..

— А ты знаешь? Не докучай, добро, Сафир-Али, мне своим вздором, ни даже под именем Саади и Гафиза.

— Эка беда! Ну да хоть бы этот вздор был мой доморощенный, он не серьга, в ухе не повиснет. Небось когда заведешь сказку про свою царицу Селтанету, я гляжу тебе в рот, как тому искуснику, который ел огонь и мотал из-за щек бесконечные ленты. Тебя заставляет говорить чепуху любовь, а меня донское; вот мы и квиты!.. Ну-тка, за здравие русских!

— Что полюбились тебе эти русские?

— Скажи лучше, отчего разлюбил ты их?

— Оттого, что разглядел поближе. Право, ничем не лучше наших татар. Так же падки на выгоды, так же охочи пересуживать, и не для того, чтобы исправить ближнего, а чтобы извинить себя; а про лень их и говорить нечего. Долго они властвуют здесь, а что сделали доброго, какие постановили твердые законы, какие ввели полезные обычаи, чему нас выучили, что устроили они

порядочного! Верховский открыл мне глаза на недостатки моих одноземцев, но с этим вместе я увидел и недостатки русских, которые тем больше непростительны, что они знают полезное, выросли на добрых примерах и здесь, будто забыв свое назначение, свою деятельную природу, понемногу утопают в животном ничтожестве.

— Надеюсь, ты не включаешь в это число Верховского?

— Не только его, и других наберем в особый круг; зато многих ли их?

— Ангелы и в небе на перечете, Аммалат-бек, а Верховскому, право, хоть молиться можно за его правду, за его доброту. Есть ли хоть один татарин, который бы сказал про него худо?.. Есть ли солдат, что не отдаст за него души?.. Абдул-Гамид! еще вина! Ну-тка, за здоровье Верховского!

— Избавь! Я не стану теперь пить ни за самого Магомета!

— Если у тебя сердце не так черно, как глаза Селтанеты, ты неотменно выпьешь за Верховского, хоть бы это было при краснобородых яхунтах[1] дербентских шагидов, хотя бы все имамы и шихи[2] не только облизывались, но огрызались на тебя за такое святотатство.

— Не выпью, — говорю я тебе.

— Послушай, Аммалат! Я готов за тебя напоить допьяна черта своей кровью, а ты не хочешь для меня выпить вина!

— То есть в этот раз не стану пить; а не стану потому, что не хочу, а не хочу потому, что кровь и без вина бродит во мне, как молодая буза.

— Пустые отговорки! Не в первый раз мы пьем, не впервые у нас кровь кипит... Скажи лучше прямо: ты сердит на полковника?

— Очень сердит!

— Можно ли узнать за что?

— За многое. Давно уже стал подливать он каплю по капле яду в мед дружбы своей... Теперь эти капли переполнили и пролили чашу. Терпеть не могу таких полутеплых друзей! Щедр он на советы, не скуп и на поуче-

---

[1] Тарковцы секты сунни. Я х у н т — старший мулла. *(Примеч. автора.)*

[2] И м а м — святой; ш и х — пророк. *(Примеч. автора.)*

ние, то есть на все, что не стоит ему никакого труда, никакого риска.

— Понимаю, понимаю. Верно, он не пустил тебя в Аварию?

— Если бы ты носил в груди мое сердце, ты бы понял, каково было мне услышать такой отказ. Как давно манил он меня этим и вдруг отринул самые нежные просьбы, разбил в пыль, как хрустальный кальян, самые лестные ожидания... Ахмет-хан, верно, смягчился, когда присылал сказать, что желает видеть меня, и я не могу спешить к нему, лететь к Селтанете!

— Поставь-ка, брат, себя на его месте и потом скажи, не так ли же бы поступил ты сам?

— Нет, не так. Я бы просто сказал с самого начала: «Аммалат! не жди от меня никакой помощи!» Я и теперь не прошу от него помощи, прошу только, чтобы он не мешал мне, так нет: он, заграждая от меня солнце всех радостей, уверяет, что делает это из участия, что это впереди принесет мне счастие!.. Не значит ли это отравлять в сонном питье?

— Нет, друг. Если оно и в самом деле так, то сонное питье дают тебе, как человеку, у которого хотят что-нибудь вырезывать для исцеления. Ты думаешь об одной любви своей, Верховскому же надобно хранить без пятна и твою и свою честь, а вы оба окружены недоброхотами. Поверь, что так или иначе, только он вылечит тебя.

— Кто просит его лечить меня? Эта божественная болезнь, любовь, — моя единственная отрада! И лишить меня ее — все равно что вырвать из меня сердце за то, что оно не умеет биться по барабану...

В это время вошел в ставку незнакомый татарин, подозрительно осмотрелся кругом и с низким наклонением головы поставил перед Аммалатом туфли свои. По азиатскому обычаю это значило, что он просит тайного разговора. Аммалат понял его, кивнул головою, и оба вышли на воздух. Ночь была темна, огни погасли, и цепь часовых раскинута далеко впереди.

— Здесь мы одни, — сказал Аммалат-бек татарину. — Кто ты и что тебе надобно?

— Мое имя Самит. Я дербентский житель, секты сунни, и теперь служу в отряде, в числе мусульманских всадников. Порученье мое важнее для тебя, чем для меня... *Орел любит горы!*

Аммалат вздрогнул и недоверчиво взглянул на посланца: то была условная поговорка, которой ключ написал ему Султан-Ахмет заранее.

— Как не любить гор! — отвечал он. — В горах много ягнят для орла, *много серебра для человека.*

— *И булата для витязей (игидов).*

Аммалат схватил посланца за руку.

— Здоров ли Султан-Ахмет-хан? — спросил он торопливо. — Какие вести принес ты от него? Давно ли видел его семью?..

— Не отвечать, а спросить я прислан. Хочешь ли ты за мною следовать?

— Куда? Зачем?

— Ты знаешь, кто прислал меня, — этого довольно; если не веришь ему, не верь и мне, — в том твоя воля и моя выгода. Чем лезть в петлю ночью, я и завтра успею известить хана, что Аммалат не смеет выехать из лагеря!

Татарин попал в цель. Щекотливый Аммалат вспыхнул.

— Сафир-Али! — вскричал он громко.

Сафир-Али встрепенулся и выбежал из палатки.

— Вели подвесть себе и мне хоть неоседланных коней и с тем вместе сказать полковнику, что я поехал осмотреть поле за цепью: не крадется ли какой бездельник под часового. Ружье и шашку, да мигом!

Коней подвели. Татарин вскочил на своего, привязанного неподалеку, и все трое понеслись к цепи. Сказали пароль и отзыв и мимо секретов понеслись влево по берегу быстрой Узени.

Сафир-Али, который очень неохотно расстался с бутылкою, ворчал на темноту, на кусты и овраги и очень сердито покрякивал подле Аммалата, но, видя, что никто не начинает разговора, решился сам завести его.

— Прах на голову этого проводника, — сказал он. — Черт знает, куда ведет и куда заведет он нас. Пожалуй, еще продаст лезгинам ради богатого выкупа... Не верю я этим косым.

— Я и прямоглазым мало верю, — отвечал Аммалат. — Но этот косой прислан от друга. Он не изменит нам.

— А чуть задумает что-нибудь похожее, так при первом движении я распластаю его, как дыню. — Эй, приятель, — закричал Сафир-Али проводнику, — ради самого царя джинниев (духов), ты, кажется, сговорился с тернов-

ником оборвать с чухи моей галуны. Неужто не нашел ты попросторнее дороги? Я, право, не фазан и не лисица.

Проводник остановился.

— Правду сказать, я слишком далеко завел такого неженку, как ты, — возразил он. — Оставайся здесь постеречь коней, покуда мы с Аммалат-беком сходим куда следует.

— Неужели ты пойдешь в лес без меня с этой разбойничьей харею? — шепнул Сафир-Али Аммалату.

— То есть ты боишься остаться здесь *без меня?* — возразил Аммалат, слезая с коня и отдавая ему повод. — Не поскучай, милый. Я оставлю тебя в прелюбезной беседе волков и чакалов. Слышишь, как они распевают?

— Дай бог, чтобы мне не пришлось выручать твои кости от этих певчих, — сказал Сафир-Али.

Они расстались.

Самит повел Аммалата между кустами над рекою и, прошедши с полверсты между каменьями, начал спускаться книзу. С большою опасностию лезли они по обрыву, хватаясь за корни шиповника, и, наконец, после трудного пути, спустились до узкого жерла небольшой пещеры, вровень с водою. Она была вымыта потоком, когда-то быстрым, но теперь иссякшим. Известковые, трубчатые капельники и селитряные кристаллы сверкали от огня, разложенного посредине. В глуби лежал Султан-Ахмет-хан на бурке и, казалось, нетерпеливо ожидал, чтобы Аммалат огляделся в густом дыме, клубившемся в пещере. Ружье со взведенным курком лежало у него на коленях; космы его шапки играли на ветре, который дул из расселины. Он приподнялся приветливо, когда Аммалат-бек кинулся к нему с приветом.

— Я рад тебя видеть, — сказал он, сжимая руку гостя, — рад и не скрываю чувства, котого не должно бы мне хранить. Впрочем, я не для пустого свидания ступил ногою в кляпцы и потревожил тебя. Садись, Аммалат, и посудим о важном деле.

— Для меня, Султан-Ахмет-хан?

— Для нас обоих. С отцом твоим водил я хлеб-соль; было время, когда и тебя считал я своим другом...

— Только считал?..

— Нет, ты и был им и навсегда бы остался им, если б между нами не прошел лукавец Верховский.

— Хан, ты не знаешь его.

— Не только я, скоро ты сам его узнаешь!.. Но на-

чнем с того, что касается до Селтанеты. Аммалат, тебе известно, ей нельзя век сидеть в девках. Это был бы зазор моему дому, и я откровенно скажу тебе, что за нее уже сватаются.

Сердце будто оторвалось в Аммалате; долго не мог он собраться с духом. Наконец, оправясь, он дрожащим голосом спросил:

— Кто этот смельчак жених?

— Второй сын шамхала, Абдул-Мусселим. После тебя, по высокой крови своей, он больше других горских князей имеет права на Селтанету.

— После меня? после меня? — вскричал вспыльчивый бек, закипая гневом. — Разве меня хоронили? Разве и память моя погибла между друзьями?

— Ни память, ни сама дружба не умерла, по крайней мере в моем сердце. Но будь справедлив, Аммалат, столько же, как я откровенен. Забудь, что ты судья в своем деле, и реши: что должно нам делать? Ты не хочешь расстаться с русскими, а я не могу с ними помириться.

— О, только пожелай этого, только скажи слово, и все забыто, все прощено тебе. В этом ручаюсь я тебе своей головою и честью Верховского, который не раз мне обещал свое ходатайство. Для собственного блага, для спокойствия аварцев, для счастия твоей дочери и моего блаженства умоляю тебя: склонись к примирению, и все будет забыто, все прежнее возвращено тебе!

— Как смело ручаешься ты, доверчивый юноша, за чужую пощаду, за чужую жизнь!.. Уверен ли ты в своей собственной жизни, в собственной свободе?

— Кому нужна моя бедная жизнь? Кому дорога воля, которой не ценю я сам?

— Кому? Дитя, дитя! Неужели ты думаешь, что у шамхала не вертится под головой подушка, когда в голову забирается дума, что ты, настоящий наследник шамхальства тарковского, в милости у русского правительства.

— Я никогда не надеялся на его приязнь и никогда не побоюсь его вражды.

— Не бойся, но и не презирай ее. Знаешь ли, что гонец, посланный к Ермолову, минутою опоздал приехать и упросить его: не давать пощады, казнить тебя, как изменника. Он и прежде готов бывал убить тебя поцелуем, если б мог, а теперь, когда ты отослал к нему слепую дочь его, он не скрывает к тебе своей ненависти.

— Кто посмеет тронуть меня под защитой Верховского?

— Послушай, Аммалат, я скажу тебе побасенку: баран ушел на поварню от волков, и радовался своему счастью, и хвалился ласками приспешников. Через три дня он был в котле. Аммалат, это твоя история! Пора открыть тебе глаза. Человек, которого считал ты своим первым другом, первый предал тебя. Ты окружен, опутан изменою. Главное желание мое свидеться с тобою было долгом предупредить тебя. Сватая Селтанету, мне дали от шамхала почувствовать, что через него я вернее могу примириться с русскими, нежели через безвластного Аммалата, что тебя скоро удалят так или сяк, безвозвратно, следственно, нечего бояться твоего совместничества. Я подозревал еще более и узнал более, чем подозревал. Сегодня перехватил я шамхальского нукера, которому поручены были переговоры с Верховским, и пыткою выведал от него, что шамхал дает пять тысяч червонцев, чтобы извести тебя... Верховский колеблется и хочет послать только в Сибирь навечно. Дело еще не решено, но завтра отряд идет по домам, и они согласились съехаться в твоем доме, в Буйнаках, торговаться о крови или кровавом поте твоем: будут составлять ложные доносы и обвинения, будут отравлять тебя за твоим же хлебом и ковать в чугунные цепи, суля золотые горы.

Жалко было видеть Аммалата во время этой ужасной речи. Каждое слово, как раскаленное железо, вторгалось в сердце его. Все, что доселе таилось в нем утешительного, благородного, высокого, вспыхнуло вдруг и превратилось в пепел. Все, во что он веровал так охотно и так долго, рушилось, распадалось в пожаре негодования. Несколько раз порывался он говорить, но слова умирали в каком-то болезненном стоне, и, наконец, дикий зверь, которого укротил Верховский, которого держал в усыплении Аммалат, сорвался с цепи: поток проклятий и угроз пролился из уст разъяренного бека.

— Месть, месть! — восклицал он. — Неумолимая месть, и горе лицемерам!

— Вот первое достойное тебя слово, — сказал хан, скрывая радость удачи. — Довольно ползал ты змеем, подставляя голову под пяту русских; пора взвиться орлом под облака, чтобы сверху блюсти врага, недосягаем его стрелами. Отражай измену изменою, смерть смертию.

— Так, смерть и гибель шамхалу, хищнику моей свободы; гибель Абдул-Мусселиму, который дерзнул простереть руку на мое сокровище!

— Шамхал? Сын его, семья его? Стоят ли они первых подвигов? Их всех мало любят тарковцы, и если мы пойдем на шамхала войною, нам все его семейство выдадут в руки. Нет, Аммалат, ты должен сперва нанести удар подле себя, свергзить своего главного врага: ты должен убить Верховского.

— Верховского! — произнес Аммалат, отступая. — Да!.. Он враг мой, но он был моим другом, он избавил меня от позорной смерти!

— И вновь продал на позорную жизнь!.. Хорош друг! Притом же ты сам избавил его от кабаньих клыков, достойной смерти свиноеду! Первый долг заплачен; остается отплатить за второй — за участь, которую он готовит тебе так коварно...

— Чувствую... это должно... Но что скажут добрые люди? Что будет вопиять совесть моя?

— Мужу ли трепетать перед бабьими сказками и плаксивым ребенком — совестью, когда идет дело о чести и мести? Я вижу, Аммалат, что без меня ты ни на что не решишься, не решишься даже жениться на Селтанетс. Слушай: если ты хочешь быть достойным зятем моим, первое условие — смерть Верховского. Его голова будет — калым за невесту, которую ты любишь, которая любит тебя. Не одна месть, но и сама здравая расчетливость требует смерти полковника. Без него весь Дагестан останется без головы и оцепенеет на несколько дней от ужаса. В это время налетим мы на рассеявшихся по квартирам русских. Я сажусь на коня с двадцатью тысячами аварцев и акушинцев, и мы падем с горы на Тарки, словно снежная туча. Тогда Аммалат — шамхал дагестанский обнимет меня как друга, как тестя. Вот мои замыслы, вот судьба твоя! Выбирай любое: или вечную ссылку, или смелый удар, который сулит тебе силу и счастье. Думай, решайся; но знай, что в следующий раз мы встретимся или родными, или врагами непримиримыми!

Хан исчез.

Долго стоял Аммалат, обуреваемый, пожираемый новыми, ужасными чувствами. Наконец Самит напомнил ему, что время возвратиться в лагерь. Не зная сам как и где, взобрался он вслед за своим таинственным провожа-

тым на берег, нашел коня и, не отвечая ни слова на тысячи вопросов Сафир-Али, примчался в свою палатку. Там все муки душевного ада ожидали его. Тяжка первая ночь бедствия, но еще ужаснее первая ночь кровавых дум злодейства.

ГЛАВА X

— Замолчишь ли ты, змееныш? — говорила татарка старуха внуку своему, который, проснувшись перед светом, плакал от безделья. — Умолкни, говорю, или я выгоню тебя на улицу.

Старуха эта была мамка Аммалата. Сакля, в которой жила она, стояла вблизи палат бекских и подарена ей была ее воспитанником. Она состояла из двух чистенько выбеленных комнаток. Пол в обеих устлан циновками (гасиль); в частых нишах, без окон, стояли сундуки, обитые жестью, и на них наложены перины, одеяла и вся рухлядь. По карнизам, на половине высоты стены, расставлены были фаянсовые чашки для плову, с жестяными на них, в виде шлемов, колпаками, и повешены ребром на проволоке тарелочки, в коих просверленные скважины доказывали, что они служат не для употребления, а для красы. Лицо старухи покрыто было морщинами и выражало какую-то злую досаду, обыкновенное следствие одинокой, безрадостной жизни всех мусульманок. Как достойная представительница своих ровесниц и землячек, она ни на одну минуту не переставала ворчать про себя и вслух бранить внука из-под стеганого своего одеяла.

— Кесь (молчи)! — вскричала, наконец, она еще сердитее, — кесь! Или я отдам тебя гоулям (чертям)! Слышишь, как они царапаются по кровле и стучатся за тобой в двери?

Ночь была ненастна, и крупный дождь по плоской кровле, составляющей вместе потолок, и стон ветра в трубе вторили ее хриплому голосу. Мальчик притих и, выпуча глаза, со страхом прислушивался. В самом деле послышалось, будто кто-то стучит в двери. Старуха перепугалась в свою очередь. Всегдашняя ее собеседница, лохматая собака подняла спросоньев морду и залаяла прежалобным голосом.

Но между тем удары в дверь усилились, и незнакомый голос проревел за нею:

— Ачь капины, ахырын ахырыси (отвори дверь, на конец концов)!

Старуха побледнела.

— Аллах бисмаллах!.. — произнесла она, то обращаясь к небу, то грозя собаке, то унимая плачущего ребенка. — Цыц, проклятая! Молчи, говорю я тебе, харамзада (бездельник, сын позора)! Кто там? Какой добрый человек пойдет ни свет ни заря в дом к бедной старухе! Если ты шайтан, ступай к соседке Кичкине: ей давно пора в ад показать дорогу! Если чоуш (десятник), что, правду сказать, немножко похуже шайтана, так убирайся прочь. Зятя нет дома, он в нукерах при Аммалат-беке, да меня же бек давным-давно освободил от постоя, а на угощенье приезжих дармоедов не жди от меня ни яйца, не то чтобы утенка. Разве я даром выкормила грудью Аммалата?

— Да отворишь ли ты, чертово веретено? — с нетерпением вскричал голос. — Или я из этой двери не оставлю тебе на гроб дощечки!

Хилые затворы затрещали на петлях своих.

— Милости просим, милости просим! — сказала старуха, дрожащей рукой отстегивая накладку.

Дверь распахнулась, и вошел человек среднего роста, прекрасной, но угрюмой наружности.

Он был в черкесском платье; с башлыка его и белой бурки струилась вода; он без всяких обиняков сбросил ее на перину и начал развязывать лопасти башлыка, которые закрывали ему лицо до половины. Фатьма, вздув в это время свечу, стояла перед ним со страхом и трепетом; усастая собака, прижав хвостик, съежилась в углу, а мальчик с испугу залез в камелек, который для красы никогда не был топлен.

— Ну, Фатьма, спесива стала, — сказал незнакомец, — не узнаешь ныне старых знакомцев...

Фатьма вгляделась в черты пришельца, и у ней отлегло от сердца: она узнала Султан-Ахмет-хана, который от Кяфир-Кумыка примчался в одну ночь в Буйнаки.

— Пусть песок засыплет глаза, которые не узнали своего старого господина! — произнесла она, почтительно сложив руки на груди. — Правду молвить, потухли они в

слезах по своей родине, по Аварии. Прости, хан, старухе.

— Что твои за лета, Фатьма! Я тебя помню маленькою девочкою в Хунзахе, когда сам я насилу мог доставать воронят из гнезда.

— Чужая сторона хоть кого старит, хан! В родимых горах я бы до сих пор была свежа как яблочко, а здесь так словно снежный ком, с горы упавший на долину. Прошу сюда, хан, здесь покойнее. Да чем мне потчевать дорогого гостя? Не угодно ли чего душе ханской?

— Душе ханской угодно, чтоб ты его попотчевала своей доброй волею.

— Я в твоей воле, хан. Говори, приказывай.

— Слушай, Фатьма, мне некогда терять ни слов, ни часов. Вот зачем я приехал сюда. Сослужи мне службу языком, так будет чем потешить твои старые зубы. Я подарю тебе десять баранов и одену в шелк с головы до башмаков.

— Десять баранов и платье, шелковое платье! О, милостивый ага! О, добрый мой хан! Не видывала я здесь таких господ с тех пор, как увезли меня эти проклятые татары и выдали за немилого... Все готова сделать, хан, хоть ухо режь.

— Резать незачем, надобно только востро держать его. Вот в чем дело: к вам сегодня приедет Аммалат с полковником, приедет и шамхал тарковский. Полковник этот приколдовал к себе молодого твоего бека и, научив есть свинину, хочет окрестить его христианином, от чего да сохранит его Магомет.

Старуха оплевывалась, возводя очи к небу.

— Чтобы спасти Аммалата, надо поссорить его с полковником. Для этого ты приди к нему, кинься в ноги, расплачься, как на похоронах, ведь слез тебе не занимать ходить к соседкам; разбожись, как дербентский лавочник, вспомня, что каждую клятву твою повезет дюжий баран, и, наконец, скажи ему, что ты подслушала разговор полковника с шамхалом, что шамхал жаловался за отсылку дочери, что он ненавидит его из боязни, чтобы он не завладел шамхальством, что он умолял полковника позволить убить его из засады или отравить в кушанье, а тот соглашался только заслать его в Сибирь за тридевять гор. Одним словом, выдумай и распиши все покраснее. Ты искони славилась сказками; не съешь же теперь грязи и

пуще всего упирайся на то, что полковник, едучи в отпуск, возьмет его с собою в Георгиевск, чтобы разлучить с родными и преданными нукерами и оттоле скованного отправить к черту.

Султан-Ахмет прибавил к сему все нужные подробности для придания этой сказке самой правдоподобной наружности и раза два учил старуху, как ловче ввернуть их в речь.

— Ну, помни же все хорошенько, Фатьма, — сказал он, надевая бурку. — Не забудь и того, с кем имеешь дело.

— Валла, билла! Пусть будет мне пепел вместо соли, пусть нищенский чурек закроет мне глаза, пусть...

— Не корми шайтанов своими клятвами, а услужи мне речами. Я знаю, что Аммалат верит тебе крепко, и если ты для пользы же его хорошо сладишь дело, он уедет ко мне и тебя привезет туда же. Заживешь под моим крылышком припеваючи. Но повторяю тебе: если ты нечаянно или нарочно изменишь мне или помешаешь своею болтовнею, то я из твоего старого мяса напеку шайтанам кебаба[1].

— Будь покоен, хан: им нечего делать ни за меня, ни со мною. Я буду хранить тайну, как могила, а на Аммалата надену сорочку свою[2].

— Ну то-то же, старуха. Вот тебе золотая печать на губы; постарайся!

— Башуста, гёз-уста![3] — вскричала старуха, с жадностию схватив червонец и целуя руки хана за этот подарок.

Султан-Ахмет-хан с презрением взглянул на это ползающее существо, выходя из сакли.

— Гадина, — проворчал он, — за барана, за кусок парчи готова бы ты продать и тело дочери, и душу сына, и счастие воспитанника.

Он не подумал, какое имя заслуживал он сам, опутывая друга коварством и нанимая для низкой клеветы, для злодейских намерений подобных существ.

---

[1] Кусочки жареного мяса на вертеле (шашлык). *(Примеч. автора.)*

[2] То есть передаст ему свои чувства; татарское выражение. *(Примеч. автора.)*

[3] Охотно, позвольте! Слово в слово значит: на мою голову, на мои очи! *(Примеч. автора.)*

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ПОЛКОВНИКА ВЕРХОВСКОГО К ЕГО НЕВЕСТЕ

Лагерь близ селения Кяфир-Кумык

Август.

...Аммалат любит, но как любит!! Никогда, и в самом пылу моей юности, не доходила любовь моя до такого исступления. Я горел, как кадило, зажженное лучом солнца, он пышет, как запаленный молниею корабль на бурном море. С тобою, Мария, мы не раз читали Шекспирова «Отелло», и только неистовый Отелло может дать идею о тропической страсти Аммалата. Он часто и долго любит говорить о своей Селтанете, и я сам люблю внимать его огнедышащему красноречию. Порой это мутный водопад, извергнутый глубокою пещерою; порой это пламенный ключ нефти бакинской. Какие звезды сыплют тогда его очи, какой зарницею играют щеки, как он прекрасен бывает тогда! В нем нет ничего идеального, но зато земное величаво, пленительно. Увлеченный, тронутый сам, я принимаю на грудь свою изнемогшего от восторга юношу, и он долго, медленными вздохами дышит и потом, склонив очи, опустив голову, будто стыдясь глядеть на свет, не только на меня, сжимает мне руку и неверною стопою уходит прочь, а после того целый день не выманишь от него слова.

Со времени возврата своего из Хунзаха он стал еще мрачнее прежнего; особенно в последние дни. Он так старательно кроет самое высокое, самое благородное чувство, сближающее человека с божеством, как будто оно позорная слабость или ужасное преступление. Он убедительно просился съездить еще раз в Хунзах повздыхать на свою красавицу, и я отказал ему, отказал для его же пользы. Я уже давно писал к Алексею Петровичу о моем баловне, и он велел привезти его с собой на воды, где он будет сам. Он хочет дать ему поручения к Султан-Ахмет-хану, которые принесут несомненные выгоды и России и Аммалату... О, как счастлив буду я его счастием! Мне, мне будет обязан он блаженством жизни, не только пустою жизнию. Я заставлю его стать перед тобой на колени и сказать: *боготвори ее!* Если бы сердце мое не было проникнуто любовью к Марии, ты не овладел бы Селтанетой.

Вчера получил я летучку от главнокомандующего; великодушный человек! Он дает крылья счастливым

вестям. Все кончено, милая, бесценная. Я еду к тебе на воды! Только доведу полк до Дербента — и в седло. Не буду знать устали днем, ни дремы ночью, покуда не отдохну в твоих объятиях. О, кто мне даст крылья на перелет! Кто даст сил вынести мое, *наше* благополучие!.. Я в сладком страхе сжимал грудь, чтобы не выпорхнуло сердце. Долго не мог я уснуть: воображение рисовало мне встречу в тысяче видах, и в промежутках мелькали самые вздорные, но приятные заботы о свадебных безделках, подарках, уборах; ты будешь в моем любимом зеленом цвете... не правда ли, душа моя?.. Мечты мешали мне заснуть, как сильное благоухание роз. Зато тем сладостнее, тем светлее был сон мой. Я видел тебя в сиянии зари, и раз за разом иначе, и каждый раз прелестнее, чем сперва. Сновидения велись цветочною вязью.... иль нет, между ними не было никакой связи; то были чудные образы, выпадающие в калейдоскопе, столь же пестрые, столь же неуловимые. Со всем тем я проснулся сегодня грустен; пробуждение отняло у младенческой души моей любимую игрушку. Я зашел в палатку к Аммалату... Он еще спал, лицо его было бледно и сердито. Пускай сердится на меня; я предвкушаю уже благодарность бурного юноши. Я, как судьба, втайне создаю ему наслаждение...

Сегодня я прощался с здешними горами, надолго, желал бы навсегда. Я очень рад, что покидаю Азию, эту колыбель рода человеческого, в которой ум доселе остался в пеленках. Изумительна неподвижность азиатского быта в течение стольких веков. Об Азию расшиблись все попытки улучшения и образования; она решительно принадлежит не времени, а месту. Индийский брамин, китайский мандарин, персидский бек, горский уздень неизменны, те же, что были за две тысячи лет. Печальная истина! Они изображают собою однообразную, хотя и пеструю, живую, но бездушную природу. Мечи и бичи покорителей не оставили на них, как на воде, никаких рубцов; книги и примеры миссионеров не произвели ни малейшего влияния. Иногда меняли они еще пороки, но никогда не приобрели чужих познаний или доблестей. Я покидаю землю плода, чтобы перенестись в землю труда, этого великого изобретателя всего полезного, одушевителя всего великого, этого будильника души человеческой, заснувшей здесь негою, на персях прелестницы природы. И в самом деле, как прелестна здесь природа! Вскакав на высокую гору влево от

Кяфир-Кумыка, я любовался на рассветающие вершины Кавказа. Глядел и не нагляделся на них! Что за дивная прелесть облекает их венцом своим! Еще тонкая завеса, сотканная из света и сумрака, лежит над нижними холмами, но далекие льды уже теплились в небе, и небо, словно ласковая мать, припав к ним необъятным лоном, поило их млеком облаков, заботливо повивая туманною пеленою, освежая ветром тиховейным! О, как бы летом и полетели туда душа моя, туда, где священный холод простерся границею между земным и небесным! Сердце просит и жаждет вздохнуть воздухом небожителей. Хочется побродить по снегам, на которых не печатлел человек кровавых стоп своих, коих не омрачала никогда тень орла, до коих не долетали перуны и на вечно юном темени которых время — след вечности — не оставило следов своих!

Время? Мне пришла в голову странная мысль. Сколько дробных названий изобрел щепетильный человек для деления бесконечно малого отрезка времени от бесконечно великого круга вечности. Годы, месяцы, дни, часы, минуты... У бога нет ничего этого, нет даже ни вчера, ни завтра; у него все это слилось в одно вечное *ныне!..* Увидим ли мы когда-нибудь этот океан, в котором тонем доселе? Но вопрос: к чему послужит это человеку? Неужели для удовлетворения пустого любопытства? Нет, познания истины, то есть всеразумной благости жаждет душа человека мыслящего. Она хочет полною чашею черпать из источника света, который падает на нее изредка мелкими росинками!..

И я буду черпать ее... Тайный страх смерти тает как снег перед лучом такой надежды!.. Я буду черпать из него... Чистая любовь моя к ближнему тому залогом; свинцовые путы заблуждений распадутся от немногих слез раскаяния, и повергну сердце свое, как жертву очистительную, перед судом, для меня не страшным!

Чудная вещь, моя милая! Едва взгляну я на горы, на море, на небо... какое-то грустное и вместе невыразимо сладостное чувство гнетет и расширяет сердце. Мысль о тебе сливается с ним, и, будто во сне, убегает от меня твой образ. Предвкушение ли это земного блаженства, которое знал я лишь по имени, или предчувствие... веч..?

О, бесценная, добрая, ангельская душа! Один взор твой — и я исцелен от мечтательности! Как счастлив я, что могу теперь с уверенностию сказать: *до свиданья*.

ГЛАВА XI

Яд клеветы пожигал внутренность Аммалата.

По наущению хана, кормилица его Фатьма со всеми признаками преданности и бескорыстной искренности передала ему условленную заранее сказку в тот же самый вечер, как он с Верховским приехал в Буйнаки, где встретил их шамхал, из учтивости и уважения к полковнику. Отравленная стрела вонзилась глубоко... Теперь сомнение было бы отрадою Аммалату, но убеждение, казалось, озарило все прежние дружественные и родственные связи его светом ярким, хотя и погребальным. В порыве ярости он хотел в ту же минуту утолить месть свою в крови обоих изменников, но уважение к святыне гостеприимства преодолело кровожадность. Он отложил на время убийство... Но мог ли забыть о нем? Каждый миг отсрочки, как разожженная медь, капал на его сердце. Воспоминания, доказательства, ревность, любовь вырывали оное друг у друга, и это положение было для него так ново, так странно, так страшно, что он впадал в безумие, тем более тяжкое, что должен был скрывать внутреннюю борьбу от своего прежнего друга. Так протекли целые сутки. Отряд остановился лагерем близ селения Бугдень, в котором ворота, построенные в ущелии, служащем дорогою в Акушу, замыкают оную по произволу жителей бугденских. Вот что писал Аммалат, желая хоть чем-нибудь облегчить тоску души, готовящейся на черное злодеяние...

Полночь

...Зачем бросил ты, Султан-Ахмет-хан, молнию в грудь мою? Братская дружба и братопредательство, братоубийство... Какие ужасные крайности! И между ними только один шаг, одно мгновение!..

Я не могу спать, не могу думать о другом, я прикован к этой мысли, как преступник к колоде своей. Кровавое море ходит, плещет, бушует кругом меня, и над ним сверкают только молнии вместо звезд!.. Душа моя подобна теперь голой скале, на которую слетаются одни хищные птицы и злые духи делить добычу или готовить гибель. Верховский, Верховский! что сделал я тебе? За что хочешь ты сорвать с неба звезду моей свободы? Не за то ль, что я так нежно любил тебя!! И почему ты подкрадываешься,

как вор, клевещешь, коварствуешь, лицемеришь? Сказал бы просто: «Мне нужна жизнь твоя», и я бы отдал ее безропотно... лег жертвою, как сын Ибрагима (Авраама); я бы простил тебя, если б ты посягал только на жизнь мою, но продать мою свободу, похитить у меня, заживо погребенного, Селтанету! Злодей! И ты еще дышишь!..

Но повременно, как опаленный голубь среди пожарного дыма, является мне образ твой, Селтанета!.. Отчего ж я не радостен, мечтая о тебе, как, бывало, прежде?.. Нас хотят разлучить, милая, отдать тебя другому, женить меня на могильной плите... но я приду до тебя по кровавому ковру, я исполню страшный завет, чтобы овладеть тобою. Не одних подруг зови на свадебный пир наш; зови коршунов и воронов... Всех угощу я досыта! Я заплачу богатое вено (калым)... В изголовье невесты положу я сердце, которое недавно еще ценил я дороже тронной подушки персидского падишаха [1].

...Чудная судьба!.. Невинная девушка, ты будешь виною неслыханного злодейства. Добрейшее создание, за тебя друзья станут терзать друг друга с зверскою лютостию. Для тебя?.. За тебя?.. В самом ли деле за одну тебя?.. С лютостию? С одной ли лютостию? Верховский говорил, что убить неприятеля украдкою, врасплох — подло, низко; но если я не могу иначе сделать этого?.. Но можно ли ему верить? Хитрец хотел заранее опутать не только руку, но даже и совесть мою!.. Напрасно.

...Я зарядил теперь винтовку мою... Какой славный витой ствол... что за чудесная насечка! Она досталась мне от отца, отцу — от прадеда. Мне рассказывали про множество знаменитых из нее выстрелов, и ни один, ни один не был пущен украдкою... всегда в бою, всегда в глазах целого войска бросала она смерть; а теперь?.. Но обида, но измена, но ты, Селтанета!.. О, рука моя не дрогнет нанести удар тому, которого имя и написать она трепещет. Один заряд, один удар — и все кончено!

Заряд?.. Как он легок... Но как тяжко, может быть, станет каждое зернышко пороху на весах аллы!.. Как далеко, как невообразимо далеко забросит этот заряд душу человека!.. О, да будет проклят тот, кто изобрел тебя, серая пыль, предающая героя во власть последнего труса, пора-

---

[1] Подушка сия, унизанная дорогими камнями и жемчугом, не имеет цены. *(Примеч. автора.)*

жающего издали врага, который бы одним взором обезоружил поднятую на него руку! Так, этот удар расторгнет все прежние связи мои, но он проложит мне дорогу к новым. В прохладе Кавказа, на груди Селтанеты освежится вновь мое увялое сердце. Как ласточка, я совью себе гнездо на чужбине, как для ласточки, весна будет моим отечеством, я сброшу с себя все печали, как старые перья...

...Но линяют ли угрызения совести?.. Последний лезгин, завидя в бою того, с кем делил хлеб-соль, отворачивает коня в сторону и стреляет мимо, а я пронжу сердце, на котором отдыхал как брат родной! Конечно, он обманывал меня своей дружбою, но разве оттого менее был я счастлив? О, если бы этими слезами я мог выплакать гнев мой, залить ими жажду мщения, купить на них Селтанету!!

Что же медлит заря! Пускай выходит она... Я, не краснея, взгляну на солнце, не бледнея, в очи Верховскому. Сердце мое закалено против сострадания... измена зовет измену... Я решился... Скорей, скорей!

Так беспорядочно, бессвязно писал Аммалат, чтобы обмануть время и развлечь душу; так старался он обмануть самого себя, подстрекая себя местию, когда истинная вина его кровожадности, то есть желание владеть Селтанетою, пробивалась в каждом слове. Чтобы придать себе дерзости на злодеяние, он выпил много вина и, опьянелый, с ружьем кинулся к палатке полковника; но, увидя часовых у входа, раздумал: врожденное в азиатце чувство самохранения не погасло и в самом безумии. Аммалат отложил до утра совершение убийства, но спать не мог он, но разгулять тоски своей не мог он... и, войдя снова в палатку свою, он схватил за грудь крепко спящего Сафир-Али и сильно потряс его.

— Вставай, соня! — вскричал он ему. — Уже заря.

Сафир-Али приподнялся с недовольным видом и, зевая, отвечал:

— Я вижу только винное зарево на твоих щеках. Спокойной ночи, Аммалат!

— Вставай, говорю я тебе! Мертвые должны покинуть гробы навстречу нового пришельца, которого обещал я им для беседы!

— Помилуй, братец, разве я мертвый?.. Пускай себе

встают хоть сорок имамов[1] с дербентского кладбища, а я хочу спать.

— Но ты любишь пить, гяур, и ты должен пить со мною.

— Это иное дело... Наливай полнее... *Алла верды!*[2] Я всегда готов пить и любить.

— И врага убить!.. Ну, еще... за здоровье черта, который друзей оборачивает смертельными врагами.

— Так и быть!.. Катай за здоровье черта! Бедняжке нужно здоровье; мы вгоним его в чахотку с досады, что не удастся нас поссорить.

— Правда, правда, люди не нуждаются в нем для злобы... С Верховским и со мной он бросил бы карты... Но и ты не отстанешь, надеюсь, от меня?..

— Аммалат, я не только вино из одной бутылки, да и молоко сосал из одной груди с тобою. Я твой, если даже тебе вздумается, словно коршуну, свить себе гнездо на скале Хунзаха... Впрочем, мой бы совет...

— Никаких советов, Сафир-Али... никаких возражений!.. Теперь уже не время.

— И в самом деле, они перетопут, как мухи в вине; теперь пора спать...

— Спать, говоришь ты? Мне спать? Нет, я сказал прости сну... Мне пора пробудиться. Осмотрел ли ты ружье, Сафир-Али? Хорош ли кремень? Не отсырел ли от крови порох на полке?

— Что с тобою, Аммалат? Что у тебя за свинцовая тайна на сердце? Лицо твое страшно, речи еще страшнее...

— А дела будут еще ужаснее! Не правда ли, Сафир-Али, моя Селтанета прекрасна! Заметь это: моя Селтанета... Неужели это свадебные песни, Сафир-Али?.. Да, да, да, понимаю... это чакалы просят добычи!.. Духи и звери! погодите немного, я насыщу вас. Гей! подайте вина, еще вина, еще крови... говорю я вам!

Аммалат упал в беспамятстве опьянения на постель; пена била клубом с его уст, судорожные движения волновали все тело; он произносил со стоном невнятные слова.

---

[1] Мусульмане верят, что в часовне, на северном кладбище Дербента, положены сорок первых правоверных, замученных язычниками; русские суеверы подозревают, что тут схоронены сорок мучеников. *(Примеч. автора.)*

[2] Приглашая пить, говорят: «бог дал», то есть на здоровье. *(Примеч. автора.)*

Сафир-Али заботливо раздел его, уложил, укутал и просидел остаток ночи над молочным братом своим, напрасно приискивая в уме разрешения загадочным для него речам и поведению Аммалата.

ГЛАВА XII

Поутру, перед выступлением, дежурный по отряду капитан пришел к полковнику Верховскому с рапортом и за новыми приказаниями. После обычного размена слов по службе, он со встревоженным видом сказал:

— Полковник! я обязан сообщить вам важную вещь. Вчерашний вестовой ваш, рядовой моей роты Хамитов, подслушал разговор Аммалат-бека с его кормилицею в Буйнаках. Он казанский татарин и порядочно понимает здешнее наречие. Сколько мог он разобрать и расслушать, старуха уверяла его, что вы с шамхалом собираетесь отправить его на каторгу. Аммалат бесился, бранился, говорил, что все это знает он от хана Аварского, и клялся погубить вас своею рукою. Не доверяя, однако ж, своему слуху, вестовой не решился ничего объявить, а стал присматривать за всеми его шагами. Вчерась ввечеру, говорит он, Аммалат разговаривал с каким-то издалека приехавшим всадником; на прощанье сказал он: «Скажи хану, что завтра, чуть встанет солнце, все будет кончено. Пусть готовится он сам, я с ним скоро увижусь!»

— И только, г-н капитан? — спросил Верховский.

— Более ничего не имею я сказать, но очень многое думать. Я измыкал свой век между татарами и удостоверился, полковник, что безрассудно доверяться самому лучшему из них. Родной брат небезопасен, отдыхая на руке брата.

— Тому вина зависть, капитан; Каин передал ее в вечное и потомственное владение всем людям, но преимущественно соседам Арарата. Нам же с Аммалатом нечего делить; притом же я ничего не сделал ему, кроме добра, ничего не хочу делать, кроме благодеяний. Будьте покойны, капитан; я очень верю усердию вестового, но мало — его знанию татарского языка. Несколько сходных звуков ввели его в заблуждение; а уж раз создал в уме умысел, все прочее казалось ему доказательствами. Право, я не такой важный человек, чтобы ханы и беки делали заговоры на жизнь мою. Я очень хорошо знаю Аммалата; он вспыль-

чив, но доброго сердца, и не смог бы двух часов потаить злодейского умысла.

— Не ошибитесь, полковник! Аммалат все-таки азиатец, а это слово — аттестат. Здесь не как у нас, здесь слово скрывает мысль, а лицо — душу. На иного взглянешь, ну, кажется, сама невинность, а попытайте иметь с ним дело: это бездна подлости, коварства и лютости.

— Вы имеете полное право так думать, любезный капитан, по опыту. Султан-Ахмет-хан дал вам памятную поминку в Буйнаках, в доме Аммалата. Но я, я не имею никакого повода подозревать в чем-либо ужасном Аммалата. Да и какую выгоду найдет он убить меня? Во мне все его блага, все надежды. Он сумасброд, но не сумасшедший; притом же, как видите, солнце высоко, а я жив и здоров. Сердечно благодарю вас, капитан, за участие, но прошу вас: не сомневайтесь в Аммалате и, видя, как ценю я старую дружбу, будьте уверены, что я буду высоко ценить и новую. Прикажите бить подъем.

Капитан вышел, сомнительно качая головою. Барабаны загремели, и выстроенный в боевой порядок отряд двинулся с ночлега далее. Утро было свежо и ясно; путь вился по зеленым валам предгорий кавказских, где, инде увенчанных лесом или кустарником. Строй был подобен стальному потоку, то катящемуся с гор, то востекающему на холмы. Туманы еще лежали в удолиях, и Верховский, въезжая на вершины, каждый раз оглядывался, чтобы полюбоваться чудною игрою зрения. Спускаясь с крутизны, строй точно будто тонул в дымной реке, подобно войску фараона, и, наконец, с глухим шумом вновь сверкали штыки из волн тумана, потом являлись головы, плечи, люди росли, вырастали, взбегали на высь и снова окутывались в туманы другого ущелия.

Аммалат ехал бледен и угрюм, подле самого взвода застрельщиков. Казалось, он желал, чтобы грохот барабанов заглушил в нем голос совести. Полковник подозвал его к себе и очень ласково сказал:

— Тебя надобно пожурить, Аммалат: чересчур ты начал следовать урокам Гафиза. Вспомни, что вино хороший слуга, но злой барин. Впрочем, головная боль и желчь, разлитая по твоему лицу, верно подействуют на тебя гораздо лучше слов. Ты провел буйную ночь, Аммалат?

— Бурную, мучительную ночь, полковник! Дай бог, чтобы такая ночь была последнею... Мне снились страшные сны.

— Ага, дружок! Вот каково преступать завет Магомета: правоверная совесть тебя мучила, как стень!

— Хорошо, у кого совесть спорит с одним вином.

— Какова совесть, любезный! По несчастию, она так же подвержена предрассудкам, как и сам рассудок. У каждого века, у каждого народа была своя совесть, и голос вечной, неизменной истины умолкал перед самозванкою. Так было, так есть. Что вчерась почитал иной грехом смертным, тому завтра молится; что считают правым и славным на этом берегу, за речкой доводит до виселицы.

— Однако ж, я думаю, лицемерие и измена никогда и нигде не считались добродетелями.

— Не скажу и этого. Мы живем в таком веке, где лишь удача решит, хороши или нет были средства ее достигнуть, где люди самые совестные изобрели для себя очень покойное правило, что цель освящает средства.

Аммалат-бек в раздумье повторил эти слова, потому что их оправдывал. Яд эгоизма снова начинал в нем разыгрываться, и слова Верховского, которые считал он коварством, лились, как масло на пламя.

«Лицемер! — говорил он про себя, — час твой близок!»

И между тем Верховский, как жертва, ничего не подозревающая, ехал рядом с своим палачом. Не доезжая верст восьми до Киекента, с горы открылось перед ними Каспийское море, и думы Верховского понеслись над ним, как лебедь.

— Зеркало вечности... — произнес он, впадая в мечтания. — Отчего не радует сегодня меня лицо твое? Как прежде, играет на тебе солнце, словно божья улыбка, и лоно твое так же величаво дышит вечною жизнию, но это жизнь не здешнего мира! Ты кажешься мне сегодня печальною степью: ни лодки, ни корабельного паруса, никакого признака бытия человека... Все пусто!! Да, Аммалат! — примолвил он, — мне наскучило ваше почти всегда сердитое, пустое море, ваш край, населенный болезнями и людьми, которые хуже всех болезней в свете; мне наскучила самая война с незримыми врагами, самая служба с недружными товарищами. Этого мало, что мне мешали в деле, портили, что приказывал делать... но порочили то, что я думал делать, и клеветали на сделанное. Верой и правдой служил я государю, бескорыстно — отечеству и здешнему краю; отказался я, добровольный изгнанник, ото всех удобств жизни, ото всех радостей общества, осудил

свой ум на неподвижность, без книг; похоронил сердце в одиночестве, без милой... И что было мне наградою? О, скоро ль настанет минута, когда я брошусь в объятия моей невесты, когда я, усталый от службы, отдохну под сенью родной хижины на злачном берегу Днепра... когда, мирный селянин и нежный отец семейства, в кругу родных и добрых крестьян моих, буду бояться только града небесного за жатву, сражаться только с дикими зверями за стадо! Сердце поет по этом часе! Отпуск у меня в кармане, отставка обещана... так бы лётом летел к невесте. И через пять дней я непременно буду в Георгиевске, а все кажется, будто пески Ливии, будто ледяное море, будто целая вечность могилы разлучают нас!..

Верховский умолк; по щекам его катились слезы; конь его, почуяв брошенные повода, ускорил ход, и, таким образом, вдвоем с Аммалатом они далеко опередили отряд... Казалось, сама судьба предавала полковника в руки злодея.

Но жалость проникла в душу неистового, вином пылающего Аммалата, подобно лучу солнечному, упавшему в разбойничью пещеру. Он увидел тоску и слезы человека, которого столь долго считал другом своим, и поколебался... «Нет, — думал он сам с собою, — до такой степени невозможно притворяться!..»

В эту минуту Верховский очнулся, поднял голову и сказал Аммалату:

— Приготовься... ты едешь со мною!

Несчастные слова! Все доброе, все благородное, возникавшее вновь в груди азиатца, в один миг было подавлено ими; мысль о предательстве, о ссылке огненным потоком протекла по всему его существу.

— С вами? — возразил он с злобною усмешкою. — С вами в Россию? О, без сомнения, если вы сами поедете!

И в порыве гнева он пустил вскачь коня своего, чтобы иметь время справиться с оружием, и вдруг обратился навстречу полковнику, пронесся мимо и стал давать быстрые круги около. С каждым скоком сильней разгоралось в нем пламя бешенства. Ему казалось, что свистящий мимо ушей воздух жужжал ему: «Убей, убей! Это враг твой! Вспомни Селтанету...» Он схватил из-за плеча меткое ружье свое, взвел курок и, ободряя себя криком, поскакал с кровожадною решительностью к обреченной жертве.

Между тем Верховский, не питая ни малейшего подозрения, спокойно смотрел на скачку Аммалата, вообра-

жая, что он, по напутному обычаю азиатцев, хочет поджигитовать.

— Стреляй в цель, Аммалат-бек! — закричал он несущемуся на него убийце.

— Какая цель лучше груди врага! — отвечал Аммалат-бек, наскакивая, и в десяти шагах спустил курок!.. Выстрел грянул... и молча, медленно свалился полковник с седла. Испуганный конь его, вздув ноздри, ощетинив гриву, обнюхивал всадника, в руке которого замерли доселе повелительные поводья, а конь Аммалата стал вдруг перед телом, упершись передними ногами. Аммалат соскочил с него и, опершись на дымящееся ружье, несколько мгновений пристально смотрел на лицо убитого, как будто желая доказать самому себе, что он не страшится этого неподвижного взора, потухающих очей, этой холодеющей крови... Трудно было узнать, невозможно передать того, что крутилось вихрем в груди. Сафир-Али прискакал стремглав и кинулся на колени подле полковника... Приложил ухо к устам его: не дышит! ощупал сердце: не бьется!

— Он мертв! — произнес Сафир-Али отчаянным голосом.

— Мертв? Совсем мертв? Тем лучше: мое счастие свершено! — произнес Аммалат, будто пробуждаясь от сна.

— Для тебя счастие! Для тебя, братоубийцы!.. Если ты найдешь его, свет станет молиться шайтану вместо аллы.

— Сафир-Али! вспомни, что ты не судья мне! — грозно сказал Аммалат, ступая в стремя. — Следуй за мною.

— Пускай одно раскаяние преследует тебя как тень; отныне я не товарищ твой!

Пронзенный до глубины души нежданным укором от человека, с которым связан был дружеством от младенчества, Аммалат не вымолвил слова, указал своим изумленным нукерам на ущелие и, видя погоню, как стрела ринулся в горы.

Тревога распространилась по фронту; передовые офицеры и донские казаки кинулись на выстрел, но они поздно прискакали туда; они не могли ни воспрепятствовать злодейству, ни достичь убегающего злодея. Через пять минут окровавленный труп изменнически убитого полковника окружен был толпами солдат и офицеров. Недоумение, негодование, жалость были написаны на всех лицах. Гренадеры, опершись на штыки, плакали навзрыд; и нельстивые слезы текли у них градом по храбром любимом начальнике.

ГЛАВА XIII

Трое сутки скитался Аммалат по горам Дагестана. Как мусульманин, он и в деревнях, покорных русскому владычеству, между людьми, для коих воровство, разбой и бегство — доблесть, безопасен был от всякого преследования; но мог ли уйти от сознания в собственном преступлении? Ни ум, ни сердце его не оправдывали кровавого поступка, и образ падающего с коня Верховского неотступно возникал даже перед закрытыми очами. Это еще более ожесточало, раздражало его. Азиатец, совратясь однажды с пути, быстро пробегает поприще злодейства. Завет хана, чтоб не являться перед него без головы Верховского, звенел в ушах его. Не смея открыть такого намерения нукерам своим, еще менее надеясь на их отвагу, он решился ехать к Дербенту один-одинехонек, целиком через горы и долы.

Глухая, темная ночь раскинула уже креповые крылья свои над приморскими хребтами Кавказа, когда Аммалат переехал ущелие, лежащее сзади крепости Нарынь-Кале, служащее цитаделью Дербенту. Он поднялся к развалинам башни, замыкавшей некогда кавказскую стену, поперек гор тянувшуюся, и привязал коня своего у подножия того кургана, с которого Ермолов громил Дербент, бывши еще артиллерийским поручиком. Зная, где хоронят чиновников, он прямо вышел на верхнее русское кладбище. Но как найти ему свежую могилу Верховского во тьме ночи? В небе ни звездочки; облака налегли на горы; горный ветер, как ночная птица, хлопал по лесу крыльями; невольный трепет проник Аммалата посреди края мертвецов, коих покой дерзал он нарушить. Прислушивается. Море бушует, напирая и отшибаясь от подводных плит. Протяжное *слушай!* часовых обтекало стены города, и вслед за ним раздавался вой чакалов, и, наконец, все стихло, сливаясь с шумом ветра. Сколько раз вместе с Верховским бодрствовал он в подобные ночи, — и где теперь он? И кто низвергнул его в могилу? И его убийца пришел теперь обезглавить труп недавнего друга, надругаться над его останками; как вор гробокопный, пришел похитить достояние могилы, спорить с чакалами о добыче.

— Чувства человеческие! — произнес Аммалат, отирая холодный пот с чела, — зачем посещаете вы сердце, которое отверглось человечества? Прочь, прочь! Мне ли бояться отнять голову у мертвеца, у которого похитил я жизнь?

Ему это не потеря, а мне — сокровище... Прах бесчувствен!

Аммалат дрожащей рукой высек огня, раздул его на сухом бурьяне и пошел с ним искать новой могилы. Рыхлая земля и большой крест указали ему последнее жилище полковника. Он выдернул крест и начал разгребать им холмик; разбил еще не окреплый кирпичный свод и, наконец, сорвал крышку с гроба. Бурьян, вспыхивая, проливал неровный крово-синий блеск на предметы. Склонясь над покойником, убийца, бледнее самого покойника, глядел на труп неподвижно. Он забыл, зачем пришел туда, голова его кружилась от запаха тления, сердце в нем обратилось при виде кровоглавых червей, которые вились уже из-под платья. Прервав свою страшную работу, они, испуганные светом, расползались, сбирались, прятались друг под друга! Наконец, ожесточась, он несколько раз взмахивал кинжалом, и всякий раз немеющая рука его падала мимо. Ни месть, ни честолюбие, ни любовь — словом, ни одна страсть, подвигшая его на убийство, не ободряли теперь на безымянное неистовство. Отворотив голову, в каком-то забытьи стал он рубить Верховского по шее... На пятом ударе голова отделилась от туловища. С отвращением бросил он ее в приготовленный мешок и спешил вылезть из могилы. До сих пор он еще побеждал себя; но когда с страшным кладом своим карабкался вверх, когда камни с шумом обрушились под его ногами и он, осыпанный песком, снова упал на труп Верховского, присутствие духа оставило святотатца: ему казалось, что пламя охватило его, что адские духи, плеща и хохоча, взвились окрест его... С тяжким стоном вырвался, выполз он без памяти из душной могилы и бросился бежать, страшась оглянуться. Вскочив на коня, он погнал его, не разбирая утесов и оврагов, и каждый цепляющийся за платье куст казался ему рукою мертвеца, и каждый шелест ветки и стон чакала — голосом дважды зарезанного друга.

Везде, где ни проезжал Аммалат, встречал он вооруженные толпы акушлинцев и аварлы, приезжих чеченцев и тайных хищников из татарских деревень, подвластных России. Все они спешили на сборные места, ближе к границе, между тем как беки, узденя и князьки съезжались в Хунзах, для совета с Султан-Ахмет-ханом, под предводительством и по приглашению которого собирались они ударить на Тарки. Время к тому было самое благоприятное:

хлеб в амбарах, сено в стогах, и русские, взяв аманатов, в совершенной безопасности расположились на зимние стоянки. Весть об убийстве Верховского разлетелась по всем горам и весьма ободрила горцев. Весело сходились они отовсюду, везде слышались их песни о будущих битвах и добычах, а тот, за кого шли сражаться они, проезжал между ними, как беглец и преступник, скрывая лицо от солнца, не смея взглянуть никому прямо в глаза. Все, что случилось с ним, все, что видел он, теперь представлялось ему будто в удушливом сне... Он не смел сомневаться в том и не мог верить...

На третий день к вечеру доехал он до Хунзаха. Трепеща от нетерпения, спрыгнул он с коня, измученного бегом, и взял из тороков роковой мешок. Передние комнаты были полны воинами. Наездники в кольчугах расхаживали или вдоль стен лежали на коврах, шепотом разговаривая между собою... но повисшие брови их, но угрюмые лица доказывали, что в Хунзахе получены, верно, худые вести. Нукеры бегали взад и вперед торопливо, и никто не спросил, никто не проводил Аммалата, никто не обратил на него внимания. У самых дверей спальни ханской сидел Сурхай-Хан-Джинка, то есть побочный сын Султан-Ахмета, и горько плакал.

— Что это значит? — с беспокойством спросил его Аммалат. — Ты, у которого и в младенчестве не добивались слез, ты плачешь?..

Сурхай безмолвно указал на двери, и Аммалат с изумлением переступил за решетчатый порог.

Сердце раздирающее зрелище представилось глазам пришельца. Посреди комнаты на тюфяке лежал хан, обезображенный быстрою болезнию. Незримая, но уже неотразимая кончина носилась над ним, и погасающий взор встречал ее с ужасом. Грудь вздымалась высоко и потом тяжело опадала; дыхание шипело в гортани, жилы рук напрягались и снова исчезали; в нем совершалось последнее борение жизни с разрушением... Пружина бытия уже лопнула, но колеса еще двигались неровным ходом, задевая друг за друга. Едва искры памяти мелькали в нем, как падучие звезды сквозь ночь, густеющую над душою, и отражались на мертвеющем лице. Жена и дочь рыдали на коленях у его ложа; старший его сын Нуцал в безмолвном отчаянии стоял в ногах, склонив чело на сжатую руку. Несколько женщин и нукеров плакали тихо поодаль.

Все это, однако ж, не поразило, не образумило Аммалата, преисполненного одною мыслию. Он твердою поступью приблизился к хану и громко сказал ему:

— Здравствуй, хан! Я привез тебе подарок, от которого бы оживился мертвец. Готовь свадьбу; вот мой выкуп за Селтанету! Вот голова Верховского! — С этим словом он бросил ее к ногам хана.

Знакомый голос пробудил на миг Султан-Ахмета от последнего сна; он поднялся с усилием, чтобы взглянуть на подарок, и трепет волной пробежал по его телу, когда он увидел мертвую голову.

— Пускай съест свое сердце тот, кто потчует умирающего такой ужасною яствою! — произнес он едва внятно.— Мне надо помириться с врагами, а не... Ах, горю! Дайте воды, воды... Зачем вы напоили меня горячею нефтью? Аммалат! я проклинаю тебя!..

Усилие истратило последние капли жизни в хане: он упал бездушным трупом на изголовье. Ханша с негодованием смотрела на кровавый, неуместный подарок Аммалата; но когда увидела она, что это ускорило смерть ее мужа, вся тоска ее вспыхнула огнем гнева.

— Посол ада! — вскричала она, сверкая взором. — Любуйся: вот твои подвиги! Если б не ты, муж мой не задумал бы подымать на русских Аварлу и теперь здоров и покоен сидел бы дома; но для тебя, объезжая узденей, он упал с крутизны и слег в постелю... И ты, кровопийца, вместо того чтоб утешить больного кроткими словами, чтобы молитвою и милостыней помирить его с аллахом, принес, как людоеду, мертвую голову, и чью голову? Твоего благодетеля, защитника и друга!

— На то была воля хана, — угрюмо возразил Аммалат.

— Не клевещи на мертвого, не марай его памяти лишнею кровью! — воскликнула ханша. — Недовольный тем, что изменнически зарезал ты человека, ты с его головою приехал сватать дочь мою у смертного одра отца, и ты надеялся получить награду от людей, заслужив месть от бога? Безбожник, бездушник! Нет, гробом предков и саблями сыновей клянусь: ты никогда не будешь зятем моим, знакомцем, гостем моим. Удались из моего дома, изменник! У меня есть сыновья, которых можешь ты зарезать обнимая, у меня есть дочь, которую можешь ты зачаровать, отравить змеиными своими взорами. Ступай скитаться в ущельях гор, учи тигров терзать друг друга и отбивай

падаль у волков. Ступай и ведай, что дверь моя не отворяется для братоубийцы.

Аммалат стоял, как опаленный молниею.

Все, что роптала невнятно его совесть, высказано было ему вдруг и так неожиданно, так жестоко. Он не знал, куда девать очи свои. Там лежала голова Верховского с обвинительною кровью, там виделось укорительное чело хана с печатью мучительной кончины, там встречал он грозные очи ханши... Лишь плачущие очи Селтанеты казались ему приветными звездочками сквозь дождевую тучу. К ней-то решился приблизиться он, робко произнеся:

— Селтанета! для тебя совершил я то, за что тебя теряю... Судьба хочет этого — да будет! Одно скажи мне: неужели и ты разлюбила меня, ужели и ты ненавидишь?

Знакомый милый голос проник ее сердце. Селтанета подняла свои ресницы, блистающие слезами, свои глаза, полные тоскою; но, увидев страшное, кровью забрызганное лицо Аммалата, закрыла опять их рукою. Она указала перстом на труп отца, на голову Верховского и твердо сказала:

— Прощай, Аммалат; я жалею тебя, но не могу быть твоею.

Сказав слова сии, она пала без чувств на тело отца.

Вся природная гордость вместе с кровью прилила к сердцу Аммалата. Дух его вспыхнул негодованием.

— Так-то принимают меня здесь — молвил он, бросая презрительный взгляд на обеих женщин. — Так-то исполняют здесь обеты. Я рад, что глаза мои прояснели. Я был слишком прост, когда ценил переходчивую любовь ветреной девушки, слишком терпелив, слушая бредни старой женщины. Вижу, что с Султан-Ахмет-ханом умерли здесь честь и гостеприимство.

Он вышел гордо.

Он дерзко заглядывал в глаза узденей, сжав рукоять кинжала, как будто вызывая их на бой. Все, однако ж, уступали ему дорогу, но, кажется, более избегая его, чем уважая; никто не приветствовал его ни словом, ни знаком. Он вышел на двор, кликнул нукеров своих, безмолвен сел в седло и тихими шагами поехал по пустым улицам Хунзаха.

С дороги в последний раз оглянулся он на ханский дом, чернеющий в высоте и мраке, между тем как решетчатые двери блистали огнями. Сердце его облилось кровью, оскорбленное самолюбие вонзило в него железные когти

свои, а напрасное злодеяние и любовь, отныне презренная, безнадежная, пролили отраву на раны. С тоскою, с гневом, с сожалением бросил он прощальный взор па гарам, в котором узнал и потерял все радости земные.

— И ты, и ты, Селтанета! — более не мог произнести он. Свинцовая гора лежала на груди; совесть его уже чувствовала страшную руку, на ней тяготеющую; минувшее его ужасало, будущее приводило в трепет... Куда приклонит он свою оцененную голову? Какая земля упокоит кости изгнанника? Не о любви, не о дружбе, не о счастии отныне будет его забота, но о скудной жизни, о скитальческом хлебе... Аммалат хотел плакать; глаза его горели... И, как богач, кипящий в огне, сердце его молило об одной капле, об одной слезинке: залить, утолить нестерпимую жажду... Он силился плакать и не мог. Провидение отказало в этой отраде злодеям.

И куда скрылся убийца Верховского? Где влачил он жалкое свое бытие? Никто наверно не знал этого. По Дагестану ходили слухи, что он скитался между чеченцами и койсубулинцами, утратив красоту и здоровье и даже самую отвагу; но кто же мог сказать про то утвердительно? Мало-помалу запала и молва об Аммалате, хотя злодейская измена его до сих пор свежа на памяти русских и мусульман, обитателей Дагестана; до сих пор имя его никем не произносится без укора.

ГЛАВА XIV

Анапа, эта оружейница горских разбойников, этот базар, на котором продавались слезы, и пот, и кровь христианских невольников, этот пламенник мятежей для Кавказа, Анапа, говорю, в 1828 году обложена была русскими войсками с моря и от угорья. Канонерские лодки, бомбарды и все суда, которые могли подходить близко к берегу, громили приморские укрепления. Сухопутные войска переправились через реку Рион, которая впадает в Черное море под северною стеною Анапы и расплывается кругом всего города топкими болотами. Потом повели они бревенчатые траншеи, вырубая для того окрестный лес. С каждою ночью возникали новые бойницы ближе и ближе к стенам города. Внутри дома пылали от бомб, наружные стены рушились ядрами, но турецкий гарнизон, усиленный гор-

цами, дрался отчаянно, делал смелые вылазки и на все предложения о сдаче отвечал пушечными выстрелами. Между тем осаждающие беспрестанно обеспокаиваемы были кабардинскими наездниками и пешими стрелками абазехов, шапсугов, натухайцев и других свирепых горцев Черноморья, сбежавшихся, подобно чакалам, искать добычи и крови. Против них должно было строить обратные реданты, а эта двойная работа, производимая под пушечными выстрелами с крепости и ружейными из леса, в почве неровной и болотистой, очень замедляла покорение города.

Наконец накануне взятия Анапы, на единственном суходоле с юго-восточной стороны, русские открыли брешь-батарею. Действие ее было ужасно. По пятой очереди зубцы и бруствер были опрокинуты, орудия обнажены и сбиты. Ядра, ударяясь в каменную одежду, вспыхивали молниею, и потом, в черной туче пыли, взлетали куски расторгнутых камней. Стена сыпалась, распадалась, но крепость, но толщина оной долго противостояли разрушительной силе чугуна, и крутым обвалом осыпанная стена не представляла еще возможности к штурму.

Для разгоревшихся орудий и долгою стрельбою утомленных артиллеристов необходим был отдых. Мало-помалу пальба стихла на всех батареях суши и моря. Густые облака дыма катились с берега и расстилались по волнам, то скрывая, то открывая опять флотилию. Изредка срывался клуб дымный с орудий крепости, и вслед за раскатами пушечного грома, отзывающегося в далеких горах, несколько пуль свистали кой-откуда. И вот все умолкло кругом, все притаилось внутри Анапы и траншей; ни одной чалмы между зубцами, ни одного граненого штыка в завалах. Только турецкие знамена по башням и русские флаги па судах гордо играли в воздухе, не омраченном ни одною струйкою дыма; только звучный голос муэдзинов раздавался далеко, призывая мусульман к полдневной молитве.

В это время с пролома, против самой брешь-батареи, спустился, или, лучше сказать, скатился, всадник па белом коне, поддерживаемый веревками, перескочил через полузасыпанный ров и как стрела ударил влево между батарей, перепорхнул через завалы, через дремлющих за ними солдат, которые не ждали и не гадали ничего подобного, и, преследуемый торопливыми их выстрелами, скрылся в лесу. Никто из всадников не успел его рассмотреть, не только за ним гнаться; все только ахали от удивления

и досады и скоро забыли про удальца в тревоге, поднятой пальбою с крепости, заведенною нарочно, чтобы дать время бесстрашному вестнику убраться в горы.

К вечеру брешь-батарея, гремевшая неумолчно, почти совершила свое дело разрушения: опрокинутая стена легла мостом для осаждающих, и они с нетерпением отваги готовились к приступу, как вдруг неожиданное нападение черкесов, снявших наши ведеты и цепь, не заставило обратить огонь редантов против неистовых, дерзких горцев. Громовое *алла, гилль, алла!* понеслось навстречу им со стен Анапы. Пушечная и ружейная пальба закипела с них вдвое сильнее, но русская картечь остановила, смешала, развеяла толпы всадников и пеших черкесов, готовых ударить на орудия в шашки, и они с грозными перекликами *гяур гяурлар* обратились назад, покидая за собой усталых. В один миг все поле было усеяно их трупами, их ранеными, которые пытались уползти, карабкались и падали снова, пораженные пулями и картечью, между тем как ядра посекали лес, а гранаты, лопаясь в нем, довершали истребление.

Но с самого начала дела до тех пор, покуда ни одного неприятеля не осталось вблизи, русские с изумлением видели перед собою статного черкеса на белом коне, который тихим шагом проезжался взад и вперед мимо наших редантов. Все узнали в нем того самого всадника, что перескочил через траншеи в полдень, вероятно для подговора черкесов напасть на русских сзади, в то время, как они хотели выпустить из ворот не удавшуюся теперь вылазку. Брызжа и урча, прыгали около него картечи. Конь его рвался на поводах, но сам он, хладнокровно поглядывая на батареи, ехал вдоль их, будто с них осыпали его цветами. Артиллеристы грызли зубы с досады, видя ненаказанную дерзость этого наездника; но выстрел за выстрелом рвали воздух и землю, но он оставался невредим, как очарованный.

— Посылай ядро! — сказал фейерверкеру молодой артиллерийский офицер, только что выпущенный из корпуса, раздосадованный всех более неудачею. — Я готов зарядить пушку своей головою: так хочется мне убить этого хвастуна. Картечью не стоит стрелять по одному: картечь — *авось;* ядро сыщет виноватого.

Так говоря, он подвинчивал клин и наводил сквозь диоптр орудие, и, верно рассчитав, в какое мгновение всад-

ник наедет на черту прицела, встал с хобота и скомандовал роковое *пли!*

На несколько мгновений дым одел батарею мраком... Его разнесло... Испуганный конь мчал окровавленное тело всадника, запутавшегося ногами в стременах.

— Попал, убил! — закричали со всех траншей, и молодой артиллерист, набожно сняв фуражку, перекрестился и с веселым лицом спрыгнул с батареи, чтобы поймать заслуженную добычу. Ему скоро удалось схватить за поводья коня поверженного в прах черкеса, потому что он кружился, влача его сбоку. Несчастному оторвало руку близ плеча, но он еще дышал, еще стонал и бился. Жалость взяла доброго юношу: он кликнул солдат и заботливо велел перенести раненого в траншею, послал за лекарем и при своих глазах дождался конца операции.

Ночью, когда уже все утихло, артиллерист сидел над полумертвым своим пленником, с участием рассматривая его при тусклом свете фонаря. Змеиный след тоски, проторенный на щеках слезами, глубокие морщины лба, нарезанные не летами, но страстями, и кровавые царапины обезображивали его прекрасное лицо, и на нем выражалось что-то мучительнее боли, что-то страшнее кончины. ...Артиллерист, не мог удержать невольного содрогания. Пленник вздохнул тяжело и, с усилием подняв руку до лба, открыл ею свои отяжелевшие веки, произнося про себя неясные звуки, несвязные слова...

— Кровь... — сказал он, разглядывая свою руку, — все кровь! Зачем на меня надели *его* кровавую рубашку?.. Я и без того плаваю в крови... Зачем же не тону в ней?.. Как холодна сегодня она... Бывало, она жгла меня... да и это не легче!! На свете было так душно... в могиле так холодно!.. Страшно быть мервецом!.. Глупец я! Искал смерти... О, дайте мне воротиться на свет!.. Дайте пожить, еще хоть денек, хоть часок пожить!.. Что такое? Что? Зачем я спрятал в могилу другого? *шепчешь ты...* Узнай сам, каково в ней! Узнай, каково умирать!..

Судорожное движение прервало бред его; невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца, и он впал в томительное забытье, в котором одна душа живет еще, чтобы страдать.

Артиллерист, тронутый до глубины сердца, приподнял голову несчастного, спрыснул ему лицо холодною водою и тер спиртом виски, чтобы привести его в чувство. Мед-

ленно открыл он очи, несколько раз потряс головою, будто желая отряхнуть с ресниц туман, и пристально устремил зрачки на лицо артиллериста, бледно озаренного мерцанием свечи. И вдруг с пронзительным криком, будто магическою силою, приподнялся он с ложа... Волосы его стали дыбом, все тело дрожало лихорадочной дрожью, руки искали что-то оттолкнуть от себя... Неописанный ужас изобразился на его лице...

— Твое имя? — вскричал он наконец, обращаясь к артиллеристу. — Кто ты, пришелец из гроба?

— Я Верховский, — отвечал молодой артиллерист.

Это был выстрел прямо в сердце пленнику; лигатура на главной артерии лопнула от прилива, и кровь хлынула сквозь перевязки!.. Еще несколько трепетаний, несколько хрипений, и ледяная рука смерти задушила в груди раненого последний вздох, сохранила на челе печать последней тоски, собирающей медленность целых лет раскаяния в один быстрый миг, в который душа, отрываясь от тела, чувствует равно муки жизни и ничтожества, чувствует вдруг все угрызения минувшего и все страхи будущего. Страшно было видеть обезображенное лицо этого мертвеца.

— Он, верно, был большой грешник! — тихо сказал Верховский стоявшему подле него генеральскому переводчику, содрогаясь невольно.

— Большой злодей! — примолвил переводчик. — Мне кажется, он был русский беглец. Мне не случалось слышать, чтобы какой-нибудь горец говорил так чисто по-русски, как этот пленник. Дайте-ка мне посмотреть его оружие, не найдем ли на нем каких примет.

Говоря так, он с любопытством обнажил кинжал, снятый с убитого, и, приблизив его к фонарю, разобрал и перевел следующую надпись:

«Будь медлен на обиду — к отмщенью скор!»

— Самое разбойничье правило! — сказал Верховский. — Бедный брат мой Евстафий! Ты пал жертвою подобного изуверства.

Глаза доброго юноши наполнились слезами...

— Нет ли чего еще? — спросил он.

— Вот, кажется, имя убитого, — отвечал переводчик. — Оно: Аммалат-бек!

ПИСЬМА ИЗ ДАГЕСТАНА

1

Дербент, 1 сентября 1831 года.

Куда вы больно затейливы, любезные мои приятели: пиши вам и часто и много, описывай всю подноготную, и где, и как, и почему. Да что я вам за Саллюстиус, что за Жомини! Мое дело сказать вам: вот что я видел, вот что мне известно... Но много ли увижу я чрез ствол моей стальной зрительной трубки, много ли узнаю в цепи стрелков на пикете, в *секрете?* Я могу довольно верно изобразить вам уголок картины, у которой пороховой дым служит горизонтом и рамами, но не спрашивайте у меня целой панорамы, еще менее — планов сражений и походов. На это не станет у меня ни средств, ни уменья, ни досуга.

Но ведь надобно же и вас потешить; надобно же хоть сколько-нибудь познакомить вас с театром дагестанской войны. Итак, разогните карту Кавказа. Реки Самбур (по-русски Самура) и Койсу (при устье разделяющаяся на рукава Аграхан и Сулак), разбегаясь с хребта, первая на юго-восток, другая на северо-запад, образуют огромный неправильный треугольник, пересеченный параллельно берегу Каспия хребтом Салатав и его продолжением. Верх этого треугольника заселен лезгинскими племенами, известными под общим именем тавлинцев (от тав — гора); трапеция же, омываемая морем, занята кумыками, дженгутайцами, каракайтахцами, табасаранцами. На самом

хребте с юга живут вольные табасаранцы, за ними акушинцы, внутрь гор аварцы, за ними по прямой линии очень близок и Тифлис. Ныне, для управления, к Дагестанскому округу присоединен и Бакинский округ, так что граница Дагестана, то есть *страны гор*, касается теперь Ширвани. Города Тарки, Дербент, Куба — вот три оси, около которых должны вертеться колеса нашего рассказа... Покатимся.

Помня Ермолова, горские народы не смели подняться на русских и в смутное время 1826 и 1827 годов, когда войска Аббас-Мирзы проникли до самой Самуры и все Засамурье поднялось с ними заодно. Этому, правда, способствовало разноверие. Персияне следуют секте Шаги, а все горцы сунниты, и ненавидят друг друга насмерть. Впоследствии, глядя на удачные разбои своих соседов, чеченцев и черкес, пробудились лезгины, около Кахетии живущие. Постройка крепости Закатал в сердце гор стоила многих трудов и крови. Мало-помалу дух мятежа, грозимого карою, проник и в край давно покоренный, в Дагестан. Появление дерзкого проповедника Кази-муллы сосредоточило, дало религиозный характер мятежу, хотя настоящие тому причины давно тлелись под пеплом страсти к хищничеству. Стоит сказать слово об этом необыкновенном человеке, занимающем все базары Кавказа вестями о своих делах или замыслах, про которого поют женщины, качая ребенка, и ребята пугают друг друга.

Кази-Мугаммед родом койсубулинец, из селения Унсукуль. Говорят, будто дед его был беглый русский солдат. Ребячество свое провел он в Гимри, в селении, лежащем на южном обрыве Салатава, прямо против Эрпилей. Бедняк, подобно всем своим соотечественникам, возил на осле виноград в шамхальские деревни, для промена его на пшеницу. Эта кочующая жизнь дала ему подробное познание местностей, и он мастерски пользуется им против нас. Впоследствии он отдан был учиться грамоте к одному мулле в с. Бирикей (оно лежит при устье Бугама). Мулла этот, заметив в Кази-Мугаммеде необыкновенное прилежание и смышленость, послал его к известному ученостью кадию Мугаммеду, во владение Аслан-хана Казикумыкского. У него-то, изучив арабский язык, натерся он духом мусульманского изуверства и нетерпимости. Скоро, почитая

или выдавая себя за вдохновенного свыше, Кази начал проповедовать ненависть и восстание на неверных. Аслан-хану, человеку равно властолюбивому, как далекому фанатизма, не понравилось это хозяйничанье в его владении; он выгнал оттуда с бою и учителя и ученика, говоря, что мусульманам за глаза довольно одного Мугаммеда. Это случилось в 1821 году; с той поры Кази притих, и в нем самом затихли, кажется, надежды на известность. Обстоятельства отрастили им крылья.

В 1830 году западные горцы начали производить свои набеги. Друг перед другом рвались они отличиться; но в Дагестане, в котором Кази-Мугаммед начал уже действовать через письма, воззвания, подговоры и обеты, ничего важного не произошло... Река роптала, вздымалась, но еще не выступила из берегов. Над дагестанцами висел, как туча, сильный корпус, сначала под командою генерал-лейтенанта князя Эристова, потом генерал-лейтенанта барона Розена 2-го. Только жители Темир-Хан-Шуры, подвластные шамхалу, ушли из домов своих и порой ночью тревожили перестрелкою лагерь, близ деревни их расположенный. Войска сделали только рекогносцировку на Гимринскую гору, ночевали в снегу, полюбовались на рассеянные в Койсубулинском ущелье деревни; стрелки променяли несколько пуль с сторожевыми горцами; артиллерия для опыта броеила несколько гранат; они все лопнули на воздухе, ибо круть и глубина обрыва делают прямые выстрелы невозможными. Войска возвратились в лагерь к Шуре; осенью 14-я дивизия возвратилась на место, а куринцы и апшеронцы разошлись по своим штаб-квартирам[1]. Зиму все было спокойно: почты ходили очень верно от Кубы до самого Кизляра; путники ездили поодиночке; но с появлением подножного корма, этого элемента наездников, все жители поморья начали уклоняться от своих обязанностей. Там и сям совершались убийства... волнение стало заметнее; наконец Навруз-бек, один из старинных дагестанских наездников, долго бывший дружителем русских и находившийся под следствием за дурное управление вверенных ему деревень, бежал из Дербента с удалыми сыновьями своими, набрал шайку, напал на рассеянных в лесу косцов Куринского полка и вырезал многих изменнически.

[1] Один батальон Куринского полка зимовал в с. Казанищи. *(Примеч. автора.)*

В скором времени поднялись и каракайтахцы, ибо жители многих деревень были участниками сего разбоя. Кази-мулла почти тогда же явился в Дагестане с сильным войском тавлинцев и чеченцев; владения шамхала подняли оружие.

Трудно себе вообразить, как легко взбунтовать азиатцев! Самые нелепые слухи, самые невероятные надежды, самые несбыточные обеты идут у них за чистое золото. И что мудреного! Люди, для которых нет ни *вчера*, ни *завтра* и оттого ни опытности за минувшее, ни расчета на будущее; люди, которые не видят и в настоящем того, что есть и как оно есть, а того менее, как оно быть должно; люди, которым бог дал довольно ума, но обстоятельства не развернули нисколько разума, — очень легко меняют верное на неверное, более любят ружье, чем заступ, и охотнее переносят нужду, чем труд. Правду сказать, азиатцу не много терять. Сакля его без потолка; он кроет ее тростником. Половина хлебов и лугов его вытоптана; он продает втридорога остальное — и сыт и прав. Напевая себе боевую песенку, он чистит винтовку в глазах русского постояльца. Притом в каждом азиатце неугасим какой-то инстинкт разрушительности: для него нужнее враг, чем друг, и он повсюду ищет первых. Не то чтоб он ненавидел именно русских; он находит только, что русских выгоднее ему ненавидеть, чем соседа, а для этого все предлоги кажутся ему дельными. Разумеется, умные мятежники пользуются всегда такою наклонностию и умеют знаменем святыни покрывать и связывать мелочные страсти. Надо примолвить, что война с поляками отозвалась и в горах, дав горцам если не надежду на успех, то поруку в долгой бескарности. Кавказ зашевелился: ему вздумалось стряхнуть с хребта своего наших великанов... Не горячись, голубчик! В 1831 году скопища Кази-муллы принимали вид более и более грозный. Небольшой отряд русских, дважды выступая из лагеря под Кяфир-Кумыком, успел разбить шайки возмутившихся жителей. В половине мая генерал-майор Таубе проник в ущелье к д. Атлы-буйны[1], имел жаркое дело с Кази-муллою, но возвратился без успеха на линию. Тогда, как горные потоки, хлынули к Таркам лезгины и залили всю окрестность. Несколько сотен храбрых защи-

[1] Атлы-буйны напрямик верст тридцать от Тарков. *(Примеч. автора.)*

щали огромную крепость Бурную, висящую над Тарками; но они были отрезаны от моря и от гор... Отряд генерала Коханова громил в то время деревни изменников, но между им и Тарками шумели волны измены. Сношения были невозможны.

Тарковские жители клялись, как обыкновенно, быть верными власти законной и, как обыкновенно, стоптали свою клятву. В ночи на 26 мая Кази-мулла с своими войсками вступил в город тихомолком; на рассвете жители, под предлогом бегства от приближающегося врага, подкатили арбы с нагорной стороны близко к крепости, под защитою оных кинулись к стенам первые, несмотря на пальбу с блокгаузов, и в один миг заняли стрельницы. Вложив в каждую стрельницу ружей по пяти, они поражали каждого, кто хотел приблизиться... отвечали ударами кинжалов на удары штыков и нередко вырывали друг у друга ружья. Надобно сказать, что в самой крепости нет родников, и потому воду взвозят в нее волами по крутой дороге, иссеченной в утесе. Дорога эта прикрыта стенкою с зубцами; две небольшие башни служат ей для боковой обороны. Немного выше, на повороте дороги, стоял пороховой погреб; на него-то устремились мятежники густыми толпами, чтобы одним ударом лишить гарнизон и воды и снарядов. Предприятие их увенчалось успехом. Закрытые самою стенкою от выстрелов пушечных, они разломали оную, отбили двери погреба и с криками победы ворвались туда на дележ патронов; другие, упоенные удачею, поползли, как змеи, выше, — участь Бурной висела на волоске... Но вдруг граната, решительно брошенная с крепости, лопнула в самых дверях погреба... Этот миг был ужасен!.. Утес дрогнул как лист, гром разорвал ухо, и черный столб, рассеченный пламенем, взвился под облака... Камни и трупы вращались в дымном вихре, страшно чернея на зареве, и вдруг этот столб разветвился широко и, подобно адскому водомету, брызнул на землю изорванные, опаленные останки взрыва. И все еще трепетало, шумело, звучало кругом; камни катались сами собою, стекла рассыпались в пыль, затворы скрежетали, и пепельный дождь, перемешанный кровавыми членами, летел из воздуха.

Ужас, объявший всех, для русских длился минуту. Майор Федосеев, комендант и воинский начальник в Бурной, предпринимал и пред сим две смелые, хотя гибельные вылазки, чтобы отбить воду. Он выслал третью, когда еще

не опал дым взрыва. Солдаты наши, врезавшись между оглушенных врагов, кололи их беспощадно, кровь лилась на кровь; но обезумелые горцы кидались вперед и гибли то на штыках, то на острых камнях, сброшенные с крутизны. Это происшествие ободрило осажденных, усмирило на время осаждающих. Ночь пала, но она не прекратила перестрелки. Горцы, выжитые продольными выстрелами из-под стен, заняли высоты, владеющие крепостью, и били по бойницам на выбор. Пули летали даже внутрь домов; раненые не были безопасны в постелях.

Между тем недостаток воды поджигал жажду. Плач женщин и жалобный рев четвероногих наводили тоску на самое бесстрашное сердце. Бубны и клики угроз и повременные выстрелы раздавались кругом крепости, будто в насмешку уныния, в ней царствующего. Комендант был неусыпен, гарнизон отважен; но что могла сделать горсть людей противу тысяч, беспрестанно возрастающих? Русских едва ставало на пятую часть бойниц. Жажда возрастала, а отряд бог весть где. К счастию, один татарин, из числа преданных шамхалу, скрывшемуся в крепости, взялся доставить весть об осаде генералу Коханову. Поутру он, показывая вид, будто бежит из Бурной, спрыгнул со стены; по нем открыли холостую пальбу; он удалялся, отстреливаясь, и наконец скрылся в кустарниках, в рядах вражеских. Сердце у каждого солдата билось страхом и ожиданием. Пройдет ли он? Дойдет ли он? Не изменит ли сам? Поверят ли ему?.. День минул в перестрелке. Сон не смыкал очей осажденных.

На третье утро с крепости увидели, что горцы, раздраженные безумолчным огнем башни, стоящей внизу на водяной дороге и совершенно отлученной от всякой помощи, набросали на потолок ее дров, обложили вокруг хворостом и собираются сжечь и сжарить заживо заключившихся там двенадцать человек солдат, которые решились погибнуть скорее, чем сдаться. Участь, ожидавшая этих бесстрашных, была ужасна. Товарищи видели их бедствие и не могли помочь им!.. Несколько головней, брошенных на кровлю, закурились... Зверские крики радости огласились в толпах осаждающих,—но железные двери распахнулись внезапно, и маленький гарнизон ринулся по дороге вниз к водяной башне, где другая кучка храбрых отсиделась от беспрестанных нападений, хотя и потеряла своего офицера. Один убитый и трое раненых заплатили за это

счастливое переселение; но остальные спаслись от страдальческой смерти, тем вернейшей, что у них не было уже ни зерна пороху.

Если б Кази-мулла был опытнее и воины его решительнее, Бурная не могла бы устоять, несмотря на львиную храбрость гарнизона. С нагорных сторон стены так низки, что враги могли бы штурмовать их с плеч товарищей, и так обширны, что если бы повели атаку со всех фасов, малочисленный гарнизон не знал бы, куда кинуться для отпора. Но блокгаузы ли, заменяющие бастионы, пугали горцев, или вели они нападение с востока оттого, что им ближе было ходить из города, только они будто на смех напирали на самую неприступную сторону; несколько раз порывались отбить ворота и всегда бывали отражаемы с уроном и провожаемы в напутье пулями и картечью. Но солнце клонилось к западу, и с ним западала надежда осажденных. Нет как нет отряда! Нет как нет спасения! Переметчики принесли весть, что к утру Кази-мулла назначил решительный приступ, что лезгины вяжут фашины и лестницы. Русские готовились умереть, не выдав оружия, и в этот миг услышали звук перестрелки, вторимый эхом гор. Можно ли представить себе, не только описать другим, этот переход от отчаяния к радости! Была уже ночь, когда русская граната рассыпалась звездой спасения, — гром пушек и «ура» приветствовали братий. Враги и други наши ночевали на оружии! Судьба потрясала жребиями боя и смерти в таинственной урне. Солнце встало кроваво, как боевое знамя; все видели восход его; но сколь многим не суждено было видеть его заката! Я уже описал вам тарковское сражение; вы сами можете вообразить чувства, волновавшие осажденных, когда увидели они малочисленный отряд, идущий в неровный, сомнительный бой с неприятелем, скрытым в стенах, впятеро сильнейшим. Но чего, но кого не одолеют русские? Разбитый Кази-мулла бежал, ночью, пеший. Но он не уныл духом... Скоро узнали мы, что он в течение восьми дней осаждал в Чечне крепость Внезапную и, верно бы, взял ее, истомив жаждою, если б не подоспел генерал Бекович на выручку. 19 июня генерал Коханов разбил вблизи Тарков еще раз мятежников. Горцы вздумали напасть на русских среди бела дня и почти на открытом месте. Их, как водится, обошли, подпустили на полкартечный выстрел и развеяли в прах. Вот уже правда, что они от дыхания пушек летят

как «пух от уст Эола». Больше всех досталось тут мехтулинцам, подручникам Ахмет-хана, которые еще в тарковском деле дрались с нами заодно и потом пристали к мятежникам.

22 августа было дело в Казанищах. Вы его знаете из моих писем. В промежутках отряд жег деревни; впоследствии он стал лагерем близ селения Губдень; это лучшая наблюдательная точка; тут ворота гор, и оттуда равное расстояние до Тарков и Дербента, по два усиленных перехода в каждое. В это время я был в Дербенте.

Между тем искры мятежа, раздуваемые Кази-муллою, вспыхнули пламенем в вольной Табасарани. Вслед за ними взволновались и владения Ибрагим-бека Карчахского, наследника майсумов (князей) Табасарани, человека, издавна преданного русским. Это принудило генерал-адъютанта Панкратьева, главноуправляющего Закавказским краем, по отбытии графа Паскевича-Эриванского в столицу, отрядить для усмирения Табасарани два батальона 42-го егерского полка, с несколькими сотнями ширванской конницы. Отряд этот поручен был храброму полковнику Миклашевскому, тому самому, который в 1828 году с цепью стрелков сбил турок с Топдагского кладбища, втоптал их в ворота Карса, ворвался с ними вместе внутрь и был главным виновником внезапного взятия этой крепости. Он промчался грозой по Табасарани, по непроходимым лесам и крутизнам, имел сражение на горе Гарбакурани, при Каруль-Гуа, при Нетарин-Гирве, спалил девять селений, покорил новый магал, заставил присягнуть старшин прочих, — но, вдруг отозванный в Ширвань, ушел из Дагестана[1]. Экспедиция его продолжалась пятнадцать дней; но долго будут помнить в горах Кара-полковника (то есть черного), как называют его горцы.

В это самое время слухи о намерении Кази-муллы напасть на Дербент возросли до вероятия. По вечерам татары теснились в кружки по перекресткам и базарам; женщины, встречаясь на улицах, восклицали: «ваксей джан джюван! на вар, на олур (ахти, молодушка! что слышно, что-то будет)?» и нередко, присевши на корточки, забывали закрывать лица от прохожих. Мальчишки,

[1] Тому причиной были сборища турецких войск на границе. *(Примеч. автора.)*

прыгая на одной ноге, напевали: «Кази-мулла геляды (идет)!» Взад и вперед возили пушки, снаряды. Русские кумушки тащили, как муравьи, свою рухлядь в крепость... В городе кипела какая-то мрачная деятельность. Мне все это казалось очень забавно. «Стоит ли жизнь таких хлопот?» — думал я и преспокойно закуривал фитилем трубку.

Желая, однако ж, узнать мнения дербентцев, преданности которых, признаться, мало верил, я нередко, нахлобучив папах на брови, закутан в татарскую чуху, вмешивался в толпу и прислушивался к народным толкам.

— Ему ли, собачьему сыну, прийти сюда! — говорили иные старики, поглаживая с гордостью красные бороды. — Не ему чета был русский сардарь Кызыль-аях[1], да простоял же под Дербентом целую зиму. С той стороны батареи как начнут жарить, так, бывало, у земли лихорадка делается, а бомбы-то, бомбы! Как ударится одна о другую в воздухе, да и упадут наземь; в большой мечети штук пять нашли сплющенных, словно блюда. Да и то, если б *мы сами* не захотели выгнать хана, ничего бы не взяли русские. Про старинное нечего и поминать: сколько раз подступали сюда и горцы, и индейцы, и крымцы, — да грязь съели!

— Сожгу я гроб отцов да и прадедов этого Омарова отродья! — говорил другой. — Видишь, что задумал *он!* Всем, кто постарее, — голова долой, кто помоложе — в плен, а женщин наших по рукам разобрать!.. Говорят, уж приказ дал своим все золото с женских монист ему принести, когда будут грабить Дербент, а другое прочее что кому попало[2]. Проклятый недоверок, да еще нас же не считает мусульманами; они, говорят, хуже гяуров!..

— Плюю на бороду этого Тази-муллы[3], и друзей его, и разбойников его! — восклицал третий, выставляя ручку

---

[1] Золотая Нога — так называют дагестанцы гр. Валериана Зубова. Они никак не верят, что политические перемены в России, вследствие чего Зубов был отозван в столицу, а вовсе не храбрость дербентцев, были причиною зимовки русских в двадцати верстах от города. Весною город сдался, едва построили первые батареи. Это было в 1796 году. *(Примеч. автора.)*

[2] Это истина. Такими-то обещаниями наиболее прельстились горцы. *(Примеч. автора.)*

[3] Тази — собака. Игра слов, вместо Кази. *(Примеч. автора.)*

кинжала в оправе, с блестящей насечкою. — Пусть только лопатники лезгины покажут сюда нос, так мы им дадим себя знать!

Но между этой хвастни возникал и голос сомнения, чтоб не сказать страха. Купцы, которые под миродатным владычеством русских давным-давно отвыкли от оружия, оглядывались назад и поговаривали, что русских здесь чересчур мало, что микелляры[1] городские в сношениях с Кази-муллою, что они, пожалуй, впустят его ночью, что городские стены кругом шесть верст, а в городе нет народа на осьмую часть этой длины и у половины взрослых нет ружей! Иные толковали даже, что конницею можно вбрести в море, объехать стены и ударить с открытой стороны...

— Все горы опрокинутся на нас! — говорили самые робкие. — Абдурзах-кади, Исса-бек, Шамардан-бек и другие окрестные владельцы давно таят измену, давно звали сюда Кази-муллу и теперь уже явно пристали к нему. От генерала Коханова мы отрезаны. Кара-полковник ушел в Ширвань, а того и смотри, что Аслан-хан нагрянет заодно с нашими врагами. Говорят же, что и Акуша и Авария подымаются!

В этих речах было много правды.

2

Наконец 19 августа, верст за пятнадцать от города, наездники Кази-муллы завязали перестрелку с дербентскими разъездами через речку. Неприятель напирал, — дербентцы свились назад. К вечеру 3-й батальон Куринского пехотного полка оставил свои казармы, за две версты от города, выстроенные на высотах Кефары, вступил с барабанным боем в Дербент и расположился на приморских стенах. Крепость Нарынь-Кале занята была батальоном Грузинским линейным N 10-го, под командою майора Пирятинского. Стены города во всем их пространстве вверены были защите жителей.

Исправляющий должность дербентского коменданта плац-майор майор Васильев сделал заранее все нужные

---

[1] Так зовут саннитов дербентских. Шагиды, по ненависти, клеветали на них. *(Примеч. автора.)*

распоряжения. Места по фасам были расписаны для действия — точки сбора на случай приступа. Полуразрушенные стены увенчаны наскоро грудною обороною из досок, из корзин с землею, из хвороста. Ночь прошла в ожидании.

И вот утром 20 августа закурился дым по дороге Тарковской — это горели стоги сена. Вестники скакали взад и вперед, взивая пыль по полю; кровли осыпаны были зрителями; женщины, разбросив по ветру чадры, с криком бегали из дома в дом; везде сверкали штыки и сабли; на углах крепости виднелись в высоте артиллеристы, заряжающие орудия. Барабаны гремели. Город, не видавший в течение тридцати лет ничего воинственного, превратился вдруг в боевой стан. В семь часов запылали куринские казармы в Кефарах, и клубы черного дыма, как перья великанского шишака, осенили противолежащую гору. Первый подскакал к башне (когда-то сторожевой, на углу этой горы стоящей) статный черкес, мелькнул на черном поле дыма и будто улетел с ним... За ним другой, третий... Дербентская конница, как стадо свиристелей, шумя влетела в ворота — и вот рассеянные толпы неприятельской пехоты показались по всем дорогам и садам, вея белыми значками. Пушка заревела с крепости, — ядро запрыгало между врагами, и клики вражды с обеих сторон огласили воздух. Надобно сказать, что Дербент северным боком стоит над ущельем, которое охватывает с запада крепость оного, Нарынь-Кале, и потом простирается в гору. Крутой берег этого ущелья увенчан двумя башнями, когда-то сторожевыми, но теперь покинутыми. Эти башни были в тот же миг заняты мятежниками, и из-за них-то завели они перестрелку по стенам, по улицам, в окна домов и начали складывать из камней завалы (tranchée). Меня удивили и потешили четверо дербентских жителей: залегши на горе за камнями, они одни-одинехоньки, на пистолетный выстрел от врагов, оставались три битых часа и не давали высунуть носу из-за гребня холма своими меткими выстрелами: вот что значит решительность! Но между тем завалы росли. Лезгины, как муравьи, таскали по камню, сейчас ложились за ними и посылали к нам брань и пули. В несколько часов обе башни были соединены стенкою, и в бока разведены были крылья (épaulements). Пальба не умолкала. Жители сгоряча не жалели пороху; всякий хотел доказать свое удальство или усердие... Пушечные вы-

стрелы держали такт в этой увертюре... Вид был единственный.

Под вечер, вслед за одним капитаном, я сел на коня и поскакал к морю проведать, что там делается. Виноградные сады, перерезанные канавками и терновыми оградами, подходят там почти вплоть к стенам города. Пользуясь этим, неприятельские стрелки пытались подползать шагов на тридцать. Всхожу на стену подле Кизлярских ворот, — такая пальба, что небу жарко!.. Несколько человек лезгин хотят унести своего раненого; на раненого упал убитый, на убитого третий. Горцы хотят выручить тела товарищей, — все напрасно. Бедняга раненый бился под трупами, выбрался, пополз, порвался перелезть через плетень и, вновь пробитый многими пулями, повис поперек, как орден Златого Руна. Вперед, вперед!.. Чего жалеть! Вот несут и русского раненого.

На основании разрушенной приморской башни поставлено было легкое орудие. Глядим: кучка неприятельских всадников приехала купаться в море. Ах вы, бездельники! Вам надо кровавое омовение за эту дерзость. Фейерверкер! Хватит ли туда ядро? Фейерверкер уверяет, что не хватит. А вот пустим на божью волю! Капитан, с которым я приехал, присел на лафет, подвинтил по диоптру подушку. *Пли!* Ядро всплескалось, как утка по отмели; прыжок, другой, и как раз в средину толпы!.. Любо стало видеть, как разбрызнуло оно купальников... Ага, дружки! каково наше чугунное мыло? Наводим трубку: тащат троих — и все прочь, и все вроссыпь. Готова ли? Пли! — и снова прощальное ядро взвило пыль по полю; одного молодца угодило в полконя, и он вместе с буцефалом своим мельницею закрутился в воздухе. Между тем близ нижнего базара вывезли два единорога, чтобы пронизывать во фланг прибашенные завалы. Гранаты лопались на горе, вздымая прах и дым на зареве заката. Дикий рев радости наших азиатцев провожал каждый удачный выстрел; напротив, клики укора раздавались в скрытых толпах осаждающих, если удар миновал цель. Реже и реже летели навстречу угрозы и пули. Наконец вечерний намаз укротил перепалку. В течение этого дня неприятель обходил город, с горской стороны занимая гребни холмов, а с кубинской — сады.

Мне впервые удалось быть в осажденном городе, и потому я с большим любопытством обегал стены. Картина

ночи была великолепна. Огни вражеских биваков, разложенные за холмами, обрисовывали зубчатые гребни их то черными, то багровыми чертами. Вдали и вблизи ярко пылали солдатские избушки, сараи, запасные дрова. Видно было, как зажигатели перебегали, махая головнями. Стрельба не уставала, ибо лезгины подползали к самым стенам, то желая отрезать воду, то зажечь ворота, подбрасывая под них хворост. Самый город чернелся, глубоко потопленный в тени, за древними стенами; но зато крепость, озаренная пожаром, высоко и грозно вздымала белое чело свое. Казалось, по временам она вспыхивала румянцем гнева; медные уста гремели, и эхо гор с ропотом вторило глаголу смерти, между тем как зловещий свист ядра порывался сквозь мрачный воздух. Дикий хор бодрствующих дербентцев: «Хабардар, ойй хабардар (остерегайся)!» и, будто в ответ ему, вечная песня последователей Кази-муллы: «Ля нилля, гилль алла!» раздавались часто. На взморье змеился отблеск двух костров... Так прошла первая ночь.

Встало солнце, и неприятель разыгрался. Конница и пехота потянулись к морю, вероятно пытаясь ворваться в город с открытой стороны. Орудия заговорили и с крепости и с двух новых барбетов, устроенных ночью на дряхлых стенах города. Вот всходит к нам на стену Ибрагим, бек Карчахский, держит речь к дербентцам — зовет их на вылазку подкрепить его нукеров. Идем, идем. Двое русских, тут бывших (один штабс-капитан и я), не дожидаясь, покуда отомкнут ворота, спускаемся со стены. Сорок удалых нукеров Ибрагима кидаются вперед; град пуль встречает нас с сторожевых башен, град пуль осыпает в бок из завалов, на локте ущелья заложенных. «Югюрь, югюрь (бегом)!» — кричат со стены татары. Мы бежим, спускаемся в рытвину, прядаем на камни, взбегаем по крутизне на гору,— ядра ревут через нас предтечей гибели. «Хоччаклар (молодцы)! — кричу я татарам. — Кто выстрелит больше разу из ружья, алагын дюшан-лы (тот враг божий). Сигерма клынч гиррек (ударим лучше с обнаженными саблями)», — и с этим словом, после немногих выстрелов, кидаемся на завал с обнаженными кинжалами. Ура! Наша взяла, пули чрез голову, смятый враг бежит, башни наши, знамя наше — пошла резня. Нукеры Ибрагима, по обычаю, режут головы; мы преследуем неприятеля, который, перестреливаясь, рассыпается по садам, по

горам, по стремнинам; отбиваем коней, берем пленных. Но неприятель с Кефаров обращается на нас превосходными силами. Толпы лезгин с воплем стремятся навстречу, и мы отступаем тихо, гордо, оставляя по следам кровь и трупы, разбрасывая завалы вражеские. Замечу одно: с азиатцами можно надежно идти вперед, но зато отступать с ними беда! Они бегают по горам, как серны, и не любят оглядываться назад. Кто не легок на ногу, тому накладно быть с ними в деле.

22 числа еще раз ходили на вылазку с татарами с кубинской стороны. Усердие жителей росло с каждою удачею. Комендантские ворота осаждены были толпами дербентцев, желавших вооружиться. Бывало, римская чернь кричала перед сенатом: «зрелищ и хлеба!» — здешняя просила ружей и пороху. Им розданы были все залишние ружья 10-го линейного батальона. Стар и мал вооружились, кто чем мог. Везде точили кинжалы, везде ковали копья для отражения со стен в случае приступа. 23-го с утра была русская вылазка в приморские сады: выбили неприятеля из предместья, которое он покушался зажигать. Часу в шестом вечера дремал я на стене, утомленный долгою бессонницею, как вдруг крики пробуждают меня... Неужели приступ! Смотрю: татары и русская рота делают вылазку с моря и из Кизлярских ворот, против кладбища Кырхлар, на котором усилились мятежники, сбираясь туда молиться на гробе очень уважаемых, хотя очень мало знаемых суннитами сорока мучеников. Знамя Кази-муллы целый уже день веяло на одной из надгробных часовен и словно дразнило русских. Идут, близятся!.. Ретивое во мне так и вспыхнуло: ну лётом бы полетел туда! Прикован долгом к своему месту, я принужден был в этот раз остаться только зрителем боя, который совершался перед глазами, как на ладони. Татары, под начальством Фергат-бека, ползли из садов; русские, человек около сотни, шли из Кизлярских ворот; с левой стороны им на помощь выходила из главных еще кучка дербентских жителей. Между тем с горы беспрестанно спускались лезгины на подкрепление своих, перебегая поле под ядрами и картечью. Пальба закипела будто в котле, когда русские пошли в штыки; но ряды стоячих надгробных камней сломали строй; убийственный огонь из двух часовен и длинной мечети остановил сперва дербентцев, потом и русских... Первые обратились назад, вторые замялись... Ми-

нута колебания была ужасна для зрителей. Стоило видеть тогда стены и кровли Дербента, усыпанные множеством людей обоего пола и всех возрастов, несмотря на опасность. Крики удовольствия и одобрения гремели вслед нашим, но когда волна отхлынула, мертвое молчание воцарилось на стенах... И дербентцы и лезгины вскочили из-за брустверов, но никто не стрелял друг по другу: взоры и души всех прикованы были к судьбе стычки, — она решилась. Видно было, как выскочил вперед капитан, командовавший ротою, махнул саблей; пушка, подвезенная ближе, брызнула картечью, пальба удвоилась с кладбища, но русское *ура* заглушило ее. Куринцы бросились против камней, оживленных огнем, в штыки — и неприятель дрогнул, побежал. Лезгины прыгали из окон мечети и гибли на штыках. Ядра пожинали беглецов в поле. Бой примолк, но еще белое знамя раздувалось на куполе; несколько отчаянных защищали узкую лесенку в стене часовни, но мы видели, как один солдат пробился наверх, как он заколол последнего врага, сбросил его вниз и сорвал знамя. Мы, как гомеровские троянцы, рукоплескали со стен победителям.

Но скучно было бы, друзья мои, волочить вас по всем вылазкам и день за днем описывать происшествия блокады. Скажу только, что 24 числа неприятель, руководимый терхеменскими знахарями местностей, отвел воду, отчего только два самородка остались в целом городе, что несколько раз осаждающие густыми толпами стремились к стенам и отраженные ограничивались одной перестрелкой. Гарнизон был неутомим и неусыпен. Усталые от пальбы днем, солдаты поправляли ночью стены, насыпали брустверы, устраивали траверзы; начальники подавали собою пример отваги и деятельности. Мусульмане соревновали русским. Между тем мятежники, привлеченные жаждой добычи, за недостатком ее вымещали свою досаду разрушением. Все, что могло гибнуть от огня и железа, — гибло. Винные заводы, загородные домики пылали. Фруктовые деревья падали под топором, виноградники посекались или исторгались с корнем. Сам Кази-мулла обрекал места на истребление. Пленники рассказывали про него тьму чудес: как он летает после намаза в Мекку на бурке своей; как он с одним нукером невидимкою подходил к стенам Дербента и от него разбежалась куча людей. «Он непременно возьмет ваш город, — говорили они... — Не далее как сего

дня поутру он ездил молиться на море, и аллах велел ему подождать еще три дня приступом, за наши грехи, а потом наверно отдаст нам победу». Такую-то теплую веру успел вселить Кази-мулла к своей святости! Дельного из подобных рассказов извлекли мы очень немного. Кази-мулла среднего роста, некрасив, по лицу рябинки, борода редкая, глаза серые, но светлы и проницательны. Говорит мало, но выразительно; угрюм, много пишет и часто молится. В битве не участвует мечом, но ободряет своих мужеством и увещаниями. К себе не допускает никого близко и никогда ночью. Если приближается к нему какой бы ни было пришлец, двое стражей держат ружья на взводе и многие сабли наголо готовы изрубить в куски всякого по малейшему мановению вождя, — маневр, который господин Кази-Мугаммед нередко изволит проделывать, к немалому назиданию и удовольствию горской публики. Кажется, действуя убеждениями на умы легковерные, он не презирает и суеверными средствами. Вообразите, какую штуку хотел было он выкинуть во время осады. В садах попались ему в плен несколько мальчиков, которые тайком ульнули за виноградом. Он приласкал из них некоторых, дал им прокламации к жителям, в коих приглашал соединиться с мусульманами, его последователями, на истребление гяуров, и отослал в город. Эти листы велел он им потихоньку рассовать по карманам взрослых дербентцев в то время, когда народ толпится ввечеру, у фонтана за водою, чтобы суеверные подумали: «Сам Магоммед положил мне в карман это послание!» Вопреки его желанию, чудо не сбылось. Ребята рассказали наказ Кази-муллы родственникам, те донесли коменданту, и дело разгласилось. Этого мало: в пятый день осады, к ночи подъехал к воротам один всадник со связанными руками. Узнали в нем дербентского жителя, ездившего в Кубу. Он уверял, что Кази-мулла не велел его грабить и послал в Дербент; но полное на нем вооружение и много денег в карманах дали подозрение. Давай обыскивать пристальнее, и находят в Коране множество ярлыков с печатью Кази-муллы. Потянули к допросу; он сбился, смешался и, наконец, признался, что эти ярлыки даны ему для вручения тем, кто бы согласился действовать заодно с осаждающими. Они бы служили пропуском сквозь войско Кази-муллы и охраною в случае грабежа. К счастию, таких злонамеренных людей, по крайней мере явно, не оказалось. Но жители верили, что они

есть, что они готовят измену. Прошло пять, прошло шесть дней, и ниоткуда ни весточки. Комендант, для ободрения духа горожан, не раз распускал слухи, что идет то отряд Миклашевского, то отряд генерала Коханова; но это действовало ненадолго. Меня очень любят татары за то, что я не чуждаюсь их обычаев, говорю их языком, и потому каждый раз, когда я выходил на стены подразнить и побранить врагов, прогуливаясь с трубкою в зубах, куча дербентцев окружала меня... Я всегда приносил им полные карманы кремней и патронов и еще втрое более новостей; городишь им турусы на колесах, и они спокойны на несколько часов, а там опять новые рассказы и новые надежды. И то и другое стало, однако ж, иссякать по прошествии недели. В городе было мало хлеба и нисколько сена; рогатый скот начал падать; кони голодали; жители утомлялись бессменною стражею, а известия, что Кази-мулла готовит лестницы и фашины к скорому приступу, стали несомненны. Поговаривали, будто в темные ночи осаждающие в некоторых местах подползли к подошве стен, сделали несколько лазеек в город, если не для нападения, то для сообщения с единомышленниками, в числе коих обвиняли суннитов. Надобно было увериться в этом осмотром. Я просился произвести его, спустившись по веревке за стену, под выстрелами неприятельскими. Наутро 27 августа должен я был совершить свое опасное путешествие, но рассвет оказал бегство Кази-муллы и всего его войска. «Качты, качты (бежал)!» — раздалось со стен. Коня! коня! — Я вспрыгнул в седло и выскакал в едва растворенные ворота. Сладко подышать вольным воздухом, радостно порыскать по полю после невольного затворничества. Пускаю коня во всю прыть на гору. Костры гаснут во вражеских завалах. Здесь недавняя кровь, там свежие могилы, кости пиршества на пепле пожара, потерянные чуреки по дороге, разбросанные мешки, изломанные арбы, подбитые кони, усталые быки и быстрые следы горских башмаков на прахе — вот все, что осталось от многочисленных полчищ смелого Кази-муллы. Он исчез, как ветер. Я заскакал далеко в гору целиком. Оглядываюсь — за мной и в виду ни души, а тут каждый куст, каждый камень мог скрывать врага. Возвращаюсь... прислушиваюсь... что это, не гром ли? Нет, это вестовые выстрелы в отряде генерала Коханова. Слава богу! Осада кончена.

ПОХОД В ДАГЕСТАН ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТА ПАНКРАТЬЕВА В 1831 ГОДУ

Лагерь близ с. Джимикент, 15 окт. 1831.

Между тем как избавленные от осады дербентцы топили печки штурмовыми лестницами и фашинами, готовленными Кази-муллою для приступа, беглец Кази-мулла отправился, словно победитель, праздновать свою свадьбу с Кюрек, с дочерью своего наставника, муллы Магоммеда. Не слишком, видно, надеясь на гурий зеленого цвета в раю правоверных, он взял в задаток будущего блаженства краснощекую горянку, — но ни жирный плов пиршества, ни свежие ласки молодой супруги не утомили деятельности изувера. Каждый день, под предлогом шариата, то есть толкования Корана, проповедовал он ненависть к русским и независимость от всех властей. Воззвания его, исполненные блестящих парадоксов, летели как искры во все стороны и зажигали соломенные умы горцев. В это время мы стояли под стенами Дербента и, как водится, от безделья досадовали на бездействие.

Ничего нет забавнее урядов и пересудов нашей братьи, подчиненных. Всё бы мы стояли там, где сытно да весело; всё бы ходили, когда в небе тишь, а на земле гладь. Если ж дойдет дело до военных распоряжений, то сам Наполеон не годился бы перед нами в барабанщики. Тут бы сделать так, там этак!.. К счастью русского оружия, от нас требуют только повиновения, а не советов, и удачный конец дает делу венец. То же самое было и теперь.

Генерал-адъютант Панкратьев, оставшись по отбытии графа Паскевича-Эриванского командующим войсками за Кавказом, заблаговременно сосредоточил значительный отряд под Шамахою, для укрощения мятежа в Дагестане; но шаткая политика персидская и распространение слухов о вторжении персиян в наши пределы препятствовали удалить от оных войска. Когда ж на бумаге и на деле он удостоверился в миролюбии персидского правительства, войска от Шамахи двинуты были в Дагестан и к концу сентября соединились с отрядом ґенерала Коханова. Вот состав этого соединенного отряда: два батальона Эриванского карабинерного, шесть рот Куринского, два батальона Апшеронского и два батальона 42-го егерского полков, при девятнадцати орудиях и четырех горных единорогах. Кон-

ница состояла из донского казачьего Басова полка, из трех полков конно-мусульманских и одного конно-волонтерного, да сотни две куринской и бакинской конницы; всего пехоты около 3500 человек, а кавалерии до 3000. Наконец мы ожили. Муж боя и совета прибыл в Дербент 30 сентября. Добрая слава задолго предлетела ему в Дагестан. Его приезд ободрил новых подчиненных надеждою, а прежних сослуживцев уверенностию в успехе. Солдаты зашевелились, и, несмотря на слякоть, кружки около огней росли. «Когда же? скоро ли в дело?» — слышалось повсюду; но болезнь держала вождя нашего на ложе, а ненастье — отряд на месте. Между тем командующий войсками не терял времени. Не щадя себя на пользу отечества, он, борясь с болезнью, неутомимо занимался делами края и, прежде чем прибегнуть к трехгранным доказательствам, пытал все средства убеждения, — а он владеет им в совершенстве. Прокламации его, написанные цветистым слогом Востока, рассеивались в ущелья, где таились мятежники. Глядим: мало-помалу старшины окружных селений потянулись в Дербент с повинною и жители сползались из нор на прежние пепелища. Скоро вся Теркемень закипела народом, и отряд перестал нуждаться продовольствием. Ласковые сношения с Нуцал-ханом Аварским и его матерью Паху-Бехи обеспечили фланг наш. Они обязались на границах своих выставить войско и не впускать в Аварию мятежников. В тиши и в тайне готовились важные события.

И вот, на ночь 2 октября, вовсе неожиданно упали палки на барабан... Зовут фельдфебелей к адъютантам: приказ выступить налегке. Куда? зачем? — никто не знает, не ведает. Но тайное тогда — теперь уж не тайна. Командующий нами сделал мастерское распоряжение. Зная, что табасаранцы решились защищаться до крайности и готовы собраться в один миг в то место, куда направлено будет нападение, он разделил войско на три отряда, чтобы развлечь их силы, обманув их ожидания. Полковник Басов должен был сделать диверсию вправо на Маджалис; полковник князь Дадиан — влево в Кучни; главный, то есть средний отряд, назначенный действовать прямо от Великента на Дювек, поручен был храброму полковнику Миклашевскому, и с ним-то в одиннадцать часов мы двинулись вперед, с двумя батальонами его полка, 42-го егерей, 1-го Куринского, с 1-м и 2-м конно-мусульманскими полками, при четырех орудиях.

Ночь была темна, как судейская совесть. Скупое небо погасило все огоньки свои. Мы брели по колено в грязи, цепляясь за терновники, запутавшие окрестный лес непроницаемою оградою, и каждый миг в опасности слететь в речку Дарбах, по крутому берегу которой шли. Вы бы сказали, что идет армия мертвецов, покинувших свои могилы, — так безмолвно, так неслышимо двинулись мы вперед по излучистому яру, в двойном мраке ночи и тени леса, под нами склепом склоненного. Колеса не стучали, подковы не брякали по болоту; нигде ни голоса, ни искры. Лишь изредка раздавался по бору удар бича или звук пушечной цепи. С невероятным трудом вытаскивали мы на людях орудия... Наконец не только под нами, но и под артельными повозками кони пристали, выбились из сил... Арьергард оттянулся... Полковник Миклашевский налетел соколом: «Руби колеса, жги повозки, жги артиллерийские дроги! Стоит ли эта дрянь, чтобы из-за нее опаздывать! Истребляй: я за все отвечаю!» Велено — сделано. В пять минут дорога была чиста, — вещи разобрали по рукам... коней пристегнули под пушки; прибавили к ним и офицерских верховых... Покатились, пошли быстро, легко, весело. Миклашевского слово ободряло солдат лучше двойной чарки. С неимоверною скоростию перелетели мы тридцать пять верст, и часу в девятом утра послышали впереди жаркую перестрелку: это дралась наша татарская конница. Шомпола зазвучали. Гренадеры!.. ходу!.. Скорым шагом, беглым шагом!.. Выстрелы из лесу начинают нас пронизывать — насилу-то догадались. Если б неприятели заранее заняли чащу, многие бы из нас не донесли своих голов до Дювека, — да вот и он — легок на помине... вот Дювек, который считается неприступною твердынею Табасарани. *Неприступная* — забавное выражение! Его нет, слава богу, в словаре русского солдата. Вперед, вперед!.. Дело загорелось. Селение Дювек стоит в развале ущелья на скате большой горы. Над ним на полтора пушечных выстрела лепится выше деревня Хустыль. Речка Дарбах, извиваясь в крутом, но широком русле, образует перед Дювеком колено. Правый ее берег против селения от множества ключей, не имеющих истока, затоплен вязким болотом; дремучий лес обнимает всю окрестность. Егеря 42-го полка пошли вправо чрез топь, мы — влево чрез крутой овраг, на дне которого текущий ручей, впадая в Дарбах, образует пред Дювеком букву *у*, — все под убийственным

огнем из лесу, из домов, из завалов. Перед нами еще ходили на приступ наши спешенные мусульмане; но когда Мамат-ага, бесстрашный помощник полкового командира, был убит, когда они потеряли лучших стрелков своих, куринцы их опередили — слезли в овраг, стали подниматься на противоположную круть... густей, густей гранаты полетели над нашими застрельщиками... Ура, в штыки! А уж дело решенное, что против русского штыка ничто устоять не может; завалы были отбиты, неприятель стоптан, но, ожесточенный поражением, засел в домах, стрелялся, резался; ему было жаль богатых пожитков, свезенных в Дювек из всех окрестных возмутившихся деревень, как в твердыню, которой не мог взять и сам ужасный шах Надир, куда не проникал даже Ермолов, которого слава ярче Искендаровой и шах-Надировой за Кавказом. Пришлось штурмовать камень за камнем, шаг за шагом. Кровь лилась — огонь очищал от ней землю. Наконец, после шестичасовой битвы, вся деревня впала в руки наши; но из лесу, из-за плетней, из-за плит кладбища враги не переставали стрелять в победителей, и лишь картечь присмиряла их на время. Грабеж и пожар, как два ангела-истребителя, протекали Дювек из конца в конец... Ночь пала.

Чудно-прелестен был вид этой ночи. Пламя катилось волнами и змеем пробивалось сквозь высокие кровли домов, большею частию двухъярусных... Вся гора была озарена, и по ней вверху видны были лица, слышны крики женщин, ожидавших приступа к Хустылю. Между дымом и огнем чернелись остеклевшие развалины, — и из этого-то ада солдаты и мусульманские всадники тащили, везли добычу, заслуженную кровью, выносили раненых. Поодаль несколько человек рыли общую могилу падшим своим товарищам. Коротка солдатская молитва и за свою жизнь и за душу земляка!! Ни одной слезы, ни одного слова не уронил никто по убитым; но зато как выразительны были лица окружающих в зареве пожара, то прислоненные к штыкам, то поднятые к небу!.. Все кинули по горсти земли, чужой земли, на очи собратий... «Sit vobis terra levis (да будет легка над вами земля)», — сказал я про себя. Каждый из вас лег как усталый часовой по смене... Когда же настанет и моя смена! Повременные выстрелы гремели requiem[1].

[1] Реквием *(лат.)*.

С убитыми и ранеными потеряли мы в этом деле четырех офицеров и до девяноста нижних чинов, включая в то число и мусульман, дравшихся отлично, особенно полка князя Баратова, которому досталось обскакать Дювек слева по лесу. Лошадей легло более шестидесяти.

Деревня стала потухать. Развалины, углясь, дымили. Тогда полковник Миклашевский приказал развести огромные костры перед отдыхавшим на поле строем по сю сторону Дарбаха... И вдруг без боя, без шума снялись мы, послав наперед татарскую конницу. Кони их гнулись и кряхтели под тяжестью добычи. Повозки были нагружены ею донельзя. Солдаты были утомлены и боем, и походом, и бессонницею... но шли скоро, весело, — победа оперяет хоть кого; притом каждый чувствовал, что если неприятель станет напирать на нас в теснине, где каждый куст, каждый пень ему стена, потеря будет значительна. Но, к счастью, дювекцы, ожидавшие, что мы наутро пойдем штурмовать верхнюю деревню, были обмануты — и поздно спохватились нас преследовать. Мы с легкою перепалкою прошли дифилею и наутро очутились опять в своем лагере под Великентом, совершив в тридцать пять часов два перехода и битву. Это чисто по-орлиному: налетел, ударил, схватил, исчез.

То-то пошел пир горой по возврате! Солдаты валяются на цветных коврах, продают дорогие конские сбруи, золотые женские уборы, оружие, блестящее серебром и насечкою; покупщиков наехало видимо-невидимо. Песни, веселье — гуляй, душа! Все не нахвалятся Миклашевским; и точно за дело. Без его решительности и быстроты, без его храбрости, не знающей зарока, благоразумный план генерала Панкратьева мог остаться напрасен. Он знал, кому доверить важнейшее дело, — Миклашевский умел оправдать это доверие.

В это самое время полковник Басов с казачьим своим полком, с двумя батальонами апшеронцев и двумя ротами куринцев при шести орудиях выступил на селение Маджалис, чтобы помешать каракайтахцам подать руку помощи вольной Табасарани. Перед селением на угорье он встречен был выстрелами, но от быстрого натиска неготовый к нападению неприятель бежал, и старшины Маджалиса вышли просить пощады, представляя доказательства, что стреляли не они, а башлинцы. Между тем полковник Басов, слыша жаркую пальбу под Дювеком, решился идти

туда прямо чрез гору, чтобы в случае надобности усилить отряд Миклашевского; но, вышедши на Дювекскую дорогу, он застал только зарево пожара и возвратный след наш. Подвиг был кончен.

С своей стороны полковник князь Дадьян, с двумя батальонами Эриванского карабинерного, с четырьмя орудиями и тремя горными единорогами, да с 3-м и волонтерным конно-мусульманскими полками, врезался в непроходимые доселе ущелья Табасарани. По стремнинам, по дебрям, по которым от века не слышался скрип колеса, проходил он с пушками, сражаясь на каждом шагу, поражая на каждой встрече. Двенадцать деревень легло пеплом на след русских; из них в важнейших, Кучни и Гюммеди (гнездо изменника Абдурзах-кадия), захвачена была значительная добыча и много пленных. 8 октября все эти экспедиции были кончены. 11 тронулись мы далее, к с. Башлам. Уж давным-давно грызем мы зубы на это многомятежное скопище. Говорят, что башлинцы очень храбры и отличные стрелки, — тем лучше; я уж дал солдатам задатку за башлинскую винтовку. Теперь мы стоим под с. Джимикентом. Дождь ливмя: над головой облака словно грецкая губка, а под нами земля будто растаяла... еще хуже: она превратилась в грязь, в эту пятую стихию, открытую Наполеоном в Литве. Палатки наши плавают, как стада чаек по болоту. Журавли перекликаются ночью с часовыми; лягушки квакают кругом. Холод, сырость, слякоть! Дрова не горят, огонь не греет; лежишь кренделем, боясь приткнуться носом к полотну, чтобы вода не пролилась потоком, а к довершению забав полевые мыши, на которых, видно, за грехи наслан потоп, спасаются на бурке моей от мокрой смерти, так что карманы мои обратились в невольные мышеловки. Прощайте до первого красного дня, друзья мои! Под этакую погоду разве-разве можно писать статью «Об удовольствиях походной жизни»!

Лагерь при с. Темир-Хан-Шура. 25 окт. 1831 г.

Видали ль вы когда-нибудь войско на привале? Это очень живописно, особенно как теперь, глубокою осенью. Между рядами в козлы составленных ружей лежат кружками и кучами солдаты; кто спит, прикорнув над телячьим ранцем, кто размачивает в манерке сухарь. Иные, набрав хвороста или бурьяна, заботливо раздувают минут-

ные огоньки, и уже наверно подле каждого явится какой-нибудь шутник-рассказчик, от прибауток которого вся рота привыкла смеяться за полверсты. Офицеры завтракают у начальников или у того из товарищей, кто позаживнее. Казаки, воткнув в землю пики, отдыхают в стороне. Пестрые толпы азиатских всадников снуют взад и вперед, — им не посидится на месте. Кони обоза, сдвинутого вместе, кушают в упряжи сенцо, подброшенное им расчетливою рукою. Удивиться можно, как огромны обозы в Кавказском корпусе; идет, скрыпит, тянется — и конца не видать! Но когда узнаешь, что закавказские полки кочуют из края в край всю свою службу и потому в необходимости таскать все свое хозяйство с собою, что они ходят в неприязненной земле, лишенной всех средств продовольствия, не только удобств жизни, что нередко они принуждены возить с собой даже дрова для топки, — то убеждение заступает место удивления. И вот палки звучат по барабану — все зашевелилось: кони ржут, прядут ушами, фурмана суетятся около повозок, канонеры укладывают вьюшки сена на орудия. По возам! По возам! Солдаты строятся, денщики подтягивают подпруги... Даже курочки и петушки, послушные дисциплине, бегут к своим вьюшкам и, клохча, взбираются на беспокойный нашест, где они учатся верховой езде и проделывают эквилибрические штуки, привязанные за одну лапку. Новый бой — это подъем. На плечо! Справа отделениями — марш! Пошли, тронулись, барабан рассыпается частой дробью, идем... Но куда идем? Быть не может, чтобы в Башлы. Башлинские старшины приезжали с повинною головою, а повинную голову и меч не сечет. Генерал Панкратьев, зная, как важна пощада в пору, помиловал покорных именем государя императора, — где краше имя царское, как не в помиловании. Округи Башлы и Кубечи и весь Каракайтах дали вновь присягу на верность. Сильное общество акушинское тоже. Раскаявшимся табасаранцам даровано помилование, с условием, чтобы они изгнали от себя изменника Абдурзах-кадия, избрав на его место другого. После перуна кары, грянувшего в сердце гор, блеснула горцам и радуга надежды на прощение. Эта благоразумная политика командующего нами, — кстати погрозить, кстати приласкать, чтобы не ожесточить заблужденных, — имела самые выгодные следствия для русских, самые благодетельные для покорившихся. Но впереди мятежные

владения шамхальские не внимали еще ни грозе, ни милости, и мятежники готовились отразить силу силою; их-то развеять двинулись мы и 22 октября стали лагерем за Темир-Хан-Шурою. Решено. Завтра пойдем в дело, штурмовать с. Эрпили, заслоненное оврагами и крутизнами, защищенное десятью тысячами горцев, которые ждут нас за крепкими завалами и засеками. Мятежниками повелевает Уммалат-бей — храбрый сподвижник Кази-муллы, который произвел его в шамхалы. Уж спрыснем мы по-молодецки этого самозванца. В ожидании будущих благ мы прохрапели ночь во славу божию, и заревые рожки едва меня добудились.

Поздно рассвело над Шурой осеннее утро. Непроницаемый туман тяготел на всей окрестности, и в нем глухо гремели барабаны. Войска пошли тремя колоннами. В голове первой, назначенной обойти Эрпили справа по Каракайской дороге, неслись Басова казаки, бакинская и куринская конница, два батальона егерей 42-го полка и семь рот Эриванского карабинерного при восьми орудиях. Колонну эту вел полковник Миклашевский. Второю командовал генерал-майор Коханов; она состояла из двух батальонов Апшеронского и одного батальона Куринского при семи орудиях; за нею следовал резерв из трех конно-мусульманских полков, под командою генерал-майора Калбалай-хана. Все тяжести оставлены были в лагерях под прикрытием двух рот куринцев с шестью орудиями и двумя сотнями всадников. Мы шли полем сквозь густой туман: в самом близком расстоянии невозможно было различить предметов; но благодаря верной карте и зоркому глазу г. Панкратьева отряд двигался вперед, не уклоняясь ни шагу от данного направления. Вы бы сказали — это корабль, рассекающий волны и туманы по мановению опытного кормщика. Вот раздалась команда влево, и полки, каждый особою колонною, равняясь головами, вытянули строй с большими промежутками. По обыкновению, я был в стрелках, раскинутых впереди. Иногда повев ветра разряжал туман, и тогда соседние колонны чернелись и ружья мерцали на минуту; потом все задергивалось непроницаемою завесою. Сардарь[1] наш носился между нас на лихом коне, окруженный штабом своим.

[1] Сардарь — по-персидски главнокомандующий. Запросто мы всегда употребляем это слово: оно просто и звучно. *(Примеч. автора.)*

Турецкая гайта (конница), ширванские и дагестанские беки, линейные и донские казаки скакали следом пестрою толпою. Поезд его являлся и исчезал, подобно радуге средь тучи, готовой уже ринуть молнию. Близка, близка встреча; заряжай ружье! Ветер как нарочно пахнул сильнее, туман приподнял махровые полы своей мантии, и впереди нас открылся слева крутой овраг, за которым вздымалась лесистая гора, прямо — длинный бугор, вооруженный засеками из деревьев и копанными завалами. Далее по холмам колебалось что-то, как редкий лес от ветра. «Это деревья», — говорили одни. «Это всадники», — утверждали другие. Гранаты решили спор наш. Грохот пошел по горам, когда заговорила батарея, выскакавшая вперед... В самом деле, то была конница. Она слилась, взвилась — и след простыл. Куда не жалуют азиатцы гранат! В это время наши мусульманские удальцы стали доезжать до самых завалов. Тах, тах... вся их линия расцветилась пальбою, и справа егеря с эриванцами пошли на них без выстрела в штыки. Полковник Миклашевский на белом коне вздымался в гору впереди обеих колонн, — шинель играла на нем по ветру... Ура! ура! Апшеронские стрелки тогда же бесстрашно кинулись через овраг... Левее их забирали в гору Басова казаки. Мы подбежали на полвыстрела под средину, — но стали, ожидая приказания. Пальба закипела... беглый огонь мелькал сквозь пары, как фейерверк. Крики угроз с обеих сторон, бой барабанов, стон земли от пушечных выстрелов, отражаемых отголосками хребта, — ну право, сердце не нарадовалось! Гранаты, прерывая туман, гремели, будто катаясь по ступеням, свист пуль производил эффект чудесный; могу вас уверить, что эта фуга стоила всех чертовских нот из «Фрейщица».

Я большой охотник наблюдать, какое действие, какое впечатление производит на солдат опасность. Любопытно пробежать тогда по фронту, вглядываясь в глаза и лица. На этот раз я не заметил, однако ж, ни очень долгих, ни очень бледных. В молодых солдатах виделось более любопытства, чем беспокойства. Иные, правда, слишком заботливо осматривали кремни свои, иные даже кланялись пулям, которые жужжали мимо как шмели, — но над такими смеялись. «Видно, знакомая пролетела?», «Эй ты, саратовец... что ты словно перед попом раскланялся? Что бережешь свою шапку? Батюшка царь богат, другую даст! Лови, лови за хвостик!» и тому подобные остроты слыша-

лись по цепи. Сколько мне удалось заметить, так самые храбрые в деле бывают или рекруты, или старые солдаты. Первые потому, что не понимают опасности, другие потому, что с ней свыклись... Средина ни то ни се. Но все русские солдаты, хоть и не слишком богомольны, зато в душе набожны. «Крестись, крестись, ребята!» — говорили они, когда мы подвинулись ближе под выстрелы, — и все крестились, и всякий взглянул на север, вздумал о родных своих. Только подле меня один старый солдат, прокопченный порохом, для которого кровь и вино стали равно обыкновенными вещами, не крестился; он был очень шутлив и весел, в зубах его курилась коротенькая трубка. «Вот еще креститься!.. — ворчал он, поправляя одною рукою табак, а в другой держа ружье наперевесе. — У меня руки заняты!» Все с негодованием взглянули на вольнодумца; не прошли пяти шагов — он падает на землю убитый. «По делам покарал бог!» — шептали товарищи. Ура! Вперед!.. Нам досталось бежать по мокрому скату, изрытому стадом диких кабанов. Иной бы подумал — это пахоть; ноги уходили вглубь, клейкая грязь лепилась на них по полпуду, но это был миг. Уж под завалами — и все еще не видим врагов, так густ туман; наконец сошлись в упор... дуло в грудь, штыки в спину, прядаем на завалы, продираемся сквозь засеки, и неприятель бежит, оставляя трупы, кровь и плен по следу. Счастье наше, что пары мешали мятежникам цельно бить в нас с такого выгодного места. Счастье их, что пары препятствовали нам их преследовать; они рассеялись, разбежались по камням, по кустарникам, по оврагам. Дело решилось в два часа. Обойдены справа и слева по крутизнам, которые считали они неприступными, поражены в центре, который мечтали неодолимым по тройной ограде укреплений, враги отхлынули, скрылись со стыдом, оставя более ста пятидесяти тел на месте. Славный распорядок битвою г. Панкратьева и быстрота, с которою он исполнен, были причиною, что потеря наша ничтожна: ранено двое офицеров (один из них смертельно), нижних чинов убито и ранено сорок, лошадей легло пятьдесят одна.

Пользуясь изумлением неприятеля, г. Панкратьев послал по большой Эрпилинской дороге 3-й мусульманский полк и 1-й батальон апшеронцев с двумя орудиями, чтобы занять деревню. Сгоряча, не чувствуя усталости, пробежали мы верст семь с горы на гору, по овражистому берегу

реки, по которому пролегает дорога. Изредка свистали пули, пущенные из противолежащего леса, и, наконец, Эрпили открылись нам длинною чертою. Пройти в них должно было через утлый мостик и потом через узкую гать мельницы... Это было дело одной минуты... В три натиска штыками Эрпили стали чисты. Басова казаки подоспели слева, егеря стеснились туда справа вместе с роями мусульманских всадников полков 2-го и волонтерного, командуемого гв. капитаном Юферовым, адъютантом г. Панкратьева. Сам командующий войсками, вливая мужество в своих подчиненных, с первыми был уже в Эрпилях. Барабаны гремят, знамена веют, будто крылья победы. «Слава, слава оружию *Николая!* Хвала и честь вождям *его!*» Еще перепалка играла по лесу, прилежащему к деревне, а дело грабежа и разрушения началось. Добыча в вещах, в деньгах, в рогатом скоте была огромна. Мятежники всех окрестных деревень свезли и, так сказать, согнали туда все свое имущество, надеясь на твердыню местоположения и еще более на множество, на отвагу защитников эрпилинских, — они горько ошиблись. Солдаты, татары, турки вытаскивали ковры, паласы (тонкий, особый род ковров), вонзали штыки в землю и в стены, ища кладов, рыли, добывали, находили их, выносили серебро, украшения, богатые кольчуги, бросали одно для другого, ловили скот, били, кололи засевших в саклях мятежников. Один лезгин, видя беду, решился было дать стречка и как тут навернулся на кучку солдат. Окруженный ими, он хотел спастись хитростию, уверяя, что он послан к сардарю с письмом. Я видел издали, как бедняга выворачивал карман за карманом, рылся за пазухою — нет как нет бумаги! «Что с ним толковать!» — закричали вышедшие из терпения солдаты и подняли его на штыки.

Густела ночь, когда мы начали отступать. Г. Панкратьев не велел предавать Эрпилей пламени, по просьбе шамхала, предвидя, что эта милость обратит эрпилинцев на сторону русских, — и не ошибся.

Огромные костры пылают до сих пор в лагере, и все, что имеет две руки, варит и жарит, — правда, и есть из чего: более десяти тысяч голов рогатого скота досталось победителям. Медом и маслом хоть пруд пруди... ветер взвивает муку вместо пыли. Вот тут-то подивитесь вы вместимости или тягучести русского желудка! С ночи до утра, с зари до вечера солдаты не отходят от котлов...

спят подле. Каждый впросонках запускает лапу в котел, вытаскивает кусок и дремлет над ним с сладкою улыбкой.

Живописный беспорядком и разнообразием шатров, стан конницы превратился в базар и в толкучий рынок. Татары, казаки, солдаты валяются на узорчатых коврах, наваленных кучами, носят, продают, меняют богатое оружие, женские платья, парчи, попоны. Медная посуда, звуча, катается по мерзлой земле. Дорогое идет за бесценок, тяжелое отдают чуть не даром... Но толпы продавцов всего более теснятся около духанщиков, то есть маркитантов, — потому что порой чарка солдату дороже алмаза. О, вы еще не знаете, какую важную роль играет духан за Кавказом! Я вам особым письмом опишу ее, друзья мои: это будет что-то вроде... между Теньером и Измайловым.

Лагерь под с. Галембек-аулом. 28 окт. 1831.

Отдыхаю. Быстрей, чем взор, пробегающий по следам пера моего, свершили мы новую победу вслед достойного нашего вождя! Зато и разбит я от трудов, будто меня ковали молотом, а душу от дождя хоть выжми. Впрочем, воспоминание о чиркейском деле освежает, греет каждого в нашем отряде, и я посылаю этот рассказ вам в гостинец — пишу себе на удовольствие.

Эрпилинская победа навела ужас на окрестных горцев, — надо было пользоваться таким *впечатлением* русского оружия, и 25 октября командующий войсками двинул отряд[1] к местечку Чиркею, лежащему за Сулаком. Сведав из рассказов, что на Сулаке есть деревянный мост перед самым селением, сардарь решился захватить его врасплох и для того опередил нас с одною татарскою конницею и четырьмя орудиями. Чап, чап! то есть марш, марш — и соколами перелетели тридцать верст, разделяющих Сулак от лагеря. Чиркейцы, однако ж, были настороже — разъезды их скитались повсюду, и военачальника нашего встретили враги за версту, со всеми почестями, не жалея ни свинцу, ни пороху. Рассыпав спешенных татар, напрасно хотел он заманить их в перестрелку и отрезать от берега — чиркейцы не дались в западню. Засев в камен-

---

[1] Оный состоял из 2500 человек пехоты и 1500 кавалерии, при двенадцати орудиях. Вагенбург остался под с. Кяфир-Кумыком, прикрытый батальоном апшеронцев, двумя ротами куринцев и одиннадцатью орудиями. *(Примеч. автора.)*

ные завалы вдоль здешнего берега, они в числе пятисот открыли злой огонь по наступающим, но мусульмане наши, предводимые бесстрашным Нусал-агою, сыном хана Казикумыкского, который, выхватив знамя из рук падающего своего бейдахдара (знаменщика), пошел на завалы, выбили их вон. Аскер-Али-бек и командующие мусульманскими полками, майор Мещеряков и гвардии штабс-капитан Юферов, втоптали неприятеля в ущелье, по которому вилась дорога к Чиркею. Гвардии капитан Всеволожский и штабс-капитан Караянц, адъютанты командующего, посланные им для ободрения стрелков наших, отличились особенною храбростию, кидаясь с ними неоднократно на завалы. Нусал-ага и Ибрагим-бек Карчахский, посекая бегущих, подскакали к самому мосту под градом пуль, — но мост уже был полуразобран; и как разрушение его было готово заранее, то в несколько минут остальные мостницы были сорваны, а чиркейцы, покровительствуемые перекрестным огнем из завалов, начали рубить переклады. Отвага стала бесполезна, — наши отступили в отбитые завалы.

В это время подоспела артиллерия, и две пушки с правого холма, два единорога против селения пробудили громовое эхо Кавказа, посылая смерть и разрушенье. Неумолкающая перестрелка кипела с обеих сторон Сулака. Пули перелетали через голову сардаря и ложились у ног его. Удальцы, одушевленные его словом, не раз пытались завладеть предмостьем и перебежать на другую сторону по перекладам, — но человек не птица: невозможное осталось невозможным.

Издали послышали мы перекаты пушечной пальбы и ускорили ход. Мы подымались в гору по теснине, по дороге, изрытой дождевыми потоками. Всадник за всадником неслись к нам навстречу! Скорей, скорей, сдвой шаг! Почти бежим, пот градом, — и вот поднялись на хребет, заслонявший нам вид Чиркея. Глядим — это очарование! Покуда пушки наши вздымались по крутизне на канатах, я не мог отвести очей от картины, которая гигантскою панорамою окладывалась кругом меня. Влево чернел хребет Салатаф, разрубленный Сулаком надвое. Прорыв сей, отвесный сверху донизу, обращался далее к югу, и западающее солнце, золотя северную стену его, одевало глубокою тенью наш берег; огневые облака тихо катились по гребню Салатафа и будто падали в расселину, померкали, гасли. Левый берег Сулака вздымался крутою горою,

подернутою мрачным кустарником. По ней робко теснились бесчисленные стада баранов, которых смушками славен и богат Чиркей издавна. Прямо перед очами, в обрывистой, мрачной впадине, селение Чиркей сходило с крутизны красивыми уступами, расширяясь кверху. С правой стороны его, будто на опрокинутой чаше, восходила до туч огромная скала усеченным конусом; волнистые хребты тянулись друг над другом с обеих сторон. Русло Сулака терялось между их случайностями, — самой реки не было видно за крутизнами. Как дика, и величава, и грозна являлась там природа, но еще грозней стала она от вражды человека! Вся гора курилась дымом пороха, подобно волкану; отвсюду мелькали убийственные выстрелы, и повременно сверкал перун орудий, заглушая ревом своим перестрелку. Какое чудное эхо отвечало ему из глубины ущелий, — казалось, то были отрывистые вздохи раненого исполина, и потом оно рассыпалось, грохоча будто скала, разбитая вдребезги. Горцы перекликались дикими воплями, и только изредка показывались над завалами их шапки и винтовки. Сталь русских штыков, медь русских пушек горела пурпуром заката. Мы строились на горе, готовые хлынуть к берегу. Впереди на высоком холме рисовалась живописная купа всадников, — то был командующий наш со своею свитою... гонцы скакали от него и к нему; очи всех были устремлены на его мановение... Он дал его.

Приветный клич: «Куринцы вперед! Стрелки вперед!» вызвал меня из созерцания картины, которою любовался я, не скажу — как художник, не скажу — как поэт (перо и кисть мне плохо даются и удаются), по крайней мере более, нежели как солдат. Бегом спустились мы с горы, окаченные пулями из пятирядных завалов, высеченных, сложенных в камне один над другим и сосредоточенных против дороги. Крутой овраг пересекал эту дорогу; через него брошен был мостик, гибельный для многих, — то был настоящий мост Эль-Сыррат, острый, как сабля, висящий над бездною Магомедова ада. Казалось, мимо ушей неслась саранча, — так часто сыпались пули. Некогда было оглядываться на раненых; они летели вниз, когда мы бежали вперед. И вот мимо, через груды побитых коней наших всадников, мы вбегаем в завалы.

— Селам алейкюм, Нусал-ага: алла-сахла-сын Ибрагим-бек!

— Хошь гальдун, хошь гальдун (милости просим)!

Они сидят под своими знаменами, уже исстрелянными, окровавленными.

— Ну, что нового? что хорошего?

— Бездельники изломали мост, остались только переклады.

— Прощайте же: теперь наша очередь попытать счастья, — вперед, ребята!

Мы перебегаем вдоль завалов и спускаемся в теснину, по дну которой вьется узкая тропа и у подошвы скалы, круто поворотя влево, идет, или, лучше сказать, висит, над Сулаком, на пистолетный выстрел от противолежащего берега. Чиркейцы очень хорошо знали важность этой точки и не дали нам показать носа из ущелины: каждый, кто только ставил вперед ногу, был ранен. Полковник Гофман вслед за нами привел батальон своего полка, — лошадь под ним была убита, шинель прострелена. Немного погодя пришло человек двести охотников Эриванского карабинерного, но все, видя физическую невозможность до ночи приблизиться к мосту, принуждены были ограничиться перестрелкою. Между тем войско стало по горе стенами. Штыки, сверкая, подобились щетине какого-то необъятного чудовища. Сардарь наш носился из края в край и под свистом пуль сам назначал места под батареи, — скоро загремела поставленная против самого Чиркея. Любо и страшно было смотреть, как чугун бил и рушил все в сердце многолюдного селения. Каждый удар видимо ниспровергал утлые домы. Гранаты, чертя померкшее небо как падучие звезды, лопались, вспыхивали молниями, и второй выстрел будто отвечал на первый, его ринувший, и за ними долго, долго катились отрывистые отголоски по ущелинам. Порой за пылью и дымом вырывалось пламя пожара. Крики и плач вдали сливались в какое-то дивное роптанье, будто кипение котла, будто вой ветра в пещере. Смерклось. Перепалка редела... Барабаны и рожки зазвучали зорю. Как невыразимо величественна военная музыка среди битвы! Как гордо и торжественно звучала она в горах Кавказа! Горцы перестали стрелять, — им дивны были русские песни. Эхо Чиркея впервые откликнулось на боевые наши барабаны. Все стихло. Лишь изредка брызгали огненные фонтаны ружей оттуда и отсюда; лишь рев и плеск быстрого Сулака, кипящего в глубине каменного русла,

нарушали безмолвие ночи. Иногда переклики врагов, стекающихся в завалы, возникали за рекой, мерное *слушай* часовых в цепях, раскинутых по хребтам окрестным, раздавалось на нашем берегу. Солдаты весело балагурили в низменных шанцах; я лежал, прислушиваясь к их разговорам. Ночной холод проницал меня насквозь. Голод и жажда воевали в желудке, — а где найти воды? где достать сухаря? Солдаты пошли в дело без ранцев. Я не пан Твардовский и не продал бы души за бочку вина, ни за бочонок золота, — но кошелек с золотом (правду сказать, весьма ветротленный) охотно бы отдал тогда за стакан воды — *простой* воды! за кусок хлеба — *черного* хлеба! В эти грустные минуты, когда ум переселяется в желудок и сердце воспоминает о прелестях ужина, слышу, вызывают охотника осмотреть мост... Я уверен, что голодный менее сытого дорожит жизнью, — вероятно, потому все великие полководцы нарочно мало заботились кормить свои войска. Я вскочил гоголем; протираюсь между множеством солдат, коими начинено было путевое ущелье, завертываясь в шинель, оборачиваю ружье погоном вперед, чтобы оно не блестело, и, лепясь под скалою, тихомолком выбираюсь на дорогу — шириной немного более сажени. Чернея, вставали, хмурились передо мною утесы обоих берегов. На каждом шагу обломки плит изменяли звуком моему ходу, и, признаюсь, ретивое забилось, когда незваные выстрелы озарили меня. Стою, как камень между камнями, — а не замечен! Я насчитал восемьдесят семь шагов от поворота до предмостия. Ползу, как змея, к закраине берега, присматриваюсь: лежит один переклад сажени в четыре, но и тот сдвинут в сторону и едва-едва держится. Внизу, в глубине сажен десяти, крутился и пенился мятежный Сулак, и над ним склонялись головами обе скалы подножий моста; ну, с берега на берег, казалось, рукой подать! Мост замыкался воротами, висящими на каменных вереях. Влеве, где Сулак образовал колено, белелись одна над другою три сакли, которые могли пронизывать мост сбоку, от самых ворот и над самыми воротами, тянулись по горе в несколько рядов завалы. Все это в темноте не мог я рассмотреть сразу. Я был так близок от врагов, что слышал тихий говор, видел, как они носили каменья, заваливая ворота, возвышая завалы, — и вдруг, на беду мою, меня почуяли за рекой собаки. Лай их раздался зловещим по горам отго-

лоском, и пули зачикали около меня по каменьям. Припав к земле, словно медный грош, я счастливо отлежался. Собаки смолкли, огонь прекратился, и я назад, назад. В ущелье встретился я с инженер-штабс-капитаном Горбачевским, с саперным поручиком Вильде и артиллерии штабс-капитаном Дейтрихом, — они собрались на осмотр, с которого я возвратился. Желая поверить все своим опытом, храбрые офицеры эти в солдатских шинелях, с ружьями отправились к мосту, — я с ними. Рассмотрев, где и как удобнее строить новый мост, они решили построить напротив моста батарею, чтобы разбить сакли и прикрыть переправу. Рабочих сюда! Долой белую амуницию — живо, тихо! Потащили бревна, привезенные с собою, и счастливо сложили их у предмостья. Потом отправились выбирать место под батарею, между завалами и краем берега. Ходим, разглядываем, — нелегкая принесла туда пастушьих собак, не успевших ретироваться в Чиркей. Четвероногие стражи ходячей баранины изволили притаиться в каменьях и, потревоженные нами, подняли такой гвалт, что боже упаси! Это бы все ничего; но солдаты, не предуведомленные о нашей экспедиции, воображая, что подкрадывается из засады неприятель, открыли огонь. Ответные выстрелы полетели от чиркейцев; свои и чужие принялись строчить нас наперекрест...

...Было жарко, правду сказать, — но темнота мешала цельности; мы припали к земле и докричались своим, чтоб они не стреляли. Все стихло. Выбрали место. Заложили цепь стрелков впереди; означили камешками направление фасов и амбразур эполемента; потребовали инструментов и рабочих. Начали выводить стену, разбирая камни завала. Солдаты работали тихо, безмолвно, как муравьи, — но они были неопытны в этом деле; мало было рассказать, пришлось показывать и самому, как и что выполнить; я ворочал плиты, укладывая их в связях мерлонов, ибо малейшее замедление или неосторожность, малейшая непрочность могли стоить жизни многим. Прежняя наука пригодилась мне теперь (вы знаете, что я готовил себя когда-то в инженеры или артиллеристы)! Мне поручили выстроить левую половину укрепления, — и работа росла, кипела. Каждый слой камня перекладывали мы землею, чтоб камни не брякали и плотнее ложились, одевали их снаружи, чтобы не белелись. Скоро мы вывели стену в сажень вышиною, для прикрытия артиллеристов от па-

весных выстрелов с крутин, владеющих нашим берегом. В сторону развели крылья, для помещения стрелков прикрытия. Потом надо было рассчистить дорогу для провозу пушек, — это заняло довольно времени. Часу в пятом пред светом ввезли и надвинули орудия, а неприятель, занятый и сам поправкою завалов, ничего о том не знал и не ведал. Ну-тка попробуем, как низко возьмут орудия!

Перун блеснул — ядро ударилось в каменный череп и дважды осыпало окрестность искрами, — грохот пошел по горам... Изумленные горцы с криком пустили град пуль на огонь пушки. Другое ядро направлено было на дальний огонек, видно разложенный под котлом в глубоком завале... Оно как раз легло в средину теней, и они рассеялись, пламя погасло... Видно, русский чугун не очень удобоварим... плохая он приправа горскому плову! Умолкли все: все ждали утра; оно уже серело по высям гор; зубцы их обозначались; громады, сдвинутые около Чиркея неодолимою твердынею, рассветали постепенно. Туман клубился из оврагов, будто рвов, изрытых природою в оборону этому гнезду храбрых разбойников, стекшихся из Чечни и салатафских деревень на помощь ближним. Первый луч солнца, сверкнувший на теме Кавказа, казалось, зажег снова огонь вражды и громы пушек. Батарея из десяти орудий, устроенная по приказу командующего против самого Чиркея, произнесла глагол смерти. Две пушки нашей батареи, перевозимые то вправо, то влево в запасные амбразуры, прыснули картечью по завалам, устроенным в садах, лестницей друг над другом, ядрами по саклям предмостия. Каменные осколки летели во все стороны, деревья ложились, будто пожатые ураганом. Ружейная пальба загорелась с новою силою... Дым густыми клубами катился по горе и потом медленно сливался с облаками, задевающими за головы скал. Картина была великолепна!!

Позабавившись стрельбою из ружья по головам горцев, отваживавшихся перебегать из разрушаемых саклей к воротам, я дивился меткости горских выстрелов. Выставленные на штыках перчатки в один миг поражались несколькими пулями. Всякий, кто отваживался перейти с батареи в завалы, был неминуемо ранен; кто протягивал ногу, платил за это удобство дорого. Я бы счел за сказку, что свинец пробивает железо, — но убедился в том, увидя пять ружей, простреленных сквозь ствол; у некоторых,

сверх того, пули, пробив обе стенки, сломали стальные шомпола. Толстые железные листы, покрывающие кровлю зарядных ящиков, превратились на нашей батарее в решето. Множество штыков было сломано пулями. Правду сказать, мы очень близко были от неприятелей, а их винтовки берут невероятно далеко. Я устал, я был истощен трудами и бессонницею, ибо и запрошлую ночь пролежал в секрете. Солнце припекло меня, и, когда я сел на пушечное ведро, невольная, неодолимая дремота наложила свинцовую печать на мои веки. Несколько раненых лежали подле, стеная. Ноги мои упирались в убитого, — ни тех, ни другого нельзя было вынести с батареи: она, как остров, возвышалась на скате, открытом даже пистолетным выстрелам врагов. На меня нашел какой-то жалобный стих... Свист ядер с большой батареи слышался мне стоном вдов и сирот. «Для чего люди терзают друг друга беспощадно?» — подумал я... но не успел додумать: я заснул богатырским сном... Ни гром пушек рядом со мною, ни свист пуль мимо не пробудили меня; через полчаса, полагаю, меня разбудил бомбардир, которому нужно стало окунуть в ведро банник. Озираюсь — бой еще горит во всей силе.

Между тем командующий войсками, обозревая орлиным оком возможности, послал Басова казаков отыскивать брод, гораздо выше Чиркея; а против самого Чиркея, усилив огонь большой батареи, приказал попытать броду или переправы вплавь. Слово любимого вождя одушевило русских беспримерною отвагою. Мусульманские всадники, линейные казаки из конвоя командующего, ринулись с крутизны на конях в реку, да и кто под глазами его не пошел бы в огонь и в воду! Егеря 42-го полка, батальона майора Кандаурова, исполнили это в полном смысле слова. Предводимые штабс-капитаном Баратовым и поручиком Хвостиковым, они не задумавшись кинулись в бурный поток кипучий, летящий стрелой с крутого ложа... но что могли сделать люди против всемогущей природы? Бесстрашные были сбиты, разнесены, увлечены быстриною, — с большим трудом могли спасти их. Но неприятель с удивлением и с ужасом увидел, что русским нет препон; приготовление к постройке моста, для чего из ущелья начали уже набрасывать доски и фашины, поразило их еще более... Эти попытки показали им меру нашей храбрости, — они смутились, оробели... стали переговариваться

с наступающими, кричать «Аман (пощада)», махать шапками и наконец, несмотря на жаркий картечный огонь, выслали старшин на берег для условий. Командующий, видя, что он может достигнуть цели, не теряя людей, велел прекратить пальбу... Помалу она умолкла обоюду.

Приятна минута перемирия после боя, как тень в пылу дня, как перемежка болезни. Все вдруг поднялись из завалов, будто выросли из земли. Гора покрылась неприятелями, унизанная ими как многорядными бусами, — и с каким любопытством меряли, считали мы их очами!.. Их было более четырех тысяч. Опершись на ружья или гордо взбрасывая их за плечо, стояли горцы, угрюмо поглядывая на нас из-под мохнатых шапок своих... Живописные группы столпились у спуска к реке, чтобы напиться или освежить лицо (из завалов прогулка за водою стоила бы жизни). Припав к реке, они жадно глотали мимолетную влагу, черпали рукой, купали головы. Вдали выносили их раненых, убитых. Сгорая нетерпением рассмотреть все поближе, я спрыгнул с амбразуры и прямо спустился к мосту, лепясь за уступы скалы. Старшины селения, окруженные разноплеменными горцами, видными старыми людьми, приближались к разрушенному мосту; между ними мельками белые чалмы приверженцев Кази-муллы. Мне хотелось променять с чиркейцами несколько слов, и я обратил речь к молодому человеку: юность менее недоверчива и менее осторожна.

— Алейкюм селам, хоччах (молодец)!

— Сагол, сагол (благодарю)!

— Зачем вы сражаетесь с нами! — сказал я. — Добрые люди должны быть друзьями!

— Зачем же вы идете к нам, если вы добрые?

— Вы сами начали ссору: вы приходили грабить шамхальцев — были под Тарками, под Дербентом, в Эрпилях.

— У нас каждому воля идти куда хочешь. Везде есть добрые люди, есть и разбойники!

— Пусть так. Зачем же вы принимаете и скрываете нашего врага, Кази-муллу?.. Семейство его до сих пор между вами.

— Нет. Он давно от нас уехал, а жена его вчерась бежала в горы... Ступайте же назад!

— Нет, приятель! Русские не отступают без удовлетворения. Вы видите, что нельзя перелететь за реку! Вы видели, что мы едва-едва не перешли за нее... Простоим

еще неделю, месяц, и построим мост, запрудим Сулак ваш, и хоть потеряем половину солдат, а непременно возьмем Чиркей. Тогда не ждите пощады.

Горец нахмурился и молчал; другие сердито шептались между собою. Я продолжал:

— Вы славно дрались, а бой не проходит даром. Я чай, много у вас ранено, убито?

Лица горцев померкли вдруг, будто тяжелою мыслью: иные потупили очи, иные отворотились.

— Не спрашивай нас об этом... — отвечали они. — На жизнь и смерть божия воля.

Впоследствии от самих старшин сведали, что у них потери более трехсот человек. Одна граната, пробив стену, лопнула подле столба, поддерживавшего потолок; он пал, потолок рухнул и подавил шестьдесят человек вдруг. Эта граната была Сампсон в миниатюре между горскими филистимлянами.

С нашей стороны командующий войсками прислал для переговоров майора Аббас-Кули-Баки-Ханова, мусульманина, известного своею ученостью, достойного преданностью. Со стороны чиркейцев договаривался именитый между них человек, Джамман. После многих споров и возражений чиркейцы предались великодушию русского правительства на следующих условиях.

1-е. Местечко Чиркей покоряется отныне престолу его императорского величества и обязывается исполнять все приказания русского начальства.

2-е. Чиркейцы обещаются не принимать к себе ни Кази-муллы, ни его сообщников.

3-е. Они должны возвратить орудие, взятое Кази-муллою у отряда генерала от кавалерии Эммануэля.

Итак, в один день совершено покорение одного из неприступнейших селений Кавказа, которое оградил он в лоне своем и крутью гор и быстрым потоком! Люди, не признававшие от века никаких властей, склонились пред оружием русского царя. Что ж может противостать его воле, уму его вождей, отваге его воинов, когда здесь самую природу победили силы человека!..

Между тем мы бродили кругом, высматривали, глазомерничали, забыв, что очень небезопасно полагаться на честь азиатца, не знающего, не уважающего никаких прав и правил военных, соблюдаемых европейцами. Заметив наше любопытство, многие стали взводить курки, а когда

увидели, что топограф чертит что-то карандашом, несколько ружей склонились на прицел, с явными угрозами. Эта осторожность пришла поздненько. Все, что нужно было знать и снять, было узнано и снято.

К вечеру сменили нас из шанцев, и как сладко и как крепко уснул я под открытым небом, на голом камне у огонька! В двадцати шагах от меня стояли палатки с ранеными, но я не слыхал их стона, несмотря на то, что им делали операции. Убитыми и ранеными потеряли мы в этом деле до восьмидесяти человек. Коням тоже досталось порядочно; их положили до семидесяти пяти.

Еще звезды сверкали, трепетали в небе и холодные лучи их сыпались на лица спящих инеем, а уж барабаны гремели, призывая к походу. От звука их, будто от дыхания бури, легли палатки стана. Сперва тронулись тяжести: лазарет, артиллерия, обоз; в замке и мы, но уж было светло, когда пошли мы. Дождевые облака, подобные серному дыму, клубились в ущелиях, будто из жерл адских. На горах уже низвергался дождь, и вздутый им водопад, с левой стороны Чиркея, пенясь, клубился по уступам горным. Казалось, он падал прямо из туч, гонимых, расшибаемых о ребра гигантского утеса. Смирен и печален лежал покоренный Чиркей и будто со стыда прятался в ущелье. Жерло Сулака в вышине упивалось парами, которые катились, неслись, падали с хребта Салатафского, будто снежные обвалы. Я все оборачивался назад, все любовался этим ненаглядным зрелищем, но скоро гряда холмов и дождевая завеса заградили горизонт мой.

Ну уж погода, ну уж переходец, прости господи!.. Шли, шли, как журавль по болоту, — одну ногу высвободишь, а другая вязнет. Ливень целый день преследовал нас, как ревнивый муж, ветер проницал в самые сокровенные складки души. Насилу-то дотащились до Галекаула. Пришли, стали — вода по колено, а уж грязь-то, грязь такая, что сделала бы честь любому азиатскому городку. Палатки наши — ни дать ни взять чертог русалок. Разложили огромные костры, хотели посушиться, — куда тебе! С одной стороны жгло и пар валил клубами, с другой в это же время платье втрое мокло от дождя. Устав вертеться даром пред огнем, я решился, мокрый как мышь, лечь на мокрый ковер, постланный на грязи, то есть на пуховике, который провидение всегда держит на-

готове для нашего брата воина. Зная, однако ж, экспериментальную физику, я, для поддержания животной теплоты, хватил добрую чарку водки и скоро согрелся так, что с меня пошел пар, будто с парохода. Постепенно погружался я в воду и в забытье и, наконец, заснул, как бобр, выставя только нос на воздух.

С. Гилли, 6 декабря 1831 года.

Какой русский не веселится сегодня, празднуя тезоименитство великого нашего монарха! Но между тем как шампанское шумит и льется и пьется за его драгоценное здоровье у вас в столице, я посвящу эти часы славе его победного оружия.

30 октября была у нас торжественная присяга. От мятежных селений Дагестана, от Чиркея и Гумбета, от Салатафского округа и общества койсубулинцев съехались старшины и посланцы. Привезено было и требованное из Чиркея орудие, которое хранили они на высокой горе за селением. Войска стояли в строю; знамена развевались ветром Кавказа, смиренного русским оружием. Командующий сказал горцам речь, полную простоты и силы: упомянул о низком происхождении Кази-муллы, возмутителя их; о том, как он, выдающий себя за посланника неба и очистителя веры, продавал в молодости водку и вино магометанам; о том, что сей злодей умертвил своего отца самым ужасным образом, влив ему в горло кипящее масло; доказал его поступками, что он лишь себялюбец, жаждущий власти и золота, что они видят примером, какие кары накликал он бесполезными мятежами на головы им обманутых, что стыдно долее верить, грешно дружить сему избранному злого духа, что монарх наш милует заблужденных, щадит покорных, но умеет открывать лицемерие и казнить мятеж. Старшины клялись свято сохранять верность и покорность, положив руку на Куран и лобзая его. Завет спокойствия Дагестана был заключен. Но чтобы упрочить оный, командующий разместил войска в с. Карабудах-Кенте, в Гиллях, в Буйнаке, в Уйтамише. То была живая цепь, наложенная на Табасарань, в которой умы еще волновались. Сардарь наш ведал, что присутствие Абдурзах-кадия и других беков, ревностнейших поборников Кази-муллы, было закваскою мятежей в среде буйных табасаранцев, и для того послал к изменникам

доверенных людей от имени почетных дербентских жителей, уговорить их предаться великодушию русских, прося пощады. Это удалось. Абдурзах-кадий, Айдамир, Муртазали и другие мятежные беки явились к дербентскому коменданту. Командующий, известясь о том в крепости Бурной, которую тогда осматривал, поспешил прибыть в Дербент и отослал главнейших под надзором в Баку. Между тем табасаранские беки, по его приглашению, избрали себе в главу, то есть в кадии, Исай-бея, известного своим усердием к русскому правительству. Ибрагим, бек Карчахский, наследник владений майсумов, привел в покорность возмутившихся своих подданных. Джамман-бек, сын последнего уцмия, принял обеты верности каракайтахцев. Одних устрашили быстрые успехи русского оружия, других укротило великодушие командующего, — Дагестан смирился.

Дивлюсь я и до сих пор постичь не умею, каким колдовством солдаты всех скорее узнают далекие новости, нередко важные тайны! Будет ли поход, решено ли дать сражение, идет ли к нам какое войско, где движется и что замышляет неприятель... им все известно, обо всем они говорят задолго прежде, сперва шепотом в палатках, потом около огней, а потом уже открыто, — и хоть вести их не всегда бывают связаны в подробностях, но почти всегда верны вообще. Стоя на часах у начальников, ходя на вести в канцелярию, толкуя с денщиками и писарями, они проникают везде как воздух, так же незаметно и так же перелетно. Близкие и беспрестанные сношения их с народом, даже в земле неприятельской, дают им средства скорее других вызнавать слухи и замыслы. Но, что всего страннее, случалось, они рассказами предупреждали события, — что ни говорите, а иногда глас народа есть глас божий. Так было и недавно. Между солдатами давно уже ходил слух, будто Кази-мулла, заняв генерала Вельяминова сражением на Сунже, сам ночью с одной конницею ударил вниз по Тереку, переբродился за него, и врасплох вторгся в Кизляр, ограбив часть города, три церкви[1], и с пленными ушел в горы. Сначала весть эту считали несбыточною; но невероятное обратилось скоро в вероподобное и,

---

[1] Там случилось странное событие, доказывающее уважение черкесов к св. Николаю. Ограбив русскую церковь дочиста, они оставили только богатый образ сего святого неприкосновенным. *(Примеч. автора.)*

наконец, подтвердилось официально. Набег сей совершен был Кази-муллою 1 ноября. 5-го он уже был под Чиркеем. Гордый удачею, надежный на золото, он хотел остаться там; но чиркейцы крепко держали присягу, потому что крепко помнили русские гостинцы, и не приняли разбойника. Желая своею деятельностию выиграть во мнении дагестанцев, дабы подвигнуть их к новому мятежу, он, в ночи на 8 ноября, напал на селение Каранай; но каранайцы и эрпилинцы совокупно ударили на его скопища, вытеснили, погнали, — он засел в неприступном ущелии, по дороге к Гимри. Стало явно, что уважение к лжепророку упало, — самые горячие его приверженцы на него восстали; меры боя и мира командующего произрастили желанные плоды.

Кази-мулла, после этой неудачной попытки, бежал в Гимри, селение, лежащее на Койсубулинском обрыве Салатафа, в пропасти, не досягаемой взором, не только оружием. Лишь узкие тропинки, пролегающие над стремнинами, ведут туда. Там находилась одна жена и часть семейства Кази-муллы, и там же хотел перезимовать он сам, защищенный многочисленными единомышленниками. Желая удалить возмутителя из соседства Северного Дагестана, генерал-адъютант Панкратьев отправил подарки к почетным гимринцам от имени шамхала, уговаривая их изгнать из среды своей Кази-муллу; но между тем он хотел подкрепить свое требование оружием. Генерал Коханов получил приказание занять Каранай и Эрпили и тем пресечь ему единственные дороги в шамхальские владения. Сам командующий прибыл к отряду 13 числа в Карабудах-Кент, распуская слух, что пойдет атаковать Гимри. 16-го батальону куринцев, в сопровождении трех тысяч пеших шамхальцев, приказано было выступить из Эрпилей на гору. Слышать — значит повиноваться. Велено — и для русского нет невозможного. С рассветом мы двинулись на крутой хребет Салатафа, давно уже покрытый снегом... Идем!

Давно — кажется, с байбуртского сражения — не уставал я так, как устал, взбираясь по обледенелой крутизне Салатафа. Ноги раскатывались, скользили; невозможно было идти, не упираясь штыком в снег. Зато я щедро награжден за усталость прелестным видом, когда ветер распахнул позади нас туманы. Прошедши две трети, то есть верст пять в гору, мы были остановлены, и я имел пол-

ный досуг вздохнуть, дать разгул очам своим. Я уже стоял за границей растения, на крутом гольце. Утро было морозно, солнце катилось по синеве, пылко и лучезарно. Девственный снег, не запятнанный следом человека, горел как покрывало, сотканное из алмазов по радужной основе. Огромные деревья леса опушены были кристаллами, в тысячу раз прелестнейшими зелени... Это было что-то идеально-очаровательное; звезды роились по ним вместо листьев, солнца в замену плодов. Но что виделось под стопами внизу, под очами вдали: и склоны и обрывы гор, расписанные тенями, и яркие хребты застывшего океана, вспененного туманами, и все, все, что можно было обнять взором и воображением, — этого не выразит никакое слово, не даст подобия никакая кисть. Сколько жизни разлито было по этим горам, несмотря на зиму, символ безжизненности! Я исчезал в созерцании — Адам падал с плеч моих... я был так далек от земли, и земля сквозь мысль мою казалась мне так чистою, сам я в эту минуту был так близок к небу, словно достоин его!.. Луч солнца играл, как поцелуй ангела, на лице моем, будто никогда не кропленном ни каплею пота, ни каплею слез, ни каплею крови! Тогда я мог сказать, как Фауст: «Возвышенный дух! ты дал мне, дал мне все, о чем молил я. Ты отдал мне в царство пышную природу, даровал силу ее чувствовать, ею наслаждаться! Не к одному хладно дивящемуся изысканию ты допустил меня, нет! Ты дозволил мне заглядывать в глубокое ее лоно, как в сердце друга».

Мы не пошли в Гимри, ибо командующий войсками очень хорошо знал невозможность спуститься в эту пропасть в такое суровое время года. Но демонстрация его имела полный успех. Его на дороге встретили посланные от койсубулинцев с уверениями, что желание русских будет совершено. На другой день явились гимринцы от старшины селения Давуд-Магоммеда с известием, что Кази-мулла, изгнанный ими, удалился со своими клевретами в Иргены, где присоединился к нему Гамзат-бек Аварский, дважды помилованный и дважды изменивший русским.

Видя укрепляющееся доверие к русским и ненависть к лжепророку между дагестанцами, генерал-адъютант Панкратьев, дабы усилить оные, лично роздал несколько медалей и денежных награждений мусульманам, отличившимся в деле 8 ноября. Между тем зима установилась.

Густые снега завалили сугробами ущелья. Горные дороги стали непроходимы, и сардарь наш отправил часть войск, истомленных беспрестанными походами, в свои штаб-квартиры. Для опоры же спокойствия пять рот Куринского полка и шесть рот Апшеронского расположились первые в Карабудах-Кенте, вторые в Дженгутае.

В это время получено известие, что Кази-мулла хотел было водвориться в с. Иргены, но, видно, счастье его пошло на отлив: ему и там не дозволили скрываться. Навербовав по горам отчаянную шайку, человек до пятисот, он с Гамзат-беком, достойным его сподвижником, перевалился за Салатаф и засел в почти неприступном урочище Чумкессен, в двенадцати верстах от Казанищ, разглашая, что хочет карать отпавших своих сообщников, и между тем похищая баранов у соседних деревень. Генерал-майор Коханов выступил против разбойника с двумя батальонами, подкрепленными шамхальскою пехотою при четырех орудиях, 26 ноября, обошел овраг и атаковал неприятеля. Но непроницаемый туман воспрепятствовал успеху. Не видя далее пяти шагов перед собою, — уже осенний день навечере, — русские должны были отступить. Горцы дерзостно кинулись из завалов своих, перешли через глубокий овраг и напали на передовые войска наши, но были рассеяны пушечными выстрелами. Дерзость их возрастала с каждым шагом отступления, — это обычная азиатская сноровка. Раз пять порывались они отбить заднее орудие на узкой лесистой дороге, но артиллерийский офицер без страха снимал его с передков, обдавал горцев картечью и снова на передки, — это был тигр, которого каждый оборот стоит жизни собакам... Одна минута, однако ж, была истинно роковая. Худо ли был проколот картуз или не догнан до места, только скорострельная трубка вспыхнула — и нет выстрела; ставят другую — вспышка; третью — не палит!! А горцы почти на колесе и с дикими воплями кидаются в шашки, — но апшеронцы лихо отстояли орудие, стрелялись в упор, резались врукопашь. Глубокий снег и чрезвычайно суровая погода принудили нас возвратиться в самые Казанищи.

В ночи на 26 число Кази-мулла отрядил триста человек для нападения на Эрпили, но там сторожил их отважный Улу-бей. С рассветом началась сеча. Улу-бей со своими вытеснил их из края селения, ими занятого, преследовал далеко, многих убил, десять человек взял пленными.

В Эрпилях в этот набег свершилось дело, достойное памяти. Мать Улу-бея, пылая гневом и местью на виновников бед ее, родных и одноземцев, кинулась на них с топором в руках, поразила нескольких и сама приняла геройскую смерть. Кази притаился в Чумкессене; но могли ли, но должны ли были русские терпеть непримиримого врага в двенадцати верстах от себя? Это бы значило потоптать свои лавры, даром потерять плоды победы. Командующий войсками взвесил, какое влияние эта дерзость может сделать на умы дагестанцев и горцев, даже на войска наши, и решил: непременно взять Чумкессен. Дело это поручено полковнику Миклашевскому, который незадолго, по болезни бригадного генерала, принял начальство над отрядом.

Отряд этот собрался в Казанищи 30 ноября. Назавтра назначен был бой, и все знали, что он будет упорен, ибо все слышали, что Чумкессен едва доступен, что там есть крепостца, что она защищается тысячью отчаянных удальцов племен лезгино-аварских; но солдаты любили Миклашевского как душу и так твердо веровали в беззаветную храбрость, в благоразумие его распоряжений, что готовились в дело весело, беззаботно. В палатках раздавались шутки, вкруг огней песни, — о, сколь для многих были они последними! Судьба уже отмечала лица жертв железным перстом своим. Скажите, какая нить связывает два мира, две судьбы, две жизни? Скажите, отчего, готовясь расторгнуться, она почти всегда дает ощутить себя, то грустью предчувствия, то зловещими снами? «Какой предрассудок!» — скажете вы, засмеетесь или, что еще хуже, улыбнетесь с сожалением. Пусть так. Я сам очень хорошо умею толковать о вздорности этого и между тем не могу дать себе отчета, отчего и когда делаю исключения, — и не раз близость беды, как близость грозы, томила меня тоскою задолго прежде. Не говорю уже о многих умнейших людях, покорных предчувствию, — я знал людей, не имевших веры, кроме этого суеверия, и это суеверие редко их обманывало. Кто видел жатву смерти около себя в многоразличных образах, тот, конечно, более домоседа имел случай видеть тому примеры. Расскажу один.

Накануне 1 декабря Миклашевский ужинал с немногими близкими к нему. Он казался веселым, но едва ли был им. Невольная дума мрачила его лицо.

— Ну, господа! — сказал он. — Надо славно заклю-

чить славный поход. Я должник государю за многие милости, особенно за позволение ехать в отпуск, и сделаю все, что могу. Отработаем дело молодецки, и я летом полечу на родину. Воображаю, как будет рад мне старик, отец мой! Про себя и говорить нечего — я русский, я сын, я жених! Лестно мне, что генерал Панкратьев выбрал меня приложить кровавую печать к странице истории, на которой блестит его имя, но, подивитесь — я бы почти был рад, если б Кази-мулла бежал заране. Мне снился в прошлую ночь странный сон. Чудилось мне, что в мою палатку вбегает прекрасная женщина, в слезах, с растрепанными волосами, жалуется, что она кем-то покинута. Прошла минута, и она уже лежала в моих объятьях и как ангел ко мне ласкается, но я чувствовал, что поцелуи ее — лед, грудь холодна, как зима... Она холодела на руках моих, — мне стало страшно, я зяб, я застывал, я замерзал, сердце переставало биться... Просыпаюсь!.. Одеяло у ног, и холодный ветер играет полами шатра. Разумеется, это вздор... Будучи отрядным начальником, я менее чем когда-нибудь подвержен буду личной опасности... Но успех сражения? — Разговор о деле замял и мысль о грезах.

На всходе солнца мы двинулись из Казанищ в гору к Чумкессену. Надобно сказать, что Чумкессен выходит с хребта мысом, ограниченным с юга оврагом, а с севера крутым обрывом, вся окрестность его обнята густым лесом; дорога на этот мыс идет по правой стороне оврага и, огибая оный, спускается рытвинами. Почти на углу Чумкессена стеснено несколько землянок и саклей, в коих скрывались семьи мятежников во время лета. Полковник Миклашевский, оставя против тропинки, туда ведущей, роту куринцев с одним орудием, прочие войска послал в обход. Шамхал и Ахмет-хан стали с людьми своими на дороге от Казанищ. Улу-бей с эрпилинцами занял дорогу к Гимрам и, заметя, что к Чумкессену идет на выручку толпа аварцев, пересек им путь, разбил их, взял в плен двенадцать человек. Рекогносцировка оказала, что через овраг невозможно перевезти пушку и что обходная дорога заграждена засеками и перекопами, следственно требует долгого времени для расчистки, — а велик ли зимний день?.. Миклашевский решился сделать натиск одною пехотою. Перекрестились — пошли... Пули уже заиграли. Восемь орудий остались бить по видным завалам перед селением; но когда мы обежали его, пушки умолкли, на-

стала жатва свинцом и железом. Апшеронцы и егеря на славу атаковали неприятеля, разом выбили его из завалов, из саклей и, беспощадно коля встречного и бегущего, по следам их кинулись с двух сторон к укреплению Агач-Кале, которое, будучи скрыто в ложбине от пушечных выстрелов, только тогда открылось глазам нападающих. Это Агач-Кале было трехстенное укрепление, воздвигнутое на краю утеса. Наружные углы его обстреливались саклями, сложенными вроде башен. Оно скатано было из огромных деревьев в несколько венцов и накрыто суковатыми пнями (chevaux de frise). Между бревнами вложены были по концам палочки, отчего во всю их длину образовались весьма удобные стрельницы, — из них-то летел смертоносный огонь на наступающих. Скрытые за непроницаемою оградою, горцы били на выбор; солдаты наши, несмотря на это, бесстрашно кинулись вперед; но когда град пуль срезал целые ряды храбрейших, когда несколько офицеров легли на окровавленный снег, натиск превратился в перестрелку жестокую, убийственную, ибо расстояние между крепостцою и рассеянными купами дерев не превышало восьмидесяти шагов. Кучки бесстрашных егерей, предводимых достойными своими офицерами, кидались несколько раз к стенам укрепления, срывали окровавленные знамена, пытались взлезть наверх, — иным удалось и это, но суковатая кровля была непроницаема; герои падали, пробитые десятками пуль. Осажденные оказали отчаянное сопротивление, — иные, увлеченные бешеною храбростью, вылезали из укрепления и с шашкой в руке гибли на штыках. Выстрелы их были метки и непрерывны; упорство, месть, ожесточение росли с обеих сторон; подошва Агач-Кале завалена была трупами коней и людей... Никогда в жизни не видал я столько крови и столько храбрости на столь малом пространстве!..

Миклашевский нетерпеливо ждал решения боя за оврагом; но когда прискакал к нему офицер и сказал что-то на ухо, он вспыхнул. «Коня!» И в тот же миг велел двум ротам куринцев следовать за собою, спустился с крутизны вскачь и вскачь поднялся на противоположный утес, по такой крутизне, что и пешком взлезть трудно. Судьба несла его, говорили солдаты. Он спрыгнул с коня, обнажил шашку и крикнул:

— Вперед, друзья! Теперь наша очередь показать себя молодцами!

— Ура! ура! — заревели солдаты.— Ура, вперед! С нами отец наш!

Все ожило, все хлынуло к Агач-Кале. Он пошел на приступ впереди всех, между ротою куринцев и егерей... подбежал к бойнице и в запальчивости хотел заколоть сквозь нее горца; но злодейские выстрелы сыпались, кипели, и роковая пуля пронзила его грудь, пробила сердце и легкие; он успел только сказать: «Возьмите!», ступил назад и пал. Вслед же за ним смертельно ранен майор Кандауров, тяжело подполковник Михайлов, пять обер-офицеров и множество нижних чинов.

Но смерть храброго полковника не могла остаться без мести, завет его — без исполнения. Ожесточенные солдаты руками рвали сруб, лезли наверх, ломали кровлю и вломились, наконец, в укрепление, падали друг на друга; друзья и недруги — все смешалось... Когда ударили отбой, лишь одни трупы злодеев остались в Агач-Кале: там не было ни пленных, ни раненых. Темнота укрыла многих мятежников от гибели; они катком спустились с обрыва. На месте сражения осталось более ста пятидесяти тел и семьдесят лошадей. В числе убитых узнали татары лучших наездников и товарищей Кази-муллы. Взято два почетных знамени и одно Гамзат-бея; добыча в вещах и деньгах, в том числе в богатейших уборах кони Кази-муллы и Гамзата. Кази-мулла бежал так неожиданно и торопливо, что в пещерке, в которой он во время дела молился, нашли его Куран и другие духовные книги. Ковер, на котором сидел он, был залит кровью. Его полагали тогда раненым.

Мы стали почти *на костях,* как выражались наши предки. Дорога́, но знаменита была победа. Мы потеряли более трехсот убитыми и ранеными, зато стяжали славу русскому оружию. Ни помощь природы, ни силы огражденного неприступностью человека не устояли перед храбростью русских,— а выгоды этого мнения в очах дикарей неоценимы. Перед нами, на окровавленном плаще, лежал труп убитого полковника, и как гордо, как прекрасно было его чело!.. Офицеры и солдаты рыдали. Татары плакали горькими слезами... Но воину ли жалеть о такой завидной смерти? Нам должно желать ее! Миклашевский пал, как жил,— героем! Наутро огонь и железо истребили гнездо злодеев. Окружный лес упал под топорами. Мы возвра-

тились в свои квартиры и скоро разошлись на зимовки. Дагестанский поход кончился.

Свершив, кинем взор на свершенное.

Покорив Дагестан, умирить его, упрочить его спокойствие было дело одного месяца. Не легкость дела, а здравость мер генерал-адъютанта Панкратьева была тому виною. Убеждениями своими произвел он то, что Казимулла, доселе всемогущий над умами горцев, превратился в разбойника, скитающегося в ущелиях Кавказа без приюта. Прежние последователи проклинают его, самые пылкие приверженцы с ним сражаются. Нелицеприятная справедливость с азиатцами и сохранение в русских войсках строгого порядка укрепили вновь доверие к русскому слову, привязанность к русскому правительству. Не одна гроза, не одно оружие укротили силу, нет! Великодушие более еще победило сердец,— и по тому самому должно надеяться в Дагестане долгой, ненарушимой тишины.

В военном отношении можно ли было сделать более вреда неприятелю, добыть более славы русским с столь малыми средствами? Войска наши, всегда обеспеченные продовольствием, несмотря на осеннюю грязь, на зимние вьюги и снега глубокие, двигались с невероятною быстротою, поражали многочисленного неприятеля на каждой встрече. Счастливое соображение дювекского дела, где генерал-адъютант Панкратьев тройным нападением раздробил, развлек и по частям разбил табасаранцев, достойно изучения. Решительное до дерзости, но оправданное блестящим успехом, нападение на Эрпили, где битва решена, так сказать, одним взмахом меча, останется надолго в памяти горцев. Они были изумлены и устрашены стройным развитием колонн, которые вдруг обошли, охватили, сняли их. Искусное расположение батарей под Чиркеем, покоренным русскому царю так быстро, так славно, и, наконец, взятие Чумкессена, богатое политическими последствиями,— все это отличает дагестанский поход в числе знаменитых событий царствования Николая! Он будет внесен в летописи военные яркими буквами; он поставит генерала Панкратьева в ряд лучших вождей и правителей нашего времени.

А. М.

ФРЕГАТ «НАДЕЖДА»

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ БУХАРИНОЙ

В начале бе слово.

*КНЯГИНЯ ВЕРА *** К СВОЕЙ РОДСТВЕННИЦЕ В МОСКВУ*

О, как сердита я на тетушку Москву, что ты не со мной теперь, мой ангельчик Софья! Мне столько, столько надо рассказать тебе... а писать, право, нечего. Я так много прожила, столь многому навиделась в эту неделю!.. Я так пышно скучала, так рассеянно грустила, так неистово радовалась, что ты бы сочла меня за отаитянку на парижском бале. И поверишь ли: я уж испытала, ma chérie [1], что удивление — прескучная вещь и что новость приторнее ананасов. Двор и свет так закружили меня, что я могу выслушать самую безвкусную нелепость не поморщась, увидать прелестнейшую картину без улыбки. Но петергофский праздник, но сам Петергоф — о, это исключение, это жемчужина исключений!.. У меня еще до сих пор рябит в глазах и в уме, звенит в ушах от грома пушек, от кликов народа, от шума фонтанов и волн, рассыпающихся звуками о берега. Внимательно мы слушали, жадно, бывало, поглощали мы описание петергофских чудес с тобою; но когда я их увидела наяву, они поглотили меня, я забыла все, даже тебя, мой ангельчик! Я летала в небо вместе с водометом, падала вниз пуховою пеною, расстилалась благоуханною тенью по аллеям, дыша-

[1] Моя дорогая *(фр.)*.

щим думою, играла солнечным лучом с яхонтовыми волнами взморья. Это был день,— но что за ночь его увенчала!.. Залюбоваться надо было, как постепенно загоралась иллюминация: казалось, огненный перст чертил пышные узоры на черном покрывале ночи. Они раскидывались цветами, катились колесом, вились змеей, свивались, росли,— и вот весь сад вспыхнул!.. Ты бы сказала: солнце упало на землю и, прокатясь, рассыпалось в искры... Пламенные вязи обняли деревья, перекинулись цветными сводами чрез дороги, охватили пруды звездистыми венками; фонтаны брызнули как вулканы, горы растаяли золотом. Каналы и бассейны жадно упивались отблесками, перенимали узоры, двоили их и, наконец, потекли пожаром. Ропот народа, сливаясь с шумом падающих вод и тихо зыблемых дубрав, оживлял эту величавую картину своею дивною гармоникою... то был голос волшебника, то была песня сирены. Часу в одиннадцатом ночи весь Олимп спустился на землю. Длинные колесницы понеслись по саду, и, право, блестящие дамы двора, которые унизывали их, подобно ниткам жемчужным, могли издали показаться мечтой поэта,— так блестящи и воздушны были они... не исключая и меня. На мне тогда было глазетовое платье, которое, не знаю, право, почему, называется при дворе русским, испод белый атласный с золотом... Что за фасон, что за шитье, Софьюшка,— хоть на колени стать перед ним! Новый берет с райскою птичкою (мне подарил его вчера муж мой) очень шел ко мне, и если б я не верила зеркалам, то одобрительный около меня ропот мужчин мог бы убедить самого Фому неверующего, что твоя кузина очень недурна. Но ты ждешь, верно, описания петергофского маскарада, m'amie? [1] Боже мой! да откуда я возьму памяти или порядка!.. В голове моей образы толкутся будто мошки... Генеральские звезды гонят с неба звезды неба, учтивые рыбы Марлийского пруда пародируют вместе с гвардейскими болтунами, которым не худо бы взять у первых несколько уроков скромности, и я не могу вспомнить камер-юнкера, чуть не плачущего над разбитым лорнетом, чтобы мне не представился Сампсон, раздирающий льва. Статуи Аполлона Бельведерского и Актеона танцуют передо мной польский с графинею Зизи или княжною Биби... и я, право, боюсь, что начну расска-

[1] Мой друг *(фр.)*.

зывать тебе про комплименты князя Этьеня, а заключу грибом, точащим воду [1].

Впрочем, все говорят, что маскарад был из самых блистательных, то есть давно не было истрачено такого множества румян и блесток, свечей и любезности. Твой дядюшка, le cher homme [2], навешал на себя столько украшений, что насмешники уверяли, будто он готовится к художественной выставке, а дородную москвитянку нашу, княгиню Z., за огромный шлейф ее, сравняли с зловещею кометой, и совершенно даром: она так ловко носила хвост свой, как лисица. Ты помнишь, я думаю, высокого адъютанта, который смешил нас прошлую зиму своими наборными фразами, пахнущими юфтью Буаста?.. Eh bien, Sophie [3], про него генеральша Т. сказала, будто он доказал ей, что и башмаки есть оружие *наступательное!..* Да где мне пересказать тебе все остроты или все плоскости, которые сыпались в толпе, как мишура с платьев! где мне припомнить всех, с которыми прогуливалась я, рука с рукой, в этом маскараде! Около меня змеями вились золотые и серебряные аксельбанты, и не одна генеральская канитель, не один черный ус трепетали и крутились от удовольствия, когда я произносила: «avec plaisir, monsieur» [4]. Ах, как мне надоели эти попугаи с белыми и черными хохлами на шляпах, милочка!.. Они, кажется, покупают свои фразы вместе с перчатками. Как наши старинные московские обеды начинались холодным, так у них неизбежно отправляется вперед вопрос: «Vous aimez la danse, madame?»[5] Нет, сударь! Я готова возненавидеть танцы из-за танцоров, которые, как деревянная кукушка в часах моей бабушки, вечно поют одно и то же и наводят тоску своим кукованьем. Беда с такими кавалерами, но с прославленными остроумцами — вдвое горе! Они жгутом крутят бедный мозг свой, чтобы выжать из него каплю розовой воды или уксуса.

— Вы привлекаете на себя все глаза и все лорнеты,— говорил мне один дипломат, покачиваясь так важно, как будто б от его равновесия зависело равновесие Европы.—

---

[1] В Петергофе есть беседка в виде гриба, которая нежданно обливает водой. *(Примеч. автора.)*

[2] Милый человек *(фр.)*.

[3] Так вот, Софья *(фр.)*.

[4] С удовольствием, сударь *(фр.)*.

[5] Вы любите танцы? *(фр.)*

И посмотрите, княгиня, как загораются, как блестят все взоры, встречаясь с вашими; c'est un véritable feu d'artifice [1].

— Не совсем,— отвечала я ему,— je vois beaucoup d'artifice, mais où est donc le feu?[2]

Поверишь ли, ma chérie, что в этом потоке голов, в этом млечном пути глаз голубых, серых, черных ни одно лицо не улыбнулось мне, как бы я желала, ни один взор не горел ко мне участием,— я не нашла в них ничего оригинального, ничего стоящего смеха или мысли. «Как мало здесь кавалеров!» — говаривали мы в Москве белокаменной; «как мало людей!» — говорю я здесь. Бесхарактерность провела по всем свой ледяной уровень. Напрасно будешь вглядываться в черты — не узнаешь ввек, какому народу, какому мнению принадлежат эти люди. Под улыбкой нет выражения, под словом не дороешься мысли, под орденами — сердца. Это какая-то картина, покрытая ослепительным лаком... ее дорого ценят по преданию, хотя никто не понял, что она изображает. Во весь сегодняшний вечер, в целый вечер, не удалось мне ни услышать, ни подслушать ни одной речи, которая бы врезалась в память. Говорили, говорили они,— да чего они не говорили, а что сказали? Только один, разговаривая со мной, сделал довольно удачное сравнение.

— Посмотрите вдаль и вкруг,— сказал он,— не правда ли, что этот бал похож на английский сад? Перья и цветы на дамах качаются, как прелестный цветник от поцелуя зефира. Там тянется польский, будто живая дорожка; там купы офицеров с зыбкими султанами стоят, как пальмы. Вот Уральский хребет в шитом златоносными песками мундире! Вот пещера с отголоском, повторяющим сто раз слово *я*. Далее: в этом горбуне вы видите мост, который никуда не ведет; везде золотые ключи, которые ничего не отпирают; тут погребальную урну, хранящую французский табак, и девушек, бродящих окрест с невинными мечтами овечек. Даже,— продолжал мой насмешник, лукаво взглядывая на ряды пожилых дам,— если позволено вздуть сравнение до гиперболы, мы можем найти здесь не одну *живописную развалину*, не один обломок

---

[1] Это настоящий фейерверк (искусственный огонь) *(фр.)*.
[2] Я вижу много искусственности, но где же огонь? *(фр.)*.

Китайской стены, не одну готическую башню, из которой предрассудки выглядывают, как совы.

— Bon Dieu [1], как вы злы! — возразила ему я. — Разве нельзя для сравнения найти предметов более игривых? Вы бы могли, например, поместить какой-нибудь победный памятник, какой-нибудь храм в этом саду, так же как в Царском Селе.

— В таком случае,— сказал мой партнер, раскланиваясь,— я беру на себя роль ростральной колонны; но храмом, и притом храмом любви, будете *вы!*

Я с улыбкой взглянула на приветника... Как жаль, что он немолод и некрасив; и потом этот долгий, тонкий нос — самая неудачная его острота...

Мы уж дома.

Любви? любви? — зачем эта мысль вплелась в мое сердце, закабаленное свету, как эта живая роза в хитросплетенные косы мои? Почему не могу выбросить ее за окно, как я бросаю эту розу? Отчего я вздыхаю каждый раз, когда о ней услышу, и чуть не плачу, когда о ней вздумаю! О, добрая моя Софья! резвая, беззаботная подруга моего девичества! Если б ты знала, из какого тяжелого металла льются брачные венцы, если б ты поверила, что коробочка Пандоры есть необходимый свадебный подарок, ты бы пожалела меня. Столько блеску, и так мало теплоты! Бегу навстречу к мужу моему, с горячностью ласкаюсь к нему... но он принимает меня, как учитель дитя... он только терпит мои ласки, но не ищет их, не отвечает на них. Я почти только и вижу его за столом... и тогда трюфели заманчивее для него всех очей в мире. Домой привозит он только усталость от службы и скуку от искательства, и когда любовь моя просит взаимности, он, зевая, говорит приветствия!.. Нужны ли мне уборы, экипажи — он сыплет деньгами. Вздумается ли мне быть там и там — он не скажет *нет*, лишь бы я его не звала с собою; а его улыбка, его радушное слово дороже мне гостинца, и за один поцелуй я бы готова неделю просидеть дома. «Это почти жалоба»,— скажешь ты, моя милая. Нет, душечка! это миг нетерпения, это пройдет; я только мимоходом хотела заметить, что грустно, очень грустно не иметь прихотей, которые бы не исполнялись, между тем как единственное справедливое желание безответно и без-

---

[1] Боже милостивый *(фр.)*.

надежно!.. Сердце мое вянет на холодной золотой звезде... вянет... и где любовь, где самая дружба, чтоб оживить его слезою участия?!

Полночь. Темно и тихо кругом... только море, как любовник, грозит и ластится к камням Монплезира, в котором живем мы; только вдали повременно мелькают на яхтах огоньки, как неясные мысли. Грусть клонит меня ко сну... До завтра, моя милая Софья.

Петергоф, 1 июля 1829 года.

ПИСЬМО ВТОРОЕ
ОТ ТОЙ ЖЕ К ТОЙ ЖЕ

Закладую свою слезу против блестки, да, слезу, десять, двадцать слез даже (а это для меня не безделица, как ты знаешь, милая кузина),— ты никак не угадаешь, где я была сегодня. На гулянье верхом, на танцевальном завтраке? — скажешь ты. О, нет, это слишком обыкновенно. На смотру войск? Мимо. На фейерверке? Еще того менее. Я каталась, и знаешь ли где, и поверишь ли на чем?.. Не в пруде на пароме, не в реке на ялике,— вообрази себе... я каталась в открытом море, на сорокашестипушечном фрегате! О, я уверена, что твое московское воображение, не видавшее нигде бури, кроме Чистых прудов, бледнеет перед мыслию о неизмеримости, об ужасах моря. Сущие пустяки, моя милочка! Мода и нас, робких женщин, может производить в героини, а раз ступивши на палубу, скоро ты приглядишься к страху, что в океане будешь как в гостиной. Ну, право, море — премилое создание, и мне так полюбилось оно с первого визита нашего знакомства, что я готова бы совершить путешествие кругом света. Вообрази себе... но нет... лучше себе припомнить, что надо начать сначала... m'y voila [1].

Я надеюсь, ты слышала, как нынешний государь любит флот?.. Он воскресил его, он вдохнул в него русскую силу и дал ему чистые лавры под Наварином. Государю угодно было угостить двор и посланников прогулкою по морю; и в самом деле, какое угощение от достойного внука Великого Петра могло быть царственнее, величественнее этого! Катера были готовы, утро — прелесть... Двор начал размещаться... Признаюсь, неохотно рассталась я с бере-

---

[1] Итак, начинаю *(фр.)*.

гом; казалось, мне больно оторвать стопу от земли, и я с трепетанием сердца спрыгнула в катер. Но когда весла грянули, когда длинная вереница шлюпок, из которых каждая подобилась плавучей корзине с цветами, ринулась в море, и впереди всех орлом полетел двадцативесельный катер, несущий в себе славу и надежду России; когда берега стали бегом уходить от нас, а далекий Кронштадт с дремучим лесом мачт поплыл к нам навстречу,— тогда безграничное море развилось за ним, синея и сверкая... страх мой перелился в тихое, новое для меня наслаждение, и мне стало так хорошо в ладье, будто в колыбели когда-то.

И вот миновали мы Кронштадт и приблизились к эскадре, готовой вступить под паруса. Матросы унизывали все снасти, все реи в узор и кричали *ура!* Едва государь с высочайшим семейством взошел на адмиральский корабль, весь флот поднял якоря, и катера наши приставали к ближним кораблям наудачу... Вид был восхитительный! Упавшие паруса образовали словно плавучую стену с огромными башнями. Мы долго спорили со своими подругами о выборе: одна хотела стопушечного корабля, толстого, как наш председатель палаты; другая, более умеренная, довольствовалась семидесятным, лишь бы на нем веял флаг контр-адмирала; третья желала сесть на раззолоченную, разряженную, будто на бал, яхточку. Не знаю почему, только мне всех более понравился стройный фрегат, идеал легкости, красоты и силы. Он так гордо бросал в облака свои стрелы; долгие флюгера его так остроумно и прихотливо сверкали в воздухе, он сам так важно колебался на волнении... пушки его с таким любопытством выглядывали на нас из окон, что во мне родилось непреодолимое желание видеть это милое чудовище у себя под ногою. Не знаю, красивее ли всех или настойчивее всех подруг моих на катере была я, только победа осталась за мною. Офицер гвардейского экипажа, который левою ногою управлял кормилом нашей двенадцативесельной республики, отдал честь моему вкусу и поворотил под корму моего любимца. На поясе резвой его галереи золотыми буквами написано было: *«Надежда»*. Это одно слово стоило предпочтения.

Висячая лестница устлана была флагами... Всходим... Вообрази себе! Нет, ты не можешь себе вообразить, что я там увидала! Не знаю, с чего начать, не знаю, можно ли

кончить!.. То был новый мир, то была чудная поэма. Помост чистый, вылощенный, как стол; снасти, закрученные завитками, блоки, сверкающие как серьги, сетки, сплетенные фантастическими кружевами, медь горит как золото; чугун орудий как сизое вороново крыло! И потом — эта стройная суета кругом... это необозримое раздолье перед очами!.. По звуку серебряных свистков, казалось, великан наш размахнул широко руками, чтобы поймать ветер; грудь его надулась, и он, с каждым мигом ускоряя бег, ринулся, наконец, прямо, пожирая пространство. Голова моя закружилась каким-то обаятельным вихрем, и когда глаза мои прояснели опять, они встретились с очами капитана корабля, которого не разглядела я сначала, хотя он и приветствовал нас при встрече. Природа, как говорит Шекспир, могла бы указать на него пальцем и сказать: *вот человек!* Высокий, стройный стан, благородная осанка и это *не знаю что-то* привлекательное в лице, нисколько не правильном и столько выразительном, отличали его от прочих. Но глаза его — что это были за глаза, моя Софья! — влажные, голубые как волна моря, они сверкали и хмурились подобно волне, готовой и лелеять и поглотить того, кто ей вверится. В приемах его не было модной вертляности; в нем заметна была даже какая-то крутость, какая-то дикость, происходящая, быть может, не от замешательства; со всем тем это очень шло к нему. Он, краснея, говорил с нами; он опускал очи перед взорами дам, и сначала голос его дрожал как металлическая струна цитры. И вот наш дикарь оправился, поднял свои огнистые очи, стал рассказывать нам о всех эволюциях, о назначении каждой вещи так мило, так занимательно, так шутливо, что мы, женщины, забыли свою обычную болтовню и разве-разве вплетали в гирлянду рассказа кой-какие вопросы. Я упала с облаков, ma chérie. Судя по слухам, я самого любезного из моряков считала немного половчее моржа, играющего на гитаре, которого показывали в кадке под качелями, а тут нечаянно встретила на досках палубы человека образованного, хотя и в шляпе без султана, даже без плюмажа,— человека, который бы украсил любой паркет столичных гостиных. Занимаясь нами, он не забывал, однако, своей обязанности, и одно слово, один взгляд его двигали громаду корабля — эту гениальную мысль, одетую в дуб и железо, окрыленную полотном.

Мы сошли вниз; какая изысканность в роскоши кают! какой тонкий вкус в украшениях! Строй орудий вооружал оба борта. Ядра низались кругом красивыми бусами. Копья, топоры и все абордажные оружия развешаны были, как галантерейные вещи. Посредине просторного дека (я замучу тебя морскими шарадами) разевал свою пасть огромный люк, то есть отверстие, сквозь которое далеко, глубоко внизу, во мраке, глаз с ужасом распознавал ряды бочек и лапу огромного запасного якоря — надежда всегда остается на дне. Мужу моему всего более понравилась чугунная кухня со всеми затеями гастрономии. Когда ему поднесли на пробу кусок говядины, назначенный для команды, он повторил фразу Лареньера: «Ainsi cuit on aurait mangé son père»[1].

Наконец капитан незаметно свел нас au fin fond de l'enfer[2], и сердце у нас сжалось; мы все ахнули от страха, когда он сказал нам, помахивая свечкою, что мы находимся теперь в пороховой камере, в сердце корабля. Мне уже показалось, что заряды, несмотря на уверение, что они заключены в ящиках, прыгают около меня, как шутихи, что все горит около, что я дышу, что я задыхаюсь пламенем, — я быстро выпрыгнула на свежий воздух.

— И точно, вам всех более должно было опасаться взрыва,— шутя молвил капитан,— один взор таких глаз— и какое сердце не взлетит на воздух!

Я на него взглянула.

Между тем эволюции шли своей чередою. Флот катился в открытое море; берега тонули. По приказу адмирала, высказанному флагами, корабли то строились в две линии, то обращались в другую сторону, то прорезывали одну линию другою... точно шахматы титанов; и мы так близко миновали другие корабли, что могли меняться приветами со своими знакомыми. Наконец император поднял свой штандарт, и едва победоносный орел взмахнул крылами в золотом поле — вмиг салютные выстрелы загремели со всех судов. Ах! какой это был прелестный ад! Сначала клубы дыма отдельно катились по волнам, но скоро все море превратилось в жерло вулкана. Ветер не

---

[1] С такою приправою можно съесть родного отца. *(Примеч. автора.)*

[2] В самую глубь преисподней. *(Примеч. автора.)*

успевал разнести одну тучу, а уж другие напирали все выше и выше, все чернее и чернее. Не говорю о громе; я думала, что я на вечность оглохну, так что и страшной трубы не услышу. С кормы любовалась я на валы дыма и моря... Капитан фрегата стоял подле, задумчиво устремя на меня очи; мы молчали, да и можно ли было говорить под говором тысячи чугунных кумушек; но мне было так весело, будто игривый сон носил меня на крылах в пространстве. Вдруг, в трех шагах от меня, раздался еще выстрел и вслед за ним крик: «Упал, упал человек, тонет!» Я обмерла. Один кононер, прибивая заряд, был оглушен нечаянным его взрывом и с подмостков [1], на которых стоял он, сброшен за борт... В один миг несчастный очутился за кормою... потеряв память, он только крутился в пенной борозде, вьющейся вслед руля. Ни одной шлюпки не было спущено, а сброшенный ему поплавок плыл в другую сторону... Он уже погружался, еще миг — и он бы исчез; но в этот миг капитан бросился с борта в море,— все ахнули, все прильнули к поручням; верхние пушки умолкли; и вот он вынырнул, схватил утопающего, плывет к кораблю, но корабль уходит... человеческая воля не может вдруг сдержать разбежавшуюся громаду. Ужас оледенил нас, когда увидели, что спаситель изнемогает под тяжестию: он стал кружиться на месте, окунулся, опять всплыл, опять ушел, и долго-долго не было видно его!.. Вот золотой эполет блеснул из седой пены, но это было на два мгновения... Я уж не могла ничего видеть, и когда раздирающий душу крик: «утонул!» раздался кругом меня, я потеряла чувства...

Как сладостно возвращаться к жизни, покуда одно телесное чувствует этот возврат, покуда какая-нибудь горестная мысль не пронзит ума... Так было и со мною. Вдруг воспоминание о погибели великодушного капитана сжало мне сердце будто стальною перчаткою, едва-едва я стала приходить в себя. Я с криком открыла глаза — и кто бы, думаешь ты, стоял за мною, орошая меня струями воды, текущей с утопленника как с зонтика. Ты угадала— это был *он!..*

Закрываю письмо, как я закрыла тогда глаза, чтобы хоть минутою долее насладиться таким сновидением... я

---

[1] Вероятно, с бизан-русленей. Между вантпоутингсов нередко прорезываются порты. *(Примеч. автора.)*

была им так счастлива!.. О, дай мне еще раз улететь из светской жизни; дай мне, как пчеле, упиться росою этого цветущего воспоминания; я хочу забыться, хочу забыть, я забываю все остальное...

Петергоф, 2 июля 1829 года.

I

...E per questo, quand'io veggo che gli uomini cercano per una certa fatalità le sciagure con la lanterna, e che vegliano, sudano, piangono per fabbricarsele doloresissime, eterne — io mi sparpaglicrei le cervella temendo che non mi cacciasse per capo una simile tentazione.

Ugo Foscolo [1]

Две недели спустя после императорского смотра флоту в кают-компании фрегата «Надежды», часу в одиннадцатом ночи, за ужинным столом сидел один уже лекарь Стеллинский. Все прочие офицеры разошлись по своим каютам, но сын Эскулапа, по достохвальной привычке, остался для химического разложения вновь привезенного портвейна. Рассуждая и прихлебывая, потом прихлебывая и рассуждая, он дофилософствовался до премудрого сомнения: голова ли вертится на плечах, или предметы около головы? Склоняясь более к последнему мнению, лекарь, казалось, поджидал, когда подойдет к нему одна из недопитых бутылок, танцующих перед ним оптический польский. Он, правда, порывался раза два отхлопнуть эту красавицу у свечи, тускло сиявшей между бутылками как разум между страстями, но глазомер изменял желанию, и длань героя блуждала в пространстве: окаянная шейка увертывалась из-под его пальцев не хуже школьника, играющего в жмурки. На беду, качка усиливалась с каждою минутою, и борьба силы самохранения с силой, влекущею лекаря к бутылке, по закону механики, вероятно

---

[1] И потому, когда я вижу, как люди, в силу какого-то зова, ищут несчастий с фонарем в руках и как они стремятся в поте лица своего и в горести уготовить себе самые мучительные и вечные из них, — я готов пустить по ветру мои мозги, из боязни, как бы и в меня не перешло в конце концов подобное искушение. *Уго Фосколо (ит.).*

кончилась бы тем, что его туловище отправилось бы по диагонали, проведенной от его носа под стол, но, к счастию, стол был привинчен к полу, и Стеллинский так вцепился в него руками, как будто хотел спастись на нем от потопления. В это время в кают-компанию вошел вахтенный лейтенант... его только что спустил товарищ поужинать. Скидывая измоченную дождем шинель, он уже смеялся на проделки Стеллинского.

— Эге, Флогистон Хининович,— молвил он,— ты, кажется, бедствуешь!.. Смотри, брат, не подмочи своих анатомических препаратов.

— Не бойтесь, не испортятся, — отвечал лекарь, размахнув руками как балансер на веревке шестом, отыскивая центр своей тяжести,— я их сохраняю в спирте!

— Прекрасное средство,— сказал лейтенант, глотая рюмку водки,— отличное средство, и я прошу извинить меня, господин доктор, что употреблю его теперь без вашего рецепта.

— Стократ блаженны те, которые лечатся и умирают по рецептам... Неужели вы, Нил Павлович, считаете рецепты бесполезными?

— Напротив, я считаю их преполезными — для закуривания трубок,— отвечал лейтенант, буквально врезавшись в кусок ростбифа и столь же проворно выпуская речи, как глотая говядину.

К счастию, что портвейн служил тому и другому путем сообщения, так что слова и ростбиф расплывались, не зацепляя друг друга.

— Как, сударь, рецепты?.. ре-ре-цепты? О, sana insania! [1] Жечь векселя на получение здоровья!

— Скажите лучше, контрамарки на вход в кладбище. Впрочем, мне случалось не раз быть больным; не раз писал мне мой доктор и рецепты вдвое длиннее своего носа, хоть нос у него являлся накануне, а сам завтра. Я очень набожно брал их между большим и указательным перстами, держал на чистом воздухе в горизонтальном положении минут по пяти...

— И потом?.. — спросил лекарь, изумленный этим средством симпатической фармакопеи.

— И потом — пускал на ветер. Желудку моему от того было не хуже, а кошельку вдвое лучше.

---

[1] О, здравое безумие! *(лат.)*

— Вы, конечно, любите Ганемановы выжидающие средства, Нил Павлович... и, надеясь на природу, подвиньте, пожалуйста, бутылку.

— Но ты, кажется, не гомеопат, Стеллинский, не хочешь ждать, чтоб природа подала тебе бутылку, и вместо капельных приемов тратишь столько вина зараз, что им бы, по методе Ганеманна, можно было напоить допьяна всех рыб Финского залива на пятьдесят лет, не считая этого. Однако, чем черт не шутит, разве не попадают порою в цель с завязанными глазами! Итак, вам же поклон, любезный внук Эскулапа. Вместо того чтоб ловить ночью мух, пошарьте-ка в кивоте своего гения — не отыщете ль в нем какого-нибудь действительного средства против сумасшествия?

— Разве вы хотите лечиться? — лукаво спросил лекарь, между тем как лицо его сморщилось в гримасу, которую в великий пост можно было бы счесть за усмешку.

— Ай да Флогистон Кислотворович! Славно, брат; право, хоть куда. Иной подумает, что ты изобрел этот ответ натощак. Но я все-таки ложусь на прежний румб и повторяю вопрос мой. Ты теперь в восторженном состоянии, в возвышенной температуре, так что зерном пороху, которое, сгорая, расширяется в тысячу раз против прежнего объема...

— ...Sic est... [1] притом же масоны красное вино называют красным порохом... картуз в ду-ло!.. Ну, теперь я заряжен. Итак,— продолжал, крякая и охорашиваясь, лекарь,— итак, вам угодно знать лекарство против сумасшествия?.. Гм! ге! Древние, между прочим и отец медицины...

— То есть мачеха человечества...— ввернул словцо лейтенант.

— Гиппо-по-крат, думали, что частое употребление галлебора, то есть чемерицы, или в просторечии чихотки, может помочь, то есть облегчить, или, лучше сказать, исцелить, повреждение церебральной системы... Да и почему же не так? Разве не знаем, или не видали, или не испытывали вы сами, что щепотки три гренадерского зеленчака могут протрезвить человека, ибо нос в этом случае служит вместо охранного клапана в паровых котлах, чрез который лишние пары улетают вон. А поелику и са-

[1] Так и есть *(лат.)*.

мое безумие есть не что иное, как сгущенная лимфа, или пары, или мокроты, именуемые вообще serum, которые, отделяясь от испорченной крови, наполняют клетчатую мозговую плеву (в это время лекарь любовался гранеными изображениями стакана, из которого он орошал цветы своего красноречия)... гм, ге!.. плеву и, постепенно действуя и противодействуя сперва на тунику, потом на перикраниум, а наконец и на белое существо мозга... А, это, верно, птица, или пава?.. почему Авиценна и Аверроэс, даже сам Парацельс... Пава, точно пава!.. советуют диету и кровопускание! Другие же, как, например, Бургав, действуют шпанскими мухами, вессикаториями и синапизмами; третьи, чтоб сосредоточить ум, вероятно разбежавшийся по всему телу, бреют голову, льют холодную воду на темя и охлаждают его ледяным колпаком...

— Чтоб черт изломал грота-рей на голове проклятого выдумщика такой пытки! Мало содрать с живого кожу — так давай закапывать в лед, как бутылку вина на вымораживание! Вся ваша медицина — уменье променивать кухонную латынь на чистое серебро, покуда матушка-природа не унесет болезни или ваши лекарства — больного!

— Прошу извинить, Нил Павлович... медицина... за ваше здоровье... происходит от латинского слова... как бишь его... ну да к черту медицину!.. А безумие, как имел я честь доложить, делится на многие разряды. Во-первых, на головокружение, во-вторых, на ипохондрию, потом на манию, на френезию...

— И на магнезию...

— Как на магнезию? Это что за известие? Магнезия не болезнь, а углекислая известь, а френезия, напротив...

— Есть вещь, о которой вы часто говорите, которую вы редко вылечиваете и которой никогда не понимаете... Не правда ли, наш возлюбленный доктор?

— Правда на дне стакана, Нил Павлович...

— То-то ей, бедняге, и достаются одни дрожжи.

— Пускай же она и вьется в них, как пескарь, — мы обратимся к нашему предмету.

— То есть к *вашему* предмету, доктор.

— Гм! ге! Вы верно не знаете, что многие врачи причисляют к безумию головную боль, цефальгию и даже сплин!

— Не знаю, да и знать не хочу.

— Вещь прелюбопытная-с... Вообразите себе, что однажды (это было очень недавно) некто знаменитый русский медик, анатомируя тело одного матроса, нашел... то есть не нашел у него селезенки, сиречь spleen, которая и дала свое название болезни. Из этого заключили, что человек одарен в ней лишнею частию, без которой он легко бы мог жить. Правда, иные утверждают, будто в животной экономии селезенка необходима для отделения желчи, но лучшие анатомисты до сих пор находят ее пригодною только для гнезда сплина, считают украшением, помещенным для симметрии...

Медицинские лекции так еще свежо врезаны были в памяти лекаря, что он и пьяный мог говорить чепуху с равным успехом, как и натрезве; но лейтенант, который кончил уже свой ужин, остановил оратора, так сказать, на самом разлете.

— Устал я слушать твою микстуру, любезный доктор. Вам, ученым людям, все то кажется лишним, чему вы не отыщете назначения, и если б вы не носили очков и тавлинок, то, чай, и нос осудили бы в отставку без мундира. Не о том дело, можно ли жить без селезенки, а о том, что худо служить без ума. Мне кажется, исчисляя виды сумасшествия, ты пропустил самый важный, и этот вид называется любовь, и больной, зараженный ею,— капитан наш.

— Капитан?.. Вы шутите, Нил Павлович... — произнес лекарь, протирая туманные глаза и опять хватаясь за стул, как будто чувствуя, что, полный винными парами, он может улететь вверх, будто аэростат.

— Нисколько не шучу,— отвечал лейтенант. — Я повторяю тебе, что это Илья Петрович Правин, достойный командир нашего фрегата,— Правин, со всеми буквами...

— Гм! ге! Вот что... так он-то болен любовью?.. С вашего позволенья...

— Нет, вовсе без моего позволенья. Уж эта мне черноглазая княгиня! Она словно околдовала Илью Петровича. И то сказать, хороша собой как царская яхта, вертлява как люгер и, говорят, умна как бес... Ты, я думаю, помнишь ее,— ну, ту высокую даму в черном платье, с которою в красоте изо всех наших гостей могла носпорить только фрейлина Левич... Как находишь ты, доктор, которая лучше?

— Мадера лучше,— возразил доктор.

Погруженный в созерцание бутылок, он только и слышал два последние слова.

— Мадера гораздо лучше; ближе к цели.

— То есть ближе к постели. И дельно, брат; пора твоей посудине в док на зимовку. Однако я говорю не о винах, доктор, но о дамах!

— О дамах, или, попросту, о женщинах? Гм! Да разве это не все равно? Молодая женщина и молодца как раз состарит... а старое вино помолодит и старика,— где яд, там и противоядие; где боль, там и лекарство.

— Грот-марса-фалом клянусь! оба эти зла или оба эти блага вместе приведут хоть какой ум к одному знаменателю. Уж если б выбрать меньшее зло, я бы скорей посоветовал капитану трепать почаще бутылочную, чем женскую шейку; и, по мне, пусть лучше зарится он на карточные очки, чем на очи красавицы. От вина поболит голова, от проигрыша заведется в кармане сквозной ветер, но от дам, кроме головы и кармана, зачахнет и сердце.

— Сердце! Сердце? А что оно такое, как не химическая горлянка, в которой совершается процесс кровообращения и окрашивания крови посредством вдыхаемого кислорода!.. Читали ли вы Гарвея?.. знаете ли вы трактат доктора Крейсига о болезнях сердца?

— И все-таки, я думаю, в книге этого доброго немца так же трудно найти лекарство против болезни нашего капитана, как шутку в Часослове. Право, я бы очень желал, чтобы ты, наш любезный доктор, хоть крашеной водою и пластырями, магнетизированием и шарлатанством продержал его месяца два на фрегате... Разлука и диета — два смертельные врага любви. Авось бы он развлекся службою; авось бы наши споры возвратили ему прежнюю веселость; а то он сам не свой теперь. Бывало, его калачом не сманишь с фрегата; ему не спалось на земле, ему душно казалось в городе,— а теперь все бы ему жить на берегу, да кататься на колесах, да лощить бульвары. Подумаешь, право, что он поймал эту глупую страстишку, как жемчужину со дна моря, в день смотра, когда спрыгнул в воду спасать утопающего канонера. За него нечего было ахать: он плавает, как ньюфаундлендская собака [1],—

[1] Их называют иначе sauvetage-dogs... В Англии близ каждого опасного места лежит их множество; они, видя разбитое судно, кидаются в воду и вытаскивают утопающих; также пригоняют к берегу тюки и бочонки. *(Примеч. автора.)*

зато сам он растаял, когда увидел, что черноглазая княгиня, от участия к нему, в обмороке...

— Да, да, да, да!.. Теперь-то я припоминаю все дело. Я застал тогда капитана на коленях перед нею; он был мокр, как тюлень, а суетился, будто муха над дорожными. Подруга ее сама обеспамятела и, вместо того чтоб помогать, кричала только: «Воды, воды, кликните соль, принесите лекаря!..»

— Скажите пожалуйте, какая напраслина!.. Ты, кажется, тогда мог сам ходить!..

— У вас все шутки, Нил Павлович! Ну, вот как я вошел, подруга ее приказывала капитану распустить ее шнуровку!..

— Вот тебе и раз! — с ужасом вскричал лейтенант.— Распустить шнуровку! Пускай бы спросили у Ильи Петровича, куда проходит и где крепится последний гитов[1] на каждом судне христианского и варварийского флота — он рассказал бы это, как «Отче наш», от коуша[2] до бензеля[3], а скоро ль было ему доискаться, где крепится дамский булень!..[4] Зато уж и попалась в силок морская птичка!.. Видно, черт возьми, не всякое *полушарие* обойти безопасно, и хорошенькая дамочка бурливее мыса Горна. С тех пор наш капитан рыскает, будто сам лукавый стоит у него на руле. Говоришь ему об укладке трюма, а он толкует о гирляндах. Просишь переменить якорь, а он переменяет жилет. Глядит в зрительную трубку, и ему кажется, что голландский гальот прогуливается по берегу в желтом платье. Налетит шквал, трещат стеньги, а он хохочет. Товарищи смеются, а он вздыхает. Мы пьем, а он смотрит в стакан, словно гадает на кофейной гуще, как тетушка Пелагея Фарафонтьевна.

— Это мания, чистая мания!.. Это столь же верно, как и то, что гиппопотам пускает себе кровь тростником, боясь апоплексии, а собаки лечат себя от бешенства водяным шильником... Это мания... ма-мания, говорю я вам...

— Зови как хочешь: от этого капитану не легче, нам не лучше. Да и, между нами будь сказано, к чему поведет такая глупая страсть? *Она* его не может любить: она за-

[1] Снасть для сдержки паруса. *(Примеч. автора.)*

[2] Кольцо желобком. *(Примеч. автора.)*

[3] Закрепка. *(Примеч. автора.)*

[4] Снасть сбоку паруса, удерживающая более в нем ветра. *(Примеч. автора.)*

мужем; а если и полюбит, тем хуже,— не должна. Если дело остановится на первом,— он исчахнет, но если, чего боже сохрани, дойдет до второго, — он совсем потеряет себя: он ничего не умеет делать и чувствовать вполовину... Я ведь знаю его с гардемаринского галуна до штабского эполета; от лапты на дворе Морского корпуса до картечи наваринского дела. О, как бы дорого дал я! — вскричал от глубины сердца лейтенант, проглотив разом стакан вина, будто им хотел он залить свое горе,— я отдал бы все свои призовые деньги, лишь бы увидать моего доброго друга, Илью, в прежнем духе... Это душа в обществе, это голова в деле: добр как ангел и смел как черт!.. Я предвижу, что он настроит кучу проказ; он вовсе забудет службу, совсем покинет море... и что тогда станется с нашим лихим фрегатом, со всеми офицерами, с командою, что его так любит? Пусть лучше молния разобьет грот-мачту, пусть лучше сорвется руль с петель, пусть лучше потеряем мы весь рангоут [1], нежели своего капитана! С ним все это трын-трава, а без него команда не вывернет бегом якоря, не то чтобы на славу убрать в шторм паруса и перещеголять чистотою и быстротою англичан, как мы делывали в прошлом году в Средиземном море. Per bacco e signor diavolo![2] Я бы готов на полгода отказаться от *вина и елея*, лишь бы вылечить Илью... хоть, признаться сказать, я считаю это так же трудным, как проглотить собаку-блок после ужина!..

Стеллинский в свою очередь говорил, не слушая лейтенанта, о медицине. Вино выказало страсти обоих — как обозначает оно в хрустале незаметные дотоле украшения.

— Должно начать леченье прохлаждающими средствами, — говорил он, зевая, — кремор-тартар... маг-мадера... потом пиявки, потом можно последовать совету славного римского врача Анахорета, который резал руки и ноги, чтоб избавить от бородавок, и сделать ам-пу-та-цию да тереть против сердца чем-нибудь спир-ту-о-зным!..

Сын Эскулапа был поражен Морфеем в начале речи — участь, грозившая слушателям, если б они были тут. Голова его упала на грудь, руки повисли, и он начал материально доказывать, что, согласно с мнением нашего зна-

---

[1] Все мачты, все дерево выше палубы. *(Примеч. автора.)*
[2] Клянусь самим дьяволом! *(ит.)*

менитого корнеискателя, русский глагол *спать* происходит от слова *сопеть*.

Но прежде чем лейтенант кончил говорить, а лекарь начал храпеть, дверь каюты распахнулась с треском: в нее вбежал вахтенный мичман, бледен, испуган.

— Нил Павлыч, — сказал он, задыхаясь, — нас дрейфует[1].

— Людей наверх, пошел все наверх! — крикнул лейтенант таким голосом, что он мог бы разбудить мертвых.

С этим словом он кинулся на шканцы без шапки и без шинели, — там уже заменявший его лейтенант хлопотал, как помочь горю. Окинув опытным взором море и небо, Нил Павлович увидел, что с погодою шутить нечего. Крутые, частые валы с яростью катились друг за другом, напирая на грудь фрегата, и он бился под ними как в лихорадке. Сила ветра не позволяла валам подыматься высоко, — он гнал их, рыл их, рвал их и со всего раската бил ими как тараном. Черно было небо, но когда молнии бичевали мрак, видно было, как ниже, и ниже, и ниже катились тучи, будто готовясь задавить море. Каждый взрыв молнии разверзал на миг в небе и в хляби огненную пасть, и, казалось, пламенные змеи пробегали по пенистым гребням валов. Потом чернее прежнего зияла тьма, еще сильнее хлестал ураган в обнаженные мачты, крутя и вырывая верви, свистя между блоками.

— Пошел на брасы, на топенанты;[2] ходом, бегом! Надо обрасопить[3] реи вдоль судна. Задержал ли якорь? Есть[4]. Слава богу! Г. шкипер! разнесен ли канат плехта?[5] Может, надо лечь фертоинг[6]. Сдвоить стопора на даглисте... очистить бухты![7] Послать топор к правой кранбалке; если крикну: «Отдай!» — разом пертулин[8] пополам. Г. мичман! вы эполетами отвечаете, если рустов[9] отдадут

---

[1] Тащит с якорем. *(Примеч. автора.)*

[2] Снасти, коими поддерживаются и обращаются реи. *(Примеч. автора.)*

[3] Поворот. *(Примеч. автора.)*

[4] На морском языке *есть* значит: *да, исполнено. (Примеч. автора.)*

[5] П л е х т — один из больших якорей; д а г л и с т немного менее. *(Примеч. автора.)*

[6] На два якоря. *(Примеч. автора.)*

[7] В кольца сложенные снасти. *(Примеч. автора.)*

[8] Веревка, на которой висит якорь. *(Примеч. автора.)*

[9] Цепь, поддерживающая якорь в горизонтальном положении. *(Примеч. автора.)*

рано... не забудьте участи «Фалька»[1]. Драй, драй, бакштаги в струну вытягивай! Ну, молодцы, шевелись, поплясывай! Не то я вас завтра в ворсу истреплю! Гей вы, на марсах! все ли исправно у вас? Ага! стеньги хрустят? Эка невидаль! Треснут — так на зубочистки годятся! Боцмана! осмотреть кранцы:[2] чтоб ни одно ядро не тронулось, — теперь некогда играть в кегли. Крепко ли задраены порты?[3] Г. штурман, много ли фут по лоту? Сто двадцать... лихо!.. Гуляй, душа! Далеко еще килю до рачьей зимовки!

Так или почти так покрикивал Нил Павлович, прибавляя к этому, как водится, сотни побранок, которые Николай Иванович Греч сравнил с пеною шампанского. Он, казалось, попал в родную стихию: осматривал все своим глазом, успевал сам везде, и матросы, ободренные его хладнокровием, работали смело, охотно, но безмолвно, при тусклом свете фонарей. Порой, когда над головами их разражался перун, подвижные купы их озарялись ярко и живописно — будто сейчас из-под мрачной кисти Сальватора, и только мерный стук их бега, только пронзительный голос свистков мешался с завыванием бури и с тяжелым скрипом фрегата.

— Ай да ребята, спасибо! — сказал Нил Павлович, потирая от удовольствия руки. — За капитаном по чарке! Теперь дуй — не страшно, мы готовы встретить самый задорный шквал, откуда б он к нам ни пожаловал. Хорошо, что я не послушал вас, — продолжал он, обращаясь к подвахтенному лейтенанту, — и спустил заране брам-стеньги:[4] их бы срезало, как спаржу. Я, правда, с вечера предвидел бурю: солнце на закате было красно, как лицо английского пивовара, и синие редкие тучки, будто шпионы, выглядывали из-за горизонта; признаюсь, однако, не ждал я никак такого шторма: все ветры и все черти спущены, кажется, теперь со своры... того и гляди, что сорвет с якоря и выкинет на финский берег по клюкву.

— Шлюпка идет! — раздалось с баку.

— Скажи лучше, тонет, — вскричал с беспокойством Нил Павлович. — Кому это вздумалось искать верной погибели? Опрашивай!

---

[1] Бриг «Фальк» погиб оттого, что якорь долго висел вертикально и, качаясь, прошиб лапою скулу судна. *(Примеч. автора.)*

[2] Места, где лежат ядра. *(Примеч. автора.)*

[3] Ставни амбразур. *(Примеч. автора.)*

[4] Самые верхние части мачт. *(Примеч. автора.)*

— Кто гребет?

— Матрос.

— С какого корабля?.. Есть ли офицер?

Шум бури и волнения мешал расслушать ответы...

— Кажется, отвечают: «Надежда», — закричали на баке[1].

— Ослы! — загремел Нил Павлович, который в это время вскочил на фор-ванты[2], чтобы лучше рассмотреть шлюпку. — Разве не видите вы двух фонарей на водорезе?[3] Это наш капитан. Изготовить концы, послать фалрепных[4] с фонарями к правой!

Долгая молния рассекла ночь и оказала гонимую бурею шлюпку, с изломанной мачтой, с изорванным парусом. Огромный вал нес ее на хребте прямо к борту, грозя разбить в щепы о пушки, — и вдруг он опал с ревом, и мрак поглотил все.

— Кидай концы! — кричал Нил Павлович, вися над пучиною. — Промах! Другой! Сорвался... Еще, еще!

Новая молния растворила небо, и на миг видно стало, как отчаянные гребцы цеплялись крючьями и скользили вдоль по борту фрегата.

— Лови, лови! — раздавалось сверху, и многие веревки летели вдруг; но вихрь подхватывал их и они падали мимо.

— Боже мой! — вскричал Нил Павлович, сплеснув руками, — они погибли...

Но они не погибли; их не унесло в открытое море. Один багор удачно вцепился в руль-тали[5], и по штормтрапу с горем пополам взобрались наши пловцы, чуть не утопленники, на ют (корму). Пустую шлюпку мигом опрокинуло вверх дном, и через четверть часа на бакштове[6] остался лишь один обломок шлюпочного форштевня[7].

---

[1] При опросе: есть ли офицер? — с шлюпки, когда в ней командир судна, отвечают именем судна. Бак — нос судна. *(Примеч. автора.)*

[2] Лестницы веревочные у передней мачты. *(Примеч. автора.)*

[3] Отправляя гребное судно на берег, условливаются взаимно о числе и месте фонарей, чтобы ночью можно было опознать и найти друг друга. *(Примеч. автора.)*

[4] Веревки для всходящих на лестницу (трап) корабля. *(Примеч. автора.)*

[5] Снасти у руля, снаружи висящие. *(Примеч. автора.)*

[6] Вервь, на которую вяжут шлюпки за кормою. *(Примеч. автора.)*

[7] Носовая основа. *(Примеч. автора.)*

— Ты жив, ты спасен, друг мой, брат мой картечный! — говорил добрый Нил Павлович, задушая в объятиях капитана. — Как не грех тебе пускаться в такую бурю! Сорвись последний крюк — и ты бы отправился делать депутатский осмотр карасям.

Но вдруг он вспомнил долг подчиненности — отступил на два шага и преважно начал рапортовать о состоянии судна и команды. В этой сцене было много забавного и почтенного вместе. Глядя тогда на Нила Павловича, вы бы сказали: «Он прекрасный человек, он достойный солдат!» Вы бы поручились за него, что он не изменит ни одному благородному чувству, как не преступит ни одной причуды службы.

— Благодарю сердечно, благодарю всех господ за исправность, — говорил капитан окружившим его офицерам, — а вас, Нил Павлович, особенно. За вами я бы мог спать спокойно, если б вы могли повелевать так же удачно стихиями, как вахтой. Но я предвидел ужасную бурю и хотел разделить с вами опасность. Могу вам рассказать новости о погоде, потому что я был там, куда не достанут ночью ваши взоры. Шквал налетит сию минуту. Готов ли другой якорь?

— Готов.

— Тем лучше. На баке ало! — закричал капитан в рупор. — Из бухты вон! Отдай якорь!

Как ни силен был плеск волн и рев бури, но послышалось, когда бухнул в воду тяжкий якорь и с глухим громом покатился канат из клюза.

— Шквал с ветра, шквал идет! — раздалось на баке.

Случалось ли вам испытывать сильный шквал, на море?

Перед ним на минуту воцаряется какая-то грозная тишь, море кипит, волны мечутся, жмутся, толкутся, будто со страху; водяная метель с визгом летит над водою, — это раздробленные верхушки валов; и вот вдали, под мутным мраком, изорванным молниями, белой стеною катится вал... ближе, близко — ударил! Нет слов, нет звуков, чтоб выразить гуденье, и вой, и шорох, и свист урагана, встретившего препону; кажется, весь ад пирует и хохочет с какою-то сатанинскою злобою!.. Такой-то шквал налетел на фрегат «Надежду» и зарыл нос его в бурун, так что волна перекатилась по палубе до самой кормы.

Удар водяной массы и порыв ветра были так жестоки, что стопора[1] первого якоря лопнули, прежде чем канат второго вытянулся. Фрегат задрожал, как лист, и вдруг с невероятною быстротою кинулся по ветру. Второй канат, едва полузастопоренный, не мог сдержать корабля с разбегу, и оба вдруг пошли сучить в оба клюза.

Не каждому моряку во всю свою службу случалось видеть суматоху от высучки канатов. Это страшно и смешно вместе! Вообразите себе два каната чуть не в охват толщиною, которые с ревом и громом бегут с кубрика или из дека, где были уложены, вверх... Они вьются, как удавы, огромными кольцами, хлещут, как волны, взбрасывая на воздух все встречное — сундуки, койки, ядра, людей; и наконец, крутясь узлом через толстый брус битенга[2], зажигают его трением. Это пеньковый тифон, от которого все летит вдребезги или бежит с воплем. Напрасно кидают в клюз койки и вымбовки[3], чтобы сдавило и заело канат, — он бежит вон неудержимо.

К счастью, на фрегате оба каната закреплены были огоном за шпор[4] грот-мачты. Удары от внезапной задержки с разбегу заставили вздрогнуть весь остов, и едва-едва уцелели стеньги. Якоря забрали, фрегат стал в тот миг, когда капитан, не надеясь на канаты, послал по марсам, готовясь на обрыве вступить под паруса, чтобы жестокий норд-норд-ост не выкинул его на отмели и рифы негостеприимного берега Финляндии. Осмотрелись: люди были целы, изъян ничтожен. Волненье ходило горами, дождь лился потоком, и к довершению этой ужасно-прекрасной картины невдалеке показались смерчи, или тромбы. Они очень заметны были во мраке, вздымаясь, белые, из валов, как дух бурь, описанный Камоэнсом... Голова их касалась туч, ребра увивались беспрерывными молниями... Море с глухим гулом кипело и дымилось котлом около, — они вились, вытягивались и распадались с громом, осыпая валы фосфорическими огнями. Матросы с благоговейным ужасом глядели на это редкое для них явление.

---

[1] Снасти, коими канат прикрепляется к кольцам (рымам), вбитым в палубу. С т о п о р происходит от англ. глагола to stop — останавливать. *(Примеч. автора.)*

[2] Устой для крепления канатов. *(Примеч. автора.)*

[3] Палки, которыми вращают ворот. *(Примеч. автора.)*

[4] Низ. *(Примеч. автора.)*

— Не прикажете ли, капитан, попотчевать этих незваных гостей ядрами? — спросил Нил Павлович.

— Прикажите только изготовить два плутонга пушек на оба борта, и стрелять тогда разве, когда какой-нибудь любопытный тифон вздумает пощупать нас за утлегарь. Мне не хочется делать тревоги в Кронштадте. Пожалуй, там подумают, что мы перепугались, что наша «Надежда» гибнет. — Так отвечал капитан Правин.

Миновалась опасность, но не буря. Ветер дул ровнее, но все еще жестоко, и фрегат, бросаемый волнением, то носом, то кормой ударялся в воду, разбрызгивая буруны в пену, но содрогаясь, но стеная и скрипя от каждого взмаха. Половину команды распустили по койкам; другая смирно жалась у стенок. Нил Павлович с рупором под мышкою ходил по шканцам, заботливо взглядывая то на море, то на капитана, — а капитан, безмолвен, стоял, опершись о колесо штурвала. Свет лампы из нактоуза[1] падал прямо на его бледное, но выразительное лицо. Взоры его следили вереницы летящих туч и бразды молний, их рассекающих... Он не чувствовал ни ветра, ни дождя; он долго не слышал голоса друга, — душа его носилась далеко-далеко.

Наконец Нил Павлович дернул его за рукав.

— О чем замечтался ты, Илья? — спросил он с братским участием.

Правин будто проснулся.

— О чем? Как легко это спросить, зато как трудно отвечать на это! Вихорь мыслей крутился в голове, и целый водоворот мыкал мое сердце. Если б я и умел тебе высказать все это, я бы не досказал всего до седых волос. Впрочем, нет действия без причины, и если я не смогу рассказать, о чем мечтал, то не умолчу, отчего эти мечты меня обуяли. Загадка, для чего нас от всей эскадры оставили одних на кронштадтском рейде, объяснилась: наш фрегат назначен в Средиземное море; мы повезем важные бумаги союзным адмиралам и президенту Греции.

— И, верно, ядра да картечи для закуски туркам! Грот-марса-рея меня убей, мне смерть хочется сцепиться на абордаж с каким-нибудь капитан-пашинским кораблем!

— Но я, милый Нил, я краснею за себя!.. Душа моя рвется надвое: одна половина хочет пустить корни в сто-

---

[1] Шкаф, в котором хранится компас. *(Примеч. автора.)*

лицо, между тем как другая жаждет раздолья и битвы. Итак, думал я, чем скорее, тем лучше... сегодня же, сейчас хотел бы я вырваться из оков своих... я с радостию ждал минуты, когда нас сорвет с якорей, чтобы распустить крылья и улететь из этого чада, растлевающего душу.

— Недолга песня скомандовать на марса-фалы! Не вступать под паруса в такую темную ночь, в такую бурю!..

— В бурю? — повторил рассеянно капитан, — в такую бурю! Что значит эта буря против бунтующей в моей груди?..

Нил Павлович долго и пристально глядел в лицо друга, — наконец крепко сжал ему руку и произнес:

— Бедный Илья!

Бедный Правин! — повторю и я.

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ ПРАВИН К ЛЕЙТЕНАНТУ НИЛУ ПАВЛОВИЧУ КАКОРИНУ

Что бы ты сказал, что бы подумал ты, добрый друг мой, если б увидел мои вчерашние сборы на вечер к княгине**? Я, я, которому, так же как и тебе, до сих пор все платье шилось парусником, я затянулся в мундир, шитый самым лучшим, то есть самым дорогим портным столицы, да и тот не угодил на меня. То, казалось мне, не выровнены пуговицы, то проглядывают кой-где преступные складки... там это, здесь не то... словом, я бы на вечер приехал на завтрашнее утро, если б бой часов не заставил меня поторопиться. Волосы мои натированы[1] были помадою, белье пробрызгано духами; галстух не галстух, перчатки не перчатки, — верчусь перед зеркалом, молодец хоть куда. Повторив несколько раз все эволюции салюта и ордер марша по гостиной, и потом ордер баталии: «спуститься по ветру, чтобы прорезать линию неприятельских стульев, потом лечь в дрейф и начать перестрелку» — плащ на плечо, наемная карета у крыльца, качу.

Крепко забилось мое ретивое, когда Каменноостровский мост задрожал под колесами моей кареты. И вот дача князя! В окнах сияет день, сквозь цветы мелькают тени, народу тьма, — храбрость моя роняет брамсели. Однако ж, снайтовя[2] сердце, перехожу аванзалу так осто-

[1] То есть высмолены, от английского слова tare — смола. Тируют только стоячий такелаж. *(Примеч. автора.)*

[2] Скрепя. *(Примеч. автора.)*

рожно, будто сквозь каменистый вход в порт Свеаборга. Имя мое из уст официанта раздается словно боевая пушка, — во мне занялся дух, и на глаза упал туман, хоть подымай сигнал: *неясно вижу!..* Но экватор был уже перейден — ворочаться поздно; вхожу, кланяюсь без прицела, краснею будто каленое ядро, верчусь направо и налево не лучше рыскливого корабля — одним словом, чувствую сам, что я так же ловок, как выброшенный на берег кит, и мешаюсь вдвое пуще. Мужские лорнеты, казалось, сожигали меня в пепел; дамские взгляды пронизывали наперекрест, будто Конгревовы ракеты; даже ковры егозили под ногами, и проклятые зеркала, это оптическое эхо, передразнивали в двадцати видах мое замешательство. О! если б знала княгиня, как дорого стоило моему самолюбию быть на такой выставке, она бы пожалела, она бы наградила меня! Вещь, которая для всякого светского повесы была бы или незначаща или приятна, во мне обращалась в истинное самоотвержение... Приехав в надежде понравиться княгине, я уже трепетал за то, что не понравлюсь... Стень ложного стыда удушала меня. К счастью, эта сцена была непродолжительна. Толстяк хозяин поспешил ко мне на выручку, и сама хозяйка, привстав с дивана, так ободрительно меня поприветствовала, что душа моя распрямилась вдруг... Я гордо поднял голову, я окинул всех светлым оком: что значила для меня невзгода всех пустоцветов и пустозвонов гостиной, когда я был уже обласкан тою, чья единственно ласка была дорога мне! Гости поняли эту мысль, и ропот затих, и все улыбнулись мне, будто по приказу. Общественное мнение всегда склоняется к тому, кто не дорожит им нисколько.

Меня усадили в полукруге между каким-то кавалером посольства, который глядел на весь мир с вышины своей накрахмаленной косынки, и незнакомым офицером, от которого еще благоухало браиловскою гюляб-су[1]. Первый надувал остроумием мыльные пузыри, другой заклинался гуриями не хуже любого ренегата, прочие гости занимались умножением нуля, то есть переливали из пустого

---

[1] Розовая вода; она в большом употреблении в Азии. Это арабские слова: гюль — роза и аб — вода, су (тоже вода) прибавляют азиатцы из невежества. У нас ее звали гуляф.

Я гуляфною водою белы руки мою!

(Песня времен Елизаветы)
(Примеч. автора.)

в порожнее. Самый важный спор шел о лучшем средстве чистить зубы после обеда. После неизбежных переспросов я притаился в креслах и дал полный разгул глазам и мечтам своим. Ты, не добиваясь патента на пророчество, угадаешь, к какому полюсу влекся компас мой, — это была она — истинный полюс, охваченный полярным кругом светской холодной суеты. И что такое были все эти собеседники, как не льдины: блестящие, но безжизненные, носимые ветром моды вместо своей воли и порой зеленеющие чахлыми порослями, какие видел Парри в Баффиновом заливе; и это-то называют они цветами общества!

Но возвратимся к ней, еще к ней, опять к ней! Я пил долгими глотками сладкий яд ее взоров, —мне было так хорошо! Она шутила — я отвечал тем же... Откуда что бралося! Недаром говорят, что любовь и сводит с ума и дает ум. Когда я говорил с нею, застенчивость покидала меня; зато едва другая дама обращала ко мне слово, я краснел, я бледнел, я вертелся на стуле, будто он набит был иголками, и бедная шляпа моя чуть не пищала в руках. Ты знаешь, что я могу лепетать по-французски не хуже дымчатого попугая; но знаешь и то, что, из упрямства ли или от народной гордости, не люблю менять родного языка на чужеземный. Вот, сударь, волей и неволей господа, удостоивавшие меня своим разговором, слыша твердо произнесенный отзыв: «Я не говорю по-французски», принуждены были изъясняться со мною по-русски, и признаюсь, я не раз жалел, что не взял с собою переводчика. Охотнее всех и, к удивлению моему, чище всех говорила по-русски княгиня, — это делает честь Москве, это приводило меня в восхищение. Рад ты или не рад, а меня берет искушенье послать к тебе кусочек нашего разговора, хоть я очень знаю, что разговор, как вафли, хорош только прямо с огня и в летучей пене шампанского.

Мы спорили. Княгиня верить не хотела постоянству чувствований моряков. Она называла нас кочевым народом, людьми, которые ищут двух весн в один год и гоняются за открытиями, чтобы оставить на них чугунную дощечку с надписью: *тогда-то здесь был такой-то.* Но разве *быть* значит *жить?* Или *видеть* значит *чувствовать?* Частые перемены мест не дают окрепнуть привязанностям до страсти, воспоминанию — до глубокого сожаления.

— Даже вы сами, — продолжала она, — вы — скиталец с ранних лет по далеким морям — признайтесь: нады-

шавшись воздухом ароматных лесов Бразилии; набродившись по чудным коралловым островам Тихого океана или по исполинским дебрям Австралии; налюбовавшись плавучими ледяными горами Южного полюса, или волканами, раскаляющими небо своим дыханием, скажите, какова показалась вам после того болотная, плоская, туманная родина?

— Прелестнее, чем прежде, княгиня! Вы меня считаете в ощущениях ветренее всякой дамы, которая, сбросив с себя украшение, назавтра забывает или, нашедши, презирает его. Чувства нельзя забыть, как моду, и прекрасный климат не замена отечеству. Эти туманы были моими пеленами, эти дожди вспоили меня, этот репейник был игрушкою моего детства. Я вырос, я дышал воздухом, в котором плавали частицы моих предков, я поглощал их в растениях. Русская земля во мне обратилась в тело и в кости. О! поверьте мне, отечество не местная привычка, не пустое слово, не отвлеченная мысль; оно живая часть нас самих; мы нераздельная мыслящая часть его, мы принадлежим ему нравственно и вещественно. И как хотите вы, чтобы в разлуке с ним мы не грустили, не тосковали? Нет, княгиня, нет! в русском сердце слишком много железа, чтобы не любить севера!

— И в вашем тоже, капитан? — спросила княгиня.

— Я русский, княгиня: я *суровый славянин,* как говорит Пушкин.

— Тем на этот раз хуже: я ненавижу чугунные сердца, — на них невозможно сделать никакого впечатления!

— Почему же нет, княгиня! Разгорячите этот металл, и он будет очень мягок, и потом рука времени не сотрет того, что вы на нем изобразите.

— Но для изображения чего-нибудь надо ковать молотом, а это вовсе не дамское дело.

— Терпение, княгиня, дает уменье.

— Но всякий ли, капитан, может командовать терпеньем, как вы «Надеждою»? Да, кстати о «Надежде», — все ли в добром она здоровье?

— Напротив, княгиня, бури ее одолели с тех пор, как вы ее оставили.

— Надеюсь по крайней мере, — продолжала княгиня, все еще играя словами о имени моего фрегата, — надеюсь, она вас не покинула!

— Все равно почти: я очень далек от нее!

— Но, как верный рыцарь, не покидаете зато ее символа: на воротнике вашем таинственно блестят два якоря.

— Заметьте, княгиня, — примолвил я со вздохом, — они с оборванными канатами.

В это время офицер, сосед мой, наклонившись сзади меня к дипломату, сказал ему вполголоса:

— Il se pique d'esprit, ce lion marin[1].

— Oui-da, — отвечал тот. — Il *s'en pique!*[2]

— Et cette fois il n'est pas si bête qu'il en a l'air[3], — примолвил первый, презрительно покачиваясь на стуле.

Я вспыхнул. Такое неслыханное забвение приличий обратило вверх дном во мне мозг и сердце; я бросил пожигающий взор на наглеца, я наклонился к нему и так же вполголоса произнес:

— Si bon vous semble, mr., nous ferons notre assaut d'esprit demain à 10 heures passées. Libre à vous de choisir telle langue qu'il vous plaira — celles de fer et de plomb y comprises. Vous me saurez gré, j'espère, de m'entendre vous dire en cinq langues européennes, que vous êtes *un lâche?*[4]

Не можешь представить себе, как смутился мой обидчик: он покраснел краснее своих отворотов, он окинул глазами собрание, как будто искал в нем подпоры или обороны, — но все отворотились прочь, будто ничего не слыхали. Наглец и тут хотел отделаться хвастовством.

— Очень охотно! — отвечал он, играя цепочкою часов. — Только я предупреждаю вас: я бью на лету ласточку.

Я возразил ему, что не могу хвастаться таким же удальством, но, вероятно, не промахнусь по сидячей вороне.

Противнику моему пришлось плохо, но мне было едва ль не хуже его. Гнев пробегал меня дрожью; я кусал

---

[1] Он чванится своим умом, этот морской лев *(фр.)*.

[2] Да, он им чванится! *(фр.)*

[3] Но на этот раз он не такой болван, каким кажется *(фр.)*.

[4] Если вам удобно, сударь, мы проведем наше состязание в уме и красноречии завтра после десяти часов. Представляю вам избрать тот язык, который вам нравится, — включая сюда язык железа и свинца. Вы, надеюсь, позволите мне доставить себе удовольствие сказать вам на пяти европейских языках, что вы *наглец? (фр.)*

губы чуть не до крови, я бледнел как железо, раскаленное добела. Невнятные слова вырывались из моих уст, подобно клочьям паруса, изорванного бурей... Присутствие людей, в глазах которых я был унижен и еще не отомщен, меня душило... наконец я осмелился поднять глаза на княгиню... Говорю: осмелился, потому что я боялся встретить в них сожаление, горчайшее самой злой насмешки... И я встретил в них участие, сострастие даже. Взоры ее пролились на мою душу как масло, утишающее валы... в них, как в зеркале, отражались и гнев за мою обиду и страх за мою жизнь... они так лестно, так отрадно укоряли и умоляли меня!.. Я стих. Общество занялось прежним, будто не замечая нашего à parte;[1] разговор катился из рук в руки. Я чувствовал себя лишним, встал, раскланялся и вышел, но уже без замешательства, без оглядок: обиженная гордость придала мне самонадеяния.

— Мы надеемся видеть вас почаще, — молвил хозяин, прощаясь со мною.

Ступая за дверь, я обернулся... О друг мой, друг мой! я худо знаю женскую сигнальную книгу, но за взор, брошенный на меня княгинею, я бы готов был вынести тысячу обид и тысячу смертей!.. *Завтра* со своими пулями и страхами для меня исчезло... Всю ночь мне виделась только княгиня. Меня волновал только прощальный взгляд ее.

Петергоф, 17 июля 1829.

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

(День после)

В Кронштадт.

Брось в огонь историю кораблекрушений, любезный Нил: мое сухопутное крушение куриознее всех их вместе, говорю я тебе. Воображаю, с каким изумлением протирал ты глаза, читая последнее письмо мое. Илья влюблен, Илья щеголь, Илья в гостиной, Илья накануне поединка!! По-твоему, все это для моряка столько же несбыточно, как прогулка Игорева флота на колесах, — и между тем все

[1] Тайного разговора *(фр.)*.

это гораздо более историческое, чем романы Вальтер Скотта. Счастливец ты, Нилушка, что не знаешь, не ведаешь, куда забросить может сердце вал страсти. Я стыжусь других, браню себя — и все-таки влекусь от одной глупости к другой. Беднягу ум укачало на этом волнении, и он лежит да молчит и, во все глаза глядя, ни зги не видит.

Впрочем, что ни толкуй, а от прошлого не отлавируешься. Дело было сделано: поединку решено *быть;* недоставало только тебя в секунданты... Благодаря, однако ж, принятому поверью в Петербурге через край охотников в свидетели *суда божия,* как говорили в старину — *удовлетворения дворянской чести,* как говорят ныне — с одинаковою основательностию. В десять часов утра мы съехались, раскланялись друг другу с возможною любезностию, и между тем как секунданты отошли в сторону торговаться о шагах и осечках, противник мой, видно по пословице: «утро вечера мудренее», подошел ко мне ласковый, тише воды, ниже травы.

— Мне кажется, капитан, — сказал он мне, — нам бы не из-за чего ссориться.

— Без всякого сомненья, нам не из-за чего ссориться, но драться есть повод, и весьма достаточный: я обижен вами как человек, как русский и как офицер; пули решат наше дело, — отвечал я.

— Но как решат, капитан? Убитый будет всегда виноват, а убитым можете быть и вы.

— Что ж делать, м. г.? Я ль виноват, что в вашем свете право заключено в удаче? Убьют — так убьют! Меня повезут тихомолком на кладбище, а вы поедете в театр рассказывать в междудействии о своем удальстве.

— Вы говорите об этом по преданию, капитан. Нынешний государь не терпит дуэлей; и если кто-нибудь из нас положит другого, ему отведут келью немного разве поболее той, в которую опустят покойника. Подумайте об этом, капитан!

— М. г.! обидчик вы, а не я; ваше дело было подумать о следствиях прежде, чем так дерзко шутить насчет другого!

— Но я вовсе не полагал, что вы знаете по-французски: вы сами сказали, что не говорите на этом языке.

— Значит, вы, м. г., плохо знаете русский язык, когда слово *не говорю* принимается за *не понимаю!*

— О! что касается до русского языка — я предаю вам его целиком! Мне вовсе неохота ломать копье за мадам грамматику; а так как я вижу, что вы благоразумный и достойный человек, капитан, то за удовольствие сочту кончить все по-приятельски.

— Благодарю за приязнь, м. г.; я не имею привычки дружиться под влиянием пуль или пробок! Мы будем стреляться!

— Если за этим только стоит дело, — мы будем стреляться; но как философы, как люди повыше предрассудков — так, чтобы и волки были сыты и бараны целы. Послушайтесь меня, — примолвил он тихо, отводя меня в сторону, — я знаю, что я не совсем прав; но разве и вы не виноваты?.. Вы можете принять, что я говорил о вас заочно, а заочно и про царей говорят!.. Я с своей стороны будто не слыхал чего-то резкого, вами в лицо мне сказанного. Сделаемтесь же как многие сделываются. Выстрелим друг в друга, но так, в сторону, мимо, понимаете? Об этом никто не будет знать: можно надуть даже самих секундантов. После выстрела я попрошу у вас извинения — и дело в шляпе, и шляпы на головах. После все станут кричать: вот истинно храбрые, благородные люди; один умел сознаться в своей ошибке, а другой остановиться в пору. Конечно, я мог бы попросить извинения и раньше; но извиняться перед дулом пистолета — это как-то нейдет, не водится; пожалуй, иной злословник скажет, будто я струсил, — а я дорого ценю свою честь!.. Итак, по рукам, любезный капитан!

Не можешь себе вообразить, какое глубокое презрение почувствовал я, видя столь бесстыдное хвастовство, прикрывающее столь расчетливое унижение; и в ком же? В человеке, который по привычке, если не по духу, должен быть храбрым или по крайней мере для мундира, если не для лица, храбрым казаться! Не могу верить, говорил маркиз Граммон, чтобы бог любил глупых. Не хочу верить, говорю я, чтобы женщина могла любить, а мужчина уважать труса. Я так взглянул на него, что он потупил глаза и покраснел до ушей. Не сказав ни слова, указал я ему на секундантов: они приближались с готовыми пистолетами; мы сбросили плащи и стали на тридцать шагов друг от друга, каждому оставалось пройти по двенадцати до среднего барьера. Марш.

У меня секундантом был один гвардеец, премилый малый и прелихой рубака... В дуэлях классик и педант, он проводил в Елисейские поля и в клинику не одного, как друг и недруг. Он дал мне добрые советы, и я воспользовался ими как нельзя лучше. Я пошел быстрыми, широкими шагами навстречу, не подняв даже пистолета; я стал на место, а противник мой был еще в полудороге. Все выгоды перешли тогда на мою сторону: я преспокойно целил в него, а он должен был стрелять на ходу. Он понял это и смутился: на лице его написано было, что дуло моего пистолета показалось ему шире кремлевской пушки, что оно готово проглотить его целиком. Со всем тем стрелок по ласточкам хотел предупредить меня, заторопился, спустил курок — пуля свистнула — и мимо. Надо было видеть тогда лицо моего героя. Оно вытянулось до пятой пуговицы.

— Прошу на барьер! — сказал я ему; он не слышал, он стоял как алебастровый истукан. Наконец секунданты подвели его к барьеру; и так силен предрассудок над духом, не только умом слабых людей, что он выискал в стыде замену храбрости и принудил себя улыбнуться в тот миг, когда бы со слезами готов был спрятаться в кротовую норку, придавленную его пятою. Секундант с дипломатическою точностию поставил его боком, с пистолетом, поднятым отвесно против глаза, для того, говорил он, чтобы по возможности закрыть рукою бок, а оружием голову, хоть прятаться от пули под ложу пистолета, по мне, одно, что от дождя под бороной. Это плохое утешение для человека, по котором целят на пяти шагах, и как ни вытягивался противник мой, чтоб наименее представить площади пуле, но если б он превратился даже в астрономический меридиан, все еще оставалось довольно места, чтобы отправить его верхом на пуле в безызвестную экспедицию. Я два раза подымал пистолет и два раза опускал его поправить кремень, наслаждаясь между тем страхом хвастуна; наконец мне стало жаль его, или, прямее сказать, он стал мне так презрителен, что я подумал: «Для таких ли душ изобретал порох Бартольд Шварц, а Лепаж тратил свое искусство?» — отворотился и выпалил на воздух. Противник мой чуть не запрыгал от радости и схватил бы меня за руку, если б я не спрятал ее в карман.

— Господа! — сказал он, обращаясь к секундантам, — теперь, выдержав выстрел (ему следовало сказать: «выслушав выстрел»), я долгом считаю просить у моего противника извинения... то есть прощения, — примолвил он, заметив, что мой секундант принялся снова заряжать пистолеты. — Я был, точно, виноват перед ним, — довольны ли вы этим? Что ж до меня касается, то отныне я стану говорить всем и каждому, что г. Правин самый храбрый и благородный офицер.

— Жалею, что не могу отплатить вам тем же, — сказал я своему противнику. — Господа! благодарю вас... Прощайте!

— Лихо! — сказал мой секундант, влезая за мной в карету. Она помчалась в город.

С.-Петербург

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

(Два дня спустя)

В Кронштадт.

Перевяжи узлом мой брейд-вымпел, любезный друг, опусти его в полстеньги, вели петь за упокой моего рассудка, — приказал он долго жить! Его стоит выкинуть теперь за борт, как пустую бутылку. Да и какая бы голова устояла против электрической батареи княгини Веры? До сих пор мне казалось, что привязанность моя к ней — одна шалость; теперь я чувствую, что в ней судьба моей жизни, в ней сама жизнь моя. Сначала в воображении моем любовные узы путались со снастями; еще фрегат наш заслонял порой милый образ своими лиселями[1] и бурное море оспоривало владычество у любви; теперь же все соединилось, слилось, исчезло в княгине; не могу ничем заняться, ничего вообразить, кроме ее: все мои мечты, все страсти мои скипелись в три магические буквы: *она*. Это весь мой мир, вся моя история. Но что я рассказываю, но кому говорю я! Может ли бесстрастный человек постичь меня, когда я сам себя не понимаю! Можешь ли ты, со своим медным секстаном, со своими вычислениями бесконечно малых, охватить это новое, лишь сердцу до-

[1] Паруса, сбоку других поднимаемые. *(Примеч. автора.)*

ступное небо, определить быстроту и путь этой реющей по нем кометы! По крайней мере ты можешь пожалеть меня, своего друга, — меня, который не завидует ничему в обеих жизнях: ни венку гения на земле, ни крыльям серафимов в небе, ничему, кроме взаимности Веры. О! если б ты видел теперь мое сердце и если б ты был способен к поэзии, ты бы сравнил его с Мельтоновым Эмпиреем, оглашенным битвою ангелов с демонами!.. Оно — да нет у меня слов выразить, что такое переполняет, волнует, взрывает его!! Может ли сказать какой-нибудь путешественник-денди, скрипя табакеркою, выточенною из лавы: «Я знаю, что такое лава!» Вот мое письмо — вот мое сердце. Не станем же переводить высокое на смешное, не станем точить игрушек из молнии. Но могу ли не говорить о ней, когда о ней одной могу я думать! Очень знаю, что мое болтанье для тебя несноснее штиля, скучнее расходной тетради офицерского стола, где все страницы испещрены рифмами: водки — селедки, шпеку сви*ного* — уксусу рен*скового* и тому подобными, — но если ты не хочешь, чтобы друг твой задохнулся от сердечного угара, то читай волей и неволею, что я неволею пишу.

В самый день моего глупого поединка я поскакал к княгине, несмотря ни на какие приличия. Мне хотелось показать ей, что я жив, что я не трус, ибо мысль показаться трусом в глазах всякой женщины была бы для меня нестерпима, а в ее глазах вовсе убийственна. Колокольчик прозвенел.

— Княгиня в саду, княгиня изволит прогуливаться.

— С кем?

— Одна-с!

Бросаюсь туда опрометью; сердце бьет рынду;[1] замечаю ее на траверзе[2] и прямо прыгаю к ней наперерез, через цветник; встречаюсь, — и что ж? Останавливаюсь перед ней без слов, без дыхания... В глазах у меня кружилась огненная метель, а язык будто растаял. Бездельная опасность протекла между нами, как долгие лета разлуки, и уже сколькими чувствами надо было поделиться, сколько променять рассказов! Я был так рад и так смущен, что забыл скинуть шляпу. Хорош был я, нечего сказать;

---

[1] Сплошной звон колокола, обыкновенно в полдень. *(Примеч. автора.)*

[2] То есть сбоку. *(Примеч. автора.)*

зато и она была не лучше. Румянец пропадал и выступал на белизне ее щек попеременно; она протянула навстречу ко мне руки, она готова была вскрикнуть от изумления, заплакать от радости — да, да, от радости! Это не была мечта самолюбия. Сладостна, неизъяснимо сладостна была для меня эта немая сцена; отрадно это лицо, горящее ко мне участием, — и все исчезло вмиг, подобно туману, который принимаешь иногда за берег: дунет ветер и спахнет обетованную землю!

Княгиня оправилась; никакого выражения, кроме обыкновенного участия, не осталось на ее лице. Боже мой, что за хамелеон светская женщина!

— Как я рада вас видеть здоровым и невредимым, капитан, — сказала она мне. — Скажите скорей, как вы кончили вашу ссору с NN? Где он? что с ним сталось?

— Я оставил его на месте, — был ответ мой: я был уколот ее участием к моему противнику.

— Бог мой! вы убили его! — вскричала княгиня.

— Успокойтесь, княгиня, он будет долголетен на земле. Я оставил его здоровее, чем прежде поединка.

— Но зато сами стали менее прежнего добры: вы испугали меня. Сколько раскаяния дали бы вы самому себе, сколько слез родным, если б его убили. Поверите ли, что я вчуже не спала целую ночь: мне все представлялись кровавые сцены поединка и страшные следствия его для вас.

— Ценою вашего сожаления, княгиня, готов бы я купить самое злейшее несчастие и, что еще более, не роптать на него. Но не только участие — ваше мнение ценю я так высоко, что поспешил сюда нарочно: рассказать, как было у нас дело. Я уже довольно знаю свет и уверился, что он злобно осуждает дерзающих вступить в заветный круг его, — я хочу предупредить толки злоречия. Пусть другие говорят обо мне что угодно, лишь бы вы, княгиня, лишь бы вы одни худо обо мне не думали.

Я рассказал ей дуэль нашу. Я кончил... Она молчала... В глазах ее, обращенных к небу, блистали две слезы, лицо горело умилением; какое-то нектарное пламя протекло, облило мое сердце... Я сам готов был плакать, бог знает отчего; я жаждал упасть к ногам ее, распасться в прах у милых ног; я не дерзал и думать целовать их; мне довольно было бы прильнуть устами к следу ее стопы, к краю ее платья, — и я не смел того! Я был уже слишком счастлив ее присутствием, слишком несчастлив моими же-

лапиями, я был просто безумен, друг мой! Но за этот припадок сумасшествия я бы отдал всю мудрость веков и все собственное благоразумие! К нам приближались. Княгиня встала, закрыла на миг рукою глаза и потом, краснея, приподняла их.

— Вы не будете вперед играть так своею жизнию, — сказала она, — я требую этого, обещайте мне это.

— Вы заставите меня любить жизнь, — отвечал я, — вы... — я не сумел сказать ничего лучше; я не смел сказать ничего более. «То-то простак! — скажет какой-нибудь ловлас. — Потерять такую драгоценную для признания минуту».

Пусть так... минута эта была потеряна для любви, но не для сердца... Глаза наши встретились, — о, она меня любит, она любит меня!!

С.- Петербург

II

Frailty — the nome is, women!
Shakespeare [1]

В кругу молодых повес и полустарых петербургских степенников всех более понравился Правину бывший секундант его, ротмистр Границын. Как представитель нашего военного дворянства, он стоил изучения, потому что крайности рисовались на его нраве резкими чертами. Правин нашел в нем и более и менее нежели ожидал. Богат, и в долгах по маковку, и за редкость с рублем в кармане. Умен, и вечно делал одни глупости. Вольнодумец, и трется в передних без всякой цели. Надо всем смеется, а не смеет ничем пренебречь; всех презирает, и все им помыкают. Храбрейший офицер, и не имеет довольно смелости, чтобы иному мерзавцу сказать *нет!* Благороден в душе, и, краснея, бывал употреблен на недостойные поручения, участвовал в постыдных шалостях; одним словом, человек *без воли*. Существо, которое в светской книге животных значится под именем: *добрый малый* и *лихой малый* — название самого эластического достоинства, как резиновые корсеты: оно для неразборчивого нашего племени заключает в себе всякую всячину, начиная с людей

[1] Ничтожество — имя твое, женщина! *Шекспир (англ.).*

истинно благородных и отличных до игрока, поддергивающего карты, и виртуоза, подслушивающего у дверей, — терпимость истинно христианская, достойная подражания. Пускай себе возятся французы да англичане со своим общим мнением: мы и без этого рогаля живем припеваючи.

Со всем тем любопытно, если не приятно, бывало рассидеть с ним вечер или присоседиться к нему за обедом. Где не был, чего не видал он? Хотя по привычке он большую часть жизни промаячил с пустейшими людьми, но он мог ценить живой ум в других и *случаем* читывал дельные книги. К привязчивому, чтоб не сказать наблюдательному, духу от природы прижил он невольную опытность. Он недаром проел с приятелями свое именье, недаром отдал женщинам свою молодость. От обоих осталась у него пустота в кармане и душе, а на уме — едкий окисел свинцовой истины. Им-то посыпал он щедрою рукою все свои анекдоты о походных проказах, все россказни о столичных сплетнях. К чести Границына прибавить надобно, что он был самый откровенный болтун и самый бескорыстный злоязычник. За душой у него не схоронится, бывало, ни похвала врагу, ни насмешка приятелю, и часом он беспощадно смеялся над самим собою. Иной бы сказал: «это апостол правды», другой бы назвал его кающимся грешником; третий произвел бы в Ювеналы — бичеватели пороков! Он не был ни то, ни другое, ни третье. Не хотел он сам исправляться, не думал исправлять ближних, зато не думал и вредить им. Он был твердо убежден, что там, где ценится лишь наружность добродетелей, не укор скрытые пороки; а потому злословие есть лишь гальваническое средство пробуждать смех в притупленных сердцах. Этим исполнял он невольно наклонность нашего времени — разрушать все нелепое и все священное старины: предрассудки и рассуждения, поверья и веру. Век наш — истинный Диоген: надо всем издевается. Он катил бочку свою по распутиям всех стран, давя ею цветы и грибы без различия. «Не заслоняй солнца, не отнимай того, чего дать не можешь», — гордо говорит он македонскому Дон-Кихоту и потом освистывает Платоново бессмертие; и потом с циническим бесстыдством хвастает своею наготою. Люди ныне не потому презирают собратий, что себя высоко ценят, напротив, потому, что и к самим себе потеряли уважение. Мы достигли до точки замерзания в нравственности: не верим ни одной доблести, не дивимся никакому пороку.

Но, слава богу, не все таковы. Есть еще избранные небом или сохраненные случаем смертные, которые уберегли или согрели на сердце своем девственные понятия о человечестве и свете. Издали жизнь им кажется заветным садом, и они с неизъяснимым любопытством читают на воротах Дантову надпись: «Per me si va nella città dolente!»[1] и думают: «как жаль, что я не знаю по-итальянски: я бы разгадал эту заманчивую загадку».

Таков был Правин. Из корпуса он перешел на палубу, и как прежде каменная стена граничила его ребяческий мир, теперь его миром стал безграничный океан. Он хорошо узнал нрав моря, но где мог узнать характер людей? Знакомо ему стало лицо неба: по малейшему его румянцу, по малейшей морщинке облачной предугадывал, предсказывал он все прихоти погоды, — но лицо женщины... о, это на каждой минуте приводило его в замешательство, ставило в тупик. Какое-то темное, но верное чутье говорило ему: «не верь и половине того, что говорят и выказывают люди», но вот вопрос: которой половине не верить? Явившись в свет с твердым сомнением, с решительным намерением быть настороже от всех и от всего, таял он от первого, казалось, душой затепленного взора, готов был отдать последнюю пуговицу, не только денежку за квакерское пожатие руки. Зная страсти и обязанности только по слуху или из редких романов, им читанных, он загорелся любовью как от молнии, предался ей как дикарь, не связанный никакими отношениями. Океан взлелеял и сохранил его девственное сердце, как многоценную перлу, — и его-то, за милый взгляд, бросил он, подобно Клеопатре, в уксус страсти. Оно должно было распуститься в нем все, все без остатка. Следя свою звезду-княгиню повсюду, он не мог уже снести уединения, которое прежде было ему так сладостно; уединение стало ему одиночеством, и он кинулся в рассеяние. Быть с нею или не быть с собой — вот мысль, которая овладела им, и он начал посещать гульбища, театры, гостиницы.

В один из таких дней он сошелся, в одном из лучших трактиров столицы, с ротмистром Границыным. «А, дружище!» Сели за обед рядом; слово за слово, бокал за бокалом — языки разгулялись, и сердца зашипели, словно шампанское: «За Балкан, за Саганлуг! за Варну, за Ахал-

---

[1] Через меня лежит путь в город страданий *(ит.)*.

цых! за счастье России, за славу царя!» Было тогда чем пить, было и за что пить.

— Ну, теперь череда за женщин, за прекрасных петербургских дам! — сказал Границын Правину. — Не знаю, право, почему, только искони, где слава, тут приплетаются и дамы; уже не за тем ли разве, что сама слава — женщина? Итак, pro teterrima causa omnis belli[1]. Я страх люблю этот английский тост: I like the women too, forgive my folly[2], как говорит Байрон. Amour aux dames, honneur aux braves[3]. Черт меня возьми! Шампанское — славный самоучитель: оно свой язык вяжет, а чужим учит!.. Я, право, скоро стану язычником, как Иосиф Сенковский: Алла верды![4] Пей же скорее, amico diletto:[5] шампанское выдыхается так же скоро, как и добродетель женщины!

— Ты опять принялся за свою старую песню, неисцелимый грешник, — отвечал Правин, осушая бокал до капли. — Видно, брат, укололся шипами, а бранишь розы.

— Шипами! шипами строгости небось? Ха-ха-ха! да ты презабавный чудак, mon cher:[6] ты своим простодушием не испортил бы ни одной классической комедии, в которой все ваши братья-моряки одного набора и одного разбора. Клянутся громом да молнией и пьют пунш вприкуску со здравым смыслом. Шипы у тафтяных роз! Ха-ха-ха! да этаких диковинок не показывал в Петербурге сам Пинетти. Впрочем, не думай, пожалуйста, будто я хочу хвастать тебе победами, как пехотный подпоручик, и божиться по киевским святцам, что нет такой дамы, которая б устояла против огня сильных моих очков и гармонии серебряных шпор!! Удача, с одной стороны, прихоть, с другой — случай, и если мне подчас доставалось веером по пальцам, из этого следует только, что я *не был* счастлив, не то, что они *были* неприступны.

— Границын! помни, что унижение паче гордости!

— Испытай сам, увидишь. Стоит тебе раз попасть в *оглашенные* с какою-нибудь модницею, так расхватят по

---

[1] За скрытую причину каждой войны *(лат.)*.

[2] Охотник я и до женщин, — простите мне эту глупость *(англ.)*.

[3] Любовь дамам, честь храбрым *(фр.)*.

[4] Бог дал! — заздравное восклицание мусульман. *(Примеч. автора.)*

[5] Милый друг *(ит.)*.

[6] Дорогой мой *(фр.)*.

пуговкам. В этом, правда, чаще всего удается дуракам; но ведь у тебя, слава богу, на лбу не написано: *здесь живет разум!* Притом же моряк в обществе редкость и новинка. Иная красавица возьмет тебя из любопытства, чтоб увериться, не кусаешься ли ты. Другая, чтоб похвастать любезным земноводным, которого надобно держать на розовой ленточке, чтобы не юркнул в воду. Не теряй поры, Правин: я предсказываю тебе легкие победы!..

— Та беда, что я до легких побед не охотник.

— Бери вещи, как они плывут, а не как издали кажутся... Нам не перестроить на свой лад света; пристроимся же мы к его ладу. Да и правду сказать, для меня смешна эта рыцарская любовь, которая чахла, глазея на окошко своей Дульцинеи. Бог создал мир и человека в шесть дней, а мы станем любить вечно! Это что за известие! Любовь — весна сердца, но у весны много цветов... рви же розы и ландыши. Хорошо бордо в пол-обеда, но теперь лучше эперне... Посмотри на эту пену; это светская любовь, mon cher,— она резва и сладостна, но она мгновенна,— пей ее на полету!

— Я не понимаю тебя, Границын. Ты потчеваешь меня светскими радостями, как будто бы они у тебя в погребу, как будто б мне стоит только ототкнуть пробку, чтоб они полились рекою.

— Славно, милый; право, славно! В тебе будет прок. Сперва у тебя не было и охоты, а теперь уж недостает только возможности. Вот тебе правило: смелость берет города... Я уверен, что тебе недолго носиться с пустым сердцем, как с сумою пó миру... Столичные дамы такие добрые, такие чувствительные, а ты так свеж и занимателен, что грех заставить вздыхать понапрасну.

— И ты говоришь о подобных связях так легко и равнодушно, будто о трюфелях...

— Да неужели ты думаешь, что они для модного света важнее, чем трюфели? Разуверься, mon ami! [1] Наше воспитание обстригло у страстей ногти, и потому они мало опасны. Девушки у нас расчетливы на женихов; дамы осторожны с любовниками: ни те, ни другие не захотят себя компрометировать; но разогни у последних молитвенник — и ты увидишь науку любить в переплете под крестами. Да я их за то и не виню. Откровенно говоря, смех

---

[1] Мой друг! *(фр.)*

и горе, как у нас совершаются свадьбы! Мы торопимся жить, а жениться опаздываем: всякий хочет добиться до штабских или генеральских эполетов, чтобы дороже перепродать их по рядной записи. Невеста идет в придачу к приданому, а как сочтутся на деле — смотришь, у невесты недочет душ, у жениха даже тела. И вот наш его высокоблагородие или его превосходительство, которому уже в семнадцать лет незачем было ездить в Египет за разгадкою таинств природы, изволил жениться. Жена у него профессор туалетного богословия. Рукава пуф с новоизобретенным механизмом; носки башмаков тупее ума графа Сивича! Шаль продень сквозь кольцо, но вряд ли саму ее вденешь в ухо. Она скачет верхом и стреляет влет; она играет и поет, только песни ее не всегда под голос мужа. Хороша ли, нет ли она собой, но она молода, она желает нравиться и наслаждаться, она умеет спрягать глагол *я хочу* не хуже г-жи Линьёль; а что находит она в благоверном своем супруге? Под сукном да ватою — завернутый фланелью барометр, наполненный сладкою ртутью. Находит усталого чахлого человека, который по утрам кашляет, целый день зевает и каждый вечер скучает или докучает. День-деньской он на службе, а ночь в гостях: или играет до утренних петухов, или хочет победить питухов за бокалом; он весь век будто маятник между бутылкой бургонского и склянкой с лекарством. Хорошо еще, если он не отправляется тратить случайную искру веселости и здоровья с какой-нибудь актрисой. Таковы, брат, все мы гуси; чего же тут ждать доброго! Жена поневоле станет бегать из дома: там пахнет пустотою! Кончается тем, что дом ее будет в ложе первого яруса, отечество — в английском магазине, а рай — на балу... Глядь... молодежь увивается около нее, словно хмель, и вот какой-нибудь краснощекий франтик приглянулся ей более других. Рассыпается он в объяснениях мелким бесом,— насчет ума наши дамы неприхотливы, и если запоздает почта из Парижа, принимают и вывороченные доморощенные нежности. Клянется он так, что ведьмы крестятся от ужаса, нередко, проигравши и прогулявши всю ночь напролет, уверяет, что бледен с отчаяния от ее жестокости. Она, разумеется, ничему этому не верит, но, с должным для чиновной дамы приличием, с ноги на ногу идет навстречу к обману для того, чтоб при случае броситься в кресло, закрыть платком глаза и сказать: «вы, сударь,

камень, вы, сударь, лед, вы злодей, вы меня обольстили!» Ну долго ли до беды! хоть беды в том я никакой не вижу. А Мефистофель тут как тут с своим носом. Он, скаля зубы, уже готовит его превосходительству рожки самой лучшей работы — точеные и позолоченные.

— Ты клевещешь,— вскричал Правин,— ты сочиняешь из головы злые пасквили на общество! Я недавно трусь между вами, однако же не заметил и тени, не только следа, того разврата в нравах, какой ты проповедуешь. Мне кажется, напротив, петербургские дамы чересчур щекотливы и недоступны.

— Нет, mon cher! — вскричал проказник Границын, поперхнувшись от смеха,— ты из рук вон! Уж не служил ли ты, полно, под командою первого адмирала, Ноя, гардемарином? С твоею допотопною простотою не уйдешь ты у женщин далее гостиной: я тебе пророчу это. Верить щекотливости и недоступности здешних дам — так верить всякой эпитафии. Правда, потемкинский век миновал для любовников, но не для любви. Теперь дама не краснеет приехать на бал с мужем или поцеловать его в лоб при многих, а с кавалером — сервенте своим говорит о разводах, о семипольном засеве и о Викторе Гюго. Но утешься, милый: купидон возьмет свое. Она знает, что хромоногий бес не снимет кровли с ее будуара, что замок ее спальни, чуть тронутый, наигрывает «réveillez-vous, belle endormie» [1] и что нескромный взор не упадет на трюмо, перед которым она примеривает или поправляет пелеринку у своей marchande de modes [2]. Благодаря европейскому просвещению и столичному удобству у нас все репутации так же круглы и белы, как бильярдные шары, по какому бы сукну они ни катились.

Доброе, чистое сердце Правина сжалось, внимая этой холодной повести о пороках общества, украшенных столь блестящею личиною смиренства.

— В самом деле,— молвил он с горькою улыбкою,— я знал не более устрицы о нравах света в корабле своем! Я постигаю в женщине слабость; могу представить, что страсть может увлечь ее; но поместить в свою голову мысль об этом глубоком, расчетливом, бесстрастном разврате — это выше сил моих! Я видел в Турции одну бая-

---

[1] Проснись, спящая красавица *(фр.)*.
[2] Модистка *(фр.)*.

дерку: она вынула из-под подушки своей вески и медленно взвешивала предлагаемые ей червонцы, надбавляя цены, глядя в очи путника. Не так ли взвешивают твои дамы сердечную забаву, бросая в другую чашку возможность скрыть ее! Они берут оброк и с титула добродетели — уважением и с сущности порока — наслаждениями. О свет, свет! ты даже из самой невинности делаешь новый порок, заставляя порочных быть самозванцами и скрываться под краденным у тебя платьем!

— Ты напрасно горячишься,— возразил ротмистр.— Лицемерие есть невольная дань нравственности, а всякая дань — узда. Нередко знатные дамы обязаны сохранением своего имени без пятна мелочному расчету не запятнать своего платья, и я уверен, что китовые усы в старину сохранили более браков, чем в наше время разорвали их гусарские усы. Пускай же плетут пустые люди кружева из песку, называемые модою; пускай себе старушки в чепцах и фраках с важностию рассуждают о лучшем способе чихать за обедней и кланяться на выходах: без этих вздоров лучшее общество сгнило бы, как Пресненские пруды. Не бывать в лохани буре, так ему надобна мутовка. Впрочем, будем беспристрастны, mon cher. Слова нет, свет очень развратен, но совершенства, слава богу, нет и в этом. Природа — великое дело. Она хоть и не смеет горланить в гостиной, как в трагедии, но в тиши кабинета обращает в свою веру многих. Бывает, что связь, начатая минутною прихотью, очищает огнем своим сердца и переливается в долгую, бескорыстную страсть, готовую на все жертвы, выкупающую все заблуждения, страсть, которая бы сделала честь любому рыцарю средних веков и любому человеку во всех веках. Я, не верующий ни в невинность мужчин, ни в верность жен, я сам...

Границын глубоко вздохнул и умолк в раздумье... перед его очами носились образы милые, но укорительные...

— Да,— молвил он печально про себя,— да, я ее не стоил!..

— Послушай, Границын, мне жаль тебя,— с чувством сказал Правин,— и я не могу понять, как, проповедуя против пороков не хуже Саллюстия, ты пляшешь по дудке, не говорю уже как Саллюстий, но как Репетилов в «Горе от ума»!

— Таковы все мы, рожденные на границе двух веков, милый мой; восемнадцатый нас тянет за ноги к земле, а

девятнадцатый — за уши кверху. Не разберешь, право, что мы такое? ни рыба, ни мясо, ни Европа, ни Азия. На прошлое мы недоумки, в настоящем недоросли, а в будущем недоверки, чуть ли не Spottgeburt aus Dreck und Feuer [1]. Животным привычкам нашим любо валяться в грязи-матушке; но ум уж проснулся; ум просит поесть и хочет разгрызть орех современного просвещения, да жалуется, что у него болят зубы от свекольного сахару.

Правин был недоволен оборотом разговора. Макиавель и Купидон — заклятые враги друг друга. Ему хотелось получше изведать море, называемое женщиною; а когда он думал о женщинах вообще, это значило, что он разумел в особенности княгиню Веру. И вот он искусно свел разговор на прежнее.

— Неужели, — сказал он Границыну, — развращение столичное так всеобще? Неужели не найти дамы, на чье доброе имя, как на этот хрустальный бокал, не всползти ни одному червяку злословия?

— Я не обер-полицеймейстер, милый друг; мне ведь не подают списков о числе рогатого племени в столице. Буало насчитал в Париже до двух Лукреций; Пушкин в целой России не находит трех пар стройных ножек, — я принимаю то и другое за клевету, и хотя суровые сердца должны быть реже, нежели маленькие следки, со всем тем я в самом Петербурге назову тебе более дюжины верных супруг.

— И, верно, в числе их поместишь жену Мирона Ильича Н. и княгиню Веру, жену князя ***?

Произнося, однако ж, последнее имя, Правин покраснел как маков цвет. Первая любовь не может равнодушно слышать любимого имени, не может без замешательства произнести его.

— Про первую ничего не скажу, и этого уж довольно к ее чести, а другая московская звездочка — гм! она так недавно блеснула на петербургском горизонте... она еще в медовых месяцах супружества, — где ей просветиться! где успеть злословию подстеречь ее, если б что и было?

Лицо Правина прояснело.

— Если б что и было! — молвил он. — Никогда и ничего не может быть.

---

[1] Выродки брения и огня. *Гете. (Пер. автора.)*

— Ты не член ли страхового общества, Правин? — насмешливо возразил ротмистр. — Смотри, друг, обанкрутишься, если принимаешь на поруки такие ломкие вещи. Важное слово *нет*, а *не может быть* еще важнее. Постойка, дай бог памяти... княгиня Вера?.. гм!! князь Петр!.. он толст и прост, она красавица и мечтательница... скорее соединишь масло с шампанским!.. Ну, я раскину словно на картах... между ними улегся какой-то червонный валет — это дипломат-поэт, кудрявый архивариус коллегии иностранных дел. Этот поэт ищет себе напрокат вдохновения и пожаловал, кажется, княгиню в музы. Слепой разве не заметит, как увивается он около нее, как оборачивается следом за нею, будто подсолнечник. Куда бы княгиня ни явилась, он как гриб из-под земли вырастает; ни дать ни взять, сказочный сивка-бурка, вещий каурка. На бале у австрийского посланника он напевал ей что-то на ухо в продолжение высокосного котильона: вероятно, читал седьмую главу «Онегина»! Ну, пускай мне первый мой враг скажет: «Comment vous portez-vous?» [1] в глаза, если между ними чего-нибудь не заводится. Я старый воробей: меня, брат, не озадачат никакие маски.

— Его имя? — заботливо спросил Правин.

— Ты знаешь его в лицо, не только по имени; да если и не знаешь, так заметишь с первого взгляда, когда найдешь их вместе. Один разве бесстрастный муж или страстный влюбленник может быть так слеп, чтоб ничего тут не видеть.

— Его имя? — с бешенством повторил капитан.

Кровь его кипела.

— Иероним Ленович.

Как шпага, пронзило это имя сердце Правина, и на него низались уже в его памяти тысячи вероятий, тысячи сомнений. Да, точно, он сам видел их умильные взоры!.. Правин уже не слыхал более, что говорил товарищ. Сердце его дрожало, будто в лихорадке, кровь то стыла, то жгла его... невнятный ропот исчезал на губах. Он пожал Границыну руку, бросил на стол ассигнацию и, не ожидая сдачи, вышел, поскакал домой. Отрывчатые восклицания и мысли сталкивались.

— Так молода и так коварна! — говорил он. — И к чему было обманывать меня сладкими речами и взорами?

---

[1] Как вы поживаете? *(фр.)*

зачем манить к себе?.. Или она хочет забавляться, дурачить меня? держать вблизи вместо отвода? Меня дурачить! Нет, нет, этому не бывать! Скорей я стану ужасен ей, чем для кого-нибудь смешон... И кто бы мог подумать, кто бы!.. Впрочем, быть может, все это вздор, зависть, пустые сплетни... да и что мне до этого?.. чем я привязан к ней, чем она мне обязана? А хотелось бы узнать, однако же, истину — так, из одного любопытства, — я бы посмеялся ей... я бы заставил ее плакать кровью!! Но как добраться до открытия в городе, в котором редкий муж дерзнет поклясться, целуя жену свою вечером, что целует ее сегодня первый, где потому только все невинны, что в истинной невинности можно усомниться, а истинной вины нельзя доказать.

И сон не освежил Правина. Под изголовьем его шевелились ревнивые мечты, — и сколько насмешек наготовил он для первой встречи с княгинею Верою, для первой сшибки с ее угодником!

— Дай только мне увидеться с нею... — говорил он, скрежеща зубами.

И всему этому виной были слова Границына, слова, основанные на пене шампанского и на желчных догадках болтуна. Бегите, юноши, встреч, не только дружбы с подобными людьми! Они безжалостно обрывают почки добрых склонностей с души неопытной; они жгут и разрушают в прах доверие к людям, веру в чистое и прекрасное; боронят пепел своими правилами — и засевают его солью сомнения.

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ ПРАВИН К ЛЕЙТЕНАНТУ КАКОРИНУ

Август 1829 года, в Кронштадт.

Еду, еду к вам, завтра же еду, любезный Нил! Да и что мне делать в этом Петербурге, в этой столице *раскрашенных снегов* [1], как говорит Байрон. Да и какой безумец выдумал влюбляться, да и какой лукавый дернул меня за полу полюбить светскую даму?.. Любить! любить! Как дико звучит это слово в свете! Отголоски, будто в пещере,

---

[1] This famed capital of painted snows. «Childe *Harold's pilgrimage*» [«Паломничество Чайльд Гарольда» *(англ.)*]. *(Примеч. автора.)*

повторяют много раз: *любить,* — но кто отвечает вам? Камни... хуже, чем камни, — пустота! Содрогаюсь от негодования... И я мог думать, мог верить, что любовь может уютиться в сердце, слепленном руками света! Безумец! безумец! скорее найдешь сочувствие в раззолоченном яичке для детей, на котором снаружи написаны нежности, в середине насыпаны сладости, а все вместе — дерево, крахмал и сусальная позолота. Но что говорить о том, чего не воротишь! Не возвратится и любовь моя. Поздравь меня, Нилушка, я здоров; я сбросил с себя страсть к княгине Вере, вместе с модными побрякушками. Теперь, чем скорее в море, тем лучше. Земля, кажется, горит подо мною, горит и сердце, — и лишь в туманах океанских погашу я его!

Поговорим о деле. Ты пишешь, что адмиралтейство не дает довольно мастеровых и не отпускает хороших материалов, что во всем задержки и недопуски... Все это, все эти господа меня скоро взбесят: я буду жаловаться прямо начальнику штаба, или воображают они, что после грозы для них будет роскошнее сенокос?.. Пусть разубедятся в этом. Прошли уж те времена, когда корабельные мастера строили дома из мачтовых дерев и крыли их медною обшивкою... Теперь едва они спроворят себе и на глаголь.

Поставил ли ты козлы, чтобы переменить бизань? [1] Посадил ли в должный уклон бушприт?[2] Навесь десять, двадцать на него бочек с водою, если упрямится... я терпеть не могу бушпритов, которые задирают нос кверху, словно дежурный камер-юнкер. Для марсовых септоров [3] просил ты рисунка сеток. Долой их, сбрось совсем прочь и прежние. Эти узорчатые плетенки напоминают мне дамские кружева... на последнем бале княгиня была вся ими изувешена. Ты, пожалуй, скажешь, что, верно, я пришел туда, увидел, победил. Увидел и возненавидел ее, друг мой... Стоит рассказать тебе, как это было: может статься, для тебя это будет любопытно, а для меня как памятно! Чудом показалось тебе, что я ездил на бал; что же будет, когда я скажу, что ездил на бал незваный и в дом мне вовсе не знакомый; что я был там только из желания

---

[1] Задняя мачта. *(Примеч. автора.)*
[2] Наклонная, из носа выдающаяся мачта. *(Примеч. автора.)*
[3] Поручни. *(Примеч. автора.)*

взглянуть на нее, и взглянуть неприятельски. Я уж писал к тебе о своих подозрениях: я жаждал или прояснить, или рассеять их, и долго напрасно. Не находил я ее дома, не встречал в городе. Наконец узнаю, что княгиня Вера отправилась на званый вечер за город, к графу Т. Как быть? Я там незнаком, туда не зван; нетерпение мое возросло до нестерпимости, ревность — до бешенства. Решаюсь хоть умереть, а взглянуть на нее. Сажусь в наемную карету и скачу на тринадцатую версту по Петергофской дороге. Приезжаю... вхожу... встречаю хозяина, — на дороге уже изобрел я предлог посещения: граф — страстный охотник до редких книг и обладает богатою библиотекою, — я прицепился к этому. «Простите, граф, флотскому чудаку неуместность его визита, но пусть необходимость извинит меня: я могу располагать только настоящею минутою и, проездом в Ораниенбаум, решился заехать к вам с просьбою. Вот в чем дело. Я пишу записки об истории мореплавания, а ваша библиотека знаменита в целой России; только у вас можно найти книги, редчайшие самых кладов, и между прочими, я знаю, что у вас есть в оригинале путешествие испанца Гвереры в Южном океане; а оно для моего предмета необходимо. От вас зависит крайне обязать меня, ссудив этой книгою для прочтения». Граф был доволен как нельзя более... цап меня под мышку и потащил в свою библиотеку. Скрепя сердце должен я был дивиться глупостям всех форматов, типографическим редкостям в ослиной и в телячьей коже, бесценным лишь потому, что их давным-давно никто не читает. Я чихал от пыли старины, я протирал себе глаза, я проклинал и книгопечатание и книгобесие, но хозяин этой кунсткамеры был неумолим и отпустил мою душу на покаяние не ранее, как перещупав спинки всех своих диковинок. Наконец, вручив мне заветные сказки испанца, пригласил в танцевальную залу, — я только того и ждал. Закрыв шляпою сердце, точно как голубка, чтоб оно не выпорхнуло, пробирался я дальше и дальше. Прелестные личики мелькали мимо в бешеном вальсе, то оперенные, то расцвеченные, то осыпанные алмазами; но как в тысячах звезд назвал бы я звезду любимую, так издали и в толпе распознал я княгиню Веру... Никогда еще не казалась она мне так прелестна, так воздушна, так идеальна! Любовь проникла и осветила все ее существо: она горела в очах, дышала устами, пробивалась лучами сквозь все поры, —

зачем измена может быть столь очаровательна!.. И вдруг я заметил, к кому обращены были ее очи, кто одушевлял ее такою необычайною прелестию, — душа у меня превратилась в лед, а ум в уголь... ужасный миг!.. Итак, все, что мне говорено, все, что подозревал я, — правда! Итак, я потерял ее, не владев ею!.. Не замечая меня, она села рядом с вечным моим соперником; что-то говорила с ним вполголоса; оба они улыбались от удовольствия, и порой она задумчиво склоняла голову и глаза ее подергивались туманом мечты... О, как проклинал я тогда сладкозвучную музыку! Она мешала мне слышать разговор! она, казалось, раздирала мне слух и сердце. Кровь кипела в жилах растопленным металлом... Да избавит небо злейшего моего врага от мучений ревности, — какой еще ревности! которой я не имел права чувствовать и не смел показать; но мог ли я тогда владеть собою? Думаю, что лицо мое было страшно, потому что страшное совершалось в душе моей. В ту минуту, как они оба встали, чтобы вальсировать в свою очередь, когда она подала ему свою руку, я устремился, как тигр на добычу, я возник перед ней, как призрак-укоритель, — и я насладился ее смущением, я с улыбкою видел, как погас ее взор, блиставший за миг яснее алмазов ее диадемы; видел, как поблек ее румянец, как замер льстивый голос на устах! О, сладка месть, сладка! Гомер недаром назвал ее страстью богов... Зачем же нельзя сказать того же о ревности? зачем же нету в ней, в этой адской страсти, ни одной отрадной капли, напоминающей небо!

Я отвратил мое медузино лицо от испуганной четы — и скрылся. Я мчался во весь опор... Катай, извозчик, удуши лошадей; пять, десять, двадцать рублей тебе на водку! Я летел; колеса жгли мостовую; я хотел закружить себя быстротой, упиться самозабвением, — напрасно! Чудные чувства бушевали в моей груди: то я давал полный разгул моему негодованию и смотрел на княгиню и ее Миловзора с ледяной вершины презрения. Стоит ли взора, не только вздоха, женщина, которую слепит мишура, пленяют пошлые каламбуры? Потом горячая, глубокая зависть проницала душу: я завидовал, и чему же! блистательной ничтожности светских любезников, их кукольной развязности, их птичьей болтовне с дамами, — мало этого: я завидовал приманчивому богатству глупца, связям мерзавца, даже искусству бездельника делать огромные дол-

ги, уменью игрока обыгрывать в карты, низости продавать себя дорого или учтиво грабить других — средствам, принятым у нас в число оптовой торговли душою, которые бы дали мне возможность часто быть с нею, дивить ее, блистать в обществе, в котором золото, какими бы путями ни было добыто оно, дает все права гражданства!.. Правда, такое унизительное желание пролетело сквозь меня вмиг, но пожалей меня, что оно могло пролететь даже мимо. О любовь, любовь! ты мать и мачеха душе человеческой! ты можешь ее возвысить до звезд и утопить в луже. Ты делаешь героев или злодеев из людей с могучею душою, честолюбцев или мерзавцев из людей слабых духом... Я ненавижу тебя, я проклинаю тебя, я срываю долой твои путы! и... о, слабость недостойная — я плачу над обломком своего ярма... Хорошо, если б я мог плакать, если б я мог еще рассуждать!

С.-Петербург

III

> Zwei liebende Herzen sind wie zwei Magnetuhren: was in der einen sich regt, muß auch die andere mit bewegen, denn es ist nur Eins, was in beiden wirkt — eine Kraft, die sie durchgeht.
>
> *Golthe* [1]

Фрегат «Надежду» приказано было изготовить к осени для дальнего похода. Его ввели опять в гавань для перегрузки трюма, для перемены некоторых частей рангоута и стоячего такелажа. Командир судна, Правин, был уважаем, как офицер отличной храбрости и познаний, и ему дали средства украсить фрегат свой на щегольство, со всеми прихотями, доступными боевому судну: бронзу на винты каронад, на решетки каютных люков, на кофель-нагели, на поручни к трапам; дуб с резьбой и красное дерево по каютам. Терзаемый ядом ревности, Правин хотел деятельностию подавить тоску сердца и старою страстью

---

[1] Два любящих сердца подобны двум магнитам: то, что движется в одном, должно также приводить в движение и другое, ибо в обоих действует только одно — сила, которая их пронизывает. *Гете (нем.).*

заглушить новую. От зари до зари не сходил он с палубы, и ни одна безделка, ни малейшая подробность не ускользала от его внимания. Он все осматривал лично, все поправлял сам; своею привязчивостью он надоел даже Нилу Павловичу, а Нил Павлович сам был знаменит на флоте своею точностию.

— Слава богу, — сказал однажды тот лекарю Стеллинскому, — наш Илья образумился: служба как рукой сняла с него дурь. Я недаром говорил, что распрысканная духами модница-любовь убежит от смоляного духу, как бес от ладану!

— Если она и убежала, так вовсе от другой причины, — возразил Стеллинский. — Капитана исцелили мои фумигации... Он вовсе не замечал в рассеянности, что я подмешиваю в его курительный табак лекарственные травы.

Но исцелился ли, полно, Правин?

. . . .

Между тем работы кипели, вооружение росло, и с ним вместе росло нетерпение Правина. «Скорей бы, скорей вытянуться нам на рейд, и тотчас в море, и как можно вдаль от этого проклятого Петербурга! Вовеки нога моя не будет там!» — воскликнул он однажды, и через два часа Правин стоял уже над колесом бертовского парохода, как будто считая каждый оборот его, шумно роющий воду. И вот г. капитан-лейтенант и кавалер Правин в столице. Да помилуйте, как ему и не быть в столице! На обсерватории у него поверяются хронометры; из Академии наук надобно ему получить ученые инструкции, из адмиралтейства — новые карты, от начальника штаба — особенные приказания. Да и почему не остаться ему день-другой лишний? ведь не завтра подымать якорь. У него же такой надежный помощник на фрегате!.. Мы чрезвычайно богаты на доводы, когда хотим потешить свою прихоть. Стоит только вздумать да загадать — за возможностью дело не станет.

Со всем тем гордая решимость Правина: не искать, не видать княгини, была непоколебима. Мысли его, как улитковые линии, сходились всегда в одну точку, — и эта точка была *она;* зато сам он, будто ринутый средобежною силою, все далее и далее бродил от тех мест, где бы мог встретиться с нею. Правин был поэт в прозе, поэт в душе, сам того не зная; да и есть ли на белом свете человек, который бы ни однажды не был им? Вся разница в том, что

один чаще, другой реже, один глубже, другой мимолетнее. Не одни величавые красоты природы поражали и пленяли Правина, нет, он горячо любил все произведения искусства, запечатленные поэзиею, в чем бы она ни проявлялась: в стихе, в смычке, в кирпиче, в бронзе — и там, где человек слил свои труды с природою, и в том, где перетворил ее по своему безотчетному идеалу. Любовь изострила в нем чувство изящного, и теперь чувство, выброшенное из русла, разливалось прямо из сердца на все предметы, одушевляло все его окружающее. Лоно вод дышало для него звуками грустными, но приятными; воздух веял словно дружеской рукою в лицо. Он находил новый, но знакомый смысл в книгах; схватывал сладостные переливы в стихах, которые незадолго казались ему беззвучными; занимательность сказалась ему в наличнике дома, в колонне, в картине. Он иногда простаивал по четверти часа, любуясь какою-нибудь частью города, улицею, мостом, красивым домиком. Он не замечал усмешек и толчков прохожих, благоговея перед монументом Петра Великого; но всего более полюбил он бродить по великолепным комнатам дворца, известного под именем Эрмитажа... это было его наслаждение, его утешение. Там казалось ему, что он снова повторяет свои путешествия, и образы мира на миг заслоняли от очей души образ ненавистный и милый. Он утихал, как дремучие болота Рюисдаля, вдыхал свежесть ночей фан-дер-Неера, летел с кораблем по желтому Немецкому морю фан-Остада. Портреты фан-Дейка шевелились, небо Рафаэля растворялось... Правин хотел удержать камни, летящие в св. Стефана Лесюерова; врубался в ряды мидян с Пуссеном, молился с блудным сыном Мурильо. Прелестные личики улыбались ему, рыцари протягивали руки, сельский праздник манил к себе. Шумная встреча штатгалтера тянулась мимо, и будто знакомые люди кивали из толпы головою, грозили перстом из окна. Влево шумел черный лес Сальватора, вправо плескалось бурное море Вернета; люди, климаты, города, небеса, океаны во весь рост развивались, росли, смешивались, меркли. То был какой-то гармонический, но безмолвный танец образов, идей, веков; то был осязаемый микрокосм души человеческой, начиная с грязной вещественности Теньера до недосягаемой святыни Урбино, — бесконечный как хаос, неясный как сны, уже готовые, но еще не виданные человеком.

Правин обжился, ознакомился с обитателями этого мира, в котором дремал он наяву. Но, кроме бескорыстного наслаждения рассматривать зеркальные ширмы света, закрывавшие от него досадный, настоящий свет, Эрмитаж привлекал его прямым отношением к его страсти. В комнатах, заключающих Музей Жозефины, между прелестною Гебою и танцовщицею Кановы, возвышается, его же резца, чета Амура и Душеньки. Душенька эта была ни дать ни взять вылитая княгиня Вера. К ее-то подножию спешил Правин отдыхать от забот службы... Отдыхать? О, столько же отдыхает труженик на постели, усыпанной щебнем!! Нет, он спешил туда горевать наедине и высказывать подобию изменницы свои упреки, проклинать ее и восхищаться ею.

Вы, верно, видели эту прелестную купу, одно из лучших творений Кановы! Душенька, обнявшись с Амуром, любуется бабочкою, сидящею у нее на ладони. Высока так, как небо, чиста, как луч солнца, многоплодна, как самый климат Греции, была идея выразить сочетание души с телом, или юности с любовью, любовью Амура и Психеи. Но если группа Скопаса (поцелуй их) превосходна в отношении к искусству, в отношении полноты превосходнее группа Кановы. В той вы видите символ первобыта — страсть; в этой символ нашего времени — мысль. У современного нам художника идея жизни расцвела идеею бессмертия. Вглядитесь хорошенько в идеальные лица обоих любовников: под младенческую улыбку Душеньки вкралась уже неясная дума. Она еще усмехается рассказам своего милого, но уже мечтает о преображении, загадка эта уже томит ее. Напротив, ветреник Амур едва обращает внимание на бабочку — его глаза прильнули к Душеньке, будто бабочка к розе. Положение кисти левой руки, ласкающей плечо Душеньки, на котором она покоится, доказывает, что чувство для него сладостнее думы, а движение правой руки, кажется, молвит уже: «Пусть она летит, эта бабочка!» Со всем тем мысль невольно бросила на лицо, на осанку обоих тень важности, в противоположность с отроческими их формами. Зато какая прелесть в повороте голов, какая нега в выражении лиц, какая легкость в постановке (pose), благородство в осанке! Пламенный резец Кановы размягчил в тело мрамор, но мысль дала жизнь этому телу, сделала его прозрачным и воздушным — одним словом, вдохнула в него душу.

Вереница других сравнений, других применений мелькала в воображении Правина. Как мало лет и как много происшествий, как много исторических лиц протекло у стоп этого мрамора! Перед ним, может быть, не однажды плакала развенчанная царица французов. На нее падал мимолетный как молния взор Наполеона, безумствующего о завоевании мира. На него глядела толпа королей и полководцев — одни с рассеянностью пресыщения, другие с равнодушием невежества, многие с завистию: зачем это не мое! И где очутился этот мрамор из чертогов Тюльери? И потом, где те, которые любовались им так недавно? «Одних уж нет, другие странствуют далече!» — со вздохом думал Правин.

Поутру в какой-то праздник Правин, сам не зная как, очутился у стоп Душеньки. Он погрузился в глубокую думу, в живую грусть, любуясь милыми чертами.

«Когда я увидел тебя впервые, — думал он, — мне казалось, что ангел кликнул мою душу по имени, что ты из младости обручена мне сердцем! Безумец!.. я смеялся над этою дикою мыслию — и, влюбленный, поверил ей, предался ей... и чему после этого верить, если не верить такому лицу? Так прелестна и так коварна! столь умна и столь легкомысленна! И зачем я встретил ее, зачем дозволила она себя полюбить! Внушить такую пылкую страсть, раздуть пожар и потом развеять пепел сердца по воздуху, не уронив даже слезы участия, не только взаимности; поманить надеждой и предаться другому!..»

Правин был один-одинехонек... Он тихо колебал головою, и слезы текли неслышимо по его лицу.

— Вы плакали! — сказал кто-то подле него.

Голос этот бросил трепет во все его существо. Сладкозвучен и нежен был он. Глубокое участие отзывалось в нем. Правин обернулся: рядом с ним стояла княгиня Вера, в газовом золотошвейном платье, в полном блеске убора, и красоты, и молодости, во всем очаровании чувства... Она была лучезарна, божественна! Видно было, что она ускользнула с выхода подышать свободнее на просторе, взглянуть на мастерские произведения резца и кисти, быть может влекомая тайным предчувствием сердца, — а сердце наше вещун! недаром сказано Дмитриевым.

— Вы плакали? — повторила она; она была тронута. Первое обаяние прелести миновало, вспышка негодования улетела с сердца Правина, но обиженное самолю-

бие — червь; оно не имеет ни ног, ни крыльев — оно осталось. Он отступил, поклонился княгине с холодною почтительностию и отвечал, краснея:

— Да, княгиня, я плакал, и горьки были слезы мои... Я думал, что я здесь один...

— Неужели для вас больно, капитан, что я в ваших глазах застала слезу?.. Чудные создания мужчины: не краснея могут хвастаться кровью друга и стыдятся слезы чувства!..

— По крайней мере я должен стыдиться этих слез, и признаюсь, всех менее вас желал бы я иметь свидетелем такой слабости: слез моих не видал и не увидит свет, и будьте уверены, княгиня, что они не прибавят блесток ни на чье платье!

Правин никогда не говорил княгине о любви своей, но какая женщина не понимает пламенной речи взоров, румянца щек, волнения груди, трепетания руки? Княгиня и в этот раз поняла весь укор Правина. В ее ответе видно было более чувства, чем гордости.

— Неужели вы думаете, капитан, что удел мой одна мишура и блестки, что я не знаю слез горя? Но вы бросили стрелу еще далее, еще глубже: вы почти сказали, что я могу радоваться чужому горю. Скажите, чем заслужила я такое несправедливое обвинение? и от кого же?..

Правин смешался. Он был пойман, как школьник, который выскочил вперед для объяснений с учителем и оробел от его грозного взгляда. В таком случае начинают обыкновенно уверять, что и не думали ничего намекать против, что никогда бы не осмелились и подумать обвинять!.. Правин наговорил кучу подобных пошлостей.

Княгиня грустно качала головою.

— Капитан, — сказала она, — откровенность флотских вошла в пословицу, — вы хотите опровергнуть ее. Я уже несколько дней замечаю, что вы на меня сердиты.

Правин будто проснулся от сна.

— Я докажу вам на деле откровенность мою! — сказал он горячо. — Знаете ли, княгиня, на кого походит эта Душенька!

Княгиня улыбнулась с самодовольным видом, подняла глаза на мрамор и, зарумянившись, сказала:

— Многие из подруг моих находят, будто во мне есть небольшое сходство с этою статуею, но, признаюсь, я мало верю комплиментам женщин.

— Поверьте же чувству мужчины, княгиня! Сердце не обманчивый знаток. Признаюсь вам, я уже не впервые у ног этой Душеньки. Было время, что я приходил сюда любоваться ею, высказывать ей то, чего не смел говорить ее подобию и не мог таить в себе. Теперь... о, теперь совсем иное дело: я пришел излить на нее свои укоры и уронить на бесчувственный мрамор слезу тоски невыразимой. Вы сами вызвали мою откровенность — услышьте же ее вполне. Да, княгиня! теперь не время притворствовать: я не хочу этого, если б мог — не могу, если б и хотел... Не отрицайтесь, не говорите: «Нет» — вы видели, вы знали, что я люблю вас; но вы не знали, *как* я любил вас; вы не поняли меня, не оценили этого сердца — сердца, переполненного к вам любовью!.. Видите ль эти царские сокровища? Видели ли вы Грановитую палату? В нее каждый век сносил свои драгоценности, свои короны, свои оружия и воспоминания, — не смейтесь же сравнению: мое сердце — это Грановитая палата! Его я бросил, его рассыпал бы я к ногам вашим: мои чувства, мои мысли, моя страсть стоили бы жемчуга и золота!.. Черпая из этой сокровищницы, я мог бы стать всем, чем бы только захотели вы меня видеть — вы, властительница, царица души моей! всем, чем вы бы велели мне быть! Сказали бы мне: *будь поэтом!* — и через год я склонил бы свою увенчанную голову перед тою, которой обязан вдохновением. Разве не поэзия высокая любовь моя! Разве нет пылу в моей душе? Я бы разбил ее в искры, и звуки, и мысли, — и свет ответил бы мне вздохами, и слезами, и рукоплесканиями! Пожелали ль бы вы увидеть меня героем — и что бы устояло против меня? И скоро я бы сжег ваше сердце лучами моей славы. Этого мало: я, жадный деятельности, я, честолюбец в душе, я, в котором внутренний голос говорит: «ты можешь быть многим», я бросил бы саблю и перо, отказался бы от милых бурь океана, ото всех радостей и обольщений земли, даже от страсти к познаниям, и весь век мой бросил бы слитком золота в поток забвенья, для того только, чтобы любоваться вами, как миром, слушать, как райскую птичку, чтобы только быть близ вас часто, дышать вашим дыханием — угождать вам, боготворить вас... но вы, вы не захотели этого...

Говоря это, Правин схватил руку княгини, между тем как его пылающие речи и взгляды пронзали сердце ее.

— Полноте, перестаньте, умолкните, капитан! — вскричала она. — Я не хочу, я не должна вас слушать. Вспомните, кто я, вспомните, что я: на руке моей сжимаете вы кольцо, — оно видимое звено невидимой, но неразрывной цепи, меня окружающей. Судьба моя — навек принадлежит другому!

Правин горестно опустил ее руку.

— О, если б одна судьба стояла между нами, я бы менее роптал. Я бы завидовал, глубоко бы завидовал человеку, которому досталась рука ваша, но он сам позавидовал бы мне, если б вы отдали мне свою душу. Было время, что я веровал в это сочетание, в это супружество душ... Напрасно! Поманив меня взаимностию, вы с насмешкою отвернулись от меня, отвергли мою безграничную любовь, оттолкнули мое сердце — и не судьба, не долг супружества были тому виною, нет: иное чувство, иная любовь! Да, княгиня, я сейчас думал: «Эта Душенька вылитая княгиня Вера; жаль только, что Амур вовсе не похож на Леновича». Будь еще это, и всякий бы сказал, что Канова снимал эту чету с вас обоих, когда вы сбирались вальсировать!

— Удержитесь, Правин, — с жаром прервала его княгиня. — Пустая ревность ослепляет вас: Ленович — близкий родственник моего мужа и давно жених моей двоюродной сестры, Софьи З., единственного друга моего девичества. Теперь, когда я говорю с вами, он уже в Москве, он уже у ног ее. Об ней-то, об ее-то судьбе говорили мы с ним, когда вы явились внезапно, неприглашенные, на бал к графу Т. Несчастный бал! несчастная Вера!.. внушить столько страсти, и нисколько доверия... Нет, капитан! кто любит, тот верит, до легковерности верит: это я знаю по себе; нет, сударь, вы не стоите, чтобы я оправдывалась. Боже мой, боже мой! думала ли я когда-нибудь, что из пустого подозрения, из ничтожной наружности я потеряю доброе мнение человека, которого всегда отличала, которого так много уважаю, так горячо люблю!..

Вера была увлечена досадою; досада есть лучшее средство заставить женщину высказать сердце. Но что для опытного любовника было бы делом расчета — тут было делом случая. Последние слова княгини вырвались из сердца не как признание, но как восклицанье. Она забылась, — но мог ли счастливец забыть сказанное? мог ли

не верить, что признанное было истинное чувство? Нет, никогда лицемерие не говорило таким голосом, не сверкало таким взором! Все сомнения исчезли, душа растаяла в Правине, он впал в какое-то исступление восторга: осыпал поцелуями руку Веры, прижимал ее к своему сердцу.

— Оно ваше, навеки ваше, божественная женщина! — восклицал он. — Кто даст мне сил вынести мое благополучие!.. Теперь я готов сжать руку злейшему врагу как другу, обнять целый мир как брата!

Княгиня ничему не внимала, ничего не видела; казалось, с роковою тайною вылетела из нее жизнь. Склонясь челом на пьедестал Душеньки, она была бледна, как та... Крупные слезы дрожали на опущенных ресницах, она вся трепетала как лист; Правин испугался...

— Что с вами, княгиня? — вскричал он.

— Удалитесь! — едва могла она произнести. — Теперь вы все знаете, будьте же великодушны — уйдите! В иной раз, в другой день мы увидимся... теперь я умру со стыда, если взгляну на вас. Когда вы дорожите хоть сколько-нибудь моим спокойствием — оставьте меня!

Полон блаженства и страха, Правин удалился.

Ввечеру князь Петр с озабоченным видом, но с салфеткою в руке вышел из столовой навстречу к доктору, который на цыпочках выходил из спальни княгини Веры.

— Ну что, любезный доктор,— спросил он, вытирая губы,— какова моя Верочка?

Доктор с значительною улыбкою, которую носил он неизменно на все обеды и похороны, отвечал, что слава богу, что это напрасно, что это пройдет! Доктор этот, изволите видеть, мастер был золотить пилюли, и оттого кармашки его всегда подбиты были золотом. Не решали, впрочем, потому ли он знаменит, что искусен, или потому, что дорог.

— Прописали ли вы ей что-нибудь, доктор?

— О, за мной дело не станет, ваше сиятельство! Я настрочил рецепт длиннее майского дня, и если княгиня будет в точности принимать, что я предписал ей, то лихорадка убежит от первого взвода баночек.

— Каков у нее пульс, доктор?

— Немножко неровен, ваше сиятельство,— отвечал тот, натягивая с трудом нижнюю петлю фрака на пуговицу,— да это минует, когда уймется попеременный зноб и жар; надобно потеплее укрыть княгиню.

— Что за причина ее болезни, доктор? Сегодня поутру на выходе она была весела словно ласточка, и вдруг...

— Самая естественная причина, в. с.! Изволите видеть: наша зеленая зима, которую мы условились называть летом, очень непостоянна, а дамы одеваются чересчур легко... Все зефиры, да дымки, да кисеи, да газы...

— Нельзя же в палатине ездить на выход! — заметил князь Петр с важностию.

— Нельзя же в газовом платье и не простужаться, ваше сиятельство. Притом везде сквозной ветер...

— Так вы думаете, что это от простуды, доктор?

— Без всякого сомнения, ваше сиятельство.

— Но она так тяжко вздыхает, доктор, будто у нее заложило грудь; она стала так капризна, что ни сообразить, ни вообразить нет способу... не хочет даже, чтобы я был при ней.

— Это все от простуды, ваше сиятельство.

Добряк доктор готов был клясться иготью Эскулапа, что это от простуды.

IV

Strudzilem usta daremnem użyciem,
Teraz je z twemi ohcę stopić ustami,
I chcę rozmawiać tylko serca biciem,
I westchnieniami, i calowaniami,
I tak rosmawiać godziny, dni, lata
Do końca świata i po końcu świata.

Mickewicz [1]

Быстро и сладостно утекают дни счастия. Минувшие радости и будущие надежды сливаются воедино устами, и миг настоящего походит на приветное лобзанье друзей

---

[1] Я измучил уста тщетным переживанием,
Теперь хочу их слить с твоими устами
И хочу говорить лишь биением сердца,
И вздохами, и поцелуями.
И говорить так часы, дни и годы,
До конца мира и после конца мира.

Мицкевич (пол.).

на пороге. Вчерась, сегодня, завтра не существует для любовников,— нет для них самого времени, оно превращено в какую-то волшебную грезу, в которой воздушная нить мечтаний вьется с нитью бытия нераздельно, в которой сердце каждое биение свое считает наслаждениями,— о нет! наслаждение не умеет считать, счет изобретен нуждою или тоскою.

Правин любил впервые, Правин любим стал впервые; а какая девственная любовь, какая истинная страсть не робка до простоты, не почтительна до обожания? Но скоро переживает любовник все возрасты страсти. Вечный младенец в своем лепете, в своих прихотях, взысканиях, ссорах, не по годам, а по часам растет он своими желаниями, мужает волею, берет силу взаимностию. Бедняк искатель, он спит и видит, как бы удостоиться приветливого словца, нежного взгляда, самой ничтожной ласки. «Я бы был счастлив тогда!» — говорит он и озирается, не подслушал ли кто его, и трепещет дерзости своего воображения. Но он скоро знакомится, дружится, роднится с нею, скоро она овладевает им — и он горд, похитив первый поцелуй, как Прометей, похитив огонь с неба. Раскипаясь счастием, словно бокал шампанского (я уверен, что счастье какой-нибудь газ и что химики на днях разложат его), он уходит через край, радость улетучивается из сердца, а природа не любит пустоты, вопреки Паскалю и водяному насосу,— и вот новые желания проницают в ретивое,— закупорьте вы его хоть герметически. Они будто волосатики впиваются в персты, разогревают кровь лучами взора, упояют легкие воздухом, веющим с милой, топят вас в звуках ее голоса, в благоухании ее кудрей! Ночью они распускаются кактусом; днем взбегают будто крес-салат. Проклевываются птичками... тормошат, щиплют, терзают бедное сердце — хоть из груди беги! Опять новые завоевания, опять новые причуды. Повадка балует шалуна; вчерашняя уступка для него завтрашнее право! По мне, сердце — настоящий вестминстерский кабинет: оно умеет и выканючить и выторговать и обыграть и выбить. «Если ты любишь меня!» — говорит любовник, нежно ласкаясь. «Только это, это одно — и я бог!» Но этот бог — языческий; амброзия для него пост; он готов превратиться из орла в лебедя, из лебедя в бычка. С каждым днем он становится смелее, с каждым днем он обламывает по игле, обороняющей

розу,— поглядишь, вянет сама роза под жарким дыханием страсти! Знаете ли, как называю я знаменателя всех страстей и всех более любви? Я называю его — любопытство! Узнали мы, испытали мы, повладели мы — и уже знание, опыт, власть нам скучны. Мы уж хотим постичь иное, изведать лучшего, завладеть большим. *Еще, еще дальше и более* — вот границы духа человеческого, а границы эти за звездами Млечного Пути, за тенью могилы.

Но не каждому дано пересекать пути многих страстей, подобно комете, пронзающей многие солнечные системы. Не каждому удается побыть любовником, поэтом, честолюбцем, корыстолюбцем и лечь в гроб с тою же побрякушкою, которая тешила его первое ребячество. Многие глубоко врезываются в колею, катятся вдоль которой-нибудь одной дороги — и нередко с рождения души до смерти тела. Так, Наполеону выпало распутие власти, на котором первая верста была батарея под Тулоном, а последняя — остров св. Елены. Исполин-выкидыш революционного волкана, он отдал свои останки волканической скале, горе застывшей лавы. Какой величественный, многомысленный памятник, какой чудный рифм судьбы с вещественностию!.. Багряные облака, точно огневые думы, толпятся вокруг чела твоего, неприступный утес св. Елены... Экватор опирается на твои рамена; сизые волны океана, как столетия, с ропотом расшибаются о твои стопы, и сердце твое — гроб Наполеона, заклейменный таинственным иероглифом рока!!

Простите отступление: я увлекся Наполеоном, и мудрено ль? При жизни — он тащил за своей колесницей по грязи народы. По смерти — его гений уносит наши помыслы в область громов, свою отчизну. Впрочем, пример Наполеона везде кстати; его имя приходится на всякую руку; оно как всезначащее число 666 в Апокалипсисе. Как ненасытен был он (олицетворенное властолюбие) к завоеваниям,— почти так же ненасытны все любовники ласками. После первого письма — их перехода через Альпы — они уже вздыхают о лаврах Иены и Маренго... они забывают, что у самого Наполеона была Москва, где он чуть не сгорел, путь за Березину, где он чуть не замерз, и литовские грязи, в которых едва-едва не утонул. Горячая кровь не слишком покорна доктору философии и г-ну рассудку, и речь сердца начинается — обыкно-

венно — с чистейшего платонизма, а заключенье у ней: «индеек малую толику!» К слову стало о платонизме: он очень похож на ледяную гору, с которой стоит раз пуститься — уж не удержишься; или, пожалуй, хоть на ковер, постланный в ноги детей, чтобы им не больно было падать. Да, милостивые государи и милостивейшие государыни, зовите меня как вам угодно,— я зло усмехаюсь, когда слышу молодую особу или молодого человека, рассуждающих о бескорыстной дружбе платонизма, прелестного и невинного как цветок, соединяющий в чашечке своей оба пола. Усмехаюсь точно так же, как слыша игрока, толкующего о своей чести, судью — о безмездии, дипломата — о правах человека. Опять грех сказать, будто платонизм всегда умышленный подыменник[1] эротизма; напротив, его скорей можно назвать граничной ямой, в которую падают неожиданно, чем западней, поставленной с намерением; и вот почему желал бы я шепнуть иной даме: не верьте платонизму — или иному благонамеренному юноше; не доверяйте своему разуму! Платонизм — Калиостро, заговорит вас; он вытащит у вас сердце, прежде чем вы успеете мигнуть, подложит вам под голову подушку из пуха софизмов, убаюкает гармонией сфер, и вы уснете будто с маковки; зато проснетесь от жажды угара, с измятым чепчиком и, может быть, с лишним раскаянием. Притом — но неужто вы не заметили, что я шучу, что я хотел только попугать вас?.. Помилуйте, г.г.! мне ли, всегдашнему поклоннику этого милого каплуна в нравственном мире, поднять на него руку! Мне ли писать против него, когда я вслух, вполголоса всегда говорил в его пользу, писал ему похвалы стихами и прозою! Любопытные могут прочесть мою статью «Нечто о любви душ». Она напечатана в «Соревнователе просвещения и благотворения», не помню только в котором году, рядом с речью «О влиянии свирели и барабана на юриспруденцию».

«Но к делу, к делу»,— говорят мне; а разве слово не дело? Юридически говоря, между ними великая разница; закон действует положительно, но мы сравниваем относительно. Конечно, человек редко говорит, что думает, еще реже исполняет, что говорит: потому-то нельзя обвинять,

---

[1] Под чужим именем торгующий. Слово, употребительное между купцами. *(Примеч. автора.)*

ни хвалить его, если он обещает или грозит,— но это относится к будущему; напротив, прошлое переходит в полное владение слова, оно существует только словом — слово может обличить или оправдать его. Я для того веду свою долгую присказку, чтобы доказать любезным читателям, что слова мои — факты, что намеки мои на госпожу Никто, Mistriss Nobody английских фарсов, летели не в бровь, а прямо в глаз; одним почерком, что нрав всех любовников вообще — такой же, как у Правина в особенности: так *бывало* с другими, так *было* и с ним.

Да-с, Правина любили нежно, даже страстно; но сам он любил беззаветно, бешено. Правин был зверек, которого не всегда обуздаешь дамскою подвязкой. В одну и ту же минуту он роптал то на холод, то на горячность Веры.

— Не считаете ль вы меня ртутью, княгиня, которая тогда постоянна и ковка, когда заморожена? — говорил он с укором. То умоляющим голосом восклицал: — О, не гляди так на меня, очаровательница! разве хочешь ты, чтоб я истаял как воск под тропическим солнцем!

Целуя браслет, он клялся, что не завидует раю, и через час он клялся, что он самый несчастный из смертных,— зачем? Ему полюбился пояс, заветный еще для его губ; после пояса следовало ожерелье, а там я не знаю, право, что. Близость разлуки извиняла его порывы и восторги, его гнев и самозабвение. Лестно, но страшно было быть так любимой. Жаркие битвы должна была выдержать Вера и с бурным нравом Правина и с собственным сердцем. Каждый отказ стоил ей слез непритворных. Она плакала, и пламя погасало в Правине от немногих слез милой, как, по народному поверью, гаснет молниею запаленный пожар от парного молока. Она противилась, как порох, смоченный небесною росою, противится искрам огнива: сотни ударов напрасны, но каждый удар сушит зерна пороха, и близок миг, когда он вспыхнет.

Как московская барышня, Вера половину своей юности прожила среди полей, другую — в столице. Но девушки в Москве имеют гораздо более свободы, чем в Петрополе, а где свобода, там и природа. Вот почему девушек находил я гораздо занимательнее в Москве, дам — в Петербурге. В первых найдете вы нередко милую простоту, в последних — остроумие; в первых — прелесть, во вторых — ловкость, которую дает лишь двор и вкус, впрочем, более дитя привычки, нежели чувства; одним словом, в Москве

есть гармония, в Петербурге — тон. В Москве учатся многим иностранным языкам и много читают. В Петербурге нет времени ни для науки, ни для чтения, а владыка — язык французский. По-итальянски только поют, о Байроне говорят понаслышке и боятся языка Шиллера, чтобы не изломать своего. Притом же в Петербурге столько гвардейцев и дипломатов, столько чиновников всех цветов, столько парадов, гуляний, спектаклей, визитов, выходов, что будь день о сорока восьми часах — и тогда не стало бы времени на рассеяние. Кроме того, в Москве еще пахнет Русью; в ней хоть немного характеров, зато куча оригиналов, в ней есть свои поверья, свои причуды, свои обычаи — в ней есть *старина.* Зато уж в Петербурге хоть мало современного, но все новое, все с молотка — и ни русского мира, ни русского словца! На площадях толкутся маймисты, на перекрестках стоят синьоры с продажными зонтиками, по набережным покачиваются англичане с руками в карманах и с годдемом в зубах, у крылец шаркают французы, в нижних этажах шевелятся немцы. Русский калач там чужестранец; благословенная бородка пробирается по стене и рада, рада, если унесет в целости свои бока от будочника или от дышла какого-нибудь посланника, который скачет разыгрывать во весь дух дипломатическую *ноту.* Нет дома, где бы садились за стол, крестясь одинаково, где бы хвалили одно и то же кушанье, просили одним и тем же языком напиться. Про высший круг и говорить нечего: там от собачки до хозяина дома, от плиты тротуара до этрусской вазы — все нерусское, и в наречии и в приемах. Бары наши преважно рассуждают, каково Брюно играл Жокрисса, как была одета любовница Ротшильда на последнем рауте в Лондоне; получают телеграфические депеши о привозе свежих устриц, а спросите-ка вы их: чем живет Вологодская губерния? Они скажут: «Je ne saurais vous le dire au juste, mr.; [1] у меня нет там поместьев».

Впрочем, нравственность одна в обеих столицах: посредственность и эгоизм! Никто не заботится о том, что подумают о нас добрые люди: у них лишь то на уме, что станет говорить княгиня Марья Алексевна. Во всех личность, все частность, везде расчет. Ничего общего, ничего высокого. Княгиня Вера взросла на таком же мин-

[1]Не скажу вам точно, сударь *(фр.).*

дальном молоке, но она была довольно счастлива, что нашла истинно добрых и умных подруг, и довольно умна сама, что их оценила. Чтение поэтов познакомило ее с прекрасным миром; она пристрастилась к нему, восхищалась им; но эта страсть дала ей другую опасность — опасность мечтательности. Не всех птиц можно стрелять сидячих: иных выгоднее на лету; Вера принадлежала к числу последних. Недоступная ничтожности вертопрахов, несгораемая от мышьего огня светских болтунов, закруженная вихрем света, в который только что явилась,— она была равнодушна, хотя ее не защищала любовь к человеку доброму, но пустому, но холодному, которому тетушки и судьба приковали ее, как узника к колоде. Чтобы пленить ее, надо было сперва поразить внимание чем-нибудь необыкновенным, раздражить любопытство занимательностию,— а там недалека и любовь, потому что сердце ее жаждало любви, как сухая губка. Так и сталось. Встреча с человеком безыскусственным, пылким, новым, который так чудно выходил из рам всего, что делается и говорится в свете, победила ее потому именно, что с этой стороны она не ждала нападения, еще меньше падения. Она, однако ж, скоро почувствовала, что любит, и письма ее к подруге стали с той поры скромнее, хотя красноречивее... она говорила обо всем, кроме своего сердца, обо всех, кроме Правина. Да и могла ли замужняя женщина делать из девушки, из невесты поверенную тайн, которых бы сама она не желала иметь? Эта неделимость, это одиночество страсти еще более одолевали Веру. Быстро увлеченная в чужой след, она, однако ж, уступала, борясь мужественно; она чувствовала, что для спокойствия, если не для счастия, к светскому правилу: sauvez les apparences [1], необходимо было прибавить: sauvez la conscience! [2] И, надеясь на эту решимость, вместо того чтобы вытащить свой челн на берег, она смело простирала свой газовый парус против бурного дыхания страсти, — и вал, грозный вал рассыпался в прах о слабую грудь ее ладьи или, отбитый, с ропотом катился обратно.

Так прошел месяц, но месяц — век для призванной любви. Он век брожения. Думы, желания, требования

[1] Сохраняйте благопристойность *(фр.)*.
[2] Сохраняйте совесть *(фр.)*.

роятся, кочуют, сменяют, истребляют друг друга. Корабль, будто плавучий ледник, сохранил сердце Правина девственным и в нем силы юности. Они бушевали неудержимо, особенно когда светская философия надевала на себя мундир Границына и пенила и кипятила их своими кислотами.

— Мне кажется, ты воспитан в брюхе кита,— говорил Границын, расстегивая крючки воротника своего.— Вместо того чтобы вторить своей княгине Вере в арии *di tanti palpiti*[1], тебе бы надо уверить ее, что *una voce poco fa*[2]. Терпение — прекрасная добродетель в дромадере, но сами дромадеры, mon cher, нужны в степях, а не на паркете. Правда, многие пояса затянуты гордиевым узлом; зато режь их пополам, если не хочешь, чтоб другой разорвал их у тебя под носом. Право, стыдно будет, если эта белокаменная московочка проведет тебя. Вот тебе моя рука — она над твоею простотою смеется, а быть может, и сама досадует на твою застенчивость.

Эти насмешки, перемешанные с шампанским, лились прямо в сердце Правина: они то льстили, то подстрекали его страсть. «Нет,— думал он,— полно мне жеманиться. Сегодня или никогда!» И назавтра было то же, напослезавтра то же. Пламенные письма, неистовые сцены, упреки, угрозы, гнев, разлука — все было напрасно: Вера стояла непреклонна. Правин решился.

Любовь хитра на выдумки свиданий: Правин видался по нескольку раз в день с княгинею, и все устраивалось будто самым естественным и случайным образом. Однажды он приехал к ней на дачу в полдень.

— Что это значит, капитан,— спросила Вера,— вы в полном мундире?

Любовь есть страсть исключительная: ей нестерпима мысль о множестве или разделе. Вот почему так скоро переходят любовники от местоимения *вы* к местоимению *ты*. Со всем тем первые приветствия встречи принадлежат свету; любовь берет свои привычки после.

— Княгиня,— сказал он, холодно поцеловав у ней руку,— я приехал к вам проститься — надолго, может навсегда.

---

[1] Какой трепет *(ит.)*.
[2] Одного голоса еще мало *(ит.)*.

— Вы шутите, капитан, ты меня пугаешь, Elie,— зачем это? Разве не тысячу раз уверял ты меня, что воротишься на весну и возвратишь весну душе моей!

— Я сейчас от начальника штаба. Узнав, что фрегат мой готов, он был так добр, что позволил выбрать мне любое из двух поручений: или идти ненадолго в Средиземное море,— там что делать? ведь мир с турками почти подписан,— или отправиться на четырехлетнее крейсерство к американским берегам, частью для открытий, частью для покровительства нашей ловле у Ситхи, у Алеутских островов и близ крепости Росс. Я избираю последнее!

— Нет! ты этого не сделаешь, ты не сможешь этого сделать! И как решаешься ты, не посоветовавшись со мною? Разве я чужая твоему сердцу! — вскричала, вскочив, вспыльчивая княгиня.— Я бы могла еще помириться с мыслию, что неотразимый приказ службы забросил тебя от меня далеко и надолго; но чтобы ты по своей доброй воле бросил меня на четыре года — нет, этому не бывать, никогда не бывать!

— Никогда не говорите *никогда*, княгиня! Это слово имеет вес только в устах судьбы. Вы сказали, что я по доброй воле отправлюсь отсюда,— и вы могли это сказать, вы, за чей взор отказался я от собственной воли, для кого жертвовал и обязанностями службы и обетами славы! Вы!.. Для кого ж иного мила мне жизнь? за кого ж красна была б мне смерть? за кого, если не за тебя, отдал бы я душу свою, променял на любовь твою рай и за миг счастия — вечность!! Но вы, ваше сиятельство, не удостоили снизойти до взаимности; вы любили на мерку и раскланивались чувству, когда приходили на границу, делящую удовольствие от опасности; вы в то же время думали, как бы не смять своих газовых лент, когда сердце мое разрывалось, когда я умирал у ног ваших!

— Злой человек, неблагодарный человек! Я ли не ценила тебя, я ль не делила твоей любви! Но я не разделяю твоего безумия. Тебе отдала я чистоту души и покой совести, но чести моей не отдам — она принадлежит другому.

— Как вы искусны в теологии и геральдике, ваше сиятельство! Вы до золотника знаете, что весит поцелуй на весах неба и какую тень бросает он на герб. Признаюсь вам, я не постигал никогда градусов любви по Реомюру. Гордостью считал я любить безмерно, беззаветно, предаваться весь — так люблю я, так желал быть любим, так—

или нисколько. Чувствую, что я теряю рассудок, а вы, вы не хотели бросить вздорного предрассудка!.. Помните ли, в одном письме я писал к вам: не читайте далее или исполните, что далее сказано... Зачем же вы преступили завет и отринули мольбу! Однако не думайте, княгиня, будто я ни во что ставлю ваши ласки, ваш ум, ваши достоинства! О, никто в мире не мог лучше, не мог выше оценить и ваши прелести и вашу снисходительность ко мне. Но любовь питается жертвами, доказывается пожертвованиями, *все* или *ничего* — ее девиз, а я измучен вашими полужестокостями, уничтожен вашими полумилостями. Ужели хотите вы, чтобы я забывал вас с другими, лишь бы — не забывался с вами! Признаюсь, это чудесная любовь!

— Боже великий! и я могла любить такого безжалостного человека!

— Любить?.. бросимте этот разговор, княгиня. Я уступаю вам пальму нежности. Я беру на себя все вины, я неблагодарен, я жестокосерд, я все, что вам угодно. Будьте счастливы, княгиня! Люди с вашим нравом созданы для светского счастия. Они очень довольны, если на сердце у них пробьются цветки, хоть эти цветки жалкие подснежники. Еще раз — будьте счастливы. Наслаждайтесь своею любовью «с дозволения правительства»; ожидайте с поклоном прилива нежности своего супруга, за которую обязаны вы будете бутылке бургонского или перигорскому пастету!

— Слезы, а не слова — ответ на такую обидную насмешку!

— Слезы — роса, княгиня. Взойдет солнце, укажет час ехать на прогулку — и они высохнут!

— Они высохнут раньше, но это будет от отчаяния!

— Отчаяние?.. это что-то новое выражение в модном словаре! Нет ли какого перстня или браслета такого имени! Ведь есть же супиры, и репантиры, и сувениры у любого золотых дел мастера. Отчаяние!!

Недолго женскую любовь
Печалит хладная разлука;
Пройдет печаль, настанет скука...
Красавица полюбит вновь!

С гордостию подняла княгиня свои заплаканные очи на Правина, и взор ее пронзил его укором.

— Кто так худо знал прошлое, тому напрасно браться за пророчества,— сказала она.— Любуйтесь своим жестокосердием, капитан; хвалитесь своим подвигом, смейтесь над бедным сердцем, которое вы разбили. Да, вы убиваете меня, как Авеля, зачем я принесла одни чистые плоды на жертвенник любви!.. Будьте же сестроубийцею за то, что я любила вас как брата!

— Как брата, говорите вы? Но разве братские мученья не требуют братского раздела? Впрочем, я не пришел считаться с вами, княгиня, ни укорять вас, ни умолять вас — я ожидаю одного прощального поклона... ни полслова, ни полвзора более!

Изображают вечность змеей, грызущею свой хвост,— точно так же изобразил бы я гнев... он тоже поглощает сам себя; крайности слиты и в нем. Правин, чрезвычайный во всем, увлекся несправедливым негодованием: оно, подавленное, будто льдом, хладнокровием наружным, тем сильнее крушило сердце — и вдруг заметил он губительную силу слов своих над Верою. Она была бледна, как батист; слезы застыли на лице, но она уже не плакала, не рыдала. Левая рука ее сжата была на колене, между тем как правою упиралась она в грудь свою, будто желая выдавить оттуда удушающий ее вздох; в очах, в устах ее замирал укор небу.

О! злобен тот, кто заставляет свою милую проливать горькие слезы, кто влагает в ее уста ропот на провидение; но тот, кто с усмешкою удовлетворенной мести или равнодушия может их видеть или слышать,— тот чудовище. Правин упал к ногам Веры — плакал, плакал как дитя, и речи раскаяния пролились, смешанные с горючими слезами.

— Вера, прости меня,— говорил он, обнимая ее колена, целуя ее стопы.— Ангел невинности! я оскорбил тебя, я не понимаю, что говорю, не знаю, что делаю! Я безумец! Но не вини моего сердца ни за прежние обиды, ни за теперешние клеветы — у меня доброе сердце, и может ли быть злобно сердце, полное любовью, любовью к тебе!.. Зато у меня буйная кровь... у меня кровь — жидкий пламень: она бичует змеями мое воображение, она палит молниями ум!.. Я ль виноват в этом? я ли создал себя! За каждую каплю твоих слез я бы готов отдать последние песчинки моего бытия, последнюю перлу счастия. Да, нет мне отныне счастия! На одной ветке рас-

пустились сердца наши — вместе должны б они цвесть; но судьба разрывает, рознит нас! Пускай же океан протечет между нами, пускай бушует — он не зальет моей любви, лишь бы ты, ты, сокровище души моей, была невредима от этого пожара! Я еду, — не говори *нет,* ангел мой,— не могу я, не должен я остаться. Это необходимо для твоего, для моего спасения, для сохранения моего рассудка и твоей чести... Прощай!.. О! как тяжко разлучаться! Легче, легче расстаться душе с телом, чем душе с душою. И я буду жить не с тобой, вдали от тебя, не имея вечером надежды увидеться поутру; осужден буду не любоваться твоими очами, не чувствовать на сердце твоего дыхания, не слышать речей твоих, не вкушать поцелуя! и быть одному — и в этом ужасном одиночестве знать, что ты принадлежишь иному!! Скажи: какая мука превысит это, кроме муки при глазах своих видеть тебя в чужих объятиях? Прости ж, прости! Мне суждено бежать тебя всегда и всегда любить безнадежно. Душа моей души! ты была единственною радостью моей жизни; ты останешься единственною моею горестью, всегдашнею мечтою, последнею мыслию при смерти! О, я любил тебя, Вера, много люблю,— взгляни на меня по-прежнему, милая, и прощай — я еду.

Столь быстрый переход от укоров к нежности, от гнева к грустному отчаянию изумил княгиню. Раздирающие душу жалобы любовника ее поколебали, его слезы победили ее. Взор княгини блеснул необычайною ясностию; прелестное лицо ее одушевилось зарею самоотвержения.

— Поезжай хоть на край света, Илья,— сказала она Правину голосом, который звучал сладостно, как весть прощения преступнику на плахе.— Поезжай,— молвила еще, целуя его голову,— но ты поедешь не один: я сама отправлюсь с тобою; с этого часа у нас одна доля, одна судьба. Тебе я жертвую всем, для тебя все перенесу! Лишь бы ты, одеваясь могильною тенью, сказал; «Вера меня любила!» Не спрашивай, как я сделаю, чтобы нам не разлучиться, — любовь научит меня. Требую одного и непременно: иди в Средиземное море, а не в Америку!

Это произошло 17 августа 1829 года, ровно в час за полдень. Так по крайней мере отмечено было красным карандашом в памятной книжке Правина.

V

> L'homme s'épuise par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de la mort: vouloir et pouvoir.
>
> *Balzac* [1]

Ровно через десять дней после числа, записанного красными буквами, отличной красоты фрегат снялся с якоря и с южного кронштадтского рейда пошел в открытое море. На корме его рисовалась группа из трех особ: одного стройного флотского штаб-офицера, подле него человека небольшого роста с генеральскими эполетами и прелестной дамы. Фрегат этот назывался «Надежда»; на корме его стояли: капитан Правин, князь Петр *** и его супруга.

Обещание княгини Веры сбылось; да как и не сбылось бы оно? Если женщина решительно захочет чего-нибудь, для нее нет невозможностей. Князь Петр давно проговаривал, что ему хочется попутешествовать для поправления здоровья,— воля жены заставила его решиться, даже убедиться, что для него необходимы макароны в оригинале, устрицы прямо из Адриатического моря. Разумеется, к этому прибавил он несколько восклицаний о чистой радости дышать небом Авзонии, прогуляться по Колизею, бросить несколько русских гривенников лазаронам Неаполя и на закуску покатиться по Бренте в гондоле, дремля под напев Торкватовых октав! Князь Петр без надписи не отличил бы Караважа от Поль Поттера и не раз покупал чуть не суздальские мазилки за работу Луки Кранаха; но князь Петр, как человек, который хотел слыть ровесником века, или, как выражаются у нас, à la hauteur du siècle[2], скрепя сердце заглядывал иногда в энциклопедию и довольно бегло, хотя очень невпопад, толковал о художествах, о пушках Пексана, о паровой машине и примадонне Каменноостровского театра, о

---

[1] Человек истощает себя двумя действиями, выполняемыми инстинктивно, которые иссушают источники его существования. Два глагола выражают формы, в которые выливаются эти две причины смерти: желать и мочь. *Бальзак (фр.).*

[2] На уровне века *(фр.).*

сморчках и политике. Вздумано — прошено. Князя Петра не думали удерживать. Напротив, ему дали еще несколько поручений и позволили ехать до Англии на фрегате «Надежда»; это случилось так невзначай и так кстати!! Князь Петр не знал, откуда у него взялась такая охота к морю! Конечно, сборы князя Петра продолжились бы, вероятно, до заморозков: то нет дичинного бульону, или толченых рябчиков, или сушеных сливок, то не нашли настоящих Piccalilli[1], то не достали вечного Донкинсова супу в жестянках. Зато княгине недолго было уложить свое сердце, а имевши его в груди, влюбленная женщина смело может сказать: «omnia mecum porto — всё с собою ношу!»

— Я готова, мой друг,— ласково сказала она своему раздумчивому супругу,— фрегат не будет ждать нас — завтра мы перебираемся на него непременно.

Такой лаконизм не очень понравился князю Петру, который начинал уж догадываться, что как ни вкусна морская рыба, но она все-таки далее от губ, нежели теленок на рынке; но услышав, как решительно объявила княгиня его повару и камердинеру, что если они не будут во всей готовности к пути сегодня, то завтра следа их не останется в ее доме, проглотил свое *но*,— и вот он волею, а пуще того неволею — морской путешественник.

Покуда вывертывали якорь, покуда фрегат катился под ветер с парусами, трепещущими будто от нетерпения, сомненье: точно ли мы останемся на фрегате? волновало грудь Веры. Взоры ее перелетали с берегов, словно кружащихся около, на мужа, который с сожалением ловил их глазами. Зато когда фрегат взял ход и стал салютовать крепости, это торжественное прощанье с Россиею убедило Веру, что уже возврат на берег невозможен, что она долго и близко будет с Правиным; очи ее засверкали; она взглянула на море, которое развивалось впереди все шире и шире, потом на своего милого — и взор ее сказал: «Перед нами море, море блаженства!» Ни одна печальная мысль, ни малейший страх не возникали между нею и Правиным: чувство счастия казалось ей беспредельным.

Но высоко билось сердце Правина, и не одним наслаждением: какой мужчина покинет родину, не оглянувшись на нее, не вздохнувши по ней, будучи даже подле любимой особы? Сомнительная дума: увижу ль-то я тебя, и

---

[1] Острые пикули *(англ.)*.

как я тебя увижу? — щемит ретивое, и сквозь слезу тускнеет синева дали.

Грустно смотрел Правин на покинутый берег отечества и с каким-то беспокойным любопытством прислушивался к перекатам ответных выстрелов с Кроншлота. С промежутками, одно за другим, гремели огромные орудия, грозно, таинственно, повелительно! Вы бы сказали: «То голос судьбы, которому вторило небо...» Правин внимал им, будто своему приговору, прочитанному на неведомом для него языке; но непостижимый смысл убегал от понятия человеческого. Наконец седьмой, последний выстрел сверкнул и грянул, как седьмая роковая пуля во Фрейшице, и постепенно гром стих. Умолкли и далекие гулы во всех четырех сторонах горизонта. Тогда черные облака дыма, слетевшие с чугунных уст, возникать стали перед очами Правина. Казалось, роковые звуки превратились в иероглифы, подобные надписи, начертанной огненным перстом на стене пиршества для Валтасара!.. Потом иероглифы сии развились чудными, вещими образами, будто переходя из мысли в существенность, будто олицетворяя, дополняя собою непонятное изречение. Дунул ветер и спахнул эту величественную строфу, этот дивный очерк судьбы!.. Еще миг, и там, где витал он, весело сияло вечное солнце, бесстрастно катились вечные волны... Тайная грусть влилась в сердце Правина... «Не звук ли, не чудные ли иероглифы, не перелетный ли образ дыма сами-то мы в вечности мира!» — подумал Правин; но он взглянул на Веру, и родина с своими воспоминаниями, море с своими волнами, небо со своим солнцем, будущее со своими страхами — все, все исчезло от Правина; он видел одну ее, существовал только для нее; он был весь наслаждение, весь любовь!..

На три вещи могу я смотреть по целым часам, не замечая их бега. Три вещи для меня ненаглядны: это очи милой, это божие небо и синее море. Велико ли яблоко глаза? но в нем между тем раздольно трем мирам, то есть чувству, мысли и свету видимому. В глазе, как в яблоке познания добра и зла, таятся семена жизни и смерти. Сладостно созерцать в любимых очах игру света и теней, то есть чувства и мысли; замечать, как распускается и сжимается зрачок, на коем, как на гомеровском щите Ахиллеса, рисуется вся природа; следить, угадывать, ловить искры страсти, проницать туман грусти и по

складам читать в глубине души понятия, склонности, ненависти; наблюдать, как на милую особу действует мир и как бы она действовала на мир. Это разговор сердец взорами, это гальваническая сплавка душ. Но любопытен и глаз каждого человека: чудный, хотя и неизданный роман таится в нем; каждый взор его есть уже глава, то в роде Жилблаза, то в роде Дон-Кихота или Роб-Роя. Как в двухчасном сне переживаем мы иногда целые годы, так в одной клубком свитой мысли, мысли, умирающей в полуродах, мысли, которой весь век четверть мига, заключается и желанье добыть, и готовность на всякое зло, чтоб добыть, и раскаянье за то совести, и страх закона, страх общего мнения, и, наконец, торжество доброго начала, которое стирает эту черную точку даже с памяти. Или, напротив, мысль чистая как слеза сверкает во взоре: помочь несчастному, выручить из беды друга, отдать все, погибнуть за правду,— и вслед за тем сомненье: полно, правда ли это? полно, право ли это? потом отсрочка: еще завтра успеем; потом дать, пожертвовать менее, менее, и, наконец, совет себялюбия: есть люди богаче и сильнее тебя... ты что за выскочка? За этим следует обыкновенно финал самой бездушной скупости:

Ты все пела? Это дело,
Так поди же попляши.

И потом, какое быстрое сплетение намерений, выдумок, уловок, приключений; сколько злых замыслов, никогда не свершащихся; сколько слов, которые никогда не будут произнесены; сколько дивных мыслей, которые сольются с ничтожеством! И все это, как сказал я, заключенное в одном миге, в одном взоре, даже в одном сотрясении зрачка. О! кто хочет изучить китайскую грамоту души человеческой, кто желает видеть ее нагою, тот изучай их очи! Но знай тот, что он берется за ремесло могильщика, что па каждый день он будет зарывать в прах по лестной мечте, по доброму мнению о людях, что он схоронит, как родных своих, участие к ним и, наконец, собственное сердце... разобьет свой заступ о череп и уйдет в лес с базара — кладбища, которое в просторечии называют свет! Уйдет туда умереть один, отдать труп свой зверям, и птицам, и ветрам, лишь бы не потешить своею кончиною любезных братьев-человеков!!

Но неужели таково все человечество, все люди? Сохра-

ни бог задумать, не только поверить! Поколение наше — бурная, мутная волна, но и в этой волне есть легкая пена, есть чистые капли, есть перлы, вымытые со дна морей. Сколько высоких душ знал я, сколько знаю доселе! Они мирят человека с человечеством, как мирит природа человечество с его судьбою. Поверьте, если не все добро делают, то все добро признают,— а это не безделица.

Люблю я глядеться и в безбрежное небо. Когда пристально и долго смотришь в него, то заметны становятся струйки эфира, прелестно играющие по синеве... это истинная гармоника для очей. Раздольно там, привольно там шириться орлу, реять вечно вешней ласточке, жужжать незаметной мушке, порхать однодневной бабочке! Там странствуют тучи, чреватые перунами, там гуляют облака, играющие отливом радуги. Там живут звезды; оттуда живит нас солнце.

Мирные светила! вы не знаете бурь и смут наших!.. Солнце не бледнеет от злодейств земных; звезды не краснеют кровью, реками текущею по земле. Нет! они совершают пути свои беззаботно и неизменно. Солнце встает так же пышно наутро, хоть, может быть, целое поколение, целый народ исчез с лица земли после его заката, и во мраке по-прежнему распускаются ночные цветы неба — звезды по-прежнему сверкают нам огнем любви и, мнится, текут в океане благости! Да, созерцая свод неба, мне кажется, грудь моя расширяется, растет, обнимает пространство. Солнца, будто отраженные телескопом на зеркале души, согревают кровь мою; мириады комет и планет движутся во мне; в сердце кипит жизнь беспредельности, в уме совершается вечность! Не умею высказать этого необъятного чувства, но оно просыпается во мне каждый раз, когда я топлюсь в небе... оно залог бессмертия, оно искра бога! О, я не доискиваюсь тогда, лучше ли называть его Иегова, или Dios [1], или Алла? Не спрашиваю с немецкими философами: он ли das immerwährende Nichts или das immerwährende Alles? [2] — но я его чувствую везде, во всем, и тут — в самом себе. О, тогда весь шар земной кажется мне не больше и не дороже медного гроша. Но жизнь, подобно удаву, наводит на меня свои обаяющие глаза, и я, как жаворонок, падаю в пасть ее с неба!!

[1] Бог *(исп.)*.
[2] Вечно длящееся Ничто или вечно длящееся Все *(нем.)*.

И ты, море, бурный друг моей юности! как горячо любил я тебя в старину, как постоянно люблю доныне! Отрок, я играл с твоими всплесками; юноша, я восхищался твоими зеркальными тишинами и грозными бурями с вышины мачты. Праздниками были мне те дни, те недели, которые мог я проводить на палубе, вырвавшись из душной столицы, сбросив свинцовые цепи педантизма. Помню, как, бывало, вахтенный лейтенант, шутя, отдавал мне рупор для поворота и с каким неизъяснимо сладким удовольствием командовал я: «право на борт» и «кливершкот отдай!». Как важно посматривал на вымпел, чтобы вовремя крикнуть: «грот-марса-булень отдай!» С этим магическим словом все реи, с рокотом блоков, переметывались на другую сторону, и корабль, подобно коню, который дрожит от ярости, но покоряется воле всадника, довершал оборот по слову тринадцатилетнего мальчика. Я высоко подымал брови, я гордо смотрел на небо, у которого уловил я ветер, на море, которое пробегал бесстрашно, на фрегат, которым повелевал по прихоти, коим мог повелевать даже по ошибке!.. Я уже постигал это; я чувствовал силу свою.

Море, море! тебе хотел я вверить жизнь мою, посвятить способности. Я бы привольно дышал твоими ураганами; валы твои сбратались бы с моим духом. Твои ветры носили бы меня из края в край, тобою разделяемые и тобою же связанные. Статься может, моя бы молодость проспала, как чайка, на твоих бурунах; статься может, отшельник света в плавучей келье, не знал бы я душевных гроз в заботе от гроз океана... но судьба судила иначе...

Ты не моя, прекрасная стихия, но все еще я люблю тебя, как разлученного со мною брата, как потерянную для себя любовницу! Сколько раз, мучим бессонницею в теплой постели, завидовал я ночам, проведенным на шлюпке, под ливнем осенним, под бурей и страхом, на драницу от смерти. Сколько раз, в противоположность тому, сожалел я, в грязи биваков, о зыбкой койке на кубрике, в которой засыпал, внимая журчанию скользящей вдоль борта воды над самым ухом и повременному оклику вахтенного лейтенанта на рулевых: «Держи вест-зюд-вест!» — «Есть так». — «Полшлага еще!» — «Есть».— «Держи так!» — «Есть так».

И теперь с холодным сердцем не могу я глядеть на зыбкую степь твою, по коей рыщут дружины волн, вни-

мать твоему реву и ропоту; ты говоришь мне родным языком, ты веешь мне стариною. Люблю я мечтать, склонясь над тобою, и переживать то, чего давно нет; люблю вскачь пускать коня моего вдоль песчаного берега, разбрызгивая твою пену, и любоваться, как волны смывают мгновенный след мой!

Это мое былое и будущее.

Так любовался Правин черными очами Веры, так гляделась она в голубые глаза Правина, глаза, которые чудной игрой природы осенены были черными ресницами, черными бровями и кудрями. Рука с рукой любовались они пенною колеей, взрезанной кормою, колеей, беспрестанно новой и беспрестанно исчезающей. Волны, как друзья, то улыбались им, то хмурились на них и, мерно поражая фрегат, звучали как стихи Пушкина; при солнце рассыпались радужными снопами, при луне — растопленным серебром; в темную ночь сверкали фосфорною пеною: корабль плыл в море света. И бездонное небо, то со своим ночным пологом, вышитым звездами, то с голубым шатром дня, у коего маковкой было солнце, то в бурной ризе из туч, так величаво и таинственно восставало над любящимися, что они безмолвно терялись в созерцании и в разгадывании. Очи, небо и море! море, очи и небо! Какого века было б достаточно, чтоб насытиться вами, наглядеться вами!! Но любовь дает душе тысячи граней: в них, в одно мгновение, отражается множество предметов, и все различно, все ярко, все блистательно. Так малейшая красота природы, пустая шутка офицеров за чайным столиком, смешная сказка матросов, усевшихся с трубками над лоханью воды у камбуза [1] под баком, страница книги, прочитанной вместе, давали нашим любовникам неистощимый родник споров и разговоров, порождали тысячи новых мыслей.

Правду сказать, им для этого было довольно досуга. Правин уступил гостям все свои каюты, за исключением самой маленькой в стороне. Беспечный супруг скоро привык к корабельной жизни; да и о чем было ему горевать? Повар с ним был отличный, живности вдоволь, следовательно любимое его изящное художество, то есть Plastik des Fliessenden (зодчество жидкостей), по выражению немецких мыслителей, шло как нельзя лучше. Потолковав

---

[1] У печи. *(Примеч. автора.)*

с художником поварни, он целое утро играл в кают-компании с мичманами в шахматы; за обедом подливал Стеллинскому бордо; после обеда отдыхал, а там опять та же история. Между тем как князь Петр живмя жил в кают-компании, между тем как иной шалун, лукаво улыбаясь, замечал, что самая слабая его игра — шах ферязи, капитану Правину припала необыкновенная охота к письменным делам: он беспрестанно сидел за астрономическими выкладками, у коих итоги были едва ль не взоры княгини, и за журналом своих путешествий вкруг обеих гемисфер.

Взгляните на карту: какое раздолье между Тигром и Ефратом приписано было земному раю для первой четы наших праотцев; мы не такие баловни, мы попривыкли к тесноте... Эдем наш уместиться может на одной полосе земли, в четырех стенах кабинета, в скромной каюте, где вам придется жить втроем с любовью и с тридцатишестифутовою пушкою. Если не верите, спросите у Правина и княгини Веры. К счастью ж Правина и княгини Веры, хотя к большой досаде всех его товарищей, бури и противные ветры замедляли их плавание, задерживали в портах, куда необходимо было зайти для освежения припасов и наливки водою. Так все относительно в этом свете. Вожделенна молния, когда указывает она потерянную дорогу. Ужасна заря, открывающая осужденному эшафот. Для путника первая блистает, как свеча пиршества; для преступника вторая, как лезвие топора. То, что рождало зевоту и побранки на устах моряков, внушало любовникам сладкие речи и еще сладчайшие поцелуи.

— Не бойся, милочка! — говорил Правин Вере, когда она страстно прижималась к его груди, внимая ударам разъяренных валов в состав фрегата.

— Мне ли бояться их,— возражала она,— когда я знаю, что каждая волна приносит мне лишнюю минуту счастья. Пускай дрожит от них дуб: мое сердце трепещет не от робости.

Оба любовника не выходили из забытья любовной горячки, забытья, оживленного наслаждениями и пламенными мечтами. Правда, минутная ревность злобно терзала сердце Правина, когда князь Петр приближался к Вере со своими насущными ласками, но тогда ее умоляющий взор, но после ее беззаветная преданность награждали его терпение, — и он упокоивался. Чистое сердце — точно вол-

шебная прялка: она выпрядает золото поэзии из самой грубой пеньки вещественности; любовь Правина, Веры была истинна: то была страсть, какой давно не видит и не верит свет. Они блаженствовали.

Я сказал, что противные ветры замедляли путешествие фрегата «Надежды»... без сомнения, любовь в том выигрывала; но едва не теряла в том служба, и очень много. Правин утопил в своей привязанности все другие заботы. Любоваться Верой, когда вместе, думать о ней, когда врозь, стало его любимым занятием. То задумчив, то рассеян, он мало обращал уже внимания на порядок управления парусами, на внутреннее устройство фрегата и команды. Только в бурях, только в опасностях пробуждался он от дремоты, схватывал трубу и грозным словом своим укрощал злобу стихий. Но с бурею утихал он сам и снова падал в досадное равнодушие ко всему, кроме предмета своей страсти.

Нил Павлович сперва лишь качал головою; потом стал пожимать плечами, а наконец без шуток начал журить Правина за его небрежение к службе.

— Я предсказывал тебе,— говорил он не раз,— что, кто начнет кривить против долга честного человека, против связей общества, тот, конечно, не минует забвения обязанностей службы. Полно ребячиться, Илья: твоя связь не доведет тебя до добра; ты можешь в эту игру проиграть здоровье и доброе имя,— кто знает, может быть самую жизнь; а что всего хуже, ты погубишь с собой и княгиню... это прелестное создание, которое стоит лучшего света и чистейшей судьбы. Грешно человеку с душою вербовать ее в дружину падших ангелов.

Правин сперва оправдывался — ссылался на пример других, на силу своей страсти. Потом он отыгрывался шутками, наконец стал молчать и сердиться. Советы друга ему наскучили, выговоры его досаждали ему. Не желание блага, а тщеславие своего превосходства находил он в прямизне Какорина. Его строгость называл он бесчувственностию, его неуклончивость — гордостью. Такова бывает участь всех тех, которые не поблажают нашим слабостям, которые дают лекарство, не обмазав медом края стакана. Мы терпеть не можем людей, которые угадывают наши тайные помыслы и дают им клички по шерсти; для нас обидно, когда собственная совесть заговорит чужими устами. Кстати ли послушаться кого-нибудь! Да что я за

ребенок? Да я разве не знаю, что делаю? У каждого свой ум-царь в голове! Я не люблю плясать по чужой дудке... Самолюбие засыплет подобными пословицами, как Санхо Панса, уколи его хоть булавкою. Холодность и принуждение разрознили старых друзей. Правин забыл, что с Нилом Павловичем делил он и детские забавы и опасности мужества; что его попечениям обязан был если не жизнию, то здоровьем, ибо, жестоко раненный под Наварином, за что произвели его после в капитан-лейтенанты, он целый месяц не мог двинуться, и Нил Павлович во все время его выздоровления не спал ночей, предупреждая все его желания и нужды, снося его причуды.

О! любовь — эгоистическое растение... Оно скоро разрастается по сердцу и скоро выживает вон все другие чувства!

Между тем, несмотря на бури, несмотря на ветры, несмотря на умышленные замедления ходу от капитана, давно остались назади дебристые острова и гранитные скалы Финляндии, рыцарский Ревель, коего шпицы и башни вонзаются в небо, словно копья великанов, и другой страж, противоставший ему с берега Швеции,— Свеаборг, опоясанный тремя ярусами батарей. Побывав в Копенгагене, пролетев Зунд, оставя Гельсинор за собою, фрегат миновал грозные утесы Дернеуса, крайнего мыса печальной Норвегии, и вошел в Немецкое море. Наконец Норд-форландский маяк, как звезда Венеры, блеснул ночью над зыбями... «Англия!» — радостно закричал матрос с форсалинга; [1] но этот блеск, этот звук зловеще поразили чувство обоих любовников... они сказали им близкую разлуку!

Князя Петра уговорили выйти на берег в Плимуте. Фрегату способнее было там освежиться, чтобы оттоль прямо спуститься в океан. А князю из Плимута до Лондона предстояло любопытное путешествие, избавлявшее его от лишних хлопот нарочно ездить посмотреть Англию и возвращаться обратно. Итак, фрегат несся по Ламаншскому каналу, ловя, так сказать, лишь пену видов Англии и Франции. Кале и Дувр мелькнули как сон;

---

[1] Верхний перекресток веревок на передней мачте. *(Примеч. автора.)*

скрылся и Спитгид, подобный вдали дикобразу от множества мачт, и Вайт — изумрудный перстень Англии. Берега Пертшира бежали, и, наконец, завиднелся Эддистонский маяк, истинный геркулесов столб, вонзенный рукою человека в подводную скалу. Величавый памятник воли — не той тиранской воли, которая воздвигла бесполезные пирамиды в бесплодных песках Египта, но воли благотворной, хранительной, которая зажигает для пловцов новые звезды, чтобы они, подобно оку провидения, неусыпно стерегли и блюли от гибели тысячи кораблей. Вправо открылся Плимут, славный своим портом, который защищен недавно великанским волнорезом (breakwater) от бурь океана. Англичане велики в полезном.

Но чудесность этого волнореза, но богатство города, но прелесть окрестностей и новость предметов не утешали любовников, которым каждый дом, каждый шаг на земле напоминал: вам должно расстаться! И, наконец, час разлуки пробил. И, наконец, должно было сказать: *прощайте* — слово — задаток терзаний разлуки; слово, которое, как железный гвоздь, вытягивается в бесконечную проволоку, в струну, из которой каждый повев ветра извлекать будет звуки печали. Должно было проститься, и проститься не так, как любовникам, как супругам, на груди друг друга, растворяя горесть слезами, иссушая слезы лобзаниями,— нет! должно было проститься поклоном, при опасном свидетеле, задавить слезу улыбкою, задушить вздохи приветами, желать счастья, нося ад в груди своей. И этот ад всегда удел тех, которые закладывают душу свою за чужое счастье, которые украдкою рвут плоды Эдема. Настоящий владетель снимает с них счастье, как праздничный кафтан с своего раба, и он не смеет молвить слова. Он прячет в сердце и поминку о том, будто краденую вещь; он краснеет благороднейшего чувства, как низкого поступка. Правин не помнил, как он вышел из комнат князя Петра. Он очнулся уже на фрегате, при клике боцмана: «якорь встал!», которому отвечало громкое *ура* шпилевых[1]. В руке его замерла карточка, всунутая в его руку княгиней Верою при расставанье. Но прежде чем прочесть ее — он прильнул к ней устами.

---

[1] То есть матросов, вывертывающих воротом якорь. *(Примеч. автора.)*

VI

Sic volo, sic jubeo, — sta pro ratione voluntas!

Iuvenal[1]

Тихо катился фрегат «Надежда» вдоль берегов Девоншира. Колокольни Плимута и лес мачт его гавани врастали в воды. Живописные местечки, цветущие деревни являлись и убегали, точно в стекле косморамы... Даль задергивала предметы своею синевою. Свежестью осеннею дышала земля; мирно было все в небе и на море; но вдали серые облака заволокли кругом горизонт, широкая зыбь грозно катилась в пролив, и западные склоны ее волн, встающие все круче и круче, предсказывали крепкий ветер с океана.

Вечерело. Нил Павлович, ворча что-то про себя, с заботливым видом поглядывал на туманное небо и на тусклое море,— он стоял на вахте.

— Не прикажете ли, капитан, убрать наши чепчики, то есть брамсели, разумею я, а вслед за ними и брам-стеньги? — спросил он Правина.

— Прикажите,— отвечал тот равнодушно.— Хоть я не вижу в этом большой нужды; посмотрите-ка: паруса наши чуть не левентих[2].

— Конечно так,— возразил Нил Павлович, немного уколотый таким замечанием.— Теперь пузо[3] наших парусов как передник десятилетней девочки; зато взгляните, как надуло свое море! Эдакая прожора! эдакой Фальстаф земного шара! Оно готово скушать и нас без перцу и лимонного соку! Прислушайтесь, как стало оно ворчать и разевать пасть свою!.. Нет, погоди ты, морская собака; мы еще не довольно грешны, чтобы познакомиться с твоею утробою, не исповедавшись на Афонской горе. Не придержать ли, капитан, круче к ветру, чтобы до ночи удалиться от берегов?

— Нет, Нил Павлович, мы спустимся в океан не ранее, как обогнувши мыс Лизард, чтобы, забравшись выше, да-

---

[1] Так я хочу, так я приказываю, —да будет воля моим доводом! *Ювенал (лат.).*

[2] То есть полощутся, висят не надувшись. *(Примеч. автора.)*

[3] Техническое выражение, округлость паруса. *(Примеч. автора.)*

леко миновать бурливую Бискайскую бухту. До той поры держаться надо параллельно берегу.

— Чтоб не прижало нас волнением к бурунам... Каменный утес — плохой сосед деревянному боку.

— Кажется, Нил Павлович не перешел еще меридиана жизни, за которым и самую робость величают осторожностию.

— Одной осторожностью больше — одним раскаянием менее, капитан!

— Риск — дело благородное, Нил Павлович! Не с вами ли ходили мы на гнилом решете между ледяных гор Южного океана,— и боялись ли тогда идти все вперед да вперед? Бывало, сменившись с вахты, чуть заснешь — смотришь, выбросило из койки, а сквозь пазы хоть звезды считай. Что такое? Стукнулись о льдину... течь заливает трюм, качка тронула из гнезда мачту! Да тонем, что ли? «Нет еще»,— отвечают сверху. И мы засыпали опять богатырским сном.

— Это правда, капитан: мы засыпали, но это было оттого, что вы не были командиром судна, а я первым лейтенантом, как теперь. На нас не лежал ответ даже за свои души, нам с полгоря было тогда тонуть, не раскрыв даже одеяла, боясь простуды. Теперь иное дело: от нас бог и государь требуют сохранения корабля и людей.

Капитан не слыхал окончания этой речи: он уже в глубокой думе стоял на подветренной сетке, устремив свои очи на волны.

Какое странное действие производят они на воображение тронутого человека. Игра их отражается в нем будто в зеркале. Самые мечты его колышутся, возникают, опадают в нем вещественно и, не образуясь ни во что определенное, сливаются с морем, не оставя по себе следа. Так было и с Правиным. Любовь его была глубока как море, кипуча как море, сердце его было на время оглушено разлукою, и оно очнулось лишь тут; оно пробудилось, как младенец, подкинутый безжалостною матерью к чужим воротам зимою,— и первый звук, из него вырвавшийся, был болезненный крик отчаяния. Нерассветающий мрак, убийственный холод — вот что отныне будет его тюрьмою и пыткою. Люди не сохранят для него в гостинец ни одной радости. Уединение не даст ни одной светлой мысли. Опустошает, как Тимур-Ленг, душу разлука, душу человека, одаренного мыслию и чувством! Он отчуждил ее, он

перелил ее в бытие милой, он сплавил свои мысли с ее мыслями, свои чувства с ее чувствами. Как чудные близнецы, сердца их срослись в одно целое,— и вдруг это целое разорвано, разбито, разброшено судьбою. Такой человек теряет вдруг все, потому что он все отдал; он не верит надежде, потому что забрал слишком много у прошлого, потому что он в часах истратил годы счастия. Лишь одно воспоминание вползает в развалины, как змея. О воспоминание! ты льешься тогда горючими слезами из очей, каплешь кровью из сердца. Разлука встает между любящимися, будто ледяная стена, и на ней, словно в волшебном фонаре, изображается в тысяче видах все былое. Вторится каждая прелесть, каждое слово неги и нежности! Чародей, она воскрешает ласки, уносившие нас до восторга, утоплявшие нас в небесном самозабвении, зажигает вновь взоры и поцелуи, и когда на устах разгорается жажда лобзаний, когда кровь пышет, когда сердце рвется слиться с другим в пламени взаимности,— рука, и уста, и сердце встречают лед и мечта тонет в мерзлой реке, подобно голубку, опаленному пожаром. Тогда, о, тогда невольно рождается вера в злое начало, в самовластие Аримана, в силу ангела тьмы! Кажется, чувствуешь тогда его мертвящее дыхание, видишь во тьме его злобные очи, внемлешь его адский смех за собою.

Мрачней, все мрачней становилось море, и с ним заодно чернели думы Правина. Грудь его вздымалась тяжело, будто свинцовые валы обливали ее своею тяжестию, будто лежала на ней колоссальная рука судьбы. Он смотрел на полет чаек: они одна по одной отставали от фрегата и с жалобным криком исчезали в туманном небе.

«С вами,— думал он,— улетают мои последние радости, и когда Англия, эта раковина, хранящая жемчужину моей души, исчезнет из глаз моих, не все ли равно, что я схороню ее в океане... Когда случай сведет нас? где могу я встретить ее? А между тем я, бедный скиталец, останусь над бездною один-одинок!»

Как обыкновенно звучат эти слова! Раскройте словарь, и вы с трудом их отыщете на странице. Как грамматическое орудие, они ничем не отличны от своих собратий; но как выражение мысли, как символ чувства, как след дела — я никогда не могу прочесть или услышать их, чтобы сердце мое не сжалось. Один бог может быть одинок

без скуки, ибо в лоне его движется все. Только бог может быть один без сожаления, потому что нет ему равного.

Предвещания, предчувствия теснились в сердце Правина: сильные страсти нас делают суеверными. Но к ним прививалась и ревность, которой не мог отрицать ничей разум.

«Она будет в Лондоне и в Париже, — думал он, — и кто порука, что в вихре рассеянности она не забудет меня! Притом, устоит ли она противу обольщения, вооруженного всеми прелестями дарований, ума, славы, красоты, моды? устоит ли против собственного тщеславия? И я, неопытный, ни разу не дерзнул ей напомнить о верности, связать ее клятвою! О, как бы я желал еще хоть час побыть с нею, услышать ее обет верной, вечной любви, умолить хоть из жалости не изменять мне и, если суждено нам судьбою не видаться более, проститься с ней не равнодушным знакомцем, как это было в Плимуте, но страстным любовником, наедине, слить наши слезы и пламенным поцелуем запечатлеть пламенную любовь!»

Он вынул из кармана последние слова княгини, написанные карандашом на обороте карточки адреса лучшего трактира в местечке... (мы назовем его Ляйт-Борут), куда сбиралась ехать сегодня же княгиня, отдохнуть вдалеке от шуму и пыли, покуда сошьют ей в Плимуте английский костюм. Ей так расхвалили здоровое местоположение и живописные окрестности этого Ляйт-Боруга... ей так необходимо поправить свою слабую грудь после морского путешествия. Князь приедет за нею дня через три, и вместе отправятся в Лондон; и теперь княгиня должна быть уже там, и его фрегат против самого Ляйт-Боруга, и до берегу не более двух миль! Все это пришло вдруг на память Правина. Он несколько раз поворачивал карточку, и каждое слово ее казалось теперь ему чертами света, — они загорались подобно электрическому фейерверку от прикосновения проводника. Недоконченная речь: «Ангел мой, я твоя...» принимала тысячу разных смыслов, и все они сходились к одному: свиданье или смерть! Для чего ж иного она хотела ехать в Ляйт-Борут? Для чего иного написала свое таинственное посланье на карточке адреса?..

«Свиданье или смерть!» — молвил себе Правин.

— Нил Павлович! — сказал он, быстро обернувшись к лейтенанту, — прикажите спустить с боканцев мою десятку: я еду на берег!

— На берег? вы, капитан, едете на берег? — с изумлением спросил Нил Павлович. — Этого быть не может.

Правин важно посмотрел на лейтенанта.

— Желал бы я знать, почему не может этого быть? — с ирониею возразил он.

— Потому, что не должно, капитан!

— Нил Павлович будет, конечно, так добр, что растолкует, почему это?

— Я думаю, вы лучше всех знаете, капитан, что, глядя на вечер, опасно пускаться в прибой для шлюпки; еще опаснее ложиться в дрейф для фрегата, когда буря на носу. Притом это напрасно замедлит путь.

— Оставьте мне знать, что напрасно и что надобно. Я так хочу — и оно так будет. Прикажите сейчас спустить шлюпку!

Нил Павлович поздно заметил, что он ошибся в расчете, обращаясь к Правину как к начальнику и между тем противореча как другу, вместо того чтобы обратиться к другу и уговорить капитана.

— Ты сердишься, Илья? — сказал он, подошедши к нему ближе, — и, право, напрасно. Посмотри на небо и на море: они хмурятся на нас, будто судья на уголовного преступника. Не покидай же фрегата в такую пору: не клади на себя упрека, что ты уехал от опасности!

— Я, я, бегу от опасности? Послушай, Нил... на свете не было другого, кроме тебя, кто бы осмелился мне сказать это; и нет никого, кто бы сказал это дважды. Я довольно жил и служил, чтобы меня не подозревали в трусости!

— Илья, Илья! прочь от меня укор в подобном сомнении. Не отвага, а благоразумие тебе изменяет. Не в трусости, а в безрассудстве станут обвинять тебя, если ты поедешь... Ну, чего боже сохрани, если без тебя что случится!..

— Кажется, Нил Павлович боится ответственности, когда останется старшим.

— Не ответственности, но вреда судну и людям боюсь я. Неплохой я моряк, Илья Петрович, ты знаешь это; зато я сам знаю, что ты моряк лучше меня. Лежать в дрейфе, дожидаясь тебя в бурную ночь вблизи камней, — право, не находка. Друг, Илья! отложи свое намерение, — взяв его за руку, с чувством продолжал Нил Павлович, — волнение развело огромное — видишь, как сильно поддало!

В самом деле, вал расшибся о скулу фрегата и через сетку окропил брызгами обоих друзей. Фрегат вздрогнул, но сердце капитана осталось спокойно, — ему ничто не казалось зловещим. Любовь ослепляет самый опыт и дает какую-то темную веру, что природа может иногда изменять свои законы для любовников. Правин отряхнул брызги и тихо отвел руку Нила Павловича.

— Пустые страхи! — произнес он. — Еду, хочу ехать!..

— Твоя воля мне закон, но воля, а не прихоть. Не сердись, что я круто говорю тебе правду, я не придворный. Будь муж, Илья! Ты уж и то много потерял во мнении товарищей через свою предосудительную связь; ну да прошлое прошло, бог с ним! Распростились — баста! Нет, так давай еще амуриться. Сам посуди: стоит ли рисковать царским фрегатом и жизнью этих добрых людей, даже собственною славою, для масленых губок твоей беспутной княгини?

Капитан вспыхнул.

— Прошу вас, г. лейтенант, быть не очень тароватым на осужденье особ, которых вы хорошо не знаете. Вместо того чтобы разбирать поведение вашего капитана, лучше бы вам исполнять его приказания.

— А! — молвил тогда обиженный в свою очередь Нил Павлович, отступая и возвыся голос. — Вам угодно говорить мне как начальник подчиненному? Так позвольте мне, в лице вахтенного лейтенанта, заметить вам, капитан, что вам неприлично отлучаться со вверенного вам фрегата перед бурею, зная, что этим вы подвергнете его неминуемой опасности.

Нил Павлович брызнул маслом на огонь.

— Вы, сударь, не судья мне! Прикажите, сударь, спустить шлюпку, говорю я вам! — вскричал Правин в запальчивости. — Не заставьте меня самого приказывать. Знайте, что если вы меня выведете из терпения, я могу забыть и прежнюю дружбу и долгую службу нашу вместе.

— Мне кажется, капитан, вы уже забываете ее, оставляя свой пост. Я гласно протестую против вашего отъезда и прошу записать мое мнение в журнал.

— Г-н штурман! — гневно воскликнул капитан, — запишите в журнал слова г-на лейтенанта Какорина и прибавьте к этому, что он арестован мною за ослушание. Отдайте, милостивый государь, ваш рупор лейтенанту Стрелкину и не выходите из вашей каюты. Шлюпку!

— Пусть нас судит бог и государь! — горестно сказал Нил Павлович, уходя. — Но вспомните мои слова, капитан... вы дорогою ценою купите горькое раскаяние!

Капитан корабля, беспрестанно находясь на службе и вблизи своих офицеров, поневоле облекается недоступностию, чтобы подчиненность не исчезла от частого товарищества. Правин, как и всякий другой, скоро привык к безусловному повиновению, а тут Нил Павлович, не умея взяться за дело, раздражил вдруг и страсть и гордость Правина будто нарочно. Затронутый за живое, он счел обязанностью сделать наперекор своему другу.

Отдав все нужные приказания молодому лейтенанту, Правин спрыгнул в катер. Десять лихих гребцов ударили в весла и скоро, выбравшись на ветер, поставили паруса. Катер покатился с волны на волну, между тем как седая пена забрасывала мгновенный след его, будто ревнуя, что утлая ладья презирает ярость могучей влаги.

VII

И в думе нет, что наслажденье — прах,
Что случая крыло его уносит,
Что каждый маятника взмах
Цветы минутной жизни косит.

А. Б.

Свечи догорали в комнате княгини Веры, в гостинице Ляйт-Боруга. Било три часа за полночь, и счастливец Правин вырвался из объятий своей страстной и прекрасной любовницы.

— Возможно ли! — сказал он, — уже близко утро, целая ночь испарилась, как поцелуй!

С диким восклицанием поднялась с дивана княгиня, глаза ее впились в Правина...

— О, не говори мне об утре, не напоминай о разлуке: я не пущу тебя... ты сам не покинешь меня... не правда ли? — продолжала она с ребяческою нежностию, привлекая его на свою грудь. — Мой Илья не будет так жесток — он не предаст меня отчаянию, я не отдам тебя морю!.. Слышишь, как сечет ливень в окна, как завывает буря!..

Правин в половине поцелуя оторвал уста от коралловых уст княгини и заботливо прислушивался к шуму сра-

жающихся стихий. Мысль о шторме, о бедствии, в котором мог быть его фрегат, прожгла его мозг. Страшно было видеть его побледневшее лицо подле томного лица княгини, подернутого прозрачным румянцем неги... Вера была тогда прелестна, как страстное желание поэта, в котором более неба, чем земли; Правин со своими мутными очами походил на раскаяние, пробужденное страхом.

— Спасите! — вскричал он, наконец, безумно, — фрегат мой тонет... Слышите ль выстрел, еще выстрел, еще?..

Буря будто притихла с усталости... какой-то гул замирал вдали, под скалой зверем ревело море... но кругом все было тихо, до того тихо, что слышно было падение капель с кровли и бой испуганного сердца княгини.

— Нет, мой бесценный, ты ошибся — то были удары грома. Может ли быть несчастлив кто-нибудь в то время, когда мы так счастливы!

Правин с какою-то неистовою негою упал в объятия Веры.

— Ты моя! Вера моя! Что ж мне нужды до всего остального, — пускай гибнут люди, пускай весь свет разлетится вдребезги! Я подыму тебя над обломками, и последний вздох мой разрешится поцелуем!.. О, как пылки, как жгучи твои уста в эту минуту, очаровательница!.. Знаешь ли, — промолвил он тише, сверкая и вращая очами как опьянелый, — ты должна любить меня, уважать меня, поклоняться мне более чем когда-нибудь... Знаешь ли, что я богаче теперь Ротшильда, самовластнее английского короля, что я облечен в гибельную силу, как судьба? Да, я могу сорить головами людей по своей прихоти и за каждый твой поцелуй платить сотнею жизней — не жизнию врагов, о нет! Это может всякий разбойник. Это слишком обыкновенно... Нет, говорю тебе, я бросаю на ветер жизнь моих любимых товарищей, моих друзей и братьев, а за них во всякое другое время готов бы я источить кровь по капле, изрезать сердце в лоскутки!

Трепеща, внимала княгиня этим несвязным речам, не вполне понимая их.

— Ты меня ужасаешь, милый! — говорила она. — Илья! ты уморишь меня со страха!

— Умереть? кто говорит умереть — вздор! Теперь-то и надо нам жить, потому что одна любовь стоит назваться жизнию; ты сама прелестна как жизнь, Вера! — произнес он, обтекая ее взорами, пожирая лобзаниями. — Ты бо-

жественна как смерть, потому что заставляешь забывать все, потому что заключаешь в себе рай и ад. Помнишь ли обет мой отдать тебе и за тебя душу! Вот она! вот она вся... Я не продавал ее по мелочи за ничтожные радости, не променивал ее на золото. Девственну и чисту сохранил я ее до сих пор — и теперь бросаю ее к ногам твоим, как разорванный вексель. Дорого, о, невообразимо дорого ты мне стоишь, милая! но я не раскаиваюсь, я заплачен выше цены.

С каким-то судорожным восторгом он притиснул к своей груди княгиню; та робко отвечала на его ласки. Со своими воздушными формами она казалась с неба похищенною пери на коленях сурового дива; и, наконец, уступая оба неодолимому очарованию страсти, они слились устами, будто выпивая друг из друга жизнь и душу.

Часы могли бить, петух петь, не возбуждая любовников из упоительного забытья; но они пробудились не сами. Страшный, как труба, пронзающая могилы и рассевающая льстивые грезы грешников, раздался над ними голос... Сердца их вздрогнули — перед ними стоял князь Петр ***!

. . . .

. . . .

. . . . .Она вырвала пистолет из руки Правина и почти без чувств прильнула к его плечу. Он бережно опустил ее на кресла и, потупив очи, но подняв брови, обратился к обиженному супругу.

— Час и место, князь! Я знаю важность моей вины, знаю требования чести...

Физиономия и осанка князя, весьма обыкновенные, одушевились в то время каким-то необычайным благородством. Ничто так не возвышает язык и движения человека, как негодование.

— Требования чести, м. г.? — отвечал он гордо, — и вы говорите мне о чести в спальне моей жены? Вы, которого я принял к себе в дом как друга, которому доверился как брату, и вы обольстили мою жену — эту женщину, хотел я сказать, — запятнали доброе имя, пустили позор на два семейства, отняли у меня дом и лучшую отраду мою — любовь супруги, вы, сударь, одним словом, похитили честь мою и думаете загладить все это пистолетным выстрелом, прибавя убийство к разврату? Послу-

шайте, г-н Правин: я сам служил моему государю в поле, и служил с честью. Я не трус, м. г., но я не буду с вами стреляться; не буду потому, что нахожу вас недостойным этого. Не буду потому, что не хочу вовсе бесславить ни себя, ни жены моей. Пусть это происшествие умрет между нами, но между мной и ею с этих пор не будет менее ста верст. Чужая любовница не назовется с этих пор моею женою. Мы разъезжаемся, и навек! Она богата — стало быть, найдет и утешенье и утешителей. Это мое неизменное слово, это святая клятва моя. Для света можно сказать, будто мы поссорились за пелеринку, за модное кольцо — за что угодно. Вот все, что я имею сказать вам, только вам, сударь! Эта неблагодарная женщина не услышит от меня ни одного упрека; она не стоит не только сожаления — даже презрения. Я добр, я был слишком добр, но я не из тех добряков, которые терпят добровольно. С вами я надеюсь встречаться как можно реже, с нею — никогда! Я еду в Лондон; я оставляю вас наедине с этою бессовестною женщиною и с вашею совестью и уверен, что вы не будете долго ссориться все трое!

Обиженный супруг закрыл глаза руками, но крупные слезы прокрадывались из-под них... Он медленно отворотился... Он вышел.

Княгиня рыдала без слез, на коленях, склоня голову на подушку дивана. Правин стоял в каком-то онемении, сложа на груди руки; он не мог ничего сказать на отпор князю, потому что внутренний голос обвинял его громче обвинителя; он не мог промолвить никакого утешения княгине, для того что не имел его сам. Эгоизм страсти предстал перед него тогда во всей наготе, в своем зверином безобразии! «Ты, ты, — вопияла в нем совесть, — разбил этот драгоценный сосуд, бросил в огонь эту мирру, для того чтоб одну минуту насладиться благоуханием. Ты знал, что в ней заключен был талисман счастия, завет неумолимой судьбы, слава и жизнь твоей милой, знал — и дерзко изломал печать, как ребенок ломает свою игрушку, чтобы заглянуть внутрь ее. Взгляни же теперь на душу Веры, тобою разрушенную, полюбуйся на сердце ее, которое ты вырвал и бросил в добычу раскаянию, на ум, который с этих пор будет гнездом черных мыслей, укорительных видений, — и для чего, для кого все это?.. Не лицемерь, не прячься за отговорки: все это было *для себя, для собственной забавы;* ты не боролся с своею страстью,

не бежал от искушения, не принес себя в жертву, — нет, ты, как языческий жрец, зарезал жертву во имя истукана любви — и сам пожрал ее. В какой свет, в какое общество сбросил ты княгиню? Отныне в каждом поклоне будет она видеть обиду, в каждой улыбке — насмешку, в родном поцелуе — лобзанье Иудино; везде будут казаться ей качание головою, и перемигивание, и лукавый шепот; самый невинный разговор будет колоть ее шипами, самую дружескую откровенность вообразит она вызнаваньем, вся жизнь ее будет горечь сомнения, и подавленные вздохи, и слезы, снедаемые сердцем!..»

Да, ужасное похмелье дает нам упоение страстями! Изможденные телом и духом, мы пробуждаемся перед судом для того, чтоб услышать приговор неумытных жюри, которые из глубины души произносят страшное guilty — виновен!

Правин отвел очи от княгини. Уже светало, и взоры его сквозь чистое окно упали на беспредельное море. Оно было мрачно и пусто, подобно его душе. Огромные валы, словно стада китов, рыскали и плескались в пространстве, и вдруг между ними мелькнул корабль, — только образы его во мраке и тумане были так неясны, что суеверный моряк сказал бы: «это корабль-привидение, осужденный вечно скитаться по океанам с проклятыми своими пловцами». С тяжким биением сердца, не переводя духу, следил его Правин, но корабль, одетый сумраком, исчезал, и снова обозначался, и снова сливался, как облако с облаками. Буря уменьшилась, но черные тучи ходили еще по небосклону взад и вперед, как победители, которые считают трупы убитых.

Наконец заря облила воздушною кровью и тучи и волны с востока; туманы и сомнения Правина рассеялись. Замеченное им судно было точно фрегат «Надежда», но в самом бедственном положении, без стеньг, с изломанной фок-мачтой и бушпритом, с искривленными реями. Два или три стакселя[1], поднятые вполовину, казались последними усилиями борьбы с судьбою, влекущей его на скалы. О, велик бы был тот сердцеведец, кто физиологически разложил бы тогдашнее восклицание Правина: «и это!», кто рассказал бы нам едкость отравы, проникнувшей его сердце, или степень мук от угрызения совести!

---

[1] Косые паруса. *(Примеч. автора.)*

Лесажев бес снимал кровли, но если б он снял череп с головы Правина и заглянул в ум его, он бы содрогнулся от ужаса и адский даже язык прильнул бы к гортани.

Стиснув рукою чело, как будто от страха, чтобы голову его не расторг вихорь мыслей, с кровавыми пятнами по лицу, с очами, кои, подобно маятнику, ходили от фрегата к княгине, от моря к любовнице, Правин был живой образ казни между двух жертв, между двух преступлений: против нравственности и службы.

Наконец долг победил страсть. Правин горячо поцеловал в лоб княгиню и произнес:

— Вера, прости меня — и прощай!! Нам должно расстаться: фрегат бедствует!

Львицей, у которой уносят последнего детенка, вскочила Вера.

— Бедствует, фрегат твой бедствует!.. И ты, злобный человек, можешь говорить мне об этом, будто я на розах, будто сама я не бедствую! Ты жалеешь дерево, жалеешь чугун и безжалостен к сердцу, тебе отданному, тобой разбитому; бросаешь меня на съеденье отчаянию. Для тебя я забыла все, отдала все, — и ты все это забываешь! Нет! Ты мой, мой навечно: я купила тебя, я выменяла тебя на мое счастие здесь, на рай мой там! Не правда ли, ангел мой! ты мой? Ты не покинешь меня в таком положении: кроме тебя, у меня нет покровителя. За час перед этим я имела имя, отечество, семью, друзей, — ты оборвал с меня все это, как эти цветы; как эти цветы, растоптал ты их пятою! И я не жалею о них, покуда ты со мной. Твое сердце мне будет родина, твои объятия — родные, твои речи — подруги мои; ты будешь свет мой, мир мой... О, не покидай же меня, не убивай меня!!

И она нежно обвивала Правина своими прозрачными руками; и она обольстительно шептала ему несвязные речи. Но мужчина может забыться — не забыть беды, его окружающие, и в то время, когда женщина множит любовь своими пожертвованиями, своим несчастием, когда она в целом мире не думает ни о чем, кроме любви, мужчина самою жестокостию бед возбуждается из душевного расслабления — он уже ищет, как бы поправить дело.

— Душа моя, душа моей души, прошлое невозвратно, но подумай о будущем!.. Его еще можно заставить служить нам. Я съезжу на фрегат, чтоб пособить повреждениям и не допустить до крушения. Ты теперь свободна —

ты можешь ехать куда хочешь, — спеши в Италию! Там я встречу тебя в каком-нибудь приморском городе, в одном или в каждом из портов Средиземного моря. Позволь же мне отлучиться: это необходимо для спасения обломков моей чести, для спасения, может быть, пятисот моих товарищей. Честное слово тебе даю, что завтра вечером я буду в твоих объятиях... Посмотри, буря утихает!..

Долго и пристально смотрела княгиня в глаза Правина.

— Ты меня не обманываешь, — с тяжким вздохом сказала она, — но разве не может обмануть нас судьба!.. О, не езди, мой милый... мне что-то говорит, что мы не свидимся более... по крайней мере не говори мне *прощай!* — мне ненавистно это слово. В твои руки, Илья, отдаю я свое сердце, — примолвила она, залившись слезами, — в руку бога поручаю твое.

Она упала на колени перед окном, будто умоляя свирепое море пощадить ее друга; потом очи ее слились с небом — она молилась, горячо молилась; и кто бы не сказал, видя это прелестное лицо, дышащее чистою верою, орошенное слезами умиления, что ангел молит небеса о спасении грешника. Она обратилась к Правину с улыбкою грусти, с простертыми устами, чтобы встретить его прощальное лобзанье, проводила его взорами и упала без чувства на холодный пол гостиницы.

— Ребята! — крикнул капитан своим гребцам, лежащим подле вытащенной на берег шлюпки, — мне непременно должно быть на фрегате, — если умирать, так умирать вместе с товарищами! Едем!

— Рады стараться! — закричали в один голос удалые гребцы. Они привыкли каждое желание капитана считать святым, каждое слово правдивым и разом сдернули десятку на воду.

Но не так легко было выбраться из бухты. Шумные буруны ходили стенами и отбрасывали назад катер. Четыре раза, разгребая в упор, силились гребцы переметнуться за спорный вал — и четыре раза, черпая носом воду, уступали ярости удара. Утроив силы, улучив способный миг, удалось, наконец, им выбраться в море, но море еще кипело и бушевало, раскачанное ночною бурею. Валы сливались в огромную зыбь: вставали и падали неправильными рядами и, взбрасывая катер как щепку, грозили залить или поглотить его. Ветер бил на берег, и по-

тому пришлось идти на гребле. Волнение выбивало из уключин весла, два человека беспрестанно отливали воду: в катер поддавало со всех сторон.

На руле сидел заслуженный урядник, который свыкся с бурями и опасностями как с лишнею чаркою водки, для которого, по собственному его выражению, море было масленица, а девятый вал — милее девятого блина. Он прехладнокровно глядел то на свой нос, то на нос катера, наблюдая, чтобы он не рыскал. Казалось, все, что совершалось кругом его, было ему совершенно чуждо. Всегдашний спутник поездок капитанских, он уже ознакомился с его нравом и знал, когда можно было молвить ему словцо-другое.

— Смею спросить, Илья Петрович, — сказал он капитану вполголоса, — сны иногда бывают, то есть, от бога?

— Случается, — отвечал рассеянно Правин.

— Я чай, что от бога, ваше высокоблагородие! Да и как залезть лукавому в христианскую голову, когда на ночь перекрестишь лоб. Я вчерась, то есть, кажись, положил крест даже на изголовье; с крестом, изволите видеть, ваше высокоблагородие, мягко спать и на камне, а все-таки привиделся мне чудный сон... Грянь, други, грянь — проводи дальше весла!.. И такой сон, то есть, что ума-разума не приложу разгадать его... Ну, девятый прокатился! Виделось мне, будто у нас на «Надежде» смотр не смотр, праздник не праздник, только народу кишмя кишит: генералов, адмиралов, штабства — видимо-невидимо. И все словно наяву пьют и закусывают; только все молчок; такая тишь, что муху бы услышал. И вот, то есть, будто кто-то крикнул: «Смирно!» Команда наша выстроилась на шканцах, глядим, гости потянулись мимо нас, а сами заглядывают в глаза. И шли будто, шли — конца не видать. Вдруг, то есть, откуда ни возьмись, и ваше высокоблагородие — в полном мундире, только через плечо вместо ленты красный флаг: не ведь гюйс, не ведь какой сигнальный. А идете будто вы под ручку с какой-то барынею — лицо открыто, а лица не видать!.. Ну, други, ну, навались! что зазевались на зайчиков! И вот остановились будто вы, Илья Петрович, как теперь гляжу, передо мною. «Выйди вперед, Гребнев! — сказали мне и положили руку на мое плечо, да и молвите барыне: — Я и его беру с собою, он довольно послужил, надо успокоить его старые кости!» То есть, видно, в отставку выйдете, да и меня,

старика, в дворецкие возьмете, — буду я себе в ту пору посвистывать в ключ вместо этого свистка. Ну, да не о том речь, в. в—е! Глядь будто я на себя, да так и сгорел — на мне вместо куртки белая рубашка! Просыпаюсь, а сердце будто вырваться хочет, — насилу открестился. Что бы это значило, в. в.?

Правин невольно впал в глубокую думу. Смутная мысль о смерти пала на душу впервые, и в этот раз она ничего не имела в себе отрадного. Умереть, утонуть, не помирившись с совестью добрыми делами, не выкупив у прошлого проступков своих блестящими поступками!.. Он вспомнил, что тонкая дощечка отделяла его от влажной могилы, — и содрогнулся он и обозрелся кругом: море крутилось страшно; фрегат был близок, но зыбь валяла его с боку на бок так сильно, что медная обшивка обнажалась до киля, сверкая будто броня великана; потом вал снова закрывал корпус, так что чуть виднелись снизу марсы. Полкабельтова, не больше, оставалось до борта, но борт был опаснее всякой скалы: прибой расшибался, воя, о ребра его и широкими всплесками грозил каждый миг валить и опрокинуть катер.

— Молись, Гребнев, Николаю Угоднику, — сказал капитан, ударив урядника по плечу, — молись: матросские молитвы до неба доходны. Если мы счастливо пристанем к борту, ты будешь нянчить внуков моих.

— Крюк! — закричал урядник; с борту кричали: «Лови, лови!» Роковая минута настала. Глаз капитана не обманулся в степени опасности: сон Гребнева упал в руку...

VIII

К ночи того же дня ветер совершенно стих, море опало. Оно едва-едва дышало будто от усталости и что-то шептало, засыпая. Обломанный фрегат «Надежду» прибуксировали ближе к берегу, и он лежал уже на якоре. Работы на нем кипели; скрип блоков, треканье и удары мушкелей раздавались повсюду. Ставили запасный рей вместо потерянной мачты, переменяли стеньги, такелаж; починивали изломанные сетки. Помпы хрипели, будто больной; палубы изображали прекрасный отрывок хаоса. Везде царствовала суета, но в ней не было души: матросы работали без песен, без сказок; тихо перемолвливались и печально

качали головою; видно было, что свершилось какое-то важное несчастие.

— Что, нет надежды? — спросил один мичман лекаря Стеллинского, который вылезал из-под сукна, коим отделялся лазарет от палубы.

— Никакой, — отвечал тот, — лекарства ему так же бесполезны теперь, как трубка табаку. Пусть подшкипер снимает с него мерку на саван.

— Жаль! Гребнев был лихой урядник. Ну, а из вчерашних, ушибленных сорвавшимся реем?

— Двое будут живы; остальные ж трое отправятся сквозь порт туда же, куда слетели семеро сверху.

— Худо, очень худо! Десять жертв с фрегата и шесть с капитанского катера — это не безделица! У меня душа замерла, когда со всего размаху ударился катер в борт, — только щепки брызнули! Одного гребца в моих глазах размозжило о руслени; другого прищемило днищем и расплющило как пуговицу. Ну, да это все не беда, лишь бы жив остался наш капитан; вы давно проведывали его, Стеллинский?

— С полчаса назад; он потерял много крови, — проклятый гвоздь с изломанной доски шлюпки глубоко вонзился ему между ребрами; я насилу мог остановить кровотечение. Однако теперь горячка стихла, и он вообще больше болен духом, чем телом: affection mentale [1]. Он, видите, нервозного сложения: на него крепко подействовало повреждение фрегата и гибель людей. Если бы нам, медикам, случалось приходить в отчаяние от ошибок, так пришлось бы задавиться турникетом после первого дежурства в клинике.

— Слава богу, доктор, что добрые люди не вдруг привыкают к чужой гибели, притом, кроме худой славы перед своими и англичанами, не мудрено, что капитан наш поплатится за свою прогулку эполетами.

— Неужели ж его отдадут под суд за мачту?..

— Да, Стеллинский! Не дай бог попасться под военный суд: это хуже вашего консилиума, — и между тем это вероятно. Государь, правда, лично знает Правина и после наваринского дела сам назначил его командиром фрегата; начальство уважает его, но сами вы знаете, что служба ни шутить, ни лицеприятничать не любит.

---

[1] Душевное расстройство *(фр.)*.

— Да, да! это будет невозвратная потеря для флота!

— Впрочем, делайте вы свое дело, а мы, офицеры, обработаем свое. Разве нельзя три четверти вины пустить на ветер? С бурями так же, как с вашими болезнями, все шито да крыто.

— Дай бог, дай бог!

Лекарь вошел в капитанскую каюту.

Кто бы узнал в этом бледном, изможденном страданиями теле вчерашнего Правина, цветущего здоровьем, кипящего надеждою? Расшибленная голова его была обвязана полотенцем, лицо мерцало могильною белизною, зрачки не двигались в глазах, охваченных синим кругом, — они лишь расширялись и сжимались повременно. Подперши левою рукою голову, правой держал он за руку Нила Павловича, который сидел у него на кровати и с ним разговаривал. У обоих остатки слез дрожали на щеках.

— Нилушка! не оправдывай меня; отлив крови — прилив рассудка: я вижу теперь, что во всем виноват сам, — один я буду в ответе. Останься я на фрегате — все бы шло хорошо. Не арестуй я тебя, мы не потеряли бы ни одного лисель-спирта. Не вини Стрельникова: он молодой офицер, он новичок-лейтенант, и если спустился под шквалом на фордевинд, не убравшись даже с ундерзейлями, — это оттого, что он никогда не бывал в подобных обстоятельствах...

— Впрочем, — сказал ласково Нил Павлович, — все зависит от того, в каком виде представим дело начальству.

— Неужели ты думаешь, друг мой, что я стану лгать в извинение? Ни в чем, никогда! Завтра же рапортую о несчастном случае императору и адмиралтейству — и все, как было, все без утайки. Ты простил меня, — может статься, накажет слегка и начальство; но могу ли я простить самому себе — успокоить совесть за смерть людей!

— Грот-марса-рей сорвался случайно. Второпях, в потемках один урядник отдал топенант вместо грот-стенг-стаксель-фала, и люди полетели долой. Это могло случиться и при тебе.

— Я уверен, что ни при мне, ни при тебе не было бы суматохи, не было бы и торопливости... А гребцы мои, а?.. — Правин вздернул одеяло на лицо и несколько минут безмолвствовал. Только содрогание одеяла доказывало, что он под властию ужасного чувства. Наконец, он открылся. — Нил, тебе известно все, — сказал он, — были про-

ступки и в прежней жизни моей, но я бы отдал смерти половину дней, назначенных мне жить, и посвятил бы остальную на благодарность богу, если б можно было вычеркнуть из бытия последние двадцать четыре часа...

— И я, я преступник, — вскричал он, помолчав с минуту и потом подымаясь на ложе, — я, который играл царскою доверенностию, который обольстил, погубил любимую женщину, обидел друга, запятнал русский флот, утопил шестнадцать человек, для насыщения своей прихоти, — и я-то думаю жить! Нет! Я не переживу ни своей чести, ни своей души; я не хочу, я не должен существовать. Море взлелеяло меня, море дало мне свои бурные страсти — пускай же море и поглотит их: только в бездне его найду я покой! Если суждены мне муки за гробом, то пусть мучусь вне тела, без сердца, одной душою!.. Это уж выигрыш!.. Смерть, ты улыбаешься мне, как Вера... Приди, приди!

Он страшно восклицал, он жадно простирал руки к какому-то незримому предмету, он был в исступлении.

— Горячка снова им овладела, — сказал на ухо Нилу Павловичу лекарь, — надо употребить утишающие средства, и завтра же будет mens sana in corpore sano [1].

Он заботливо уложил больного.

Нил Павлович вышел наверх отдохнуть от сильных впечатлений. Солнце садилось. Били вечернюю зорю; оба флага скатились тихо, тихо долой; ночь ниспадала прозрачна и мирна, но все было мутно в возмущенной душе доброго моряка. Участь друга свинцом налегла на сердце.

«Дорогою ценой платите вы, баловни природы, за свой ум, за свои тонкие чувства! — подумал он. — Высоки ваши наслаждения, зато как остры, как разнообразны ваши страдания!! У вас сердце — телескоп, увеличивающий все до гигантского размера. О, кто бы, глядя на Правина, не пожелал быть глупцом, всегда довольным собою, или бесчувственным камнем, ничего не терпящим от других!»

В полночь Нил Павлович потихоньку вошел в каюту капитана... На столе подле постели лежало недоконченное письмо; казалось, Правин недавно писал — чернила еще блестели на пере, на бумаге не засохли две капли крови, упавшей, вероятно, с оцарапанного лица. Сам он спокойно лежал, закрывшись весь одеялом. Рука друга подняла по-

---

[1] В здоровом теле здоровый дух *(лат.)*.

кров, заботливый взор его упал на лицо больного: он, казалось, спал глубоким сном. Румянец играл на щеках, но выражение бровей было болезненно; страдание смыкало уста.

«Он и во сне страждет», — сказал про себя Нил Павлович и на цыпочках вышел вон.

— Слава богу, капитану лучше, — сказал он матросам, которые с участием толпились у дверей каюты... и они рассеялись, и по палубам пролетала шепотом отрадная весть: капитану лучше.

Ему в самом деле было лучше.

IX

С минуты разлуки княгиня не отходила от окна. Солнце село, солнце взошло, солнце перекатилось за полдень — она все сидела с тоскою в сердце, с зрительною трубою в руке, она все глядела на фрегат, в коем, не для игры слов, заключалась вся ее надежда. Она видела, как на нем исправлялось, очищалось, приходило в порядок все. Долгое наблюдение сквозь телескоп производит не только в глазу, но и в воображении какое-то странное чувство. Отдаленность с своею немою, но живою игрой людей и предметов, кажется, будто принадлежит иному свету. Смотришь на них как на тени, хочешь угадать их речи, их думы, их заботы по движениям, — внимаешь очами, и любопытство растет до горячего участия.

Часу в пятом вечера княгиня заметила необыкновенное, но стройное движение на фрегате. Матросы унизали борт корабля; что-то красное мелькнуло с борта в воду, и вслед за тем сверкнул огонь из пушки, из другой, из третьей... Гул раздался долго после!.. Потом флаг, который до сих пор спущен был до половины и перевязан узлом, упал — и в тот же миг поднялся до места распущенный... И потом звук исчез в пространстве, дым улетел к небу и все приняло прежний вид.

Это непостижимое для Веры явление мелькнуло в стекле трубки, будто в неясном, худо запомненном сне. Княгиня протерла стекло, но все задернулось туманом в очах ее, и с них брызнули слезы. «Это от усталости!» — молвила она и в думе опустила голову на руку. Невольная дрожь пробежала по ее телу. «Какой холодный ветер!» — поду-

мала она и закуталась шалью... Наконец неизъяснимая тоска сжала ей грудь... Она с горестию сказала: «Видно, он не приедет и сегодня!» Но в голосе ее слышалась обманутая, хотя еще и не разрушенная надежда — какая-то слепая доверчивость ребенка к палачу. О, эти простые слова привели бы в трепет каждого, кто угадывал истину. Сегодня? Но вечереет ли день замогильный? рассветает ли ночь мертвецов?

И княгиня погрузилась в долгое тяжелое забытье; забытье без чувств и мыслей; забытье, в котором, как в Мертвом море, нет ни зыби, ни прилива, ни отлива, не витают рыбы, не перелетают через птицы... все иссушено, все задушено!! Словом, забытье, которое потому только не могло назваться смертью, что оно хранило муку.

Место и время исчезли для княгини. Било одиннадцать часов ночи, когда звук мужских шагов в коридоре гостиницы пробудил ее из гробовой дремоты. Первая мысль, первый крик ее был: «Это он!», и она стремглав бросилась к дверям. Тусклый ночник едва мерцал в радужном кружке, будто глаз какого-то злого духа, но Вера ясно расслушала *его* походку, она узнала шотландский плащ Правина, — если не слухом и не взором, то сердцем угадала она желанного гостя, — она прыгнула к нему навстречу и с радостным *ах!* упала на грудь пришельца.

Тесно смежны в сердце женщины восторг и отчаяние, смех и слезы, смежны, как две стороны червонца. Лезвие мысли их не делит; сомнение не простирает своей плевы между. Княгиня в восхищении сжимала в своих объятиях пришельца.

— Княгиня! — произнес незнакомый голос, — вы ошиблись. Я не Правин, я только посол его!

Нил Павлович подал письмо княгине.

Княгиня отпрянула от него, как будто коснулась змия.

— А Правин? Он не хотел приехать? — вскричала она с укором. — Он обманул меня... Да кому теперь можно верить, когда и самое сердце мое меня обмануло. Скажите ж скорее, жив ли, здоров ли мой Илья? Где он? Когда он приедет сюда?

Нил Павлович безмолвствовал.

Глаза Веры засверкали, как острия кинжалов.

— Я понимаю вас, г. лейтенант, — гневно произнесла она, — вы отговорили, вы не пустили его: вы всегда были против нашей любви. Ваше имя не раз отрывало Правина

от моей груди... Он мрачно озирался, слыша вашу походку. Вы, это вы отняли его у меня... Но куда вы девали вашего друга, куда схоронили вы моего Илью? Отвечайте же, сударь! — вскричала она, безумно схватив его за грудь.

— Несчастная женщина! вам самим повторю я вопрос ваш — что вы сделали с Правиным? Куда, куда вы схоронили его?

— Он умер? — спросила княгиня, леденея от ужаса.

— Пусть отвечают бездны моря! Бедный друг мой изошел кровью... но прежде крови он пролил по вас горькие слезы, — он в письме завещал мне утешить вас; но могу ли дать то, чего не имею сам, — я не бог. Он один может утолить слезами горесть и совесть, — примолвил тише Нил Павлович, в котором потеря друга превозмогла все прочие чувства. — Прощайте, княгиня, дай вам боже забвения — это единственное счастие несчастных!

Он исчез.

С трепетом открыла Вера письмо, начертанное почти во мраке смерти хладеющею рукою полумертвеца... Мы не прочтем его... Язык жизни не выразит тайн могильных — тайн, которые уносит умирающий в прах; тайн, которые истлевают сердце, как чума своим прикосновением.

Плач и жалобы — дары неба! вами откупается несчастный от половины страданий, от пытки, его терзающей. Но горе тому, для чьей тоски нет слезинки в очах, нет в устах рыдания, нет в сердце вздоха. Горе тому, в чьей душе потонут все думы, все, кроме одной вечной, неумолимой думы об одиночестве — думы о судьбе своей... думы, которая шепчет: «ты, как ястреб Прометея, будешь век терзать свое сердце!»

Это ужасно!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Выписка из «Северной пчелы» 1831 года, августа месяца)

Кронштадт... августа. Вчера пришел на здешний рейд из Средиземного моря фрегат «Надежда», под командою флота капитан-лейтенанта Какорина. Красота корабля, отличный порядок, на нем господствующий, здоровый и бодрый вид людей обратили на себя внимание и начальства и всех посетителей фрегата.

31 августа 1832 года в Петербурге было открытие Александринского театра. В семь часов вечера зала была уже полна. Партер, половина которого сходила к ложам амфитеатром, алел, как заря, красными мундирами, отворотами, лентами; блистал, как еще не потухший запад звездами. Пять поясов лож пестрелись женскими уборами; иной бы сказал: «то живые цветочные вязи, окропленные росою алмазов» — так ярки, так блестящи были они; и между них веяли и склонялись перья над прелестными личиками, словно крылья херувимов. Тысячи свеч горели букетами по раззолоченным стенам и поручням лож; сливались в ослепительный метеор люстры. Гордо и легко смыкался потолок своими радужными облаками. Боги Олимпа с завистью смотрели на роскошь земную с высоты живописного неба. Богини, краснея от досады, чуть не прятались друг за друга, видя, что красота русских дам пересияла их. Старый грешник, Юпитер, заметив, что он одет не по вкусу времени, сердито косился на свою бороду: казалось, хотел сбрить ее и для последнего превращения облечься в гусарский доломан. Три грации морщились на петербургских красавиц, будто хлебнули амброзии, которая скислась; девять сестриц Парнаса, которые весьма поустарели со времен Гомера, ревниво смотрели на своих женихов, рассыпающихся жемчугом перед светскими вдохновительницами. Даже сова Минервы завистливо таращила глаза. Только посланница любви, Ирида, весело расправляла свои голубиные крылышки да пролаз Меркурий лукаво заглядывал в ложи, будто дожидаясь письмеца. Вулкан же, гладя по головке сына своей жены с самодовольным видом немецкого барона, считал мужей, рисующихся по стенам для тени картины, и напевал песенку:

Нашего полку прибыло, прибыло!

Между тем передний занавес, бледный как туман германской поэзии, таинственно колебался между зрителями и сценою, будто занавес судьбы, скрывающий от нас даль грядущего. И все было прелесть, свет и очарование! Самый воздух был упоен благовониями и дышал негою вздохов. Он оживлялся от малейшего трепетания райских птичек, отдыхавших на головах красавиц, от волнения газа на грудях, от сладостного ропота их уст, от пылких взоров, летающих, крестящихся, словно падучие звезды, от звуков,

возникающих порою из оркестра — звуков неясных, смешанных, чудных как мысли поэта впросонках... одним словом, вся зала Александринского театра и все, что в ней было, походили тогда на какой-то великолепный, волшебный сон юноши под жарким небом юга. Сердце плавало в обаятельной розовой атмосфере и в блестящем рассеянии забывало все, что творится за стенами... О, поверьте мне: светская жизнь имеет свою поэзию — зато как дорога и как редка она!

Царской фамилии еще не было, — все жужжало и колебалось в роскошном ожидании, в томлении нетерпеливости. В это время в третьем ряду кресел два человека учтиво пробирались на свои места, платясь извинениями за каждый переход через чужие ноги и поклонами за то, что протирались мимо чужих грудей. Наконец они, положив шляпы на кресла свои, вздохнули и обозрелись свободно. Один был молодой человек, в вицмундире иностранной коллегии, очень приятной наружности и окружности — система округления в лицах. Сложив накрест руки, он равнодушно оперся спиною о спинку кресел второго ряда и, едва отвечая на дальние кивания своих знакомцев, беззаботно взглядывал на ложи сквозь очки (очки есть необходимое условие дипломата, хотя не решено до сих пор, носят ли они их для того, чтоб лучше видеть глазами, или для того, чтоб меньше видели их глаза). Другой был юноша во всем цвете этого слова: жив, румян, весел, разговорчив; он был так доволен своими красными отворотами, так счастлив блеском, его окружающим, будто майская бабочка в ясный день. Он простодушно глазел на все и на всех и смеялся от чистого сердца эпиграммам своего модного соседа; смеялся с откровенностию истинно армейскою. В самом деле, несмотря на четвероугольный лорнет, который он довольно ловко наводил направо и налево, легко угадать было можно, что он недавно переведен из армии. Любопытным расспросам его не было конца. Кто это в мальтийском мундире? Кто эта дама в оранжевой шали? Дипломат едва успевал ввернуть при каждом имени острое словцо.

И вот, когда перебрали они всех посланников и вельмож, всех красавиц и знатных дам, с шумом распахнулась дверь в одной ложе, и в нее вошли дамы блистательной красоты и наряда отличного вкуса. Будто не замечая ропота и взоров одобрения, кипящих вкруг и под ногами их,

они сбросили свои шали и, поправляя газовые рукава, обратились к вошедшему за ними кавалеру с замечанием, что коридоры театра необыкновенно тесны. Кавалер этот был генерал пожилых лет, кубической фигуры, со звездами на обеих грудях и с улыбками на обеих щеках. Он отвечал что-то, склонясь между их без чинов.

— Ах, Жозеф! — с жаром сказал дипломату наш юноша, — скажи скорей, кто эта прелестная особа по правую руку в малиновом токе? Глаза ее сыплют алмазные искры, губки раскрылись улыбкою, будто жемчужная раковина от солнечного луча... около нее как сияние, — она богиня радости!.. Имя, имя ее?

— Как, mon cher, ты разгорелся! — отвечал дипломат. — Изволь, однако, я потешу тебя: ее имя Софья Ленович — моя жена.

Жалко было видеть бедного юношу: он смутился! он не знал, из какого кармана выискать отговорок. Ленович с самодовольным видом забавлялся его смущением и шутливо продолжал:

— Да-с, это моя жена; но ты, дружок, не будешь ее поэтом. Нет, нет, стара штука. Полгода еще милости просим жаловать ко мне когда угодно: полгода ты будешь безопасен, — но потом, милый, сердись не сердись, а я тебе за твой восторг едва ли не прочту:

Vous êtes un brave garçon, un homme honnête, — mais
Remarquez bien ma porte pour n'y entrer jamais! [1]

Эта шутка была сказана так по-дружески, что мой юноша ободрился. Желая сгладить прежние похвалы, он стал горячо хвалить другую даму, подругу жены Леновича.

— Но соседка твоей Софьи, Жозеф, прелестна как сама задумчивость, — посмотри: каждый взор ее черных глаз блестит грустью, будто слеза; каждое дыхание вырывается вздохом; и как нежно ластятся черные кудри к ее томному лицу, с какою таинственностью обвивает дымка ее воздушные формы.

— Не на варшавском ли приступе, mon cher, набрался ты этого романтического дыму? Изруби же его поскорее в стихи; поставь внизу прапорщицкую звездочку, отошли

---

[1] Вы славный мальчик, честный человек, — но хорошо заметьте мою дверь, чтоб никогда туда не входить *(фр.)*.

в «Молву» и будь уверен, что если ты спрыснешь свою новинку полдюжиной шампанского, приятели прокричат тебя поэтом.

— Ты можешь шутить как хочешь, но верь, что черты этой красавицы так врезались в мою память, что я завтра же нарисую ее портрет — и всякий, кто лишь раз видел ее, увидев его, скажет: «это она!» Но кто ж она?

— Заметил ли ты генерала, сидящего за моею Софьею? Это мой дальний родственник, князь Петр ***, а черноглазая дама — его жена.

— Княгиня Вера! — вскричал гвардеец с такою шумною радостию, что на него оборотились многие лорнеты. — Княгиня Вера, которая целый год увлекала все сердца и все мысли Петербурга. Вера, любимая мечта моего брата! Воротясь в двадцать девятом году отсюда, он прожужжал мне про нее уши... И наконец-то удалось мне увидеть это прекрасное создание!

— Прекрасное недолговечно на земле, — сказал со вздохом Ленович. — Эта черноглазая дама — вторая жена князя Петра, а Вера, ангел доброты и прелести, Вера, которой обязан я своим счастием, умерла в Англии. Когда-нибудь я расскажу тебе ее печальную историю!

На глазах у Леновича, сколько ни дипломат был он, навернулись слезы... Гвардеец молчал в грустном раздумье. Но загремела музыка, занавес взвился — и судьба Веры была забыта.

Забыта? О, я готов пожать руку у того или поцеловать у той, кто назовет эту летопись сердца скучною сказкою, кто будет зевать при ее чтении, кто забудет прочтенную половину и бросит в огонь недочитанную. Забвение ждет всех, забвение безвредно. Но, может быть, какой-нибудь бездушный ловелас выдавит сладкую отраву из любви Правина и Веры, перескажет неопытности лишь то, что льстит его намерениям. Может быть, он прочтет эту тетрадь в уединенном кабинете прекрасной даме, которой доселе он говорил: «люблю вас» только взорами. И румянец страсти загорится на щеках его, и голос его задрожит будто волнением души, и послушная слеза сверкнет на ресницах... Он подстережет вздох грусти, слезу сожаления — сожаления, предтечи любви, — и упадет к ногам своей тронутой любовницы.

— О, будьте для меня Верою за то, что я обожаю вас, как Правин!.. — воскликнет он.

— Вы забыли участь их?.. — возразит она.

— У всякого своя участь... Нас ждет доля блаженства, непрерывного, неисчерпаемого блаженства! Но если б меня ждала судьба еще горше Правиной, я приемлю ее за миг счастия, — о, если б вы знали, как я люблю вас!

И его слушают, ему почти верят!

При этой мысли я готов изломать перо свое!

Но существует ли в мире хоть одна вещь, не говоря о слове, о мысли, о чувствах, в которой бы зло не было смешано с добром? Пчела высасывает мед из белладонны, а человек вываривает из нее яд. Вино оживляет тело трезвого и убивает даже душу пьяницы. Тацит, учитель добродетели, был виной изобретения нойяд[1] в ужасы революции. Бросим же смешную идею исправлять словами людей! Это забота провидения. Мы призваны сказать: *так было*, — пусть время извлечет из этого злое и доброе. Приморский житель ужасается вечером, видя гибель корабля, а наутро собирает останки кораблекрушения, строит из них утлую ладью, сколачивает ее костями братий — и припеваючи пускается в бурное море.

---

[1] Нерон утопил мать свою на галере с окном; подобные плашкоуты заменяли гильотину. *(Примеч. автора.)*

МОРЕХОД НИКИТИН

Быль

A sail, a sail — a promised price to hope!
Her nation, flag? What speaks the telescope?
She walks the waters like a thing of life
And seems to dare the elements to strife.
Who would not brave the battle fire, the wreck,
To move the monarch of her peopled deck?

Byron[1]

В 1811 году, в июле месяце, из устья Северной Двины выходил в море небольшой карбас. Надо вам сказать, что в 1811 году в июле месяце, точно так же как в настоящем 1834 году, до которого мы дожили по милости божией и по уверению календаря академии, старушка Северная Двина выливала огромный столб вод своих прямо в Северный океан, споря дважды в день с приливом, который самым бессовестным образом вторгался в ее заветные омуты и превращал ее сладкие, благородные струйки в простонародный рассол, годный разве для трески. Обязан я вам и объяснить по долгу литературной совести, что карбасом в те поры, как доселе, называлось судно шагов восемнадцать длиннику, на шесть ширины, с двумя мачтами-однодревками, полусшитое корнями, полусбитое гвоздями, из которых едва ль пятая часть были железные. Палубы на карбасе обыкновенно не полагалось, на корме и на носу небольшие навесы образовали конурки, где, на кучах клади, только русская спина, и только одна спина,

[1] Корабль, корабль — надежда на приз! Какой он нации, под каким флагом? Что говорит зрительная труба? Он идет по волнам как одушевленный; он, кажется, вызывает на бой стихии. Кто побоится огня, воды, чтоб только пройтись властелином по этому многолюдному деку! *Байрон. (Пер. автора.)*

могла уютиться, скрутясь в три погибели. Вследствие чего, как вы сами усмотреть благоизволите, в середину судна белый свет и бесцветная вода сверху и снизу, справа и слева могли забегать и проживать безданно, беспошлинно. Посудина эта, или, выражаясь учтивее, этот корабль, — а слово *корабль,* заметьте, произвожу я от *короба,* а *короб* от *коробить,* а *коробить* от *горбить,* а *горб* от *горы;* надеюсь, что это ясно; какие-то подкидыши этимологи производят *корабль* от какого-то греческого слова, которого я не знаю, да и знать не хочу, но это напраслина, это ложь, это клевета, выдуманная каким-нибудь продавцом грецких орехов; я, как вы изволите видеть, коренной русский, происхожу от русского корня и вырос на русских кореньях, за исключением биквадратных, которые мне пришлись не по зубам, а потому, за секрет вам скажу, терпеть не могу ничего заморского и ничему иностранному не верю, — итак, этот корабль, то есть этот карбас, весьма походил на ладию, или ладью, или лодку древних норманнов, а может статься, и аргонавтов, и доказывал похвальное постоянство русских в корабельной архитектуре, но с тем вместе доказывал он и ту истину, что мы с неуклюжими карбасами наследовали от предков своих славено-руссов отвагу, которая бы сделала честь любому hot pressed, силой завербованному моряку, танцующему под свисток man of war [1] на лощеной палубе английского линейного корабля, или спесивому янки [2], бегущему крепить штын-болт по рее американского шунера.

Да-с! Когда вздумаешь, что русский мужичок-промышленник, мореход, на какой-нибудь щепке, на шитике, на карбасе, в кожаной байдаре, без компаса, без карт, с ломтем хлеба в кармане, плывал, хаживал на Грумант, — так зовут они Новую Землю, — в Камчатку из Охотска, в Америку из Камчатки, так сердце смеется, а по коже мурашки бегают. Около света опоясать? Копейка! Послушайте, как он говорит про свои странствия, про которые бы французы и англичане и в песнях не напелись и в колокола не назвонились, и вы убедитесь, что труды и опасности для него игрушка. «Забрались мы к Гебридским да оттуда *на перевал* в Бразилию, в золотое царство махнули. Из Бра-

---

[1] Военный *(англ.).*

[2] В насмешку англичане называют североамериканцев yankee. *(Примеч. автора.)*

зилии *перетолкнулись* в Камчатку, а отголь ведь на Ситку-то *рукой подать!»* Вот этаких удальцов подавай мне, — и с ними хоть за живой водой посылай! Океан встрелся? Океан шапками вычерпаем! Песчаное море? Как тавлинку, вынюхаем! Ледяные горы? Вместо леденца сгрызем! Где ж это сударыня Невозможность запропастилась? Выходи, — авось на подметки нам пригодится! Под кем добрый конь авосьмасти, тому лес не лес, река не река: куда ни поскачет — дорога, где ни обернется — простор. На кита так на кита, экая невидаль! Зубочисткой заострожим! На белого медведя? Щелком убьем; а в красный час и лукавый под руку не подвертывайся. Нам уж не впервые на зубах у него гвозди ковать, в нос колечко вдевать. Правду сказать, русак тяжел на подъем; раскачать его трудно; зато уж как пойдет, так в самоходах не догонишь. Куда лениво говорит он первое «ась?». Но когда после многих: «Да на что мне это! Да к чему мне это! Живем и так; как-нибудь промаячим!» — доберется он до «нешто, попытаем!» да «авось сделаем», так раздайтесь, расступитесь: стопчет, и поминай как звали! Он вам перехитрит всякого немца на кафедре, разобьет француза в поле и умудрится на заводе лучше любого англичанина. Не верите? Окунитесь только в нашу словесность, решитесь прочесть с начала до конца пламенные статьи о бессмертных часах с кукушкою, о влиянии родимых макаронов на нравственность и о воспитании виргинского табаку, статьи столь пламенные, что их невозможно читать без пожарного камзола из асбеста, — и вы убедитесь, что литературные гении-самотесы на Руси так же обыкновенны, как сушеные грибы в великий пост, что мы ученее ученых, ибо доведались, что науки вздор; что пишем мы благонравнее всей Европы, ибо в сочинениях наших никого не убивают, кроме здравого смысла.

Но к делу. В 1811 еще ни один пароход не пугал своими шумными колесами рыбный народ в реках русских, и потому двинские рыбки безбоязненно высовывали головки свои, чтобы полюбоваться на вороной как смоль карбас и тех, которые им правили. Вот физиологические подробности, полученные мною от одной из очевидиц, щук: несмотря на архангелогородскую соль и непривычное ей путешествие в розвальнях, слог этой щуки так цветист, как будто бы она кушала сочинителей всех темных, пестрых и голубых сказок; должно думать, что предметы, отражаясь в тысяче граней рыбьих глаз, производят необыкновенное

разнообразие впечатлений в их мозге; образчик прилагается в подлиннике.

Река, — рыбы всегда начинают речь с своего отечества, с своей стихии: благоразумные рыбы! в этом они нисколько не следуют соспитательным сочинителям, которые всего более любят говорить о том, что они знают наименее, — река чуть струилась; корабль катился быстро, напутствуемый теченьем и ветром; пологие берега незаметно текли мимо его, и если б кой-где стоящие на якорях суда не оказывали бега судна, как поверстные столбы, то пловцы в карбасе могли бы подумать, что они неподвижны: столь однообразно-пусты, так безмолвно-мертвы были окрестные тундры. Тогда еще не видно было на берегах Двины сахарных и канатных заводов и ни одна верфь не готовила бросить в воду юных скелетов корабельных, еще не одетых дубовою плотью. На всем пространстве от Соломбола до устья не встретилось им ни одной живой души, хотя разноцветный мох подернут был оранжевою ягодой морошки...

— Отличное противоскорбутное средство! — замечает мой приятель, медик. — Природа помещает всегда противуядие вблизи яда. Как мне известно, морошка составляет теперь отрасль торговли Придвинского края: ее для английского флота вывозят тысячами сороковых бочек.

...Морошки, раскинутой причудливыми узорами, подобно фате северной красавицы...

— Лучше бы сказать, подобно русскому ситцу, — говорит один женатый помещик, — потому что русские ситцы-самоделки точь-в-точь морошка по болоту.

Рыба сморкает нос и продолжает:

Только одинокий журавль, царь пустыни, бродил там, как ученый по части зоологии...

Он, то есть журавль, а не ученый, втыкал нос в мутную воду, в жидкий ил и, вытащив оттуда какого-нибудь червячка или пескаря, гордо подымал голову. Оглянувшись на карбас, он рассчитал глазомерно расстояние и, уверившись, что находится вне выстрела, погнался за резвою лягушкою, беспечно кивая хвостиком. Он нашел лягушку гораздо занимательнее людей.

И справедливо: барон Брамбеус хоть вовсе не похож на журавля, а чуть ли не того же мнения. «Лягушек не лягушек, — скажет он, — а что устриц я всегда предпочту людям! Во-первых, древность происхождения устриц глубже

всякой летописи и несомненнее Несторовой, так что сам барон Кювье не отыскал пятна в их предпотопной генеалогии; во-вторых, они постояннее китайцев в своих мнениях: родятся себе и умирают у скалы, к которой приросли, и с доброй воли не делают фантастических путешествий; и, в-третьих, не заводят в старом море юной литературы.

Судя по хладнокровию, или, лучше сказать, по беспечности, с какою четверо мореходцев, составлявших экипаж карбаса, спускались в шумный бурун, образованный борьбою речной воды с напором возникающего прилива, их можно было бы зачислить в варяжскую дружину, не подводя под рекрутскую меру. На руле сидел здоровый молодец лет двадцати семи: волосы в кружок, усы в скобку, и бородка чуть-чуть закудрявилась, на щеках румянец, обещавший не слинять до шестидесяти лет, с улыбкой, которая не упорхнула бы ни от девятого вала, ни от сам-девять сатаны, — одним словом, лицо вместе сметливое и простодушное, беззаботное и решительное; физиономия настоящая северная, русская.

По одежде он принадлежал к переходным породам. На голове английская пуховая шляпа, на теле суконный жилет с серебряными пуговицами; зато красная рубашка спускалась по-русски на китайчатые шаровары, а сапоги, по моде, сохранившейся у нас со времен Куликовской битвы, загибали свои острые носки кверху. По самодовольным взглядам, которые бросал наш рулевой на изобретенный им топсель, вздернутый сверх рейкового паруса, он принадлежал к школе нововводителей. У средней мачты, в парусинной куртке и в таких же брюках, просмоленных до непроницаемости, сидел старик лет за пятьдесят, у которого благословенная бородища была в явном разладе с кургузым матросским платьем, — явление, странное всегда и нередкое до сих пор. Издавна ходил он по морям на кораблях купца Бранда и компании, но напрасно уговаривали его хозяева обрить бороду. Ураганы могли теребить ее, море вцеплять в нее свои ракушки, вкраплять соляные кристаллы, случай заедать в блок или в захлест каната, но владетель ее был непоколебим ни насмешками юнгов, ни ударами судьбы. Он не возлагал даже на нее постризала, и она в природной красе, во весь рост расстилалась по груди и по плечам упрямца. Дядя Яков, так звали этого чудака, сидел на бочонке русского элемента, квасу, и сплеснивал,

то есть сращивал, веревку. У ног его почти лежал молодой парень лет двадцати, упершись ногою в борт и придерживая руками шкот, угловую веревку паруса. По его свежему лицу, по округлым, еще не изломанным опытностию чертам, по любопытству, с каким поводил он вкруг глазами, даже по неловкости его, больше чем по покрою кафтана, можно было удостовериться, что он не просоленный моряк, новобранец, только что из села.

На носовом помосте лежал ничком, свеся голову за борт, коренастый мореход с физиономией, какие отливает природа тысячами для вседневного расхода. Не на что было повесить на ней никакого чувства, а мысль, будь она кована хоть на все четыре ноги, не удержалась бы на гладком его лбу. Он поплевывал в воду и любовался, как струя уносила изображение его жизни, и потом запевал: «Ох, не одна! Эх, не одна!» — и опять поплевывал. Он принадлежал к бесконечному ряду практических философов, которые разрешают жизнь самым безмятежным образом, — работать когда нужно, спать когда можно.

Молодой человек, сидевший на руле, был полный и законный хозяин карбаса, вместе с грузом, и временный командир, капитан или воевода дяди Якова, Алексея, племянника по его сердцу, и неизбежного Ивана по сердцу всему свету. Оставшись сиротою на двенадцатом году возраста, он, как большая часть удалых ребят Архангельской губернии, нанялся юнгою на английский купеческий корабль и мыкался бурями и волнами до двадцати двух лет, имея удовольствие получать щелчки от шкиперов всех наций и побранки на всех языках. Наскучив бесприютною жизнию матросскою, он пристал к истинно почтенному классу биржевых артельщиков, людей испытанной честности, трезвых, деятельных, смышленых, и потом взят с хорошим жалованьем в контору одного из богатейших иностранных купцов Архангельска. Через шесть лет он был уже в состоянии покинуть чужое гнездо. Его томила охота отведать своего счастья, поторговать на свое имя, — и вот он купил и снарядил карбас, и вот он теперь уже в пятый раз, в другое лето, пускается в море.

Впрочем, никогда еще Савелий Никитич — это было его имя — не пускался в море с таким запасом веселости, как этот раз. Причину тому я знаю, — да и чего я не знаю? — не хочу таить ее за душой. Он — в добрый час молвить, в худой помолчать — задумал жениться. Дочь

его соседа, также архангельского мещанина, как он сам, Катерина Петровна, прелестная, как все Катерины вместе, и миловидная, как ни одна из Катерин, до сердца приглянулась нашему плавателю. Его воображение, изощренное морским воздухом, и во сне ничего не грезило свежее, умнее и достойнее этой русокосой красавицы. Ему всего более понравилось, что она порядком отбояривала от себя молодых флотских офицеров, которые, сверх обязанностей по службе, берут на себя образование милых девушек во всех портах пяти частей света. Одним словом и наконец, он, раскинув умом-разумом, подвел итоги своих карманов, пригладил голову кваском и, благословясь, пошел сватать свою зазнобу к отцу ее. С самой Катериной Петровной он, должно быть, давно стакнулся; и хоть я не был свидетелем, да уж на свой страх говорю вам, что молодежь моя променяла между собой не одну клятву любви и верности с приложением взаимных поцелуев. Как быть, милостивые государи! В торговле всегда есть контрабанда, в сватовстве — потаенные сделки.

Савелий расчувствовался, упал на колени перед отцом Катеньки, просит благословения.

Старик отец погладил его по голове и поднял; погладил себя по бороде и сказал:

— Послушай, Савелий Никитич! Ты добрый человек, ты смышленый и честный парень: спасибо, что пришел ко мне прямо, без свах, и тебе я скажу прямо, без обиняков: ты мне по душе, я не прочь породниться с тобою; однако...

Ох, уж мне это *однако* вот тут сидит, с тех еще пор, как учитель хотел было, по его сказам, простить меня за шалость, однако высек для примера; с тех пор как мой искренний друг и моя вернейшая любовница клялись мне в привязанности и за словом, однако, надули меня... Однако ж оставим это *однако*.

Савелий, не смея дохнуть, стоял перед стариком, высасывал глазами догадки из его лица, но слово *однако*, произнесенное с такою расстановкою, что между каждым слогом уложиться могло по двадцати сомнений, распилило его сердце пополам, и опилки брызнули во все стороны.

— Од-на-ко (после *ко* две черточки), — произнес старик и почесал в затылке, потому что затылок есть чердак человеческого разума, в который сваливают весь хлам предрассудков, всю ветошь нравоучений, колодки давно стоптанных мнений и верований, битые фляжки из-под

воображения; или, лучше сказать, он — гостинодворская темная, задняя лавка, в которую обыкновенно заводят приятеля-покупателя, чтобы сжить с рук полинялый, староманерный товар. — Однако, Савелий Никитич! ведь не мне жить с тобой, а дочери, а за ней приданое не рогато. Я и сам с копейки на копейку перепрыгиваю. Рад бы душой, да кус небольшой: у меня же сыновья подростки. Опять, и дочери своей мне не хочется видеть в нужде, лучше заживо в землю закопаться. Впрочем, вкруг Катеньки, сам ты известен, женихи словно хмель увиваются.

«Пропала моя головушка!» — подумал Савелий.

— Не в укор тебе будь помянуто — покойник батюшка твой сидел в лавочке, да выехал из ней на палочке: благодаря мичманам проторговался, поплатился добром за свою простоту и пустил тебя круглым сиротою кататься словно медный грош по белу свету. Не осуди, брат Савелий! Имя твое знаю я, отчество знаю, а животов не знаю. Скажи мне как на духу: есть ли на что у тебя хозяйством обзавестись да себе на прожиток и детям на зубок придобыть?

Савелий вытащил бумажник, показал ему свои аттестаты, выложил тысячу рублей чистогану да еще тысячи на полторы квитанций купленным товаром, — это для мещанина не безделица.

— Притом я имею суднишко и кредит, — сказал он, — ношу голову на плечах и благодаря создателя не пустоголов, не сухорук. Прошлый год я выгодно продал в Соловках свои товары, был там и по весне; да если с тобой поладим, так с жениной легкой руки в спасово заговенье опять пущусь. Что ж, Мироныч, аль другие-то лучше меня? Позволь!

— Ну, Савелий, руку! Только свадьбе быть после спаса. Ты наперед съездишь в Соловки да собьешь копейку на обзаводство; а то с молодой женой ростням конца не будет. Не поперечь мне, Савелий, у меня слово с заклепом.

— Это очень хорошо! — сказал Савелий. «Это очень плохо!» — подумал Савелий.

Но делать было нечего: довелось согласиться на отсрочку. Благословили образом, обручили, а между тем, покуда подружки-голубушки шили Кате приданое да пели, между тем, как отец и мать ее пили да плакали, карбас Никитина снарядился и нагрузился. Минута разлуки была уже за плечами, уж на плече, уж расправляла крылья,

чтоб улететь, а наши милые, или, как выражаются архангелогородцы, *бажоные,* обрученники о том и думать не думали. Дядя Яков припужден был вытащить жениха от невесты волоком. Попутный ветер казался ему самою противною погодой; но ветер пересилил любовь. Савелий выпил последнюю каплю наливки, сорвал последний поцелуй с губок невесты. Сладка ему была капля, поцелуй еще слаще; век не расстаться бы с ними, однако он расстался. Ему надо было спешить уехать, чтобы поспешнее приехать. Он прыгнул в карбас, цепь с громом скользнула со сваи, карбас отчалил.

Долго стояла Катя на набережной, провожая глазами суженого, махая белою рукой; сердце ее вещевало не на доброе; она залилась слезами и пошла домой, вытирая их миткалевым рукавом своей сорочки. С Савельем было не лучше: покуда видна была Катя, он оглядывался, до того, что чуть шеи не вывихнул, а потом взгляды его ныряли в воду, словно он обронил туда свое сердце, словно он с досады хотел ими зажечь струю-разлучницу. И, наконец, переполненный горечью сосуд пролился: слезы брызнули из глаз бедняги в три ручья, и именно в три, потому что две струйки сливались у него на носу и катились вниз рекою, точь-в-точь как Юг и Сухона образуют Северную Двину. Это, однако же, облегчило Савелья; он отдохнул; доброе солнышко так весело взглянуло ему в очи, что он улыбнулся; ветер спахнул и высушил даже следы слез; вот и надежда-летунья начала заигрывать с его душою. И чего, в самом деле, доброму молодцу было печалиться? Впереди его — золото, назади — любовь!.. Правда, между этими оконечностями лежали две бездны моря, усаженные опасностями от бурь и каперов, — тогда с англичанами была война, — да ведь бог не без милости, казак не без счастья: не в первый раз ему было с морем переведываться. Пять часов пути и шестьдесят верст расстояния прокрались мимо, как беглецы, и вот почему наш Савелий так беззаботно, так весело пускался в бурун, разграничивающий соленую воду от пресной.

И шибко, со всего разбега, ухнул острогрудый карбас в бой шумящего, плещущего бара, так шибко, что брызги засверкали и рассыпчатая пена обдала пловцов с головы до ног. Карбас черпнул. Испуганный, облитый Алексей выпустил шкот из рук своих; парус заполоскался, карбас возник, взбежал на хребет вала и мигом стремглав про-

мкнул сквозь водяную гряду. Чрез пять минут он гоголем плыл уже по морю, которое с ропотом наступало на берега.

— Что, Алексей, — спросил новобранца Савелий, усмехаясь, — аль тебе не любы крестины морскою водою?

— Хороши, — отвечал Алексей, вытирая лицо, — только без каши и крестины не в крестины.

— Погоди, брат Алеша, мы тебя в соленой купели выкупаем. Тогда уж с веслом и за кашу посадим тебя, помеси да и в рот понеси, кушай да похваливай. Захочешь ли браги — брага у нас шипучка; зелено вино с пенкой некупленные, немереные — пей, сколько в душу войдет.

— Спасибо на ласке! Подноси сперва старшим, дядюшка, — лукаво отвечал Алексей.

— Ты в море гость, мы хозяева, — сказал Савелий, — а гостей потчуют не по летам.

— Однако, — молвил дядя Яков, оглядывая в дозор небосклон, — не придержать ли нам на вечер-то вдоль берега? Что-то очень парит, словно пыль пылит, над тундрою. Подымется, не ровен час, разыграй-царевич — так и нам в открытом море без беды беда придет.

— Волка бояться — в лес не ходить, дядя Яков! — возразил Савелий. — Ветер, словно клад, не во всякую пору дается: упустим его — так трудно будет на него карабкаться после. А когда теперь на норд-норд-вест заберемся, так уж поветерь-то как по маслу скатим в Соловки, когда вздумается. Небо чисто.

— Нешто! — сказал дядя Яков и принялся доплетать узел веревки.

— Вестимо, так! — сказал Алексей, как будто что-нибудь понял, и принялся зевать в обоих значениях этого слова. Иван не рассуждал и не говорил: он поплевывал в море. Савелий по привилегии, данной всем людям, у которых звенит что-нибудь в голове или в кармане, строил воздушные замки. Карбас, пятое действие нашей драмы, покачиваясь с боку на бок, изволил плыть да плыть в необъятное море.

День шел в гости к вечеру. Прибережье никло; островок Мудюг, стоящий на часах у входа в Двину, окунывался, и опять выглядывал, и опять окунывался в воду. Скоро земля слилась в темную полосу, в черту, едва видную; вал заплеснул и эту черту, — прощай, моя родина! Бездонное небо, безбрежное море обнимает теперь утлое судно. Только вольный ветер да рыскучие волны напевают

ему в лад свою вечную, непонятную песню, возбуждая думы неясные о том, что было и что будет, о том, чего никогда не было и никогда не будет.

Не знаю, случалось ли вам испытывать чувство разлуки с родным берегом на веру зыбкой стихии. Но я испытал его сам; я следил его на людях с высоконастроенною организациею, и на людях самых необразованных, намозоленных привычкою. Когда почувствуешь, что якорь отделился от земли, мнится, что развязывается узел, крепивший сердце с землею, что лопает струна этого сердца. Груди становится больно и легко невообразимо!.. Корабль бросается в бег; над головой вьются морские птицы, в голове роятся воспоминания, они одни, гонцы неутомимые, несут вести кораблю о земле, им покинутой, душе — о былом невозвратном. Но тонет и последняя альциона в пучине дали, последняя поминка в душе. Новый мир начинает поглощать ее. Тогда-то овладевает человеком грусть неизъяснимая, грусть уже не земная, не земляная, но еще и не вовсе небесная, словно отклик двух миров, двух существований, развитие бесконечного из почек ограниченного, чувство, не сжимающее, а расширяющее сердце, чувство разъединения с человечеством и слияния с природою. Я уверен, оно есть задаток перехода нашего из времени в вечность, диез из октавы кончины.

И неслышимо природа своей бальзамическою рукою стирает с сердца глубокие, ноющие рубцы огорчений, вынимает занозы раскаяния, отвевает прочь думы-смутницы. Оно яснеет, хрусталеет, как будто лучи солнца, отразясь о поверхность океана и пронзая чувства во всех направлениях, передают сердцу свою прозрачность и блеск, обращают его в звезду утреннюю. Вы начинаете тогда разгадывать вероятность мнения, что вещество есть свет, поглощенный тяжестию, а мысль, нравственное солнце, духовное око человека, сосредоточивая в себе мир, есть вещество, стремящееся обратиться опять в свет посредством слова. Тогда душа пьет волю полною чашею неба, купается в раздолье океана, и человек превращается весь в чистое, безмятежное святое чувство самозабвения и мироневедения, как младенец, сейчас вынутый из купели и дремлющий на зыби материнской груди, согретый ее дыханием, улелеянный ее песнею. О, если б я мог вымолить у судьбы или обновить до жизни памятью несколько подобных часов! Я бы...

«Я бы тогда вовсе не стал читать ваших рассказов»,— говорит мне с досадою один из тех читателей, которые непременно хотят, чтоб герой повести беспрестанно и бессменно плясал перед ними на канате. Случись ему хоть на миг вывернуться, они и давай заглядывать за кулисы, забегать через главу: «Да где ж он? Да что с ним сталось? Да не убился ли он, не убит ли он, не пропал ли без вести?» Или, что того хуже: «Неужто он до сих пор ничего не сделал? Неужто с ним ничего не случилось?»

«Я бы вовсе не стал тогда читать ваших рассказов, г. Марлинский, потому что — извините мою откровенность — я уже не раз и не втихомолку зевал при ваших частых, сугубых и многократных отступлениях. Хоть бы вы за наше терпение перекувыркнули вверх дном этот проклятый карбас, который ползет по воде, как черепаха по камням. Так нет, сударь: всплыл, как всплыл. Думаем, вот сцапает он Савелья за вихор, минуя брандвахту, и откроет в нем какого-нибудь наполеоновского пролаза или морского разбойника. Не тут-то было! Вместо происшествий у вас химическое разложение морской воды; вместо людей мыльные пузыри и, что всего досаднее, вместо обещанных приключений ваши собственные мечтания».

Я ничего вам не обещал, милостивый государь, говорю я с возможным хладнокровием для авторского самолюбия, проколотого навылет, самолюбия, из которого еще каплет кровь по лезвию насмешки. Ваша воля — читать или не читать меня; моя — писать как вздумается.

«Но, милостивый государь, я купил рассказ ваш».

Я не приглашал вас; не брал вас с учтивостию за ворот, как это делается в свете при раздаче лотерейных билетов или билетов на концерт для бедных. Вы купили рассказ мой и можете сжечь его на раскурку, изорвать на завивку усов, употребить на обертку ваксы. Вы купили с этим право бранить или хвалить меня, но меня самого вы не купили и не купите, я вас предупреждаю. Перо мое — смычок самовольный, помело ведьмы, конь наездника. Да! верхом на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге без заповеди, куда глаза глядят. Я так и делаю: бросаю повода и не оглядываюсь назад, не рассчитываю, что впереди. Знать не хочу, заметает ли ветер след мой, прям или узорен след мой. Перепрянул через ограду, переплыл за реку — хорошо; не удалось — тоже хорошо. Я доволен уже тем, что наскакался по простору, целиком, до устали. На-

доели мне битые укаты ваших литературных теорий chaussées[1], ваши вековечные дороги из сосновых отрубков, ваши чугунные ленты и повешенные мосты, ваше катанье на деревянной лошадке или на разбитом коне, ваши мартингалы, шлих-цигели и шпаниш-рейтеры; бешеного, брыкливого коня сюда! Степи мне, бури! Легок я мечтами — лечу в поднебесье; тяжек ли думами — ныряю в глубь моря...

«И приносите со дна какую-нибудь ракушку».

Хоть бы горсть грязи, милостивый государь. Она все-таки будет свидетельницей, что я был на самом дне. Для купца дорог жемчуг; естествоиспытатель отдает свой перстень за иную подводную травку. Что прибавит жемчужина к итогу счастья человеческого? А эта травка, может быть, превратится в светлую идею, составит звено полезного знания. Желаю знать: купец вы или испытатель?

Читатель мой дворянин, не только личный, но, может статься, двуличный, наследственный; он никак не хочэт назваться купцом. Опять, он терпеть не может и естествоиспытателей всех родов, которые пластают, потрошат природу, рассекают мозг, и сердце, и карманы человеческие вживе, будь они хоть пятого класса, и ловят там насекомые мысли, пресмыкающиеся чувства. Да мало того, что они нашпиливают все это на остроумие и выставляют на благорассмотрение почтеннейшей публики; они подслушивают у дверей кабинетов, заползают под изголовья супружеские, втираются в сени палат, подкапываются под гробы, проникают всюду как золото, ввиваются в души как лесть, и потом — милости прошу! — все ваши тайны вынесены уж на толкучий.

«Нет, я не купец, не испытатель,— говорит он,— я просто читатель».

Я кладу свои замечания в ум ваш, как свои деньги в ломбард,— на имя неизвестного!

Вот это по крайней мере ясно и неоспоримо. Не надейтесь же получить более четырех, законных, процентов, и этого вам за глаза. Правда, я веду слово про архангельского мещанина Савелья Никитина и ручаюсь, что для русского анекдот этот будет занимателен, по тому уж одному, что он не выдумка. Но кто вам сказал, что сам я менее занимателен, чем Савелий Никитин? Знаете ли,

[1] Гладких *(фр.)*.

сколько страстей перемолол я своим сердцем? какие чудные узоры начеканил мир на моем воображении? И если б я вздумал перевесть с души на ходячий язык свои опыты, мечты и мысли, вы, вы сами, сударь, нашли бы эти записки занимательными не менее «Записок» Трелонея или «Последней нескромности современницы».

«Ради Смирдина, сделайте это поскорее, любезнейший! И тисните в большую осьмушку с готическим заглавием и с виньеткою Жоанно. Я страх люблю виньетки и мемуары, особенно в роде Видока. Даете вы слово? Скажите ж — да! Полноте упрямничать: снимите долой лень свою!..»

У нас печатная сторона человека всегда будет походить на подкладку из одних афиш комедианта Цапата в «Жильблазе»; и вот почему, милостивый государь, если вы хотите узнать меня, то узнавайте кусочками, угадывайте меня в стружках, в насечке, в сплавке. Не мешайте ж мне разводить собою рассказы о других: право, не останетесь внакладе.

Я поднимаю спущенную петлю повести.

Савелий сидел задумавшись на руле. Сердце его то вздувалось, как парус, то опадало, как волна. Чувство беспредельности завладело им, и тогда на вопрос: «о чем ты думаешь?» — он мог бы отвечать: «ни о чем!» по всей правде, потому что все мысли, все ощущения в такие часы подобны каплям, вдруг улетученным в безвидные пары; они разливны, смешаны, безграничны. Товарищи Савелья больше или менее погружены были в такое же безотчетное, немое созерцание и внимание природы в себе и себя в природе, в чувство сознания, неразлучного событию, доступное, как я думаю, всем животным.

Наконец племянник дяди Якова, который, по всей вероятности, неохотно расстался с избой своей и косой своей, и косой своей любушки, с горелкой и с горелками, первый сломал общее молчание.

— Эка притча, подумаешь ты! Ухитрился же человек в корыте по морю плавать, бога искушать! Аль земля-то клином сошлась? Аль на земле угодьев ему не стало?

— Молчал бы ты, молчал,— возразил с досадою дядя Яков.— Коли в мореходы пошел, так по земле нечего тужить! Земля, эка невидаль! Видишь, что выдумал!

— Право, дядя Яков, не я ее выдумал.

— Тебе ль ее выдумать, когда ты об ней и подумать-то путем не умеешь! Земли-то у нас много, да в земле мало:

за-неволю пришлось рулем море пахать. Небось любишь ты и крупчатик съесть, и синий кафтан напялить, и почаевать порой; а разве тонкое сукно да сахар у нас на березах растут? Ась? Вот и плывут удалые головы за море, по красный товар. В лес не съездишь — так и на полатях замерзнешь.

У глупцов голова ни дать ни взять азиатский караван-сарай: голые стены без хозяина. Мысли приходят в нее неизвестно откуда, уходят незнаемо куда. Слово *море* пролетело сквозь уши Ивана и спустило пружину песни. В голове его ничего не было кроме песен; он затянул:

За морем синичка не пышно жила,
Не пышно жила, пиво варивала,
Солоду купила, хмелю взаймы взяла.

В свою очередь слово *пиво* чудным сцеплением идей пробудило в Алексее пивное воспоминание, и он, вытирая мечтательную пену с губ своих, сказал:

— Знаешь ли что, дядя Яков? В иную пору мне бы и в ум не впало тужить по родине, а теперь у нас в деревне праздник на дворе, так если бы удалось престолу свечку поставить, повиднее бы в море пускаться.

— Молод, брат, ты, Олеша, да вороват! Не свечка, а печка у тебя на уме. Не молиться, а столовать тебя охота разбирает. Старики недаром сложили пословицу: «кто на море не бывал, до сыта богу не маливался». Да уж коли здесь мало простору, так в Соловках — молись не хочу. Добрые люди с краю земли пешком туда ходят на богомолье, а тебе к случаю, без труда, выпала такая благодать — чудотворцам Зосиме и Савватию поклониться, к мощам приложиться, чудесам их подивиться! Ахнешь, брат, как повидишь, из каких громад сложены стены монастырские! Вышины — взглянь, так шапка долой; толщины — десять колесниц рядом проскачут; и каждый камень больше избы. Ведь святым угодникам ангелы помогали; человеку ни вздумать, ни сгадать, не то чтобы руками поднять такое беремя.

— Аль Соловецкий-то остров утес, дядя Яков?

— В том-то и диво, что не утес. Берег как двинский: песок, где-где с подводными валунами. А птицы-то, птицы что там! На заре инда стон стоит! Гусей, лебедей словно пены, под божьею тенью рай для них. Никто их не бьет, не пугает, сердечных. У самых ворот журавли на одной

ножке стоят, дикие утята полощутся и усатые киты играют, со стен подачки дожидаются.

— А что, дядя Яков, кит-рыба, примером сказать, ростом-дородством будет с царский корабль?

— Кит киту розь,— преважно отвечал дядя Яков.— Есть сажен в десять, есть сажен в двадцать; да это на нашем веку так они измельчились. В старину то ли было! Лет два сорока тому назад, в страшную бурю, прошел мимо Соловецкого кит, конца не видать; разыгрался он хвостом, хвост-то вихрем и вздуло, как парус; не может кит хлеснуть им об воду. А хлеснул бы он — затопил бы низменный остров, залил бы монастырь с колокольнями. Отец архимандрит со всеми старцами целую ночь напролет слезно молились: пронеси, господи, мимо кита-рыбу! Не дай ей ударить ошибом по морю! И отмолили беду неминучую: к утру кит провалил мимо, гроза утишилась. Даже в Архангельске слышно было, когда приударили на Соловках с радости в огромные глиняные колокола. «Ну, слава богу! — сказали. — Жива обитель преподобных Савватия и Зосимы!»

— А что, эти глиняные колокола-то обожженные али из сырца? — с недоверчивостью спросил Алексей.

— Не сподобил бог видеть самому; только пономарь мне сказывал, что они до сих пор в тайнике висят, а как благовестить в них станут, заслушанье: что твои райские птицы поют! Да ты сам обо всем расспросить можешь: к восходу солнышка мы станем в Соловки.

— Если станем! — молвил Алексей.

— А с чего бы нет? Сто двадцать верст, спустя рукава перемашем.

— Не хвались, дядя Яков,— сказал Савелий,— а лучше насвистим-ка погодку; видишь, ветерок-то стих, перепал.

Покорный общему суеверию моряков, дядя Яков принялся свистать, как свищут коням на водопой. И в самом деле ветер порхнул, будто дожидался приглашения; засвежел, скрепчал скоро. Зыбь раскатывалась грядами, гряды сшибались в крутые валы, и, наконец, море дало гул, подобный гулу, предшествующему вскипению воды в огромном котле. Солнце садилось в огненных тучах, весь запад кипел, будто кровью,— верная примета непогоды; когда ж горизонтальные лучи переломлялись в прозрачной синеве, в переливной зелени вала, он сквозил как

стекло, он вспыхивал, как туча, молниею и гас, и темнел, и обрушивался, подавленный другими.

Савелий, принужденный придержать к ветру, чтоб не зарыскнуть далеко в океан, в упор налегал на румпель. Дядя Яков с Иваном держали на руках шкоты зарифленного (уменьшенного) грота. Алексей, бледный как саван, сидел, уцепившись за борт, и с ужасом смотрел на хлещущие в бок судна валы. Ему казались они чудовищами, которые заглядывают в карбас, чтобы схватить и сожрать его.

— Глянь-ко, глянь, дядя Яков! — сказал он.— Валы-то за нами вперебой гонятся. Страсть, да и только.

— Аль тебе дивно, что валы-старички расплясались? Да, брат, они скоро сами седеют, скоро и нашего брата седым делают. Ты не смотри на их пляску, а то как раз голова закружится.

— И впрямь так! — примолвил Савелий.— Чем глазеть на валы, возьми-ка, Алеша, лейку да отчерпывай воду: вишь, то и знай поддает. Ну, дядя Яков! напрасно я тебя не послушал: придержать бы к берегу, а то меня и в хорошую погоду знакомые отпевали, чуть я сберусь в море на карбасе, а в такую свалку, если б знал да гадал, я бы и сам трезвый не пустился. Посмотри на облака: словно недобрые люди бродят вкруг да около и промеж собой перемолвливают, куда бы на разбой стрекнуть.

— Чего доброго! — сказал дядя Яков.— Пожалуй, и до нас доберутся, а у нас ворота настежь. Долга нам будет эта ночь!!

И ночь задвинула небо тяжкими тучами, и тучи всплескались, как волны, и море забушевало, как небо. Вихорь спирал, возметал, разбрызгивал пары и волны. То черные облака разевали огненную пасть свою, зияющую жалом молний, то белогривые валы, рыча, глотали утлое судно и снова извергали его из хляби. В карбасе едва успевали отливать. Паруса уже были убраны, но шквалы хлестали его так сильно, что нагие мачты трещали; он летел как бешеный конь, и каждую минуту пловцы наши ждали, вот-вот зароется в воду. И вдруг разразился над ними удар грома; огонь ливнем рухнул во все трещины лопнувшего свода небес, и в тот же миг вздутый порывом вал ударил в корму. Карбас пил смерть; миг был ужасный. Пловцам показалось, их окатил огненный водопад сверху и снизу; они закрыли ослепленные

глаза, чтобы не открывать их навеки. Савелий с криком: «Господи, прими мою душу!» — выпустил румпель. Алексей уронил лейку...

— Теперь молись! — сказал ему дядя Яков.

Один только Иван не бросил работы: сквозь рев бури и валов слышалась звонкая песня его:

Из-за Волги кума в решете приплыла,
Веретенами гребла, юбкой парусила.

Савелий не хотел умереть, потому что сбирался пожить, Алексей — потому что не успел пожить, дядя Яков — потому что не готов был умереть. Но что значила смерть, что прошлое и будущее для Ивана? Он не имел, на чем свесить этих загадочных мыслей. Он покинул бы свет точно так же, как и вошел в него,— без малейшего произвола или сожаления. Счастливец Иван! Не отбил бы я у тебя твоей жизни, но твоей смерти позавидовал бы. Кто, отваливая в гробу от жизни в вечность, не оглянется назад со вздохом, не взглянет вперед с сомнением, если не с ужасом?.. А он тонул и пел!

И поверите ли? когда стих гул громового удара в душах пловцов, они расхохотались песне Ивана и смеялись долго, смеялись наперерыв, будто в припадке. Разгадайте теперь сердце человеческое! Оно скорей всего дает смех в минуты самой жестокой скорби и ужаса! Я это видел и испытал.

Буря издохла с последним ударом своей ярости. Ветер упал вдруг. Природа как человек, или, лучше сказать, человек как природа в свое лето — вспыльчив и бурен на миг. Облака будто растопились молниею в дождь, и месяц, выкупавшись в туче, весело блеснул в тьме неба; лишь на краю горизонта толпились беглецы облака. Они улетали, ропща, огрызаясь, и порой вспыхивали их выстрелы зарницею; валы смывали отсталых; валы еще ходили и сшибались грозно между собою, как ратники иных народов после войны со врагами заводят междоусобия в отчизне, чтобы утолить свою кровавую жажду хоть из жил братий и дотратить на них боевой огонь, раздутый привычкою. Но скоро волны разлились в широкую зыбь, и по ней зазмеились белые полосы пены, недавно венчавшей гребни валов. Они тянулись, подобно строкам на мрачной, бесконечной странице моря, подобно следам поколений на океане жизни. Исчезла самая пена, и синева

бездействия подернула лицо моря. Оно дышало уже тяжело и прерывисто, подобно умирающему, и, наконец, к утру душа его излетела туманом, как будто преображая тем, что все великое на земле дышит только бурями и что кончина всего великого повита в саван тумана, непроницаемый равно для деятеля, как для зрителя.

Светало.

Аргонавты наши из несомненной смерти попали в смертельное сомнение, и хотя при этой верной оказии убедились они, что выражение любовников и подсудимых, будто сомнение хуже смерти, не совсем справедливо, однако ж положение их было вовсе незавидное. Карты нет, компаса не бывало. Да и на кой черт перед ними раскладывать карту, когда нет уменья разбирать ее? Один русский шкипер-мореплаватель на вопрос: «Разве у вас нет карт?» с простодушием отвечал: «Были, батюшка, и золотообрезные, да ребята расхлестали, в носки играючи». Компас — иное дело; Савелий знал, как с ним посоветоваться, да та беда, что в свадебных попыхах забыл его дома! Как быть? Ветер вчерась гонял их то вправо, то влево, вертелся, как бес перед заутреней, и перетасовал все румбы и умы наших пловцов в такой баламут, что сам Бюффон со своею теориею ветров проиграл бы свое красноречие. Не мог придумать Савелий, на нос или на затылок должно надеть север. И солнце, по его мнению, то входило в левое ухо, а закатывалось из правого, то в правое, и садилось в левом. Куда же поворотить? Где искать Соловецкого? Утро раскрывалось как цветок, зато уж туман клубился — хоть на хлеб намазывай. Вот потянул ветерочек слева; но он был неверен, как светская женщина, колебался туда и сюда, как нынешняя литература, и чуть бороздил воду, будто на цыпочках бегая вкруг судна, чтоб не разбудить мореходцев.

Савелий держал совет с дядей Яковом.

— Соловки близко впереди,— говорил Алексей.— Вихорь гнал нас в тыл, и мы бежали как заяц от беркута.

— Соловки у нас далеко в правой руке,— утверждал дядя Яков.— Шквал зашел справа и занес карбас, как сокола, на запад.

— А может статься, и правда! — молвил Савелий.— Откудова ж теперь подул ветер?

— Вестимо, с севера! Днем жарко, днем дует ветер с берега; ночью свежо, ночью он ворочается домой.

— Да теперь уж день, и назло тебе прошлую ночь ветер бежал с берега, словно из острога с цепи сорвался.

— Буря — особь статья, Савелий Никитич! На земле-то целую неделю пекло да жарило так, что и ночь не в ночь была; вот тепло без очереди и валилось в море, а теперь земля искупалася, попростыла; теперь непременно потянет холодок на берег, оттого что холодок сильнее тепла стал.

Дядя Яков говорил правду. Он не читал, отчего происходят ветры в атмосфере, не имел понятия о разрежении воздуха электричеством бурь или по разновесию газов, но он имел здравый ум и опытность. Савелий убедился. Решили, как изъясняются наши доморощенные мореходы, *побрасовать*, то есть поворотить паруса, и держать на восток. Вьюн зашипел за рулем; карбас поплыл в полветра. Однозвучное плесканье волн и утомление минувшей ночи клонили ко сну мореплавателей. Один Савелий не смел предаться утреннему сладкому сну: он был хозяин судна, он был король этого государства, сбитого деревянными гвоздями. Для блага своего и охраны других он не спал; зато грезил наяву. На ткани паруса и ткани тумана проходили, плясали, мелькали яркие образы, будто по месяцу волшебного фонаря. Ему виделось, как русая коса Катерины Петровны разделяется на две половины, и дважды обвивает чело ее, и скрывается под гарнитуровый платочек с золотой каймою. Виделись ему и раздернутые ситцевые занавесы брачной кровати, и смятая пуховая подушка под розовою щечкою невесты; виделись ему друзья и приятели,— пируют уж у него на крестинах. Вот забота, как назвать первого сына, кого позвать в кумовья первой внучке. Одним словом, около него резвилась уж целая толпа его нисходящих потомков, и он глядел на них нежно и любовно, как иной сочинитель на свое литературное потомство — мал мала меньше, запеленанное в телячью кожу с золотым обрезом, которое, мечтает он, грядущие веки будут нянчить наподхват. Он грезил уж о внучатах, говорю я, забыв, что под ним голодная пучина, забыв, что корабль не более как дерево, матросы не более как люди и что «есть земные крысы и водяные крысы», по словам Шекспирова жида Шейлока; а крысы съели польского короля Попеля; так спустят ли они разночинцу?

Сон и мечтания граждан карбаса прерваны были страшно и внезапно. Саженях в пятидесяти от них, на ветре,

вспыхнула молния сквозь туман, и за громом выстрела ядро, свистя, перелетело через их головы. Все вскочили с мест: Иван с знаком удивления, в скобках зевка; Алексей с облизнем от не допитой во сне браги; дядя Яков с растрепанною бородою; капитан Савелий с предчувствием конечного разорения. У всех уши выросли на вершок, у всех ужас вылился единогласным криком: «Что это?!»

— Не гром ли? — сказал, крестясь, Савелий.

— Не звон ли глиняных соловецких колоколов? — молвил лукаво Алексей.

— Я те задам такого благовесту с перезвоном, что у тебя до Касьянова дня в ушах будет звенеть! — крикнул дядя Яков.— Никитич! Лево на борт! Зевать нечего! Это англичане.

Целая стая годдемов зажужжала по дорожке, прорванной в тумане ядром, и убедила наших в несомненности слов Якова. Но желанье уйти от невидимого капера, пользуясь мглою, оперило их надеждою. Карбас кинулся по ветру, как утка, испуганная ружьем охотника. Но через минуту всякая вероятность избавления исчезла. Туман, испаряясь, становясь прозрачным, оказал погоню за кормою. Английский куттер, взрывая волны и пары, катился вслед бегущих. Огромный гик, отброшенный на ветер, выходя из туманов, казалось, хватал их; тень треугольного паруса будто вонзалась в корму; она обдала холодом сердце русских. Жестяная труба загремела: «Boat-ahoo! Strike your colour (бот! сдайся)».

Руки отнялись у бедняжек. Уползти не было возможности. Оружия у них — один дробовик да два топора. Между тем куттер напирал все ближе и ближе, заслоняя собою ветер.

— Down with your rags (долой ваши тряпки)! — кликнула снова труба.— Put the helm up, damn (руль на борт, черт возьми)! Strike, or I'll run over and sink you (сдайся, или я перееду и потоплю тебя)! — С этим словом куттер начал приводить к ветру, чтобы дать действовать артиллерии. Савелий очень хорошо знал в чем дело. Он ясно видел, что англичанин мог пустить его ко дну ядрами или ударом водореза; но он был оглушен мыслию неволи и разоренья,— и когда же? В самом разгаре надежд, в самом цвету счастья! Он пришел в ярость, вообразив, что все его достояние, все его потомство в фунтиках, в узел-

ках, в тюках, в рогожках погребется в брюхе разбойничьего судна; что вместо объятий Катерины Петровны ожидают его линьки боцмана, вместо матушки-Руси какой-нибудь блокшиф [1], исправляющий должность тюрьмы. Ретивое вспыхнуло: он схватил заржавелый дробовик и бац — прямо в борт куттера!

— Fire (пали)! — раздалось на нем.

Пламя каронады брызнуло по головам русских, и цепное ядро срезало обе мачты. Павшие паруса накрыли карбас, и, прежде чем наши выбились из-под этой сети, шестеро вооруженных матросов вскочили в судно и перевязали их. Сопротивление было бы безумством. Судьба свершилась. Савелий со всей своею командою — военнопленный; его карбас вместе с грузом — добыча английского капера, признанного в этом достопочтенном звании правительством и снабженного от него письменным видом, lettre de marque, и чугунными ядрами, для законного грабежа врагов Великобритании.

Давно уже, и много, и красно писали г. г. публицисты противу корсарства, приватирства, пиратства, каперства, или просто-напросто морского разбоя, прикрытого флагом; но как такую песню запевали всегда те, которые не могли сами грабить, а не те, которые смели грабить, то все совещания ученых и обиженных кончались обыкновенно как совет мышей — не находили молодца, который бы привязал колокольчик на шею кошке, Англии. Забавнее всего, что Наполеон, который не признавал никаких прав, кроме тех, что мотаются как темляк на шпаге, Наполеон, который, где только мог, изъяснялся диалектикою двадцатичетырехфунтового калибра, унизился до смиренной прозы, толкуя о каперах. Он очень серьезно и остроумно доказывал, что морское народное право — вовсе не право; что не сходно ни с европейскими правами, ни с понятиями века грабить и полонить беззащитных купцов враждебной нации на море точно так же, как частную собственность мирных граждан на берегу; что, платя за съестные припасы поселянину и сохраняя жизнь, свободу и имущество даже в городе, взятом в бою, не бесчеловечно ли, не унизительно ли отнимать и то, и другое, и третье, как скоро оно на корабле? Неужели соленая вода до того

[1] Старый корабль, без вооружения, в порте стоящий. *(Примеч. автора.)*

изменяет краску понятий, что презрительное и беззаконное на суше становится на море похвальным и законным? Приговаривался он, что каперы и крейсеры должны ограничиваться лишь осмотром купеческих судов и конфискациею одних военных снарядов. Англичане говорили, что это весьма справедливо, и не переставали забирать, ловить, грабить все французские и союзные Франции суда.

После Тильзитского мира очередь упала и на нас, грешных. Мы принялись сосать свеклу, уверяя себя, что это сахар, и за тридорого одеваться в дрянное сукно, сотканное на континентальной системе. Зато мы точили тогда свои непокупные и неподкупные штыки и вместо кофе пили надежду близкой мести. Она разразилась 1812 годом. Но так или сяк, а Савелий Никитич пленник. Англичане, как всем известно, народ ласковый, приветливый, до того, что на боках его и его товарищей напечатался не один параграф морского права, покуда оно переселилось на палубу его великобританского величества, эту плавучую почву habeas corpus[1], ступив на которую каждый чужеземец пользуется неограниченною свободою носить свой нос по будням и праздникам невозбранно. Мы видели, как поступили они с Наполеоном, который имел простоту отдаться добровольно их гостеприимству и великодушию; можете судить, каково приняли они русских мещан, дерзнувших убегать от их правоты и даже ранить дробью в нос дубовый куттер под флагом Георга III. Le cas etait pendable — это висельный случай, как говорят французы, и Савелью наверно бы досталось проплясать джиг под концом рея, если б он попался английской дисциплине после обеда; но, к счастью, пленение карбаса произошло в первую бутылку дня[2], и потому капитан капера удовольствовал гнев свой, отпустив им на брата по дюжине образцовых браней, standart jurements — God damn yaur eyes! с придачею не в зачет нескольких You scoundrels, ruffians! и barbed dogs (мошенники, бездельники, борода-

---

[1] Акт о неприкосновенности личности *(лат.)*.

[2] В морских заморских романах, я чай, не раз случалось вам читать: «четвертая склянка», «осьмая склянка». Это мистификация; это попросту значит, что моряки хватили три бутылки, что они пьют уже восьмую. Часомерие это, самодвижное и самозвонное, весьма удобно и здорово: в полдень опрокидывают они все бутылки разом, и это называется поверка хронометров. Ученое замечание. *(Примеч. автора.)*

тые собаки)! Савелий и дядя Яков, которым английские приветствия приелись, как насущные сухари, находили это в порядке вещей. Но Алексей несколько раз пытал высвободить свою десницу из веревок, чтобы обратиться с ответом *прямо к лицу* капитанскому; Иван поплевывал вдвое чаще.

Но в сущности англичане не злой народ, и если вычесть из них подозрительность, грубость, нестерпимую гордость и гордую нетерпимость всего иноземного, вы найдете, что они самые любезные люди в свете. Сердце англичанина — кокосовый орех: надо топором прорубиться до ядра, но зато внутри не свищ, как у француза, а сок освежительный. По внешности он действует сообразно со своими угнетательными, корыстными, колониальными законами; дома — по душевному уставу. Таков был и краснощекий, толстопузый капитан Турнип, командир куттера,— груб с лица, радушен с подбою. Раздраженный сопротивлением ничтожной русской раковинки, он грубо принял гостей своих; но когда дело кончилось удачно, когда все тюки и бочонки перепрыгнули через борт в трюм его, когда и сама верхняя часть карбаса изрублена была на дрова, а днище отправилось ко дну, когда он взглянул на бумаги Савелья, ограбивши прежде все дочиста,— это по-судейски, люблю молодца за обычай,— и объявил, что карбас был законный приз, улыбка разутюжила сафьянное лицо его; нахмуренные брови раздались, расступились, и он, ласково ударив Савелья по плечу, бросил ему самое засмоленное из приветствий, расцветающих на палубе:

— Heave a head, boy, and never fear (подыми голову и ничего не бойся)! [1]

Савелий, по народному выражению, лихо насобачился говорить по-английски. Савелий был сердит, а потому без раздумья просунул ответ сквозь зубы на это ободрение английской работы:

— Бог тебя прокляни, морская собака, и пусть будет черт твоим флагманом! Не бойся? Да чего мне теперь бояться, когда ты ограбил меня до души.

— Never mind! Забудь это! — возразил с улыбкою Турнип.

---

[1] Heave a head — в морском значении почти то же, что у нас: по местам! смирно! — то есть будьте внимательны, слушайте. *(Примеч. автора.)*

Мысль о добыче отбила прочь досаду за брань.

— Скорее черт забудет взять твою душу, чем я забуду счастье, которое ты у меня отнял!

— Ах ты, неблагодарное двуногое! Разве не подарил я вам жизни и бочонка с квасом, с этим некрещеным напитком, без которого ни один русский не может существовать? Разве я этого не сделал? Watch boy, did I not?[1]

— Ты мне жизнь и квас сделал хуже уксусу. Не потчуй меня такою обглоданною жизнию. Я не собака, чтобы прыгать на цепи и лизать плеть твою. Утопил ты мой карбас, утопи же и меня.

— Если утопить тебя в море, оно сделает из тебя солонину рыбам; тебя жаль! Если ж утопить тебя в водке, она превратится в настойку глупости; водки жаль! Ты, приятель, лихой моряк, когда пускаешься по морю в табакерке; я не могу запретить себе уважать такую отвагу. Ну, скажи, за что ты сердишься? Будь ты сильнее меня, ты сделал бы то же со мною, что я с тобой! Не лучше ли будет прохладить твою горячку, выливши на тебя ведро холодной воды, и утопить твое горе, влививши в тебя стакана два рому?

Хмель — чудесная смазка для удовольствия и горя: он так же плотно лепит к сердцу расписанный изразец первого, как зубристый булыжник второго. Савелий долго отнекивался пить, отталкивал приветно подлетающий к губам его стакан с жидким забвением; наконец глотнул, морщась; еще и еще разик, и вот, с каждым глотком, горе его таяло, как сахар в пунше, и, наконец, он подумал: «Покуда сам жив, счастье не умерло!» И он весело взглянул на божий свет, будто выбирая, с которого края почать его. Он отломил каждому из своих товарищей по кусочку собственной бодрости и протянул к капитану руку.

— Так бы давно! — сказал тот.— Будьте смирны да работайте, так на нас жаловаться не станете. Даст бог, русские подымутся с нами заодно против этого разбойника, Бонапарта, и тогда вы опять увидитесь с своей родиной. Она хоть и ледяная, а все до тех пор не растает!..

«А Катерина Петровна? — подумал Савелий со вздохом.— Женщины тают скорее снегу».

Капитан окунул свои руки в карманы и пустился ходить по палубе. Может быть, и он думал о своей Фанни.

---

[1] Смотри, мальчик, разве нет? *(англ.)*

Капитан этот служил сперва на ост-индских кораблях — на индейцах, Indianen, как выражаются англичане. Потом состоял он на полужалованье; потом ему отказали и в этом за долгую неявку. Он, изволите видеть, рассудил, что лучше есть пряности и сладости, чем перевозить их с берегов Ганга, и женился. Тут он узнал, однако ж, что вся сладость супружеского чина состоит в картофеле и в куске говядины. Это так его тронуло, что он с горя потолстел, а для рассеяния и барышей пустился в торговлю. Коварная стихия, то есть море, а не жена его, однако ж, не сманила бы его самого с берега, если б несчастным случаем часть его имущества в товарах не попалась в руки французскому каперу. С этой минуты он от собственного лица объявил войну Наполеону и, движим любовью к отечеству и к своему карману, решился вознаградить убыток тем же путем, каким он пришел к нему. Оснастил он небольшое одномачтовое судно, нанял экипаж, купил себе четыре пушчонки,— ведь в Англии они продаются на толкучем рынке, и подчас вы можете купить целую батарею у носячего,— испросил у правительства билет на представление войны в миньятюре и пустился пенить море. Ему удалось в Канале захватить какой-то бот с контрабандою да несколько несчастных рыбачьих лодок. Это его произвело в собственном мнении в герои красного флага, и он, заслышав, что снаряжается небольшая эскадра в Ледовитое море для поисков над шведами и русскими, решился идти вслед за нею, как чакалка за тигром. Он расчел, что шведские китоловы и русские мещане ему по силам более, чем французские корсары, и что, врасплох нападая, скорей можно поживиться добычей. Он снялся с якоря и обогнул Норвегию вместе с королевскою флотилиею.

Разрыв России с Англиею в угоду Наполеону хотя и не был искренним с обеих сторон, однако ж все моря, которые считают англичане своими столбовыми и проселочными дорогами, highsways and by-ways, были замкнуты для нас живою цепью кораблей. Крейсеры их шныхарили в Балтийском море и в 1811 году показались в Белом море, с набожным намерением разграбить Соловецкий монастырь. Сведав однако, что там усилены гарнизон и артиллерия, они не посмели на приступ и возвратились. Один только бриг проник до самой Колы, однако ж спешил улизнуть оттуда с небольшою добычею за добра ума,

когда был застигнут бурею, разлучен со своим флагманом и наткнулся на карбас Савелья. Теперь он правил бег свой восвояси, и уже три дня протекло со дня пленения карбаса. В эти три дни капитан Турнип обжился с новобранцами своими. Капитан Турнип был неплохой моряк по знанию моря, но очень плохой по своей лености. Женатая жизнь избаловала его: неохотно расставался он с застольем и постелею. Крутой пудинг и мягкая подушка были для него, разумеется с примесью мадеры и грога, первым блаженством мира; он не мог вообразить идолов иначе, как в виде соусника, бутылки или пуховика. Вследствие сего он гораздо более любил проводить время в уютной каюте своей, чем на палубе. Что же делать, милостивые государи! Он привык к домовитой, к порядочной жизни: он был человек женатый.

Впрочем, наш холостой XIX век также прихотлив, будто женатый вельможа, comfort[1] — надпись его щита. Правда, он выдумал для неприятелей паровые пушки, для приятелей дрожки без одолжения; зато выдумал и сиденье сзади коляски для слуг, тротуары для пешеходов, ошейники с рессорами для собак, резинные корсеты для красавиц, непромокаемые плащи для воинов, суп из костей для бедных, для богатых нетленный суп, который выдержит потоп, не потерявши вкусу, выдумал жаровню, которая жарит бифстекс в кармане, и ватерклозеты для спален. Выдумал он... Да чего он не выдумал! Все — от машины растирать камни в пузыре до французской бритвы, гильотины, которая вам снимает голову так легко и скоро, что вы не успеете чихнуть, и до многих других этого рода усовершений. Скажите, можно ли быть заботливее, предупредительнее нашего века? Не хотите ли вы мне говорить про солнце старинное, про нестареющую природу, про наслаждение бивуаков, про здоровье гнилых сухарей и приятности грязного белья?.. Вздор, сударь! Я люблю искусства и промышленность. Я хочу жить и умереть при свете газовых ламп, на тюфяке, набитом благовонным воздухом, в перчатках с пружинами, с резинною спиною, с сердцем, не промокающим даже от слез. Я русский своего века, милостивый государь! Я люблю газеты и омнибусы... Я люблю comfort. Ваш покорнейший.

---

[1] Комфорт *(англ.)*.

Капитан Турнип, как англичанин, который скорее бы согласился обнищить половину своих сограждан и зачумить другую, скорее, чем оставить пустыми свои благоустроенные тюрьмы и больницы, любил комфорт не менее моего и, по обыкновению своему, в третий вечер отправился на боковую, оставя рулевого за себя бодрствовать, а русских пленников спать на голых досках, под парусом вместо одеяла. Ночь была прелестна без метафоры. В самом деле, ночи севера очаровательны: это день при лунном свете, это перелив зари вечерней в зарю утреннюю. Опаловые небеса чуть блещут звездочками, и, когда они роняют лучи свои в синие волны, резвушки волны ловят их, отнимают друг от друга, делят, дробят их искры, хотят затаить в своем зыбком хрустале и потом прыщутся ими игриво. Взор ваш далеко пронзает чистое небо, как будто усиливаясь прочесть высокую, божественную мысль, по нем разлитую, глубоко погружается в бездну моря, разгадывая дивную тайну, в нем погребенную. Вы скажете, что эти улетающие от взора небеса со своими алмазными цветами, со своей радугою вкруг месяца, с причудливыми образами облаков есть воображение, а море с ропотною пучиною своею, с обломками кораблекрушений, с каменистыми растениями, с трупами, с чудовищами на дне, с фосфорическим блеском сверху — память человеческая?

Савелий не разгадывал ни мысли, ни тайн творения, но они совершались в нем без его ведома. Тоска по отчизне грызла его сердце, тоска, которую превзойдет разве час разлуки с жизнью. Выньте рыбу из воды, посадите птичку под воздушный насос и скажите им: «живи!» Оторвите человека от отечества и потом дивитесь, что он чахнет, скучает. Не спалось Савелью на новоселье. Он тихо поднял голову...

Ветер был свеж, но ровен. Закрепленные паруса были вздуты; куттер, склонясь набок, шибко резал волны, и они рассыпались о грудь его серебряными колосьями. Всплески звучали мерным ладом, и струя, скользя вдоль боков, сливалась за рулем в завитки и нашептывала, напевала сон на все живое. Покорный этому призванию, рулевой дремал над румпелем и только повременно, по привычке ворчал: «Steady! Steady! (проворнее)». Трое вахтенных матросов храпели уже, прикорнув к сеткам; остальные все спали в койках, в своей каюте, внизу.

И вдруг огневая мысль выстрелила в голове Савелья и проструилась по всему его составу. Ему показалось, кто-то крикнул на ухо: «Овладей куттером!» Он толкнул дядю Якова; тот проснулся.

— Видишь ты? — сказал он шепотом, показывая на спящих англичан.

— Вижу,— отвечал Яков оглядевшись.

— Хочешь ли ты свободы? — спросил Савелий.

— Хочешь ли ты смерти? — спросил в свою очередь Яков.

— Смерть — та же воля. Лучше умереть в шубе, чем голому жить. Лучше отдать свои кости божьему морю, нежели таскать их по чужой земле. Со мной, что ли, дядя Яков? Не то я один наделаю проказ, а в кандалы не дамся.

— Слушай, удалая голова: я не меньше тебя люблю матушку-Русь, я тебя не выдам. Только подумай — где мы и сколько нас?

Савелий указал ему на два люка, отверстия, ведущие под палубу, потом на ряды абордажных орудий, висящих по сеткам, и что-то пошептал ему на ухо тихо, тихо.

— С богом! — произнес дядя Яков.

С двумя остальными русаками нечего было советоваться: им стоило только велеть, и они готовы в пыл и в омут. Савелий подобрался к борту, отцепил топор и прямо пошел к рулевому. Тот в полглаза взглянул на него, подернул штуртрос[1] и пробормотал свое: «Steady! Steady!» Оно было последним. Савелий разнес ему череп до плеч; несчастный упал через румпель безмолвен, и кровь рекой полилась по палубе. Трое русских схватили одного спящего англичанина и перебросили его через борт в море. Но двое остальных англичан проснулись от шуму, схватились бороться и только раненые уступили силе. Голодная пучина с шумом приняла их в свое лоно, но не вдруг поглотила их. Жалобный, пронзительный крик то возникал, то смолкал над волнами, и, наконец, все слилось в молчание могилы, в тихий говор моря. Между тем смертный клик борьбы всполошил осьмерых матросов, спящих внизу; но русские успели уже надвинуть на отверстия решетчатые крышки и закрепить их сверху болтами. Едва англичане осмеливались попытаться поднять

[1] Веревка, управляющая рулем. *(Примеч. автора.)*

кровлю своей западни, три заряженных мушкетона отпугивали их прочь. Люк в каюту капитана был также заколочен прежде, чем он отряс с ресниц своих сон, утроенный мадерою.

— *Бой!* — закричал он грозно, услышав необычайную суматоху на палубе. — *Бой!* — повторил он с приложением сотни браней; но *бой* не являлся, хотя заклинания капитанские могли бы вызвать всех чертей из ада. Бедняга, мальчик лет двенадцати, вестовой капитана, был лишен на этот раз неизбежного пинка, служившего знаком восклицания звательному падежу — *бой!* Он давал ему невероятную быстроту движений. «*Бой*, принеси бутылку. *Бой*, кликни боцмана!» — и пинок в зад, и он взлетал по лестнице соколом. Да! пинок есть первая буква английской дисциплины, которой последняя — петля на конце реи.

Видя, что *бой* нейдет за получением своей порции, капитан в гневе вскочил с постели и кинулся к дверям; они были заперты.

— Что это значит?! — вскричал он, потрясая задвижками.

— Это значит, что ты мой пленник,— отвечал Савелий сквозь люк.— Половина твоих людей в море; другая забита в палубе. Сдайся!

— Чтобы я, лейтенант королевской службы, сдался бородачу? Никогда! Ни за что! Я пробуравлю дно и потоплю тебя! — кричал Турнип.

— Я зажгу судно и взорву тебя на воздух,— возразил Савелий.

Но судно не было потоплено, ни сожжено. Оно было только обращено назад и тем же полуветром бежало к Руси. Савелий правил рулем и надзирал над капитанским люком. Двое других стояли на часах при люке матросской каюты, одному позволялось спать. Все они были обвешаны оружием. Тяжко бы им было управляться с парусами, если бы ветер переменился или скрепчал; но он дул ровно и постоянно, и Алексей, весело поглядывая вперед, охорашивался и говорил: «Знай наших!» Тишина прерывалась только порой бранью запертых в клетке англичан да заклинаниями капитана. Наконец и он умолк. Как истинный философ, он, приняв тройной заряд рому, заснул, поверженный, но не побежденный.

На другой день русские сделали печальное открытие, что у них нет ни крошки сухаря: все съестное хранилось внизу. Победители могли умереть с голоду прежде, чем добежать до берега. Англичане не сдавались и не давали ничего. К счастью, случай уравновесил бедствие обеих воинствующих наций. Англичане незадолго выкатили на палубу остальные бочки с водою, для помещения под кровлю нежной добычи. Начались переговоры.

— Дайте нам хлеба! — говорили русские.

— Дайте нам воды! — говорили англичане.

— Не дадим,— отвечали англичане,— покуда вы нас не выпустите.

— Не дадим,— отвечали русские,— сдайтесь!

И парламентеры расходились от люка.

Но голод и жажда уладили перемирие. Народное честолюбие замолкло перед воплем желудка; мена учредилась. За каждый кусок сухаря и солонины, данный в обрез, отмеривались кружки воды на полжажды.

— Я бы желал, чтоб ты подавился этим куском! — говорил капитан, просовывая олений язык сквозь отверстие люка.

— Я бы желал, чтоб ты век пил одну воду,— говорил Савелий, подавая ему мерку не винной влаги.— Авось бы ты с этого поста поумнел!

— Ты разбойник! — ворчал капитан.

— Я твой ученик,— возражал Савелий,— утешься! Я сделал с тобой то же самое, что сделал бы ты со мной, если б был сильнее. Разве это не твои слова?

Капитан говорил, что ничего в свете нет глупее таких утешений.

Куттер плыл да плыл к Руси.

Куттер этот был забавное и небывалое явление в политике. Это не было уже status in statu [1], но status super statum [2], государство верхом на государстве,— победители без побежденных, и побежденные, не признающие победителей; это были два яруса вавилонского столпа, спущенные на воду. Внизу ревели: «Да здравствует Георг III навечно!» Вверху кричали: «Ура батюшке царю Александру Павловичу!» Английские годдемы и русские непечатные побранки встречались на лету. Это, однако ж, не

---

[1] Государство в государстве *(лат.)*.

[2] Государство над государством *(лат.)*.

мешало куттеру бежать по десяти узлов в час, и вот завидели наши низменный берег родины, и вот с полным приливом, с полным ветром вбежал он в устье Двины, не отвечая на спросы брандвахты, несмотря на бой бара. Савелий не хотел медлить ни минуты и, зная, что ему простят все упущения форм, катил без всякого флага вверх по реке. Таможенные и брандвахтенские катера, задержанные баром, выбились из сил, преследуя его. Таможня и брандвахта сошли с ума: ну что, если этот сумасброд — англичанин! ну что, если он вздумает бомбардировать Соломболу, сжечь корабли, спалить город. Конные объездчики поскакали стремглав в Архангельск, и тревога распространилась по всему берегу прежде, чем призовой куттер показался.

Вооруженная шлюпка, однако ж, встретила его на дороге, опросила, поздравила, и суматоха опасения превратилась в суматоху радости. Прежде чем снежный ком докатился до Архангельска, он вырос с гору. Все кумушки, накинув на плечи епанечки, бегали от ворот к воротам — время ли на двор заглядывать! — и рассказывали, что их роденька (тут все стали ему роднею), Савелий Никитич, напал на стопушечный английский корабль, рассыпался во все стороны, окружил его своим карбасом, вырвал руль собственными руками и давай тузить англичан направо и налево; принуждены были сдаться, супостаты! Теперь он ведет его сюда на показ! Все ахали, все спрашивали, все рассказывали чепуху; никто не знал правды.

Громкое ура с набережной встретило приближающийся куттер; шапки летели в воздух, чоботы в воду; в порыве народной гордости, народ толкал друг друга локтями и коленями. Всякий продирался вперед, все хотели первые поглядеть на удалого земляка. Савелий чуть не рехнулся: он бегал по палубе, обнимал своих сподвижников, стучался в двери Турнипа.

— Сдайся! — кричал он.— Мы уж в Архангельске.

— Не сдамся бородачу! — отвечал тот.

Когда причалили и бросили сходень, губернатор первый встретил Савелья, прижал к груди, назвал молодцом. Сердце закатилось у Савелья с радости, слезы брызнули из глаз его.

— Ваше превосходительство!..— отвечал он.— Ваше превосходительство... я русский!

Капитан Турнип преважно сошел на берег, вручил губернатору свой кортик и отправился под прикрытием в город, напевая:

> Rule, Britania, the waves!
> (Владей, Британия, морями!)

Все смеялись.

Нужно ли досказывать? Савелий не поехал в Соловки: он пошел в церковь со своею милою Катериною Петровной. Государь император, узнав о подвиге Никитина, напоминавшем подвиг Долгорукого при Петре, прислал архангельскому герою знак военного ордена и приказал продать в пользу его с товарищами груз призового капера.

Это не выдумка. Савелий Никитин жив до сих пор, уважаем до сих пор; и если вы встретите в Архангельске бодрого человека лет пятидесяти, в русском кафтане, с Георгиевским крестом на груди,— поклонитесь ему: это Савелий Никитин.

ОН БЫЛ УБИТ

От праха взят, ты снова станешь
прахом!
Но вечно ли? не весь ли я? Мой взор,
Неведомым одолеваем страхом,
Таинственный читает приговор.
Ужели дух и мысли чада света
Не убегут тлетворного завета?

А. В.

Он был убит, бедный молодой человек! Убит наповал! Впереди всех бросился он на засаду — и назади всех остался; остался в тесном кружке храбрых, легших трупом с ним рядом. Я знал его отвагу, я знал быстроту коня его и, удивленный, не видя его перед собою, проникнут холодом страшного предчувствия, оглянулся назад: в дыму, окровавленном выстрелами, сверкнуло мне лицо друга; железная рука смерти на всем скаку осадила разгоряченного бегуна его; задернут, он стал на дыбы, и пораженный всадник падал с него, качаясь. Я едва успел оборотить своего коня, едва успел сброситься с седла, чтобы принять на руки несчастного. Тихо опускаю его на землю, гляжу: глаза закатились, не слышит, не дышит он... Рву сюртук, раздираю на груди рубашку: нет надежды! Свинец пробил сердце навылет, самое сердце!! И еще около нас свистали вражеские пули, еще «ура» и гром стрельбы раздирали воздух, но уж того, кем было начато это «ура», кто вызвал эти выстрелы, не стало. Быстрее пули умчался он, исчез кратче звука. Но и пролетный звук оживает хотя на миг в отголоске; неужели ж ты, прекрасная душа, не оставила по себе никакого следа? Ужели нет тебе на земле ни эха, ни тени?

Я с горькой тоской смотрел на убитого и думал: «Разве тень или отголосок души — это гордое, выразительное

лицо, с которого кончина не успела еще стереть пылкого боевого румянца, сорвать улыбки бесстрашия? Но пусть пролежит на нем одна ночь, пусть только вампир — тление — насосет на нем багровые пятна, сомнет его своими ледяными перстами, и кто узнает тогда в обезображенном облике вчерашнего товарища? Через три дня это стройное тело, в котором только что гаснет теплота жизни, замирает биение силы, будет пиршеством червей и ужасом взоров».

Я освободил из оледеневшей руки мертвеца рукоять шашки; на клинке было написано имя того, кто за миг владел им.

И брус неприметно источит этот булат, и ржавчина догрызет остальное. Нет пощады ни мечу, ни руке, вращавшей его, ни имени того, кем был он страшен когда-то!

И потом, что такое имя? Павший лист между осенними листьями, волна между волнами океана, флаг тонущего корабля, который на минуту веется над бездною: мелькнул — и нет его! Забвение пожирает память, как смерть — существованье; но смерть есть только переход из одного бытия в другое, возрождение феникса из пепла, а забвение — безымянная могила, свинцовый гроб, ничего не отдающий стихиям, бездонная и вечно несытая пасть ничтожества. В газетах напечатают: «Такой-то, убитый в сражении против горцев, исключается из списков». Товарищи когда-нибудь вспомнят о нем между трубкою и стаканом. Потом и память умрет в них о погибшем, или сами они умрут и сгибнут: вот и все!

Безотрадная истина!

Впрочем, не все имена тонут в забвении. Конечно, не все! Что ж из этого! Звезды имеют лучи вместо крыльев, чтоб перелетать бездны неба; слава на воздушном шаре переносит любимцев своих через море веков, но только любимцев, только баловней, а слава прихотлива, как женщина, и у ней, как у фортуны, завязаны глаза: друг мой не попался ей под руку; он не выслужил у нее ни железного венца Чингисхана, ни петли Ваньки Каина. Не успел он взять ее за себя как награду или похитить как добычу. Он был только добрый, благородный, умный человек, каких мало, и храбрый офицер, каких много. Он умер, он умрет весь.

Что же значит имя, сорванное смертью на самом востоке? Имя, ни разу не написанное кровью на знаменах

или лучами на скрижалях законов? Имя, которое не таяло песнию на устах красавицы, которое не заставляло биться сердце юноши, не давало важных дум старику? Имя, которое не летало перуном, не горело звездой путеводною, не было пригвождено к столбу изумляющего позора? Словом, имя, никогда не утомлявшее всесветной или народной молвы? Что, если не звук, не возбуждающий мысли, иероглиф без значения, погребальная урна, из которой самый прах разнесен ветром!

Итак, бедный друг мой, ты осужден судьбою на забвение, на всегдашнее забвение! На ничтожество, на вечное ничтожество! Тяжело говорить *прости* мертвецу, но прощаться даже с памятью умершего, предавать его не только тлению земли, на которой он цвел, но забвению мира, которому он был красою,— о, это ужасно, это несправедливо, сказал бы я, если б не веровал в будущую жизнь.

Правда, ничто не вечно на свете,— не вечен и самый свет. Постареет он и выживет из памяти, забудет знаменитых мужей давних времен. Одряхлеет, оледенеет, наконец, сам, и умрет после потомков своих: стихий, существ, деяний, мыслей, и долго будет спать сам без действия, одеян кладбищем природы, как саваном, покуда голос бога живого не воззовет его из лона смерти и, очистив купелью вод или пламени, не благословит на новую жизнь.

Не все ли ж равно искать земной славы, что желать упрочить свой образ на зеркальной поверхности мыльного пузыря? Он лопнет, и прощай портрет наш; свет разрушится, и над его развалинами погибнут все мечты, все произведения людей. Все божеское и человеческое сольется в одну неделимую, хаотическую толщу, над которою только око провидения прочтет надпись: «Припас для будущих миров».

И ты уже достиг до этого рокового равенства, погибший друг мой, равенства, которое как меч Дамокла грозится пасть на все живое. Миг или миллион лет — одно для мертвецов. Время существует только для того, кто существует.

Ты скончался для мира, и в тот же миг мир кончился для тебя, исчез со всеми своими радостями и обольщениями,— зато со всеми бедствиями и муками. Грезы счастья и величие не тревожат покоя могилы. Там есть черви, но нет змей; там разрушение совершается без терзаний.

Зачем же закинуто во все сердца желание продлить свое существование за черту смерти, повториться в детях, в деяниях, в мраморе, в бронзе, в подражании, в памяти друзей, в молве народной? Зачем ученый истощает жизнь свою над книгами, воин умирает на щите или святой отшельник самоубийствует в пустыне плоть свою? Для чего, если не для памяти, не для славы? Под тысячами различных предлогов кроется это желание, но оно врождено человеку и всеобще всем народам, а и самые заблуждения человеческие непременно основаны на какой-нибудь затерянной, или неразгаданной, или худо понятой истине. Жажда славы есть потребность любви за гробом. Слава есть любовь настоящего к минувшему, любовь тем чистейшая, что она бескорыстна и справедлива, тем более дивная, что она оживляет своим дыханием пылинки пепла в искры вдохновения и рассыпает их с лучезарных крыльев своих в души потомков, как семена всего прекрасного, доброго и высокого. Чувствуете ли вы, сколько отрадной поэзии в этом томлении, в этой страсти человека к отдаленной, но дорогой взаимности не знаемых им поколений, родственных ему только по душе? сколько святыни в неподкупном поклонении этих поколений памяти человека, от которого они уже не ждут ничего, кроме примера? И почему знать: может, эта живая, электрическая вязь, соединяющая мир прошлого с миром грядущего, скуется до самого неба и каждый раз, когда провидение допускает дальних потомков прибавить несколько колец достойных подвигов или высоких мыслей к этой цепи воспоминания прежних достойных подвигов и прежних светлых открытий,— может быть, говорю я, эфирная часть умерших виновников, зачателей всего этого, где бы ни витала она, чувствует сладостное потрясение, венчающее и на земле райский миг творения.

Лестная мечта!..

Но неужели одному величию дано две жизни на этом свете? Ужели звон трубы только долетает до того света? А тайное горячее чувство любви, а никому не ведомое самоотвержение дружбы, а не подслушанные светом новые мысли погибнут, и навсегда, потому что они не были славны, не были громки? не повторятся ни одними устами? не отзовутся ни в чьем сердце? О нет, верно нет! Прекрасное, сильное, светлое — прекрасно, сильно, светло во всех размерах! Ты не исчезнешь без следа, без тени,

без отголоска, благородный, несчастный друг! Горы Кавказа отражают грохот перунов и говор соловья. В море так же ясно видится вечное солнце, как и перелетная искра. В сердце человеческом есть струны для Байрона и для тебя, есть слезы для удивления и для участия. Я брошу в вихорь света немногие листки, вырванные из твоего дневника, как невольную дань твою свету, и счастлив я, если эти небрежные строки хоть на миг приманят к себе взор и душу красавицы, извлекут хоть один, но глубокий вздох из груди влюбленного! Вдвое счастлив, если это безмолвное сострастие сердец, кипучих жизнью, с сердцем, давно истлевшим, порадует тень твою или заставит вспыхнуть твою душу в новом бытии сладким пламенем, как вспыхивает пламя, когда брызнут на него ароматным маслом!..

ОТРЫВКИ

...Хотят, чтоб я стал писателем! Но знают ли эти советники, как тяжело писать человеку с душою и для души? Знают ли, что дарование есть бытие автора и что он расточает для забавы света лучшие мгновения этого бытия, отравляя заботами остальные? пишут или из памяти, или из воображения; но что такое воображение, как не память, вскипяченная, улетученная пламенем сердца? А много ли красных дней насчитает в минувшем гордая, раздражительная душа любого писателя? Есть у него воспоминания — цветы, но есть и воспоминания — раны. И эти раны растравляются, точат кровь, и опять горят, и мучительно ноют, когда срываешь с них перевязку забвения или равнодушия, когда беспощадный сонд любопытства проницает в их заветную глубину. Таковы раны, нанесенные рукою судьбы, жалом злобы или измены. Но легче ли раны от стрел любимых склонностей наших? Радостно ли вспомнить в беде об улетевших минутах блаженств, перегорать в одиночестве страстью к той, с которой уже давно разлучены и никогда не увидимся? Каково думать в жажде советов или утешений друга: «о, если бы он был теперь со мною!» и находить вместо его живительного взора в очах своих слезу о его погибели? Возьмись только за перо, вздумай только описать, что случилось когда-то с тобою или могло сбыться с другими,— и все воспоминания поды-

мутся толпой, званые и незваные, желанные и неожиданные, и станут перед тобой как духи, вызванные неопытным чародеем, который уже не в силах с ними совладеть. Озарены бледным месяцем минувшего, эти мертвецы начинают свою страшную, гальваническую пляску. Есть венки на их черепах, но они подернуты прахом могилы, они пахнут тлением. Есть улыбка, но она ползает как червяк по окостеневшим устам. Как заступ о гробовую крышку, звучит в живом сердце их голос; их ласки обливают морозом... И вы хотите, чтобы я играл костями и пел, подобно Гамлетовым гробокопам? чтобы я писал портреты с мертвецов? чтобы я из пепла строил великолепные замки, был весел, когда мне хочется плакать, рассыпался в роскошных описаниях, когда существенность моя так бедна, когда у меня нет насущной крупинки радости? Всесильно, разнообразно воображение, когда оно творит из настоящего; но мутен и слаб ключ его, если он течет сквозь могилу.

Я сказал, есть воспоминания-цветы, но эти живые цветы любимых заблуждений и невинных грехов юности росли на сердце. Отрывая их с корня, чтобы перенесть на бумагу, мы разрываем сердце, и ни свои, ни чужие слезы не оживят этих цветов теплого края под холодом светским, не заживят ран осиротелой почвы.

И свет назовет эту тяжкую исповедь сказкою, если автор облечет свои страсти в вымышленные имена, и не поверит ей, если он признается в былине, под собственным. Свет так привык слышать и говорить ложь, что от него лучшая похвала гению — «как он мастерски прикидывается чем захочет! как искусно умеет скрывать или передразнивать все чувства!».

И свет думает, что писать историю сердца так же легко, как сплетать ябеды, как точить приветствия, как печатать ситец. О, если б люди могли, не говорю — почувствовать, не говорю — рассудить, но только разглядеть, что светильник тем скорее сгорает, чем более бросает искр и лучей вокруг, что сочинитель тратит душу свою в звуках, что, может быть, он пишет кровью и слезами и что на страницах, внушенных тоскою, еще трепещутся обрывки его сердца, как некогда трепетали куски Геркулесовой кожи, напропитанной ядовитою мазью одежды, присланной ему коварною любовницею,— то, как ни себялюбивы они, как ни любопытны, как ни безжалостны люди во всем, что сулит им новую забаву или чудное потрясе-

ние, а решились бы упросить поэта молчать, все еще жадничая его рассказов. Тяжело таить на сердце угли безнадежной любви и холодно улыбаться, внимать стону собственного сердца и в то же время слушать чужие нелепости, небрежно поправлять волосы, когда под ними кипят ядовитые думы, молчать, когда бушующие, воспламененные чувства готовы разорвать грудь и пролиться лавою признания; но еще тяжелее, гораздо тяжелее, ужаснее, выражать все это, с гневом, что не можем высказать души своей вполне, с опасением, что высказанное будет брошено в снег равнодушия или, что и того хуже, стоптано невежеством в грязь. И потом, чтобы говорить понятно людям, надо развешивать, соразмерять выражение своих чувств с их понятиями. Надо раболепствовать правилам языка, потворствовать моде, ползать у ног приличий, подбирать падежи и созвучия, когда бы я хотел выразить себя ревом льва, песнию вольного ветра, безмолвным укором зеркала, клятвою пожигающего взора, хотел бы пронзить громовою стрелою, увлечь бурным водопадом,— и чтобы эхо моей тоски роптало, стонало в душах слушателей, чтобы молния страстей моих раскаляла, плавила, сжигала их сердца, чтобы они безумствовали моею радостью и замерзали ужасом вместе со мною!

Не могу я *так* выражаться, а *иначе* не хочу: это бы значило пускаться в бег со скованными ногами.

Правда, бывают часы, бывают ночи, в которые полнота груди и головы душит, когда откровенность необходима как воздух, когда волею или неволею должен бываешь отдать тайны сердца и ума участию дружбы, сбросить их на ветер или на бумагу. Но пусть же пила и отвес правил никогда не касаются этих диких громад, в живописном беспорядке разбросанных, наваленных одна на другую! Как эти горы, изорванные волканами и потопами, рассеченные ущелиями и реками, возникают отрывчатые строфы невольной импровизации. Видите ли эту нагую, опаленную перунами, неприступную даже зелени скалу? Это печаль поэта: там гордая душа, как снежногривая гора, скрывает в облаках чело свое! Там, в глубине, кипит живой ключ юного чувства! Там, во тьме пещер, сверкают очи и зубы алчной гиены,— это совесть! Постойте: слышите ли, как пронзительно, как страшно раздается в этой пустыне одинокий и безответный вопль отчаяния?.. И сколько чудных, но диких, но и безыскусственных красот может предста-

вить слог, выброшенный прямо из души? Зато по нем нет стези для обыкновенного читателя. Его стремнины разлучены друг от друга на прыжок льва, на перелет орлиный. Такие руны разгадает лишь тот, кто начертал их. Лишь он может бродить мыслию по этим зубристым обломкам прежнего своего бытия — и душою отдыхать у нагробия собственного сердца!

Но сочинять для света!.. И еще для нынешнего света! Тяжкая служба. Имя сочинителя более требует наличными, нежели дает в обетах. Знают ли те, которые с таким добродушием верят похвалам приятелей и собственному самолюбию, и те, которые думают, что для того, чтобы сделаться писателем, нужна только чернильница и перо,— ведают ли они, сколько надо испытать, перечувствовать, передумать, поглотить учености, чтобы написать несколько страниц, достойных века и человека, достойных духа, который соединил в себе всю причудливость младенца и взыскательность старика? Чтобы расшевелить притупленный вкус, который не знает сам чего хочет, но все знает и всего хочет? Угодить, удовлетворить жадной страсти к новому, к пронзающему, к потрясающему, к чудесному? Надо целые скалы дарования, чтобы насытить хотя на миг этого прожорливого великана. Надо слез, реки слез, крови, море крови, чтобы упоить его до веселья. Его должно поранить, чтобы тронуть, испугать, чтобы убедить, поработить, чтобы ему понравиться. Надо быть невиданным зверем, или сверхъестественным лицом, или необыкновенным чертом, если желать увлечь за собой этого избалованного зеваку. Надо ограбить рай и ад, оборвать лучи с солнца и наслаждения с земли, стопить в одно все язвы Египта и все ужасы преступления, чтобы заманить и угостить его на славу. Но разве этот людоед птенец твой? брат твой? или друг он, что ты, как пеликан, разрываешь для него грудь и точишь кровь жизни? Нет, он твой враг природный, твой непримиримый враг. Он будет смеяться над тобой, поглощая твое же сердце, принесенное ему в гостинец, и выбросит собакам критикам объедки твоего полубожеского мозга.

Писать, печатать для света, предавать себя тиснению! Неужели не чувствуете вы предсказательного смысла этих слов? Тут в зерне таятся все мытарства, ожидающие дерзкого искателя людской похвалы. Вчерась он был властелином своих мечтаний,— потому что не пускал их в люди.

Сегодня напечатал их — и стал рабом своих слов. Он трепещет уже глупого смеха невежды и пошлых острот какого-нибудь чесоточного журналиста; трепещет лукавых толкований на свои невинные выходки. Стрелы, брошенные в воздух, падают ему на голову; друзья бегут как от клеветника; враги становятся гонителями. Еще вчерась он был отличный офицер, дельный чиновник, смышленый человек. Сегодня типографские тиски выжали из него все общественные достоинства. Он сочинитель! он поэт! Это значит: он никуда не годится. С этих пор благословение небес будет казнить его, как проклятие матери: на его блестящее имя станут вешать дурацкие шапки и черные небылицы. За милость разве будут звать его полоумным. Какие желчные мысли! Какие мрачные краски! Свет ветрен, но, право, не зол, — именно потому, что он ветрен, что ему некогда воспитать и взлелеять вражду. Более остры, чем колки, его суждения, и если он любит недолго, зато любит горячо. Пользуйся же его любовью, покуда не спала пена, будь халифом хотя на час, упивайся рукоплесканиями и похвалами, играй вниманием модников, ревностью прекрасных. Ты не искал, а нашел все это: почему же не взять процентов радостями жизни с долгих лет учения, трудов, страстей и лишений? Сдайся на приглашения — и ты баловень лучшего общества, ты званый, желанный гость за столом знатных и в гостиных большого света!

Знаете ли ж вы, милостивые государи, что поэт, гость вельможи, есть уже слуга его, что поэт, гость высшего круга,— его игрушка? Неужели думаете вы, что я довольно прост или столько самолюбив, будто возмечтаю, что меня позовут для моих достоинств, а не для чужой забавы? Знатным хочется прослыть меценатами за дешевую цену; им любо посмеяться со мной или надо мной, потому что смех способствует пищеварению: и я, второй Исав, продам свое первородство за блюдо чечевицы? И я стану сыпать свой жемчуг под ноги зевающих невежд? Стану кувыркаться и служить на задних лапках и добиваться до ошейника с гербом того, чьи предки торговали оружием, когда мои были уже им славны? Подумали ли вы, что мне предлагаете? Не значит ли это — давать себя напоказ, как слона, откупоривающего бутылки,— с тою только разницею, что плату за это поднесут мне на фарфоровой тарелке, а не бросят в голову?

Правда, обаятельна атмосфера большого света; лепет гостиных игрив, как музыка Россини. Но эти раззолоченные стены сложены из обломков Китайской стены самых вздорных предрассудков. Но этот скользкий паркет вылощен причудливыми условиями; этот потолок расписан картинками мод,— и горе тому, кто решится покормить своею особою лакомое любопытство исключительных обывателей этого мира! Смешна будет его роля для других, жалка доля его для самого себя. Что принесет он в жертву этому египетскому богу, крокодилу, кроме ранних морщин лица и запоздалого покроя платья? Он не поймет языка, которым говорит мода; он не знает тех важных мелочей, которые составляют жизнь столицы, которые требуют целой жизни на изучение,— для того чтобы умереть отсталым школьником. И вот наш поэт в гостиной. И вот его встречают благосклонные взоры и ласковые улыбки. Это все наживки удочек, чтобы зацепить авторскую болтливость. И вот его потчуют пережеванными приветствиями, сводят на спор с каким-нибудь шутом, мистифируют в глаза, а чуть он за двери — давай расстреливать бедняжку вслед отравленными стрелками злословия.

— Какие допотопные приемы!

— Да-с, это древнее петербургского наводнения.

— Говорят, поэзия — язык богов, а вы из их семьи, графиня: удостойте перевести для нас, простых смертных, о чем говорил он.

— Я не химик, князь: не умею разлагать туманы.

— Мудрено ли, впрочем, графиня, что он так таинствен! C'est une sommité littéraire [1], а верхушки гор всегда облечены туманами.

— Но это не мешает видеть, что все почти маковки оканчиваются плоскостями.

— Если не видеть, по крайней мере испытать. Все путешественники доказывают эту истину в лад.

— Скажите, ради имени Виктора Гюго, к какой школе принадлежит этот господчик? к горной или к озерной?

— К болотной-с. Он родился на тундрах новогородских.

— Это и заметно. Он страх похож на водяную лилию, засохшую между листов латинского словаря.

— Вы ошибаетесь, барон: наш поэт вовсе не водян. Скажите лучше, он чересчур пылок, и вы скажете правду.

---

[1] Это литературная вершина *(фр.)*.

— Сухая трава быстро загорается; зато и гаснет вмиг.

— О нет, барон; поэт живет пламенем, которым сгорает. Если б послушали вы, сколько толковал он мне об искрах очей, о зареве страсти, о пожарах души!..

— Что я бы представил его в брандмайоры, не правда ли, княжна? Такой несгораемый человек, без противоогненного прибора,— находка для пожарной команды.

— Смейтесь, смейтесь, а все-таки огонь — его стихия, и вдыхать пламень для него приятнее, чем для нас духи «Капризов Валерии».

— В таком случае позвольте его причислить к породе двуногих саламандр, княжна!

— Вы предупреждены, барон: он давно состоит в списке редкостей и отпущен только в отпуск из кунсткамеры.

И это еще цветки модного злословия. Еще тут нет ядовитых ягод, которые зреют для тебя при лучах восковых свечей и лунном свете ламп. Погоди немножко — и модный свет отнимет у тебя твой мирный уголок посещениями, твой вдохновенный досуг данью в альбомы, подточит веру во все прекрасное сомнением, отравит любовь твою догадками, отвеет взаимность насмешками. А когда не удастся ему сделать тебя смешным, он ославит тебя опасным... и доведет до того, что ты, жадный прежде известности, станешь молить свет о полном забвении, как о самой драгоценной милости. И свет позабудет твое лицо, позабудет твои сочинения, позабудет все, кроме твоего имени. И это имя обратит он в укор. «Ведь читали же когда-то этого *** ва!» — скажет он; или: «слава богу, такой-то схоронен на одной полке с Вальтер Скоттом!»

И эти вздорные толки огорчат тебя — тебя, напоенного сладкой росою небес? И булавки изорвут твое сердце, не разбитое под молотом судьбы? Стыдись! Не тебя отдаю я свету, а свет тебе. Люди обыкновенные созданы для забавы умных: играй же ими в шахматы, выжимай из общества краски для палитры своей, собирай оброк с его странностей, с его нелепостей, с его причуд и пороков. Но если ты хочешь быть ровней с знатью и наслаждаться мелкими приятностями лучшего общества не в лице искателя, а в виде товарища,— единственное средство узнать таинства палат, услышать речи их жильцов без прикрас, застать лица без румян, а сердца без маншетов,— то стань богат.

Что слава? Яркая заплата
На бедных рубищах певца.
Нам нужно злата, злата, злата!
Копите злато до конца.

Проклятый металл, это золото, неутоляющий напиток ада! Напрасно промысл схоронил его глубоко: мы нашли средство вымучивать его у земли руками преступников для новых преступлений. Добытое каторгою из тьмы, оно каторга для света. Каждый раз, когда червонец касается моей руки, мне кажется, он сообщает ей свой гальванизм. Правда, на нем нет и не может быть ржавчины,— но сдается, будто он сыр тяжким потом, будто каплет кровью, мерцает, как зрачок лукавого. Не золотое ли было яблоко грехопадения? Не оно ли, разбившись в блестящие кружки, раскатилось по свету! Пусть судьба кидает их на драку толпе, как орехи мальчишкам: я не нагнусь ни за одним. Скажите, на что мне это золото? Я не богат, но, любя роскошь, умею и умерять свои прихоти, потому что легче стерпеть отказ от собственной воли, чем от чужого нехотения. Верю, что многие имеют много,— никто довольно; зато верую твердо, что богатство состоит более в желаниях, нежели в обладании. Вы говорите, золотом можно намостить дорогу куда угодно; им можно купить людей. Вы делаете слишком много чести людям, друзья мои: стоит ли покупать простую грязь за золотистую грязь? Стоит ли платить золотом, за что не дал бы я железного гроша? За улыбку, высиженную зевотою? За пожатие руки, привыкшей к взяткам? За поцелуй Иуды с рукавами à la folle? Люди готовы продавать, передавать друг друга и сами себя; жаль, что я не торгаш и не покупщик тел и совестей, и, признаюсь, по самому верному расчету: тот, кто отдает себя напрокат за деньги, не стоит денег. О, я знаю людей! знаю до подноготной. Плюй им в лицо, только золотом, и они станут тебе кланяться. Да по мне уж менее презрителен тот, кто подличает из барыша, нежели тот, кому лесть и ползанье нужны как хлеб насущный.

А между тем золото — солнце большого света: только в его лучах замечают достоинства, только в его призме исчезают недостатки. Блесни оно, и ему навстречу все зачиликают, как пташки, и лица красавиц распускаются улыбкою. Невольно увлекает сердца и головы вихорь золотой пыли. Золотой мешок — идеал красоты, колодезь ума,

Протей любезности. У богача все мерзости — извинительные, все ошибки — образцовые, все дела достойны подражания, а слова — памяти. И постичь я не могу и ничего глупее в мире не нахожу уважения людей к богатству. Уважайте ум, любите остроумие: один учит, другое веселит вас. Уважайте силу, — это естественно: она может защитить или истребить вас. Но ради самого Маммона скажите, что даст вам богач за ваши униженные поклоны, и умильные облизни, и одобрительные усмешки? за все ваши поддакиванья и наглую лесть? Что? Стол его без прибора для тех, которые целят пообедать, а не лакомиться. Круто его крыльцо для чахоточной груди искателей покровительства. Крепки затворы сундуков: кошелек завязан гордиевым узлом на ссуду. Сердца не размочить и слезами. Оно — глыба земли, из которой не высечешь огня, не источишь воды и не вырастишь макового зернышка. И пусть я стал подобным этому истукану — богачом; и пусть я топчу всею тяжестию золота прежних своих совместников; мне поклоны гордецов; мне ласки милых; для меня зажигаются лишние свечи на вечерах, лишние искры в глазах невест; для меня тратят, наконец, все ласкательства, приготовленные для гораздо важнейших случаев; но скажите, куплю ли я на звон денег вместе с чужими ласкательствами веру к ним? Я был, я жил в этом свете: он видел меня — и не заметил. Красавицы меня слушали — и не оценили. А я был тогда свежее умом и на лицо, был добрее, чувствительнее, пылче. Я готов был обожать, обоготворять их, отдать за их любовь не дрянное золото, а кровь сердца, покой души, самое небо.

И все это миновало! Не воскресить юности дождем Данаи. Прочь, змей-искуситель, прочь! Ты мог бы обольстить меня в моем раю, в моей юности; но теперь — уж поздно. Не верю я светской дружбе,— еще менее светской любви; дружбе, которая ступает с гривны на гривну; любви, прилетающей не иначе, как на бумажных крыльях из банковых билетов. Не верю и славе, которая разбегается врозь или улетает парами. Теперь дорылся я до грязи, которою питаются корни лавра и мирта, так гордо играющие в воздухе. Теперь я видел страшное лицо истины без покрова. Страсть к богатству, змей-искуситель, язви меня в пяту: она на голове твоей! До сердца моего тебе не достать.

Но неужели в этом мире нет ума, чье одобрение лестно поэту? Нет сердца, чей вздох тебе отраден? И поэт, ты схоронишь в землю дар небес, талант свой? И человек, ты выбросишь душу в пустыню без сочувствия? Неужели не одушевляет тебя мысль, что пылкий юноша за чтением твоих чарующих страниц забудет урок свой, светский человек — званый пир, красавица — час свидания? Что твои вдохновенные творения зажгут светлые мысли в голове еще самому себе незнаемого поэта, очистят огнем своим душу власто- или корыстолюбца, пробудят сладостные, святые чувства в груди невинной девушки?.. Может быть, она задумается над твоими мечтами, и ее прелестные томные очи наполнятся слезами, и она вспомнит тебя со вздохом, и тонкий жар, проницающий весь ее состав, вспыхнет на сердце мыслию: «Как страстно любит он! Как, должно быть, приятно быть так любимой?.. О!»

ВТОРОЙ ОТРЫВОК

Из дневника убитого офицера

Вы хотели этого, жестокие друзья, — и я увидел ее, да! я был с нею, я обворожен ею. Но разве не видали ее вы? Разве не было у вас очей, чтобы любоваться красотою Лилии, или ума — постичь, или сердца — полюбить ее? Счастливые слепцы! Хладнокровные... Нет, мало этого,— бескровные счастливцы! Вы знаете Лилию давно и можете преспокойно, пребеззаботно спрашивать товарища: «не правда ли, она недурна?» — точно так же, как вы бы спросили: «не правда ли, что этот фазан недурно зажарен?»; можете произносить ее имя, не трепеща от удовольствия, не бледнея от ревности! И все равно для вас, скажет ли он *да*, скажет ли он *нет*, и как произнесет он свое *да* или *нет*; все равно, если тот и ничего не ответит. Недурна! Только *недурна?* Боже правды, можно ли так бессмысленно играть словами? Неужели прекрасное — лишь отсутствие недостатков? Неужели ангельскую прелесть можно заключить в эту грязную черту отрицания? Недурна! Жалкое наречие привычки!

И между тем где сам я найду слов девственнее снежного пуху, еще не запятнанного прикосновением к земле? где возьму имен, достойных ее, не растленных еще дыха-

нием человека? Что сделали мы из всех выражений удивления, страсти, нежности? Ожерелье распутницы! Ковер для вытирания ног! Поэты, поэты, сколько драгоценных жемчужин распустили вы в дрянном уксусе! сколько звезд утопили в луже!

Да если б даже слова были краски, а живопись была зеркало, мог ли бы я дать этому лицу жизнь и этой жизни душу? Нет, Лилия, ты невыразима! Тебя нельзя забыть и невозможно вполне припомнить.

Скажи, ровесница цветов, когда успела ты украсить свой ум такими здравыми познаниями? как умела сохранить на сердце самый пух невинности от налета ранних пташек — обольщений? Эти воробьи расклевывают чувства светской девушки не в плоде, а в почке, распаляя воображение пряностями похвал, слогом модных романов, вихрем танцев. Скажи, по какому счастию не разучилась природе в большом свете, который есть ложь и притворство во всем, начиная с нежности молодой маменьки, спешащей по Невскому, с эмалевыми часами на руке, кормить грудью сына, до скорби знатной дамы по муже, вымеренной длиною траурного хвоста, — в свете, где приветы, и слезы, и улыбки выучены наизусть, примерены к лицу заранее? Ты не так, Лилия? Покорная влиянию минуты, ты смеешься от сердца, не прячешь и не выказываешь слез умиленья, не запрещаешь себе краснеть от удовольствия. Ангел, сосланный на землю, чтобы убедить неверующих в добродетель с красотою, можно ли узнать твою душу и не полюбить тебя?

А я? Странно, непостижимо это, едва ли вероятно; мой первый взгляд, упавший на Лилию, был уже лучом любви, как будто я увидел ее сердцем, а не глазами! будто не зрение отразило ее милый образ в душу, а душа зажгла его на чувствах! Казалось, он очнулся во мне из магнетического сна и расцвел вдруг из неясной мечты в живую действительность. Не мое ли сердце было его отчизною? Так коротко знаком и родствен мне этот пленительный образ. Миг, в который я взглянул на Лилию, обдал меня всею свежестью первой встречи, всей отрадой желанного свидания. Он был нов и таинствен, как надежда, а между тем сладостен, как награда. «Увидеть» было близнецом «полюбить», — но какое сравнение передаст неделимость, одновременность этого чувства??...

И тихо, отрадно, торжественно было это мгновение; да! тихо, отрадно, торжественно, как миг восхода солнца, когда оно каплей света чуть брызнуло на край востока. И ярче, каждый миг ярче растекается по небу эта лучезарная капля, блещет, зажигает небосклон, объемлет и пронзает землю лучами, топит ее в волнах тепла и света. Так взошла в моей душе роковая звезда этой страсти, не слышимая, чуть видная при восходе, светлая и пламенная потом. Теперь стоит она на своем бестенном полудне, и никогда, никогда не сойдет она с полудня. Одна смерть будет ее вечером; ее закат — могила; ее могила — вечность. Жизнь моя прервется ранее любви... Дайте мне уверовать хоть в это. Неужели и та жизнь обманчива, как здешняя?..

И зачем я так часто бывал, так долго беседовал с Лилиею? Зачем вниманием крепил на себя чары ее слов, упивался огнем ее глаз — огнем, затепленным прямо на солнце? И сколько раз с орлиною дерзостью хотел я вглядеться в них,— хотел и не мог! А между тем у ней очень кроткие взоры: они не пронзают, а только ласкают сердце, и, как ароматная слеза, канают в глубь его. Индейцы верят, будто жемчуг родится от капель дождя, запавших в морские раковины; и почему ж нет? Я сам, как ревнивое море, берегу и лелею в тайнике души драгоценные для меня взоры Лилии. В них мое сокровище, в них единственный подарок милой, и могу ли ожидать, посмею ли требовать большего, когда я трепещу промолвиться роковым объяснением! И к чему послужило бы оно, что могу я высказать ей словами, если она не поняла моих взоров?

Мне казалось, однако ж, эта задумчивая грусть, этот летучий румянец, этот голос, прерванный вздохом... Нет, Лилия, нет; все это мечта самолюбия. Ты не должна, ты не можешь любить меня: природа разделяет нас гораздо более, чем судьба. Можно еще умолить людей, можно покорить себе обстоятельства, но самый огонь неба не силен спаять булата с амброю. Никогда любовь, какой я жажду, не зажжет твоего воздушного состава; не кровь, а свет льется в этих жилках; твоему сердцу не вместить и не вынести всех мук и восторгов страсти. О, не понимай моих взоров, Лилия, не угадывай моих желаний, и да сохранит тебя небо от роковой ко мне взаимности! Нежный цветок Севера, ты увянешь под моим знойным дыханием. Я истерзаю тебя ревностью, истомлю своими бешеными ласками,

сокрушу в объятиях, поцелуями выпью жизнь. Несбыточной мечтою была моя дума, будто я могу быть счастлив твоею безмятежною любовью, Лилия; будто моему усталому, разбитому бурями сердцу-горюну отрадно и сладостно будет забыться дремотою на груди подруги, зыблясь на ней, будто в колыбели младенец. Прислушиваясь к твоим мыслям прежде слов, любуясь душою твоей прежде лица, я воображал иногда, что мои мятежные чувства уникают под твоими ясными взорами, как злые духи под кропилом, что я дышу твоим спокойствием, вкушаю какую-то неведомую тихую негу. Тогда очарованный круг прелести, обнимающий тебя, горит мне венчиком святыни, перед тобою тогда я благоговею, как в храме. Но вдруг придавленная на время лава прожигает снег, увлекает, пепелит сердце. И отчего все это?.. отчего? От ресниц, стыдливо опущенных, от косынки, спахнутой ветром, от колебания локона, который то гасит, то раздувает румянец щек, от ножки, бегляночки из-под платья. О, тогда кровь моя пенится и брызжет в голову, как шампанское, падучие звезды крестят в глазах, громко бьются все пульсы! Тогда я готов упасть к ногам твоим, как преступник, готов броситься, как зверь на добычу, и сжечь тебя поцелуями, задушить на сердце! И потом я впадаю в какое-то неизъяснимо сладкое изнеможение, в доброту без границ. Каждое дыхание принимаю я тогда как подарок; могу снести обиду без гнева. Ты говоришь мне, Лилия, и твои слова звучат словно родная песня на чужбине. Ты поешь, и я слушаю со слезами то, что поешь ты с улыбкою. Уходишь, и я гляжу вслед тебе с грустью, но без тоски. Ты здесь, и я чувствую твое приближение не слухом и не глазом,— нет! какой-то магнетический холод пробегает по телу, какая-то радость по сердцу; оглядываюсь — это ты, Лилия, легкая, прелестная, неуловимая, подобная видению прерванного сна поэта!..

Нет, Лилия, ты лучше всякого сновидения; я ненавижу этих чародеев, этих коварных Армид! Они бог весть куда заносят сердце в мыльном своем пузыре, мыкают его сквозь тридевять чудес и высаживают на берег, на котором все возможно, кроме полного наслаждения, где счастие убегает уст, как волны сураба. Добрая ночь! — говорила ты прощаясь? Но думала ль ты, Лилия, так невинно, младенчески произнося эти слова, что они падут семенами

бури в грудь мою? Счастливица! ты не ведаешь, засыпая без тоски и пробуждаясь без сожаления, сколько раз твой милый образ прилетал возмущать мою душу! какие блестящие и ужасные мечты лелеяли и топтали мое сердце! То одеяло тяготело надо мной как свинец, то постель волновалась как море, то изголовье дышало пламенем. И все ты, Лилия, носилась перед очами души неотступно по черной туче ночи и сквозь алый полусвет зари, ты, очаровательница, со своей холодною красою, с кудрями, веющими около словно колосья северного сияния, с улыбкою словно луч месяца, играющий по льду, с голубыми вечно кроткими очами...

Но я пробужден жаждою, неутомимою жаждою неги... Куда ж ты скрылась, Лилия? Где ж найду ответ любви моей? Воля моя не сблизит с тобою; самый сон не может придать тебе пылкости. Внушать, а не делить любовь рождена ты, а я хочу целого Юга, целой Африки любви. Не для меня мерные ласки, не для меня счетные поцелуи. Жажду пить наслаждения через край и до капли,— пить не напиться! О, дайте мне черных, бездонных глаз, которые поглощают сердце в звездистой влаге своей, дайте уст, которых ароматное дыхание упояет пламенем, дайте вздохов, освежающих лучше ветерка в зной лета, дайте слез восторга, сладких, как роса медвочная, и отрадных, как спасение друга, дайте поцелуев, которые расплавляют кровь в нектар, улетучивают тело в душу, уносят душу в небо!.. долгих поцелуев с трепетом страсти, с нежными угрызениями! Испытала ль ты, Лилия, всю сладость поцелуя, эту высокую поэзию чувств, это девственное, хотя не душевное наслаждение, не отравляемое ни страхом, ни раскаянием, — наслаждение, в котором сливаются все заветы и обеты любви, все надежды и воспоминания блаженства; миг, в который ощущение разнообразно, воздушно, как мысль, и сладостно, как самозабвенье; святыня, которою творец подарил одного человека? Да, Лилия! полюби меня, как я люблю, и ты разделишь со мной эту роскошную тайну, сердцем на сердце, сбросив прочь все украшения, кроме своей стыдливости. Новый Прометей, я передам тебе огонь, похищенный с неба, и каждая искра его вспыхнет на тебе новою прелестию. Второй Пигмалион, я...

Я безумствую. Скорее можно одушевить мрамор, чем лед!..

Впрочем, у полюса не бывает лета: зато есть волканы!..
Тихие воды глубоки!
Что, если?..
Пустая надежда — родовое имение глупцов!
Молчи, молчи, бедный разум.

Сентября, — дня, 1834.

Крепко устал я. От ночи до ночи не слезал с коня. Фуражировка была очень удачна; мимоходом спалили три аула; раза два был в жаркой схватке. Застрелил одного шапсуга из пистолета; он кинулся на меня с шашкою, но заряд иголок вместо пули прошил кольчугу и самого чуть не насквозь. Спасибо за эту выдумку кабардинскому абреку, Адли-Гирею. «Надо бить зверя, не портя шкурки»,— говорил он; чертовская расчетливость!

Насилу дочел сейчас четвертую песнь Дантова «Paradiso» [1]. Отчего так пышен твой «Ад» мучениями и так скучен твой «Рай» иносказаниями, padre Dante? [2] Не оттого ли разве, что имя Лилии вкрадывалось везде вместо Беатрисы и ее глазки сверкали между стихами твоими? Не хочу верить проклятому англо-итальянцу, который доказывал, что Дант под заглавными В con ICE [3] подразумевал владычество Австрийской империи (ведь он был проповедником и пророком ее в своей родине!). Едва ли тот, кто написал:

Beatrice mi guardó con gli occhi pieni
Di faville di amor, così divini,
Che, vinta mia virtú diedi le reni,
E quasi mi perdei con gli occhi chini.

Беатриса глядела на меня очами, полными столь божественных искр любви, что моя твердость предалась бегству; даже потупленные взоры ее меня мертвили! —

едва ли, говорю, он мыслил об отвлеченностях и посылал свои огнепернатые стрелы на ветер! Впрочем, воображение поэта всесильно: оно претворяет свечку в звезду утреннюю, кроит радужные крылья ангела из пестрого плаща. Не разрушайте хрустального мира поэта, но и не за-

---

[1] «Рай» *(ит.)*.
[2] Отец Данте *(ит.)*.
[3] «Б» с окончанием «иче» *(ит.)*.

видуйте ему. Как Мидас, он превращает в золото все, к чему ни коснется; зато и гибнет, как Мидас, ломая с голоду губы на слитке.

Вследствие сего я бы посоветовал одному человеку зарубить на носок,— а этот человек едва ли не сам я,— что обыкновенные котлеты гораздо выгоднее для смертного желудка, чем золотые котлеты, и что на земле милее кругленькая Ангелика, нежели недоступный неосязаемый ангел.

Кстати об аде: научите меня, почему география человеческих предрассудков заключила его в сердце земли? О самолюбие, самолюбие, где ты не повторяешь себя! в чем не находишь своего микрокосма и тождества. Однако ж и рай в сердце человека, а он ищет его над головою.

...Отдай мой рай, отдай мой ад,
Отдай мне молодость назад!

Вечером, день после.

Кто мне даст голубиные крылья слетать на темя Кавказа и там отдохнуть душою? Не знаю сам, отчего к ним жадно стремятся мои взоры, по них грустит сердце. Не там ли настоящее место человека?.. Там он не на земле, но уже выше земли, в природе, но уже обнимает природу сверху и широким обзором. Хребет гор — достойное подножие человеку, достойный порог небожителей. Но взгляните туда,— только в девственной ризе снегов дерзает земное величие всходить на небо: прекрасный иероглиф довечного завета, что только чистой душе дано вкусить неба, душе, которая смогла оледенить пары земных страстей священным холодом благоговения, убелила их раскаянием и молитвой и превратила твой тленный венок из земных наслаждений в лучезарное сияние мысли, в царственный венец, осыпанный молниями откровения!

Нет, я не достоин вас, главы Кавказа! Моя одежда не снег бесстрастия, а грозовое облако...

Но орел ширяется выше туч, а он младший брат моей мысли: ей нет высоты недолетной.

Я ваш поклонник, если не гость, любимцы солнца! Вам дарит оно первый росистый поцелуй и последний прощальный взор свой. Вам и я посылаю приветы по заре и по сумеркам; вами любуюсь, когда золотое солнце и звезды серебряные горят на голубом щите неба.

Свежи цветы твои, Кавказ, живительны ключи, дубровы тенисты; но не одно величие твоих огромов, не одна прелесть растений, не только удальство твоих детей заманивают к тебе: нет, пытливый ум любит тебя как приют столь дивных тайн, столь высоких дум!.. Воображение силится понять рев водопадов и шепот пещер, разверзающих как сфинкс гортань свою, хочет выкопать из циклопеанских гробниц имена стлевших там героев, вглядеться, в туманном зеркале древности, в лица давно мелькнувших поколений, может быть предков наших, и жаждет прочесть на изломе скал, брошенных как надгробья над веками хаоса, чудную летопись мирозданья.

Гляжу на перламутровую цепь гор — и не могу наглядеться. Скажите, чего тут нет? Расскажите, что есть тут? Невозможно. Дно ада, опрокинутое на землю, обломки рая, одичалого беглеца с берегов Тигра. Холмы — бархат ковров хорасанских; ледники, граненные как хрусталь воображения; зубчатые, волнистые вершины — прелестная корона земли, затаившая в себе все звезды ночи, все рубины зари, все золото солнца, сродненные во что-то неизъяснимо прекрасное, и это что-то сливается с синью небес, мерцает сквозь дымку отдаления,— и вот исчезло, и вот возникло опять бледной радугой облаков,— и не облака ль это столпились горами? не горы ли разлетаются подобно парам? Все так неясно, так неопределенно, так безгранично: высокий идеал романтизма!

Очень люблю Кавказ, люблю мою родину, люблю тебя, Лилия,— и как люблю! Но в созерцании гор,— не знаю, чем это делается,— сплавлено для меня все мое былое, настоящее и будущее. Вот кажется, бронзовый конь Петрова монумента гордо скачет передо мной по утесам, и звезды брызжут из-под копыт. Вот величавый Кремль вырастает из холма, и муравленые, узорчатые башенки его распускаются в высоте золотыми маковками. А там, а здесь, вблизи и вдалеке, перед глазами и в сердце, опять ты, очаровательница,— всегда ты!

Но печальны все эти образы, повиты крепом и кипарисом. Для меня вчера и завтра — два тяжкие жернова, дробящие мое сердце. И скоро, скоро это бедное сердце распадется прахом: я это предчувствую; недаром бой часов по ночи стал будить меня иногда, словно стук заступа в гробовую кровлю. Заснуть навек, умереть? Так что же! Сейчас приди за мной смерть, и я подам ей руку с приветом...

Обнаженная жизнь моя — такой же остов, как она сама; живой, я свыкся уже с ночью и с сыростью могилы. Тому красна жизнь, у кого настоящий миг плавает всегда в радостях, как роза пиршества в благоуханном фалерне, у кого перед очами летает вереница надежд; а у меня одно забытье — наслаждение, одно сомнение — надежда. Провидение дает человеку в пору счастья удовольствия, а в пору злополучия — мечты; но судьба давно пожрала первенцев моего сердца,— а другие изменницы покидают меня сами. Нет услышания моим мольбам, на зов мой нет ответа! Разлука передо мной, и около, и за мною — горькая разлука с родиною, с радостями жизни, с милою душе.

И есть люди, что дивятся моей безрассудной отваге. Да разве не был я храбр, когда еще ценил жизнь, когда желал расцветить, увенчать ее? Что же остается мне делать теперь, когда я презираю существование более, чем сперва презирал гибель? Со всем тем пример самопожертвования и бесстрашия живет долго, заслуга — всегда. Пример — самое красноречивое убеждение и самый одушевительный приказ. Храбрые умирают скорее и чаще других, но память о них долго хранится в дружинах и увлекает в пыл боя, как обрывок знамени.

Грустно. Листопад не в одной душе моей, но повсюду. Блеклые листья роятся по воздуху и с шорохом падают в Абин... Мутная волна уносит их далеко. Замечательно, что листья осенью переходят по всем цветам радуги — из зеленого в голубоватый, потом в желтый, в оранжевый, в красный, и облетают. Не таково ль и воображение? Мало ему луча небесного; надобно, чтобы он отражался под известным углом.

В цветущее время Венеции суд и расправа гражданских дел свершалась там только по воскресеньям: пример, достойный подражания и уваженья, сказал бы я, если б не знал, что одна торговая жадность венецианцев была виной этой выдумки, если б надеялся, что чернила ябеды не запятнают святыни. В самом деле, можно ли достойнее почтить праздник бога правды, как не защитою слабого от сильного, как не карою вредного преступления? Суд не работа, а священный долг перед богом и людьми.

Несчастна? Ты несчастна? Кто ж после этого поверит всем залогам и вероятностям? Кто бы подумал, что та, которая одним взором, одним словом может осчастливить каждого, не имеет сама крохи счастия! Я, однако, думал, подозревал это. У тебя вырывались слова, пронзающие душу. Середи резвого разговора находили на тебя мгновения невыразимой грусти: я уловил, я угадал это пролетное сдвижение бровей, это судорожное сжатие губ, это задумчивое колебание головы,— они отзывались во мне каким-то болезненным ощущением. Лилия несчастлива! Эта дума вырывает из груди сердце. О, если б я мог переплавить каждую каплю своей крови в минуты благополучия, я бы выточил ее для тебя безраздумно, бескорыстно, и последняя струя моей жизни пролилась бы в холод могилы с благословением судьбе. Может быть, ты украдкою плачешь теперь, и я не могу улелеять тебя в радость, погасить лобзанием очи, горящие слезами, развеять вздохами печаль! Тяжело быть самому несчастным, но видеть тоску того, кого любишь, и не мочь, не сметь разделить его горя — это просто мука! И пусть мы сблизимся, пусть ты полюбишь меня,— ведь сердца несчастливых легко отверсты взаимности, они жадны излиться одно в другое! — чем отплачу я за твою искренность и горячность, кроме лишних печалей? Какую надежду принесу тогда на зубок новорожденной любви?.. Пепел и грезы! Нет, Лилия, тысячу раз нет! Будь я даже уверен в тебе, я не возмущу тебя признанием. Твое спокойствие для меня священно. Я ли подарю тебя, взамен житейских горестей, мертвящею тоскою разлуки, я ль, который падаю под ее терновым венком, несокрушимый прежде под жезлом судьбы! Мне бы отрадно было подать, пожать тебе руку, отклонить, притупить собою шипы на пути твоей жизни, устлать ее любовью, укрыть, согреть тебя душою своей в зиме света,— и что ж? — раз только встретились дороги наши и бегут врознь навсегда. Да будет! Станьте ж непроницаемы, очи мои, как тюремные окна, уста безмолвны, как могила! Истлевай, сердце, без дыма и пламени!

Мило негует роза вешняя с тиховейными ветерками и в благоуханном поцелуе передает им свою душу; а между тем червяк уже подточил ее стебель. Драгоценный алмаз манит взоры красавиц и поклоны корыстолюбцев; но хи-

мик наводит на него свои зажигательные зеркала, и звезда земли — уголь! Высоко ширяется в поднебесье орел, купает крылья в радуге, хочет закрыть ими солнце,— и на земле уж все мое, думает он,— и вдруг откуда ни возьмись зашипела стрела, ветка, только что оперившаяся, на которой он отдыхал не далее как вчера,— и властитель воздуха, пробитый ею, издыхает в грязи, игрушкою ребятишек!

И вот символы трех идолов, трех летучих целей человека, за которыми он гоняется, ползает и скачет целый век, которым в гостинец приносит тело и совесть и самую душу, о которых мечтает в разгаре юношеских страстей и в бреду предмогильном. Люди совестливые зовут этих идолов собирательным именем — *счастие;* я буду откровеннее,— или подробнее,— я переведу слово *счастие* словом *наслаждение в трех лицах* — любви, богатства, власти. И каждое из них для нас то цель, то средство, и каждому из них имя — *легион!*

Коварный дух желаний уносит душу нашу на темя гор и говорит: «Смотри, любуйся, выбирай: мир богат и необозрим; поклонись мне — и все твое!» Какой смертный возразит ему: «Vade retro, Satana»? [1] Мы падаем в ноги искусителю и ставим годы жизни на карту. Бесстрастная судьба с ужасною улыбкою на устах мечет банк свой. Роковой баламут подобран, но она хочет заманить неопытных. Сонико — и раз за разом падают валеты и дамы налево! Первый банк сорван.

Но во всем положен человеку предел, за который не перейти ему без казни. Прекрасно дерево наслаждений, сладки его яблоки, но берегитесь прокусить их до сердца: у них сердце — яд тлетворный, мучительный, убийственный яд! Распутник скормил душу и силы своей обезьяне, любви, и в цветень жизни чахнет дряхлый, бессмысленный. Он уже в самом себе схоронил чувственность, для которой пожертвовал всем. Рядом с ним любовник — мечтатель, который без боя дался в рабство преступной или несбыточной страсти, который забыл, что он человек и сын отечества, гибнет в келье умалишенных, угрызая цепь с жажды поцелуев своей Элеоноры. Винолюбец задыхается водяною. Богач-лакомка умирает на рогоже мучеником пресыщения и расточительности. Богач-скупец нищенст-

---

[1] Изыди, Сатана *(лат.)*.

вует с боязни обнищать и замерзает от холоду, от бессонницы, у сундука с деньгами. Но пусть в наш век самое сребролюбие роскошничает, дает пиры из барышей и, для покровительства, прячет лохмотья свои под батист, пакует себя в англинское сукно; неужели ж вы думаете, что миллионер-откупщик менее скряга, чем миллионер-ростовщик? Напрасно! Вся разница в том, что один считает восковые, а другой сальные огарки. Поверьте мне: он мучится каждым куском стерляди, на которую звал вас; зубы гостей, отличаясь над страсбургским пирогом, жуют его сердце. Не шамбертеном он их потчует, а своею кровью; наливает — и следит каждый глоток и раскидывает на мыслях, как на счетах, сколько процентов принесет ему бутылка, а сам мечтами загребает золотые горы, хочет выпить весь Урал с его песками, сбирается проглотить целиком всю Индию,— и что ж? — захлебнулся, глядишь, одним бочонком червонцев, подавился кораблишком, истек векселями — и лопнул, он банкрот! А там мятежный честолюбец гибнет под колесницею или на колесе. А там властолюбивый вельможа, захватывая власть над другими, теряет ее над собою, с ней доверие царя, затем даже наружное поклонничество толпы. Презренные орудия его прихотей становятся орудиями его казни, насмешки и проклятия провожают в опалу. А там завистливый царедворец сохнет на одной ножке, оттого что дождь милостей льется на тех, кто его достойнее; а на беду целый свет достойнее его. А там изнывает в забвении сочинитель, привычный дышать дымом похвал, с комическою горестью видя, что его прежние кадила коптят уже новых кумиров. Но кто исчислит все терзания желаний и обладания, начиная с полководца, читающего в газетах свои военные ошибки, доказанные яснее дня, и победы, смешанные с грязью, или в приказах повышения соперника, до бульварного любезника в отчаянии оттого, что у приятеля лучше его бекеш, а у него краснеет нос на морозе в решительную минуту встречи с графинею N? Добровольные мученики то славы, то моды, мы страстны к изобретению орудий на собственную пытку; мы страх любим поджаривать себя на малом огне прихотей, не замечая того, что раздуваем его в пламя раскаяния; и дивитесь в этом правосудию провидения: мы казнимся всегда и неизбежно тем же, чему предались без меры,— непременно тем самым.

А между тем есть цветы, девственные как розы ден-

ницы. Есть алмазы столь же ясные, как звезды небесные. Есть жезлы и венки власти и славы, цветущие благословением народов. Желать их искать, добывать и потом лица и кровью сердца мы стремимся природою, но чтобы они просияли нам радостями невозмутимыми, радостями, каплющими прямо с венца божия, надо самоотвержения для любви, благодетельности для богатства, того и другого для власти, а то и другое есть два слога любви, любви к ближнему, переливающейся из единства во всемирность.

Кто же посмеет сказать, что истинная любовь есть бренная страсть? Напротив, она есть чувство бесчувственной, душа живой, бог одушевленной природы. Да, бог: это собственные слова спасителя. И можно ли иначе назвать эту разумную силу, которая заставляет цветок увядать от неги зачатия, велит влюбленному соловью отдавать свои поэмы дебрям, учит кровожадного тигра ластиться, стремит былинку к родной былинке и произращает из них то кристалл, то деревцо, то животное, плавит металл с металлом ударом электричества, внушает неизменное постоянство магнитной стрелке? наконец проясняет души человеческие, созывает, мирит, роднит их, сливает в одно прекрасное, почти небесное бытие? наконец сгибает пути сфер в обручальное кольцо около перста предвечного!!!

И мне ли, существу в высшей степени раздражительному и пылкому, не покорствовать такому закону, выраженному пленительным голосом Лилии и ее небесным взором? О, встреча с нею — поцелуй огня с порохом! Я загораюсь тогда как существо и как вещество. Каждый волосок тогда оживает на мне отдельною жизнию, и все, начиная от самой ничтожной капли до высокой думы, отзывается во мне сладостью любви. Миллионы сердец трепещут в груди, миллионы звуков брызжут сквозь поры, и душа под перстами какого-то ангела звучит и ропщет дивною гармониею, будто огнеструнная лира!

Трансценденталисты находят в человеке сокращение всего мира. В тебе, Лилия, нахожу я, напротив, только изящную, возвышенную, прелестную природу. Не весна ли твое дыхание, не денница ли румянец, не горный ли снег белизна? Разве не отдало небо восточную синету очам твоим, а взорам звезды — звезды, каких не видал до сих

пор «вдовый край Севера»[1]. Станешь ли — и легкий стан твой зыблется как облачко! Ступишь — и будто зовешь на бег ветер! Губки твои, эти розовые, лучше, нежели розовые губки — полуразверстые и трепетные, словно чашечка цветка под первым лучом солнца, под утренним повевом зефира! Они ждут, кажется, поцелуя, чтобы расцвесть улыбкою, чтобы выронить, как росинку, слова отрады.

Прочь!.. Не смущайте меня, воспоминания; желания, не жгите! Вы так неодолимо прельстительны, покуда не помрачены обладанием, не убиты опытом — этим палачом воображенья! Долой с моего сердца, холодная его рука! Хочу любить и верить, и для того пусть умру молодой; пусть мечты прекрасного закроют мне веки еще не поблеклым крылом своим.

Да! грустно сознаться в себе и убедиться на других, а надобно: с молодостью умирает в человеке все безотчетно прекрасное в чувствах, в словах, в деле. Какая ж радость слоняться по свету собственным гробом и рассказывать о добрых своих качествах, как о покойниках, всегда хорошо? Не пережил я своей молодости, а сколько уже схоронил высоких верований! Каждый день развязывает по узлу, крепившему к земле душу. Остаются только слабые путы дружбы и неразрешимые цепи любви; да и той я верю только в себе потому, что она томит, снедает, уничтожает меня. Зачем же не уничтожит скорее!..

2 октября. Ночь.

Нет, еще не умерло во мне сердце; ключи его не застыли до дна: порой, оттаянные думою или звуками, они пробиваются наружу слезами и неслышной, но целительною росою падают на грудь. Сидя у палатки, я рассеянно глядел на лагерь наш, облитый пламенем и тенями заката. Предметы обозначались и опять исчезали передо мной сквозь глубокий дым трубки. Абин широким кольцом охватывал стан слева, и от него тянулась вереница коней с водопоя. Пушки прикрытия гремели цепями, въезжая на батарею; ружья идущей за ними роты сверкали снопом пурпуровых лучей. Там и сям кашевары несли по двое артельные котлы с водою, качаясь под тяжестью. Туда и

---

[1] Settentrional vedovo sito. *Dante, «Purgatorio»* [Данте, «Чистилище» *(ит.)*]. *(Примеч. автора.)*

сюда скакали, гарцуя, мирные черкесы или вестовые казаки. Огоньки зачинали дымиться, и около них густели, чернели кружки солдат. Все будто ожило отдохновением, и, уложив до завтра дневные труды, весело заговорило поле ржаньем коней, строевыми перекличками, нарядами в цепь, в караулы, в секреты, бубнами песельников, полковой музыкою перед зарею,— и под этот-то шум падало за горы солнце, залившись кровью, будто сбитое с неба дружинами огненных, багровых, золотобронных облаков. Они быстрым лётом теснили, преследовали убегающее светило,— и постепенно померкали ряды их: изредка лишь вонзался в огромные их щиты луч, перестреленный через хребет,— и погасал. Наконец почернело все небо, исчезли и малейшие розовые следы запавшего солнца,— и никто в целом лагере не думал о солнце. Солдаты ластились к огню, на котором кипел их ужин. Офицеры приветно улыбались самовару; кони рыли землю копытом, ожидая овса. Во мне только голод и усталость придавлены были грустным созерцанием. И вдруг раздалась в воздухе одна песня — заветная песня моей юности. О, сколько страданий и восторгов заключено было в каждой ноте, в каждом заунывном ее звуке!

In questi voci lanquide risuona
Uu no so che di flebile e soave,
Ch'al cor gli scende, ed ogni sdegno ammorza
E gli occhi a lagrimar gl'invoglia e sforza.

В тех звуках томных отзывалось, не знаю,
что-то грустное и усладительное! Они проникали
в сердце, они снимали с него всякое огорчение,
охотили и неволили очи к слезам.

Данте

Плакал и я, невольно и охотно плакал. Слезы утолили душу, давно жаждущую гармонии и поэзии. Есть у меня часы, когда стихи и звуки необходимее для меня, чем в иное время питье и пища. В такие часы люблю я напевать задушевные строфы Гете и Байрона, ямбы Пушкина, терцеты Ариоста, Муровы мелодии, даже стихи Вальтера Скотта из «Красавицы озера» или «Последней песни барда». В музыкальном отношении Вальтер Скотт едва ли не выше всех английских поэтов. Я читаю их вслух, и благозвучные рифмы льются тихо и стройно, льются как

масло олив, подмывают сердце, и оно лебедем всплывает наверх, зыблется и дремлет, лелеемое волнами звука. Никогда никакая проза не заменит нам поэзии, но только для выражения мечты, а не действительности. Действительность так разнообразна, что ей не впору никакой размер. Там, где слово должно рифмоваться с мыслию, созвучие — ребяческая игрушка.

Ночь накрыла землю необъятными своими крыльями. Шипучая ракета взвилась высоко, прямо и с ударом рассыпалась блестками по облаку. За ней взревела зоревая пушка, и все ущелия откликнулись ей, стеная. Затих последний перебой барабана, и все потонуло во мраке и тишине. Только порой вспыхивал кое-где огонек и на миг озарял белые полосы палаток и черные коновязей, или знамена, положенные вкось на барабаны, или рогатки штыков да купы лиц, которые, как духи из Макбетова котла, улетали вместе с дымом и с искрами. Только мерный оклик: «слушай!» обходил дозором по цепи. Многозначительно и спасительно слово это, — и кто ему внемлет, кроме часовых? Враг подкрадывается под душу, а мы спим. Совесть или разум кричит «слушай», а нам лень поднять голову. Беда, наконец, застает нас врасплох,— и мы давай плакаться на судьбу! Воля у человека не часовой, а вестовой — вечно на побегушках для его прихотей, никогда или почти никогда для пользы.

Облака сомкнулись тяжелым сводом. Ни одной звездочки нигде; со всем тем ночь свежа и тиха; ночь, желанная для счастливых любовников. Не знаю, право, кому взошло в голову расхваливать одиночество ночи, когда она выдумана для взаимных радостей, для пирушек дружбы, для таинственных свиданий любви! Я согласен с Гете: подобно жене, данной человеку в лучшую ему половину, ночь для нас, право,— лучшая половина жизни. Разумеется, я прибавляю к этому небольшое условие sine qua non[1], за неявкой которого со вздохом опускаю голову на седло и поневоле делаю пушкинское воззвание к заштатному языческому богу:

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви!
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови.

---

[1] Непременное *(лат.)*.

Грудь на груди мать сырой земли засыпал я вчера, и она тихо, тихо дышала мне свежестью, между тем как доброе небо растворяло воздух росою, готовя для смертного живительную атмосферу. Сладкий миг забытья сходил уже на меня. Какие-то безвидные, безымянные мечты-младенцы мило лепетали около моего сердца, карабкались на него, как на челнок, и перевернули его, шалуны: оно погрузло в сон глубокий, плотный, крепкий сон, каким могут спать одни праведники и солдаты.

И не знаю, долго ли, коротко ли спал я, только вдруг пробужден был содроганием и гулом земли. Прислушиваюсь, поднявшись на руку: так и есть — это быстрая прыть атаки! Скачут кругом, рассыпаются врозь,— ближе, ближе, вот стопчут палатку! У меня занялся дух: это черкесы! Я вскочил (ночуем мы всегда одетые) и вооружился. Бужу своего товарища: он спит как убитый.

— Валериян Петрович, слышите ли?

— Слышу,— отвечает он впросонках,— пора и нам, фуражировка сказана в три часа; верно, казаки собираются!

— Нет, это не казаки! Какой черт смел бы строить полки в галоп, и в такую темь, и в лагере, собираясь для тайного набега!

Говорю, а он уж храпит. Я выскочил из палатки... Сердце так и бьется. Все тихо, а ночь темнее, непроницаемее чугуна. И вот опять загудела, загрохотала земля, как бубен, под копытами тысячи коней. Ну вот, кажется, ринулись мимо: хвосты пашут холодом, пена летит в лицо с их удил, шашки сверкают в трех шагах; но почему ж нигде ни выстрела, почему нет дикого крика азиатского натиска, нет барабана тревоги? Неужели могли черкесы тихомолком вырезать часть цепи и решились железом изгубить сонных?.. Постойте! Там, кажется, крикнули: «В ружье!» Нет, это оклик: «Рунд мимо!..»

И тяжкий гром разразился над горами... Молния хлынула морем. А, понимаю теперь, это гроза! Но никогда обман не был так полон и вероятен: я жил долго в горах, а ни разу не видал и не слыхивал ничего подобного. И мог ли я вообразить себе грозу в октябре месяце? Да еще какую грозу? Ужас! С первого удара целый час не прерывался гром ни на одно мгновение. Он кипел и клокотал по-

добно аду, сливая в один лютый рев все отголоски ущелий, заставляя трепетать все долины как осенний лист. Когда ж над этим океаном мертвящих звуков и блистаний, раздирающих ночь по всем ветрам, сверкал еще ярче поток молнии, стрелял новый гром с оглушающим треском,— мнилось видеть пролет необъятного ангела разрушения с крыльями из туч, следить размахи жар-меча его, рассекающие Кавказ до сердца; мнилось слышать вещий голос его трубы, сокрушительницы мира, призывной трубы к Страшному, последнему суду. В самом деле, всякий раз, что взрыв перуна озарял заснеженные верхи гор, они проявлялись на миг, как толпы мертвецов великанов в белых саванах,— и потом точно стремглав падали в преисподнюю, отвечая леденящим кровь стенанием на грозный удар осуждения,— стенанием таким пронзительным, что лихорадочный трепет пробегал по всем жилам земли и скалы скрежетали от ужаса.

Постепенно холодело и во мне сердце; молнии зажигались снопами по теменам далеких гор и разгорались, как извержения вулканов; буйный вихорь крутил и бросал капли крупнее винограда, а потом воцарялась опять душная неподвижность в воздухе; земля колебалась и звучала под ногой будто пустая. Я невольно вспомнил о последнем дне Помпеи... «Почему ж не погибнуть этому краю от землетрясения и лавы!» — думал я, и думал это не в шутку: гроза бушевала все ужаснее и ужаснее. Никогда и никому не расскажу про думы, которые волновали меня в этот час: люди мне не поверят, а бог меня видел сам. Скажу одно: в ту минуту, когда я убедился, что все меня окружающее должно через миг разлететься вдребезги и в искры, у меня было странное желание, дикое желание — погибнуть вместе с Лилиею, прижать ее в первый раз к сердцу и потонуть в пламени любви и землекрушения!..

К рассвету мы были уже с отрядом за пятнадцать верст от лагеря. Взяли с боя пропасть сена и просушились от проливного дождя, заключившего ночную бурю, у пожара сожженных нами аулов. Жаль: у меня убили лихого унтер-офицера.

12 октября.

Я тоскую, здесь горечь. Чувствую, что рука судьбы тяготеет на моем сердце, и нет друга, нет родного вблизи, кто бы снял с меня половину бремени. Это одиночество,

этот воздух чужбины душат меня,— сегодня втрое, чем когда-нибудь,— необычайно!.. Шапсуги дрались на славу — отважно, упорно. Много храбрых пало с обеих сторон; много пролилось крови на каждую спорную скалу. Перестрелка на час умолкла: отряд остановился для разработки дороги сквозь неприступные прежде утесы. Задыхаясь, весь в поту, насилу вскарабкался я на круть и сел под дерево, Застрельщики мои, раскинутые цепью, улеглись за камнями и кустами, глаза настороже, и палец на курке. Солнце, больное осенью, лишь повременно бросало свои бледные лучи в глубину дикого, необитаемого ущелия, по обеим сторонам которого мы тянулись. Облака стадились по хребтам Маркотча; горный ветер кружил иссохшими листьями; грустная дума запала мне в голову, — грустная и отрадная вместе она была: мне недолго жить, и зачем, в самом деле, разводить водой безрадостную жизнь мою? Я с раскаянием обращался к прошлому, с мольбою простирал руки к будущему: нет ответа, нет привета. Иногда на прежнее можно купить то, что будет: у меня бездна призывает бездну!..

Глубоко внизу стенал Атакваф, перебираясь по каменьям, ограненным вешними водоворотами. Прямо против меня на другой стороне реки, как погребальный ход, тянулся обоз по утесам; на него укладывали убитых и раненых. Взглянул вверх,— дикий кипарис, опахало мертвецов, простирал на меня венок из ветвей своих, и я вспомнил стих Вальтера Скотта:

O lady, twine not wreath for mee,
Or twine it of the cypress-tree! [1]

Везде зачатки смерти, везде кровь и траур... но почему я впервые заметил это?

Я бы желал отдать последний вздох тому краю, который внимал моему первому крику. Как все младенцы, я плакал, когда родился, но, как немногие люди, живучи узнал о нем. Отравленный напиток — воздух бытия, но в отчизне по крайней мере мы вдыхаем отраву без горечи. В отчизне я бы уложил свои кости рядом с прахом отца моего,— и мягче и легче была б для меня родная земля! Враг не сорвал бы креста с моей могилы; прохожий помо-

---

[1] Не вей, красавица, для меня венка или свей его из веток кипарисных. *(Пер. автора.)*

лился бы за грешную душу мою по-русски. Ели ж паду на чужбине, я бы хотел быть схороненным на берегу моря, у подножия гор, глазами на полдень,— я так любил горы, море и солнце! Пускай и по кончине согревает меня взор божий; пусть веет мне горный ветерок; пусть кипучие волны прибоя напевают и лелеют вечный сон мой.

Дитя, дитя! Прах бесчувствен. В гробу снятся сны не из нашего мира!

Но неужели вы забьете, заклеплете в колоду и это бедное сердце — сердце, которому тесно было даже в груди? Учились ли вы физиологии? Знаете ли, что сердце живет прежде всего в человеке и умирает гораздо после? Не вдруг погаснет оно и застынет нескоро. Смерть превратит взоры в лед, а язык в камень; но сердце долго, долго потом будет еще роптать страстию. Зачем же душить его гробовою доскою, зачем отдавать подлым червям на потеху благороднейшую частицу мою? Лучше выньте его и сожгите: пламень был его стихиею.

И развейте пепел по ветру: пускай летает в поднебесье!.. Оно уж привыкло летать в поднебесье.

И, может быть, какая-нибудь пылинка перелетит за моря и сольется с родной землею... О, тогда весело вздрогнут останки мои в земле чужой!

Ничто не гибнет в природе, умирая,— ничто! Не погибнет и лучшая половина меня самого — душа. Но я бы жаждал, чтобы она стала неразлучным твоим спутником, Лилия, твоим ангелом-хранителем. Как бы чисты были сны твои под моим крылом, как покойны чувства и думы! И почему ж нет? Я и теперь, одетый в мятёжное тело, обуреваемый страстями, готов бы охранять, вести тебя бескорыстно и безупречно; готов купить так же дорого твою непреклонность, как иной твое падение,— теперь, когда малейшая победа над собою мне наносит глубокие, горючие раны.

Когда ж не станет меня, не ранее как тогда, пусть узнает Лилия, что я любил ее; но где возьму я слов, чтоб выразить, где найдет она чувств, чтобы постичь, *как* я любил? Что я отказался от надежды на ее взаимность за ее позднее уважение, что я не хотел напрасными приветами и забегами ни на один миг возмущать ее равнодушия, ее домашнего покоя и для того не пытал в ней моего счастия,— а одно слово, один взгляд ласки мог бы меня осчастливить. Ненасытны, беспредельны были мои желания в

жизни,— и я бежал тебя, Лилия; но если ты уронишь хоть слезу на мою память, прах мой будет утолен. Одну слезу, Лилия,— за все мои страдания,— как единственную усладу, единственную награду моей тайной, нераздельной любви; и пусть за то будет вся жизнь твоя ясна, как эта слеза! Будь счастлива, Лилия... счастлива и за гробом!

Но кто спросит, кто расскажет про меня? Те, кто бы могли, не захотят, а кто бы желал, не может!.. Я сирота и в грядущем.

14 октября.

В один короткий, осенний день сколько разных ощущений! Они наподхват вырывали друг у друга мое сердце и забрасывали его то в тихую радость созерцания, то в горячку истребленья, то в холод ужаса. Замечу мимоходом, что шапсуги сегодня в первый раз попытали передавить нас огромными каменьями, скатывая их с крутин,— и напрасно; что я оцарапан стрелою в правый бок; что я был восхищен видом на обе стороны, взобравшись на хребет Маркотча, отделяющий приморье от закубанья. Позади тысячи долин и ущелий под чернетью теней от гор, под серебром речек, сверкающих от солнца. Впереди необъятное Черное море, со своими приютными заливами, с изумрудными волнами, с утесами, ворвавшимися в их середину. А кругом воины, бросающие победное «ура» на ветер Кавказа в привет знаменам нашего великого царя. И сами знамена шумели ему славу, играли радугой завета для Черноморья.

Теперь следует «зело любопытственное сказание о том, как имярек поражен бысть ужастию велиею, и якся бегу, и о прочем». Не шутя, сегодняшний вечер стоит быть вписан в мою памятную книжку.

Рекогносцировка для устройства дороги реями по крутой горе кончилась на теме Маркотча. Только три батальона назначены были открыть сообщение с крепостцой Г—м и привести оттуда на вьюках провиант. Полк наш возвратился; я был послан вперед для закупок. Крутой спуск, перестрелка, бездорожье задержали нас, так что к взморью у Суджукской бухты достигли мы в потемках. По сказам проводника, оставалось еще версты четыре до Г — а, а

ночь до того стемнела, что тропины в пяти шагах прятались от глаза. Овраги и рытвины беспрестанно пересекали дорогу; терновник закидывал ее своею колючею рогаткою. Отряд двигался медленно и осторожно: тем медленнее и осторожнее, что надо было поберечь раненых, которых везли мы верхом, перевалиться за хребет с повозками не было никакой возможности. И вот мне страх наскучило идти с ноги на ногу и поминутно слушать однообразный гул рогов. «Застрельщики, стой». Все, что было у нас кавалерии, умчалось вперед, посланные генералом известить крепостцу о прибытии отряда, а голод, а жажда и усталость меня томили. Воображение рисовало вдали кипучий самовар и вокруг его разгул стаканов, дымящихся китайским нектаром. Котлеты порхали «там, там в мерцании багряном», словно райские птички. Милочки летучие рыбы, про которых мне насказаны чудеса, танцевали на сковороде французскую кадриль на масле; как тут не соблазниться? Я подъехал к одному из оставшихся проводников.

— Тюрк-Абат, катнем вперед!

— Аллах койма сын (да не попустит бог)! — отвечал он.— У меня нет заводной головы. Ты лучше другого знаешь, черкесы невидимками вьются около каждого отряда, и чуть удались кто за стрелков — цап-царап, да и на аркан раба божьего!

Я возразил:

— Натухайцы слабее других горцев, и в доказательство тому, что они убрались восвояси, нет ни одного выстрела ни по нас, ни по всадникам, которые уехали вперед, а уж, конечно, эти разбойники не упустили бы случая кого-нибудь из них застукать, если бы вблизи были.

— Будь их много, они бы, конечно, напали на горсть наших всадников,— отвечал Тюрк-Абат,— а что скажешь, если их какой-нибудь десяток для дозору?

В инструкции полковникам «О кареях против турецкой кавалерии», данной стариком Каменским, между прочими, чрезвычайно дельными замечаниями сказано: «Пехота, которая вышлет стрелков далее восьмидесяти шагов от фронта, может исключить их из списков». Почти то же можно сказать о рассуждении всадников, выезжающих далее восьмидесяти шагов за цепь в сторону, в войне с черкесами. Кажется, их нет за пять верст, все тихо, а попробуйте остаться на полвыстрела от ариергарда, они налетят как вороны, выскочат из дупла как рысь, как гриб выра-

стут из-под земли. «Все это так,— думал я,— однако ж мне удавались и не этакие штуки. В такую ночь можно уйти от совести, не то что от черкеса».

Тюрк-Абат, как будто возражая на мои мысли, сказал:

— Нет, достум (нет, друг мой); теперь разве на птице можно перелететь до крепости; на лошади — нет.

Во мне загорело ретивое. Я потрепал по крутой шее своего буланого и сказал:

— Послушай, Тюрк-Абат, ваш Магомет был великий чудодей. Однажды он снял месяц с неба, разрубил его надвое, как пятак, и пропустил половинки сквозь рукава своего кафтана, и опять сложил их, и опять повесил месяц на небо. Слова нет, штука недурная. Однако наш падишах выкинул поудалее этой: он сорвал Магометову луну с этого неба и положил к себе в карман. Давно ли точил на нас рога свои полумесяц над здешними горами? А погляди-ка вверх, теперь ни четверть месяца не смеет выглянуть. Я русский. Я не барышня. Да и не раз изведал, что и черкес не черт. У него ружье, и у меня не флейта; под ним конь, да и подо мной не собака. Еду один.

— Поехать легко,— возразил хладнокровный азиатец,— но не проехать. Впрочем, у нас есть пословица: «Жизнь — любовница человеку. Кому она мила, тот ей раб; кому постыла, тот хозяин». Твоя воля!

Le coquin a frappé juste [1]. Плеть хлопнула, и в три мига я был далеко, так что когда обернулся, мне уж не видно было огненной струйки дыма, слетавшей по времени с трубки проводника. Я то скакал, то сдерживал коня, чтобы прислушаться, нет ли шороха или топота. Ничего кругом: ни души, ни искры; только вдали за мной раздаются русские песни как неясное воспоминание. Легкий туман чуть подымался; зато безбрежная ночь чернела все пуще и пуще и, казалось, мигала мне тысячью огромных глаз своих. Не зная дороги, я ехал почти ощупью, вставал на стременах: нет как нет крепости,— она завернулась, верно, в валы свои, прикурнула под какой-нибудь холмик и зажмурила все свои огоньки,— спит себе и не подаст голосу. И вот мне стало казаться, будто пни дерев шевелятся, перебегают дорогу, разрастаются великанами, все ближе и ближе, и сбрасывают, наконец, свой оптический наряд леших, и давай подтрунивать надо мной, как баловни

[1] Плут нанес удар метко *(фр.)*.

школьники. Иной щипнет за ухо, другой, подкравшись, тянет долой шапку, третий подставляет ногу коню моему, тот прыщет в лицо холодной росою, и в каждом дупле, казалось, пищит какой-нибудь Пук или Ариель, защемленный туда за проказы. Лес для меня ожил, населился, заговорил всеми созданиями Шекспировой фантазии и карикатурами Гетевого шабаша ведьм... И вдруг вдали передо мною брызнула синяя искра — верно, блудящий огонек.

— Эй, приятель! — закричал я ему словами Мефистофеля,— посвети-ка мне на дорогу, чем тебе маячить даром!

Нет, это не блудящий огонек, не светляк зажигает свою искру на листке, это не вечерняя звездочка на краю небосклона: она искрится, разбрасывает лучи, расцветает,— вспыхнула! Бог мой, как это прелестно! Это яркий фалшфейер на люгере в привет братьям русским.

Вообразите себе зажженный яхонт над прозрачною зеленью моря, озаряющий волнистым, дымным, голубоватым светом своим и корабль, на котором сиял, и волшебный круг из двух бездн — воды и воздуха, в которых плавал этот корабль. Казалось, все снасти нижутся дорогими каменьями, а самое тело люгера вылито из цветного хрусталя; казалось, весь он зыблется, трепещется, летит, тонет в пучине взор ласкающего света. И вмиг все погасло, все исчезло. Тьма поглотила берег и море и сомкнула над ними непроницаемую пасть свою. Расширяю глаза, чтоб уловить хоть след милого виденья, направляю туда бег свой, посылаю взор за взором в погоню, скачу; и вдруг конь мой стал, храпя, и, фыркая, уперся, испуганный плеском моря, которого не видал он сроду. Роняю взоры вниз: новое очарование! Все прибрежье горело фосфорной пеной прибоя. Волны рядами тихо катились на плитный берег, сверкали зубчатыми гребешками своими, ударяли в грудь камней и рассыпались на них огнем и звуками, как поцелуй брата с братом. И каждая рыбка, всполохнутая мною, исчезала в огненном вьюне; и каждая капля, брызнутая с ее живого весла, освещала дно приморья, так что виднелись на нем раковинки, как видны все мысли в глубине души невинной девушки при блеске страсти. Невыразимо прелестным пламенем играли струи этого изумруда, растопленного в сердце природы, и какая-то отрадная свежесть веяла с них... Скажите, мог ли я в такую пору думать об опасностях? Я ехал вдоль берега на волю

коня. Говорят, замерзающие, после грызущих мук, впадают в сладкую, неодолимую дремоту оцепенения. Со мной совершалось то же самое... Душа из ледяных объятий света падала на лоно бесчувствия; все чувства растекались забытьем ничтожества. Будто сквозь дрему мелькали и хрустели под погами белые камни, словно черепы на кладбище. Бледный фосфорический свет моря мерцал мне, как привычное озарение моего могильного мира, и говор волн отдавался в ухе, как понятная беседа собратий-мертвецов!

Не таков ли сон вечности? Дайте ж мне скорее морскую волну в изголовье; плотнее задерните полог ночи. Пусть даже бессмертные звезды, не только смертные очи, туда не заглядывают. Пусть не будит меня петух ранымрано. Хочу спать, долго и крепко, покуда ангел не разбудит меня лобзанием примиренья.

Но криком войны был пробужден я: как призраки, возникли передо мной черкесы и, восклицая: «Гяур! ай гяур!» — кинулись с обнаженными шашками наперерез. Я обомлел от ужаса: мысль попасть в мучительный плен к этим варварам пробила сердце. Но прежде чем успел я на что-нибудь решиться, мой перепуганный конь вернулся на пяте; я дал поводья, и он, ринутый ими, взвился как стрела с тетивы.

У римлян был закон для воинов: одного врага — победить, на двух — нападать, от троих — защищаться, от четверых позволяется бежать. Я бежал от семерых по крайней мере; бежал не смерти, а позорного плена,— и в первый раз в жизни,— но все-таки бежал. Не хочу золотить того, что и полуды не стоит: это был явный пример самовластия тела над волею, и этим еще не кончилось. Я скакал целиком, сквозь терн, через камни и рытвины; и вот, в сотне шагов от места роковой встречи конь мой перепрянул через ложе иссохшего потока, поскользнулся на голом камне — и я брык с ним через голову.

Несколько мгновений катясь колесом, я думал отчаянным усилием удержаться в седле. Никакого средства! Конь придавил меня под собою, а между тем крики: «Гяур! гяур!» жужжали за мной вместе с пулями. Лежа, взвожу курок; наконец удается мне вскочить на ноги, и первым моим движением было приложиться навстречу врагам, чтоб продать им не иначе душу как за душу; но они медлят, они пешком. К счастию, я не выпустил из рук повода. Тороплюсь сесть; конь не дается, бьет, становится на

дыбы. Вздор, ты не уйдешь от меня! Полмига после я уже несся во весь опор к отряду; но там ждала меня новая невзгода. Стрелки, послышав конский топот, сочли меня за неприятеля и открыли беглый огонь. Штыки уже сверкали близко моей груди, прежде чем они расслышали мой оклик: «Стрелки, свой идет!»

Это было мое первое, надеюсь и последнее, знакомство со страхом.

Пишу эти строки под кровлею. Как нетерпеливо хотелось мне отдохнуть под кровлею! Удалось — и я жалею о свежей палатке, о ночлеге под открытым небом. Стены душат меня, потолок гнетет; грудь просит раздолья и ветра. В гробу хорошо только мертвым, а эта комната — настоящий гроб.

Четыре дня потом.

Показалась кровь горлом — повестка адской почты! Зовут на получение савана... Не замедлю я, не замедлю! Мне бы не хотелось, однако ж, чтобы Лилия видела меня в таком наряде. Женщины очень любят мундиры, за исключением кирасирского мундира смерти: полотняный колет и сосновые латы не красят человека!

Хочу и не могу быть веселым. Нет сна на мое утомление; нет слез на тоску. Мысль о смерти гнездится в душе; порох пахнет ладаном. А мир прекрасен! На расставанье он, подобно коварной любовнице, удвояет нежность, осыпает ласками, является младенчески невинным, плачет неутешно, не хочет выпустить из объятий. Бессердечная прелестница, что сделала ты с моею любовью? А теперь хочешь возбудить мое сожаленье! Великолепная твоя гостиная была для меня пытальней. Не гостем, а мучеником скитался я на твоих пирах. Не для меня там кипели чаши радостей; все блага обносились мимо.

Voir n'est pas *avoir* [1].

Братья люди, братья Иосифа! один завет вам: не продавайте своего меньшего ни за хлеб в час голода, ни за пряники в праздник. Тяжка ему работа египетская, но вы позавидуете ей на смертной своей постеле.

---

[1] Видеть не значит иметь *(фр.)*.

...Едва ли не Наполеон отвечал на вопрос, какую смерть желал бы он себе: «Самую скорую и самую неожиданную!» Это значит — не надеяться ни на тело, ни на душу. Что за воин, который страшится долгого боя!

Кажется, 23 октября; рано.

Бьют поход! Шапсуги грозно скликаются по вершинам: быть горячей схватке; и я рад этому. Сегодня я бодр и весел необыкновенно. Луч утра стопил долой с сердца весь свинец горя; рука сама хватается за шашку. Вид — чудо: заря перебросила уже розовый шарф свой с плеча на плечо горы, а котел ущелия, в котором таится наш стан, все еще темен и дымен; люди бродят как тени по туманному берегу Стикса; обнаженные деревья будто вылезают из трещин, в которых спали ночь. Теснина, кажется, хочет задавить нас в объятьях. Утесы-великаны уперлись грудь с грудью, в плитных латах, заржавленных веками, спустили на нас сердитую реку, завалили все тропки обломками, набили частокол дремучего леса,— и все это вздор для русского. Захотели — и притоптали стремнины в широкую дорогу, накинули мосты на пропасти; и с хребта на хребет, с дива на диво пойдем, полетим на пробой. Догоним мы эти вершины: не спрятаться им в облаках! Мы сами будем сегодня второй раз в гостях у неба.

Никогда еще с таким томленьем не ждал я битвы, как теперь. Кажется, за этим хребтом ждет меня Лилия на условное свиданье; кажется, я куплю ее взаимность моею кровью.

Чего ж медлят? что ж не ревут и не прядают по скалам наши горные единороги? Пора, пора! Страстно хочу я кинуться в пыл схватки: только ее обаятельный вихорь может сравниться с упоеньем любви. Были минуты, когда, изнемогая от полноты счастья, прильнув устами к груди прекрасной, невольно роптал я: «теперь бы сладко умереть». Сладко умереть и на груди славы... умереть теперь же, в этот миг!.. Лил...

То была песня лебедя: его желание разразилось над ним его судьбою. Он был убит, убит наповал, и в самое сердце. Его тайны легли с ним в гроб; немногие цветки из венка его мечтаний отдаю я свету. Пусть обрывает их

злословие или участие лелеет: ни для друзей, ни для врагов не покажу я остального. Любовь и ненависть были ему равно гибельны в жизни; зачем же я брошу в их треволнение память друга? А сколько ума, сколько познания насыпано там! Какою теплою любовью к человечеству все это согрето! Но пусть все это не имело бы никакой цены для словесного богатства человека: его действительный быт был лучшим его творением. Душа общества в веселую пору, он не покидал изголовья больного товарища, не спал ночей, ухаживал за ним, как нежная мать, сносил все причуды, как самый покорный служка. Его рука и кошелек были открыты для каждого: никто не удалялся от его порога с тяжелым словом *нет!* Кто вернее его служил государю словом и делом? Кто бывал впереди его в жаркой битве? Одним словом, кто был достойнее назваться человеком и кто носил это имя с большим благородством?

И мы схоронили юношу, возвратясь в Г — н, схоронили в чужую землю, в виду гор, на самом берегу Черного моря. Кровью залилось мое сердце, когда священник бросил горсть земли на гроб его, когда и моя горсть глухим прощанием отозвалась из могилы... Земля поглотила свое лучшее украшение и тихо сомкнула уста. Все кончилось! Все уж было пусто, когда я очнулся от бесслезных рыданий над могилою достойного друга: только море шумело; только ветер уносил к небу струйки фимиама с кадила вместе с облаком порохового дыма от почетной пальбы. «Вот жизнь и смерть его»,— подумал я.

СТИХО-
ТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ

АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ, НАПИСАННЫЕ А. БЕСТУЖЕВЫМ СОВМЕСТНО С РЫЛЕЕВЫМ

* * *

Ах, где те острова,
Где растет трынь-трава,
Братцы!

Где читают Pucelle
И летят под постель
Святцы.

Где Бестужев-драгун
Не дает карачун
Смыслу.

Где наш князь-чудодей
Не бросает людей
В Вислу.

Где с зари до зари
Не играют цари
В фанты.

Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей
Танты.

Где Магницкий молчит,
А Мордвинов кричит
Вольно.

Где не думает Греч,
Что его будут сечь
Больно.

Где Сперанский попов
Обдает, как клопов,
Варом.

Где Измайлов-чудак
Ходит в каждый кабак
Даром.

1823 (?)

* * *

Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят.

Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят.

Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо.

А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо.

Как курносый злодей
Воцарился по ней.
Горе!

Но господь, русский бог,
Бедным людям помог
Вскоре.

1823 (?)

* * *

Царь наш — немец русский,
Носит мундир узкий.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Царствует он где же?
Всякий день в манеже.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Прижимает локти,
Прибирает в когти.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Царством управляет,
Носки выправляет.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Враг хоть просвещенья,
Любит он ученья.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Школы все — казармы,
Судьи все — жандармы.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А граф Аракчеев
Злодей из злодеев!
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Князь Волконский баба
Начальником штаба.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А другая баба
Губернатор в Або.
    Ай да царь, ай да царь,
    Православный государь!

А Потапов дурный
Генерал дежурный.
    Ай да царь, ай да царь,
    Православный государь!

Трусит он законов,
Трусит он масонов.
    Ай да царь, ай да царь,
    Православный государь!

Только за парады
Раздает награды.
    Ай да царь, ай да царь,
    Православный государь!

А за комплименты —
Голубые ленты.
    Ай да царь, ай да царь,
    Православный государь!

А за правду-матку
Прямо шлет в Камчатку.
    Ай да царь, ай да царь,
    Православный государь!

Между сентябрем 1823
и апрелем 1824

* * *

Ах, тошно мне
И в родной стороне;
    Всё в неволе,
    В тяжкой доле,
Видно, век вековать.

Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
    И людями,
    Как скотами,
Долго ль будут торговать?

Кто же нас кабалил,
Кто им барство присудил
И над нами,
Бедняками,
Будто с плетью посадил?

Глупость прежних крестьян
Стала воле в изъян,
И свобода
У народа
Силой бар задушена.

А что силой отнято,
Силой выручим мы то.
И в приволье,
На раздолье
Стариною заживем.

А теперь господа
Грабят нас без стыда,
И обманом
Их карманом
Стала наша мошна.

Они кожу с нас дерут,
Мы посеем — они жнут.
Они воры,
Живодеры,
Как пиявки, кровь сосут.

Бара с земским судом
И с приходским попом
Нас морочат
И волочат
По дорогам да судам.

А уж правды нигде
Не ищи, мужик, в суде,
Без синюхи
Судьи глухи,
Без вины ты виноват.

Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати
За бумагу,
За отвагу,
Ты за всё, про всё давай!

Там же каждая душа
Покривится из гроша.
Заседатель,
Председатель
Заодно с секретарем.

Нас поборами царь
Иссушил, как сухарь;
То дороги,
То налоги,
Разорил нас вконец.

И в деревне солдат,
Хоть и, кажется, наш брат,
В ус не дует
И воюет,
Как бы в вражеской земле.

А под царским орлом
Ядом потчуют с вином.
И народу
Лишь за воду
Велят вчетверо платить.

Чтобы нас наказать,
Господь вздумал ниспослать
Поселенье
В разоренье,
Православным на беду.

Уж так худо на Руси,
Что и боже упаси!
Всех затеев
Аракчеев
И всему тому виной.

Он царя подстрекнет,
Царь указ подмахнет.
Ему шутка,
А нам жутко,
Тошно так, что ой, ой, ой!

А до бога высоко,
До царя далеко.
Да мы сами
Ведь с усами,
Так мотай себе на ус.

1823 (?)

* * *

Вдоль Фонтанки-реки
Квартируют полки.
Квартируют полки
Всё гвардейские.
Их и учат, их и мучат,
Ни свет, ни заря,
Что ни свет, ни заря,
Для потехи царя!
Разве нет у них рук,
Чтоб избавиться от мук?
Разве нет штыков
На князьков-сопляков?
Разве нет свинца
На тирана-подлеца?
Да Семеновский полк
Покажет им толк.
Кому вынется, тому сбудется;
А кому сбудется, не минуется. Слава!

Декабрь 1824 или январь 1825

* * *

Как идет кузнец да из кузницы. Слава!
Что несет кузнец? Да три ножика.
Вот уж первой-то нож на злодеев вельмож,
А другой-то нож — на попов, на святош.
А молитву сотворя — третий нож на царя.
Кому вынется, тому сбудется:
А кому сбудется, не минуется. Слава!

Декабрь 1824 или январь 1825

<К РЫЛЕЕВУ>

Он привстал с канапе,
Он понюхал рапе,
Он по комнате вдруг зашагал,
Подошел он к бумаги стопе
И «Поэма» на ней написал.
Вот приходит Плетнев,
Он певец из певцов,
Он взглянул, он вздрогнул, он сказал:
«За возвышенный труд
Не венец тебе — кнут
Аполлон на Руси завещал».

1823 или 1824 (?)

<ЭПИГРАММА НА ЖУКОВСКОГО>

Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял лавровый свой венец,
С указкой втерся во дворец;
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею...
Бедный певец!

1824

МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ

В темнице мрачной и глухой
Ночною празднею порой
Лампада томная мелькает
И слабым светом озаряет
В углу темницы двух мужей:
Один во цвете юных дней;
Другой, окованный цепями,
Уже покрыт был сединами.
Зачем сей старец заключен
В твоих стенах, жилище страха?
Здесь век ли кончить присужден,
Или ему готова плаха?..
Не слышно вздохов на устах,
И в пламенных его очах

Божественный покой сияет.
То к небу взор он подымает,
То с нежной грустию глядит
На сына, полного печали,
И так в утеху говорит:

«В слезах довольно утопали
Твои глаза, друг добрый мой;
Пора расстаться мне с тобою
И Михаиловой главою
Купить отечеству покой.
Всегда будь верен правде, чести.
И если хочешь, чтоб венец
Имел веселью твой отец,
Оставь врагов его без мести...»

На площади народ шумит
В столице хищных, злобных ханов,
России яростных тиранов;
Он с зверской радостью глядит
На труп, весь ранами покрытый.
Над ним, отчаяньем убитый,
Младой князь слезы горьки льет.
Свои власы, одежду рвет,
Татар, Узбека укоряет
И бога мести призывает...
Он внял ему, сей сильный бог,
Россиянам восстать помог
И снял с лица земли тиранов:
Их город стал жилищем вранов;
Иссохли злачные луга,
Ослабла в брани их рука,
И, пораженные слугами,
Они их сделали рабами.

<1824>

ШЕБУТУЙ

(Водопад Станового хребта)

Стенай, шуми, поток пустынной,
Неизмеримый Шебутуй,
Сверкай от высоты стремнинной
И кудри пенные волнуй!

Туманы, тучи и метели
На лоне тающих громад,
В гранитной зыбля колыбели,
Тебя перунами поят.

Но, пробужденный, ты, затворы
Льняных пелен преодолев,
Играя, скачешь с гор на горы,
Как на ловитве юный лев.

Как летопад из вечной урны,
Как неба звездомлечный путь,
Ты низвергаешь волны бурны
На халцедоновую грудь;

И над тобой краса природы,
Блестя как райской птицы хвост,
Склоняет радужные своды,
Полувоздушных перлов мост.

Орел на громовой дороге
Купает в радуге крыле,
И серна, преклоняя роги,
Глядится в зеркальной скале.

А ты, клубя волною шибкой,
Потока юности быстрей,
То блещешь солнечной улыбкой,
То меркнешь грустию теней.

Катись под роковою силой,
Неукротимый Шебутуй!
Твое роптанье — голос милой;
Твой ливень — братний поцелуй!

Когда громам твоим внимаю
И в кудри льется брызгов пыль, —
Невольно я припоминаю
Свою таинственную быль...

Тебе подобно, гордый, шумной,
От высоты родимых скал,
Влекомый страстию безумной,
Я в бездну гибели упал!

Зачем же моего паденья,
Как твоего паденья дым,
Дуга небесного прощенья
Не озарит лучом своим!

О жребий! если в этой жизни
Не знать мне радости венца, —
Хоть поздней памятью обрызни
Могилу тихую певца.

Май, 1829

ЧАСЫ

И дум и дел земных цари,
Часы, ваш лик сияет страшен,
В короне пламенной зари,
На высоте могучих башен,
И взор блюстительный в меди́
Горит, неотразимо верный,
И сердце времени в бесчувственной груди
Чуть зыблется приливом силы мерной.
Оживлены чугунною стрелой
На вас таинственные роки,
И оглашает вещий бой
Земле небесные уроки.
Но блеск, но голос ваш для ветреных племен
Звучит и озаряет даром
Подобно молнии неведомых письмен,
Начертанных пред Валтасаром.
«Летучее мгновение лови, —
Поет любимцу голос лести, —
В нем золото и ароматы чести,
Последний пир, свидания любви
И наслажденья тайной мести».
И в думе нет, что упований прах
Дыханье времени уносит,
Что каждый маятника взмах
Цветы неверной жизни косит.
Заботно времени шаги считает он
И бой к веселию призывный;
Еще не смолк металла звон,
А где же ты, мечты поклонник дивный?

Окован ли безбрежный океан
Венцом валов — минутной пеной?
Детям ли дней дался победный сан
Над волей века неизменной?
Безумен клик: «хочу — могу».
Вознес Наполеон строптивую десницу,
Сдержать мечтая на бегу
Стремимую веками колесницу...
Она промчалась! Где ж твой меч,
Где прах твой, полубог гордыни?
Твоя молва — оркан пустыни,
Твой след — поля напрасных сеч.
Возникли светлые народов поколенья
И внемлют о тебе сомнительную речь
С улыбкой хладного презренья.

1829

К ОБЛАКУ

Куда столь быстро, и легко,
И гордо, и прелестно
Ты пролетаешь, облачко,
Скиталец поднебесный?

Земли бездомное дитя,
Игралище погоды,
Напрасно, радугой блестя,
Ты, радостью природы!

Завоет вихрь, взметая прах, —
И ты из лона звездна
Дождем растаешь на степях
Бесславно, бесполезно!..

Блести, лети на ветерке,
Подобно нашей доле, —
И я погибну вдалеке
От родины и воли!

1829. Якутск

СТАТЬИ

ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ

Гений красноречия и поэзии, гражданин всех стран, ровесник всех возрастов народов, не был чужд и предкам нашим. Чувства и страсти свойственны каждому; но страсть к славе в народе воинственном необходимо требует одушевляющих песней, и славяне, на берегах Дуная, Днепра и Волхова, оглашали дебри гимнами победными. До XII века, однако же, мы не находим письменных памятников русской поэзии: все прочее сокрывается в тумане преданий и гаданий. Бытописания нашего языка еще невнятнее народных: вероятно, что варяго-россы (норманны), пришлецы скандинавские, слили воедино с родом славянским язык и племена свои, и от сего-то смешения произошел язык собственно русский; но когда и каким образом отделился он от своего родоначальника, никто определить не может. С Библиею (в X веке), написанною на болгаро-сербском наречии, славянизм наследовал от греков красоты, прихоти, обороты, словосложность и словосочинение эллинские. Переводчики священных книг и последующие летописцы, люди духовного звания, желая возвыситься слогом, писали или думали писать языком церковным — и оттого испестрили славянский отечественными и местными выражениями и формами, вовсе ему не свойственными. Между тем язык русский

обживался в обществе и постепенно терял свою первобытную дикость, хотя редко был письменным и никогда книжным. Владычество татар впечатлело в нем едва заметные следы, но духовные писатели XVI и XVII столетий, воспитанные в пределах Польши, немало исказили русское слово испорченными славено-польскими выражениями. От времен Петра Великого, с учеными терминами, вкралась к нам страсть к германизму и латинизму. Век галлицизмов настал в царствование Елисаветы, и теперь только начинает язык наш отрясать с себя пыль древности и гремушки чуждых ему наречий. Нынешнее состояние оного увидим мы впоследствии; теперь мысленно пробежим политические препоны, замедлявшие ход просвещения и успехи словесности в России.

Новообращенные россияне, истребляя все носившее на себе отпечаток язычества, нанесли первый удар древней словесности. Скоро минул для поэзии красный век Владимиров, и на его могиле возникли междоусобия: Русь не могла отдохнуть под кроткою властию Ярославов и Мономахов, ибо удельные князья непрестанно ковали крамолы друг на друга, накликали половцев, угров, черных клобуков и воевали с ними против братий своих. Разоренное отечество вековало на бранях противу домашних врагов или на страже от набегов соседних; наконец гроза разразилась над ним и гордый Могол на пепелище русской свободы разбил странственную свою палатку.

Все, что может истребить огонь, меч и невежество, гибло. Как враны, воцарилось племя Батыево над пустынями и кладбищами. Варварство заградило страхом свет с запада и востока. В монастырях только и в вольном Новегороде тлелись искры просвещения; зато лишь нищета и невежество ручались за безопасность прочих. Мало-помалу оправлялась Россия от бед, опершись на меч Невского и Донского; оживала в княжения Калиты и Василия (Димитриевича); но иноземное просвещение упало вместе с Новгородом и его торговлею. Иоанн Грозный призвал на Русь науки и искусства; мудрый и несчастный Годунов ревностно им покровительствовал; но ужасы междуцарствия, злодеяния самозванцев, вероломство Польши и расхищения от шведов задушили семена, посеянные его рукою. Алексей образовал искусство ратное и политическими сношениями несколько

приготовил россиян к важной перемене; но до благотворного царствования Петра науки были только делом, а не системою.

Итак, подивимся ли, что хладный климат России произвел немногие цветы словесности! Пожары, войны и время истребили остальное. Небрежение русских о всем отечественном немало тому способствовало.

В летописях, до нас дошедших, первое место занимает Несторова. Они писаны хронически, слогом простым, не кудрявым, но более или менее ознаменованным славянизмом. В летописях Псковской и Новогородской встречаются места трогательные, исполненные рассуждений справедливых, а не одни случаи. В Несторовой видны искренность и здравомыслие. «Русская правда» — слепок с судебных законов скандинавских — и еще немногие грамоты и завещания княжеские писаны языком грубым, но кратким и сильным. Народные песни изменены преданием и едва ли древнее трехсот лет. Русский поет за трудом и на досуге, в печали и в радости, и многие песни его отличаются свежестию чувств, сердечною теплотою, нежностью оборотов; но беды отечества и туманное его небо проливают на них какое-то уныние, и вообще в них редко встречаются пылкие страсти и обилие мыслей. Возвышенные песнопения старины русской исчезли, как звук разбитой лиры; одно имя соловья Бояна отгрянуло в потомстве, но его творения канули в бездну веков, и от всей поэзии древней сохранилась для нас только одна поэма о походе Игоря, князя Северского, на половцев. Там находим мы незаимствованные красоты, иную природу, отменный круг действия. Безыменный певец вдохнул русскую боевую душу в язык юный, но и самою странностию привлекательный; он украсил его цветами мечты, вымыслом народной мифологии, разительными сравнениями и чувствами глубокими. Непреклонный, славолюбивый дух народа дышит в каждой строке. Драгоценная поэма сия, принадлежащая к XII веку, писана мерною прозою и языком, вероятно, южнорусским. Кажется, время сохранило ее, чтобы сильнее дать чувствовать потерю остального! В песне о битве Донской (XV века) нет того огня, той силы в очертании лиц, той самородной прелести, которые отличают песнь о походе Игоря. Впрочем, рассказ оной плавен и затейлив, и ее должно читать наравне со всеми древностями нашего

слова, дабы в них найти черты русского народа и тем дать настоящую физиогномию языку.

Одним шагом переступаем расстояние пяти столетий: новая эпоха в красноречии настаёт от *Феофана,* в стихотворстве — от *Кантемира.* Первый (род. 1681, ум. 1736 г.), одаренный умом обширным, утонченным, двигал политические пружины государства сердцами слушателей и читателей. Красноречие его убедительно; он говорит чувствам и от чувства; но язык Феофана неправилен, изломан, испещрен польским и славянским. Остроумный *Кантемир* (род. 1708, ум. 1744 г.), хотя неуспешно ввел французский вялый силлабический размер, хотя писал слогом неровным, жестким, хотя дружил нас с европейскими мыслями на языке народном, еще не обработанном, — но как философ, как верный живописец нравов и обычаев века будет жить славою в дальнем потомстве!

Подобно северному сиянию с берегов Ледовитого моря, гений *Ломоносова* (род. 1711, ум. 1765 г.) озарил полночь. Он пробился сквозь препоны обстоятельств, учился и научал, собирал, отыскивал в прахе старины материалы для русского слова, созидал, творил — и целым веком двинул вперед словесность нашу. Русский язык обязан ему правилами, стихотворство и красноречие — формами, тот и другие — образцами. Дряхлевший слог наш оюнел под пером Ломоносова. Правда, он занял у своих учителей, немцев, какое-то единообразие в расположении и обилие в рассказе; но величие мыслей и роскошь картин искупают сии малые пятна в таланте поэта, создавшего язык лирический.

В то время как юный Ломоносов парил лебедем, бездарный *Тредьяковский* (род. 1703, ум. 1769 г.) пресмыкался, как муравей, разгадывал механизм, приличный русскому стопосложению, и оставил в себе пример трудолюбия и безвкусия. Смехотворными стихами своими, в отрицательном смысле, он преподавал важный урок последующим писателям. *Сумароков,* современник и соперник Ломоносова, был отцом нашего театра. Он писал во всех родах; но теперь прежние венки его вянут и облетают: неумолимое потомство отказывает ему в славе образцового писателя. В русских трагедиях подражание французским, совершенное отсутствие местности, бесхарактерность лиц, холодность страстей и сложность плана суть всегдашние его пороки. Простота его басен, идиллий

надута, веселость комедий принужденна, и вообще редкие черты чувств и красоты воображения скрыты в тяжком, терновом слоге (род. 1718, ум. 1777 г.). *Поповский*, первый после Ломоносова, писал чистою прозою. Перевод «Опыта о человеке» Попа заслуживает внимания. (Род. 1730, ум. 1760 г.)

Медленною стопою двигалась вперед словесность: учреждение семинарий, Московского университета (1755), кадетских корпусов (1732, 1762), призвание иноземных ученых разливали просвещение; но им занят был один только ум: воображение еще дремало. Писатели, даже самые посредственные, были редки. Критика и соперничество не очищали языка, не придавали ему блеску и живости. С Петра III слог деловой стал очищаться от латинской примеси. Наконец настало золотое время для словесности и ученых. Великая Екатерина II словом и делом ободряла просвещение: размножила училища, основала Академию российскую (1783) и тем же пером, коим решала судьбы государств, писала русские стихи, собственным примером вливая жар соревнования в подданных. Заслуги Екатерины для просвещения отечества неисчислимы. Все лучшие наши писатели возникли или образовались под ее владычеством. Лирик *Петров* исполнен ярких мыслей, пламенных, смелых оборотов, быстро набросанных картин; но у него поэзия мыслей, а не стихов. Язык его разрывчат, шероховат и не всегда справедлив. (Род. 1736, ум. 1799 г.) *Херасков*, стихотворец эпический, по своему времени писал плавными стихами, хоть кудряво и пространно. Многие отрывки из поэм «Владимира» и «Россияды» картинны, великолепны, изобилуют местностями, из «Искателей счастия» обрисованы с приятным разнообразием. Никто из русских писателей не произвел более Хераскова во всех родах. Жаль только, что ему недоставало краткости и оригинальности. (Род. 1733, ум. 1807 г.) *Богданович*, поэт милый и добродушный, первый написал у нас стихотворную сказку, слогом легким, сердечным, замысловатым. Рассказ в его «Душеньке» прелестен и достоин предмета столь нежного; изображения живы, природны. Он разнообразен, подобно Протею; но в некоторых местах его стихосложенье падает в прозаизм. (Род. 1743, ум. 1802 г.) Басни *Хемницера* не писаны, а рассказаны с непритворным добродушием, и сия-то гениальная небрежность составляет прелесть, которой

нельзя подражать и которой не должно в нем исправлять. (Р. 1744, у. 1784 г.) *Фон-Визин* в комедиях своих «Бригадире» и «Недоросле» в высочайшей степени умел схватить черты народности и, подобно Сервантесу, привесть в игру мелкие страсти деревенского дворянства. Его критические творения будут драгоценными для потомства, как *съемок* (facsimile) нравов того времени. (Р. 1745, у. 1792 г.) *В. Капнист* известен колкою сатирою, комедиею «Ябеда». Оды его дышат благородством мыслей. Легкие стихотворения достойны древней антологии. Проза *Кострова* в переводе Оссиана и доныне может служить образцом благозвучия, возвышенности. Его стихи оригинальны. Перевод осьми песней «Илиады» не всегда равно выдержан, но силен, важен и цветист. (Р. ..., у. 1796 г.) Трагик *Княжнин* известен на драматическом поприще «Дидоною» и «Вадимом»; из комедий его имеют большое достоинство «Хвастун» и «Чудаки», из водевилей «Сбитенщик»; прочие же театральные произведения суть рабские слепки с французских пьес. В Княжнине видно чувство. Язык его не совсем верен, но легок. (Р. 1742, у. 1791 г.) Наконец, к славе народа и века, явился *Державин,* поэт вдохновенный, неподражаемый, и отважно ринулся на высоты, ни прежде, ни после него недосягаемые. Лирик-философ, он нашел искусство с улыбкою говорить царям истину, открыл тайну возвышать души, пленять сердца и увлекать их то порывами чувств, то смелостью выражений, то великолепием описаний. Его слог неуловим, как молния, роскошен, как природа. Но часто восторг его упреждал в полете правила языка и с красотами вырывались ошибки. На закате жизни Державин написал несколько пьес слабых, но и в тех мелькают искры гения, и современники и потомки с изумлением взирают на огромный талант русского Пиндара, певца водопада, Фелицы и бога. Так драгоценный алмаз долго еще горит во тьме, будучи напоен лучом солнечным; так курится под снежною корой трехклиматный Везувий после извержения, и путник в густом дыме его видит предтечу новой бури! (Р. 1743, у. 1816 г.) Рядом с ним, в роде легкой поэзии, возник *Дмитриев* и обратил на себя внимание всех. Игривым слогом, остротою ума и чистотою отделки он снискал себе имя образцового поэта и заохотил русских к отечественному стихотворству. Милая разборчивая муза его, изъясняясь языком лучших

обществ, нашла друзей даже в кругу светских женщин и своим влиянием на все сословия принесла важную пользу словесности. Летучий рассказ его повестей пленителен, утонченность насмешки в сатирах примерна; равно как поэт и баснописец Дмитриев украсился венком Лафонтена и первый у нас создал легкий разговор басенный. Оригинальный переводчик с французского, он передал нашему плавкому языку всю заманчивость, всю игру, все виды первого. (Р. 1760 г.) Между тем как Державин изумлял своими одами, как Дмитриев привлекал живым чувством в песнях, картинностию в оригинальных произведениях — блеснул *Карамзин* на горизонте прозы, подобно радуге после потопа. Он преобразовал книжный язык русский, звучный, богатый, сильный в сущности, но уже отягчалый в руках бесталантных писателей и невежд-переводчиков. Он двинул счастливою новизною ржавые колеса его механизма, отбросил чуждую пестроту в словах, в словосочинении и дал ему народное лицо. Время рассудит Карамзина как историка; но долг правды и благодарности современников венчает сего красноречивого писателя, который своим прелестным, цветущим слогом сделал решительный переворот в русском языке на лучшее. Легкие стихотворения Карамзина ознаменованы чувством: они извлекают невольный вздох из сердца девственного и слезу из тех, которые все испытали. (Р. 1765 г.) В шутовском роде (burlesque) известны у нас *Майков* и *Осипов*. Первый (р. 1725, ум. 1778 г.) оскорбил образованный вкус своею поэмою «Елисей». Второй, в «Энеиде» наизнанку, довольно забавен и оригинален. Ее же на малороссийское наречие с большею удачею переложил *Котляревский. Нелединский-Мелецкий* познакомил нежными своими песнями прекрасных наших соотечественниц с родным языком, который так нежно ласкает слух и так сладостно проникает в сердце (Р. 1751 г.) Ему удачно последовал *граф Салтыков. Бобров* изобилен сильными мыслями и резкими изображениями. В «Херсониде» встречаются оригинальные красоты, но слог его нередко напыщен и падение стоп тяжело. (Ум. 1810 г.) *Князь Долгорукий* отличен свободным рассказом и непринужденною веселостию. Несмотря на частые стихотворные вольности, его «Авось», «Камин», «К соседу» и «Завещание» всегда будут читаемы за русское их выражение. (Р. 1764 г.) *Граф Хвостов*, трудолюбивый стихотворец наш,

писал в различных родах, и в нем нередко встречаются новые мысли. Одами своими заслужил он недвусмысленную славу, и публика уже оценила все пиитические его произведения. (Р. 1757 г.) *Муравьев* (Р. 1757, ум. 1807 г.) писал мужественною, чистою, *Подшивалов* (Р. 1765, ум. 1813 г.) безыскусственною прозою. Слог обоих имеет тем большее достоинство, что они, писав в одно время с Карамзиным, соучаствовали в преобразовании слога. *Макаров* острыми критиками своими оказал значительную услугу словесности. (Р. 1765, ум. 1804 г.) *Востоков* первый показал опыт над гибкостию русского языка для всех стихотворных размеров. Унылая поэзия его дышит философиею и глубоким чувством. (Р. 1781 г.) *Марин* славен острыми сатирами и забавными пародиями. (Ум. 1813 г.) *Князь Горчаков* превзошел его колкостию, правдою и народностью своих сатир; к сожалению, их не много. (Р. 1762 г.) *Пнин* с дарованием соединял высокие чувства поэта. Слог его особенно чист. (Р. 1773, ум. 1805 г.) *М. Кайсаров* сделал себе имя переводом Стерна. *Мартынов* (Р. 1771 г.) переводил Дюпати, Руссо и некоторых греческих классиков — труд немаловажный с нашим упрямым языком для прозы общежительной. *Князь Шаликов* писал нежною прозою. Он обилен мелкими стихотворными сочинениями. Его муза игрива, но нарумянена. *Панкратий Сумароков* отличен развязною шутливостью в стихах своих, не всегда гладких, но всегда замысловатых. «Слепой Эрот» доказывает, что сибирские морозы не охладили забавного его воображения. Баснописец *Александр Измайлов* рисует природу, как Теньер. Рассказ его плавен, естествен; подробности оного заставляют смеяться самому действию. Он избрал для предмета сказок низший класс общества и со временем будет иметь в своем роде большую цену, как верный историк сего класса народа. (Р. 1779 г.) *Беницкий* написал только три сказки, зато образцовою прозою. Из них «На другой день, или Завтра» будет на всех языках оригинальною, ибо кипит мыслями. Смерть рано похитила его у русской словесности! (Р. 1780, ум. 1809 г.) *Шишков* — писатель прозаический. Начатки его ознаменованы легкостью слога. Безделки, написанные им для детей, могут служить образцами в сем роде. Впоследствии, когда слезливые полурусские Иеремиады наводнили нашу словесность, он сильно и справедливо восстал противу сей новизны в полемической книге «О старом и

новом слоге». Теперь он тщательно занимается родословною русских наречий и речений и доводами о превосходстве языка славянского над нынешним русским. (Р. 1754 г.) Стихи *Шатрова* полны резких мыслей и чувств, но слог псалмов его устарел. *Князь Шихматов* имеет созерцательный дух и плавность в элегических стихотворениях. Впрочем, его поэзия сумрачна. *Судовщиков* с большою легкостью и правдою обрисовал свою комедию в стихах «Неслыханное диво, или Честный секретарь». *Ефимьев* довольно удачно изобразил в стихотворной же комедии преступника от игры. (Ум. 1804 г.) *Аблесимов* известен своим старинным национальным водевилем «Мельник». (Ум. 1784 г.) *Крюковский* написал трагедию «Пожарский», в которой более патриотизма, нежели истины. В ней, однако же, есть возвышенные места в отношении к чувствам и характерам. (Р. 1781, ум. 1811 г.) Наконец на поприще трагическом *Озеров* далеко оставил за собою своих предшественников. Им обладали чувства глубокие и воображение пламенное — творцы великих людей или могущих поэтов. Из пяти трагедий, им написанных, «Эдип» берет безусловное первенство над прочими истинною выразительностию характеров и благородством разговора. «Фингал» одушевлен оссиановскою поэзиею; «Донской» изобилует счастливыми стихами, игрою страстей, народностию и картинами; но характер героя пьесы унижен. Прозаизмы редки в Озерове, и александрийские его стихи звучны и важны. (Р. 1770, ум. 1816 г.)

Теперь приступаю к характеристике особ, прославившихся или появившихся в течение последнего пятнадцатилетия. В ней найдут мои читатели и поэтов, составляющих созвездие Северной Лиры, и писателей, кои, сверкнув, исчезали подобно кометам, даже и тех, которых имена мелькают воздушными огнями в эфемерных журналах. Тесные рамы сего обзора не позволяют мне упомянуть о писателях, занимающихся предметами учеными и потому не прямо действующих на словесность.

И. Крылов возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство. Невозможно дать большего простодушия рассказу, большей народности языку, большей осязаемости нравоучению. В каждом его стихе виден русский здравый ум. Он похож природою описаний на

Лафонтена, но имеет свой особый характер: его каждая басня — сатира, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия. Читая стихи его, не замечаешь даже, что они стопованы, — и это-то есть верх искусства. Жаль, что Крылов подарил театр только тремя комедиями. По своему знанию языка и нравов русских, по неистощимой своей веселости и остроумию он мог бы дать ей черты народные. (Р. 1768 г.) С *Жуковского* и *Батюшкова* начинается новая школа нашей поэзии. Оба они постигли тайну величественного, гармонического языка русского; оба покинули старинное право ломать смысл, рубить слова для меры и низать полубогатые рифмы. Кто не увлекался мечтательною поэзиею *Жуковского,* чарующего столь сладостными звуками? Есть время в жизни, в которое избыток неизъяснимых чувств волнует грудь нашу; душа жаждет излиться и не находит вещественных знаков для выражения: в стихах Жуковского, будто сквозь сон, мы, как знакомцев, встречаем олицетворенными свои призраки, воскресшим былое. Намагниченное железо клонится к безвестному полюсу, его воображение — к таинственному идеалу чего-то прекрасного, но неосязаемого, и сия отвлеченность проливает на все его произведения особенную привлекательность. Душа читателя потрясается чувством унылым, но невыразимо приятным. Так долетают до сердца неясные звуки эоловой арфы, колеблемой вздохами ветра. Многие переводы Жуковского лучше своих подлинников, ибо в них благозвучие и гибкость языка украшают верность выражения. Никто лучше его не мог облечь в одежду светлого, чистого языка разноплеменных писателей; он передает все черты их со всею свежестию красок портрета, не только с бесцветной точностью силуэтною. Он изобилен, разнообразен, неподражаем в описаниях. У него природа видна не в картине, а в зеркале. Можно заметить только, что он дал многим из своих творений германский колорит, сходящий иногда в мистику, и вообще наклонность к чудесному; но что значат сии бездельные недостатки во вдохновенном певце 1812 года, который дышит огнем боев, в певце Луны, Людмилы и прелестной, как радость, Светланы? Переводная проза Жуковского примерна. Оригинальная повесть его «Марьина роща» стоит наряду с «Марфою Посадницею» Карамзина. (Р. 1783 г.) Поэзия *Батюшкова* подобна резвому водомету, который то ниспадает мерно, то

плещется с ветерком. Как в брызгах оного преломляются лучи солнца, так сверкают в ней мысли новые, разнообразные. Соперник Анакреона и Парни, он славит наслаждения жизни. Томная нега и страстное упоение любви попеременно одушевляют его и, как электричество, сообщаются душе читателя. Неодолимое волшебство гармонии, игривость слога и выбор счастливых выражений довершают его победу. Сами грации натирали краски, эстетический вкус водил пером его; одним словом, Батюшков остался бы образцовым поэтом без укора, если б даже написал одного «Умирающего Тасса». (Р. 1787 г.) *Александр Пушкин* вместе с двумя предыдущими составляет наш поэтический триумвират. Еще в младенчестве он изумил мужеством своего слога, и в первой юности дался ему клад русского языка, открылись чары поэзии. Новый Прометей, он похитил небесный огонь и, обладая оным, своенравно играет сердцами. Каждая пьеса его ознаменована оригинальностию; после чтения каждой остается что-нибудь в памяти или в чувстве. Мысли Пушкина остры, смелы, огнисты; язык светел и правилен. Не говорю уже о благозвучии стихов — это музыка; не упоминаю о плавности их — по русскому выражению, они катятся по бархату жемчугом! Две поэмы сего юного поэта «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник» исполнены чудесных, девственных красот; особенно последняя, писанная в виду седовласого Кавказа и на могиле Овидиевой, блистает роскошью воображения и всею жизнию местных красот природы. Неровность некоторых характеров и погрешности в плане суть его недостатки, общие всем пылким поэтам, увлекаемым порывами воображения. (Р. 1799 г.) Остроумный *князь Вяземский* щедро сыплет сравнения и насмешки. Почти каждый стих его может служить пословицею, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагороживает народные слова и любит блистать неожиданностью выражений. Имея взгляд беглый и соображательный, он верно ценит произведения разума, научает шутками и одевает свои суждения приманчивою светскостию и блестками ума просвещенного. Многие из мелких его сочинений сверкают чувством, все скреплены печатью таланта, несмотря на неровное инде падение звуков и длину периодов в прозе. Его упрекают в расточительности острот, не оставляющих даже теней в картине, но это происходит не

от желания блистать умом, но от избытка оного. (Р. 1792 г.) В *Гнедиче* виден дух творческий и душа воспламеняемая, доступная всему высокому. Напитанный древними классиками, он сообщил слогу своему ненапыщенную важность. Поэма его «Рождение Гомера» цветет красотами неба Эллады. В его элегиях отзывается чувство необыкновенно глубокое, и самый язык в оных отработан с бо́льшею тщательностию. Ему обязаны мы счастливым появлением народной идиллии. Он усыновляет греческий гекзаметр русскому вселичному языку, и Гомер является у нас в собственной одежде, а не в путах тесного, утомительного александрийского размера. (Р. 1784 г.) В сочинениях *Ф. Глинки* отсвечивается ясная его душа. Стихи сего поэта благоухают нравственностию; что-то невещественно-прекрасное чудится сквозь полупрозрачный покров его поэзии и, сливаясь с собственною нашею мечтою, невольно к себе привлекает. Он владеет языком чувств, как Вяземский — языком мыслей. Проза его проста, благозвучна и округлена, хотя несколько плодовита. «Письма русского офицера» написаны пером патриота-воина. Стихотворения Глинки видимо усовершаются в отношении к механизму и обдуманности. В заключение скажем, что он принадлежит к числу писателей, которых биография служила бы лучшим предисловием и комментарием для их творений. (Р. 1787 г.) Амазонская муза *Давыдова* говорит откровенным наречием воинов, любит беседы вокруг пламени бивуака и с улыбкою рыщет по полю смерти. Слог партизана-поэта быстр, картинен, внезапен. Пламень любви рыцарской и прямодушная веселость попеременно оживляют оный. Иногда он бывает нерадив к отделке; но время ли наезднику заниматься убором? В нежном роде — «Договор с невестою» и несколько элегий; в гусарском — залетные послания и застольные песни его останутся навсегда образцами. (Р. 1784 г.) *Баратынский,* по гармонии стихов и меткому употреблению языка, может стать наряду с Пушкиным. Он нравится новостью оборотов; его мысли не величественны, но очень милы. «Пиры» Баратынского игривы и забавны. Во многих безделках виден развивающийся дар; некоторые из них похищены, кажется, из Альбома Граций. *Милонов* — поэт сильный в сатирах и чувствительный в элегиях. В его стихах слышится голос тоски неизлечимой. Слог Милонова неуклончив, сжат и решителен;

но стихосложение иногда отрывисто. (Р. 1792, ум. 1821 г.) *Воейков* прелестен в своих сатирических посланиях, нередко живописен в «Садах» Делиля, силен в некоторых эпизодах поэмы «Искусства и науки». Впрочем, он поэт, вдохновенный умом, а не воображением. Язык его не довольно высок для предмета, и течение стихов временем бывает затруднено длинными речениями. (Р. 1783 г.) *Рылеев,* сочинитель дум или гимнов исторических, пробил новую тропу в русском стихотворстве, избрав целию возбуждать доблести сограждан подвигами предков. Долг скромности заставляет меня умолчать о достоинстве его произведений. (Р. 1795 г.) Притчи *Остолопова* оригинальны резкостию и правдою нравоучений; сатиры его едки и портретны. Он оказал большую услугу словесности изданием Словаря поэзии. (Р. 1782 г.) *Родзянка* — беспечный певец красоты и забавы: он пишет не много, но легко и приятно. *Мерзляков* подарил публику занимательными разборами и характеристикою наших лучших писателей. В оных, без сухости, без педантства, показав твердое знание языка, умел он оттенить каждого с верностью и разновидностию. Песни Мерзлякова дышат чувством: переводы «Науки о стихотворстве», Вергилиевых «Эклог» и еще некоторые — примерны. Но должно признаться, что его стихосложение небрежно и утонченный вкус не всегда водил пером автора. (Р. 1778 г.) *В. Пушкин* отличен вежливым, тонким вкусом, рассказом природным и плавностию, которые украшают мелкие его произведения. (Р. 1770 г.) *Плетнев* удачно пошел по следам Мерзлякова в характеристике поэтов. В мечтательной поэзии он подражатель Жуковского. Знание родного языка и особенная гладкость стихов составляют отличительные его достоинства; неопределенность цели и бледность колорита — недостатки. Его стихотворения можно уподобить гармонике. В частности, у Плетнева встречаются пьесы — игрушки стихотворства, украшенные всеми цветами фантазии. В романтическом роде лучшее его произведение — элегия «Миних». *Дельвиг* — одарен талантом вымысла; но, пристрастясь к германскому эмпиризму и древним формам, нередко вдается в отвлеченность. В безделках его видна ненарумяненная природа. Идиллии *Панаева* довольно естественны, очень миловидны; но они прививной плод в России. Рассказ его нежен, плавен, но язык не всегда правилен. (Р. 1792 г.) *Александр Крылов*

имеет редкое достоинство переливать иноземные красоты в русские, не изменяя мыслям подлинника. Муза его подражательная, но стихи очаровывают своею звучностию. Полуразвернувшиеся розы стихотворений *Михайла Дмитриева* обещают в нем образованного поэта, с душою ограненною. Переводы *Раича* Вергилиевых «Георгик» достойны венка хвалы за близость к оригиналу и за верный звонкий язык. *Олин* удачно перевел некоторые горацианские оды. В его элегиях есть истина и новые мысли. *Филимонов* вложил много ума и чувствительности в свои произведения: он успешно переводил Горация. *Межаков* в безделках своих разбросал цветки светской философии с стихотворною легкостию. *Козлов*, поэт-слепец, пишет мало и трогательно. *Иванчин-Писарев* обилен картинами и словами. Сверх означенных здесь, можно с похвалою упомянуть об *Александре Писареве, Маздорфе, Норове* и *Нечаеве*. В стихотворениях *Анны Буниной* и *Анны Волковой* — двух женщин-поэтов — рассеяно много чувствительности и меланхолии, но механизм оных недовольно легок. Однако же «Падение фаэтона» первой из них разнообразно красотами вымысла. Еще некоторые из соотечественниц наших бросали иногда блестки поэзии в разных журналах, и хотя пол авторов можно было угадать без подписи их имен, но мы должны быть признательны за подобное снисхождение, мы должны радоваться, что наши красавицы занимаются языком русским, который в их устах получает новую жизнь, новую прелесть. Они одни умеют избрать средину между школьным и слишком обыкновенным тоном, смягчить и одушевить каждое выражение. Тогда появится у нас слог разговорный, слог благородной комедии, чего до сих пор не было на сцене, ибо он не слышен в гостиных. Для трагедии ни один из живых европейских языков не может быть склоннее русского: отсутствие членов и умолчание глаголов вспомогательных творят его плавным, разнообразным и вместе сжатым. Высокость речений славянских, важность и богатство звуков придают ему все мужество, необходимое для изображения страстей нежных или суровых. Со всем тем у нас не существует народной трагедии и, кроме *Озерова*, не было трагиков; но и тот, покорствуя временности, заковал своего гения в академические формы и в рифмованные стихи. *Князь Шаховской* заслуживает благодарность публики, ибо один поддерживает

клонящуюся к разрушению сцену то переводными, то передельными драмами и водевилями. Он сочинил трагедию «Дебору», переложил «Абуфара», но настоящее дело его есть комедия. В ней видны легкость и острота, но мало оригинального. Поспешность, с которою пишет он для сцены, опереживает отделку стихов и правила языка. Из фарсов лучшие суть «Два соседа» и «Полубарские затеи», ибо в них схвачены черты народные; из комедий благородных — «Своя семья» и «Какаду». Разговорный язык его развязен, текущ, но не довольно высок для хорошего общества, и нередко поблеклая мишура заемных острот портит слог его. *Кокошкин* прелестно и верно перевел «Мизантропа»; *Грибоедов* весьма удачно переделал с французского комедию «Молодые супруги» («Le secret de ménage»); стихи его живы; хороший их тон ручается за вкус его, и вообще в нем видно большое дарование для театра. *Лобанов* передал Расинову «Ифигению» с неотступною верностию и чувством оригинала. Он скоро подарит публику «Федрою». Любители театра желают для обогащения оного иноземными классическими произведениями, чтобы у нас было более подобных ему переводчиков. Тщательная его отделка — заметим мимоходом — иногда замедляет порывы страстей пылких. *Висковатов* написал трагедию «Ксения и Темир», которой ход довольно правдоподобен, ибо основан на вымысле. Страсти высказаны стихами звучными, но они многоречивы, и действие связно. «Гамлет» явился на русской сцене его старанием. В комедиях *Загоскина* разговор естествен, некоторые лица и многие мысли оригинальны, но планы их не новы. *Хмельницкому* обязаны мы самыми беглыми стихами в роде комическом. Как нельзя лучше перевел он «Говоруна» Буасси; переделал «Воздушные замки» Колен д'Арлевиля и передал нам несколько водевилей. В нем мало своего; зато в подражании нет надутости. *Жандр*, с товарищами, перевел с французского несколько трагедий и одну комедию, отчего многоручные переводы сии получили пестроту в слоге; трагические стихи его гладки, нередко сильны и часто заржавлены старинными выражениями. *Катенин*, переводчик «Сида», «Эсфири», Грессетовой комедии «Le méchant» [1] и двух четвертых действий в трагедиях «Гораций» и «Медея»; сочинитель баллад,

---

[1] «Злой» *(фр.)*.

критик и антикритик, и лирических стихов. *Борис Федоров* писал много для сцены, но мало по вкусу публики. Однако ж в отрывках его «Юлия Цезаря» виден дар к трагедии. Имена прочих авторов и переводчиков пьес случайных известны только по бенефисным афишам и, вероятно, не переживут их в потомстве!

Оставив за собою бесплодное поле русского театра, бросим взор на степь русской прозы. Назвав Жуковского и Батюшкова, которые писали столь же мало, сколь прелестно, невольно останавливаешься, дивясь безлюдью сей стороны, — что доказывает младенчество просвещения. Гремушка занимает детей прежде циркуля: стихи, как лесть слуху, сносны даже самые посредственные; но слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума, разнообразия в падении, в округлении периодов, и не терпит повторений. От сего-то у нас такое множество стихотворцев (не говорю — поэтов) и почти вовсе нет прозаиков, и как первых можно укорить бледностию мыслей, так последних погрешностями противу языка. К сему присоединилась еще односторонность, происшедшая от употребления одного французского и переводов с сего языка. Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото оного на блестящие заморские безделки. Обратимся к прозаикам. Резким пером *Каченовского* владеет язык чистый и важный. Редко кто знает правила оного основательнее сего писателя. Исторические и критические статьи его дельны, умны и замысловаты. Слог переводов *Вл. Измайлова* цветист и правилен, подобно переводному слогу Каченовского. Оба они утвердили своими игривыми переводами знакомство публики нашей с иноземными писателями. *Броневский,* автор записок морского офицера, изобразил, будто в панораме, берега Средиземного моря. Он привлекает внимание разнообразием предметов, слогом цветущим, быстротою рассказа о водных и земных сражениях и пылкостью, с которою передает нам геройские подвиги неприятелей, друзей и сынов России. Он счастливо избег недостатка многого множества путешественников, утомляющих подробностями. Он занимателен всем и нигде не скучен; жаль только, что язык его неправилен. *Греч* соединяет в себе остроту и тонкость разума с отличным знанием языка. На пламени его критической лампы не один лите-

ратурный трутень опалил свои крылья. Русское слово обязано ему новыми грамматическими началами, которые скрывались доселе в хаосе прежних грамматик, и он первый проложил дорогу будущим историкам отечественной словесности, издав опыт истории оной. Греч не много писал собственно для литературы, но в письмах его путешествия по Франции и Германии заметны наблюдательный взор и едкость сатирическая, но в рассказе пробивается нетерпенье. *Булгарин,* литератор польский, пишет на языке нашем с особенною занимательностию. Он глядит на предметы с совершенно новой стороны, излагает мысли свои с какою-то военною искренностию и правдою, без пестроты, без игры слов. Обладая вкусом разборчивым и оригинальным, который не увлекается даже пылкою молодостью чувств, поражая незаимствованными формами слога, он, конечно, станет в ряд светских наших писателей. Его «Записки об Испании» и другие журнальные статьи будут всегда с удовольствием читаться не только русскими, но и всеми европейцами. *Головнин* описал свое пребывание в плену японском так искренно, так естественно, что ему нельзя не верить. Прямой, неровный слог его — отличительная черта мореходцев — имеет большое достоинство и в своем кругу занимает первое место, после слога *Пл. Гамалеи,* который самые сухие науки оживляет своим красноречием. *Свиньин,* сочинитель живописного «Путешествия по Америке» и многих журнальных статей, пишет обо всем русском, достойном внимания патриотов. Его слог небрежен, но выразителен. В «Письмах Скимнина», сочинении *Ф. Львова,* нередко вспыхивают сердечные чувства с искрами поэзии; там много новых речений, но мало новости в слоге. В статьях *Н. Кутузова* видны цель и дух благородной души; но слог несколько пышен для избранных им предметов. Критики *Сомова* колки и не всегда справедливы. *П. Яковлев* обещает многое в роде Жуи; слог его оригинален, отрывист; приноровления остры и забавны. *Кюхельбекер* одарен летучим воображением и мечтательностию. В «Европейских письмах» его встречаются картины удачные и новые. *Нарежный* в «Славянских вечерах» своих разбросал дикие цветы северной поэзии. Впрочем, проза его слишком мерна и однозвучна. Он написал два романа, где много портретов и новых мыслей. *Дм. Княжевич* пишет мило, умно и правильно —

три вещи, довольно редкие на Руси; его отечественные синонимы очень занимательны. *Меньшенина* перевод «Писем о химии» заслуживает внимания равно в прозаическом, как и в стихотворном отношениях: он светел, игрив, верен оригиналу и правилам нашего слова.

Сим заключаю ряд прозаиков; ибо другие безыменные или ожидающие имен писатели, по малости или по бесхарактерности их творений, не произвели никакого влияния на словесность.

В сей картине, мною начертанной, читатели увидят, в каком бедном отношении находится число оригинальных писателей к числу пишущих, а число дельных произведений к количеству оных. Рассмотрим тому причины.

Во-первых: необъятность империи, препятствуя сосредоточению мнений, замедляет образование вкуса публики. Университеты, гимназии, лицеи, институты и училища, умноженные благотворным монархом и поддерживаемые щедротами короны, разливают свет наук, но составляют самую малую часть в отношении к многолюдству России. Недостаток хороших учителей, дороговизна выписных и вдвое того отечественных книг и малое число журналов, сих призм литературы, не позволяют проницать просвещению в уезды, а в столицах содержать детей не каждый в состоянии. Феодальная умонаклонность многих дворян усугубляет сии препоны. Одни рубят гордиев узел наук мечом презрения, другие не хотят ученьем мучить детей своих и для сего оставляют невозделанными их умы, как нередко поля из пристрастия к псовой охоте. В столицах рассеяние и страсть к мелочам занимают юношей; никто не посвящает себя безвыгодному и бессребреному ремеслу писателя, и если пишут, то пишут не по занятию, а шутя; и к чести военного звания должно сказать, что молодые офицеры наиболее, в сравнении с другими, основательно учатся. Впрочем, у нас нет европейского класса ученых (lettrés, savants), ибо одно счастие дает законы обществу, а наши богачи не слишком учены, а ученые вовсе не богаты. В отношении к писателям я замечу, что многие из них сотворили себе школы, коих упрямство препятствует усовершенствованию слова; другие не дорожат общим мнением и на похвалах своих приятелей засыпают беспробудным сном золотой посредственности.

Человек есть существо более тщеславное, чем славолюбивое. Поэт, романтик, ученый работает в тиши каби-

нета, чтобы собрать дань похвалы в людях; но когда он видит труды свои гибнущими в книжной лавке и безмолвие, встречающее его в обществе, где даже никто не подозревает в нем таланта, когда, вместо наград, он слышит одни насмешки, — променяет ли он маки настоящего на неверный лавр отдаленного будущего?

Наконец главнейшая причина есть изгнание родного языка из общеста и равнодушие прекрасного пола ко всему, на оном писанному! Чего нельзя совершить, дабы заслужить благосклонный взор красавицы? В какое прозаическое сердце не вдохнет он поэзии? Одна улыбка женщины милой и просвещенной награждает все труды и жертвы! У нас почти не существует сего очарования, и вам, прелестные мои соотечественницы, жалуются музы на вас самих!

Но утешимся! Вкус публики, как подземный ключ, стремится к вышине. Новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время невидимо сеет просвещение, и туман, лежащий теперь на поле русской словесности, хотя мешает побегу, но дает бо́льшую твердость колосьям и обещает богатую жатву.

ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1823 ГОДА

В старину науки зажигали светильник свой в погасающих перунах войны и цветы красноречия всходили под тению мирных олив. В наши времена, когда состояние ученого и воина не сливается уже в одну черту, мы видим совсем противное: топограф и антикварий поверяют свои открытия под знаменем бранным; гром отдаленных сражений одушевляет слог авторов и пробуждает праздное вниманье читателей; газеты превращаются в журналы и журналы — в книги; любопытство растет, воображенье, недовольное сущностию, алчет вымыслов, и под политическою печатью словесность кружится в обществе. Это было и с нами в Отечественную войну. Наполеон обрушился на нас — и все страсти, все выгоды пришли в волнение; взоры всех обратились на поле битвы, где полсвета боролось с Россией и целый свет ждал своей участи. Тогда слова *отечество* и *слава* электризовали каждого. Каждый листок, где было что-нибудь отечественное, перелетал из рук в руки с восхищением. Похвальные песни, плохи или хороши они были, раздавались по улицам, и им рукоплескали в гостиных — одним словом, все тогда казалось прекрасным, потому что все было истинным. Но политическая буря утихла; укротился и энтузиазм. Внимание наше, утомленное блеском побед и подвигов,

перевысивших все затейливые сказки Востока, и воображение, избалованное чудесным, напряженное великим, — постепенно погрузились опять в бездейственный покой. Огнистая лава вырвалась, разлилась, подвигнула океан — и застыла. Пепел лежит на ее челе, но в этом пепле таится растительная жизнь и когда-нибудь разовьются на ней драгоценные виноградники. Вот картина любви наших соотечественников к словесности после войны; но теперешнему ее состоянию были еще и другие причины. Отдохновение после сильных ощущений обратилось в ленивую привычку; непостоянная публика приняла вкус ко всему отечественному, как чувство, и бросила его, как моду. Войска возвратились с лаврами на челе, но с французскими фразами на устах, и затаившаяся страсть к галлицизмам захватила вдруг все состояния сильней чем когда-либо. Следствием этого было совершенное охлаждение лучшей части общества к родному языку и поэтам, начинавшим возникать в это время, и, наконец, совершенное оцепенение словесности в прошедшем году. Так гаснет лампада без течения воздуха, так заглушается дарованье без ободрений! О прочих причинах, замедливших ход словесности, мы скажем в свое время.

Приступаю к делу.

Ни один еще год не был беднее оригинальными произведениями прошедшего 1823. За исключением книг, до точных наук относящихся, вся наша словесность заключалась в журнальных, притом весьма немногих статьях. Лишь печатные промышленники тискали вторым и третьим изданием сонники и разбойничьи романы для домашнего обихода в провинциях. Порой появлялись порядочные и сомнительные переводы прекрасных романов Вальтера Скотта, но ни одно из сих творений не вынесло имя переводчика на поверхность сонной Леты; во-первых, потому, что пора славы за прозаические переводы уже миновала, а во-вторых, и слог их слишком небрежен.

Из оригинальных книг вышли в свет истекшего года «Новейшие известия о Кавказе» С. Броневского и «Путешествие по Тавриде» Муравьева-Апостола. Обе сии книги во всех отношениях заслуживают внимание европейцев и особенную благодарность русских. Точность исторических изысканий, новость сведений географических и чистота слога венчают их похвалою археологов и литераторов

и вообще делают их необходимыми книгами для ученого и светского человека. Г-н Булгарин, в своих «Записках о Испании», как очевидец, описал живо и завлекательно многие случаи народной войны испанцев с французами, обычаи первых и панораму благословенной стороны вторых. Рассказ его свеж и разнообразен, изложение быстро и выбор предметов нов. Г-н Мерзляков издал «Краткое начертание изящной словесности», весьма полезное для учащихся и учащих, где он удачно подражал Эшембургу. Слог его облечен убеждением, силою и красотою. Сочинение г. Бутурлина «О нашествии Наполеона на Россию» и книжечка графа Ростопчина «Правда о пожаре Москвы» только по именам сочинителей принадлежат к русской словесности, потому что писаны по-французски; что же касается до слога переводов их, он неровен и полон галлицизмов. В числе книг полемических заметны «Примечания» г. Грамматина на «Слово о полку Игоревом», в котором он разрешил многие сомнительные места; но тон самоуверенности не всегда доказывает, что его доказательства бесспорны. Г-н Греч издал опыт новой русской грамматики под именем «Корректурных листов», где развертывает совершенно новые и ближайшие к природе русского языка начала. К. Калайдович, почтенный археолог наш, посвятивший себя старине русской, напечатал статью «Археологические изыскания в Рязанской губернии», где виден зоркий взгляд знатока и опытность ученого. «Новое детское чтение» С. Глинки по слогу и цели своей имеет большое достоинство, и его же «Краткая русская история» достойна быть ручною книжкою в семействах. Сим заключается книжная фаланга.

Маленькая поэма «Оскар и Альтос», г-на Олина, и перевод «Воспоминаний» Легуве, г-на Глебова, были единственными отдельными стихотворениями. Содержание первой взято из Оссиана; в ней беглые стихи, несколько удачных картин, искры чувства — и только. Достоинство же другой заключается в верности перевода и плавности стихосложения. Говоря о театре, трудно решить: актеры, авторы или публика были виною упадка оного? Вероятно, что все в свою очередь; но то уже бесспорно, что никогда театр и сцена не были пустее. Не считая пьес, которые не читаются и не играются, одни старинные оперы забавили праздничных зрителей, а драмы и переводные водевили продовольствовали публику

в течепье педели. Из числа последних князя Шаховского берут безусловное первенство над прочими. «Деревенский философ», комедия г. Загоскина, развертывает забавные черты наших баричей, доказывая комический дар автора. «Сафо», лирическая трагедия г. Сушкова, имеет только один недостаток: именно, что героиня пьесы топится в 4-м, а не в 1-м акте. В «Персее» г. Ростовцева есть сильные стихи, удачные сцены, счастливые мысли — и недостаток действия. Две последние трагедии не были представлены, и только прекрасный перевод «Федры» г. Лобановым одушевил умирающую сцену. В ней жар чувств и прелесть стихов и краткость выражений переданы точно и плавно. Публика увенчала переводчика рукоплесканиями, а критика — заслуженною похвалою.

Чтения публичные в литературных обществах, возбуждая соревнование между молодыми писателями, разливают и в публике вкус к родной словесности. Нередко те, которые приезжают туда, чтобы других посмотреть или показать себя, возвращаются домой с новыми понятиями и с полезнейшею охотою. По обычаю, императорская Российская Академия имела свое годичное торжественное заседание, и там знаменитый историограф наш, Н. М. Карамзин, растрогал слушателей отрывком своим из 10 тома «Ист. гос. Росс.» о убийстве царевича Димитрия. Что сказать о совершенстве слога, о силе чувств! Сии качества от столь прекрасного начала идут все выше и выше, как орел, устремляющийся с вершины гор в небо. Г-н Жуковский читал прекрасный отрывок из переводимой им «Энеиды», и князь Шаховской — отрывок из высокой комедии своей «Аристофан». Общество соревнователей благотворения и просвещения имело тоже одно публичное заседание, где разнообразие предметов шло наравне с занимательностию их и любопытством слушателей. Между прочими достойными пьесами отличалась трогательная сцена из Шиллеровой «Иоанны д'Арк» Жуковского и «Послание к Державину» г. Туманского: оно обличает талант молодого певца. В прозе Греча и князя Вяземского отрывки из жизни И. И. Дмитриева. Общество при Московском университете собиралось для публичных заседаний ежемесячно; труды оного напечатаны. Должно сознаться, что литературные журналы всей Европы при нынешней естественной умопаклонности к политике весьма незначительны, и в этом отпошении

русские нередко берут над ними преимущество. Из периодических изданий отличаются у нас полезными изысканиями, до отечественных древностей и языка относящимися, «Труды общества при Московском университете». В каждой части оных всегда есть много дельного. В «Сочинениях и переводах», издаваемых Российскою Академиею, заключались переводы с старых и новых языков, критики и этимология слов русских. «Модный журнал» (издатель г. Шаликов, в Москве) пленял читателей чужою любезностию, невинными критиками, довольно нелюбопытными письмами и милыми стишками. «Журнал художеств» (изд. г. Григорович, в С.-Петербурге), достойный благодарности по цели и похвалы по исполнению, составлялся из прекраснейших критических, теоретических и описательных статей, до изящных художеств касающихся, написанных с чувством знатока и языком опытного художника. Его еще мало у нас оценили. «Сибирский вестник» (изд. г. Спасский, в С.-Петербурге) содержал в себе весьма любопытные известия о Сибири, которая менее известна нам самим, чем земля эскимосов. «Инвалид» (изд. г. Воейков, в С.-Петербурге) принадлежит к словесности только своими «прибавлениями», в коих, если он был беднее других прозою, зато богатее всех хорошими стихами. Стихотворения г. Языкова, некоторые пьесы г. Плетнева, князя Вяземского, Жуковского, прелестное «Послание к Гнедичу» Баратынского и «Невское кладбище» самого издателя украсили оный. «Благонамеренный» (изд. г. Измайлов, в С.-Петербурге), забавен для своего круга. «Журнал общества соревнователей просвещения и благотворения» (в С.-Петербурге), издаваемый с столь священною целью, нередко включал в себе достойные его листки. Между прочим «О древних посольствах в Россию» г. Корниловича, «О романтизме» г. Сомова и «Разбор русских писателей» князя Цертелева достойны внимания. «Отечественные записки» (изд. г. Свиньин, в С.-Петербурге) хотя не всегда с историческою точностию, но всегда с патриотическим жаром хранили и передавали черты народного нрава, частных дел и замечательных событий. «Вестник Европы» (изд. г. Каченовский, в Москве), патриарх русских журналов, правда далеко отстал в поэзии от петербургских периодических изданий, но по части прозаической шел обыкновенным своим твердым шагом. В нем в прозе за-

метны статьи: г. Гусева «О метафизиках немецких» и «О русском языке» неизвестного; по стихотворениям: отрывок из комедии «Лукавин» г. Писарева и его же «Пир мудрецов». «Северный архив» (в С.-Петербурге), издатель оного г. Булгарин, с фонарем археологии спускался в не разработанные еще рудники нашей старины и сбиранием важных материалов оказал большую услугу русской истории. Все новейшие путешествия, наши и чужестранные, являлись там первые. Там же «Критика» Лелевеля на «Историю государства Российского» была приятным и редким феноменом в областях словесности; беспристрастие, здравый ум и глубокая ученость составляют ее достоинство. «Прибавления к «Северному архиву» г. Булгарина же оживляют на берегах Невы парижского пустынника. Живой, забавный слог и новость мыслей готовят в них для публики занимательное чтение, а оригиналы столицы и нравы здешнего света — неисчерпаемые источники для его сатирического пера. «Сын отечества» (изд. г. Греч, в С.-Петербурге), неизменный поборник чистоты языка, по привычке заключал в себе много дельных статистических статей и очень хороших стихотворений. В числе критик (мимоходом, весьма плодовитых) особенно замысловаты «Письма на Кавказ» самого издателя. В произведениях поэзии заметны: «Василек», прекрасная басня И. А. Крылова; «Путешественник» Жуковского; «Последний бард» Мансурова; «Май» Туманского; отрывок из «Освобожденного Иерусалима» Раича и некоторые другие. «Прибавления к «Сыну отечества» (изд. г-да Княжевичи, в С.-Петербурге) отличаются прекрасным выбором повестей и чистым плавным языком. Между немногих оригинальных пьес носит отпечаток народности «Иван Костин» г. Панаева; прочие переведены с разных языков. Вообще же во всех почти журналах число оригинальных произведений к числу переводов относилось как два к десяти, а пропорция чисто литературных статей к ученым была едва ль не тоще; это печально.

Мало-помалу Европа сквозь тусклые переводы начинает распознавать нашу словесность. В прошлом году почти все повести из «Полярной звезды» были переданы на немецкий язык в журнале г. Ольдекопа и повторились в других заграничных журналах. Г-н Линде перевел на польский все статьи, до истории русской литературы касающиеся, и приложил при переводе книги о том же

предмете г. Греча; наконец г. Сен-Мор, по следам Боуринга[1], Борха[2] и Гетце[3], примерных переводчиков-поэтов, издал ныне на французском языке «Русскую антологию»; но опыт его был равно неудачен, как перевод и как сочинение: в копии нет и следов национальности образца. Русские цветы потеряли там не только запах, но даже и самый цвет свой.

Так прокрался в вечность молчаливый прошедший год; казалось, он был осенью для соловьев нашей поэзии, и только в «Полярной звезде» отозвались они — и умолкли снова; только (с благодарностию замечаем) по быстрому и благосклонному приему «Полярной звезды» заметно было, что еще не погас жар к отечественной словесности в публике; впрочем, надобно и то сказать, что русский язык, подобно германскому в XVIII веке, возвышается ныне, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Теперь ученики пишут таким слогом, которого самые гении сперва редко добывали, и, теряя в численности творений, мы выигрываем в чистоте слога. Один недостаток — у нас мало творческих мыслей. Язык наш можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические звуки или стонет о чем-то, но луч мысли редко блуждает по его лицу. Это младенец, говорю я, но младенец Алкид, который в колыбели еще удушал змей! И вечно ли спать ему?

P. S. Лишь теперь вышло в свет «Путешествие около света» г. Головнина. Первая часть оного посвящена рассказу и описаниям истинно романическим; слог оных проникнут занимательностию, дышит искренностию, цветет простотою. Это находка для моряков и для людей светских. Еще спешим обрадовать любителей поэзии: маленькая и, как слышно и как несомненно, прекрасная поэма А. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» уже печатается в Москве.

[1] «Russian anthology». *(Примеч. автора.)*
[2] «Poetische Erzeugnisse der Russen». *(Примеч. автора.)*
[3] «Stimmen des russischen Volkes». *(Примеч. автора.)*

ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1824 И НАЧАЛЕ 1825 ГОДОВ

Словесность всех народов, совершая свое круготечение, следовала общим законам природы. Всегда первый ее век был возрастом сильных чувств и гениальных творений. Простор около умов высоких порождает гениев; они рвутся расшириться душою и наполнить пустоту. По времени круг сей стесняется; столбовая дорога и полуизмятые венки не прельщают их. Жажда нового ищет нечерпаных источников, и гении смело кидаются в обход мимо толпы в поиске новой земли мира нравственного и вещественного; пробивают свои стези; творят небо, землю и ад родником вдохновений; печатлеют на веках свое имя, на одноземцах свой характер, озаряют обоих своей славою и все человечество своим умом!

За сим веком творения и полноты следует век посредственности, удивления и отчета. Песенники последовали за лириками, комедия вставала за трагедиею; но история, критика и сатира были всегда младшими ветвями словесности. Так было везде, кроме России, ибо у нас век разбора предыдет веку творения; у нас есть критика и нет литературы; мы пресытились, не вкушая, мы в ребячестве стали брюзгливыми стариками! Постараемся разгадать причины столь странного явления.

Первая заключается в том, что мы воспитаны иноземцами. Мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои произведения исполинскою

мерою чужих гениев, нам свысока видится своя малость еще меньшею, и это чувство, не согретое народною гордостию, вместо того чтобы возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается унизить даже и то, что есть. К довершению несчастия мы выросли на одной французской литературе, вовсе не сходной с нравом русского народа, ни с духом русского языка. Застав ее, после блестящих произведений, в поре полемических сплетней и приняв за образец бездушных умников века Людовика XV, мы и сами принялись толковать обо всем вкривь и вкось. Говорят: чтобы все выразить, надобно все чувствовать; но разве не надобно всего чувствовать, чтобы все понимать? А мы слишком бесстрастны, слишком ленивы и недовольно просвещены, чтобы и в чужих авторах видеть все высокое, оценить все великое. Мы выбираем себе авторов по плечу: восхищаемся д'Арленкурами, критикуем Лафаров и Делилев, и заметьте: перебранив все, что у нас было вздорного, мы еще не сделали комментария на лириков и баснописцев, которыми истинно можем гордиться.

Сказав о первых причинах, упомяну и о главнейшей: теперь мы начинаем чувствовать и мыслить — но ощупью. Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум — дела; он хочет шевелиться, когда не может летать, но, не занятый политикою, весьма естественно, что деятельность его хватается за все, что попадется, а как источники нашего ума очень мелки для занятий важнейших, мудрено ли, что он кинулся в кумовство и пересуды! Я говорю не об одной словесности: все наши общества заражены тою же болезнию. Мы как дети, которые испытывают первую свою силу над игрушками, ломая их и любопытно разглядывая, что внутри.

Теперь спрашивается: полезна или нет периодическая критика? Джефферн говорит, что «она полезна для периодической критики». Мы не можем похвалиться и этим качеством: наша критика недалеко ушла в основательности и приличии. Она ударилась в сатиру, в частности и более в забаву, чем в пользу. Словом, я думаю, наша полемика полезнее для журналистов, нежели для журналов, потому что критик, антикритик и перекритик мы видим много, а дельных критиков мало; но между тем листы наполняются и публика, зевая над статьями, вовсе для ней незанимательными, должна разбирать по складам надгробия безвестных людей. Справедливо ли, однако ж, так

мало заботиться о пользе современников, когда подобным критикам так мало надежды дожить до потомства?

Мне могут возразить, что это делается не для наставления неисправимых, а для предупреждения молодых писателей. Но, скажите мне, кто ставит охранный маяк в луже? Кто будет читать глупости для того, чтобы не писать их?

Говоря это, я не разумею, однако ж, о критике, которая аналитически вообще занимается установкою правил языка, открывает литературные злоупотребления, разлагает историю и, словом, везде, во всем отличает истинное от должного. Там, где самохвальство, взаимная похвальба и незаслуженные брани дошли до крайней степени, там критика необходима для разрушения заговоренных броней какой-то мнимой славы и самонадеянности, для обличения самозванцев-литераторов. Желательно только, чтобы критика сия отвергла все личности, все частности, все расчетные виды; чтобы она не корпела над запятыми, а имела бы взор более общий, правила более стихийные. Лица и случайности проходят, но народы и стихии остаются вечно.

Из вопроса, почему у нас много критики, необходимо следует другой: отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных? Предслышу ответ многих, что от *недостатка ободрения!* Так, его нет, и слава богу! Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться,— но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе! Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию; Мольер из платы смешил толпу; Торквато из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий; даже Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! Я вижу в бледности изможденных гонением или недостатком лиц ваших — рассвет бессмертия! Скорбь есть зародыш мыслей, уединение — их горнило. Порох на воздухе дает только вспышки, но сжатый в железе, он рвется выстрелом и движет и рушит громады... И в этом отношении к свету мы находимся в самом благоприятном случае. Уважение или по крайней мере внимание к уму, которое ставило у нас богатство и породу на одну с ним доску, наконец, к радости сих последних исчезло. Богатство и связи безраздельно захватили все внимание толпы,— но тут в проигрыше, конеч-

но, не таланты! Иногда корыстные ласки меценатов балуют перо автора; иногда недостает собственной решимости вырваться из бисерных сетей света,— но теперь свет с презрением отверг его дары или допускает в свой круг не иначе как с условием носить на себе клеймо подобного, отрадного ему ничтожества, скрывать искру божества как пятно, стыдиться доблести как порока!! Уединение зовет его, душа просит природы, богатое нечерпаное лоно старины и мощного свежего языка перед ним расступается: вот стихия поэта, вот колыбель гения!

Однако ж такие чувства могут зародиться только в душах, куда заране брошены были семена учения и размышленья, только в людях, увлеченных случайным рассеянием, у которых есть к чему воротиться. Но таково ли наше воспитание? Мы учимся припеваючи и оттого навсегда теряем способность и охоту к дельным, к долгим занятиям. При самых счастливых дарованиях мы едва имеем время на лету схватить отдельные мысли; но связывать, располагать, обдумывать расположенное не было у нас ни в случае, ни в привычке. У нас юноша с учебного гулянья спешит на бал; а едва придет истинный возраст ума и учения, он уже в службе, уж он деловой,— и вот все его умственные и жизненные силы убиты в цвету ранним напряжением, и он целый век остается гордым учеником, оттого что учеником в свое время не был. Сколько людей, которые бы могли прославить делом или словом свое отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролетная тень облака. Да и что в прозаическом нашем быту, на безлюдье сильных характеров может разбудить душу? что заставит себя почувствовать? Наша жизнь — бестенная китайская живопись; наш свет — гроб повапленный!

Так ли жили, так ли изучались просветители народов? Нет! в тишине затворничества зрели их думы. Терновою стезею лишений пробивались они к совершенству. Конечно, слава не всегда летит об руку с гением; часто современники гнали, не понимая их; но звезда будущей славы согревала рвение и озаряла для них мрак минувшего, которое вопрошали они, дабы разгадать современное и научить потомство. Правда, и они прошли через свет, и они имели страсти людей; зато имели и взор наблюдателей. Они выкупили свои проступки упроченною опытностию и глубоким познанием сердца человеческого.

Не общество увлекло их, но они повлекли за собой общества. Римлянин Альфиери, неизмеримый Бейрон гордо сбросили с себя золотые цепи Фортуны, презрели всеми заманками большого света,— зато целый свет под ними и вечный день славы их наследие!!

Но кроме пороков воспитания, кроме затейливого однообразия жизни нашей, кроме многосторонности и безличия самого учения (quand même), которое во все мешается, все смешивает и ничего не извлекает,— нас одолела страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? когда будем писать прямо по-русски? Бог весть! До сих пор по крайней мере наша муза остается невестою-невидимкою. Конечно, можно утешиться тем, что мало потери, так или сяк пишут сотни чужестранных и междоусобных подражателей; но я говорю для людей с талантом, которые позволяют себя водить на помочах. Оглядываясь назад, можно век назади остаться, ибо время с каждой минутой разводит нас с образцами. Притом все образцовые дарования носят на себе отпечаток не только народа, но века и места, где жили они, следовательно подражать им рабски в других обстоятельствах — невозможно и неуместно. Творения знаменитых писателей должны быть только мерою достоинства наших творений. Так чужое высокое понятие порождает в душе истинного поэта неведомые дотоле понятия. Так, по словам астрономов, из обломков сшибающихся комет образуются иные, прекраснейшие миры!

Я мог бы яснее и подробнее исследовать сказанные причины; я бы должен был присовокупить к ним и раннее убаюкивание талантов излишними похвалами или чрезмерным самолюбием; но уже время, оставив причины, взглянуть на произведения.

Прошедший год утешил нас за безмолвие 1823. Н. М. Карамзин выдал в свет X и XI томы «Истории государства Российского». Не входя по краткости сего объема в рассмотрение исторического их достоинства, смело можно сказать, что в литературном отношении мы нашли в них клад. Там видим мы свежесть и силу слога, заманчивость рассказа и разнообразие в складе и звучности обо-

ротов языка, столь послушного под рукою истинного дарования. Сими двумя томами началась и заключилась, однако ж, изящная проза 1824 года. Да и вообще до сих пор творения почтенного нашего историографа возвышаются подобно пирамидам на степи русской прозы, изредка оживляемой летучими журнальными бедуинами или тяжелодвижущимися караванами переводов. Из оригинальных книг появились только «Повести» г. Нарежного. Они имели б в себе много характеристического и забавного, если бы в их рассказе было поболее приличия и отделки, а в происшествиях поменее запутанности и чудес. В роде описательном «Путешествие Е. Тимковского чрез Монголию в Китай» (в 1820 и 21 годах) по новости сведений, по занимательности предметов и по ясной простоте слога несомненно есть книга европейского достоинства. Из переводов заслуживают внимания «Записки полковника Вутье» о войне греков, переданные со всею силою, со всею военною искренностию г. Сомовым, к которым приложил он введение, полное жизни и замечаний справедливых, «История греческих происшествий из Раффенеля», Метаксою, поясненная сим последним; «Добродушный», очень игриво перезеденный г. Дешаплетом, 3-я часть «Лондонского пустынника», его же, и «Жизнь Али-паши Янинского», г. Строевым. К сему же числу принадлежит и книжечка «Искусство жить» — извлеченное из многих новейших философов и оправленное в собственные мысли извлекателя, г. Филимонова. Появилось также несколько переводов романов Вальтера Скотта, но ни один прямо с подлинника и редкие прямо по-русски.

История древней словесности сделала важную находку в издании *Иоанна Экзарха Болгарского,* современника Мефодиева. К чести нашего века надобно сказать, что русские стали ревностнее заниматься археологиею и критикою историческою, сими основными камнями истории. Книга сия отыскана и объяснена г. Калайдовичем, неутомимым искателем русской старины, а издана в свет иждивением графа Н. П. Румянцева, сего почтенного вельможи, который один изо всей нашей знати не щадит ни трудов, ни издержек для приобретения и издания книг, родной истории полезных. Таким же образом напечатан и «Белорусский архив», приведенный в порядок г. Григоровичем. Общество истории и древностей русских издало 2-ю часть записок и трудов своих; появилось еще пятна-

дцать листов летописи Нестора по Лаврентьевскому списку, приготовленных профессором Тимковским.

Стихотворениями, как и всегда, протекшие пятнадцать месяцев изобиловали более, чем прозою. В. А. Жуковский издал в полноте рассеянные по журналам свои сочинения. Между новыми достойно красуется перевод Шиллеровой «Девы Орлеанской», перевод, каких от души должно желать для словесности нашей, чтобы ознакомить ее с настоящими чертами иноземных классиков. Пушкин подарил нас поэмою «Бахчисарайский фонтан»; похвалы ей и критики на нее уже так истерлись от беспрестанного обращения, что мне остается только сказать: она пленительна и своеправна, как красавица Юга. Первая глава стихотворного его романа «Онегин», недавно появившаяся, есть заманчивая, одушевленная картина неодушевленного нашего света. Везде, где говорит чувство, везде, где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества, стихи загораются поэтическим жаром и звучней текут в душу. Особенно разговор с книгопродавцем вместо предисловия (это счастливое подражание Гете) кипит благородными порывами человека, чувствующего себя человеком. «Блажен», — говорит там в негодовании поэт:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья!

И плод сих чувств есть рукописная его поэма «Цыгане». Если можно говорить о том, что не принадлежит еще печати, хотя принадлежит словесности, то это произведение далеко оставило за собой все, что он писал прежде. В нем-то гений его, откинув всякое подражание, восстал в первородной красоте и простоте величественной. В нем-то сверкают молнийные очерки вольной жизни и глубоких страстей и усталого ума в борьбе с дикою природою. И все это, выраженное на деле, а не на словах, видимое не из витиеватых рассуждений, а из речей безыскусственных. Куда не достигнет отныне Пушкин с этой высокой точки опоры? И. А. Крылов порадовал нас новыми прекрасными баснями; некоторые из них были напечатаны в повременных изданиях, и скоро сии плоды вдохновения, числом до тридцати, покажутся в полном собрании. Н. И. Гнедич недавно издал сильный и верный свой перевод (с новогреческого языка) *песен клефтов*, с приложением весьма лю-

бопытного предисловия. Сходство их с старинными нашими песнями разительно. На днях выйдет в свет поэма И. И. Козлова «Чернец»; судя по известным мне отрывкам, она исполнена трогательных изображений и в ней теплятся нежные страсти. Рылеев издал свои «Думы» и новую поэму «Войнаровский»; скромность заграждает мне уста на похвалу, в сей последней, высоких чувств и разительных картин украинской и сибирской природы. «Ночи на гробах» князя С. Шихматова в облаке отвлеченных понятий заключают многие красоты пиитические, подобно искрам золота, вкрапленным в темный гранит. Ничего не скажу о «Балладах и романсах» г. Покровского, потому что ничего лестного о них сказать не могу; похвалю в «Восточной лютне» г. Шишкова 2-го звонкость стихов и плавность языка для того, чтобы похвалить в ней что-нибудь. Впрочем, в авторе порою проглядывает дар к поэзии, но вечно в веригах подражания. Наконец упоминаю о стихотворении г. Олина «Кальфон» для того, что сей набор рифм и слов называется поэмою. Присоединив к сему несколько приятных безделок в журналах, разбросанных Н. Языковым, И. И. Козловым, Писаревым, Нечаевым... я подвел уже весь итог нашей поэзии.

Русский театр в прошедшем году обеднел оригинальными пьесами. Замысловатый князь Шаховской очень удачно, однако ж, вывел на сцену Вольтера-юношу и Вольтера-старика в дилогии своей «Ты и Вы» и переделал для сцены эпизод Финна из поэмы Пушкина «Людмила и Руслан».

В Москве тоже давали, как говорят, хороший перевод «Школы стариков» (Делавиня) г. Кокошкина и еще кой-какие водевили и драмы, о коих по слухам судить не можно; а здесь некоторые драмы обязаны были успехом своим сильной игре г. Семеновой и Каратыгина. Я бы сказал что-нибудь о печатной, но не игранной комедии г. Федорова «Громилов», если бы мне удалось дочесть ее. К числу театральных представлений принадлежит и «Торжество муз», пролог г. М. Дмитриева на открытие большого Московского театра. В нем, хотя форма и очень устарела, есть счастливые стихи и светлые мысли. Но все это выкупила рукописная комедия г. Грибоедова «Горе от ума», феномен, какого не видали мы от времен «Недоросля». Толпа характеров, обрисованных смело и резко, живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость

и природа разговорного русского языка в стихах. Все это завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтет ее не смеявшись, не тронувшись до слез. Люди, привычные даже забавляться по французской систематике или оскорбленные зеркальностию сцен, говорят, что в ней нет завязки, что автор не по правилам нравится; но пусть они говорят, что им угодно: предрассудки рассеются и будущее оценит достойно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных.

Удача альманахов показывает нетерпеливую наклонность времени не только мало писать, но и читать мало. Теперь ходячая наша словесность сделалась карманною. Пример «Полярной звезды» породил множество подражаний: в 1824 году началось «Мнемозиною», которая если не по объему и содержанию, то по объявлению издателей принадлежит к дружине альманахов. Страсть писать теории, опровергаемые самими авторами на практике, есть одна из примет нашего века, и она заглавными буквами читается в «Мнемозине». Впрочем, за исключением диктаторского тона и опрометчивости в суждениях, в г. Одоевском видны ум и начитанность. Сцены из трагедии «Аргивяне» и пьеса «На смерть Бейрона» г. Кюхельбекера имеют большое достоинство. На 1825 год театральный альманах «Русская Талия» (издатель г. Булгарин) между многими хорошими отрывками заключает в себе 3-е действие комедии «Горе от ума», которое берет безусловное преимущество над другими. Потом отрывок из трагедии «Венцеслав» Ротру, счастливо переделанной Жандром, и сцены из комедии «Нерешительный» г. Хмельницкого, и «Ворожея» кн. Шаховского. Кроме этого, книжка сия оживлена очень дельною статьею г. Греча «О русском театре» и характеристическими выходками самого издателя. «Русская старина», изданная г.г. Корниловичем и Сухоруковым. Из них первый описал век и быт Петра Великого, а другой — нравы и обычаи поэтического своего народа — казаков. Оба рассказа любопытны, живы, занимательны. Сердце радуется, видя, как проза и поэзия скидывают свое безличие и обращаются к родным старинным источникам. «Невский альманах» (изд. г. Аладьин) — нелестный попутчик для других альманахов. Наконец «Северные цветы», собранные бароном Дельвигом, блистают всею яркостью красок поэтической радуги, всеми именами старейшин нашего

Парнаса. Хотя стихотворная ее часть гораздо богаче прозаической, но и в этой особенно занимательна статья г. Дашкова «Афонская гора» и некоторые места в «Письмах из Италии». Мне кажется, что г. Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полною рукою похвалы всем и уверяя некоторых поэтов, что они не умрут потому только, что они живы, — но у всякого свой вес слов, у каждого свое мнение. Из стихотворений прелестны наиболее Пушкина дума «Олег» и «Демон», «Русские песни» Дельвига и «Череп» Баратынского. Один только упрек сделаю я в отношении к цели альманахов: «Северные цветы» можно прочесть не улыбнувшись.

Журналы по-прежнему шли своим чередом, то есть все кружились по одной дороге: ибо у нас нет разделения работы, мнений и предметов. «Инвалид» наполнял свои листки и «Новости литературы» лежалою прозою и перепечатанными стихами. Заметим, что с некоторого времени закралась к издателям некоторых журналов привычка помещать чужие произведения без спросу и пользоваться чужими трудами безответно. «Вестник Европы» толковал о старине и заржавленным циркулем измерял новое. Подобно прочим журналам, он, особенно в прошлом году, изобиловал критическою перебранкою; критика на предисловие к «Бахчисарайскому фонтану», с ее последствиями, достойна порицания, если не по предмету, то по изложению. Подобная личность вредит словесности, оправдывая неуважение многих к словесникам. Этого мало: кто-то русский напечатал в Париже злую выходку на многих наших литераторов и перед глазами целой Европы, не могши показать достоинств, обнажил, может быть мнимые, их недостатки и свое пристрастие. Другой, там же, защищал далеких обиженных, хотя не вовсе справедливо, но весьма благородно, и полемическая наша междоусобица загорелась на чужой земле. 1825 год ознаменовался преобразованием некоторых старых журналов и появлением новых. У нас недоставало газеты для насущных новостей, которая соединяла бы в себе политические и литературные вести: г.г. Греч и Булгарин дали нам ее — это «Северная пчела». Разнообразием содержания, быстротою сообщения новизны, черезденным выходом и самою формою — она вполне удовлетворяет цели. Каждое состояние, каждый возраст находит там что-нибудь по себе. Между многими любопытными и хоро-

шими статьями заметил я о романах г. Сомова и «Нравы» Булгарина. Жаль, что г. Булгарин не имеет времени отделывать свои произведения. В них даже что-то есть недосказанное; но с его наблюдательным взором, с его забавным сгибом ума он мог бы достичь прочнейшей славы. «Северный архив» и «Сын отечества» приняли в свой состав повести; этот вавилонизм не очень понравится ученым, но публика любит такое смешение. За чистоту языка всех трех журналов обязаны мы г. Гречу, ибо он заведывает грамматическою полициею. В Петербурге на сей год издается вновь журнал «Библиографические листки» г. Кеппеном. Это необходимый указатель источников всего писанного о России. В Москве явился двухнедельный журнал «Телеграф», изд. г. Полевым. Он заключает в себе все, извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие — вот знаки сего «Телеграфа», а *смелым владеет бог* — его девиз.

Журналы наши не так, однако ж, дурны, как утверждают некоторые умники, и вряд ли уступают иностранным. Назовите мне хоть один сносный литературный журнал во Франции, кроме «Revue Encyclopedique»?[1] Немцы уж давно живут только переводами из журнала г. Ольдекопа, у которого, не к славе здешних немцев, едва есть тридцать подписчиков; и одни только англичане поддерживают во всей чистоте славу ума человеческого.

Оканчиваю. Знаю, что те и те восстанут на меня за то и то-то, что на меня посыплется град вопросительных крючков и восклицательных шпилек. Знаю, что я избрал плохую методу — ссориться с своими читателями в предисловии книги, которая у них в руках... но как бы то ни было, я сказал что думал — и «Полярная звезда» перед вами.

[1] «Энциклопедическое обозрение» *(фр.)*.

«КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ. РУССКАЯ БЫЛЬ XV ВЕКА». СОЧИНЕНИЯ Н. ПОЛЕВОГО. М., 1832

La critique, dans les époques de transition, tient lieu fort bien de tout ce qui n'est plus, ce qui n'est pas encore. La critique alors, c'est tout le poème, c'est tout le drame, c'est toute la comédie, tout le théâtre, c'est tout ce qui occupe les esprits; c'est la critique qui passionne et qui amuse; c'est elle qui êclaire et qui brûle, c'est elle qui fait vivre et qui tue..,

Jules Janin[1]

Знать, в добрый час благословил нас Ф. В. Булгарин своими романами. По дорожке, проторенной его «Самозванцем», кинулись дюжины писателей наперегонку, будто соревнуя конским ристаниям, появившимся на Руси в одно время с романизмом. Москва и Петербург пошли стена на стену. Перекрестный огонь загорелся из всех книжных лавок, и вот роман за романом полетели в голову доброго русского народа, которому, бог ведает с чего, припала смертная охота к гражданской печати, к своему родному, доморощенному. И то сказать: французский суп приелся ему с 1812 года, немецкий бутерброд под туманом пришел вовсе не по желудку, в английском ростбифе, говорит он, чересчур много крови да перцу, даже ячменный хлеб Вальтера Скотта набил оскомину, — одним словом, переводы со всех возможных языков надоели землякам пуще ненастного лета. Стихотворцы, правда, не переставали стрекотать во всех углах, но стихов никто не стал слушать, когда все стали их писать.

[1] Критика в переходные эпохи заменяет то, чего уже больше не существует, что еще не родилось. Тем самым критика — это вся поэзия, это вся драма, это вся комедия, это весь театр, это все, что занимает умы; именно критика наполняет страстью и забавляет; именно она просвещает и зажигает, именно она дает жизнь и убивает... *Жюль Жанен (фр.).*

Наконец рассеянный ропот слился в общий крик: «Прозы, прозы! Воды, простой воды!»

На святой Руси по сочинителей не клич кликать: стоит крякнуть да денежкой брякнуть, так набежит, наползет их полторы тьмы с потемками. Так и сталось. Чернильные тучи взошли от поля и от моря: закричали гуси, ощипанные без милосердия, и запищали гусиные перья со всеусердием. Прежние наши романисты, забытой памяти, Федор Эмин, Нарежный, Марья Извекова, Александр Измайлов, скромненько начинали с какого-нибудь «Никанора, несчастного дворянина», с «Евгения, или Пагубные следствия дурного воспитания», с русского Жилблаза, который не чуждался ни чарки, ни палки. Тогда вороны не летали в хоромы!.. Добрые, простые времена! Но мы нашли, что простота хуже воровства. Острые локти наши, которые тоже любят простор, проглянули из тесных рукавов Митрофанушкина кафтана: иной бы сказал, что у нас выросли крылья, — так бойко начали мы метаться вдаль и в воздух. История сделалась страстью Европы, и мы сунули нос в историю; а русский ни с мечом, ни с калачом шутить не любит. Подавай ему героя охвата в три, ростом с Ивана Великого и с таким славным именем, что натощак и не выговорить. Искромсали Карамзина в лоскутки; доскреблись и до архивной пыли; обобрали кругом изустное предание; не завалялась даже за печкой никакая сказка, ни присказка. Мало нам истории, принялись мы и за мораль. «Нравоописательных ли, нравственно ли сатирических, сатирико-исторических ли романов? Милости просим! Кто купит?» О, наверно уж не я! В осьмую долю листа, в восьмнадцатую долю смысла, хоть торчковую мостовую мости. И надобно сказать, что все они с отличным поведеньем: порокам у них нет повадки; колют не в бровь, а прямо в глаз, не то что у иностранцев: на щипок нравоучения не возьмешь... У нас, батюшка, его не продают будто краденое из-под огонь; у нас оно облуплено словно луковка: кушай да локтем слезы вытирай. А уж про склад и говорить нечего! В полдюжины лет нажили мы не одну дюжину романов, подснежных, подовых романов, романов, в которых есть и русский квас и русский хмель; есть прибаутки и пословицы, от которых не отказался бы ни один десятский; есть и лубочные картинки нашего быта, раскрашенные матушкой грязью; есть в них все, кроме русского ду-

ха, все, кроме русского народа! Со всем тем почтеннейшая толпа земляков моих верит, что она покупает мумию русской старины во французской обвертке, с готическими виньетками, с картинками, резанными в Вене; верит, что эти романы — ее предки или современники; верит с тупоумием старика или с простоумием ребенка и целуется с этими куклами-самоделками; покупает не накупится, читает не нахвалится. Книгопродавцы, из бельэтажа собственного дома, поглядывают на бульвар и напевают: «Велик бог Израилев!» Добрейшие люди! А г.г. сочинители, возвратясь с какого-нибудь жирного *новоселья*, и гордо развязывая гордиевы узлы густо накрахмаленного галстуха, и с улыбкою трепая свою шавку, говорят ей: «Гафиз, друг мой, знаешь ли ты, что я русский Вальтер Скотт!» Заметьте, я сказал: *накрахмаленный галстух;* это недаром, м.м. г.г.! Это предполагает чистый галстух; а чистый галстух предполагает, что владелец его посещает хорошее общество, а хорошее общество требует прежде блестящих сапогов, чем блестящего дарования, следственно сочинитель наш должен ездить, по крайней мере в гости, в экипаже. Надеюсь, вы теперь меня понимаете! На моей еще памяти иные истинные таланты носили черные галстухи и в праздник; ходили, увы! даже не в резинных галошах по слякоти и — что таить греха? — клапялись в пояс пустым каретам. Слава богу, слава нашему времени, скажу и я вместе с вами, которое за чернила платит шампанским и обращает в ассигнации листки тетрадей. Я не буду неблагодарен ни к правительству, которое ободряет и ограждает умственные труды, ни к публике, начинающей ценить нераздельно с сочинением и сочинителя; но я не буду и льстить нашим романисцам. Подумав беспристрастно, я скажу свое мнение откровенно; по крайней мере ручаюсь за последнее. Я думаю, что, несмотря на многочисленность наших романов, несмотря на запрос на романы, едва ль не превышающий готовность составлять их, несмотря на ободрение властей, мы бедны, едва ль не нищи оригинальными произведениями сего рода.

Отчего это?

Признаться, на такой вопрос так же трудно отвечать, как на тот, почему у Касьяна черные глаза, когда у матери и отца они голубые? или почему огурец зелен, а смородина красна, хоть они растут на одном и том же

солнце? На *нет* и суда нет; та беда, что и на *есть* не подберем мы причины: зачем оно так, а не иначе?

Но пересеем повнимательнее то, о чем говорил я шутя, и, быть может, мы найдем разгадку если не посредственности наших романов исторических, то успеху исторических романов. В этот раз я не трону даже мягким концом пера нравственно-сатирических романов: пускай себе шляются по сельским ярмаркам или почиют в мире и в пыли. В утешение г-д сочинителей их, признаюсь, что прочесть иных не имел я случая, других не стало терпения дочесть, а многих, очень многих я вовсе читать не стану, хотя бы за этот подвиг избрали меня в почетные члены Сен-Домингской академии. Это дело решенное.

Мы живем в веке романтизма.

Есть люди, есть куча людей, которые воображают, что романтизм в отношении к читателям мода, в отношении к сочинителям причуда, а вовсе не потребность века, не жажда ума народного, не зов души человеческой. По их мнению, он износится и забудется, как перстеньки с хлориновой известью от холеры, будет брошен, как ленты à la giraffe[1], как перчатки à la Rossini[2] иль d'une altra bestia;[3] что, наконец, он минует, пройдет. Другие простирают староверство до неверия, до безусловного отрицания бытия романтизма. «Все, что есть, то было; все, что было, то будет; ничто не ново под луною!» Согласен!.. Луна есть светило ночное, а ночью все кошки серы; но, ради бога, господа, осмотритесь хорошенько: нет ли чего нового под солнцем? Знаете ли вы, м.м. г.г., что утверждать подобные вещи в наше время есть только героизм глупости — ничего более. Может ли сомнение в истине уничтожить самую истину, и неужели романтизм, заключенный в природе человека и столь резко проявленный на самом деле, перестанет *быть*, оттого что его читают не понимая или пишут о нем не думая?

Мы живем в веке романтизма, сказал я: это во-первых. Мы живем в веке историческом; потом в веке историческом по превосходству. История была всегда, свершалась всегда. Но она ходила сперва неслышно, будто кошка, подкрадывалась невзначай, как тать. Она буянила и

---

[1] А-ля жираф *(фр.)*.
[2] А-ля Россини *(фр.)*.
[3] Другого животного *(фр.* и *ит.)*.

прежде, разбивала царства, ничтожила народы, бросала героев в прах, выводила в князи из грязи; но народы, после тяжкого похмелья, забывали вчерашние кровавые попойки, и скоро история оборачивалась сказкою. Теперь иное. Теперь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно; она проницает в нас всеми чувствами. Она толкает вас локтями на прогулке, втирается между вами и дамой вашей в котильон. «Барин, барин! — кричит вам гостиподворский сиделец, — купите шапку-*эриванку*». «Не прикажете ли скроить вам сюртук по-*варшавски?*» — спрашивает портной. Скачет лошадь — это Веллингтон. Взглядываете на вывеску — Кутузов манит вас в гостиницу, возбуждая вместе народную гордость и аппетит. Берете щепотку табаку — он куплен с молотка после Карла X. Запечатываете письмо — сургуч императора Франца. Вонзаете вилку в сладкий пирог и — его имя Наполеон!.. Дайте гривну, и вам покажут за гривну злосчастие веков, Клитемнестру и Шенье, убийство Генриха IV и Ватерлоо, Березину и Св. Елену, потоп петербургский и землетрясение Лиссабона — и что я знаю!.. Разменяйте белую бумажку, и вы будете кушать славу, слушать славу, курить славу, утираться славой, топтать ее подошвами. Да-с, история теперь превращается во все, что вам угодно, хотя бы вам было это вовсе не угодно. Она верна, как Обриева собака; она воровка, как сорока-воровка; она смела, как русский солдат; она бесстыдна, как блинница; она точна, как Брегетовы часы; она причудлива, как знатная барыня. Она то герой, то скоморох; она Нибур и Видок через строчку, она весь народ, она история, наша история, созданная нами, для нас живущая. Мы обвенчались с ней волей и неволею, и нет развода. История — *половина* наша, во всей тяжести этого слова.

Вот ключ двойственного направления современной словесности: романтическо-исторического. Надобно сказать однажды навсегда, что под именем романтизма разумею я стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах. А потому я считаю его ровесником душе человеческой... А потому я думаю, что по духу и сущности есть только две литературы: это литература до христианства и литература со времен христианства. Я назвал бы первую литературой *судьбы*, вторую — литературой *воли*. В первой преобладают

чувства и вещественные образы; во второй царствует душа, побеждают мысли. Первая — лобное место, где рок — палач, человек — жертва; вторая — поле битвы, на коем сражаются страсти с волею, над коим порой мелькает тень руки провидения. Ничтожные случайности дали древней литературе имя классической, а новой имя романтической, столь же справедливо, как Новый Свет окрестили Америкой, хотя открыл его Коломб. Мы отбросим в сторону имена, мы, которые видели столько полновесных имен, придавивших тщедушных своих владельцев, как гробовая плита, мы, которые слышали столько простонародных имен, ставших торжественною песнию народов! Какое нам дело, что слепца Омира и щеголя Вергилия засадили в классах под розгу Аристотеля; какое нам дело, что романские трубадуры, таскаясь по свету, разнесли повсюду свои сказки и припевы; какое нам дело: классы ли, Романия ли дали имя двум словесностям!.. Нам нужен конь, а не попона.

Возьмемся же за первобытную словесность, начнем с яиц Леды, — и почему в самом деле не так? Разве эту фигуру не считают началом мира и человека? Я надеюсь, что вы читали Лукреция и Океna! Я надеюсь, что вы уже держали экзамен в асессоры!

Не помню, кто первый сказал, что первобытная поэзия всех народов была гимн. По крайней мере это мнение приняло чекан Виктора Гюго. Мнение, правда, блестящее, но ни на чем не основанное. «Человек, изумленный, пораженный чудесами природы, великолепием мира, необходимо должен был славить творца или творение. Удивление его излилось гармоническою песнею: то был гимн!» Итак, человек пел по нотам прежде чем говорил; итак, первая песня его была благодарность или торжество! Хорошо сказано! Жаль только, что этот первенец-певчий вовсе не сходен ни с вероятностию, ни с сущностию. Первенцы мира слишком озабочены были сначала тем, чтобы себе заверить бедное существование, ночь за день, день за ночь! Лишенные всякой защиты и оружия от природы, они должны были сражаться с непогодами, с землею, со зверями, и когда развернулось в них немножко ума, привычка наверно убила уже удивление к чудесам природы. Торжествовать ему было еще менее причины — ему, бедняге, пущенному в лес без шерсти от слепней, от холода, без клыков слона, без когтей тигра, без глаз рыси,

чтобы увидеть издали добычу, без крыльев орла, чтобы достичь ее. Очень сомневаюсь я, чтобы ему приходило на ум петь соловьем, умирая с голода. Что же касается до гимна благодарности, то мне хочется и плакать и смеяться: плакать за праотцев, смеяться с г.г. систематиками, которые порой мистифируют нас себе на потеху. Вы забыли, конечно, что тогда не было еще ни mr. Буту, ни Бретигама, чтобы одеть и обуть странника, не было трехэтажных гостиниц для ночлега, не было зонтиков и отводов, не было двухствольных ружьев с пистонами, не было карет на рессорах. Греки, правда, проскакавши в колесницах олимпийских, распевали гимны, но слава заменяла им рессоры. Зачем же, скажите мне, не поете их вы, баловни XIX-го века, вы, у которых есть и слава и рессоры? Скажите же или пропойте мне это! Чудной народ! Хотят заставить петь гимны дикаря, который учился говорить у шакалов, и молчат сами, слышав столько раз мамзель Зонтаг! Притом я не знаю еще, признаете ли вы Индию люлькою человеческого рода (это мнение убаюкало многих) или с Ласепедом полагаете четыре первобытные племени; или наконец, помирив, схватив за волосы обе эти системы (миротворство — точка сумасшествия нашего времени), вы думаете, что Атлас, Гиммалаия, Кавказ и Кордильеры, как добрые кони на хребтах своих, развезли из Индии племя человеков, что полутигр готтентот, полуорел черкес и полусемга лопарь родные братья? Но пусть наша первая, наша общая отчизна Индия; съездимте ж в Индию волей и неволей; видно, не миновать нам Индии. Г-а физиологи могут там изучить холеру в оригинале, г-а археологи — увериться, что (по зодчеству своему) церковь Василия Блаженного родная внучка такому-то или такому-то пагоду в Балбеке, а г-а поэты — доучиться санскритскому языку, который похож на русский словно две капли чернил, языку, на котором они сделали такие блестящие попытки. Правда, что мы не понимаем их, но вольно ж нам не знать по-санскритски. Прогуляемся ж в Индию, г-а, хоть для того, чтоб узнать, стоит ли там петь гимны! Пароход «Джон Булль» уж давно курится у набережной... Слышите ль, звонят в третий раз!.. Едем.

И вот мы плывем не только вверх по течению Гангеса, но и вверх по течению веков. Покуда не бросили еще сходня на берег, я скажу вам, что, по-моему, первобытная поэзия народов непременно зависит от климата. Так у

кафра, палимого зноем, и у чукчи, дрожащего от мороза, у обоих, которым голодная смерть грозит ежедневно, первая поэзия, как первая религия, есть заклинание. Он через колдуна, через шамана старается умилостивить злых духов или сковать их клятвами. Напротив, у скандинава, у кавказского горца, у араба, людей столько же гордых, как бедных, столько же свободных, как бесстрашных, у коих все зависит от самого себя, которые ничего в мире не знают выше собственных сил и отваги, поэзия есть песня самохваления. Прочтите вы саги, Оссиана, Моаллаки; послушайте песен аварца или черкеса: это вечная вариация местоимений *я* или *мы;* а «мы» значило у них мой род, моя деревня, моя дружина. Грек уже горд народною славою: у него отечество не одно свое селение; силы его в равновесии с силами природы; небо у него самое благорастворенное, и он, вдохновенный им, поет гимн — песню благодарности богам, песню торжества собственного. Но Египет, сожженный, закопченный солнцем Египет, который произведен и живет только милостыней Нила, или эта Индия — оба края столь богатые драгоценностями и заразами всех родов, где жизнь качается на острие гибели... Скажите, мог ли там человек, запуганный природою, начать поэзию песнею благодарности или торжества? Конечно, нет. Скорей всего она была *молитва,* ибо индиец боготворит все и всего хочет, ибо все манит его, и хочет с жадностию, ибо завтра для него существует. В Индии природа — мать и мачеха вместе для младенца-человека. Молоко великанских ее сосцов смешано с отравою; ее мед опьяняет, как вино romodendron;[1] благоухание цветов ее убивает мгновенно, как manzenilla;[2] она душит человека то избытком сил, то избытком даров своих. Он чувствует пред ней свое бессилие, свою ничтожность и ползает перед судьбою, видя суетность расчетов и залогов на будущее; он приносит жертвы Ариману, злому началу, наравне с жизнедавцем Сивою; он молится вещественным силам природы, нередко изуродованным через нелепый символизм отвлеченных качеств ее. Вот почему в многобожной Индии все носит на себе отпечаток религиозный, все, от песен до политического быта, ибо поэзия и вера, вера и власть там одно. Свидетели: «Магабхарата» и «Рамайяна», две огромные поэмы

---

[1] Ромодендрон *(лат.)*.
[2] Мансенилла *(лат.)*.

индийцев. Что такое они, как не последняя битва падшей веры и государства Магаде с победительною верою и властию будды? Это страшные грезы страшной действительности; это смешение самых чистых, первозданных чувств с самыми неестественными вымыслами; это благоуханная вязь цветов, перевитая жемчугом и алмазами, плавающая в потоке крови. Там убедитесь вы, что индиец может только роскошно мечтать, а не мыслить. Его герои — звери или волшебники; его боги — чудовища, его вера — угроза. Со всем тем, как ни грубы его верования, как ни бездвижны его касты, как ни причудливы его воображения, вы легко заметите в них попытку души вырваться из тесных цепей тела, из-под гнета существенности, из плена природы и нагуляться в новом, самозданном мире, отведать иной жизни, пожить с фантастическими существами. Это романтизм по инстинкту, не по выбору.

Но для чего нам распространяться о восточной словесности? Она неизвестна была древним, она чуть-чуть известна нам и потому не имела никакого влияния ни на классическую, ни на романтическую словесность. Заметим только, что фатализм, злобный, неумолимый фатализм Индии, смягчается у персов, поклонников огня, до мысли о благом промысле. Он молится уже не идолу, но недосягаемому солнцу, живителю мира; он бездействует, но уж более из лени, чем из безнадежности. Увидим, как яростен и силен этот фатализм, ринутый из своего покоя огнем Магоммеда, когда он дал обет арабам своим: мечом и Кураном завоевать свет и рай. Между тем как поэтическая религия ислама, подобно лаве, растекается по Востоку и зажигает его, сладкозвучный Фердуси плавит в радугу предания Персии и связывает ею истину с вымыслами. Говорю о «Шах-наме» (повесть царей), для которой ханжа персиянин до сих пор забывает свои четки, низкий корыстолюбец персиянин останавливает на воздухе руку, не досчитав своих туменов, для которой сластолюбивый лентяй персиянин открывает отяжелевшие от опиума веки, покидает незапертым гарем и спешит послушать «Шах-наме» от площадного певца. Он слушает, и улыбается, и гордо гладит бороду. Мил гуляка Гафиз, трогателен мудрец Саади, но Фердуси — о, это водопад Державина! Сколько раз уносился я одной музыкой стихов его, в то время, когда какой-нибудь мулла морозил мысль бессмысленным переводом!

И вот мы в Греции, в Греции, стороне богов, подобных людям, в стране богоподобных мужей! Я уверен, что этот salto mortale[1] не удивит вас: разве не учились вы прыгать в манеже? Что касается до меня, вы сами видите, что я вольтижирую на коньке своем не хуже Франкони-сына.

Вторая, несомненная степень поэзии есть эпопея, то есть народные предания о старине, одетые в шумиху басни. Да, история всех племен всегда начинается баснею, точно так же, как история всех народов должна заключиться нагою летописью, если верить, что род человеков совершенствуется. При истоке вы везде находите поэму в истории, равно как историю в сагах. Новички народы, точь-в-точь дворяне из разночинцев, всегда хотят облагородить своих предков, закрыть пестрыми гербами прежнюю вывеску, заставить расти свой родословный пень-гнилушку из облаков. Родоначальники их вечно или герои, или боги. Афинец ведет род свой от Феба; камчадал считает своим праотцем кита — это живительное солнце бытия его. Кроме того, первобытные народы младенчески верят всему, что льстит их самолюбию. Любо им, чтобы их боги ссорились меж собой за их запечные ссоры, чтобы они якшались с ними запанибрата; без чуда нельзя было поколотить их ни в одной схватке, нельзя было ступить шагу без содействия чародеев, ибо вера в чудесное превращала для них сверхъестественное в естественное, творила невозможное обыкновенным.

Туманы и вдали увеличивают предметы, дают им затейливые образы. То же самое и с историческими истинами сквозь пыльный туман древности, между тем как нравы и климаты дают обликам сих преданий разные характеры.

Грецию избрало, кажется, провидение проявить мысль, до какой высоты изящества доступен был древний мир, средою коего она была. Как ранний морской цветок, она возникла из океана невежества, быстро созрела семенами всего прекрасного, в науках, в художествах, в нравственности, в политике, в поэзии всего этого... бросила свое благоухание и семена ветрам — и увяла, увяла прежде, чем кровавые волны поглотили ее. Светлое небо Эллады отражалось не только в водах Эгейского моря, но и в душах, в нравах, гармоническом языке греков. Восточная

[1] Головокружительный прыжок *(ит.)*.

поэзия — чувственность и грёза, греческая — вся чувство верное, пылкое чувство, которое пленялось родною, величественною природою, которое рвалось из груди на простор, точно так же как сам грек всю жизнь проводил на воздухе, на раздолье. Выходец из Азии, он принес в своей котомке лишь самые легкие поверья и сказки детства; он бросил на месте прежних сторуких крокодилоглавых, птицеглавых, треглавых идолов; он забыл дорогою Аримана, он научился в скитаньях своих своевольничать; он окреп, он стал деятелен, он стал забияка, он стал крикун, он стал настоящим греком. И право, если б между разгульными богами Олимпа не замешалась грозная 'ΑΝ'ΑΓΚΗ — Судьба, от которой сами боги трепетали как осиновый лист, вы бы не узнали в гинецее — гарема, в Пирее — базара, в Алкивиаде — потомка какого-нибудь из героев «Магабхараты». Главное в том, что душа грека изливалась вся наружу: он жаждал битв и песен, он пел природу и битвы, и выражение их у грека было в совершенном соответствии с предметом; выражение его отличалось особенною гармоническою точностию и, так сказать, отражаемостию, зеркальностию. Вот отчего вся поэзия греческая, в стихах ли, в мраморе ли, в меди ли она проявлялась, ознаменована недоступною для нас и пленительною для всех красотою. Никто лучше не выражал чувственной природы, ибо нигде нет природы лучше греческой. Но не один голый перевод с природы, не слепое, безжизненное подражание жизни находим мы в поэзии греков. В произведениях искусств мы находим идеал вещественно-прекрасного, то есть тысячи рассеянных красот, гениально слитых воедино, красот, может никогда не виданных, но угаданных душою. В драмах, в одах сверкают уже мысли, заметно уже стремление к высокой, но неясной цели. Впоследствии философы высказали то, о чем намекали поэты. Романтизм оперялся понемногу; однако сколько веков протекло между Омиром и Платоном.

Омир!?...

Когда вы произносите это священное, освященное веками имя, кажется, вся Эллада восстает из праха огромным призраком!.. Кажется, видишь гиганта Атласа, который выносит на плечах своих весь древний мир из ночи забвения. Скажите, чего нет в «Илиаде» и «Одиссее»? «Феогония», родословие всей Греции, землеописание полу-

мира, история, анатомия, все, что знал в те поры гуртом род человеческий, все там, и это все — самая ничтожная, незаметная частица в сравнении с величием поэзии, с роскошью образов! Никто не знал, где качалась колыбель этого гения; никто не знает, где его могила. Он явился в мир, исчез из мира и до того изумил всех, что начали не без причины сомневаться в его существовании, по крайней мере в целости поэм, ему приписанных, трудов, едва ль доступных одному человеку.

Пускай, впрочем, будет Омир загадкою, заданною нам древностию; пускай имя его есть собирательное имя всех поэтов, до него живших; пускай «Илиада» есть перечень тысячи рапсодий, сшитых искусною рукою. Дело в том, что под его именем известные эпопеи стали типом, образцом тысячи других эпопей, начиная с «Энеиды» до какой-то русской *иды*, или *ады*, или *оиды*, в которой затеряны следующие стихи:

Меж тем как Феодор звонил в колокола
(Его любимая охота в том была).

Я думаю, каждый народ имел свои эпопеи, в каком бы лице они ни проявлялись: но имел в возраст юношества, не иначе. Юность все чувствует и всему верит; юность простодушна, как ребенок, и смела, как муж. Вот почему так неудачны были все попытки во времена разума создать или повторить народную эпопею. Большого промаха дал Торквато, замешав языческих богов в свою великолепную поэму, поэму христианскую в полной мере; но еще забавнее Вольтер, заставивший действовать отвлеченные понятия в лицах, своей надутой «Ганриаде», этой выношенной до нитки аллегории, которой рукоплескал XVIII-й век до мозолей, зевая под шляпою, и над которою мы даже не зеваем, оттого что спим.

Видя, что народ не верит уже сказкам, эпопея перекидывается в драму. Она отрубает от истории какое-нибудь частное происшествие и переливает его в свою огромную форму; выхватывает из толпы царей несколько имен, отмеченных природою или молвою, и путает их в невидимые цепи судьбы, бросает им молнию роковых страстей в грудь, растит эти страсти до великанских размеров, заставляет совершать страшные злодейства и потом, неумолимый судия, она бичует преступника змеями фурий, рассекает его огненным мечом своим пополам и показывает

его сердце наголо зрителям, безмолвным от ужаса,— сердце, на котором вы видите еще зубы совести, которое плачет кровью, которое трепещется от мучений. Такова была трагедия древних, трагедия Эсхила, Софокла и Эврипида. Оттого ли, что она для большей свободы избирала героев, уже удаленных во мрак старины, или покорна была влиянию наружности, только всегда она выводит на сцену царствования злосчастия, как будто человек не имел в себе довольно величия. Не так понимали природу Шекспир, Шиллер, Виктор Гюго,— и менее ль занимателен их падший ангел-человек, их человек-мещанин, родня богов — Атридов?

Напротив, комедия принадлежала собственно народу, ибо она изображала народ в домашнем быту, нараспашку, народ вольный однако ж, народ царя наизнанку, народ, который, зашивая дыры на тунике, толковал, как разбить Ксеркса или Югурту. Оттого комедия у греков и римлян имела всегда политическую цель: она колола смеша, она была прихожею Пирея или Форума, битвой застрельщиков, в которой партии пытали или добивали друг друга. Мы видели и увидим, что новая трагедия, или, лучше сказать, новая драма, которая, как жизнь наша, смеется и плачет на одном часу, вырывает своим деревянным кинжалом из могил еще неостылые трупы героев, не дожидаясь, чтобы давность увлекла их на исторический выстрел: она судит их у гроба, подобно египтянам, или, что и того злее, терзает их заживо, будто бы она, как орел, не может есть ничего, кроме животрепящего мяса. Да, рано застает нас потомство, жестокое, неумолимое потомство! Застает врасплох, подслушивает или угадывает нашу исповедь — и не дает разрешения; бросает горсть земли в очи покойника — и не молвит обычного *мир с тобою!* Нет... оно шевелит, оно вытаскивает, как шакал, на свет кости, бросает на ветер пепел, клеймит самую гробницу насмешкой или презрением или с проклятием ломает ее вдребезги!

Наконец за драмою возникает роман и потом идет об руку с драмою — роман, который есть не что иное, как поэма и драма, лиризм и философия и вся поэзия в тысяче граней своих, весь свой век на обе корки. Древние не знали романа, ибо роман есть разложение души, история сердца, а им некогда было заниматься подобным анализом; они так были заняты физическою и политическою деятельностию, что нравственные отвлеченности мало

имели у них места; кроме того, где, скажите, они являлись развитые не диссертациями, а приключениями? Жизнь была *сама по себе*, а ученость *сама по себе*... Я по крайней мере не знаю ни одного романа, завещанного нам древностию, ни одного, кроме ее историй. Роман, каковы «Гаргантюа» и «Дон-Кихот», — дети нового порядка вещей, наследники средних веков. О нас, мильонщиках в этом отношении, речь впереди.

Между тем важный перелом мира вещественного от мира духовного тихо готовился в Элладе и в Риме, уже источенных пороками... Мраморные боги шатались, но стояли еще; зато их треножники были холодны без жертв, сердца язычников холодны без веры. Давно уже Сократ толковал об единстве бога — и выпил цикуту, осужденный за безбожие. Но эта чаша смерти стала заздравной чашей нового учения, которое проникло даже в сердца пританов — убийц Сократа. Школа неоплатоников разрасталась, разливалась далее и далее, — она была для земли, раздавленной деспотизмом, прелюдией небесною! Души, томимые пустотою, чего-то ждали, чего-то жаждали, — и свершилось...

Древний мир пал.

Но он пал сражаясь, пал после долгой битвы, и стрелы его глубоко остались в теле нового ратоборца. Долго-долго потом, в поэзии, в художествах, в обычаях, отзывались поверья язычества, равно готического и эллинского. У бессмертного Данте Вергилий, come persona accorta[1], провожает поэта по всем закоулкам христианского ада. В католических соборах кариатиды-сатиры, кряхтя, поддерживают хоры или корчатся от святой воды в украшениях кропильницы. Языческие обряды остались доселе не только в играх народных, но слились иные и с обрядами веры. Зачем ходить далеко: вспомним постриги и поминки, вспомним игрища Ярилы и колядования о святках, семик и пр., и пр., и пр. Я уж не говорю, или я еще не говорю, о нашествии на Русь грецкого вкуса, который заставил нашего Ивана Горюна заиграть на свирелке Дафниса и Меналка, наслал в наши песенники купидонов и нимф и расплодил по всем городам пародии римских и греческих

[1] Как лицо благоразумное *(ит.)*.

зданий. Приторный вкус, несообразный ни с характером, ни с климатом нашим.

. . . .

Для нас, однако ж, необходим фонарь истории, чтобы во мраке средних веков разглядеть между развалин тропинки, по коим романтизм вторгался в Европу с разных сторон и, наконец, укоренился в ней, овладел ею. Странное дело: Востоку суждено было искони высылать в другие концы мира, с индиго, с кошенилью и пряностями, свои поверья и верования, свои символы и сказки; но Северу предлежало очистить их от грубой коры, переплавить, одухотворить, идеализировать. Восток провещал их в каком-то магнетическом сне, бессвязно, безотчетно; Север возрастил их в теплице анализа, — ибо Восток есть воображение, а Север — разум. Я не приглашаю с собой ни старичков наших в плисовых сапогах от подагры, ни молодежи с одышкою от танцев. Пойдут со мной одни охотники побродить, — но, ради бога, ни костылей, ни помочей!

Предпоследний римлянин умер с Катоном, последний — с Тацитом. Преторианские когорты продавали уже скипетр Августа с молотка, и бездарные тираны, один за другим, а иногда вместе по двое, всходили на престол, чтобы удивить с высоты этой Тарпейской скалы целый свет своим развратом и насилием. Но Рим стоил таких цезарей, когда мог ползать пред ними, лизать их стопы... Со всем тем имя *Рим* все еще пугало этих царей старинным духом мятежей. Оно упрекало их прежнею славою, прежними доблестями, настоящим позором обеих, и Константин перенес столицу в Византию. Рим переехал в Грецию, но переехал только в титуле императора; он не привез на берега Босфора ни пепла, ни духа предков. Римскому орлу приклеили еще голову, позабыв, что варвары подрезали ему крылья. Коварство заменило силу, семейные сплетни и расколы заняли изнеженный двор Византии, между тем как европейские, и азиатские, и африканские дикари напирали на границу империи, вторгались в ее сердце, пускали на жатву меч, раскатывали головней города. Какой словесности можно было ожидать при таком дворе, в таком выродившемся народе? Надутая лесть для знатного класса, щепетильная схоластика и богословские сплетни в школах — вот что, подобно репейнику, цвело там, где красовались прежде Тиртей, Сафо, Демосфен.

Правда, Иоанн Златоуст, святой Августин, Григорий Назианзин, Синезий, в Риме, в Киринее, в Афинах, в Птолемаиде, развивали во всем блеске и чистоте учение духовной жизни, воплощали христианский мистицизм или, лучше сказать, романтизм в нравы, но сила их пленительного, убедительного красноречия прошла с ними вместе; века и волны варваров протекли между их кликом и отголоском. Рим пал жертвой мести за насилие; Греция пала жертвой зависти от бессилия. Вся деятельность жизни сосредоточилась на Западе: там лишь, за развалины власти римской, бились кочевые народы, потоками крови смывали друг друга с лица земли или отбрасывали, загоняли куда глаза глядят; но в хаотическом мраке и буре средних веков готовился новый порядок гражданственности и нравственности. Народы-завоеватели стали станом посреди побежденных, разделили их вместе с землей промеж себя как добычу, сохранив и в мире на случай похода военное чиноначалие. Вся Европа обросла тогда замками феодальных баронов, между которыми раскрошилась власть прежних царей. Многие из готических и славянских народов управлялись сходками (Meeting, Wehrmaney, сейм), большая часть — князьями (könig, prince, suzerain, herzog earle, comte), избранными в вожди, в начальники, то на время похода, то на время мира, иногда для того и другого вместе. До поры оседлости, можно сказать, одна война была религией западных варваров, и потому христианская вера быстро разлилась между ними, равнодушными к старому, жадными к блестящим новостям. Лангобард, нарядившись в римскую тогу, захотел и молиться в римской базилике. Для победителей вера сия была роскошь, отличие, для побежденных — услада. Первым она давала частые предлоги к завоеваниям, вторым — надежду на свободу, на облегчение, по духу евангельского братства. Посереди этого брожения, волнования, сокрушения народов возникало неведомое варварам сословие духовенства, сословие, независимое от дворян десятиною с народа, защищенное от народа святостию своего сана. Непрестанно и беспредельно возрастающая власть его, власть, которой представителем был папа, доказала свету силу слова над совестию, победу духа над грубою силою. Пользуясь суевериями невежества, католическое духовенство (уже давно отделенное от восточной церкви) не без битв, но без славы захватило царство сего мира,

проповедуя «царство не от мира сего». Крест стал рукоятью меча; тиара задавила короны, и монастыри — эти надземные гробы — устремили к небу колокольни свои, сложенные из разрушенных замков. Со всем тем эпоха была самая драматическая, самая поэтическая: жизнь не текла, а кипела в этот век набожности и любви, век рыцарства и разбоев. Охотничьи рога гремели в лесу без устали. Вдали роптало аббатство вечерню звоном колоколов. Турниры сманивали воедино красоту и отвагу. Странствующие рыцари ломали копья на всех перекрестках. Барон на барона ходил войной вопреки своему сюзерену. Зато странник смело стучался в калитку феодального владельца, садился за нижний конец его стола и платил за гостеприимство рассказом. Бродячий певец был необходимое лицо и на пиру и на похоронах. Он выпивал чару (эта прелюдия сохранилась очень набожно между певцами) и пел, бренча на арфе; пел романсы про битвы и подвиги предков, про дивные приключения паладинов, про чародеев-завистников, про похищенных красавиц, про искушения святых угодников, которые выручали несчастных из когтей беса или из-под колеса судьбы. Но больше всего они пели про славу и любовь, ибо все тогда любили славу и славили любовь. Христианство вывело женщин изза решеток и покрывал и поставило их наравне с мужчинами. Рыцарство возвысило их над собою и природою, сделало из них идолов, обожало их, чуть не обожествило их. Обеты — испытания и постоянства, едва вероятные нам, — были тогда обыкновеннее хлеба насущного. Этот духовный союз душ, это неизменное стремление к предмету своей страсти, это чудное свойство — во всей природе чувствовать одно, видеть одно — не есть ли практический романтизм, романтизм на деле? Прибавьте ко всему этому установление военно-духовных орденов, проливших мрачный мистицизм на поэзию, и ужас, наведенный тайным судилищем на всех. Femgericht был какой-то кошмар, тяготевший над средними веками, какое-то подземельное привидение, поражавшее как разбойник из-за угла. А проклятия церкви? а инквизиция?.. Вот отчего песни труверов, миннезингеров, менестрелей так часто переходят от звона мечей ко вздохам, от клятвы к молитве, от грусти разлуки к бешенству гулянки, и песня их передко замирает недоконченная, будто они оглядываются со страхом, не подслушивает ли их какой домовой или рассыльщик.

Но всего более на готическую литературу произвело впечатление вторжение нордманнов (наших варягов) во Францию, мавров в Испанию и крестовые походы.

Шайки голодных, полунагих, но бесстрашных, бешеных славою скандинавов, кидались в лодки, выбирали себе морского царя (See Konung) и под его началом переплывали моря незнаемые, входили в первую встречную реку, волокли на себе ладьи по земле, если нужно было спустить их в другую реку, и по ней вторгались внутрь сильных, обильных государств, гибли или покоряли области, сражались, не спрашивая числа, грабили, истребляли, не щадя ни пола, ни святыни; но взяв оседлость, укрощались верою, хотя страсть к завоеваниям и водному кочевью долго бросала их потомков на другие народы.

Вспомним завоевание нашей родины и Нормандии сперва, завоевание Англии потом и частые набеги их в Испанию, в Сицилию, в Ирландию — всюду, где была добыча на приманку и вода для сплава. Скоро забыли скандинавы своего Одина, своих Валкирий, свою Валгаллу (рай), обещанную храбрым, — но дух саг их, но мысленность Севера, соединясь с остроумием и живостию французов, внедрились в характер нордманнский и, переплыв за Ламанш с Вильгельмом Завоевателем, перегорев в пламени битв и мятежей, возникли, величественны и самобытны, в литературе английской, которая по праву и по достоинству стала образцовою. Из этой-то амальгамы, беспечного, ветреного, легкомысленного, всегда поющего француза с жителем угрюмого Севера, который, будучи осажден зимою в своей хижине, поневоле был загнан в самого себя и углублялся в душу, произошел неподражаемый юмор, отличающий век наш. Стоики величались тем, что презирали страданье и смерть, — юмор делает лучше без всякой хвастливости: он смеется в промежутках страданий и шутит над смертию, играет с петлей, нередко рискует самою душой для острого словца. Мы воротимся к нему, когда станем говорить о стихиях романтической словесности.

Нужда выживала скандинавов из отчизны, а безумие отваги, жадность к славе влекли их к опасностям и завоеваниям. Мавры были двинуты вдохновением Магоммеда. С кликом: «Бисмалла! бисмалла (во имя божие)!» ворвались они в Испанию и принесли с собою Восток, во всей изящности поэзии, архитектуры и наездничества; но, по

несчастию, просвещение халифов было не звезда, а ракета: оно изумило, пленило всех — и погасло в неразгонимой туче испанского невежества. Но если с падением Боабдила университеты Пиренейского полуострова век от века погрязали глубже в болото вздорной схоластики, зато роскошь выражений, зато новость стиля чудно привились к европейскому романизму и утонченное рыцарство, вместе с сегедиллами и романсерами, вместе с витыми столбами, с кружевнопрорезными башенками, со стрельчатыми окнами, разлилось по всему лицу Европы.

Трудно постичь, как могли мавры-мусульмане возвыситься до такой степени чистоты в понятиях уважения к женщинам и рыцарской чести, в чем они стали указкою для европейцев! Впрочем, они, запирая жен своих под замок, тем не менее охочи были поволочиться за христианками, хотя бы то была чужая жена или невеста, и так же охотно давали серенады под окном своей Дильфериб (обольстительница сердец), как ломали копья на груди соперников по славе или по любви. Бросая символический букет на грудь своей любезной, мавр изъяснялся и в речи цветами, подобиями, гиперболами. Он ввел в моду узорочья, блестки, благовония, насечку, и скоро их калейдоскопическая пестрота отразилась на всей поэзии Юга и Запада, а крестовые походы сделали ее еще более общею. То была радуга Индустана, блеснувшая в облаках Европы.

Крестовые походы были умилительное, величественное событие. На зов бедного пустынника короли покинули свои короны, дворяне за оружие заложили или продали поместья, богачи роздали имения бедным или монастырям, и целые поколения, не зная дороги, не заготовив хлеба, ринулись куда-то, восторженные духом набожности и негодования, отбивать у неверных гроб господень. Стар и мал теснился в первый ряд на битву, восклицая: «Так хощет бог!» И трижды обрушивалась так Европа на Азию, подобно ледяной лавине, для того чтоб растаять под жгучим солнцем Палестины. Храбрые крестоносцы погибли все, потеряли все, и то, что завоевали, и то, что оставили дома. Но дело судеб божиих минуло недаром. Огромен был подвиг, следствия неисчислимы. Крестовые походы дали средства усилиться королям, во время отсутствия непослушных баронов, сплавить воедино мелкие народцы, округлить, устроить понемножку свои королевства. Единовластие и соединение (последствие его) бывали всегда

благодетельны во времена междоусобий. Крестовые походы пресытили духовенство окладами, возгордили его властию, проистекшею из религиозного направления умов, — и все это на пагубу себе. Разврат, лукавство, кичение, злоупотребление исповеди и разрешений, самое богатство духовенства пробудили в сердцах многих народов глухое чувство нетерпения к деспотизму совести, чувство зависти к церковным поместьям, выращенным пóтом их... То было предтечею лютеранства, которое впоследствии раскололо наполы всю Европу, после тяжких войн и кровавых явлений. Кроме того, не одни мощи и раковинки принес инвалид-крестоносец на родину с берегов Иордана, о нет: из тяжких походов своих он принес семена веротерпимости. Науки раздвинулись опытным познанием света. Словесность разбогатела восточными сказками, столь причудливыми, столь замысловатыми! В них-то впервые простолюдины стали играть роли наравне с визирями и ханами, и дворяне в первый раз сознались вниманием своим, что и народ может быть очень занимателен — народ, который у себя водили они в ошейниках, будто гончих, и ценили часто ниже гончих. Но и европейские простолюдины (им далеко еще было до имени народа), не имевшие никаких прав, имели свои обычаи, свои забавы, свою поэзию. Составляя часть глыбы земли по закону, по природе они составляли часть человечества, и хоть ползком, но подвигались вперед; жили как вещь, но, как живая вещь, любили, ненавидели. Мало дошло до нас старинных песен черни европейской в первобытном виде (за исключением Британии и нашей Руси, где народ составлял массу), но мы можем угадать простонародное происхождение многих баллад в вычурных стихах певцов, которые занимали основу, нередко и самые выражения, у изустных преданий черни. Сказки зато, эта картина, это facsimile ума старины, быта старины, живые еще доселе в устах простонародья, лежат бездонным рудником для родной поэзии. Божественная поэзия! Ангел-утешитель старины! Ты являлась везде, где только нужно было отереть слезу или дать сладость улыбке. Ты одушевляла на добро и славу князей гуслями певцов; ты заставляла прыгать бедняг под липою гудком бродячего слепца; ты убаюкивала чудесною сказкою раба на пепле хижины, сожженной в двадцатый раз междоусобием. Ты смешила голодных солдат своими прибаутками; ты бросала символы

свои во все обряды важных случаев жизни; засыпала радужным песком крючковатое маранье (grimoire) приговоров. Ты населяла даже запечье и подполье резвыми жильцами, давала голос бутылке шинкаря, песню — оковам узника, блеск — топору казни. Ты была везде, украшала все; ты вила струны свои то из цепочки паникадила, то из тетивы, то из удавки. Простой народ почти всегда сохранял эту поэзию, но мы к ней только что возвращаемся; и слава богу! Лучше потолкаться у гор на масленице, чем зевать в обществе греческих богов или с портретами своих напудренных предков.

Между тем как дробные и большие владельцы тормошили друг друга, между тем как святые войны укликали их за тридевять земель, возникала и крепла в Европе, совершенно незнаемая в древности, стихия гражданственности — стихия, которая впоследствии поглотила все прочие, — я говорю о мещанстве, bourgeoisie. Купцы и ремесленники, обыкновенные жильцы городков, желая собственного суда и расправы, покупали право на опые у своего владельца, деньгами или услугами, а иногда, чувствуя себя в силе, возмущались просто, прибегали под защиту какого-нибудь соседнего владельца или епископа и дрались насмерть с теми, которые хотели по праву или по прихоти покорить их вновь; лукавили, ползали в бессилии и мятежничали опять до тех пор, пока сила какого-нибудь короля не уничтожала их дотла или сила обстоятельств не отстаивала до поздних времен. Случалось, что одна только часть города получала или брала право общины, отделялась стеной и нередко вела войну с соседами. Случалось, что сами короли производили деревни в слободы и города в общины, для населения их после язвы или разорения от врагов. Как бы то ни было, но эти коммюни (communes) не походили ни на Рим, ни на Спарту, где город был государство, ни на Лондон и Париж, где город — столица государства, ни даже на Тир, на Карфаген, на наш Новгород, которые владели областями, имели отдельный политический быт; это были просто города, иногда с неограниченным самоуправством внутри и часто без выгона за стеною. Но в стенах всех городов вообще, и вольных в особенности, кипело бодрое, смышленое народонаселение, которое породило так называемое среднее сословие. Не имея пяди земли, оно завладело силами и произведениями природы, наняло труды человека, отдало внаем

свои способности. Оно дало купцов, ремесленников, художников, ученых, надело рясу священника, парик адвоката или судьи, нахлобучило шапку профессора, переоделось в пеструю куртку странствующего комедианта; но всего важнее: оно дало жизнь писателям всех родов, поэтам всех величин, авторам по нужде и по наряду, по ошибке и по вдохновению. В них замечательно для нас то, что, родясь в эпоху мятежей и распрей, в сословии мещан, в сословии, понимающем себе цену и между тем униженном, презираемом аристократиею, которая в те блаженные времена считала все позволенным себе в отношении к нижним слоям общества, — авторы воспитали в своей касте и сохранили в своих сочинениях какую-то насмешливую досаду на вельмож и на дворян. Они сторицею отплатили им равно за насмешки и подачки, гораздо обиднейшие насмешек. Не могши ступить за китайскую стену благородства, которую сторожили могилы по крайней мере двенадцати поколений (quartieri), авторы бросали чрез нее стрелы сатиры, комедии или эпиграммы, толковали сельской и городской черни об обязанностях господ, а между тем дух времени работал событиями лучше, нежели все они вместе. Изобретение пороха и книгопечатания добило старинное дворянство. Первое ядро, прожужжавшее в рядах рыцарей, сказало им: «Опасность равна для вас и для вассалов ваших». Первый печатный лист был уже прокламация победы просвещенных разночинцев над невеждами-дворянчиками. Латы распались в прах. Ковы и семейные тайны знатных стали достоянием каждого. Дух зашевелился везде: он рвался на простор, оттого что телу пришло чересчур тесно. Открыли Новый Свет; новый волкан потряс Европу, утомленную папизмом. Войны протестантов на поле и на кафедре проявили духовность христианской религии во всей ее чистоте, а переводами на народные языки книг Священного писания она впервые стала знакома народу. С этих пор пророческий мистицизм, восточная роскошь описаний, иносказания и торжественность языка завладели всею поэзиею: мир Библии ожил под кистью Рафаэля, под пером Мильтона, отразился во всем и везде. Можно сказать: с той поры не преставала явная борьба двух начал политических, принявших на себя сперва краску религиозного фанатизма, а потом литературной исключительности. Реформаты отвергли католичество, оттого что оно впало в вещественность и вмешалось не в свои

дела, захватив чужое добро. Мы сбрасываем с себя классицизм, как истлевшую одежду мертвеца, в которую хотели нарядить нас. И ничего нет справедливее: дуб — прекрасное дерево, слова нет; но дубовый пень — плохая защита от солнца. Зачем же вы привязываете детей к гнилушке, когда они могут найти прохладу под кудрявою березкою? Для живых надо живое.

Со всем тем эпоха возрождения наук и художеств не понимала таких полновесных истин и, восхищенная находкою знаменитых произведений древности, уверила себя, что они безусловный образец изящного и что, кроме их, нет изящного. Затем она принялась подражать до упаду грекам, а пуще того римлянам, которые сами передразнивали греков. Притом латинский язык был наречением веры и чрез духовных, служивших за секретарей, стал наречием прагматики; он же был и ходячею монетою всех училищ. Ученый не смел говорить иначе, как по-латыни, а писать и подавно, хоть от его вандало-римского языка Цицерон и в могиле зарылся бы вглубь сажени на три. Так было везде для ученого класса, или, яснее сказать, для педантов; но даровитые умы срывались со смычка, на который их спаривала с Аристотелем свинцовая схоластика, и пробивали новые тропы в области прекрасного. Одна Франция, имевшая столь обширное влияние на всю Европу и в особенности на словесность нашу, Франция живая, Франция вертляпая, Франция, у которой всякий вкус загорается страстью, — постриглась в монахини и заживо замуровала свой ум в гробовые плиты классицизма. В то время как Италия владела уже Дантом, одним из самых творческих, оригинальных гениев земли; когда Кальдерон населил испанскую сцену драмами, полными огня и простоты; когда Камоэнс выплыл на доске с разбитого корабля, держа над головою своих «Лузитан»; когда Англия, в мятеже волн и междоусобий, закалила дух Шекспира, великого Шекспира, который был сама поэзия, весь воображенье... эолическая поэзия Севера, глубокомысленное воображение Севера... в то время, говорю, Франция набивала колодки на дар Корнеля и рассыропливала Расина водою Тибра, с оржадом пополам. Пускай бы еще она изображала древний мир, каков он был в самом деле, — но она не знала его, еще менее понимала.

Французы нарумянили старушку древность красным-красно, облепили ее мушками, затянули в китовые усы, научили танцевать менуэт, приседать по смычку. Бедняжка запиналась на каждом шагу своими высокими каблучками, путалась в хвосте платья, заикалась цезурами сверх положения, была смешна до жалости, скучна как нельзя более. Но зрителей и читателей схватывали судороги восторга от маркизов Орестов, от шевалье Брютюс, от мадам Агриппины, лиц очень почтенных, впрочем, и весьма исторических притом, которые посменно говорили проповеди александрийскими стихами и обеими горстьми кидали пудрой, блестками и афоризмами, до того приношенными, что они не годились даже на эпиграфы. Да одних ли древних переварили французы в своем соусе? Досталось всем сестрам по серьгам. И дикая американка, и турецкий султан, и китайский мандарин, и рыцарь средних веков — все поголовно рассыпались конфетами приветствий, и все на одну стать.

Зажмурьте глаза — и вы не узнаете, кто говорит: Оросман или Альзира, китайская сирота или камер-юнкер Людовика XIV. Малютку природу, которая имела неисправимое несчастие — быть не дворянкою, по приговору Академии выгнали за заставу, как потаскушку. А здравый смысл, точно бедный проситель, с трепетом держался за ручку дверей, между тем как швейцар-классик павлинился перед ним своею ливреею и преважно говорил ему: «приди завтра!» И как долго не пришло это завтра, а все оттого, что французы нашли божий свет слишком площадным для себя, живой разговор слишком простонародным и вздумали *украшать природу, облагородить, установить язык!* И стали нелепы оттого, что чересчур умничали.

Чудное дело: французы, столь охочие посмеяться и пошалить всегда, столь развратные при Людовике XV и далее, словно вместо епитимьи, становились важны, входя в театр, стыдились услышать на сцене про румяны и слово *обед* изъясняли перифразами, как неприличность! Французы, столь пылкие, столь безрассудные в страстях, восхищались морожеными, подкрашенными страстями, не имевшими в себе не только правды, но даже и правдопо-

добия! Французы, у которых так недавно были войны Лиги, Варфоломеевская ночь, аква-тофана и хрустальные кинжалы Медицисов, пистолет Витри и нож Равальяка, у которых резали прохожих на улицах середи белого дня и разбивали ворота ночью запросто, — на театре боялись брызги крови, капли яду, прятали все катастрофы за кулисы, и вестник обыкновенно выходил рапортовать о них барабанными стихами. Мало этого: не смея драться перед зрителями, французские герои не смели ни поесть, ни вздремнуть, ни побраниться перед ними[1], — котурны подпимали их до облаков. Кроме того, Аристотелева пиитика, растолкованная по-свойски, хватала вас за ворот у входа и ревела: «Три единства или смерть! Признавайтесь: исповедуете ль вы три единства?» И, разумеется, вы крестились и говорили: «Да разве я, как гриб, вырос под сосною! Разве я не сидел на школьной лавке!» И вот вас впускали в театр; и вот вам заказывали накрепко сморкаться и кашлять; и вот вам говорили: «Эта запачканная занавеска — храм эвменид или дворец тирана (имярек); действие не продолжится более суток (скомканных в четыре часа, не исключая и междудействий); а всего покойнее, что оно не укатится далеко, и будьте вы хоть подагрик, все-таки догоните его не задыхаясь». Жалкие мудрецы! И они еще уверяли, что вероятность соблюдена у них строго... Как будто без помощи воображения можно забыться в их сидне-театре более, чем в английском театре-самолете, не скованном никакими условиями, никакими приличиями, объемлющем все пути, всю жизнь человека! Неужто легче поверить, что заговорщики приходят толковать об идах марта в переднюю Цезаря, чем колдованью трех ведьм на поляне? Ужели воображение, как извозчик, нанимается только на день и боится перейти через улицу, чтоб не получить насморка? Ужели оно лучше поймет напыщенный, чопорный, условный язык, которым не говорила ни одна живая душа, нежели обычное между людьми наречие?

Как ни противуестественно все это, но все это сохранилось в целости до 1820 года. Франция побыла республикою, побыла империею; революция перекипятила ее до

[1] Что вытерпел Корнель, позволив в своем «Сиде» пощечину!.. Вольтерова Мариамна упала оттого, что какой-то шалун закричал при отравлении: «La reine boit!» [«Королева пьет!» *(фр.)*]. *(Примеч. автора.)*

млада в кровавом котле своем, но старик театр остался тем же стариком. Ломая алтари, Франция не тронула точеных ходулей классицизма; она отрекалась веры и осталась верна преданиям Баттё, стихам Делиля, так что когда русский казак сел на даровое место в Одеоне, в 1814 году, он зевал от тех же длинных, длинных монологов, от которых зевать изволил и Людовик XIV, с тою только разницею, что революционер Тальма осмелился не петь, а говорить стихи, проглатывать цезуры и ходить по-человечески, а не гусиным шагом.

Но не вся литература французская катилась по театральной колее. Смерть Людовика XIV выпустила на волю умы и нравы. Придворное волокитство превратилось в разврат, ханжество — в вольнодумство. Материализм закабалил философию. Рабле, проницательный ловец слабостей общества, и Монтань, глубочайший исследователь слабостей человека, оба романтики первой степени — были забыты. Мольер и Лафонтен, два гения, которые посреди всеобщего лицемерства и ползанья умели сохранить искренность и смели говорить правду, — пошли за бесцен. Вольтер, с дружиною энциклопедистов, овладел всем вниманием Европы, Вольтер, который был трибуном своего века, представителем своего народа. Гордый ползун, льстец и насмешник вместе, скептик по рождению и остроумец по ремеслу, он первый своими сказками научил вольнодумство наезднической стрельбе насмешками. Вольтер был Диоген XVIII века, но Диоген-неженка, Диоген с ключом на кармане, Диоген, который не только смеялся над людьми и богами, но льстил богу и людям.

Как ни велика была, однако ж, власть Вольтера, даже у нас, где иные до сих пор считают его, жалкого болтуна, величайшим философом, Вольтер не опередил своего века. Своевольный, оригинальный в родах сочинений, им созданных, он от души копировал в «Ганриаде» древнюю эпопею, смеялся над мужиком Шекспиром и, не веря ничему, набожно веровал в предания французского театра. Можно судить, что он был по плечу своим современникам, когда Академия избрала его в свои члены — за «Орлеанскую деву», поэму, пятнающую век свой! И Франция рукоплескала этой поэме, в которой он волочил по грязи священное имя Иоанны д'Арк и отдавал посмеянию чистейшую славу ее предков!

Но романтизм имел представителя и в эту пору веще-

ственности: то был независимый чудак Руссо. До него, около него, в политике, в законоведении, в художествах, в поэзии, ученые не видали ничего выше греков и римлян, — идеал совершенства был у них назади. За утопией рылись они в земле, а не в небе. Напротив, блестящий сон Руссо, увлекательный парадокс Руссо, отверг не только все обычаи общества, но извратил и самую природу человека, создал своего человека, выдумал свое общество. Правда, подобно Платону, он заблудился в облаках, он не достиг истины, главного условия поэзии; но он искал ее, он первый, хотя и в бреду, сказал, что мир может быть улучшен иначе, как есть, иначе, как было. Дон-Кихот утопии, он ошибся в приложении; но начала его были верны. Поэт без рифм, мыслитель без педантства, он составил звено между материализмом века и духовностью веков.

Но современники не могли постичь в Руссо борения двух этих сил, не умели оценить его искренности: они только заслушивались гармонии его красноречия, выписывали страницы из «Элоизы» в свои billets-doux[1] — и отправлялись в маленький домик, на свидание с какой-нибудь маленькою маркизою. Откупщики доживали тогда остальные мильоны, аристократия — последний кредит свой, но все звенело, все прыгало: деньги и люди; система Лау изображала золото, которого уже не было, титулы — достоинства, которые исчезли; литература стала мелочна, как люди, бесстыдна, как люди. Кребильон-сын и подражатели Грекура (я беру только фланговых) были достойными историками этой поры холодного, жеманного разврата, с насмешкою на устах, с носом на ветер, с грудями напоказ... Не наше дело исследовать грозу, всколебавшую всю Европу до дна и надолго; но долг наш заметить, что в последние годы перед революцией началось переселение мнений, гораздо разрушительнейшее, чем переселение народов, и центром его была Франция, а проводником его — французский язык.

Материальная Европа хлынула в Россию, когда Петр Великий сломал стену, их делившую; но веку Петра некогда было заниматься словесностию; его поэзия проявлялась в подвигах, не в словах. Долгое бездействие пало на Русь с кончиною его кипучей деятельности, а в час досуга

---

[1] Любовные записки *(фр.)*.

русский барин любил чужестранные сказки; он искони отличался необыкновенною уступчивостию своих нравов, необыкновенною приемлемостию чужих. Он пил кумыс с ханами Золотой Орды; он носил контуш при Самозванце. За бороду, правда, он спорил долго, будто б она приросла у него к сердцу; но раз в мундире — он грудью полез в немцы. При Елисавете французские нравы сменили обычаи Бирона — русский барин не остался и тут назади, так что в царствование Екатерины смешение языков гасконского с нижегородским не было уже диковинкою. С тех-то пор привыкли мы жить парижскими обносками и объедками, не разбирая старого от нового, хорошего от худого. С тех-то пор французская литература завалила матушку-Русь своими обломками и своими потомками. С приторною французскою кухнею въехали к нам и герои французского стряпанья. Бульон (не граф Бульон) и галантин выставлены были на одном паспорте с Нарцессом и Клелиею, рагу и фрикассе нагрянули об руку с Полифонтом и Нероном, тиранами желудка и терпения в четырех лицах. Зефиры и Адонисы, Оронты и Селимены, сахарные голубки и розовые барашки переложены были чепчиками и робронами. Мраморная челядь Олимпа, оборыши со всей Италии, замыкала шествие. Но пусть бы уж вытерпели мы одну скуку от настоящих и переделанных на русские нравы Криспинов, Валеров, от злодеев и наперсников, которые приходятся ко всем лицам, как винты Систербецкого завода ко всем гайкам. Пускай бы уж осуждены мы были слушать ухорезную французскую музыку, питаться соусами-микстурами, слоняться по стриженным в виде грибов аллеям Ленотра, любоваться пестрядинными картинами Ванлоо. Так нет, Франция XVIII века наводнила нас песнями, гравюрами и книгами, постыдными для человечества, гибельными для юношества, выдумками, охлаждающими сердца к доблестям старины, лишающими собственного уважения. Эти-то отвратительные подстрекания убивали в цвету лучшие надежды России, ставя целью бытия животные наслаждения, внушая неверие, или, что еще хуже, равнодушие, ко всему благородному в человеке, ко всему священному на земле!..

Краснея как русский, упоминаю (вспоминать я, слава богу, не могу) про эту эпоху графинек и князьков, мушек и фижм, привозных романчиков в двенадцатую долю и связей на три часа, не имевших извинением ни любви, ни

пылу, ничего, кроме моды, — связей, не посыпанных даже блестками французского остроумия! — эпоху, в которую городское дворянство наше так же усердно старалось выказывать свою безнравственность, как в другое время ее прячут, в которую продажность гуляла везде без укора или скрывалась без труда!! Довольно, и через край, золотили мы прошлый век свой — время наперекор нам съедает эту сусальную позолоту... Старички ахают, заводя слово о тогдашних весельях, о дешевизне, о легкости жить и служить! Надо знать (не к тому будь сказано), каково отозвалось это деткам? Они выплачивают долги их и аптеке и ломбарду, за их безрасчетную роскошь на именье, на здоровье, на самую доброту. Эмигранты отдарили нас за гостеприимство не одною своею ничтожностию и безграмотными гувернерами, но профилями своими, но и пудами сублимату, но и душегубными книжонками, с которых переводы таятся доныне в углах наших уездных библиотечек на соблазн внукам. Кто, однако ж, выследил пути провидения, кто? Может быть, оно нарочно дает грязному ручью пробраздить девственную землю, чтобы в его ложе бросить по весне многоводную реку просвещения!..

И не одна мода была причиною пристрастия русских к французской литературе, но и потребность. По моде я могу пить лимонад вместо квасу, но жажда тем не менее существует во мне, независимо от подражания или привычки. Жажда чтения пробудилась и в русских с начатком просвещения; а из какого источника могли они скорей всего утолить ее, как не из самого подручного? Свое не было еще создано или таилось забыто! Англия для нас лежала тогда на дне моря-океана, Германия была еще неметчиною (то есть бессловесною) не для одних нас, древность пела лазаря в одних семинариях, и Тредьяковский отпугнул русских надолго от гекзаметров и древних своими попытками. Ломоносова, правда, хвалили все... и никто не читал!.. Публика *экспликовала* свою *десперацию*, что ей нечего читать. *Аттенция*, с которой она приняла Курганова письмовник, ободрила писак на дальнейшие подвиги, и вот Скюдери обновилась для нас в Феодоре Эмине, Реньяр назвался Княжниным, трагедия завыла Сумароковым, эпопея отпела себя в Хераскове. И вдруг из этого моря миндального молока возник огнедышащий Державин и взбросил до звезд медь и пламя русского слова. Самородный великан этот пошел в бой поэзии по безднам,

надвинул огнепернатый шлем, схватив на бедро луч солнца, раздавливая хребты гор пятою, кидая башни за облака. Философ-поэт, он первый положил камень русского романтизма не только по духу, но и по дерзости образов, по новости форм. Прочтите его «Ласточку», его оду «Бог», его оду «К счастию», его «Фелицу», «Вельможу», «Водопад» — и вы назовете их романтическими поэмами. Его восторг сплавлен всегда с грустною мечтательностию.

Но едва ли успех Державина заключался в его таланте. Все поклонялись ему, потому что он был любимец Екатерины, потому что он был тайный советник. Все подражали ему, потому что полагали с Парнаса махнуть в следующий класс, получить перстенек или приборец на нижнем конце вельможи или хоть позволение потолкаться в его прихожей... Все читали Державина — очень немногие понимали. Публике нужна была словесность для домашнего обихода... И вот Богданович промолвился очень мило своею «Душенькою». И вот фон Визин замеденил для потомства лица своих современников-провинциалов. И вот явился Дмитриев с легким стихом, с летучим рассказом, с наречием лучшего общества, кой-где с прозеленью народности. Но почти весь он состоял из переводов. Наконец блеснул образователь нашей прозы Карамзин. Судьба дала ему две почти несовместные для других выгоды: внушить в русских романтическую мечтательность и потом заставить их полюбить родную историю; возбудить страсть к самым нелепым вымыслам и к самым положительным изысканиям, как будто предвещая собой двойственное направление века, которому предшел он. Гравировка началась у нас лубочными картинками Спасского моста, знакомство с немецкою словесностию — драмами Коцебу. Мещанство их не испугало нас (династия Атридов не крепко въелась в наши нравы). Понравилось нам и посмеяться сквозь слез — это так близко к природе. Тогда Коцебу и Жанлис уже начали вводить в моду ложную чувствительность, аханье над пустяками, слезы участия для слабостей любви, именно для слабостей, — огня страстей, яду страстей они не знали. Карамзин привез из-за границы полный запас сердечности, и его «Бедная Лиза», его чувствительное путешествие, в котором он так неудало подражал Стерну, вскружили всем головы. Все завздыхали до обморока, все кинулись ронять алмазные слезы на ландыши, над горш-

ком палевого молока, топиться в луже. Все заговорили о матери-природе — они, которые видели природу только спросонка из окна кареты! — и слова *чувствительность, несчастная любовь* стали шиболетом, лозунгом для входа во все общества.

Вопреки этому безвременному расслащенному вертеризму, занятому по передаче от немцев, XIX век взошел не розовою зарею, а заревом военных пожаров; но Русь еще дремала, русская словесность еще пережевывала Мармонтеля и мадам Жанлис. Один только самобытный, неподражаемый Крылов обновлял повременно и ум и язык русский во всей их народности. Только у него были они свежи собственным румянцем, удалы собственными силами. Он первый показал нам их без пыли древности, без французской фольги, без немецкого венка из незабудок. Мужички его — природные русские мужички; зверьки его с неподкрашенною остью. Счастливцы мы: Крылов и XIX век были нашими крестными отцами! Первый научил нас говорить по-русски, второй — мыслить по-европейски. Тогда Державин уже дотлевал между новыми развалинами любителей русского слова. Дмитриев молчал уже; Карамзин еще писал только свою «Историю». Один Крылов был достойным представителем словесности нашей.

Между тем Европа проживала века в немногие годы. Русь везде простирала меч свой между деспотизмом Наполеона и правами народов, которым грозил он; сражалась за них... всегда благородно. Купчиха Англия стреляла чугуном и золотом и пасквилями в великана, который обещал согнать ее с земного шара. Только Германия, улетев из житейской жизни, углубясь в умозрительные тонкости, прислушивалась к гармонии сфер и подобно Архимеду не слыхала, что враги берут приступом ее священные твердыни. Англия давно имела свою огромную оригинальную поэзию, но она жила с нею посреди волн и туманов, одиноко, как отшельник, счастливый миром дивных мечтаний, в груди его совершающихся. Мир этот долго жил без отголоска в нашем мире, покуда гений Шиллера не угадал его девственной прелести и не усвоил немецкой словесности романтизма Шекспирова во всей величавой его простоте. Пред ним, за ним, рядом с ним закипела словесность, история, философия, критика новыми, смелыми, плодотворными идеями, объяснившими человечество, раздвинувшими ум человека уже не бедным опытом, как прежде, но пыт-

ливостию воображения. Тогда же блеснул и Гете, который собрал в себе ярким светилом все лучи просвещения Германии, который воплотил, олицетворил в себе Германию, мечтательную, полуземную Германию, вечно колеблющуюся между картофелем и звездами, Германию, которой половина в пыли феодализма, а другая — в облаках отвлеченностей, Германию, простодушную до смеха и ученую до слез, Германию все объемлющую, все любящую, все знающую, все, начиная с фиглярств Изидина храма до замыслов Розенкрейцеров, от символизма Зенд-Авесты до магнетизма земли.

Все, что создали гении германские для памяти, для умозрения, для воображения, совместилось в Гете. Все яркое в мире отразилось в его творениях, все... кроме чувств патриотизма, — и этим-то всего более осуществил он в себе Германию, которая вынула из человека душу и рассматривала ее отдельно от народной жизни, анатомировала законы природы без отношения их к человеку. Фауст есть фокус гения Гете, точно так же как сам он был фокусом просвещения и духа германского.

Но Германия, истощенная умственным усилием ее гениев по всем отраслям точного и прекрасного, гениев, которые каким-то чудом взошли дружными созвездиями вдруг на горизонте прошлого полустолетия, упала в дремоту и, воротясь из всемирного облета, уселась за частности, за быт запечный, нарядилась в alte deutche Tracht [1], заиграла на гудке сельскую песню, зафилософствовала на старый лад с Гегелем, затянула с Уландом про *что-то* и *нечто,* превратилась в лепет засыпающего. В эту-то эпоху застал ее Жуковский и, плененный чистою мечтательностию Шиллера и легендами немецкой старины, пересадил романтизм в девственную почву русской словесности. Но он пересадил только один цветок его, один из необъятной его природы. Еще Русь отзывалась грустными напевами Жуковского, еще перед очами нашими носились туманные образы его поэзии, еще сердце теплилось его неземною любовью, его отрадными надеждами замогильными, когда блеснул Александр Пушкин, резвый, дерзкий Пушкин, почти ровесник своему веку и вполне родной своему народу. Овладев языком, овладеваем страстями до глубины души, он скоро мог сказать вниманию публики: «Мое!»

---

[1] Древненемецкие одежды *(нем.)*.

Сначала причудливый как Потемкин, он бросал жемчуг свой в каждого встречного и поперечного; но, заплатив дань Лафару и Парни, раскланявшись с Дон-Жуаном, Пушкин сбросил долой плащ Байрона и в последних творениях явился горд и самобытен. Но я не раскинусь в обзоре ни о Державине, ни о Жуковском, ни о Пушкине; да и зачем бы я стал пересказывать то, что так дельно, так беспристрастно, так увлекательно высказано в «Телеграфе», журнале, которым должна гордиться Россия, который один стоит за нее на страже против староверства, один для нее на ловле европейского просвещения!

Впрочем, имея целию заметить, какое влияние производила действительность на поэзию и как высказывались века поэтами, я не поставлю Державина на одну доску с Жуковским и Пушкиным, потому что первый изумил всех, подобно комете, но исчез в пучине воздуха без следа; а два последние были двигателями нашей словесности и затаврили своим духом целые табуны подражателей. Народность Державина ускользнула от его близоруких современников точно так же, как незаметно протекла чистота языка Ломоносова прежде, и Державин, несмотря на ливень торжественных од, умер без наследников, даже без подражателей.

Жуковский и Пушкин, напротив, при жизни своей увлекли в свою колею тысячи, но увлекли нечаянно, неумышленно, так сказать *гусаром* [1]. Тьма бездарных и полударных крадунов певца Минваны сделались вялыми певцами *увялой* души, утомительными певцами *томности*, близорукими певцами *дали*. И потом собачий вой их баллад, страшных одною нелепостию, их бесы, пахнущие кренделями, а не серою, их разбойники, взятые напрокат у Нодье, надоели всем и всякому не хуже нынешней гомеопатической и холерной полемики. С другой стороны, гяуризм и донжуанизм, выкраденный из карманов Пушкина, размененный на полушки, разбитый в дробь, полетел изо всех рук. Житья не стало от толстощекой безнадежности, от самоубийств шампанскими пробками, от злодеев с биноклями, в перчатках glacés; [2] не стало житья от похмельных студентов, воспевающих сальных гетер Фонарного переул-

---

[1] Бильярдное выражение. Когда безрасчетным ударом игрок положит в лузу шар, в который не метил, это называется — гусар. *Примечание для прекрасного пола. (Примеч. автора.)*

[2] Лайковые *(фр.)*.

ка. Но как бы то ни было, мы перестали играть в жмурки с мраморными статуями и роковое слово *романтизм!* было произнесено. Оно раздалось выстрелом.

Надо было видеть, как встрепенулся тогда старикашка классицизм от дремы на своей кафедре, источенной червями. «К перу! к перу!» — возопиял он гласом велиим и, наточив указку, потащился в бой с романтиками. Должно признаться, что бескровный бой этот был очень смешон. Старики не постигали древних; молодежь толковала о новых писателях понаслышке. Одни задыхались под ржавыми латами, другие не умели владеть своим духовным ружьем.

Стыдно, право, упоминать, что писали те и другие в обвинение друг друга! Но молодежь между тем понемножку училась, кой-что вычитала, — а старички наши только упирались; конец можно было предвидеть: фарфоровый Голиаф брякнулся оземь,

И весь ...ща там образ напечатал.

Майков

Романтизм победил, идеализм победил, — и где ж было воевать пудре с порохом? Но не будем самолюбивы. Не наши силы, не наши познания были виною такой победы — далеко нет! Нас выручило время, единственный в свете старик без предрассудков, старик, который вечно балует молодежь и шалит с нею заодно. Мы не приняли романтизма, но он взял нас с боя, завоевал нас, как татары, так, что никто не знал, не ведал, откуда взялись они? Он скитается между нами, этот вечный жид; он уже строит свои фантастические замки, а мы все спорим, существует ли он на свете, и, вероятно, не ранее поверим, что он получил русское гражданство и княжество, как прочитав это в «Гамбургском корреспонденте».

Вместе с появлением у нас германской мечтательности и английского сплина еще пожаловал на святую Русь нежданный, но милый гость: я говорю об историческом романе. Гений Вальтера Скотта угадал домашний быт и вседневный ум рыцарских времен, точно так же как Гиббон постиг их быт политический, как Нибур выкопал Рим царей из-под тройной лавы консульства, императорства и папства. Да, Вальтер Скотт спрыснул их живой водой своего творческого воображения, дунул им в ноздри, сказал: «живите» — и они ожили, с румянцем жизни на ще-

ках, с биением действительности в груди. Это не выходцы из могил, с прахом тления на теме, не тень Саула в общем смертном мундире, то есть в саване; напротив, это живые люди, с их мелкими страстишками, с их поверьями, с их обычаями, с любимыми их приговорками. Он распахнул перед нами старину, но не ее подвинул к нам, а нас перенес в нее, заставил нас любить, драться, буянить, пить, трусить вместе с своими героями и за своих героев. Конечно, в таможенном значении слова, Вальтер Скотт не романтик по предмету, но он романтик по изложению, по формам, по стерновскому духу анализа всех движений души, всех поступков воли. Он не говорит как идеализм: *почему?* Но он говорит *потому* и *потому-то*. Самая точка воззрения на старину доказывает, что он поэт, — этого довольно. Поэт в наш век *не может не быть* романтиком.

Континентальная система, запиравшая Европу от Англии, рухнула вместе с Наполеоном и в литературном отношении. По закону равновесия гидростатики, английская и немецкая мысленность пролились во Францию, как скоро опал вихорь, мешавший им прийти в уровень. Бурун от этого тройственного борения был страшный, потому что под именем романтизма и классицизма там сражались политические и религиозные партии. Сила, соединенная с убеждением, решила бой там; в этом наше дело сторона; но забудем ли, что мадам Сталь первая ввела в гостиную Франции германскую музу, а Вальтер Скотт заманил французов в знакомство с Шекспиром, разлакомил их своими досказками к истории и внушил Баранту его романтическую летопись. Одним словом и наконец, Вальтер Скотт решил наклонность века к историческим подробностям, создал исторический роман, который стал теперь потребностию всего читающего мира, от стен Москвы до Вашингтона, от кабинета вельможи до прилавка мелочного торгаша.

И вы думаете, что это сделалось людьми и вдруг?
Montaigne eût dit: «Que sais-je?», et
Rabelais: «Peut-être».

V. Hugo[1]

Я не скажу ни того ни другого, потому что я думаю иначе, потому что я верю в то, что обдумал...

---

[1] Монтень сказал: «Что знаю я?», а Рабле: «Может быть». *В. Гюго (фр.)*.

Изысканность европейская, оседлав газ и пар, искрестив облака и океаны, открыла новые миры и в области мышления и в пыли забвения. Чем далее пронзал взор ее туман будущего, тем вернее, тем глубже мог он проницать и в минувшее... Зрение расширяется во все стороны: это закон природы. Нибелунги, благодаря кропотливости, освободились из подземелья Сен-Гальского монастыря. Обновилась «Эдда» скандинавов; нашелся «Артус» и другие карловингские поэмы. Гебер открыл индийскую «Илиаду», а Карей, Шези, Козегартен, Вильсон растолковали ее. Мы, русские, выкопали свою прелестную жемчужину — «Песнь о полку Игореве»... Мог ли же русский свежий народ быть чужд этого движения? Мог ли он не подумать об истории, он, который так славно, так бескорыстно работал для истории? Карамзин заохотил нас к преданиям нашей старины; археологические попытки собрали кой-какие элементы для романа. Исторические повести Марлинского, в которых он, сбросив путы книжного языка, заговорил живым русским наречием, служили дверьми в хоромы полного романа... Любопытство было напряжено тем сильнее, что Пушкин только дразнил его главами «Онегина», что на театре не было ничего, кроме битых-перебитых водевилей с французского, только из учтивости называемых двусмысленными. И вот выискался, наконец, человек, который решился прыгнуть в разверстую пасть крокодила — публики. Это был Булгарин.

Г-н Булгарин исполнил этот подвиг так же удачно, как смело. Зависть, возбужденная его «Димитрием Самозванцем», доказала, что в нем были достоинства; но скажем правду: в нем он подарил нас европейским, не русским романом. Труд его, конечно, заслуживает одобрение современников, но едва ль врежется в память потомства, оттого что автор не постиг духа русского народа, недоглядел того, что не народ, а вельможи подкопали трон Годунова, что не любовь к Рюриковичам, а зависть бояр к власти недавнего товарища была причиной успехов Димитрия. Не Русь, а газетную Россию изобразил нам он. Мастер в живописи подробностей, естественный в теньеровских сценах, он натянут там, где дело идет на чувства, на сильные вспышки страстей. Характер Годунова очернен, характер Самозванца не выдержан, а государственные люди его чересчур просты и трусливы: им ли быть советниками или врагами царей, главами заговорщиков, виновниками пе-

реворотов! Потом, он слишком романизировал похождения своего героя и прибег к чудесному, очень уже изношенному, заставив колдунью пророчить Годунову самым пошлым образом над змеями и жабами, которых (между нами будь сказано) не найти в марте месяце ни за какие деньги. В «Петре Выжигине» историческая часть вовсе чахотна. Уверять, что Наполеон пошел в Россию, обманутый Коленкуром, будто его примут с отверстыми объятиями, можно было в 1812 году, не позже; да и тогда этим слухам верили только на гостином дворе. В подобном тоне писаны почти все портретные сцены с Наполеоном, а Наполеон занимает в «Выжигине» более места, чем сам герой повести. Русских едва видно, и то они теряются в возгласах или падают в карикатуру. Впрочем, ошибочные в целом, романы Булгарина в частностях носят отпечаток даровитого юмора, и многие из лиц его обратились в пословицу. Мы обязаны ему благодарностию за пробуждение в русских охоты к родным историческим романам. Он первый прошел по скользкому льду; мудрено ли, что стезя его излучиста? Теперь ступайте!..

Призыв не остался напрасен. Явился Загоскин, и с первой попытки догнал Булгарина, хотя он далеко не оправдал заносчивых титулов своих романов: «Милославский, или Русские в 1612 году», «Рославлев, или Русские в 1812 году»! Неужели три-четыре черты составить могут картину? Неужели пара помещиков, да пары две офицеров, да один уголок траншеи под Данцигом могут дать полное понятие о русских, о войне громового 1812 года? Помилуй бог! В истине мелких характеров и быта Руси он превзошел автора «Самозванца», нисколько во взгляде на события. Притом чужеземная поделка не спряталась у него под игривостью русского языка. Его Юрий — метампсихоза Вальтер Скоттова Веверлея. Его поп-партизан — испанский Эмпечинадо, его Зарядьев — капитан из романов Купера; даже героиня любви «Рославлева» вспенена из двух стихов трагедии «Освобожденная Москва»:

> Она жила и жизнь окончила для Вьянка:
> Да тако всякая погибнет россиянка!

Словом, нет в нем ничего необыкновенного, поразительного, но умилительного много, но забавного много, и вы не увидите, как дочитались до конца, и вы досадуете, зачем так скоро пресекает он ваше удовольствие.

Потом романы «Дочь купца Жолобова» и «Камчадалка», г. Калашникова, столь богатые картинными описаниями Сибири, потом «Стрельцы» и «Черный ящик» г. Масальского, столь драгоценные по материалам, объясняющим любопытнейшую эпоху нашей истории, доказали, сколь бессильно самое дарование, убитое подражанием. Один только сочинитель «Последнего Новика», несмотря на прыгучий слог свой и на двойную путаницу завязки, умел стать самобытным, умел избежать укора за вербовку подробностей исторических, оживив их горячею игрою характеров. Впрочем, не смею судить о целом, не читав последней части «Последнего Новика». Умалчиваю о сборнике всякой всячины, выданном под заглавием «Шемяка», и других подобных ему романах; из них отрывки вещуют, каковы они выльются; но я рад, что всякий герой находит себе у нас по писальщику и всякий писальщик публику по себе. Пускай читают хоть Александра Орлова — это все-таки лучше, нежели злословить, бездельничать или переметывать карты.

Между тем как Пушкин воздвигал пирамиду в пустыне нашей поэзии (я говорю об его «Годунове»), Н. Полевой, который с таким пылким самоотвержением посвятил себя правде и пользе русского просвещения, который так смело и неутомимо наезжал на заповедные имена, па заветные наши ничтожества в печатном мире и сводил нас не на шапочное знакомство, а на приязнь с европейцами,— Полевой издал три тома своей «Истории русского народа». То уже не был златопернатый рассказ Карамзина, но повествование, пернатое светлыми идеями. Не из толпы и не с приходской колокольни смотрел он на торжественный ход веков, но с выси гор. Взор его проникал в сердце народов, обнимал все ристалище человечества. Он вызывал на неумытный суд недостойных из толпы прославленных и обрывал с них незаслуженное сияние луч по лучу; зато с горячностию прозелита сдувал он черную пыль клеветы с чела праведников, брошенную на них пристрастием современников или ошибками позднейших историков. Напутствуемый Барантом, Тьерри, Нибуром, Савиньи, он дорывался смыслу не в словах, а в событиях, решал не по замыслам, а по следствиям — словом, подарил нас начатками истории, достойной своего века. Эта-то самая современность, с ее забиячливою походкою, с ее подозрительною ощупью, с ее отрывистою речью, кинулась в глаза нашей

посредственности, не золотой, даже не золоченой посредственности, которая не только не успевала за временем, да и не думала равняться ему хоть в затылок. Все зашевелилось. Университетский колокольчик приударил в набат. Зашипели кислые щи пузырные, и все, которых задевал Полевой своею искренностию, расходились на французских дрожжах. Зело русские и полунерусские подали друг другу руки и, припав за имя Карамзина, начали швыряться побранками. Полевой отвечал новыми услугами за новые насмешки. Ему вспало на ум: досказать русскую историю — повестью, ознакомить нас с домашним бытом предков наших без прикрас, так сказать показать подбой княжеской мантии, распоясать крестьянина, растворить ум и сердце русского народа и застать там причину событий в едва заметном зерне. Он избрал слова Вите: «Это не театральная пьеса, это исторические события, представленные под формою драмы, но без требования на драму» своим девизом. Вследствие этого он написал сперва повесть «Симеон Кирдята», и теперь «Клятву при гробе господнем», русскую быль XV века.

Мысль была счастливая. Элементов (не скажу — материалов) для воплощения этой мысли — множество, вопреки мнению многих грамотеев наших, будто создание исторического романа, или живопись исторических сцен, на Руси невозможны. О, конечно невозможны, если палитрой вашей будут одни харатейные и полууставные грамоты, если вы не омочите кисти в сердце русское, если вы не умеете зажечь взором вашим мертвые буквы, если ухо ваше не может подслушать вздоха старины и по этому вздоху угадать страсть ее!! Мы видели, как всякое событие давало свою особенную грань и характерам и словесностям народов; ужели ж мы одни даром прожили века? ужели роковые перевороты над нами таяли, как вешние снега, бесследно? Или князья наши не имеют для нас никакой занимательности оттого, что они читали «Отче наш», а не «Pater noster»? оттого, что жили в деревянных дворцах, а не в плитных замках? Или крестьяне наши были животнее европейских рабов, робче их, беднее их? Я думаю вовсе напротив. Русь была отчуждена от Европы, не от человечества, и оно при подобных европейских обстоятельствах выражалось подобными же переворотами. За исключением крестовых походов и реформации, чего у нас не было, что было в Европе? А сверх того,

характеры князей и народа долженствовали у нас быть ярче, самобытнее, решительнее, потому что человек на Руси боролся с природою более жестокою, со врагами более ужасными, чем где-либо. Двуличный Янус — Русь глядела вдруг на Азию и Европу; быт ее составлял звено между оседлою деятельностью Запада и бродячею ленью Востока. Оттого какое разнообразие влияний и отношений! Варяги на ладьях покоряют ее. Печенеги, половцы, черные клобуки зубрят ее границы. Грозой налетает Русь на Царьград и завоевывает в Корсуни христианскую веру. Вольный Новгород опоясывается хребтом Урала и бьется с божьими дворянами в Лифляндии, напирает на свейцев за Невою, режется с литовцами, везет свои товары в города Ганзы. И потом битвы междоусобий, и потом губительное нашествие татар, и душная ночь их власти, в мраке коей спело единодержавие... И потом войны с шумными поляками, с дикими литовцами, Иоанн Грозный, попытка обратить нас в католичество, мятежи самозванцев, и мудрый Алексей, и необъятный Петр! Да, это море-окиян!.. море еще не езженное, не изведанное и тем более занимательное, оригинальное. Вглядитесь в черты князей наших, сперва исполинские, потом лишь удалые, потом уже коварные, и скажите, чем хуже они героев Вальтера Скотта или Виктора Гюго для романа? У них, как везде, был свой махиавелизм для силы и для бессилия, были свои ковы и оковы, и яд под ногтем, и нож под полою. У них были свои льстецы-предатели, свои вельможи-дядьки, свои жены царь-бабы, свои братья-каины. Про них звучали струны певцов, про них звонили колокола монастырей. И они гордились породою, как электоры на священную империю; а на охоте с соколами, на звериной травле, конечно, были удалее любого барона, потому что такого раздолья для скачки, такого приволья на дичь, как на Руси, и во сне не видали европейские паладины. И они пировали не менее шумно и весело, чем вожди кланов, и они лазили через тын к боярыням, как французские сеньоры, имели свои моды, свое остроумие, свой особый язык. Суровость зим, бездорожье и даль давали средства удельным князьям непокорничать великому, воевать соседних и сгонять друг друга с *отня стола*. Беспрестанные стычки с кочевыми наездниками и войны междоусобий закаливали их нравы опасностями, давали храбрость, а храбрость разжигала честолюбие. Они жаждали битв для

славы, славы для власти. Далее, какой богатый источник для романиста — местничество бояр и дворян, которые сперва могли переходить от одного князя к другому без предосуждения, их мелкие ссоры, их могучее влияние! За ними двор и дворня, гридни и наемные дружины княжие. Да и черный народ наш (кроме рабов), смерды, людины, крестьяне, местичи, без сомнения долженствовал быть гораздо смышленее сервов средних веков. Они не составляли части земли: они имели свои сходки, они ходили на войну с князьями, чего не было в Европе. Притом борьба с природою и с враждебными обстоятельствами необходимо развивала их физические и нравственные силы. Принужденный делать для себя все, начиная от лаптя до шлема, от горшка до колеса, русак становился изобретателен и самонадеян. Оставленный собственным силам в глуши лесов, в болотах, в сугробах снега, он стал отважен и находчив. Не уверенный, что завтра принадлежит ему, он сделался ленив и беззаботен. Но он не был низок, ибо не терпел унижения наравне с вассалами Европы.

Ни рвы, ни башни не делили их между собою. Жалобы селянина доступны были боярину, и быт боярина, простой почти столько же, как быт селянина, не давал повода первому презирать последнего, ни последнему ненавидеть первого. Правда, войны сметали их раз по пяти на веку... Зато они сами, в набегах с князем своим, вымещали на врагах то, что терпели дома, участвуя в грабеже и в дележе. Толки: «мы сбили, мы решили» утешали их в неудаче, и бедняги эти крепко засыпали голодные, свернувшись в бараний рог на пепле и на морозе, но убаюканные надеждою на добычу, на клады, на какое-нибудь чудо,— а русский верил чудесам, любил чудесное наравне с смешным, потому что первое золотило ему будущее, второе подслащало настоящее. Каждый перекресток имел тогда свою легенду, каждый пруд — своего духа, каждый лес — разбойника, каждая деревня — колдуна, каждый базар — сказочника. Чудесное бегало тогда по улицам босиком, приезжало из-за моря гостем, стучалось под окном посохом паломника. Оно совершалось наяву и во сне... Могучие народы набегали и исчезали, не оставив даже своего имени ветру степному. Славные князья бродили между чернью нищими или тлели в тюрьме без очей. Ничтожные бояре правили судьбами княжений, простые чернецы становились владыками. Мудрено ли ж, что добрые пред-

ки наши жадно слушали о том, как черт попался в рукомойник, о блаженных макарийских островах, о странах пригишпанских, где народ немцы и торгуют райскими птицами, о людях с собачьим рылом или с рыбьим хвостом, об оленях с финиковым деревом между рогов... Этнография, география, история — все тогда было сказка, а сказка значила повесть, потому что правда тогда была близнец выдумке. Находились люди, у которых на памяти Полкан-богатырь дрался с Добрынею, а у Пересвета, не то на крестинах, не то на поминках, ели они кашу. А мертвецы, а привидения, а знахари, а ведьмы наши? Ведьмы, которых жгли тогда так же равнодушно, как теперь фейерверки! А домовые и лешие, вовсе не родня гамадриадам, точащим кровь под секирою, или дивам-получеловекам,— нет, они воздушны, невещественны, проказливы, как Пук и Ариель Шекспира, как Трильби Нодье. Да и что за богатое, оригинальное лицо сам черт наш! Он не Демон, не Ариман, не Шайтан, даже не Мефистофель — он просто бес, без всяких претензий на величие. Он гораздо добрее всех их. Он большой балагур, он отчаянный резвец и порой бывает проще пошехонца, так что лукавцы надувают лукавого во всех сказках, хоть, правду сказать, я думаю, они немножко хвастают. Берите ж, ловите за крылья все причуды, все поверья старины и пустите их роем около лиц, вами избранных, как роились они прежде. Предрассудки — прелесть старины, как прелесть нашего века — фантазия. Предрассудки кипятили старину, как нас кипятит рассудок; пустите ж их работать — и, ради бога, не делайте своих героев такими умниками, будто они сейчас выскочили из экзамена на доктора философии. Мало вам беса, мало вам страхов, так вот смешное (утеха нашей старины и рычаг новой словесности) вертится перед вами на одной ножке скоморохом и заводит бесконечную сказку свою от Сивки от Бурки, от курицы-иноходицы, от поросенка-наступника. Казак Луганский показал, как занимательны могут быть эти простые цветки русского остроумия, свитые искусною рукою. Но Вельтман, чародей Вельтман, который выкупал русскую старину в романтизме, доказал, до какой обаятельной прелести может доцвесть русская сказка, спрыснутая мыслию. Да, песня и сказка — душа русского народа: он веселится и горюет с песнею, засыпает под говор сказки. У князей были Бояны, Ураны, Митусы, у черни — Кирши Даниловы, сказочники,

слепцы, скоморохи, певцы, которые умели и растрогать и рассмешить до слез, все величать и все пародировать. Умели уколоть шуткою и князя, и боярина, и попа... Отличительная черта русского простолюдина, что он никогда не был изувером и не смешивал веры с служителями веры; благоговел пред ризою, но не пред рясою, и редкая смешная сказка или песня обходится у нас без попа или черпеца. Еще есть у нас стихия, драгоценная для исторического романа: это дураки и шуты. С тех пор как нагую правду выгнали из дворца за бесстыдство, она прикинулась баснею и шуткою... спряталась под ослиное седло, захрюкала, запела кукареку, покатилась колесом, заломила набекрень дурацкую шапку и стала ввертывать свои укоры между хохота и ударов хлопушки. Заметьте, что басня и шутовство всегда проявлялись в Азии: их отчизна Азия, их спутник феодализм, и будьте уверены, что не случай породил шута, а необходимость. Шут был кривой проводник мнений народа ко власти и нередко проводник правосудия от власти к народу. Обличитель пороков, пересмешник недостатков, он не щадил ни гостей, ни хозяина и бичевал их намеками, не боясь бичеванья ремнями... Одним словом, шут-простолюдин, приближенный к князю, был что-то похожее на народного трибуна в карикатуре. Рассказы, которые ходят в народе про Балакирева, шута Петра Великого, порукой, что можно создать из подобного лица.

Мало вам и этого — пред вами любовь предков наших. Как ни изношены у нас сердца, но запрос на любовь еще велик... и посмейтесь, пожалуйста, тому грамотею в глаза, который скажет вам, что в старину мужчины видели женщин только за налоем, что про любовь тогда не было и в помине. Видно, эти господа никогда не заглядывали в сердце человеческое; забыли они, что любовь есть не понятие, а чувство, свойственное всем векам и народам. Спору нет, она в старину была не так жеманна и мечтательна, но тем не менее нежна и страстна. Спору нет, предки наши женились через свах, *не видя* невест; но разве мы не женимся, *не глядя* на них, из расчетов и для приданого, как всегда бывало; а между тем любовь идет своим чередом. Говорят, знать наша запирала жен и дочерей, особенно со времен татарства; но неужели вы думаете, что замки, и стены, и кинжалы держат любовников даже у мусульман! Сказки! Тем паче у нас, у которых гос-

теприимный нрав и самая постройка домов тому противятся. Переберите наши песни и сказки, и вы убедитесь в том.

Вот вам и вся лестница духовной иерархии, миротворная, редко честолюбивая сверху, невежественная и часто забавная снизу. Клирошане и причетники, бельцы и монастырские крестьяне, все со своим чванством, причудами, правами, в беспрестанном столкновении с мирянами: толпа своеличная даже до нищих, кликуш и юродивых, составлявших непременный штат каждой церкви! Юродивые занимали то же место между судьбой и народом, как шуты между владельцем и народом. Божьи люди эти были облечены неприкосновенностию; их темные речи принимались за угрозы, за пророчества свыше. Вот вам и самосудвече в Новегороде и примерный суд его с присяжными, с объездным и судьями, с поединками, с русскою правдою — «поле», которого до сих пор никто не тронул. Вот вам лобное место пред Кремлем, с его правежем и гостиподворством. Садитесь на лихую тройку и поезжайте по святой Руси: у ворот каждого города старина встретит вас с хлебом и солью, с приветливым словом, напоит вас медом и брагою, смоет, спарит долой все ваши заморские притиранья и ударит челом в напутье каким-нибудь преданием, былью, песенкой. До сих пор вы видели только разносчиков, говорили только с извозчиками; теперь увидите бодрый, свежий, разноязычный, разнообразный, судя по областям, народ — народ, который мало изменился со времен Святослава, ибо татары и поляки мало имели дела с простолюдинами. Купцы торговали с ними, бояре ползали перед ними — народ только резался с ними или бегал от них и, заплатив раз в год черную дань сборщику, после не видал его в глаза [1]. В свою очередь он редко видывал и бар своих, всегда собранных около князей или царя, и оттого до сих пор сохранил свою поступь, поговорку, свой обычай, облик, свой оригинальный характер, которого основание — авось, свою безрасчетную предприимчивость, свое простовидное лукавство, свою страсть ко хмелю и к драке, свой язык, столь живописный, богатый, ломкий; словом, это народ, у которого каждое слово завитком и по-

[1] Почти все татарские слова, оставшиеся в нашем языке, привезены на вьюке и не касаются до коренного быта, напр., фата (фита), серьги (сергиляр), кушак (кульша), изъян (зиан), магарыч, тамга. Военные термины заняли мы прежде у азиатских кочевых племен. *(Примеч. автора.)*

следняя копейка ребром... Но где мне исчислить все девственные ключи, которые таятся доселе в кряже русском! Стоит гению топнуть, и они брызнут, обильны, искролетны. Смешно и указывать ему: бери вот отсюда, сделай то-то; он сам найдет, что ему надобно, он не пойдет справляться с риторикою или пиитикою... Словесность не наука, словесность искусство, ибо она творит, а не производит; а творчеству, а воображению закон не писан и никогда не напишется. Изящное всегда будет правильно. Вот почему нелепы попытки научить писателей писать; вот почему для словесности полезна лишь одна критика, ибо цель ее не поправлять автора, а приготовить читателя ценить его творение. Она не учит серинеткою соловья петь, не учит молнию летать как бумажный змей, а дергает рассеянного охотника за полу и говорит ему: «Послушай, погляди, как это прекрасно!» Она судит не как судья, по книге, а как присяжный, по совести, положив руку на сердце, и, даже ошибаясь, приучает вас судить прямо. Так и не более скажу я свое мнение о были Н. Полевого; не более, как так. Прочь от меня эта самозваная, щепетильная критика, которая до сих пор пропитывается у нас кавыками и недоглядками, которая с холодом бесчувствия смотрит на изящное и щупает его как евнух, покупающий невольницу на базаре. Была б у нее мягкая кожа, была бы в ней указная мера, а до ума, до души, до выражения лица что ему за дело! Misére! И они хвалятся этим мизером, они выигрывают на него!

Г-н Полевой схватил для своей картины тот момент, когда Русь стала подымать голову из двухвекового рабства. Сквозь туман, но блестит уже над ней звезда единодержавия. Выход в Орду еще платится, но власть сидит уж не на ковре ханов. Удельная гидра еще грызется с царством, но это последние ее попытки. Действие начинается в деревне, невдалеке от Москвы, куда тянутся обозы, спеша к масленице и к свадьбе молодого великого князя Василья Васильевича Темного, который сел на княжение вопреки правам дяди своего Юрия Дмитриевича, уступившего первенство меньшому брату, Василию, но только брату по воле, племяннику по неволе, ибо на Руси искони велось (по праву, не всегда на деле), чтобы престол наследовать братьям, а не детям. Вот узел драмы, хоть он вяжется и развивается в ней иначе и не вдруг. В избу, в которой расположились обозники, приезжает,

под видом купца, крамольный боярин Иоанн. Он бежит из Москвы, обиженный отказом великого князя жениться на его дочери, на которой честолюбивый старик сосватал было его. Выезжая с ночлега, сани его сталкиваются с санями князей Василия Косого и Дмитрия Шемяки, детей Юрия, которые скачут на свадьбу, в гости к великому князю. После ссоры в потемках путники узнают друг друга, и тут-то, вопреки укоров Шемяки, начинается ков обиженного честолюбия в лице Иоанна, обиженного властолюбия в лице Косого. Боярин подстрекает пылкого князя и негодованием и надеждою. У него в кармане важные бумаги, у него в голове умные советы, у него в груди месть Василию, который обязан престолом лишь его проискам у хана,— и все это он везет с повинною к Юрию, которого заставил недавно вести под уздцы коня отрока-племянника. Они расстаются, один готовый на измену, другой — на мятеж. Шемяка упрекает брата, что он слушает советов крамольника. Тот отвечает, что он обманул его притворным вниманием, что он только выведывал старика.

«— *Ты* обманул *его?* Но разве обман не есть уже грех? — говорит Шемяка.

— Отмолюсь! — смеясь отвечал Косой, отряхнув шапку свою.— Пойдем, пора».

Какая резкая черта, и в отношении к лицу Косого, и в отношении к понятиям времени!

В Москве уже подозревают Юрьевичей, и в то время, когда Косой подбивает удалых из князей себе в помощники, дума бояр, в которой хозяйничает мать великого князя, Софья Витовтовна, литвянка родом, безрассудная самовластница духом, решает схватить и заключить в оковы Косого и Шемяку при выходе с брачного пира. Венчанье кончено, новобрачные удалились из-за стола, и хмель, это единственное лето русских, расцвечает все характеры, расплавляет тайны. Нетерпеливая Софья привязывается к Юрьевичам, Косой колет ее не в бровь, а прямо в глаз, намекнув, что Василий незаконный сын ее; она забывается до того, что срывает своими руками с него меч, и укоряет, будто золотой пояс его — краденый. Неистовая суматоха эта чуть не переходит в битву. Князья разъезжаются, мятеж вспыхивает. Юрий идет с войском на Москву; двор бежит. И снова племянник выгоняет дядю, и снова хилый, слабодушный старик, опершись о мечи смелых сыновей своих, завладевает Москвою, ссыла-

ет племянника на удел. Но в последний раз Кремль распахнулся перед ним гробом. В тот самый день, когда брат его Константин умирает в миру, приняв схиму, умирает и Юрий (оба остальные отрасли Донского), умирает на руках Шемяки. Покорный сын, Шемяка вскрывает духовную отца в совете бояр, в отсутствие брата, но в ней никто не назван великим князем. Великодушный Шемяка провозглашает снова Темного, Косой беснуется, укоряет брата и уезжает искать себе сторонников, чтобы отбить престол у Василия. Шемяка удаляется в удел свой Галич, как бы в довод того, что не искал благодарности, что он исполнил подвиг самоотвержения, уважая права наследства. Заехав в гости к князю Заозерскому, в глушь северных лесов, он влюбляется в дочь его, сватается и едет в Москву звать великого князя к себе на свадьбу. Но подозрительный, неблагодарный Василий, воображая, что он заодно с Косым, велит схватить его на дороге обманом и заключить в тюрьму; потом вдруг переменяет политику, чтобы вернее погубить легковерного: мирится с ним, улещает его и дает ему пьяный, распутный, непокорный отряд, выживать из Тулы хана Махмета. Униженный, оклеветанный, обвиненный своими подчиненными в измене, Шемяка узнает, что брату его Василию выкололи глаза по приказу Темного, что его самого готовятся схватить для казни... Это опрокидывает его душу: он бежит в Новгород, где вече, всегдашняя подпора изгнанных князей, наряжает ему войско воевать Москву. Тогда испуганный Василий присылает к брату инока Зиновия, чтобы склонить его на примирение, чтоб выпросить у него мир на всей его воле. Убежденный, тронутый им, Шемяка уступает: он не хочет кровопролития и прощает кровную обиду. Тесть и невеста его, доселе пленные в Москве, объемлют его в Новегороде, — там он празднует свою свадьбу и едет в Галич. Были конец.

Вот главные события этой были; но автор понял, что как ни точны будь исторические сцены, они падут бездушны без игры характеров; как ни резки будь характеры, они не тронут читателя, если не оживятся какою-нибудь великою мыслию,— и вдунул в них самую поэтическую. Он обвил пружину действия вкруг таинственной особы гудочника, который является везде, говорит всеми языками, все знает, всех выведывает, всех подстрекает. То он пешеход на дороге, то он паломник в монастыре,

то он гудочник и сказочник перед боярами, то почтенный гражданин в Новегороде. Открывается нам из беседы его с архимандритом Симонова монастыря, его прежнего товарища, что он дал обет умирающему князю своему стараться восстановить суздальское княжение и отдать оное детям его. У гроба господня, в Иерусалиме, обрекает он себя страшною клятвою исполнить обет свой. С тех пор клятва становится его жизнию, его судьбою. Пусть двадцать раз разлетаются прахом его замыслы, пусть изменяют ему князья — он неутомим, неуклоним. Он ищет новых действователей, заключает с ними договор восставить Суздаль, подтвердить Новгороду, его отчизне, прежние льготы и с новым жаром пускается в битвы и в ковы. Какая высокая романтическая мысль была изобразить человека, отдавшего в жертву все радости жизни, все честолюбие света, даже надежду за гробом,— преданности! Стремясь к цели, он топчет и людей и совесть, обманывает, лицемерит, похищает документы, рассылает ложные приказы, восставляет брата на брата... но он выкупает все это жаркою, бескорыстною любовью к пользам детей своего государя. Он возбуждает участие, как вольный мученик, предавшийся уничижению и опасностям всех родов, не страшась ни смерти, ни казни. Вспомнив, что ему, как новогородцу, не мудрено было враждовать против Москвы, вы простите его. Вы будете уважать его за неподдельную, за непоколебимую твердость, и если не полюбите его, то будете сострадать с ним в тяжкой и напрасной борьбе, им предпринятой,— напрасной, ибо он замыслил побороть время, подъемля из ничтожества разбитый им порядок уделов; тяжкой, ибо он сам видит тщету своих дум и козней. Некоторые журналисты упрекают автора, зачем он заставил гудочника говорить книжным слогом, в рассказе дедушке Матвею о политическом быте Руси, особенно об Иерусалиме. Но знают ли эти господа, что для святыни и для учености у нас до сих пор, между священниками, семинаристами и набожными людьми, ведется особый, книжный язык? Мы должны писать как говорим, но в старину грамотеи любили говорить как писали. Прочтите разговор гудочника с Ворфоломеем и последний с Шемякою, и если он не разогреет у вас сердца и если вы и тогда в состоянии будете ловить кавыки,— ступайте пилить сандал или ноги, но, ради бога, не беритесь судить поэзии.

Другая властительная мысль автора (если не ошибаюсь) была та, чтоб оправдать Шемяку, запятнанного в народе худо понятою пословицею, очерпенного историками на поруку худо переведенных летописей. С благородным жаром защитник Мстислава Удалого вырывает Шемяку из челюстей клеветы. Но он не изображает его идеалом. Его Шемяка — юноша с откровенным, прямым сердцем, с кипучею душою, с искренним желанием добра своему отечеству; но обстоятельства вонзают в него когти именно с этих сторон и насильно увлекают в козни и мятежи брата. Он готов на мир и дружбу со врагами, но он горд, как русский князь, он покорен отцу, он любит брата. Свой своему заневолю друг, говорит пословица, — вот разгадка его действий сначала, но потом самоотвержение его запечатлено не религиозною печатью, как у гудочника, не клятва «облегла его душу», не чужое мнение движет его — напротив, он идет наперекор всем оттого, что оно бьет прямо из сердца... Его проступки принадлежат веку, его доблести — человеку. Как он спокоен в беде, как незаносчив при успехе! Как умилителен он во вдохновенной беседе с Исидором, увлеченный пророческими мечтами этого грека; как грустно глубокомыслен при пострижении князя Константина; как велик, возглашая врага своего великим князем, поправ, на обломках, надежды Косого, все личные выгоды, все семейные замыслы!.. Как недостижимо великодушен он, прощая Василию, когда новогородские дружины рвутся уже мстить за его обманы и обиды! Напрасно думают, будто бы такие эксцентрические, мечтательные характеры были невозможны в средних веках. Вспомним, что духовные книги были единственным чтением лучшей молодежи; а духовные книги отторгают от земли, проповедуют самоотвержение, ставят правду всего превыше. Не могли разве эти семена неба прозябнуть в сердце, более других чистом? Притом исповедь необходимо приучала людей мыслящих или глубоким чувством одаренных заране допрашивать душу свою для мировой с богом, рыть в ней, следить ее, судить ее и смотреть на предметы духовным образом. В противоположность добросклонного Шемяки вторгается в очи Василий Косой, с его беззаветным честолюбием, с его безрассудною отвагою, с его адскими страстями. Косой есть настоящий тип наших князей, действователей во время смут, каких-нибудь Ольговичей например, у коих сердца были *закалены в буести*. По-

кой душит его; крамолы, битвы ему воздух. Однако несмотря на его запальчивость, которая доходит до того, что он собственной рукою убивает отчего любимца боярина Морозова, невольное внимание ложится на читателя с его призрака, будто холодная тень с вражеской башни.

Злой дух, советник его боярин Иоанн, отделан con amore [1]. Он широко развивает свиток своего русского махиавелизма, смеси дерзости междоусобий с жестоким пронырством татарства, когда уже князья привыкли сражаться не железом, а пергамином, когда они хвалились не тем, кто кого перескакал, а кто кого переполз. Горькая истина говорит его устами, когда он перебирает по пальцам наличную Русь и высказывает собой ходячую нравственность Руси.

Зато характер великого князя обрисован слабо. Трудно провидеть в нем — Василия, с именем Темного, с темными делами, с властолюбием, которое хорошо понимало и удачно душило удельную систему.

Между второстепенных лиц особенно заметны дед Матвей и подьячий Беда. Нам еще и ныне могут встретиться, в классе прасолов, характеры, подобные Матвею, у которых трудолюбие и смышленость наравне с правотою, добротою, характеры утешительные, именно русские. Но, конечно, в дипломатах наших уже не отыщем мы Беды, этого образца старинных дьяков и окольничих, мелочных до пустоты и твердых до геройства. Взгляните на этого Беду: он так же хладнокровно убирает скамьи в совете, как бросает договорные грамоты к ногам Юрия, с опасностию жизни. Неземное лицо Димитрия Красного — отрадно. Он болен жизнию; он звезда, упавшая с неба и тонущая в грязном омуте чужих свар. Юрий — занимательный образчик запоздалых суелюбцев, к коим честолюбие приходит с кашлем, которые живут чужим умом, действуют чужою волею, у которых доброта не доблесть, а слабость, у которых самое преступление не злодейство, а слабость. Хронологический порядок событий (ему же неизменно служил по обету своему автор) не дал разгулу драматичности, но события хорошо врамлены в подробности старинного быта, и из них всех любопытнее, ибо всех новее, описание Москвы того времени и *третей княжих*, столь сходных по расправе с расправою древнего Парижа.

---

[1] С любовью *(лат.)*.

Но барельеф, изображающий вече, бледен и неполон... Вообще должно признаться, что поспешность автора вести далее и далее, захватывая на дороге то и се, много вредит участию. Не успеешь погреться у огонька чувства — тебя влекут вперед, срывают слезу для усмешки, отводят от окна для картинки. Будьте, господа сочинители исторических романов, поскупей на подробности житейского быта и, всего более, не волочите их на аркане в ремонт свой. Пусть они будут попутчики, а не колодники ваши, и если уже необходимо обставить сцену декорациями, то распишите их цветами слога. Новы предметы — сделайте их оригинальными. Стары они — обновите их мыслями, оборотите их незатасканною стороною, взгляните на них с нетоптаной точки и поверьте, что всякий горшок тогда найдет свою поэзию... Свидетели тому Гофман, Вашингтон Ирвинг, Бальзак, Жанен, Гюго, Цшокке. Несноснее всего мне писаки, заставляющие нас целиком глотать самые пустые разговоры самых ничтожных лиц, равно в шинке жида и в гостиной знатного барина; и все для того, чтоб сказать: «это с природы!» Помилуйте, господа! Разве простота пошлость? Разве для того бежим мы в ваши альманахи от прозы общества, чтобы встретить в них ту же скуку? Природа! После этого тот, кто хорошо хрюкает поросенком, величайший из виртуозов и фельдшер, снявший алебастровую маску с Наполеона, первый ваятель!! Искусство не рабски передразнивает природу, а создает свое из ее материалов. Неоспоримо, связочные сцены необходимы: это примечания, поясняющие текст; но выкупите же их замысловатостию своею, если нельзя дать ее предметам и лицам. Да и кто говорит, что этого нельзя? Дайте нам не условный мир, но избранный мир. Пусть ваш пастух будет Гурт, ваш капрал Трим, ваш ветреник Дон-Жуан,— но все это в русском теле, в русском духе. Наши Иваны Гуртовичи, наши Кремневы Тримовичи, наши Лидины Жуановичи приторны. Пусть всякий сверчок знает свой шесток; пусть не залетают настоящие мысли в минувшее и старина говорит языком ей приличным, но не мертвым. Так же смешно влагать неологизмы в уста ее, как и прежнее наречие, потому что первых не поняли бы тогда, второго не поймут теперь. В этом отношении язык разбираемой нами были очень не ровен. То он не выдержан по лицам, то по времени. Слог порою тяжел и запутан, и лишь там, где говорят возвышенные чувства, разгорается он до

красноречия. Такова беседа с Исидором, таково последнее свидание с гудочником. Я вырву два маленькие клочка, хорошо выражающие гнев и любовь Шемяки. От него послы великого князя требуют, чтобы он воевал против родного брата,— он выходит из терпения: «Открыто, прямо говорил и делал я,— еще ль не убежден в этом князь великий? Зачем же хитрить со мною? Или вы почитаете меня за такого олуха царя небесного, что я не замечу хлеба в печи и стану ее топить? Или вы хотите, чтобы я, отдавши все великому князю, своими руками принес голову родного моего брата и кровью его запил дружбу с Москвою, позор мой и унижение!»

Предчувствую, что при слове *олух* наши чопорные критики вонзят по крайней мере три восклицательные знака, как будто три отбитых бунчука! Никто не помешает им обриться; но я скажу по сердечному убеждению, что отрывок сей вместе силен и естествен. Гнев, как буря, вознметающая со дна морей грязь и янтарь, выбрасывает из человека самые низкие выражения и самые высокие чувства. Так живописал гнев Омир, так Шекспир. Еще: Шемяке кажется, что кн. Заозерский не отдает ему Софии. «Знаю,— говорит он,— что она достойна венца великокняжеского: требуй его, скажи, ты увидишь — я готов и его добывать.

— Душа добрая, душа пылкая, юноша по сердцу моему! обдумал ли ты все это?

— Я не в состоянии ни о чем думать. Знаю только, что если ты не отдашь ее за меня, то я сейчас еду, и не в Углич мой, но в Москву, на битву, в бой, за брата, против брата: кто первый начнет, тот будет мой товарищ».

Как часто, роясь в летописях, историки тратят до последней лепты свой ум и красноречие, чтобы найти причину какого-нибудь странного события, безрасчетного подвига! А он произошел от мгновенной прихоти какого-нибудь князя, оттого, что ему худо спалось или дивно грезилось, или просто потому, что ему хотелось показать свое удальство, разгулять себя, забыть себя в битве. Это настоящий характер русских князей, влюбленных в славу или в деву.

Кончаю нехотя. Замечу при конце, что мы стоим на брани с жизнию, что мы должны завоевать равно свое будущее и свое минувшее, и не обязаны ли мы потому благодарностию тем людям, которые бесплатно, с усилиями, источающими жизнь, отрывают родную сторону из-под сне-

гов равнодушия, из праха забвенья и облекают предков наших в жизнь, давно погибшую для них и столь свежую, кипучую для нас, воспроизводят мать-отчизну точь-в-точь как она была, как она жила! Таков Полевой, так изображает он Русь, не умствуя лукаво, но чувствуя глубоко и сердцем угадывая таинственные гиероглифы характеров, бывших непонятными даже тем, кои носили их на челе. Он пламенными буквами переписывает их на душах наших, затепляя души перед высоким, перед доблестным! Жалею о тех, которые не постигают или не хотят обнять мысли самоотверження, проявленной на две грани в «Клятве»; но, убежден я, скоро настанет время, что отдадут справедливость Полевому, равно за его историю и повести, что публика не будет больше прятать в рукав свою руку, но подаст ему ее без перчатки и скажет от сердца: «Спасибо!» Впрочем, неполный успех «Клятвы» произошел, вероятно, от слога: это концерт Бетховена, сыгранный на плохой скрипке. Со всем тем «Клятва» есть дело не только труда и учености, но познаний и вдохновенья; оно стоит не пустого любопытства, но душевного участия, не базарной похвалы книгопродавцев, но искренней признательности. Ждем с нетерпением, что автор, по своему обету, положит другой такой же цветок поэзии на могилу минувшего.

Дагестан,
1833

О РОМАНТИЗМЕ

Человек живет чувствами, умом и волею. Слияние их есть мысль, ибо что такое чувство как не осуществленная мысль? Что такое ум как не опытность мысли? Что такое воля как не мысль, преходящая в дело? Потому-то существо, одаренное мыслию, стремится чувствовать, познавать и действовать. Полагая чувства только орудиями, передающими разуму впечатление предметов, в нас и около нас находящихся, мы прямо обратимся к познанию. Человек не иначе может познавать свое бытие, как в сосуществовании внешних предметов, чувствам его подлежащих.

Прикасаясь, например, ко мне, он ощущает, что рука его не камень; глядя на солнце, он отличает, что то не глаз его, и следовательно убеждается в одно время не только в том, что он сам существует, но что и предметы сии существуют так же, как он. Из этого видим, что *бытие* и познание, равно как *вещепознание* и самопознание, неразлучны. Но неразделимые по своей сущности, они могут быть двойственны по способам наблюдения, т. е. человек может созерцать природу или из себя на внешние предметы, или обратно, от внешних предметов на себя. В первом случае он более объемлет окрестную природу; во втором более углубляется в свою собственную. Цель и свойство каждого наблюдения есть *истина;* но и к познанию исти-

ны есть два средства. Первое, весьма ограниченное, *опыт*, другое беспредельное *воображение*. Опыт постигает вещи, каковы они суть или какими быть должны, воображение творит их в себе, каковы они *быть могут*, и потому условие первого необходимость, границы его *мир* — но условия второго *возможность*, и он беспределен, как сама вселенная. Так, руководимый соотношениями и опытом, Архимед, купаясь, постиг тайну удельного веса твердых тел; так Невтон по сверканию воды предсказал ее горючесть, так Колумб, наблюдая течение моря, угадал бытие Нового Света. Все уступило предприимчивости естествоиспытателей. Земля, вода, огонь и ветер, пары и молния заплатили дань их воле, на все наложили они цепи общественных мыслей своих, т. е. орудий, ими изобретенных. Но творческое воображение далеко опередило опыт, не имея никаких данных. Оно облекло речи одеждой письма, оно вообразило математическую точку, постигло делимость бесконечно малых; извлекло общие законы даже из отвлеченностей изящного, убедилось в беспредельности миров за границею зрения и бессмертии духа, непостижимого чувствам. Одним словом воображение или, лучше сказать, мысль, от чувств независимая, *бесконечна;* ибо равно невозможно определить, как далека она от *ничтожества* и от совершенства, к которому стремимся.

До сих пор мы говорили только о самобытности мысли в человеке. До сих пор ее умозрения могли существовать, не проявляясь. Теперь обратимся к обнаруженной воле, т. е. *действию,* душа которого есть *доброта,* ибо для чего иного, как не для достижения собственного или общего блага покидает человек покой бездействия? Самое избежание вреда и удовольствие суть уже блага.

Правда, собственное невежество, предрассудки, воспитание и дурные примеры высших совращают не только людей, но целые народы с пути добродетели, не понимая того, что пороки, сколько б они лестны ни были, разрушают здоровье и покой. Это личное благо каждого основано на непременном благе общем, что высочайшая политика есть правота, что возмездие за добро и зло и самое счастие находятся не вне, а внутри нас самих. Люди корыствуют, коварствуют, угнетают, мстят во имя бога, законов, которых не понимают они! Но даже и сии заблуждения доказывают врожденное стремление души человеческой к взаимному благу, т. е. доброте.

И так действие, или проявление мыслей, может выразиться в разных видах или формах. Все равно, будет ли оно облечено словами или музыкою, краскою или движениями или деяниями. Но все вещественные образы заключаются в известном пространстве. Все явления происходят в известном времени. Следственно, они ограничены, они конечны. Всегда ли же беспредельная мысль может вместиться в известные пределы выражения? Конечно, нет. При этом представляются три случая: или выражение превзойдет мысль, и тогда следствием того будет смешная надутость, пышность оболочки, которая еще явнее выкажет нищету идеи, или мысль найдет равносильное себе выражение, и тогда чем совершеннее будет союз их, тем прекраснее, тем ощутительнее окажется достоинство обеих. *Простота* и *единство* суть отличительные качества подобного выражения. Вид этот я назову *отражательностию,* потому что он как в зеркале передает мысль производителя во всей полноте и со всеми ее оттенками, или наконец мысль огромностию своею превысит объем выражения, в которое теснится, и тогда она должна или расторгнуть форму, как порох орудие, или разлиться как преполненный кубок, или вместиться во многие виды подобно соку древесному, разлагающемуся в корень и кору, в плову и листья, то развитому цветом, то зреющему в плоде. Неясность и многосторонность должны быть необходимыми спутниками такого слияния бесконечного с конечным, утонченного с грубым. Назовем это *идеальностию,* потому что идея или мысль превышает здесь свое выражение. Вот начало классицизма и романтизма.

Цель наблюдения, сказали мы, есть *истина,* а душа действия — *доброта.* Прибавим, что совершенное слияние той и другой есть изящное или поэзия (здесь беру я поэзию не как науку, но как идею), неотъемлемым качеством которой должно быть *изобретение.* Поэзия, объемля всю природу, не подражает ей, но только ее средствами облекает идеалы своего оригинального, творческого духа. Покорная общему закону естества — движению, она, как необозримый поток, катится вдаль между берегами того, что *есть* и чего быть *не может;* создает свой условный мир, свое образцовое человечество, и каждый шаг к собственному усовершению открывает ей новый горизонт идеального совершенства. Требуя только возможного, она является во всех видимых образах, но преимуществен-

но в совершеннейшем выражении мыслей — в словесности. Но там, где нет творчества,— нет поэзии, и вот почему науки описательные, точные, и вообще всякое подражание природе и произведениям людей даже случайной добродетели не входят в очаровательный круг прекрасного, потому что в них нет или доброты в истине, или *истины в доброте*. Например, в летописи заключается истина, но она не оживлена нравоучительными уроками доблести. Картины Теньера верны, но без всякого благородства. Подражание мяуканью может быть весьма точно, но какая цель его? Храбрость для защиты отечества — добродетель, но храбрость в разбойнике — злодейство. Самоотвержение Дон-Кишота привлекательно, но зато дурное применение оного к действиям смешно и вредно. Благодеяние из корыстных видов — близорукая доброта, которая обращается во вред многим и принадлежит к сему же разряду.

Мало-помалу туман, скрывающий границу между классическим и романтическим, рассеивается. Эстетики определят качества того и другого рода. В самой России, правда, немногие, но зато истинно просвещенные люди выхаживают права гражданства милому гостю романтизму. Считаю нелишним и я изложить здесь новейшие о том понятия, как отразились они в уме моем сквозь призму философии.

ПИСЬМА

1. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

С.-Петербург, <1—18 января 1824 г.>

Любезнейший, добрейший и почтеннейший из князей, князь Петр Андреевич, я приношу к Вам свою повинную голову за свое долгое молчание; но не обвиняйте меня в неблагодарности, а скорей припишите это моему скучно-ветреному нраву и лености, которая в беспрестанной ссоре с приличиями света и с желаниями сердца. Хоть для своих, если не для святых святок, простите ленивцу, чтоб я мог по-прежнему болтать перед Вами всякие пустяки, не боясь оговорки.

Скажите по совести, князь, ваше мнение о «Полярной» нынешнего года,— чей же суд может быть полезнее, как не Ваш, и я очень любопытен ведать его. Что касается до здешнего света, то мнения о ней многосторонни. Дамы (как я и предполагал) не столь хвалят новую, потому что проза в ней не в их вкусе. Напротив, г-да мужчины прилепляются к прозаической части и говорят, что она дельнее прошлогодней. Прошу теперь отделить истину от причин, заставляющих так говорить, и потом еще вычесть из суммы авторское самолюбие, которое *дробями* замешается всюду! Правду сказать, критика и без проса <!> берется за это дело, но пружины тем не менее видны и мелочная зависть шипит изо всех углов. Даже, поверите ли, что те люди, которых мы считали беспристрастнейшими в свете,

завидуют успеху (т. е. я разумею: расходу) «Звезды» и хотят ее зубами стянуть с светского горизонта; но мы смеемся, а она продается. Сказывают, туча рецензий готова рассыпаться на меня за обозрение и в Москве и в Питере, но я буду отвечать только на дельные, на глупости же — молчать: у меня нет мелких для убогих умом. Цензура в этот раз натешилась над нами и над Вами, как Вы и видели по непомещенным пьесам. Из Пушкина запрещено 4 пьесы, из других — несть числа, зато сам князь Глаголь доволен невинностию новорожденной; в этот раз, однако ж, хоть мы не поместили виршей Хвостова [1], зато уступили приличиям, местами напускали ряпушки в стерляжий садок свой. Так прокрался туда бессмысленный Родзянка и добрый, но хромающий и стихами Норов, Влад. Измайлов с баснею, которая, конечно, не попадет в историю, и еще кой-кто из заштатных стихотворцев. Поблагодарите почтеннейшего Ивана Ивановича за его басенки, они всем очень нравятся и вообще они так хороши, что многим безымянность автора прозрачна, и *мой башмак тебе не в пору* служит лозунгом соединения. Ваш молоток и гвоздь оборотился уже пословицей, хотя и не *давным-давно,* по крайней мере *надолго,* покуда существуют молотки; но как *дело уже в шляпе,* то я, право, тоскуя все об одном и *давая волю рукам,* боюсь Вам наскучить и потому обращаюсь к другому.

Денис Васильевич не смиловался, и ничем чего <!> не прислал нам, а его слог-сабля загорелся лучом, вонзенный в «Звездочку». Не теряю надежды *наперед,* потому что он любил быть всегда впереди. Обрадуйте, однако ж, партизана Тацита тем, что Александр Муханов достал весь журнал Фиоллиской кампании да еще кой-какие любопыт-

---

[1] A propos de Khwostoff: ce matin au palais il m'a recité une épigramme (dite anonyme, mais palpablement de lui) lancée contre moi, en voici le resultat; il était un peu difficile de retenir les vers. [Кстати о Хвостове: нынче утром во дворце он прочел мне эпиграмму (якобы анонимную, но, несомненно, ему принадлежащую), направленную против меня; вот ее выводы; было трудновато запомнить стихи *(фр.).*] *Бестужев весь Парнас ос<в>етил,* он увидел даже *Сафу* (возрадуйся, *Сушков*), а графских *моряков,* точно как Крылова «Любопытный», и *не приметил.* Comment cela vous plait? C'est une perle pour notre Doyen Dmitrieff; c'est un trait impayable pour la biographie de metroman. [Как это вам нравится? Это жемчужина для нашего старейшины Дмитриева; это уморительная черта для биографии метромана (*фр.*).] *(Примеч. автора.)*

ные вещи и теперь их переписывает. Я слышал, что Вы и Денис Васильевич участвуете в периодическом издании вроде альманаха... Уведомьте, какого рода, когда оно будет, и наперед желаю всевозможного успеха; надобно немного растатарить Москву и снова перевести в нее метрополию вкуса и словесности. Жуковского видел утром у выхода, он здоров, и пудра стала его стихия; мне Ваша кузина Карамзина сказывала, что Вы собираетесь сюда — пожалуйте соберитесь, князь, да уж не на чашку мороженого, а на месяца два на побывку — Вы найдете, что не один я Вас люблю много и премного. Если меня что-нибудь здесь взбесит, то я кинусь отдохнуть душою к Вам в белокаменную, и тогда я лично выскажу многое.

Весь Ваш
Алекс. Бестужев.

P. S. Veullez bien, mon prince, de faire mes hommages à m-me Votre épouse [1].

2. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

С.-Петербург, 28 генваря 1824 г.

Письмо Ваше, почтеннейший Петр Андреевич, получил я сегодня и отвечаю на него немедленно. Благодарю за откровенность в суждении о «Полярной»; в нем на три четверти я совершенно согласен, в остальном отбился от мнения Вашего, вероятно оттого, что смотрел с другой точки, — переберем это по порядку Вашего письма, которое теперь перед глазами и, конечно, всегда останется в памяти. За лепетанье нашей поэзии я, конечно, ни перед богом, ни перед добрыми людьми не виноват — это бумажные цветки вымученной фантазии, это китайская живопись, в которой хороши одни лишь краски. Цензура обрезала наши червонцы, а многие медали и вовсе выбросила вон — поневоле довольствуешься бряцающею медью. Зато, если в наших пьесах не было отличных, в них (кроме родзянкиных) не было зато и вовсе дурных, и, говоря Башуцкого словами, они все, право, чистоплот-

[1] Благоволите, князь, передать мое почтение Вашей супруге *(фр.)*.

ны. «Послания к Людмилу» я не хвалил, о «Дер<евенском> философе» отозвался двусмысленно, тем более о его авторе. *Комический дар* не есть еще *дар к комедии;* впрочем, вы угадываете, не читав его. В «Лукавине» я виноват без всякого лукавства. Писарева стоило бы отделать путем за его *шашни:* переводит пьесу с скверного французского перевода, выпускает лучшие сцены и смеет еще «Школу злословия» выдать за свое сочиненье! Это чересчур по-гостинодворски. За немца моего немного заступлюсь, ибо знаю и чувствую в природе человеческой подобные страсти, а писал это по внушению сердца и не в подражание Шиллеру, след<ственно>, оно не могло меня увлечь вне природы — век, мною взятый, представлял тому тысячные примеры, и я могу подкрепить это историческими доводами. О брате — не судья, но в Жуковском нахожу не сцены, а декорации. Пушкин виден у нас как в обломках зеркала — он поскупился на сей раз; однако ж ода Баратынского, князь, на счастие, право, стоит взгляда; даже Дельвиг оперился в полярное путешествие, и, конечно, редкие из альманахов французских были так богаты хорошенькими безделицами, как наш, хотя я согласен, что они бесцветны перед взором ума.

Насчет Каченовского — если Вы меня укоряете в пристрастии, то и мне кажется, что Вы от него не совсем изъяты; об этом уже был у нас и спор у любезнейшего Федора Ивановича: я в нем нахожу кой-какие литературные заслуги — Вы не признаете вовсе никакого достоинства. Радикальность реже обыкновенного, а потому, думаю, и случайность справедливости вероятнее упадет на мою сторону. Впрочем, если бы я и уверился в противном, то быстрый скачок от прошлогодней хвалы к укорам не показался ли бы странным? Зато другие мнения, конечно, не имели влияния на мой суд,— я не боюсь никому говорить правды и не жертвую своей совестию в угоду благодетелей, которых, слава богу, у меня и нет; но как бы не грех мне был, напр<имер>, если бы убил я Сергея Глинку?..

Вы еще худо знаете нашу цензуру, любезнейший князь, когда воображать можете, что она бы позволила ремарку *о некоторых* причинах, не позволивших напечатать Ваших стихов. А мы многое бы потеряли, если б отказались от такого наследства, как седьмая часть Ваших стихов. Что ж обезобразила пренелепая, в том каемся, но поставьте се-

бя на нашем месте и скажите, отказались ли бы Вы украсть, как Прометей, не только взять попросту, огнь с неба, чтоб оразумить свою мраморную статую? «В шляпе дело» получено нами от А. Измайлова и здесь в большом ходу. Вас мучит старинный грех, т. е. последний куплет? Помилуйте, князь, надобно ж чем-нибудь платить *за простой* в России. Гнедич ничего беглого <!> не написал и потому ничего и не дал, но Раич прислал нам пьесу, но, между двух глаз будь сказано, ученическую, и бесцветную, и малозвучную. Кончив о словесности, позвольте повести словечко о Вас самих, в светском и ученом отношениях: веселы ли, плодны ли Вы ныне? Я хочу бить челом о том, за что Вы меня поразили, т. е. написать на 1824 год коротенькое обозрение. Князь! Будьте отцом родным: обновите это тощее поле! Но кроме того, вы у меня в долгу: обещанная Вами проза не получена, и я надеюсь, что Вы нас *выручите теперь из беды:* у Вас выходит *четверогранный альманах,* у нас Дельвиг и Слёнин грозятся тоже «Северными цветами» — быть банкрутству, если Вы не дадите руки. Жду ответа и, если можно, задатка, чтоб смелее сиять в будущем. Нынешняя «Звезда» у нас разошлась в 3 недели до одного экз<емпляра>. Здесь все, даже безграмотные, читают ее — c'est la fureur![1] К Вам вряд ли удастся, отдохнуть умом и душою. Между тем вторично и сердечно благодарю Вас за правду; я вспоен на ней, и потому это лестно и приятно для меня,— столько же, как полезно слышать ее от умнейшего из князей и любезнейшего из людей. Простите <и> будьте добры, как прежде, до любящего и уважающего Вас

Алек. Бестужева.

P. S. Я позабыл Вам описать, что недавно мы давали обед всем участникам «Полярной звезды». Вид был прелюбезный: многие враги сидели мирно об руку, и литературная ненависть не мешалась в личную.

P. S. Я пользуюсь пробелами, чтобы сказать, что издание И<вана> Ивановича (я бью ему челом) пошло в расход и вашим предисл<овием> все восхищаются.

P. S. Я сейчас услышал, что графиня Кутайсова выходит замуж за Алексея Голицына! Счастливый путь!..

---

[1] Это фурор! *(фр.)*

3. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Петербург, 17 июня 1824 г.

Мы потеряли брата, князь, в Бейроне, человечество — своего бойца, литература — своего Гомера мыслей. Теперь можно воскликнуть словами Библии: куда сокрылся ты, лучезарный Люцифер! «Смерть сорвала с неба эту златую звезду», и какое-то отчаянное эхо его падения отозвалось в сердцах у всех людей благомыслящих. Я не мог, я не хотел верить этому, ожидал, что это журнальная смерть, что это расчетливая выдумка газетчиков, но это была правда, ужасная правда. Он умер, но какая завидная смерть... он умер для Греции, если не за греков, которые в кровавой купели смыли с себя прежний позор. Он завещал человечеству великие истины, в изумляющем дарованье своем, а в благородстве своего духа пример для возвышенных поэтов. И этого-то исполина гнала клевета, и зависть изгнала из отечества, и обе отравили родимый воздух; история причислит его к числу тех немногих людей, которые не увлекались пристрастием к своему, но действовали для пользы всего рода человеческого.

Вы спрашиваете меня, почтеннейший Петр Андреевич, для чего я не пишу в журналы, но я до сих пор совсем не имею времени, скача беспрестанно по дорогам для обозрения, так что мне не удается попасть на проселочную дорогу словесности. Притом теперь уже не поздно ли вновь начинать войну; критики опадают, как листья, но дерево живет веки, и, конечно, все выходки М. Дмитриева с товарищи и вкладчики столь же мало замарали известность вашу, как Прадоны славу Вольтера. Безыменные брани доказали публике и характер и вздорность человека, который не стоит имени, которое на него надето и, как видно, кажется ему хомутом, ибо он снимает его, чтобы набрыкаться в своем виде. Ей-богу, досадно, что эти господа из критики сделали ослиную челюсть и воображают, что они Сампсоны. Мысль Ваша, любезный князь, о составлении общества для издания книг принадлежит к мечтам поэта, а не к прозаической истине нашего быту; она делает честь Вашему сердцу — но, князь, может быть, только оно одно из Ваших друзей и товарищей не устарело в холоде самолюбия и не иссохло от расчетов. Оглянитесь кругом себя, и кого найдете Вы помощниками радушными?

Одни могут, но не захотят, а другие при всем желании не могут, ибо тут нужны деньги и деньги. На расход же надеяться нечего — в этой главе Вы всегда ошибались, князь, воображая, что у нас в самом деле читаются и расходятся книги. При том не забудьте также, какими глазами будут смотреть на это цензоры и министры. Нет, нет.

«Мы видим сны золотые, а сами от голоду мрем».

Россию нельзя сравнивать с Францией; у нас не позволяют и читать энциклопедии, не только писать что-нибудь подобное. Но главное неудобство есть недостаток доброй воли. Назовите мне, кроме И. И. Дмитриева, хоть одного значащего человека, который бы захотел там участвовать? Если ж и назовете, то обманетесь.

Меня очень порадовала весточка, что Вы готовите для нас кое-что... Жду с нетерпеньем этого. У Дельвига будет много хороших стихов — не надо бы и нам, старикам, ударить в грязь челом, а это дело господ поэтов. Я завидую Вашей жизни — посреди семейства, вдалеке от сплетней и рядом с природою, — Вы должны быть спокойны и на пороге у счастия. Может, скоро увижусь с Вами в Москве или в Остафьеве — не забудьте до тех пор искренне Вас любящего

Алекс. Бестужева.

P. S. Рылеев потерял мать и сам болен. Он вам, однако ж, не забыл свидетельствовать своего уважения.

4. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Петербург. 20 сентября 1824 г.

Никогда еще не писал я к Вам от столь чистого сердца, почтеннейший Петр Андреевич, как теперь, тем более, что долее виноват я был в молчании; хотя до половины невольно, ибо все лето напролет скитался по дорогам, и месяц целый, вековой, провел в Риге. Теперь пишу к Вам, чтобы отвесть душу, огорченную подлостию людскою и вместе с жалобою слить и просьбу свою о помощи литературной. Из копии с письма нашего к Воейкову увидите Вы, каков он человек; но если узнаете низкие пружины, заставляющие его действовать, то подивитесь и пуще ничтожной зависти и корысти человеческой. План «Северных цветов» им начертан, и недаром, это уже и он

сам говорит, но, чтобы подорвать нас, употребляет он все средства. Мутят нас через Льва с Пушкиным; перепечатывают стихи, назначенные в «Звезду» им и Козловым, научили Баратынского увезти тетрадь, проданную давно нам, будто нечаянно. Одним словом, делают из литературы какой-то толкучий рынок. Вследствие этого, однако ж, мы весьма бедны стихами — выручите нас, князь, попросите у Ивана Ивановича о том же. Иначе мы должны будем отложить издание до времен более благоприятных, чем нынешние, хотя и не хочется сойти с поля без бою. Слёнин, конечно, имеет все денежные выгоды на своей стороне, ибо сам продавать будет, а выгоды брать ни за что ни про что, заплатив только треть Дельвигу за торг чужими стихами. Следственно, ему с полгоря давать лучшее издание; но мое мнение — взять простотой, коли сущность хороша, и потому даже не хочется и виньеток делать, ибо раньше я не успел, занятый службою и расстроенный кой-какими обстоятельствами, а Рылеев убитый потерею матери и сына и болезнию своею и своей жены. Впрочем, когда успеем, то постараемся и это сделать, хотя, по граверам судя, потеря и без них велика не будет.

Я познакомился с Грибоедовым, но еще не сошелся с ним, во-первых, потому, что то он, то я здесь не жил, а, во-вторых, мне кажется, что он любит поклонение, и бог Аполлон ему судья за сведенье с ума Кюхельбекера: какую чуху, прости господи, напорол он в своей «Мнемозине»! Впрочем, в два или три свиданья наши я видел в нем и любезного европейца и просвещенного *человека* — две редкие вещи в одной особе, особенно на Руси. Мы говорили о Вас, любезнейший князь, — и я помирился с человечеством и литературою.

Скажите, князь, что́ Вы запали на поле словесном? От Вас ни словечка в журналах, и я перелистываю их без станций, не находя Вашего имени! На земле дожди, а там — засуха, и только одна саранча напоминает нам, что в них есть общее с житейским. У нас так лучше — из эфемерных журнальных статеек нашли средство вывесть донос. Борис Федоров (с позволения сказать, тоже писака) подал на высочайшее имя просьбу, к министру просвещения донос, что Булгарин хочет унизить царствующий род, критикуя его статью, где Булгарин уличает его в ложной ссылке на Брюса, означая свадьбу Петра I позже. Тот представил оригинал книги, но чем это кончится — неиз-

вестно! Каково, князь! и эти люди смеют называть себя литераторами, и этих людей терпят на свете, в обществе! О, времена! Поверите ли, князь, что чем дольше живу я, тем несноснее становятся мне люди и тем менее я нахожу их. Это было бы и с Вами, любезнейший из князей, если б благородное сердце Ваше могло понять черноту других сердец — и, конечно, не я сорву повязку обольщения с глаз Ваших, ибо с этим неразлучна потеря едва ли не лучшей мечты жизни. О князь, Ваше бы сердце разорвалось на части, если б узнали Вы дела и мысли тех, кого считаете лучшими своими друзьями — для одного этого не зову себя другом Вашим, чтобы в будущем не делить нарекания, как в настоящем не похожу я на них чувствами, люблю и уважаю Вас от сердца.

Александр Бестужев

P. S. Нельзя ли поспешить присылкою — мы принимаемся за печатание?

5. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

СПб., 3 ноября 1824 г.

Не подивитесь, любезный князь, что в прошедшем письме я писал к Вам такими черными чернилами — это было в припадке досады, которые часто и нехотя на меня находят. Впрочем, хотя там было мало складу, зато много правды. Молчание Ваше, правда, меня беспокоило; я думал, уж не рассердился ли князь за мистификацию, но ответ Ваш мне был отводом души. Благодарю сердечно за участие, которое берете Вы в «Звезде» и в звездочетах — это утешительно еще более как человеку, чем как издателю. Жуковский с нами и в прошлом году и в нынешнем поступил иначе; обещал горы, а дал мышь. Отдал «Иванов вечер» и взял назад; а теперь (мне, признаюсь, всего досаднее, что я так искренно писал к нему) в то самое время отказал на мое письмо, уверяя, что ничего нет, когда отдавал Дельвигу новую элегию. Я дивлюсь только в этих людях: из какого дохода они лгут и очки другим вставляют? Впрочем, я уже отсердился и теперь только смеюсь на подобные сплетни. Насчет издания «Полярной» — мы никогда и не думали экономить, но невозможность издать к новому году заставила меня говорить о ненадобности виньеток. Теперь это уже решено — они будут.

Болото приготовим славное — были бы словесные черти хороши. А нельзя не признаться, что до сих пор у нас еще нет мастерских штук, хотя стихов столько, что Лапландию натопить можно. Пушкин ни гу-гу. Советуете ли Вы напечатать «Разбойников» или нет? Я в сомнении, ибо Воейков подвел нас. Раич прислал отрывок из «Иерусалима», но это широко, как разлив Волги; часть однако ж напечатаем. В обозрении не премину сказать моего мнения о лике Лжедмитриева. Не даст ли настоящий своего «Каплуна»? — что смотреть на кочан, изъеденный червями латыни. Грибоедов Вам кланяется, я сегодня его видел. Я от его комедии в восхищеньи и преклоняю колено перед даром самородным — это чудо! Одна только шутка о баснях могла бы обессмертить его. Цензура его херит — он в ипохондрии, но с тех пор как лучше его узнаю, я более и более уважаю его характер и снисхожу к его странностям. Здесь нового ничего, кроме печатного, нет. Рекомендую Вам подателя этого письма г-на Орджинского, моего доброго приятеля. Вы его полюбите, если он это заслужит. Денис Васильевич может о нем сказать более, а я хотя бы и хотел, но спешу. Будьте счастливы, любезнейший князь.

Этого желает Вам искренно Вас почитающий

Алекс. Бестужев.

6. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

СПб., 12 генваря 1825 г.

Желаю, князь, чтобы счастье переменилось к Вам на лучшее, но чтобы Вы для меня остались те же. Я не мог приехать в Москву, потому что товарищи мои по аксельбанту разъехались по отпускам, да и «Звезда» была в забытьи до сих пор. Но будущей зимой заеду в белокаменную на 3 месяца, чтобы хорошенько с ней ознакомиться. Благодарю вас за выписку из «Меркурия», но он у нас полтора месяца прежде был, и мы с удовольствием читали ответную статью P. B. G. Очень мило и умно написана. Однако ж, говорят, Катенин вбззрился и пишет в Париж бранную очень отместку. Для того и Н. Муханов удержался печатать в «Conservateur». Здесь были литературные комедии, так что мы со смеху умирали,— Булгарин пьяный мирился и лобызался с Дельвигом и Б. Федоровым, точно был тогда чистый понедельник! Все мелоч-

ные страстишки вышли наружу, и каждый изъявил свое неудовольствие вслух. Это было на ужине у Никитина. Лобанов, например, признался, что он сердит на всех, зачем его мало хвалят, и просил извинения у Чеславского, что он убил его переводом «Федры», и пр. и пр. Праздники я провел здесь очень шумно, возлияния Вакху были часты и сильны, и я думал, что я возродился для московской моей жизни,— помните ли геркулесовы наши подвиги, любезнейший князь! Право, я с удовольствием вспоминаю вихрь, в котором я у Вас кружился, и жажду попасть на несколько времени в такой же. Каковы кажутся вам «Северные цветы»? Здесь их покупают и не хвалят — как-то у Вас? Мне стихи Дельвига лучше всех нравятся. Жуковский на излете. Крылов строчит уже, а не пишет. Пушкин не в своей колее, а главный недостаток книжки есть совершенное отсутствие веселости — не на чем улыбнуться. Разве над добродушием Плетнева, который возвышает тропарь свой в акафисте Баратынскому и прочим. Впрочем, не подумайте, что тут говорит зависть,— я наперед говорю, что наша «Звезда» не многим будет лучше «Цветов»,— мы не имели ни ловкости, ни время, ни расположения для улучшения своего альманаха. Впрочем, что будет, то будет, а будет то, что бог даст. Присылайте только подмогу, любезный Петр Андреевич,— мы начали печатать уже. Цензура строга и глупа по-прежнему, и здесь день за днем валит без отмены и без замены. Грибоедов со мною сошелся — он преблагородный человек; его комедия сводит здесь всех с ума — и по достоинству. Пущин едет к Пушкину,— здесь славят его «Цыган», а 1-я песнь «Онегина» пропущена без всяких выемок. Рылеев посылает к Вам письмо к Муханову и, в случае его отбытия, просит покорнейше по нем распорядиться. Будьте счастливы, любезный и почтенный князь,

и не забывайте ленивца

А. Бестужева.

7. А. С. ПУШКИН.

9 марта 1825.

Долго не отвечал я тебе, любезный Пушкин, не вини: был занят механикою издания «Полярной». Она кончается (т. е. оживает), и я дышу свободнее и приступаю вновь к литературным спорам. Поговорим об «Онегине».

Ты очень искусно отбиваешь возражения насчет предмета — но я не убежден в том, будто велика заслуга оплодотворить тощее поле предмета, хотя и соглашаюсь, что тут надобно много искусства и труда. Чудно привить яблоки к сосне — но это бывает, это дивит, а все-таки яблоки пахнут смолою. Трудно попасть горошинкой в ушко иглы; но ты знаешь награду, которую назначил за это Филипп! Между тем как убить в высоте орла, надобно и много искусства и хорошее ружье. Ружье — талант, птица — предмет — для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку? Ты говоришь, что многие гении занимались этим — я и не спорю; но если они ставили это искусство выше изящной, высокой поэзии, то, верно, шутя. Слова Буало, будто хороший куплетец лучше иной поэмы, нигде уже ныне не находят верующих; ибо Рубан, бесталанный Рубан, написал несколько хороших стихов. Но читаемую поэму напишет не всякий. Проговориться не значит говорить; блеснуть можно и не горя. Чем выше предмет, тем более надобно силы, чтобы объять его, его постичь, его одушевить. Иначе ты покажешься мошкою на пирамиде, муравьем, который силится поднять яйцо орла. Одним словом, как бы ни был велик и богат предмет стихотворения, он станет таким только в руках гения. Сладок сок кокоса; но для того, чтоб извлечь его, потребна не ребяческая сила. В доказательство тому приведу и пример, что́ может быть поэтичественнее Петра? И кто написал его сносно? Нет, Пушкин, нет, никогда не соглашусь, что поэма заключается в предмете, а не в исполнении! Что свет можно описывать в поэтических формах, это несомненно; но дал ли ты «Онегину» поэтические формы, кроме стихов? Поставил ли ты его в контраст со светом, чтоб в резком злословии показать его резкие черты? Я вижу франта, который душой и телом предан моде; я вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность, и мизантропия, и странность теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны; но они неполны, ты схватил петербургский свет, но не проник в него. Прочти Бейрона; он, не знавши нашего Петербурга, описал его схоже, там, где касалось до глубокого познания людей. У него даже притворное пустословие скрывает в себе замечания философские, а про сатиру и говорить нечего. Я не знаю человека, который бы лучше его, портретнее его очеркивал характеры, схватывал в них новые проблески страстей и

страстишек. И как зла и как свежа его сатира! Не думай, однако ж, что мне не нравится твой «Онегин», напротив. Вся её мечтательная часть прелестна, но в этой части я не вижу уже Онегина, а только тебя. Не отсоветываю даже писать в этом роде, ибо он должен нравиться массе публики; но желал бы только, чтоб ты разуверился в превосходстве его над другими. Впрочем, мое мнение не аксиома; но я невольно отдаю преимущество тому, что колеблет душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце; а мало ли таких предметов, и они ждут тебя! Стоит ли вырезывать изображения из яблочного семечка, подобно браминам индийским, когда у тебя в руке резец Праксителя? Страсти и время не возвращаются — а мы не вечны!!!

Озираясь назад, вижу мое письмо, испещренное сравнениями. Извини эту глинкинскую страсть, которая порой мне припадает. Извини мою искренность, я солдат и говорю прямо, в ком вижу прямое дарование. Ты великой льстец насчет Рылеева и так же справедлив, сравнивая себя с Баратынским в элегиях, как говоря, что бросишь писать от первого поэмы — унижение паче гордости. Я, напротив, скажу, что, кроме поэм, тебе ничего писать не должно. Только избави боже от эпопеи. Это богатый памятник словесности, но надгробный. *Мы не греки и не римляне,* и для нас *другие сказки надобны.*

О здешних новостях словесных и бессловесных не многое можно сказать. Они очень не длинны по объему, но весьма по скуке. Скажу только, что Козлов написал «Чернеца», и, говорят, недурно. У него есть искры чувства, но ливрея поэзии на нем еще не обносилась, и не дай бог судить о Бейроне по его переводам: это лорд в Жуковского пудре. Н. Языков точно имеет весь запас поэзии, чувства и охоту учиться, но пребывание его на родине не много дало полету воображению. Пьесы в П.<олярной> З.<везде> только что отзываются прежними его произведениями. Что же касается до Баратынского — я перестал веровать в его талант. Он исфранцузился вовсе. Его «Эдда» есть отпечаток ничтожности, и по предмету и по исполнению, да и в самом «Черепе» я не вижу целого: одна мысль, хорошо выраженная, и только. Конец — мишура. Бейрон не захотел после Гамлета пробовать этого сюжета и написал забавную надпись, о которой так важно толкует Плетнев. Скажу о себе: я с жаждою

глотаю английскую литературу и душой благодарен английскому языку — он научил меня мыслить, он обратил меня к природе — это неистощимый источник! Я готов даже сказать: il n'y a point de salut hors la littérature Anglaise[1]. Если можешь, учись ему. Ты будешь заплочен сторицею за труды. Будь счастлив, сколько можно: вот желание твоего.

Алекс. Бестужева.

8. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Петербург, 30 октября 1825 г.

Я на Вас очень сердит, любезнейший князь: дважды были Вы в Петербурге и ни разу не удостоили меня посещением; это мне тем более чувствительно, что в последнюю побывку Вашу мне не удалось с Вами слова сказать... все в Царском да в Царском, а коли в столице, то кстати ли в аристократическом кругу вспомнить о старом приятеле! Даже и не заслали сказать, когда бы Вас увидеть. Как приятель (я думал так), казалось, мог бы я иметь право на уголок в Вашей памяти, хотя и на походном положении, как знакомый даже — притязание на визит? Как бы то ни было, я сердился от чистого сердца, потому что исискренно люблю Вас, и пусть эта откровенность Вам докажет, что я не люблю держать за душой ничего. В Москве, думаю, мы помиримся. Я сбираюсь туда в начале декабря. Мы начинаем печатать «Полярную» и у ледяного моря нашей словесности ждем погоды. Стихотворная часть больно слаба у нас. Пушкин не пишет ни к кому и напишет ли? Бог весть. Прочие или ничтожны или ленивы. Многие (в том числе и Вы) обещают — и только. Как думаете сдержать свое слово? Как князь или как поэт? Дайте весточку. У Вас «Океан» есть, у Вас есть, несомненно, и другие достойные Вас пьесы. Мне не верится, чтоб ревельские красоты не одушевили Ваше перо. Стоит только пошарить в карманах да *переписать*. Как, однако ж, трудно последнее — я испытал на деле. Помните ли?

Засвидетельствуйте мое уважение княгине и скажите, что я с большим удовольствием вспоминаю оранские балы. И тем живее, что здесь вовсе отказался от танцев и света.

---

[1] Нет спасенья вне английской литературы *(фр.)*.

Нарышкина баснею мелких офицериков стала, все сватает дочь... Будьте здоровы, веселы, любезнейший князь, и вспомните хоть раз если не Александра Бестужева, то Бестужева, издателя «Полярной звезды».

Ваш А. Б.

9. ПИСЬМО К НИКОЛАЮ I ИЗ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Об историческом ходе свободомыслия в России

Уверенный, что вы, государь, любите истину, я беру дерзновение изложить пред вами исторический *ход свободомыслия* в России и вообще многих понятий, составляющих нравственную и политическую часть предприятия 14 декабря. Я буду говорить с полной откровенностию, не скрывая худого, не смягчая даже выражений, ибо долг верноподданного есть говорить монарху правду без прикраски. Приступаю.

Начало царствования императора Александра было ознаменовано самыми блестящими надеждами для благосостояния России. Дворянство отдохнуло, купечество не жаловалось на кредит, войска служили без труда, ученые учились, чему хотели; все говорили, что думали, и все по многому хорошему ждали еще лучшего. К несчастию, обстоятельства до того не допустили, и надежды состарелись без исполнения. Неудачная война 1807 г. и другие многостóящие расстроили финансы; но того еще не замечали в приготовлениях к войне Отечественной. Наконец Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые *ощутил свою силу;* тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России. Правительство само произнесло слова: «свобода, освобождение!» Само рассевало сочинения о злоупотреблении неограниченной власти Наполеона, и клик русского монарха огласил берега Рейна и Сены. Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в домы, первые разнесли ропот в классе народа. «Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа». Войска от генералов до солдат, пришедши назад, только и толковали: «как хорошо в чужих землях». Сравнение со своим естественно произвело вопрос: почему же не так у нас?

Сначала, покуда говорили о том беспрепятственно, это расходилось на ветер, ибо ум, как порох, опасен только сжатый. Луч надежды, что государь император даст конституцию, как он то упомянул при открытии сейма в Варшаве, и попытка некоторых генералов освободить рабов своих еще ласкали многих. Но с 1817 г. все переменилось. Люди, видевшие худое или желавшие лучшего, от множества шпионов принуждены стали разговаривать скрытно, — и вот начало тайных обществ. Притеснение начальством заслуженных офицеров разгорячало умы. Предпочтение немецких фамилий перед русскими обижало народную гордость. Тогда-то стали говорить военные: «Для того ль освободили мы Европу, чтобы наложить ее цепи на себя? Для того ль дали конституцию Франции, чтобы не сметь говорить о ней, и купили кровью первенство между народами, чтобы нас унижали дома?» Уничтожение нормальных школ и гонение на просвещение заставило думать, в безнадежности, о важнейших мерах. А как ропот народа, от истощения и злоупотребления земских и гражданских властей происшедший, грозил кровавою революциею, то общества вознамерились отвратить меньшим злом большее и начать свои действия при первом удобном случае. Теперь я опишу положение, в каком видели мы Россию.

Войска Наполеона, как саранча, оставили за собой надолго семена разрушения. Многие губернии обнищали, и правительство медлительными мерами или скудным пособием дало им вовсе погибнуть. Дожди и засухи голодили другие края. Устройство непрочных дорог занимало руки трети России, а хлеб гнил на корню. Злоупотребления исправников стали заметнее обедневшим *крестьянам*[1], а угнетения дворян чувствительнее, потому что они стали понимать права людей[2]. Запрещение винокурения отняло

---

[1] О притеснениях земских чиновников можно написать книгу. Малейший распорядок свыше дает им повод к тысяче насилий и взяток. То сберут крестьян в сенокос или жатву и месяц ничего не делают. То дадут сделать и потом ломают, говоря, что это не по форме. Назначают на работу ближних вдаль и наоборот, чтобы взять за увольнение несколько рублей с брата. Да и кроме того сбирают прибавочные налоги, без всякого вида, так что с души сходит втрое противу указных податей, и проч. *(Примеч. автора).*

[2] Поведение русских дворян в этом отношении ужасно. Негры на плантациях счастливее многих помещичьих крестьян. Продавать в розницу семьи, похитить невинность, развратить жен кре-

во многих губерниях все средства к сбыту семян, а размножение питейных домов испортило нравственность и разорило крестьянский быт. Поселения парализировали не только умы и все промыслы тех мест, где устроились, и навели ужас на остальные. Частые переходы полков безмерно тяготили напутных жителей; редкость денег привела крестьян в неоплатные недоимки — одним словом, все они вздыхали о прежних годах, все роптали на настоящее, все жаждали лучшего до того, что пустой слух, будто даются места на Аму-Дарье, влек тысячи жителей Украины — куда? не знали сами. Целые селения снимались и бродили наугад, и многочисленные возмущения барщин ознаменовали три последние года царствования Александра.

Мещане, класс почтенный и значительный во всех других государствах, у нас ничтожен, беден, обременен повинностями, лишен средств к пропитанию. В других нациях они населяют города, у нас же, как города существуют только на карте[1] и вольность ремесл стесняют в них цехи, то кочуют как цыгане, занимаясь щепетильною перепродажею. Упадок торговли отразился на них сильнее по их бедности, ибо они зависят от купцов как мелкие торгаши или как работники на фабриках.

Купечество, стесненное гильдиями и затрудненное в путях доставки, потерпело важный урон: в 1812 г. многие колоссальные фортуны погибли, другие расстроились. Дела с казною разорили множество купцов и подрядчиков, а с ними их клиентов и верителей, затяжкою в уплате, учетами и неправыми прижимками в приеме. Лихоимство проникло всюду. Разврат мнения дал силу потачки вексельному уставу[2]. Злостные банкроты умножились, и

стьянских — считается ни во что и делается явно. Не говорю уже о барщине и оброках, но есть изверги, которые раздают борзых щенков для выкормления грудью крестьянок!! К счастию человечества, такие примеры не часты, но, к стыду оного, они существуют. *(Примеч. автора.)*

[1] Отчего города наши пустеют, решить не трудно. Нижние инстанции не имеют решительного голоса. И тяжущиеся едут в столицу. По сей же причине лучшее дворянство уклоняется от неуваженных должностей и за крестами спешит ничего не делать в какой-нибудь министерской канцелярии. На кого же там работать ремесленнику? да и кому? Ибо дворянство наше держит доморощенных мастеровых. *(Примеч. автора.)*

[2] Устраняя прежнее право на личность банкрота (contrainte par corps). *(Примеч. автора.)*

доверие упало. Шаткость тарифа привела к нищете многих фабрикантов и испугала других и вывела правительство наше из веры, равно у своих, как и чужеземных негоциантов. Следствием сего был еще больший упадок нашего курса (то есть внешнего кредита), от государственных долгов происшедший, и всеобщая жалоба, что нет наличных. Запретительная система, обогащая контрабандистов, не поднимала цены на наши изделия, и, следуя моде, все платили втридорога за так называемые конфискованные товары. Наконец, указ, чтобы мещане и мелкие торговцы или записывались в гильдии, или платили бы налог, нанес бы решительный удар торговле, и удержание исполнения не удержало их от ропота. Впрочем, и без того упадок торговли был столь велик, что на главных ярмонках и в портах мена и отпуск за границу уменьшились третью. Купцы еще справедливо жаловались на иностранцев, особенно англичан, которые вопреки уставу[1] имеют по селам своих агентов и, скупая в первые руки сырые произведения для вывоза за границу, лишают тем мелких торговцев промысла, а государство — обращения капиталов.

Дворянство было тоже недовольно за худой сбыт своих произведений, дороговизну предметов роскоши и долготою судопроизводства. Оно разделяется на три разряда: на просвещенных, из коих бóльшая часть составляет знать; на грамотных, которые или мучат других как судьи, или сами таскаются по тяжбам, и, наконец, на невежд, которые живут по деревням, служат церковными старостами или уже в отставке, послужив, бог знает как, в полевых. Из них-то мелкопоместные составляют язву России: всегда виноватые и всегда ропщущие и желая жить не по достатку, а по претензиям своим, мучат бедных крестьян своих нещадно. Прочие разоряются на охоту, на капели, на столичную жизнь или от тяжб. Наибольшая часть лучшего дворянства, служа в военной службе или в столицах, требующих роскоши, доверяют хозяйство наемникам, *которые обирают крестьян,* обманывают господ, и таким образом 9/10 имений в России расстроено и в закладе. Духовенство сельское в жалком состоянии. Не имея никакого оклада, оно вовсе предано милости крестьян и оттого, принужденное угождать им, впадало само в пороки, для уда-

---

[1] Им позволено только заниматься оптовою куплею, не вступаясь в мелкие сделки. *(Примеч. автора.)*

ления коих учреждено. Между тем как сельское нищенствовало в неуважении, указ об одеждах жен священнических привел в волнение и неудовольствие богатое городское духовенство.

Солдаты роптали на истому ученьями, чисткою, караулами; офицеры — на скудость жалованья и непомерную строгость. Матросы — на черную работу, удвоенную по злоупотреблению[1], морские офицеры — на бездействие. Люди с дарованиями жаловались, что им заграждают дорогу по службе, требуя лишь безмолвной покорности; ученые на то, что им не дают учить, молодежь на препятствия в ученьи. Словом, во всех углах виделись недовольные лица; на улицах пожимали плечами, везде шептались — все говорили: к чему это приведет? Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над волканом, одни судебные места блаженствовали, ибо только для них Россия была обетованною землею. Лихоимство их взошло до неслыханного степени бесстыдства. Писаря заводили лошадей, повытчики покупали деревни, и только повышение цены взяток отличало вышние места, так что в столице под глазами блюстителей производился явный торг правосудием. Хорошо еще платить бы за дело, а то брали, водили и ничего не делали.

Вашему императорскому величеству, вероятно, известны теперь сии злоупотребления, но их крыли от покойного императора. Прибыльные места продавались по таксе и были обложены оброком. Центральность судебных мест, привлекая каждую безделицу к верху, способствовала апелляциям, справкам, пересудам, и десятки лет проходили прежде решения, то есть разорения обеих сторон. Одним словом, в казне, в судах, в комиссариатах, у губернаторов, у генерал-губернаторов, везде, где замешался интерес, кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал. Везде честные люди страдали, а ябедники и плуты радовались.

Вам, государь, уже сведомо, как, воспламененные таким положением России и видя все элементы, готовые

---

[1] Например, в Петербургском и Кронштадтском адмиралтействах положено: в 1-м — 90 лошадей для таскания бревен, во 2-м не знаю числа. Но дело в том, что ни одна лошадь не работает, а возит по гостям разных чиновников. Вместо же их запрягают несчастных матросов. Брат мой Николай и капитан-лейтенант Торсон могут дать подробнейшее сведение о многом множестве злоупотреблений по флоту. *(Примеч. автора.)*

к перемене, решились мы произвести переворот. Теперь осмелюсь изложить перед вашим величеством, что мы, делая сие, думали основываться вообще на правах народных и в особенности на затерянных русских. Но кроме того Батенков и я говорили, что мы имеем в это время (то есть около 14 декабря) на то политическое право, как в чистое междуцарствие. Ибо ваше величество отреклись от короны, а мы знали, что отречение государя цесаревича уже здесь[1]. Притом же вы, государь, ожидая признания от Совета и Сената, некоторым образом признавали верховность народа, ибо правительство (без самодержца) есть не иное, как верхняя оного часть. Следственно, мы, действуя в лице народа, шли не противу вашего величества, но только для попрепятствования Сенату и Совету признавать оное, а не наше назначение. Отрицая же право народа во время междуцарствия избирать себе правителя или правительство, приводилось бы в сомнение самое возведение царствующей династии на престол России. Далее, правительница Анна, опершись на желание народа, изорвала свое обязательство. Великая Екатерина повела гвардию и толпу, ее провозгласившую, противу Петра III. Они обе на челе народа шли противу правительства. Неужели же право бывает только на стороне удачи? Политика, устраняя лица, смотрит только на факты. Мы же от одной присяги были уволены, а другой не принимали. Вашему величеству легко будет усмотреть шаткость сего предположения, но в то время я был уверен в правоте оного и действовал в том убеждении.

Вот мечты наши о будущем. Мы думали учредить Сенат из старейших и умнейших голов русских, в который надеялись привлечь всех важных людей нынешнего правления, ибо полагали, что власть и честолюбие всегда имели бы свою приманку. Палату же представителей составить по выбору народа изо всех состояний. Как неоспоримо, что общего мнения установить или дать ему силу нельзя иначе, как связав оное с интересом каждого, то на сем правиле основывали мы бескорыстие судей. Каждая инстанция имела бы у нас свой беспереносный круг действия; притом тяжущиеся могли бы избирать по произволу из известного числа судей любого, так что честь и выгода

[1] Ошибка наша состояла в том, что мы не знали о назначении вашего величества наследником престола. *(Примеч. автора.)*

заставили бы их друг перед другом быть правдивее, а публичность судопроизводства, ограничение срока оного и свобода книгопечатания обличала бы нерадивых или криводушных. Для просвещения нижних классов народа хотели повсеместно завести ланкастерские школы. А чтобы поправить его нравственность, — то возвысить белое духовенство, дав оному способы к жизни. Увольнение винокурения и улучшение казенными средствами дорог между бедными и богатыми хлебом местами, поощрение земледелия и вообще покровительство промышленности привело бы в довольство крестьян. Обеспечение и постоянство прав привлекло бы в Россию множество производительных иноземцев. Фабрики бы умножились с возрастанием запроса на искусственные произведения, а соревнование поощрило бы их усовершенствование, которое возвышается наравне с благосостоянием народа, ибо нужды на предметы довольства жизни и роскоши беспрестанны. Капиталы, застоявшиеся в Англии, заверенные в несомненности прибытка, на многие годы вперед, полились бы в Россию, ибо в сем новом переработанном мире они выгоднее могли быть употреблены, чем в Ост-Индии или Америке. Устранение или, по крайней мере, ограничение запретительной системы и устройство путей сообщения не там, где легче (как было прежде), а там, где необходимее[1], равно как заведение казенного купеческого флота, дабы не платить чужеземцам дорогого фрахта за свои произведения и обратить транзитную торговлю в русские руки, дало бы цвести торговле, сей, так сказать, мышце силы государственной. Финансы же поправить уменьшением в треть армии и вообще всех платных и ненужных чиновников. Что же касается до внешней политики, то действовать открыто, жить со всеми в мире, не мешаясь в чужие дела и не позволяя вступаться в свои, не слушать толков, не бояться угроз, ибо Россия самобытна и может обойтиться на случай разрыва без пособия постороннего. В ней заключается целый мир; да и торговые выгоды других наций никогда не допустили бы ее в чем-либо нуждаться. Я умалчиваю о прочем, уже известном вашему величеству

[1] Зачем, напр., существует Северный канал, по которому в год плывет по две лодки? Зачем преднамерен Кубинский? Чем нам торговать с полюсом? Для чего начат Сестринский? Ибо удобовозимые гужом предметы роскоши, из Петербурга в Москву посылаемые, не есть главная необходимость жизни. *(Примеч. автора.)*

или из конституции Никиты Муравьева, которая, однако же, была не что иное, как опыт, или из показаний прочих членов.

Что же касается собственно до меня, то, быв на словах ультра-либералом, дабы выиграть доверие товарищей, я внутренно склонялся к монархии, аристократиею умеренной. Желая блага отечеству, признаюсь, не был я чужд честолюбия. И вот почему соглашался я на мнение Батенкова, что хорошо бы было возвести на престол Александра Николаевича[1]. Льстя мне, Батенков говорил, что как исторический дворянин и человек, участвовавший в перевороте, я могу надеяться попасть в правительную аристократию, которая при малолетнем царе произведет постепенное освобождение России. Но как мы оба видели препятствие в особе вашего величества, — истребить же вас, государь, по чести, никогда не входило мне в голову, — то в решительные минуты обратился я мыслию к государю цесаревичу, считая это легчайшим средством к примирению всех партий и делом, более ласкавшим мое самолюбие, ибо я считал себя, конечно, не хуже Орловых времен Екатерины. В прения Думы почти не вступался, ибо знал, что дело сильнее пустых споров, и признаюсь Вашему величеству, что если бы присоединился к нам Измайловский полк, я бы принял команду и решился на попытку атаки, которой в голове моей вертелся уже и план. Впрочем, если б не роковое 14-е число, я бы пристал к совету Батенкова (человека изо всех нас с здравейшею головою), чтобы идти вперед и, став на важные места в правлении, понемногу производить перемену или властию, заимствованною от престола, или своими мнениями, в других впоренными. Мы уже и хотели это сделать в отношении к государю цесаревичу, разговаривая о сем предмете у его королевского высочества герцога Виртембергского.

Да будет еще, Ваше императорское величество, доказательством уважения, которое имею к великодушию вашему, признание в том понятии, что мы имели о личном характере вашем прежде. Нам известны были дарования, коими наградила вас природа; мы знали, что вы, государь, занимаетесь делами правления и много читаете. Вид-

---

[1] Я не помню, упоминал ли о сем в показаниях Комитету, ибо, считая себя виновным без числа, не прибегал к частным извинениям. *(Примеч. автора.)*

но было и по Измайловскому полку, что солдатство, в котором вас укоряли, было только дань политике. Притом же занятия дивизии, вам вверенной, на маневрах настоящим солдатским делом доказывали противное. Но анекдоты, носившиеся о суровости Вашего величества, устрашали многих, а в том числе и нас. Признаюсь, я не раз говорил, что император Николай с его умом и суровостию будет деспотом, тем опаснейшим, что его проницательность грозит гонением всем умным и благонамеренным людям; что он, будучи сам просвещен, нанесет меткие удары просвещению; что участь наша решена с минуты его восшествия, а потому нам все равно гибнуть сегодня или завтра.

Но опыт открыл мне мое заблуждение, раскаяние омыло душу, и мне отрадно теперь верить благости путей провидения... Я не сомневаюсь по некоторым признакам, проникнувшим в темницу мою, что Ваше императорское величество посланы им залечить беды России, успокоить, направить на благо брожение умов и возвеличить отечество. Я уверен, что небо даровало в Вас другого Петра Великого... более, чем Петра, ибо в наш век и с Вашими способностями, государь, быть им — мало. Эта мысль порой смягчает мои страдания за себя и за братьев; и мольбы о счастии отечества, неразлучном с прямою славою Вашего величества, летят к престолу всевышнего.

1826

10. П. А. БЕСТУЖЕВУ

Якутск, 1828 года, апреля 10 д.

Милый брат, Павел Александрович!

Приветствую тебя, жителя цветущего климата! Я рад, что разлуку с родными ты можешь услаждать выгодами, около тебя рассеянными, и эта мысль, как отразившийся луч, утешает и меня. Вероятно, ты близок к брату Петру, да и существует ли даль для близких сердцу? Моя мысль, как орел, играет над вами обоими, и я прошу тебя вспоминать каждый раз обо мне, завидя в облаках эту птицу бурь. Я здоров благодаря бога и благодаря великодушию *монарха,* дышу свободно, живу уединенно и беседую более всего с неизменными друзьями — с книгами, и нередко Анакреон-Муром: летаю в Индию и Америку. Воображение есть лучший ковер-самолет: оно заносит нас за тридесять земель, без всяких неудовольствий дороги,

без ухабов и простуд. Кстати о дороге: я проехал девять тысяч верст по самой плохой, в самую распутицу — и безвредно. Каково-то совершил ты свою? Сделай одолжение, уведомь, на каком краю света должна искать тебя мечта моя? Там ли, где Кавказ упирается в Черное море, или где сходит он холмами на луга Ирана? В Сухум-Кале или в Грузии? Я сведал о переводе твоем в октябре месяце и, признаюсь, очень огорчен был за матушку. В тебе потеряла она последнюю подпору своей старости — впрочем, судьбу не оскачешь и на кавказском коне, и нет никакого зла без блага. Юность редко внимает чужой опытности, но своей не минует; и я уверен, что, внимая сердцем советы сердечные, — беды братьев послужат тебе не примером, но уроком. Величественная сторона, в которой живешь ты, должна впечатлеть в тебе такие же мысли. На поднебесном Кавказе, кажется, нельзя не возвыситься духом. Надеюсь, что занятия службы не помешают тебе учиться, и учиться основательно. Науки помогли мне перенести много тяжкого, и если находили на меня часы грусти и нетерпения, то они происходили оттого, что я или недоучился, или худо понял то, чему выучился. Около тебя народы дикие — наблюдай их нравы; страсти везде одинаковы, хотя цель и выражения их различны; и потому-то, приучась глядеть на них в первобытной наготе и искренности, ты будешь угадывать людей и сквозь светский покров образованности. Читай много (память есть житница на зиму несчастий), но не всему верь, не для того, чтобы во всем сомневаться, но чтобы все обсудить. Свой ум лучше чужого остроумия; не доверяй и ему с первого раза — пускай время будет ситом твоих мнений. В другой раз поговорим подолее о нравственности, — теперь прости! Будь доволен собою, и ты будешь доволен судьбою. От бога я прошу тебе здравия. Горячо любящий тебя брат

Александр Бестужев.

Адрес: Его благородию,
милостивому государю
Павлу Александровичу
Бестужеву
Г-ну прапорщику 21-й артиллерийской бригады.

11. Н. А. и М. А. БЕСТУЖЕВЫМ

Якутск, 1828, июня 16-го.

Я был чрезвычайно удивлен, милые мои братья и друзья Николай и Михаил, узнав, что вы не получаете моих писем, которые я писал каждые две недели. Губернатор имел жестокость оставлять меня в заблуждении, вызвав меня сам своими обещаниями. Еще утешением меньше, еще причиной более сожалеть, что я не с вами. Я имел о вас вести, которых ждал с нетерпением; ваша твердость подкрепляет мое сердце, и такой пример терпенья учит меня быть достойным уважения, уважая и подражая вашему равнодушию к физическим страданиям. И не стыдно ли было бы нам падать духом, когда слабые женщины возвысились до прекрасного идеала геройства и самоотвержения? В самом деле, при этой мысли я проникнут чистым, умиротворяющим чувством восторга. Эта мысль обновляет мою душу, и я мирюсь с человечеством, нередко столь тщеславным и столь низким. Я здоров. Румяный вид мой и шутливое расположение духа, которое было мне полезнее всех уроков философии, понемногу возвращаются. Мой образ жизни был довольно однообразен, хотя избыток чувств, далеко не обыденных, не допускал скуке овладевать моим умом. Мое помещение было довольно удобно и очень чисто во все время моего здешнего пребывания. К тому же я сделался хорошим хозяином и изрядным поваром. Недостатка в деньгах у меня не было, тем более что я от природы умерен; единственная слабость не покидает меня, это слабость к щегольству; я представляю собой модную картинку в Якутске. Здешнее общество мне не очень нравится, все, что я могу сказать в его похвалу, это то, что женщины не лишены ума, а мужчины тщеславия; но истинное гостеприимство обледенело в этом отечестве 40-градусных морозов; тут только выставка. Я не посещаю собраний и знаком только с двумя домами. Иногда меня навещают и наводят на меня скуку; видел я у себя даже хорошеньких дам. Но да будет тому стыдно, кто превратно истолкует мои слова. Я совершенно уверен, что мой почтенный товарищ, ученый агроном Иван, *как знать?* явится, чтобы приплесть к моим словам рассказ о колокольне в Риге. Спросите у него, что это значит, передайте ему мой искренний привет и мои еще более действительные сожаления о том, что я лишен его

общества; мы бы подняли теперь бездну вопросов, которые остаются нетронутыми за отсутствием исследования. Пожмите крепче руку Антону, передайте мои соболезнования Алексею с выщипленною бородой. Обнимите дружески Пущина, Евгения, Штейнгеля. У меня горячо сохранилось воспоминание о их дружбе, так же как о дружбе Mouche barbue[1] и Якова с длинными усами и молодого поэта, которого он называл князем моей души. Кстати о поэзии: мой «Андрей» напечатан со всеми ошибками и смертными грехами, и что еще хуже, без моего ведома и именно против моего желания. О, женщины, женщины! Все пропало. Я попал в когти журналистов и без защиты. Мои умственные занятия заключаются в чтении, так как имею множество поучительных книг. По следам Михаила (моего ангела, а не архангела), я постараюсь приобресть познания полиглотов. На днях прислали мне немецких и латинских классиков; стихотворствую я очень много, и скорее для рассеянности, вообразив себя одно время влюбленным; время доказало, что это был только искусственный огонь. Я часто езжу верхом и влезаю на горы; охочусь и прогуливаюсь. Вот мой образ жизни. Дай бог, чтобы также был и вашим и чтобы я мог разделить его с вами; тогда, только тогда буду считать себя счастливым. Захар прекратил мое принужденное уединение. Я доволен как человек, как король, самим собой. Я пишу вам на почтовых, как вы видите. И потому простите несвязность этих строк; нам столько надо пересказать, что не хватило бы листа платана; я рассчитываю на другие подробности в письме Захара. Матвей, Чижов и Назимов здоровы, мы переписываемся довольно часто; но дело в том, что моя участь лучше той, которая выпала им на долю. Если вы найдете возможным написать им несколько слов, они меня успокоят насчет вашего состояния, если нельзя сказать благосостояния.

Попросите madame выставлять число по крайней мере таким образом: $18\frac{\text{VII}}{\text{I}}28$, когда вы здоровы, и обыкновенным образом, когда вы будете больны, перемещая число месяца вниз для M и наверх для N.

Обнимаю вас от всего сердца. Знать вас счастливыми — самое горячее желание моего сердца.

Александр.

---

[1] Бородатой Мухи *(фр.)*.

Глебову и Репину мой привет. Так же как и нашему Пик-де-Мирандола, всеведущему Завалишину.

P. S. Я получил многое от Рылеева. Получили ли и вы тоже? Здоровье матушки слабо. Да сохранит ее бог: она так великодушна.

Видел портрет, нарисованный тобою, почтенный Николай, и толпа воспоминаний наполнила сердце. Если можно, сделай мой: усы вниз и без бакенбард.

12. А. М. АНДРЕЕВУ

Г. Дербент, 9 апреля 1831.

Прежде всего благодарю вас за доставление «Поездки в Германию», почтеннейший Ардалион Михайлович: она заставила меня смеяться и плакать — две вещи очень редкие для моего изношенного сердца. В толпе лиц, автором описанных, я встретил и знакомцев; вообще простота, равно как истина описаний и чувств, пленительна. Это не мой род, но я тем не менее чувствую его красоты. Из приложенной записки знакомой руки я впервые получил дельное наставление насчет сочинений моих: мне необходимо руководство, во-первых, потому, что я не имею, благодаря бога, слепой самонадеянности, а во-вторых, потому, что в течение с лишком пяти лет не живу на свете, не только в свете. И вот почему мне хотелось бы, чтоб г-да издатели сказали мне: «Нам нужны вот какие статьи — публика любит то и то». Мне даже совестно, что вы взяли с Николая Ивановича дорого за «Наезды»: как журналисту ему можно бы уступить и дешевле, а как учителю моему это было бы и должно. Он, так сказать, выносил меня под мышкой из яйца; первый ободрил меня и первый оценил. Ему обязан я грамматическим знанием языка, и если реже прежнего ошибаюсь в ятях — тому виной опять он же. Нравственным образом одолжен я им неоплатно, за прежнюю приязнь и добрые советы; он прибавляет теперь к этому капиталу еще более, великодушно вызываясь на все хлопоты по изданию романа (если я напишу его) и отворяя двери в свой журнал для скитающихся статей моих. Засвидетельствуйте ему полную за то благодарность — я должник его по сердцу и по перу. Охотно пополню недостаток по десяти листов при первом

досуге. Продолжение «Вечера на Кавк. водах» еще не писал, но теперь же примусь. Насчет блесток замечание весьма справедливое — но это в моей природе: кто знает мой обыкновенный разговор, тот вспомнит, что я невольно говорю фигурами, сравнениями, и мои выходки Николай Иванович недаром назвал б<естужевски>ми каплями. Впрочем, иное дело повесть, иное роман. Мне кажется, краткость первой, не давая места развернуться описаниям, завязке и страстям, должна вцепляться в память остротами. Если вы улыбаетесь, читая ее, я доволен, если смеетесь — вдвое. В романе можно быть без курбетов и прыжков: в нем занимательность последовательная из характеров, из положений; дай бог, чтобы мой сивка-бурка не зашалился и там. Это, однако ж, еще будущее.

Уполномочиваю вас охотно в получении денег по сотрудничеству, ибо матушка моя недолго живет в Петербурге. Я получил за полгода 1830-го и полгода 1831 г. 800 р. ассигнациями. Но, может быть, сестра моя получила что-нибудь после, и потому вы возьмете на себя сей труд с 1 июня, узнав, сколько уплачено и сколько осталось до 1 июля (начало моего чернильного года) уплатить. Снова прося засвидетельствовать уважение и признательность мою Николаю Ивановичу, равно как всему его семейству, с искренним почтением имею честь быть Вам покорный

Александр Бестужев.

13. Н. А. ПОЛЕВОМУ

Дербент, 19 августа 1831 г.

Пользуясь верным случаем, пишу к вам, милый, почтенный Николай Алексеевич, — и пишу, как говорят летописцы, *вборзе*. На прошлой неделе я послал к вам половину повести «Аммалат-бек», при письме — но не знаю, дойдет ли она до вас по смутным обстоятельствам Кавказа. Шамаха возмутилась, а через Тарки давно уже нет проезда, и мы с часа на час ждем Кази-муллу в гости... Перестрелка чуть не под стенами Дербента, который уже лет 25 не нюхал пороху. Заневолю теперь вспоминают Ермолова: при нем бы этого не сделалось. Паскевич нахвастал много, хотел в один день и в один час с 10 пунк-

тов войти в горы и вдруг покорить их... он только разбудил их. Потерял сам кучу людей и ушел восвояси. Генерал Таубе нынешнего года сделал то же в Чечне. В Закаталах в ноябре вырезали лезгины целый батальон грузинского гре<надерского> полка и взяли 4 пушки. Четыре дня стояли они на победище и били зорю в русские барабаны и стреляли из пушек. Это было в 4 верстах от крепости — и Стрекалов, этот пустоголовый объедало, не смел показать носа с множеством солдат, у него бывших, даже подсылал горцам 1000 черв<онцев>, чтобы выкупить у них пушки. Такого позора не бывало еще никогда, солдаты чуть не плакали с досады, рвались в бой и были удержаны. Эммануэль ходил в Чечню, потерял 500 убитыми и 2 пушки. Он был храбрый генерал — и не прежде отказался от желания отбить и отомстить, как, упавши тяжко раненный, (брат его) лег рядом. В отдельных командах режут русских человек по 40 наездами из многочисленных конников. Распоряжения никакого — что здесь за коменданты, что здесь за полковники. Так руки опускаются!.. Кроме взяток, ничего не знают и не хотят. Все горцы подымаются заодно, около нас не осталось ни одного верного бека, и надобно заметить, что все те, которых простил и ласкал Паскевич, — первые и злейшие враги русских. Хотели привязать их сторублевыми кафтанами, и ласками, и почестями — теперь пусть полюбуются плодами этой политики. Русские ропщут, что татарских разбойников обвешивают крестами, осыпают пенсионами в тысячу и две серебр<яных> рублей, когда русские заслуженные генералы бродят чуть не по миру — а татары этому смеются и явно говорят, что русские боятся их. Да и правду сказать, если вспомнить, что делали Котляревский и Ермолов с сотнями, то сравнение невыгодно будет для настоящего. Только Вельяминов, Бекович и, в тарковском деле, Коханов побили их порядочно, но и только. Мятеж растет со дня на день. Все сунниды сбираются под знамена Кази-муллы, человека очень неглупого и хорошего вождя. Он действует неутомимо, играет назади наших войск и быстро перелетает с места на место, не уловимый нигде. Теперь цель его возмутить все угорця, чтобы растянуть наши войска, — а потом он станет брать города. На Дербент крепко грызут зубы все горцы — ибо он секты Шагидов, — милости просим: охота смертная порезаться. Меня ни за что ни про что лишили этого

удовольствия и из храброго 41-го полка перевели в линейный батальон. Паскевич при этом случае поступил со мной не скажу жестоко — но просто бесчеловечно. Я был вдруг схвачен с постели больной и в один час выпровожен верхом, зимой, без денег и теплой одежды, ибо все мои пожитки оставались в штаб-квартире полка. И потом он преследовал меня тайными приказами, веля употреблять ежедневно на службу, *во все тяжкие* (это выражение героя); умышленно разлучили меня с братьями — и теперь, находясь друг от друга 100 верст, — не имеем отрады видеться. Жестокое положение брата моего Петра, тяжело раненного в руку, — терзает меня во сто раз более, чем собственное неверное, зависящее от всякого подлеца существование. Верите ли, что я вздыхаю по Якутске в стране маслин и винограда! Но мудрено ли: там я был независим — а здесь!!!

Внезапное безмолвие ваше дает мне мысль, что вам запретили писать ко мне... Чудное дело! Позволяют мне явно переписку, а исподтишка ее прерывают. От вас получил я два письма. Писал к вам 6-ть, получили вы их? Сомневаюсь... а это сомнение — яд для переписки. Повторять одно и то же скучно, и страх досадно думать, что строки, теперь пишущиеся, не дойдут до назначения. Подружески прошу вас простить, что я замучил вас поручениями. Хочу быть одолжен человеку, которому не тяжело мне быть должником. Впрочем, прошу откровенности полной — и если это вам мешает в занятиях — одно слово, и конец. История ваша растет занимательностию — целую перо ваше! Желал бы знать, почему вы не напечатали отзыва моего об «Андрее» — я уверен, что вы имели к тому достаточные причины, но какие? Вы обещали мне перечень литературных сплетней — и, на беду, черт сунулся между рюмкой и губкой. Сердце болит. Может быть, вы спросите, собственно, обо мне. Скажу: я потерял все, даже надежду, — все, кроме твердости духа. Только это пособляет нести горькую судьбу мою. На этом стебле расцветает изредка цвет воображения — но счастия никогда. Я не предвидел такой ползучей жизни — не умею сносить ее, и неожиданно я с гордостью поднимаю порой цепь судьбы и говорю сам себе: тяжесть ее — мера силы пленника.

Вручитель сего письма — бывший капельмейстер Куринского пехотного полка, простой, благородный человек. От него сведаете подробности о нашем житье-бытье. Сви-

детельствуйте мое уважение супруге вашей. Я прошу ее для нас, русских, беречь ваше здоровье. Братцу Петру Алексеевичу привет сердечный. Да пошлет вам провидение счастие, которое вы заслужили. Иван Петрович наперед благодарит вас за всю вашу предупредительность — а я есмь как всегда Ваш неизменный

Алекс. Бестужев.

14. Н. А. ПОЛЕВОМУ

Дербент, 1832, февраля 4-го.

Пишу к Вам, любезный и почтенный Николай Алексеевич, с мусульманином Аграимом, добрым дербентским жителем, коего прошу Вас усердно приласкать, помочь ему в приискe товаров советом и выбором и, словом, совершить долг гостеприимства по-русски. Он расскажет Вам, что я теперь благодаря прекраснейшему семейству майора Шнитникова провожу время у них как с умными и добрыми родными, но это только теперь и, вероятно, ненадолго. *Не можете себе вообразить, каких преследований был я целью от или чрез Паскевича, этого глупейшего и счастливейшего из военных дураков, надо бы прибавить и злейшего. Насчет товарищей несчастия существуют приказы, в которых велено нас презирать и употреблять даже без смены во все тяжкие. К счастию, на земле более трусов, чем подлецов, и более подлецов, чем злодеев, и оттого мало-помалу судьба наша облегчается — но это на миг. Имя наше употребляют теперь как головню: личные ссоры старших обрываются на нас; донос, что с нами обходятся не довольно жестоко, бывает началом новых гонений, и мы терпим за чужие беды. Так, кажется, будет скоро со мною. Есть здесь полк<овник> Гофман, который весь век пил, играл в карты и охотник до калинкору, — все это заслужило ему имя доброго человека, ибо на Кавказе только эти качества уважаются. К этому же, он только что получил полк, за службу в жандармах. Поссорясь с комендантом за какое-то выражение по бумагам, — он уже хвалился, что донесет на него, зачем он <не> прижимает меня. Итак, если вы услышите что-нибудь, что со мною стряслось, — не дивитесь. Это уже не в первый раз; думаю, и не в последний. Паскевич сыграл*

со мною штуку получше этой, заставя больного, с постели, зимой, без теплой одежды, без копейки денег ехать верхом сюда из Тифлиса. Это было, не говорю жестоко, но бесчеловечно. И за что же?.. О, это было совершенное время de lettres de cachet[1]*. Г-ну Стрекалову сказали, что я удачно волочусь за одной дамой, которой он неудачно строил куры — и вот зерно преследований. Тяжело мне было здесь сначала, и нравственно еще более, чем физически. Паск<евич> грыз меня особенно своими секретными. Казалось, он хотел выместить памяти Грибоедова за то, что тот* взял с него слово мне благодетельствовать, даже выпросить меня из Сибири у государя. Я видел на сей счет сделанную покойником записку... Благороднейшая душа! Свет не стоил тебя... по крайней мере я стоил его дружбы и горжусь этим. С Иваном Петровичем знакомы и связаны мы издавна... но мы не друзья, как вы полагаете, — ибо от этого имени я требую более, чем он может дать. Живу один. Ленюсь... частию виноваты в том и сердечные проказы. Каюсь — и все-таки ленюсь. Но что вы, вы, мой добрый, сердцем любимый Н<иколай> А<лексееви>ч!.. Как жаль, что я не знал об отъезде Аграима ранее, — я бы написал вам кучу любопытного... но теперь едва успеваю ночью, на постеле кончить эти несвязные строки. Пишите по крайней мере Вы с ним. Пишите и по почте — я уже после отрадного большого письма давно не имею о вас вести. Обнимите за меня Ксенофонта. Боже мой, какая досада, я еще не начал и должен кончить — светает, а со светом Агр<аим> едет в свет из кромешной тьмы, где влачится Ваш

Александр.

15. К. А. ПОЛЕВОМУ

Дербент, 26 января 1833.

Я соскучил, добрый мой друг Ксенофонт Алексеевич, так давно не получая от Вас писем. Я вижусь с Вами только в «Телеграфе» последнее время; хорошо, что и там Вы во фраке, что и там вы нараспашку. Я с большим наслаждением читал статью о Державине, я с большим

---

[1] Указ короля об изгнании или заключении в тюрьму *(фр.)*.

огорчением огляделся кругом, прочитавши ее... где он, где преемник гения, где хранитель огня Весты? Я готов, право, схватить Пушкина за ворот, поднять его над толпой и сказать ему: стыдись! Тебе ли, как болонке, спать на солнышке перед окном, на пуховой подушке детского успеха? Тебе ли поклоняться золотому тельцу, слитому из женских серег и мужских перстней, — тельцу, которого зовут немцы маммон, а мы, простаки, свет? Ужели правда и для тебя, что

Бывало, бес, когда захочет
Поймать на уду мудреца,
Трудится до поту лица,
В пух разорить его хлопочет.
Теперь настал светлее век,
Стал крепок бедный человек —
Решенье новое задаче
Нашел лукавый ангел тьмы:
На деньги очень падки мы,
И в наше время наипаче
Бес губит — *делая богаче.*

Но богаче ли он или хочет только стать богаче? Или, как он сам говорил:

Я влюблен, я очарован,
Я совсем огончарован?

Таинственный сфинкс, отвечай! Или я отвечу за тебя: ты во сто раз лучшее существо, нежели сам веришь, и в тысячу раз лучшее, нежели кажешься.

Я не устаю перечитывать «Peau de Chagrin»;[1] я люблю пытать себя с Бальзаком... Мне кажется, я бичую себя как спартанский отрок, чтобы не морщиться от ран после. Какая глубина, какая истина мыслей, и каждая из них, как обвинитель-светоч, озаряет углы и цепи светской инквизиции, инквизиции с золочеными карнизами, в хрустале, и блестках, и румянах!

Я колеблюсь теперь, писать ли роман, писать ли трагедию, а сюжет есть богатый, где я каждой силе из разрывающих свет могу дать по представителю, каждому чувству — по поступку. Можете представить, как это будет далеко, бледно, но главное, то есть страсти, сохраню я во всей силе. Я, как Шенье у гильотины, могу сказать, ударя себя по лбу: *тут что-то есть,* но это еще связно,

[1] «Шагреневая кожа» *(фр.).*

темно или, лучше сказать, так ярко, что ум ослеплен и ничего не различает. Подождем: авось это чувство не похоже на самоуверенность Б. Федорова. Одним, по несчастию, сходен я с ним: это докукою вам! Поручений, поручений — так что голова кругом пойдет!.. Но Адам Смит сказал, что раздел работ есть основа экономии. Простите до будущей.

Николая Алексеевича прижимаю к сердцу, которое, право, лучше всего меня и в перьях и в латах. Счастия...

Александр Бестужев.

16. Н. А. ПОЛЕВОМУ

Дербент, 1833 года, мая 18 дня.

Не беспечность, еще менее гнев виной, любезный друг Николай Алексеевич, что я реже пишу к Вам. Я боюсь возмутить душу Вашу, помешать Вашим занятиям. Какое мне дело, что Вы не пишете часто, если и в редких письмах я узнаю Вас и нахожу тем же? Между душой и душой путь — слово; но когда они летают друг к другу в гости, не все ль равно, часты или редки станции? Оставим эти расчеты ползунам и людям, которые везут жизнь на долгих. Я смею думать, судьба оставила в наших крыльях еще столько перьев, что хоть душою можем мы пролетаться когда и как вздумаем. Терпеть я не могу шапочных переписок, хоть очень нередко, по необходимости, должен бываю писать и к друзьям, будучи, что называется, не в духе. Заневолю пишутся пустяки, их выводит перо, гусиное, давно вырванное из крыла перо, — голова или сердце в нетчиках.

Напрасно вы отпеваете себя как домашнего человека или просто как человека, хоть побожитесь — не поверю и в доказательство приведу ваши же письма. В трупе живут лишь черви, на кладбище мелькают лишь блудящие огоньки — цветы и огонь признак здравия и жизни. Я не постигаю вашего расщепления бытия, грешный человек, или, признательнее сказать, ему не верю. Может ли умереть Николай, когда Полевой жив за сотню? может ли жизнь быть переплетена со смертью? Или то, или другое должно уступить — зараза или цельба должна овладеть спорным существом непременно; а, благодаря бога, не видать, чтобы вы чахли умом, и сами говорите, что крепки

телом. Вы называете это отсутствие желаний для себя болезнию, чарою, не знаю, чем еще, а я вижу в этом средство провидения заставить вас быть полезным для других. Из иного судьба выжимает поэзию, так что она брызжет из пор бедняги с кровью и слезами; других она купает в вине и в масле, и творения их текут как фимиам, как токайское с розового ложа. Для того нужна узда, для другого шпора. Меня, чтобы пробудить из глубокого сна, стоит только назвать по имени; другой просыпается лишь при звуке золота. Козлов стал стихотворцем, когда перестал быть человеком (я разумею телесно); другого, напротив, малейшая боль выбивает из петель. Конечно, для нашего брата очень невыгодно, что судьба мнет нас, будто волынку для извлечения звуков; но помиримся с ней за доброе намерение и примем в уплату убеждение совести, что наши страдания полезны человечеству, и то, что вам кажется писанным от боли, для забытья, становится наслаждением для других, лекарством душевным для многих. Впрочем, всему есть мера, а вы чересчур предались идее отлучения, разъединения человека дельного от человека мирского, вы дали ей оседлать себя, да еще и глаза завязать. Это вредно и для здоровья и для сочинения. Память надобно питать новинками, чтоб она не истощилась; а отчуждаясь от света, в коем живем, мы мало-помалу становимся чужды и для него. Вы скажете: «я живу в старине», но глядеть на нее надобно сквозь современный ум, говорить о ней языком, понятным ровесникам нашим. Возможем ли оживить мертвых, если сами будем мертвы для живых? Да, уединение необходимо для выражения того, чтó в нас, но кипение жизни, но пыл страстей, но трение отношений необходимы, чтобы наполнить нас. Хороши краски кабинета, но краски природы лучше. Моя палитра — синь моря, радуга неба, льдины гор, мрак тучи. Колдун — воспоминание; но живая природа — бог. Она свежит, она вдыхает, она сама расстилается слогом. Но неужели природа только в волнах, в горах, в зелени? Ужели человек не часть ее? Потереться порой между румянами и шумихой, подслушать лепет и говор толпы, рассмотреть в микроскоп какую-нибудь страсть-букашку хоть не так приятно, как вид заходящего солнца или песнь дубравы, но едва ли не более поучительно. Как вы ни вертитесь, человек создан для общества: платите же ему дань мелкою монетой; но как бы ни мелка была она, общество

вам сдаст за это. Гулять так же нужно в лесу, как и в залах. Охотиться можно в обществе столь же удачно, как в поле. Сохрани вас бог жить в болоте; но чтобы написать болото, как Рюисдаль, надобно вглядеться в него. Жалки мне были всегда люди, но более забавны, чем жалки, и признаюсь, мне бы страх хотелось иногда на миг промелькнуть сквозь все круги общества. Вообразите себе мое положение: я не могу жить ни с стариной, ни с новизной русскою, я должен угадывать все-навсе! Мудрено ли ошибиться? Впрочем, один другому не пропись — я создан так, вы иначе. И напрасно жалуетесь на то: вы наполняете бездну, чтобы не утонуть в ней, а я с горя кидаюсь в нее очертя голову. Бездействие мое доказывает мне, что я не призван ни на что важное. За гением след кипучей деятельности.

Вы правы, что для Руси невозможны еще гении: она не выдержит их; вот вам вместе и разгадка моего успеха. Сознаюсь, что я считаю себя выше Загоскина и Булгарина; но и эта высь по плечу ребенку. Чувствую, что я не недостоин достоинства человека со всеми моими слабостями, но знаю себе цену и, как писатель, знаю и свет, который ценит меня. Сегодня в моде Подолинский, завтра Марлинский, послезавтра какой-нибудь Небылинский, и вот почему меня мало радует ходячесть моя. Не вините крепко меня за Бальзака: я человек, который иногда может заслушаться сказкой, плениться игрушкой, точно так же, как сказать или сделать дурачество. Вот почему и Бальзак увлек меня своей «Шагреневою кожей». Там есть сильные вещи, есть мысли, если не чувства глубокие. Выдумка стара, но форма ее у Бальзака яркая, чудная, и потом он мастер выражаться. Зато в повестях его я, признаюсь, нашел только один силуэт ростовщика, резким перстом наброшенный. В Нодье я сроду ничего не находил и не постигаю дешевизны похвал французской публики: она со всяким краснописцем носится будто с писаною торбой. Перед Гюго я ниц... это уже не дар, а гений во весь рост. Да, Гюго на плечах своих выносит в гору всю французскую словесность и топчет в грязь все остальное и всех нас, писак. Но Гюго виден только в «Notre-Dame»[1] (говоря о романах). Его «Han d'Islande» [2] —

---

[1] «Собор Парижской богоматери» *(фр.)*.
[2] «Ган Исландец» *(фр.)*.

смелая, но неудачная попытка ввести бойню в будуары. «Бюг-Жаргаль» — золотая посредственность. И заметьте, что Гюго любит повторять свои лица и свои основные идеи везде. Ган, Оби, Квазимодо — уроды в нравственном и физическом родах... потом саможертвование в «Бюге», в «Гернани», в «Марион де Лорм»... Это правда, что он, как по лестнице, идет выше и выше по этим характерам; но Шекспир, человек более гениальный, этого не делал, а нам, менее даровитым, на это нельзя и покуситься. Надобна адская роскошь Байрона в приправах, чтобы разнообразить вырванное из человека сердце, которым кормит он читателя. «Кромвель» холоден и растянут: из него можно вырезывать куски, как из арбуза, но целиком — нет. Мариона прелестна: это Гец для времени Ришелье. Полагаю, что «Борджия» достойна своей славы, и жажду прочесть ее. Кстати, «Последний день осужденного» — ужасная прелесть!.. Это вдохнуто темницей, писано слезами, печатано гильотиной... Пускай жмутся крашеные губы и табачные носы, читая эту книгу... пускай подсмеиваются над нею кромешные журналисты — им больно даже и слышать об этом, каково же выносить это!.. О, Дантов ад — гостиная перед ужасом судилищ и темниц, и как хладнокровно населяем мы те и другие! Как счастлива Россия, что у ней нет причин к подобной книге!

«Клятву» перечитываю для последнего тома, только что полученного; кончив, скажу свое мнение, — не приговор, ибо человеку не по чину произносить приговоры. До тех пор скажу лишь, что я в ней находил «Русь», что я здоровался с земляками, и не раз пробивала меня слеза.

Вы пишете, что плакали, описывая Куликово побоище. Я берегу, как святыню, кольцо, выкопанное из земли, утучненной сею битвой. Оно везде со мной; мне подарил его С. Нечаев. О своем романе ни слова. Враждебные обстоятельства мешают мне жить, не только писать.

Не дивитесь, что я знаю морскую технику: я моряк в молодости и с младенчества. Море было моя страсть, корабль пристрастие, и хотя я не служил во флоте, но, конечно, не поддамся лихому моряку, даже в мелочах кораблестроения. Было время, что я жаждал флотской службы и со всем тем предпочел коня кораблю: с первого скорее соскочишь. Воспитание мое было очень поэтическое. Отец хотел сделать из меня художника и артиллериста. Я вырос между алебастровыми богами и героями, а

потом между химическими аппаратами и моделями горного корпуса. Лето скитался я по Балтике с старшим братом. Судьба сделала из меня кавалериста и, не знаю, призвание ли — сочинителя. Но это требует рам пошире: где-нибудь я опишу мое ребячество и мою бурную юность. Но где довольно черной краски, чтоб описать настоящее? Тот, который ни одной строчкой своею не красил порока, который сердцем служил всегда добродетели, подозреваем, благодаря личностям, бог весть в чем. Но об этом после. Лист кончен, но мое vale[1] стоит в начале разговора. Будьте счастливы и дома, и в свете, и в трудах своих, до скорого свидания мечтой. Ваш, весь ваш

Александр Бестужев.

17. К. А. ПОЛЕВОМУ

<Дагестан, 9 ноября 1833.>

Обнимите за меня Николая Алексеевича, любезный Ксенофонт, обнимите крепко, крепко: это за его «Живописца»! Да, я, как женщина, безотчетно говорю: *прелесть*, но я отчетно чувствую эту прелесть. Какой я бездушник был, когда сказал, что слог был виной неуспеха «Клятвы», слог! Нет, черствые души читателей... Но все-таки я изумляюсь: язык в «Клятве» и язык в «Блаженстве безумия», особенно в «Живописце», две разные вещи, это писал другой человек; зачем же не всегда он пишет таким слогом, зачем? И я, я это спрашиваю! Я, который двух часов не бывал ровен! Я плакал, я заставил рыдать, когда читал эту повесть... я ужаснулся *сам*, когда прочел *другому* (?). Да, я чувствую, что я мог натурально выразить Аркадия, особенно ревность его; я глубоко бывал растерзан ею и не раз, а этот Прометей!.. О! знаете ли, что сегодня ночью (это не сказка) я видел во сне над собой этого огромного орла: он пахал холодом с широких крыльев в сердце мое; я хотел бежать и не мог... и потом я видел землю великанов, бродил между ними, с опасением, но без страха; они говорили со мной, но я не понимал их языка... Кровь моя была взволнована чтением; да, я чувствую, что автор такой повести может

---

[1] Будь здоров *(лат.)*.

быть утешен, внушив человеку мыслящему столько мыслей, столько ощущений! Не завидую, ей-богу, не завидую Николаю; но досада *есть* на себя. Впрочем, могу ли я писать вполне, оглядываясь на все стороны? Я уже одичал, я уже не сумею ладить с цензурою, торговаться с нею!

Мысли мои кипят; не могу писать складно; в голове нет autoclave[1]. Притом я взбешен на ....., он грабит меня с А-вым пополам, вопреки 20-ти писем отдает тому деньги, а тот берет и даже писать не хочет. Как невообразимо гадки люди, за горсть гривенников они продадут и честь и совесть... Не поверите, как мне прискорбно видеть в людях *такие* низости; я бываю надолго убит разочарованием, и не эгоизм, не вред себе огорчает меня, но черты грязи на сыне небес.

Прилагаю мой ответ на выходку Смирдина. Мерзавец! Как смел он играть мною? Или думал, не известя меня даже о своем издании, купить мое слово или мое молчание деньгами! Деньгами? Когда я за двусмысленность не купил бы даже и свободы, первого, единственного блага и желания души моей...

Я физически не болен, но душой и не вылечивался, свидетель тому моя критика; досадно, что послал ее, лишнего много, нужного мало... Вижу; но пусть все-таки в ней почитают человека, если не вскрышку искусства. Будь что будет. Я опять к вам с канюченьем, прошу, исполните эти вздорные поручения. Посылаю 100 р. Не извиняюсь, зная вас. До следующей почты.

Ваш душой

Алекс. Бестужев.

<К этому письму принадлежит следующий протест, писанный рукою Бестужева:>

Милостивый государь,

С изумлением начитал я в -м номере «Сев. пчелы», в исчислении г.г. сотрудников вновь издаваться имеющего г. Смирдиным журнала «Библиотека для чтения», мое имя. Хотя я считаю себя не более как червячком в печатном мире, но все-таки не хочу, чтобы меня вздевали г-да спекуляторы на уду для приманки подписчиков, без моего

[1] Автоклава *(фр.)*.

спроса и согласия. А потому покорнейше прошу вас припечатать в «Телеграфе» известие, что я не только не буду, но и не хочу быть сотрудником г-на Смирдина; что в журнале, им издаваемом, ни теперь, ни впредь не будет моей ни строчки; что не только из сочинений моих, но из моего имени даже не продавал и не обещал я ему ни буквы. О поступке же г-на Смирдина, нарушающем не только личность, но и собственность писателя, предоставляю судить всей добросовестной публике. O tempora, o mores![1]

С уважением, и проч.

Александр Марлинский.

9 ноября 1833 г.
Дагестан

18. К. А. ПОЛЕВОМУ

23 ноября 1833. Дербент.

Дорогой мой Ксенофонт Алексеевич. Сегодня я именинник и сижу один, больной, грустный. Мечты моего детства машут около меня крыльями, но я их вижу сквозь креп. Боже мой, куда делись и зачем не могут воротиться хотя немногие часы из минувшего? Зачем, хоть для образчика, не оребячится вновь сердце, чтобы я мог иметь органы для прежней радости, органы давно огрубелые или вовсе утраченные. Воспоминание! Что такое воспоминание? Живая картина, но все картина, а не действительность, картина, у которой время кривит перспективу и уносит у нас из-под ног точку зрения. Мысль простирает между *было* и *есть* железный аршин свой и говорит: это *мое,* это *твое.* Досадный раздел!.. Мысль принадлежит миру, чувство — мне. Мысль — брат, чувство — любовница... Чувство сладостнее, горячее, нежнее мысли. Но провидение спаяло обе половины времени, сроднило оба эти существа, слило воедино жизнь и смерть; и эта связка, эта амальгама, это бытие-гермафродит — *Сон.* Там только солнце юности не только светит, но и греет; там только цветы любви прежней не только блистают, но и благоухают. В нем, как в котле Медеи, младенеет и сердце и дух наш. В нем, как в зеркале шекспировских ведьм, видим мы туманные облики будущего; им переживаем порой

[1] О времена, о нравы! *(лат.)*

то, чего не было и не будет, даже то, чего не могло быть и не может статься. Но, о добрый друг мой, — бледнеют и самые сны, вянет солнце, тускнет небо грез моих... Кажется, огромные буквы неизмеримой книги этой стираются; смысл чаще и чаще убегает от понятия, образы сливаются с туманом; ощущения поражают как тупые стрелы, не как меч раскаленный... Скажите, отчего это? Неужели кровь моя стынет? Зачем же кипит еще мое сердце? Зачем сны наяву волнуют его, а оно не оживляет моих сновидений по-прежнему? Да, в эту ночь я видел себя ребенком, видел отца моего, доброго, благородного, умного отца; видел, будто мы ждем его к обеду от графа Александра Сергеевича Строганова, который бывал именинник в один день с нами... И все заботы хозяйства, раскладка вареньев на блюдечки, раскупорка бочонка с виноградом, и стол, блестящий снегом скатерти, льдом хрусталя, и миндальный пирог с сахарным амуром посредине, и себя в новой курточке, расхаживающего между огромными подсвечниками, в которые ввертывают восковые свечи, — и все это виделось мне точь-в-точь как бывало. Но кругом было сумрачно, внутри меня холодно; я был уже зритель, не действователь на этом празднике. Я проснулся с досадою... И так луч мороза судьбы проникает даже в воображение, даже в сон — горькое открытие, *горькое* сознание!

Получил я тринадцатый номер «Телеграфа» и с наслаждением прочел главу Гюго. «Ceci tuera cela»;[1] он великий мыслитель: другие перебивают мысль из его выжимков. Он звезда, прочие спутники; но и он звезда-комета, звезда-предтеча. О, зачем не доживем мы до обновленного мира, после потопа, уже вздувающегося! В разборе путешествия Белявского вы говорите о могиле Менщикова. Знаете ли, что до 1827 года не знали точно, где похоронен он. Тобольский губернатор Бантыш-Каменский был в Березове, рыл, по преданиям, в трех местах и, наконец, нашел его, вовсе не тленным от замерзшей почвы. С ним был хороший портрет Менщикова; нашлось, что и все черты сохранились в точности и в свежести. Он был одет в атлас и бархат, с черной скуфьею на голове. Желая сохранить что-нибудь на память для потомка его г<осподин>а Менщикова, Бантыш-Ка-

[1] Это убьет то *(фр.)*.

менский срезал несколько волос с брови покойника и взял золотой с груди крестик. Потом, отслужив панихиду, закрыл могилу и означил ее крестом. Эта археологическая выходка дорого стоила археологу. На него был сделан безымянный донос в кощунстве, якобы он смеялся над трупом и вырезал у него глаз. Велено сделать следствие, со строжайшим ему выговором, и хотя он оправдался, но ему замечено было, что любознательность его вовсе не уместна. Потомки Менщикова до сих пор не сделали никакого надгробия над славным сподвижником Петра, и прах человека, давшего им миллионы, лежит под сосновым крестом, водруженным чуждою рукою. Вот что значит опала.

Не знаю, писал ли я вам, что нашел в Якутске могилу Анны Гавриловны Бестужевой, умершей там в ссылке с вырезанным языком. На ней не было уже и креста. Могилы Войнаровского не знают, но указывают на другом берегу Лены против Якутска, в селении, называемом Ярмонкою, место, где стояла его юрта. Для первой хотел я своими руками высечь камень, с сердцем в терновом венке посредине; но прежде чем привезли хорошую плиту, я должен был выехать, — страдать за другими горами.

Если есть еще время, удержитесь печатать отказ мой Смирдину. Он писал ко мне; говорит, что сестра моя заверила его в моем содействии, а мне не хочется впутывать этого чистого имени в каверзы петербургской журналистики. Я отвечаю ему, как он сто́ит, и сказал, что обращаю против него же оружие, которым думал победить меня. Он предлагает мне 300 р. за лист, я требую 500. Зло уже сделано, надобно наказать виновника. Это, впрочем, не помешает мне писать для вас. Если б у меня не было брата за Кавказом, которому нужны деньги, ибо он выходит в отставку и расплачивается с долгами, никогда бы я не написал ни строчки для людей, которые думают купить мое перо еще в гусе и щиплют живого.

Недели три не брался за перо: сборы к смотру мешали, теперь присяду. Чтоб втравить себя в дельное, начну чем-нибудь шуточным. Во всяком случае первое дело будет для вас.

У нас мюриды (преданные) убитого Кази-муллы от голоду начинают шалить не на шутку. Недавно увели целое село с людьми и скотом в горы. Вельяминов добирает с Чечны прошлогоднюю подать. Партии разбойников

уводят и рубят русских дровосеков, грабят даже офицеров; на будущий год должно ожидать усмирительного похода.

Благодарю за все посылки. Ложки и ноты получил вчерась. Не посылаю поправок с этой почтою, ибо не все еще номера отыскал. Беда невелика, если и не напечатаются. Третий том будет слишком дороден, не расколоть ли его надвое? В 1825 году в августе есть мое письмо о петергофском празднике. Оно вздор, но может пригодиться в добавку. Поцелуйте ручку у супруги вашей.

Ваш душою

Александр Бестужев.

19. Н. А. и М. А. БЕСТУЖЕВЫМ

Дербент, 1833 года, декабря 21-го.

В Петровский завод. Просят отослать поскорее.

Дорогие, любимые братья, Николай и Михаил!

Сестра Елена Александровна приложила к своему письму письмо из Петровского от княгини Трубецкой, писанное 23-го июня. Давно уже минул этот месяц, но послание свежо для меня: оно, казалось, повеяло мне стариною, не изменившеюся в холоде Сибири до сих пор. Да, я узнаю в брате Николе, в тебе, мой идеал светской доброты, все того же брата-критика, который никак не хочет баловать родного и, гладя ребенка по голове, говорит: «Учись, Саша, смотри вверх, Саша!» О, как бы я хотел броситься к тебе на шею и сказать: брани мои повести сколько душе угодно, но посмотри на меня: неужели ты не видишь во мне того же сердца, лучшего еще сердца, потому что оно крестилось в слезах, сердца, которое, право, лучше всего того, что я писал и напишу. Впрочем, книга есть человек; творение есть отражение творца, так я думаю и верю и вот почему скажу несколько слов в свое оправдание. Ты говоришь, что я подражаю часто; но кому? Это будет так же трудно сказать тебе, как мне угадать. Правда, в рассказе иногда я подражал и тому и другому, точно так же, как подражаешь иногда голосу и походке любимого человека, с которым живешь; но голос не есть слово, походка не есть поведение. Я схватывал почерк, никогда слог. Доказательство тому, что слог мой

самобытен и нов, — это неуменье подделаться под него народцев, которые так охочи писать и так неспособны писать. Пусть найдут еще в моих повестях хоть одно укрывающееся лицо из-за границы, пусть! Неужели мой Саарвайерзен выкраден откуда-нибудь? Если *да*, так это с портретов Вандейка, не более. Все авторы, словно стакнувшись, задрямили рисовать голландцев флегмою; я, напротив, выставил его горячим, но расчетливым сыном огня и болота: это летучая рыбка. Главное, любезный мой Никола, ты упускаешь из вида целое, прилепляясь к частностям. Неужели, например, в ботанической лекции, как называешь ты разговор Белозора, не угадал мысли: как любовь все предметы переплавляет в свое существо и в самой сухой соломинке находит себе сладкую пищу. Иные главы, по-видимому, вставлены у меня вовсе сверх комплекту, как, например, разговор Кокорина с лекарем; но кто знает: не желал ли я возбудить внимание читателей нетерпением? Это тоже тайна искусства. Кроме того, мои повести могут быть историей моих мыслей, ибо я положил себе за правило не удерживать руки; и вот, если разберете мою медицину, то найдете, может быть, более дельных насмешек над модными мнениями медиков, чем ожидали. Так и во многом другом[1].

У Бальзака много хорошего, но учиться у него я не буду. Разбери глубже, и ты увидишь, что он более блестящ, чем ясен. Кроме того, что он пересаливает олицетворение кстати и некстати, и часто одно и то же в разных соусах; кроме того, что он торопится за золотыми яблоками Аталанты, он слишком разъединяет страсти своих лиц: эта исключительность не в природе. Так, лучшее из его лиц, госпожа Жюль, и ухом не ведет, что за нее давят, режут и отравляют людей. Естественно ли это? Ужели совесть ее чиста или спокойна от любви к мужу или оттого, что она убивает не своими руками! Будь уверен, что я не выставил бы такого лица на поклонение, не надел бы на него бесполого, хоть и бархатного кафтана Колибрадоса! Странно, что у вас так возвышают Бальзака, а молчат про В. Гюго, гения неподдельного, могучего.

[1] Что же касается до блесток, ими вышит мой ум; стряхнуть их — значило бы перестать носить свой костюм, быть не собою. Таков я в обществе и всегда, таков и на бумаге; ужели ты меня не знаешь? Я не притворяюсь, не ищу острот — это живой я. *(Примеч. автора.)*

Его «Notre-Dame», его «Marion de Lorme», «le s'amuse»[1] и «Боргиа» — такие произведения, которых страница сто́ит всех Бальзаков вместе, оттого, что у него под каждым словом скрыта плодовитая мысль. Правду сказать, с полгоря и писать им на раздолье и в таком кипятке событий, а для меня куда ни кинь, так клин: то того нет, то другого нельзя, ни источников, ни досуга, а воображение под утюгом. Поневоле клюешь тыкву: виноград зелен.

Теперь я нездоров и потому только доживаю в Дербенте несколько дней, ибо переведен во 2-й гр. л. баталион в Ахалцых. От воли своей давно я отказался; желать мне в Грузии нечего, а кладбища есть и здесь столь же покойные, как инде; со всем тем я еду. Огорчительно для меня, что вы не получали моих писем: с приезда я писал их по крайней мере 20; до вас дошли десятые проценты, жаль: это отбивает охоту писать; это потеря не только для братского сердца, но для самой словесности.

Поблагодарите от меня княгиню Трубецкую за то, что она одна для родных наших служит проводником вестей хоть о здоровье вашем; она ангел-хранитель наш и многих, она отрадное явление на черном поле человечества. Доброго, милого Мишеля прижимаю мыслию к сердцу: что он, что вы оба делаете? Я думаю, стали язычниками, полиглотами? Дай бог вам терпения и здоровья: в них одно возможное счастье несчастных. Ваш многолюбящий брат

Александр Бестужев.

P. S. В голове у меня давно уже лежит роман; при досуге перепишу его. Прочтете — посудите; теперь о нем ни слова.

20. К. А. ПОЛЕВОМУ

<21 февраля 1834 г.>

Почтенный друг Ксенофонт Алексеевич.

И без письма вашего от 14 января угадывал я, в какую тяжкую борьбу вступили Вы с людьми и обстоятель-

---

[1] «Марион де Лорм», «Король забавляется» («Le roi s'amuse») *(фр.)*.

ствами, принимаясь за журнал. Кровавым потом смазывается рычаг, двигающий вперед народы, — но подвиг двигателей не останется незаметным или незамеченным в бездне потомства. Работайте. Я тем более ценю терпение Ваше, что сам нисколько к нему не способен, и чувствую, каково для человека выносить подлейшие прижимки *цензоров. Говорю по опыту, ибо однажды чуть не прибил цензора Красовского, выведенный из себя его вандальством. Ладить с мадам цензурою не умею я ни на словах, ни на письме. Писав, однако ж, последнюю критику, я клал перед глазами ножницы как символ прокруствой (sic)*[1] *постели (étant orthodetement élevé dans la crainte de Dieu et des censeurs*[2]*), — но все-таки, съежившись даже в картофель, не прошел и вполовину цел сквозь грохот вашего Лазаря. Было худо, бывало худо, — а уж эдакого пошлого, грязного живодерства я не мог себе вообразить, даже замурованный. Приглашайте после этой попытки писать о чем-либо! Слуга покорный. Не только за критику, да и за сказку страшно садиться — и положительно говорю вам, что это главная причина моего безмолвия. Не смея бросать в свою записную книжку мыслей своих, как решиться писать что-нибудь для публики? Малейшее слово мое перетолкуют — подольют своего яду в самое розовое масло — и вот я вновь и вновь страдалец за звуки бесполезные!! На водах выдавали за непреложную истину, что литераторы просили государя за меня. Литераторы! Бог мой!.. Они готовы съесть меня без уксусу и перцу — и кто у нас литераторные (sic) вельможи? Ужели я их не знаю до подноготной жизни? Поляк Булгарин, поляк Сенковский — оба которые с утра до вечера смеялись над русскими и говорили, что с них надобно брать золото за то, чтобы их надувать! И они первенцы, они судьи, они хозяева нашего Парнаса, с примесью Греча — ублюдка из немца и чухонки, у которого душа повита на гривеннике! Стыд и гнев берет, когда читаешь их патриотические выходки, у которых (как чесночный дух сквозь духи) оскаливается вечный припев: «Подпишитесь на журнал — купите сайку у Смирдина! Он нам платит — он благонамеренный человек». И вот благодаря*

---

[1] Так *(лат.)*.

[2] Будучи ортодоксально воспитан в страхе перед богом и цензорами *(фр.)*.

их (как называют они) книжной торговле — гений есть не что иное, как чекан рублевиков. А словесность — рынок, на котором они (мытники и фарисеи в одном лице) сбивают и набивают цену; и горе тому дерзкому, кто осмелится провезть товар мимо их таможни. По радости, с какой печатают они в «Пчеле» «Историю Видоков-досмотрщиков», не мудрено угадать в них химическое сродство с этими наростами политического тела.

Письмо это прервано было получением от Вас книг и пелеринки для Шнитниковой и помады. Письма при этом не получил. Книги размокли в каком-нибудь горном потоке — это к добру Брамбеуса: авось он не будет так сух, как я его представляю себе. Еще получил я диковинку — письмо, и от кого вы думаете? от Фаддея! Оправдание Греча и Смирдина, обвинение сестры Елены (которую несчастия точно сделали чересчур подозрительною) — и наконец, разумеется, выходки против Вас и предвещание, что Вы меня обманете, обсчитаете и бог весть что. Я не сомневаюсь, что Булгарин любит меня, ибо я ничего не сделал такого против него, за что бы он имел право меня разлюбить; но что он любит более всего деньги — и в этом трудно усумниться. Впрочем, я не потерял к нему приязни — в основе он добрый малый, но худые примеры и советы увлекли его характер-самокат. Не постигаю, отчего они так клевещут о Вас? Врагом по литературе позволено быть — но личность есть вещь святая, и смешивать частную жизнь с публичным изданием — есть низость.

Письма адресуйте покуда в Тифлис, Павлу Александровичу Бестужеву, *артиллерии поручику. В канцелярию начальника артиллерии.* Он или доставит их мне, или сохранит до моего приезда.

Здоровье мое плохо.

Насчет Ахалцыха скажу одно — я буду там прилежнее, и, конечно, «Телеграф» мне скажет за то спасибо. Кстати (или, бишь, некстати) о моей статье — попытайте перевести на французский язык мнение о романтизме без исключений и без имени и пошлите в журнал французский, в Петербурге издаваемый. В близости государя цензура гораздо умнее и не вычеркнет, я думаю, евангельских истин.

Смирдин платит мне 5 тысяч в год за 12 листов. Таиса Максимовна очень благодарит супругу вашу за

вкусе ее убора, — а я за то, что вы меня, своего должника, так скоро и мило удовлетворяете. Чувствую это.

Братца Николая обнимаю, ваш

Александр.

21 февр<аля> 1834

21. Н. А. и М. А. БЕСТУЖЕВЫМ

1835 года, декабря 1-го.

Умер старый год, дорогие, милые братья Николай и Михаил: не будем, как египтяне, судить его после смерти! Да и что до меня собственно, мне нечего жаловаться на покойника: он подарил мне по себе поминки — несколько живых картин, несколько сильных ощущений; чего ж более? Мой тройной путь через Кавказ — сперва на границы Аджарии, потом на Кубань, потом на берег Черного моря, и ежедневная война с горцами породили воспоминаний надолго. Но сперва отвечу на полемическое письмо ваше, писанное княгиней Трубецкою по диктовке вашей. Небольшой я охотник до литературных оправданий и на досуге, еще менее теперь, в действительности боевой жизни; однако ж, так как мои недостатки, по мнению вашему, могут отразиться на всей русской словесности, то, хотя и нехотя, надо черкнуть свое мнение в спорных пунктах, достойных внимания; прочее можете счесть за согласие, ибо я не думал себя производить в папы: homo sum![1] Обвиняете меня в займе у французов некоторых выражений, например: *que sais-je? что я знаю?* (И оно, мимоходом, занято не у Жанена, а у Монтаня.) Да не у одних французов, я занимаю у всех европейцев обороты, формы речи, поговорки, присловия. Да, я хочу обновить, разнообразить русский язык и для того беру мое золото обеими руками из горы и из грязи, отовсюду, где встречу, где поймаю его. Что́ за ложная мысль еще гнездится во многих, будто есть на свете галлицизмы, германизмы, чертизмы? Не было и нет их! Слово и ум есть братское достояние всех людей, и что говорит человек, должно быть понятно человеку, предполагая, разумеется, их обоих не безумцами. Будьте уверены, что еще при наших гла-

[1] Я человек! (*лат.*)

зах грамматики всех языков подружатся между собою, а риторики будут сестрами. Ходьба взад и вперед сотрет и непременно сгладит мелочные грани, нарезанные идиотизмами и произведенные педантами в правила. Чудные люди! Мы видим, что изменяются нравы, права, обычаи, народы, — и хотим навечно ограничить улетученную мысль — *слово!* Упрочить, увековечить его, пригвоздить к памятнику, и, бросая его в народ, как грош, хотим, чтоб этот грош был неприкосновенным! Однажды и навсегда — я с умыслом, а не по ошибке гну язык на разные лады, беру готовое, если есть, у иностранцев, вымышляю, если нет; изменяю падежи для оттенков действия или изощрения слова. Я хочу и нахожу русский язык на все готовым и все выражающим. Если это моя вина, то и моя заслуга. Я убежден, что никто до меня не давал столько многоличности русским фразам,— и лучшее доказательство, что они усвоиваются, есть их употребление даже в разговоре.

Характеры мои — дело частное, но если иные вымышлены неудачно, другие скопированы с природы точно, и уверить меня, что они неестественны, так же трудно, как афинянина, который жал под мышкой поросенка, а ему все-таки говорили, что один фокусник кричит поросенком гораздо натуральнее! Говорите, что я не понял нрава моряков? Но чем это докажете? Моряки люди, и люди, с которыми я жил; почему же не мог я их изучить, как всякого другого? Тем более — в русском флоте, где моряк есть более земное, чем водяное животное. Для нас не годится тип английских моряков и французских контрабандистов: у нас моряк — амфибия. Насчет романтизма в разборе «Клятвы при гробе господнем» скажу, что в ней не читали вы лучшего, и потому нельзя вам судить о целом и связи. Что в некоторых местах сталкиваюсь я с Тьерри и другими, виновата история, что для всех одно и то же описала. Я не выдумывал фактов, как Вольтер или Щербатов. Но напрасно поместили вы в число моих ut, re, mi, fa — Sesmondi[1] я не читал его до сих пор, да и еще кого-то, там упомянутого. Точно так же, как «Саламандру», с которой вы находите сходство «Фрегата «Надежды»: достал нарочно после вашего письма. На этот счет мое лучшее оправдание — время изданий иностранных и моих повестей, и вычет из этого — невозмож-

---

[1] До, ре, ми, фа — Сисмонди *(ит.)*.

ность скоро получить в таком захолустье, как Кавказ, порядочных книг. Часто, очень часто встречаю я в хороших авторах свои мысли, свои выражения, но почему ж непременно я украл их? Ирвингу подражал я в форме, не в сущности; но и сам Ирвинг занял олицетворение вещей у Попа, Поп у Ботлера, Шекспир у Езопа. То, что врожденно народу, есть только припоминок, а не изобретение, повторение, а не подражание. Я начну с пословицы: горшок котлу попрекает, а оба черны, и выведу целый полк доказательств, что олицетворение в смешном виде велось искони и слилось с русскою природой; за что ж одни англичане будут владеть им? В любом авторе я найду сто мест, взятых целиком у других; другой может найти столько же; а это не мешает им быть оригинальными, потому что они иначе смотрели на вещи. Все читают одинаково: и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим, но спроси каждого, что он под этим разумеет? И не найдешь двух толков похожих. Так и в словесности. Но полно о словесности. Выражая у нас мечтательную жизнь, ее нельзя судить действительностью: это бы значило наказывать человека за его проступки во сне.

Славная школа войны наш Кавказ. И надобно сказать, что закубанцы строгие блюстители нашего боевого порядка. Я видел много горцев в бою, но, признаться, лучше шапсугов не видал; они постигли в высшей степени правило: вредить как можно более, подвергаясь как можно менее вреду. Не выходя из стрелковой цепи в течение почти каждого дня всего нынешнего похода, я имел случай удостовериться в их искусстве пользоваться малейшею оплошностию и местностию. Дворяне их отчаянно храбры; но одна беда: никак не действуют заодно. Был я с ними не раз в рукопашной схватке; много, много пало подле меня храбрых: меня бог миловал. Узнал я цену надежного оружия, узнал, что не худая вещь и телесная сила. Построив крепость в 40 верстах от Кубани в земле шапсугов, мы пошли в ущелие 10-го октября. Через 4 дня сообщение с Черным морем было открыто. Мы дрались за каждую пядь земли в этом ущелии, завоевывая дорогу кирками и штыками. Перешли потом через огромный хребет со всеми тяжестями по чудно разработанной дороге, отдохнули в Геленджике, где я был на море, на судах, купался в фосфорных зеленых волнах,

парился лавровыми вениками, ел летучих рыб, камбалу, тримсов (?), мутелей, и потом, околесив кругом, проложив под облаками другую дорогу, мы возвратились к Кубани. Каких трудов и сколько крови стоило нам это! Зато слава летела пред нами и за нами. Государь объявил отряду свое благоволение и дал награду. Но для этого мало листа и часу, — а мне пора. В Дагестане войска тоже увенчаны победой: разбили аварцев. Там со многими другими умер от климата Корнилович. Как не благодарить мне бога и государя, что избавлен я от жаров! Я чувствую себя здесь (кроме глаз) гораздо свежее; думаю подраться не раз зимою. Кланяйтесь, мои милые братья, Ивану Дмитриевичу, Александру Ивановичу и всем, всем своим товарищам. Поль дома. C'est tout dire quant à son bonheur[1]. Горячо объемлю Вас,

Александр.

P. S. Не воображайте, пожалуйста, будто я могу сердиться за критику. Говорю и пишу я всегда с жаром, но это кончается точкой. Литература такая ничтожная частица моего существования, что не стоит капли желчи.

Бог благословил мои слабые труды, милые братья, так что когда государь благоволит вас уволить на поселение, вы из процентов мне принадлежащей суммы будете получать ежегодно по 1000 рублей, то есть по 500 каждому. Для кого же я работаю, как не для братьев?! Это моя единственная отрада. Счастлив бы я был, если б удалось устроить счастие Поля: бедный брат, он увял за нас!

В отряде со мной был Кривцов. Под ним убита лошадь картечью, ибо у горцев есть артиллерия.

22. П. А. БЕСТУЖЕВУ

1836 года, ноября 15-го.
Ольгинский тет-де-пон.

Мы кончили экспедицию, любезный Поль, и, заслышав чуму, держим двухнедельный карантин на Кубани. Скучна была война, но это испытание еще несноснее. Холод, снег, слякоть, а мы в летнем платье и в летучих па-

[1] Вот и все, что касается его благополучия *(фр.)*.

латках, да, к довершению благополучия, почти без дров. Раз пяток в течение последних двух месяцев были в горячих схватках, а жив; не знаю, но сомневаюсь, чтоб остался здоров. Мне пишут, будто я переведен по инвалидам в 10-й черноморский батальон, в Кутаис. Это мало отрады. Мингрельские лихорадки свирепствуют там, а жаркий климат вообще для меня гибелен. Если это сделано, снисходя на письмо мое, писанное к графу Бенкендорфу, милость для меня важна, как знак благоволения, но в сущности нисколько не улучшает моей судьбы. Боже мой, боже мой! Когда я кончу это нищенское кочеванье по чужбине, вдали от всех средств к занятиям?! Об одном молю я, чтоб мне дали уголок, где бы я мог поставить свой посох и, служа в статской службе государю, служил бы русской словесности пером. Видно, не хотят этого. Да будет! Но могу ли, гоняемый из конца в конец, не проводя двух месяцев на одном месте, без квартиры, без писем, без книг, без газет, то изнуряясь военными трудами, то полумертвый от болезней, не вздохнуть тяжело и не позавидовать тем, которые уже кончили земное скитальничество? И кому бы было хуже, если б мне было немного лучше? Неужели тяжело бросить человеку крупицу счастия? Лета уходят; через два года мне сорок, а где за Кавказом могу я жениться, чтоб кончить дни в семействе, чтоб хоть ненадолго насладиться жизнью! Дорого яичко в Христов день, говорит пословица, а моя пасха проходит без разговенья... и долго ли мне быть Танталом?

Наш батальон (тенгинцев, к которому я прикомандирован) будет стоять в Тамани, и потому ты письмо и прочее шли в Керчь. Что со мною будет за генварь, и во сне не могу придумать. От доктора Мейера ты получишь 300 руб. асс., которые он мне должен, и тогда пришлешь мне то, что на приписке означено.

Служи верой и правдой, люби меня и будь счастлив.

Твой брат и друг

Александр.

Кулаковскому мой привет. Гречу кланяйся и скажи, что если он хочет, чтоб я получал его журнал, то высылал бы в Керчь, а то я сотый нумер через год вижу; вздумали же посылать в Ставрополь!

23. П. А. БЕСТУЖЕВУ[1]

Тифлис, 23 февр. 1837.

Я был глубоко потрясен трагической гибелью Пушкина, дорогой Павел, хотя эта новость была сообщена мне очаровательной женщиной. Неожиданное горе не проникает сперва в глубину сердца, говорят, что оно воздействует на его поверхность; но несколько часов спустя в тишине ночи и одиночества яд просачивается внутрь и распространяется. Я не сомкнул глаз в течение ночи, а на рассвете я был уже на крутой дороге, которая ведет к монастырю святого Давида, известному вам. Прибыв туда, я позвал священника и приказал отслужить панихиду на могиле Грибоедова, могиле поэта, попираемой невежественными ногами, без надгробного камня, без надписи! Я плакал тогда, как я плачу теперь, горячими слезами, плакал о друге и о товарище по оружию, плакал о себе самом; и когда священник запел: «За убиенных боляр Александра и Александра», рыдания сдавили мне грудь — эта фраза показалась мне не только воспоминанием, но и предзнаменованием.... Да, я чувствую, что моя смерть также будет насильственной и необычайной, что она уже недалеко — во мне слишком много горячей крови, крови, которая кипит в моих жилах, слишком много, чтобы ее оледенила старость. Я молю только об одном — чтобы не погибнуть простертым на ложе страданий или в поединке, — а в остальном да свершится воля провидения! Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней!.. Вот уже трое погибло, и какой смертью все трое! Дань сочувствия, приносимая толпой умирающему великому поэту, действительно трогательна! Высочайшая милость, столь щедро оказанная семье покойного, должна заставить покраснеть наших недоброжелателей за границей. Но Пушкина этим не воскресишь, и эта утрата невозместима. Вы, впрочем, слишком обвиняете Дантеса — нравственность, или, скорее, общая безнравственность, с моей точки зрения, дает ему отпущение грехов: его преступление или его несчастье в том, что он убил Пушкина, — и этого более чем достаточно, чтобы считать, что он нанес нам непростительное, на мой взгляд, оскорбление. Пусть он знает (свидетель бог, что я не шучу), что

[1] Письмо написано на французском языке.

при первой же нашей встрече один из нас не вернется живым. Когда я прочел ваше письмо Мамуку Арбелианову, он разразился проклятиями. «Я убью этого Дантеса, если только когда-нибудь его увижу!» — сказал он. Я заметил, что в России достаточно русских, чтобы отомстить за дорогую кровь. Пусть он остерегается!

Я еще немного пробуду в Тифлисе. Погода великолепная, город замечательный, но я печален, печален... Да будет вам лучше, чем мне, там, где вы сейчас находитесь.

Денег от Смирдина нет, и я сижу без гроша. Это ложь, что он послал их мне в начале года, — он шутит.

Ваш *Александр*.

18 февраля у барона Роз. был блестящий бал, на его серебряную свадьбу. Он был умилительно приветлив, и все шло как нельзя лучше.

24. ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ А. А. БЕСТУЖЕВА

1837 года, июня 7-го.
Против мыса Адлера,
на фрегате «Анна».

Если меня убьют, прошу все здесь найденное имеющееся платье отдать денщику моему Алексею Шарапову. Бумаги же и прочие вещи небольшого объема отослать брату моему Павлу в Петербург. Денег в моем портфеле около 450 р.; до 500 осталось с вещами в Кутаисе у подпоручика Кирилова. Прочие вещи в квартире Потоцкого в Тифлисе. Прошу благословения у матери, целую родных, всем добрым людям привет русского.

Александр Бестужев.

КОММЕНТАРИИ

ПОВЕСТИ

Аммалат-бек (стр. 7). Впервые — в «Московском телеграфе», 1832 год, №№ 1, 2, 3, 4, за подписью: Александр Марлинский, с пометой: 1831, Дагестан.

Печатается по автографу, хранящемуся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, фонд 69, ед. хр. 8. В первой публикации были сделаны цензурные купюры: в гл. 5, где говорится весьма лестно о главнокомандующем Кавказским корпусом А. П. Ермолове, а также в местах, где рассказывается о суровых мерах русских войск против горцев, когда вырубались леса, пожигались посевы и т. д.

А. Марлинский работал над повестью с мая 1830 года до сентября 1831 года. В основе повести — местное предание о драматической истории, разыгравшейся в Дагестане в 1823 году. Он писал Н. А. Полевому 13 августа 1831 года: «Это истинное происшествие, и я от себя прибавил только подробности; дело кончится тем, что Аммалат убьет своего благодетеля» («Русский вестник», 1861, т. 32, март, с. 305).

Ниже приводится примечание автора к «Аммалат-беку». В постскриптуме этого примечания Марлинский писал так: «Чтобы не разрушать занимательности романической, примечание можно поместить номером после». Редактор «Московского телеграфа» так и поступил. В Собраниях сочинений, вышедших при жизни автора, это примечание не печаталось.

«Примечание: Описанное выше происшествие не выдумка. Имена и характеры лиц сохранены в точности; автору повести остается только сказать несколько слов насчет изменения истины в некоторых подробностях.

Аммалат-бек, участвовавший в нескольких набегах на русские владения, был выдан головою приведенными в покорность акушинцами самому главнокомандующему Кавказским корпусом генералу от инфантерии Ермолову, в бытность его в Акуше, 1819-го года. Автор заставил Аммалата сделать впадение с чеченцами за Терек, чтобы вставить картину горского набега.

Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве свитского офицера при главнокомандующем, упросил его помиловать Аммалат-бека и взял с собою в Тифлис, учил его, воспитал его, любил его как брата. С ним, после многих походов, приехал Аммалат в 1822-м году и в Дербент, когда по смерти полковника Швецова назначили Верховского командиром Куринского пехотного полка. Убил он своего благодетеля в 1823 точно так, как описано. Читатель заметит, что автор, не желая растянуть повести на четыре года, сжал происшествие в два года. Просим у хронологов извинения.

Что касается до завязки повести, она целиком досталась автору из рук молвы, и он не счел за необходимое объявлять на иные главы своего сомнения. Пылкие страсти здесь вовсе не редкость, а мщение — святыня для каждого мусульманина: это канва. Досужая рука могла вышивать на ней какие угодно арабески: исполать ей, если они сохранили восточную свежесть. Впрочем, мне многие очевидцы говорили, что они не однажды слышали, как Верховский описывал знойную страсть Аммалата к Селтанете, которая славилась в горах красотою. Да и мудрено ль, что молодой бек, скитаясь по горам Аварии, влюбился в прекрасное личико дочери Аварского хана, хотя ей, по строгой моей выкладке, не могло в 1819-м году быть более 14 лет: девушки созревают на Кавказе неимоверно рано. Молва повествует, что сам Аварский хан требовал от Аммалата головы Верховского вместо калыму (вена) за дочь. Автор сохранил народное предание, но поместил и уверение мамки, истинно бывшее и наиболее убедившее бека.

Смерть Султан-Ахмет-хана случилась точно вскорости после убийства Верховского. Автор ускорил ее для большей игры страстей. Отказ, как говорят, последовал от ханши, ибо Аммалат не застал уже Султан-Ахмета в живых. Что же касается до зверского гробокопства Аммалата, и в этом не отступил автор от рассказов ни на шаг. После похорон на другую ночь могила полковника Швецова, за год умершего, была разрыта по ошибке: ее приняли за могилу Верховского, труп вытащили и отрубили у него голову и руку. Об этом до сих пор с негодованием вспоминают все солдаты.

Аммалат скитался долго в горах, преследуем совестью. Потом ушел в Турцию, был в Истамбуле, в 1828 году дрался в Браилове

против русских; оттуда перед взятием города бежал в Анапу и там умер в том же году. Автор разговаривал с товарищем почти всех его странствий, одним каракайдакским беком.

В заключение сказать должно, что он был красавец собой и с счастливейшими способностями. Все анекдоты об его удальстве в стрельбе и скачке, описанные в 1-й главе, до сих пор ходят в Дагестане; одним словом, ему недоставало для счастия только твердого характера и откровенного сердца. Селтанета до сих пор прелестна собою и, живучи в Бурной крепости с мужем своим Абдул-Мусселимом, свела с ума не одного русского. В утешение тех, которые будут жаловаться, что автор переморил всех героев повести, он почтеннейше извещает, что Селтанета находится теперь в цветущем здоровье и живет после погрома Тарков русскими войсками у матери своей в Аварии.
Сентябрь 1831 года.

Дагестан».

Стр. 7. *Полевой* Н. А. (1796—1846) — писатель, издатель журнала «Московский телеграф» (1825—1834).

Стр. 9. *Чуха,* или чоха (тур.) — верхняя мужская одежда с широкими откидывающимися рукавами.

Термалама (термолама) — плотная шелковая или полушелковая ткань.

Чепрак (тур.) — суконная, ковровая или иная подстилка под седло поверх потника.

Потебни (укр.) — кожаные лопасти по бокам седла.

...хорасанского булата... — Хорасан — северо-восточная иранская провинция, известная производством оружия.

Стр. 14. *...дали буг, не позволям...* (польск.) — далее кусты, купы (деревьев), двигаться нельзя.

Стр. 15. *Султан-Ахмет-хан Аварский* (ум. в 1823 г.) — числился генералом русской службы, но вместе со своим братом Гассан-ханом (убит в 1819 г.) вел изменническую политику, не раз выступая против русских на Кавказе.

Стр. 16. *Ферман* (фирман) — письменное повеление, приказ в мусульманских странах.

Куран (Коран) — основная «священная» книга ислама, сборник религиозно-догматических, мифологических и правовых текстов.

Стр. 19. *Сардарь* — министр двора; здесь: главнокомандующий, то есть Ермолов А. П. (1777—1861) — генерал, герой Отечественной войны.

...обижен письмом... генерала... — Имеется в виду ответ Ермолова на письма Аварского хана в 1818 г. Главнокомандующий раз-

гадал изменническую политику хана и предложил ему: быть подданным или врагом России.

Стр. 20. *Стамбульский диван* — в Турции совещательное собрание сановников при султане.

Стр. 22. *Чурек* — на Кавказе хлеб особой выпечки в форме большой лепешки.

Узден — лицо, принадлежащее к феодальному дворянству Кабарды и Дагестана.

Стр. 38. *Омировские герои* — то есть гомеровские.

Стр. 47. *Бирсеркеры* — в скандинавской мифологии воины, обладавшие сверхчеловеческой силой и бешеною яростью в битвах.

Стр. 50. *Нагалище* — ружейный чехол.

Стр. 52. *Гяур* — презрительное название всех иноверцев у лиц, исповедующих ислам, главным образом в средние века.

Стр. 56. *Аманаты* (арм.) — заложники, взятые в обеспечение договора (в Древней Руси и в некоторых восточных странах).

Стр. 57. *...голова буйвола вонзилась рогами в землю.* — Н. Берг в своих воспоминаниях рассказывает, что однажды он спросил Ермолова, правда ли, что он ссекал голову быку. Ермолов отвечал отрицательно. Но тут же признался: «А силен я был, это точно, ужас, как был силен» («Русская старина», 1872, т. I, с. 989).

Стр. 60. *Лафатер* Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, автор книги «Физиогномические фрагменты», в которой утверждалось, что по строению лица и черепа человека можно определить его характер.

Стр. 66. *...фарсийского пустословия...* — восточного.

Стр. 73. *...во время войны с фиренгами...* — то есть с французами.

...умер его приятель-соперник. — В 1820 г. полковник Пузыревский был назначен Ермоловым правителем Имеретии, но вскоре он был убит во время карательной экспедиции.

Стр. 76. *...видна уже стена.* — К западу от Дербента видны развалины стен и башни, сооружение которых приписывалось Александру Македонскому, завоевавшему Персию в IV в. до н. э.

Стр. 77. *Дербент-наме* — сочинение по истории Дербента, переведенное на русский язык по приказанию Петра I.

Царь Нуширван Справедливый происходил из династии Сасанидов, царствовал с 530 по 578 г. Ему приписывается окончательная постройка крепости Дербента, основанного в конце V или начале VI в.

...имея ... железными воротами Дербент... — Слово «Дербент» — персидское (дер — дверь, бенд — преграда, застава); у арабов Дербент назывался «главные» или «железные» «ворота».

Плиний Старший Гай Секунд (23—79) — римский ученый и писатель, автор энциклопедического сочинения «Естественная история» (в 37 кн.).

Прокопий Кесарийский (между 490 и 507 — после 562 гг.) — крупнейший византийский историк, участвовал в походах против персов, вандалов и остготов. Основываясь на личных впечатлениях, написал сочинение «История войн Юстиниана с персами, вандалами и готами» (в 8 кн., 553 г.).

Меридово озеро — знаменитое озеро в Древнем Египте, соединенное с Нилом; уровень воды в озере регулировался с помощью шлюзов.

Стр. 78. *Я бродил по следам великого Петра...* — Речь идет о персидском походе Петра I в 1722 г., целью которого было расширение торговых связей между Россией и Востоком. В результате этих походов ряд районов Дагестана и Азербайджана был присоединен к России. В 1735 г. завоеванные районы были возвращены Персии.

Стр. 79. *Табасаранцы* — народность Дагестана, относящаяся к лезгинской группе.

Киса — сумка; здесь: деньги.

Марена — трава, из которой добывается красная краска — крапп.

Стр. 80. *...за Швецова дали выкупу...* — В феврале 1816 г. чеченцы взяли в плен по дороге из Дербента в Кизляр майора Швецова. Они содержали его в тяжелейших условиях и потребовали за него огромный выкуп, но освободили за уменьшенную сумму.

Стр. 81. *Гаким* (хаким) — мудрец.

Стр. 84. *Харамзада* — жулик, обманщик.

Стр. 85. *Аллах-Бекерет!* — слава богу (бог милостивый).

Стр. 87. *Любовь, как Мидас, претворяет все...* — В греческой мифологии Мидас — фракийский царь, от прикосновения которого все превращалось в золото.

Стр. 89. *...корону шамхальскую...* — титул правителей в Дагестане с конца XII в. до 1867 г.; впоследствии такой титул носили только кумыкские правители.

Стр. 93. *Факир* — здесь: мусульманский аскет, давший обет нищенства.

Стр. 94. *Саади* Ширази (между 1203 и 1210—1292 гг.) — таджикско-персидский писатель и мыслитель; автор дидактической поэмы «Бустан» (1257) и сборника рассказов и поэтических афоризмов «Гулистан» (1258).

Гафиз, или Хафиз (псевдоним Мохаммеда Шемседдина; (1325—1389) — таджикско-персидский поэт-лирик, автор многочисленных газелей (двустишная строфа восточного стихосложения с постоянной рифмой на конце каждого двустишия).

Стр. 98. *Кляпцы* — западня, ловушка, капкан.

Стр. 114. *...подобно войску фараона.* — Имеется в виду библейский рассказ о гибели войска фараона, бросившегося в погоню за израильтянами, выведенными Моисеем из Египта, и погибшего в волнах Черного (Красного) моря.

Стр. 118. *...Ермолов громил Дербент...* — А. П. Ермолов принимал участие в персидском походе гр. Вал. Зубова; за штурм и взятие Дербента в мае 1796 г. был награжден орденом св. Владимира четвертой степени.

Стр. 123. *Бомбарда* — корабль, стрелявший каменными и металлическими ядрами и предназначенный для бомбардирования крепостей с моря.

Стр. 125. *Редан* (редант) — полевое укрепление, имеющее форму выступающего наружу угла.

Письма из Дагестана (стр. 128). Впервые — в «Северной пчеле», 1832, №№ 142—148 и 169—178, за подписью: А. М.

Стр. 128. *Саллюстиус* — Саллюстий Гай Крипс (86—35 гг. до н. э.) — римский историк и политический деятель. Его произведения «О заговоре Катилины» и «Югуртинская война» дошли до нас полностью, главный его труд — «История» — сохранился в отрывках.

Стр. 129. *Аббас-Мирза* (1783—1833) — персидский принц, наместник Тавриза и Азербайджана. В 1826 и 1828 гг. участвовал в войнах с Россией. Последняя война закончилась Туркманчайским мирным договором (1828; в заключении его принимал участие А. С. Грибоедов).

Сунниты — последователи ислама, признающие как Коран, так и Сунну («священные книги» о Магомете).

Кази-мулла, или Гази-Мугаммед (1795—1832) — мусульманский религиозно-политический деятель, высшее духовное лицо Чечни и Дагестана, предшественник Шамиля. Он призывал к истреблению всех немусульман, к «священной войне» против «неверных». Организовывал походы против русских и тех мусульман, которые не желали бороться с «неверными».

Стр. 130. *Князь Эристов* — генерал-лейтенант, начальник 21-й пехотной дивизии. В мае 1830 г. генерал Паскевич назначил его командующим войсками в Дагестане, а в июле его отозвали в Петербург.

Барон Розен (Розен Роман (Роберт) Федорович; 1782—1848) — генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 г.; был командующим войсками в Грузии и на Кавказе.

Стр. 131. *...война с поляками...* — Речь идет о польском восстании 1830—1831 гг.

Таубе Максим Максимович (1782—1849) — генерал, служивший на Кавказе с 1825 по 1831 г.

Стр. 132. *Коханов* (Каханов Семен Васильевич; 1785—1857) — генерал-майор; с середины 1831 г. был начальником войск в Дагестане.

Стр. 135. *...как «пух от уст Эола»* — строка из «Евгения Онегина» Пушкина. Эол — в греческой мифологии повелитель ветров.

Панкратьев Никита Петрович (1788—1836) — генерал, начальник Кавказского корпуса, с 1831 г. — командующий войсками в Закавказье и Дагестане.

Миклашевский А. М. — командир 42-го егерского полка, причастный к «делу о злоумышленных обществах»; в 1826 г. был переведен на Кавказ.

Стр. 136. *Кызыль-аях* (Золотая Нога) — так называли дагестанцы гр. Валериана Зубова, брата Зубова Платона Александровича (1767—1822), русского государственного деятеля, последнего из фаворитов Екатерины II.

...Омарова отродья! — Омар Ибн-аль-Хаттаб (ок. 591—644 гг.) — арабский халиф; сначала был врагом ислама, потом стал ревностным его защитником.

Стр. 137. *Лезгины* — общее название группы дагестанских народов на Кавказе.

Стр. 138. *Свиристель* — лесная северная птичка из отряда воробьиных.

Стр. 139. *Орден Златого Руна* — рыцарский орден, учрежденный Филиппом Добрым (1429); на ордене изображалась шкура золоторунного барана, повисшая на дереве.

Буцефал — конь Александра Македонского.

Единорог — старинное артиллерийское орудие.

Намаз — мусульманская молитва, совершаемая в определенное время дня.

Стр. 140. *Барбеты* — временные укрепления.

Стр. 142. *Гомеровские троянцы* — защитники Трои, древнего города в Малой Азии, воспетые в «Илиаде» Гомера.

...два самородка остались... — то есть два ключа (воды).

Траверз (траверс) — укрепление в виде земляной насыпи или дамбы.

Стр. 143. *Ярлык* (истор.) — письменный указ, грамота хана в монгольско-татарских ханствах.

Стр. 144. *Фашина* — перевязанный пучок хвороста, применяемый при саперных и земляных работах для укрепления насыпей, плотин.

Стр. 145. *Гурия* — в мусульманской мифологии райская дева.

Шариат — свод религиозных и бытовых правил ислама, основанных на Коране.

Шамаха (Шемаха) — столица Ширванского ханства.

Стр. 148. *Искендар* (Искандер, Александр Македонский; 356—323 гг. до н. э.) — один из величайших полководцев и государственных деятелей древнего мира.

Надир-шах (шах-Надир; 1688—1747) — персидский завоеватель, отличавшийся жестокостью; в 1740 г. совершил поход в Дагестан против лезгинов.

Стр. 150. *Манерка* (польск.) — походная металлическая фляжка.

Стр. 151. *Фурман* (нем.) — возчик на фуре, фургоне.

Канонер (канонир) — пушкарь, солдат-артиллерист.

Стр. 152. *Эрпили* — название села; другое написание — Эрпели; см. поэму А. И. Полежаева «Эрпели» (1830); Полежаев, сосланный на Кавказ, принимал участие во взятии этой крепости.

Стр. 156. *...это будет что-то вроде... между Теньером и Измайловым.* — Отличительная особенность фламандского живописца Теньера (Тенирса Давида Младшего; 1610—1690) состояла в изображении простонародной жизни, воспроизводимой им с особой тщательностью. Измайлов Александр Ефимович (1779—1831) — русский баснописец и журналист, изображал быт городских низов; современные ему критики называли его российским Теньером.

Стр. 158. *...настоящий мост Эль-Сыррат... висящий над бездною у Магоммедова ада.* — По исламским верованиям — мост с волосок толщиной, по которому переходят праведники в рай, а грешники — в ад.

Стр. 160. *Шанцы* (шанец) — окопы, временное полевое укрепление.

Пан Твардовский — герой польской народной легенды, продавший дьяволу душу, чтобы жить в свое удовольствие. Эта легенда является польским вариантом легенды о Фаусте.

Стр. 161. *Горбачевский* Николай Иванович (ум. в 1839 г.) — брат декабриста И. И. Горбачевского, офицер.

Вильде Е. Е. (ум. в 1847 г.) — саперный офицер; с 1827 по 1846 г. служил на Кавказе.

Фас — участок крепостной ограды или укрепления с определенным направлением огня.

Мерлон — часть бруствера между соседними амбразурами.

Стр. 165. *Эта граната была Сампсон в миниатюре...* — Самсон — библейский мифический герой, обладавший сверхъестественной физической силой. Тайна его силы заключалась в семи прядях волос, о чем, по преданию, узнала филистимлянка Далила и, чтобы лишить его силы, остригла его и выдала соотечественникам. Его посадили в подземелье храма. Отрастив волосы, он разрушил храм, похоронив под развалинами себя и врагов.

Аббас-Кули-Баки-Ханов (Бакиханов Аббас-Кули; 1794—1847) — крупный азербайджанский историк и литератор. В 1819 г. был переводчиком у Ермолова. Сторонник сближения Азербайджана с Россией.

Стр. 168. *Уцмий* — титул феодального владетеля Каракайтага в Южном Дагестане в XIV — начале XIX вв.

Стр. 175. *Он пошел на приступ впереди всех...* — Генерал-адъютант Панкратьев, донося о сражении у Чумкескента (у Марлинского — Чумкессен), свидетельствует, что писатель точно воспроизводил эпизоды боев и героический подвиг командира полка А. М. Миклашевского.

Фрегат «Надежда» (стр. 177). Впервые — в «Сыне отечества и Северном архиве», 1833, №№ 9—17, за подписью: Александр Марлинский, с пометой: 1832. Дагестан.

Стр. 177. *Бухарина Екатерина Ивановна* — жена полковника Бухарина, коменданта Тифлиса, в доме которого бывали А. Бестужев и другие ссыльные декабристы в 1829—1830 гг.

Отаитянка — жительница острова Таити (Полинезия).

Петергофский праздник. — В Петергофе ежегодно проводился традиционный праздник-маскарад (1 и 21 июля по ст. стилю).

Водомет (поэт., устар.) — фонтан.

Стр. 178. *Сирены* — в греческой мифологии девы, пением завлекавшие моряков в опасные места.

Фома неверующий. — Имеется в виду один из евангельских апостолов, который долго не верил в воскресение Христа; здесь: человек, с трудом верящий во что-нибудь.

...учтивые рыбы Марлийского пруда... — Марли — дворец в Петергофе (Петродворце), построен в 1721—1723 гг.; в прудах около дворца разводили рыбу.

...Сампсон, раздирающий льва... — Имеется в виду один из петергофских фонтанов.

Стр. 179. *...юфтью Буаста?..* — Юфть — особый сорт мягкой кожи производства заводчика Буаста.

Стр. 181. *...роль ростральной колонны...* — Ростра — украшение колонн в виде носовой части древнего военного судна.

...коробочка Пандоры... — то же, что «ящик Пандоры». См. коммент. к с. 82 тома I.

Стр. 182. *...к камням Монплезира...* — Монплезир (фр.) — дворец Петра I, сооруженный в Петергофе в 1714—1725 гг.

...лавры под Наварином. — В Наваринской бухте 8 (20) октября 1827 г. произошло морское сражение между флотом Турции и Египта, с одной стороны, и флотом России, Англии и Франции, — с другой. Сражение закончилось победой последних, в нем отличились будущие герои обороны Севастополя: П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин.

Стр. 183. *Флаг контр-адмирала* — белый флаг с синим Андреевским крестом. Его поднимали всегда, когда на корабле присутствовал контр-адмирал.

Стр. 184. *Природа, как говорит Шекспир, могла бы указать на него пальцем и сказать: вот человек!* — слова Антонио о Бруте из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (1599).

Эволюция — здесь: маневрирование находящихся в строю кораблей.

Стр. 185. *Дек* — закрытая палуба судна.

Шутиха — род фейерверка.

...император поднял свой штандарт. — Императорский штандарт — особый флаг с изображением Балтийского, Белого, Каспийского и Черного морей. Его подъем означал пребывание императора на корабле.

Стр. 187. Эпиграф взят из романа «Последние письма Якопо Ортиса» (1798, письмо от 20 ноября) итальянского писателя Никколо Уго Фосколо (1778—1827).

Стр. 188. *Флогистон Хининович* — шутливое прозвище: флогистон — название летучего вещества, по мнению химиков XVIII века, выделяющегося при горении.

Стр. 189. *...Ганеманновы выжидающие средства...* — гомеопатические лекарства, названные по имени основателя гомеопатии немецкого врача Самуэля Ганемана (Ханемана; 1755—1843).

Зеленчак — крепкий нюхательный табак, приготовляемый из зеленых листьев.

Стр. 190. *Туника* — у древних римлян — белая нижняя одежда; здесь: кожный покров.

Авиценна — Ибн-Сина Абу-Али (ок. 980—1037 гг.)—выдающийся ученый-энциклопедист восточного средневековья, автор извест-

ного труда по медицине «Канон врачебной науки» и по философии — «Книга исцеления».

Аверроэс Ибн-Рошд (Рушд; 1126—1198) — арабский философ, естествоиспытатель, автор многих работ по философии и медицине.

Парацельс Филипп (1493—1541) — немецкий врач и естествоиспытатель, введший в практику новые химические препараты.

Бургав Герман (1668—1738) — голландский химик, ботаник и врач, введший в практику новые лекарства.

Шпанские мухи (мушки) — пластырь из порошка, приготовленного из высушенного жучка.

Вессикаторий (фр.) — вытяжной пластырь.

Синапизм (фр.) — горчичник.

Френезия (фр.) — воспаление мозга, помешательство.

Цефальгия (фр.) — головная боль.

Стр. 191. *Spleen, сплин* (англ.) — тоска, уныние, хандра.

Тавлинка — плоская табакерка из бересты.

Люгер (логгер; нем.) — небольшое двух- или трехпарусное судно.

Стр. 192. *Грот-марс-фал.* — Грот-марс — полукруглая площадка на палубе корабля в месте соединения мачты со стеньгою; фал — снасти для подъема рей, парусов, флагов.

Химическая горлянка. — Горлянка — тыква, по форме сходная с бутылью; здесь: бутыль с химическим веществом.

Гарвей (Харви) Уильям (1578—1657) — английский врач, физиолог и эмбриолог, автор «Анатомического исследования о движении сердца и крови у животных» (1628).

Крейсиг Фридрих (1770—1839) — немецкий врач, автор книги «Болезни сердца» (3 ч., 1814—1817).

Часослов — книга, содержащая тексты некоторых церковных служб.

Стр. 193. *...бурливее мыса Горна...* — мыс на острове Горн (к югу от Огненной Земли), около которого сильные ветры задерживают движение кораблей из Атлантического океана в Тихий.

Пелагея Фарафонтьевна — гадалка, известная в Петербурге в в 20-х годах XIX века.

Водяной шильник — болотное или растущее по берегам рек растение, используемое в народной медицине.

Стр. 194. *Собака-блок* — в морской терминологии один из блоков для поднятия парусов, около которого матросы часто получали увечья.

...нашего знаменитого корнеискателя... — Речь идет об этимологических увлечениях А. С. Шишкова (1754—1841), автора «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» (1803).

Стр. 196. *Греч* Николай Иванович (1787—1867) — реакционный русский журналист и писатель, издатель журнала «Сын отечества» с 1812 по 1839 г. См. коммент. к статье «Взгляд на старую и новую словесность в России».

Кран-балка — механизм для подъема и передвижения тяжестей, брусов.

Даглист (даглиск) — левый становой якорь.

Сальватор (Сольватор) Роза (1615—1673) — итальянский живописец-офортист, прославившийся изображением суровой природы Абруццы (средней части Италии).

Стр. 198. *Из бухты вон!* — Бухта — снасти, сложенные в кольца; здесь: команда, подаваемая перед отдачей якоря.

Стр. 199. *Камоэнс* Луис (1524—1580) — португальский поэт, автор эпической поэмы «Лузиады» (1572), описывающей путешествие Васко да Гамы.

Стр. 202. *Свеаборг* — бывшая крепость в Финляндии, лежащая на островах у входа в гавань Хельсинки.

Конгревовы ракеты. — См. коммент. к с. 92 тома I.

Стр. 203. *...льдины... какие видел Парри в Баффиновом заливе.*— Парри Уильям (1790—1855) — английский исследователь полярных стран. Баффинов залив (Баффиново море) — залив между Гренландией и Баффиновой землей (Атлантический океан), названной в честь английского исследователя полярных стран Уильяма Баффина (1584—1622).

Стр. 204. *Суровый славянин* — выражение, взятое из стихотворения Пушкина «К Овидию» (1821).

Стр. 208. *Граммон* Теодуль де (1765—1841) — маркиз, французский политический деятель; как депутат законодательного собрания защищал конституционные принципы.

Стр. 209. *В дуэлях классик и педант...* — выражение из романа Пушкина «Евгений Онегин».

Бертольд Шварц — францисканский монах; по преданию изобрел порох в начале XIV века.

Лепаж — знаменитый французский оружейный мастер начала XIX в.

Стр. 210. *Брейд-вымпел* — флаг командира корабля.

Стр. 211 *...с Мельтоновым Эмпиреем...* — Имеются в виду эпизоды из поэмы английского поэта Дж. Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай» (1667).

Стр. 213. Эпиграф взят из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1601).

Стр. 214. *Рогаль* — маленькая булочка, имеющая форму рога; здесь: хлеб насущный.

Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 127 гг.) — римский поэт-сатирик.

«Не заслоняй солнца, не отнимай того, чего дать не можешь». — По преданию, древнегреческий философ Диоген попросил Александра Македонского, предложившего исполнить любое его желание, только одного — не заслонять ему солнца.

Платон (427—347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.

Стр. 215. *«Per me si va nella città dolente!»* — из «Божественной комедии» (1307—1321) Данте Алигьери («Ад», песнь III, 1).

...за квакерское пожатие руки. — Квакеры — христианская протестантская секта, возникшая в Англии в середине XVII в. и распространившаяся в США. Высшим выражением веры квакеры считали добродетель.

За Балкан, за Саганлуг! за Варну, за Ахалцых! — Имеются в виду места сражений русских войск во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. на Балканах и на Кавказе.

Стр. 216. *Сенковский Иосиф* (Сенковский Осип (Юлиан) Иванович; 1800—1858) — русский ученый-востоковед и писатель; с 1834 г. издатель журнала «Библиотека для чтения»; автор повестей, выступал под псевдонимом «Барон Брамбеус».

Пинетти — физик, демонстрировавший в Петербурге в конце XVIII — начале XIX в. различные опыты.

Стр. 219. *Адмирал Ной* — ироническое название героя библейского мифа Ноя, построившего ковчег во время всемирного потопа.

Сервент (фр.) — слуга.

...хромоногий бес не снимает кровли с ее будуара... — Имеется в виду роман французского писателя А. Лесажа (1668 — 1747) «Хромой бес» (1707). Его герой — бес Асмодей — поднимал крыши домов, чтобы увидеть частную жизнь их обитателей.

Стр. 221. *Макиавель и Купидон — заклятые враги друг друга.* — Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527) — итальянский политический деятель и писатель, автор книги «Государь» (1532), в которой оправдываются любые методы в борьбе за власть. Купидон — в древнеримской мифологии бог любви.

Буало Никола (Депрео Никола; 1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма.

Лукреция — римлянка, жена Тарквиния Коллатина, ставшая жертвой насилия со стороны сына древнеримского царя Тарквиния Гордого (VI в. до н. э.), в результате чего покончила жизнь самоубийством. Образ Лукреции стал символом чистоты и верности.

...трех пар стройных ножек... — неточная цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин».

Стр. 223. *...раскрашенных снегов...* — выражение из поэмы Байрона «Дон Жуан», а не из «Паломничества Чайльд Гарольда».

Стр. 224. *Глаголь* — старинное название буквы «г»; здесь: здание, построенное в форме буквы «г».

Стр. 226. *Миловзор* — условный персонаж сентиментальных произведений.

Стр. 228. *Фумигация* — окуривание.

Бертовский пароход — пароходы, построенные на машиностроительном заводе Карла Берда (ум. в 1864 г.) в Петербурге и курсировавшие в основном между Петербургом и Кронштадтом.

Средобежная — центробежная.

Стр. 229. *Монумент Петра Великого.* — Речь идет о памятнике Петру I скульптора Фальконе (1716—1791), открытом в Петербурге на Сенатской площади в 1782 г.

...дремучие болота Рюисдаля... — Якоб ван Рейсдаль (1628—1682) — голландский живописец, график и один из крупнейших пейзажистов XVII в.

Фан-дер-Неер (Ван дер Неер; 1603—1677) — голландский живописец-пейзажист.

Фан-Остада. — Остаде — семья голландских пейзажистов.

Лесюер Эсташ (1617—1655) — французский художник, писавший картины на исторические, религиозные и мифологические темы. Здесь речь идет о его картине «Смерть св. Стефана».

Пуссен Никола (1594—1665) — французский живописец, крупнейший представитель классицизма в искусстве XVII в.

Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский живописец.

...сельский праздник манил к себе... — Имеется в виду картина Теньера «Сельский праздник».

Вернет (Верне). — См. коммент. к с. 87 тома I.

Урбино — то есть Рафаэль.

Стр. 230. *В комнатах, заключающих в себе музей Жозефины...* — Французская императрица Мария-Роза-Жозефина, первая жена Наполеона I, устроила в окрестностях Версаля, в замке Мальмезон, музей, состоящий из произведений искусств, вывезенных Наполеоном из захваченных им стран. В 1815 г. она подарила Александру I тридцать восемь картин и четыре скульптуры Антонио Кановы. Залы в Эрмитаже, где их поместили, назывались Мальмезон; Марлинский называет их музеем Жозефины.

Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор-классицист.

Скопас — известный древнегреческий скульптор и архитектор,

(IV в. до н. э.), представитель поздней классики. Многочисленные его работы известны по римским копиям.

Стр. 231. *«Одних уж нет, другие странствуют далече!»* — выражение из поэмы персидского писателя и мыслителя Саади Ширази «Бустан» (1257).

Стр. 236. ...*иготью Эскулапа* — то есть авторитетом врача.

Эпиграф взят из стихотворения А. Мицкевича «Rozmova» («Разговор», 1825).

Стр. 237. *Паскаль* Блез (1623—1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик.

Крес (кресс)*-салат* — овощное однолетнее растение из семейства крестоцветных; листья употребляются в пищу как салат.

Вестминстерский кабинет. — Вестминстер — часть Лондона, где находится здание английского парламента; здесь имеется в виду английский кабинет министров.

Амброзия — в древнегреческой мифологии ароматная пища богов, дававшая им вечную юность и красоту.

Стр. 238. ...*всезначащее число 666 в Апокалипсисе.* — См. коммент. к. с. 428 тома I.

Иена и Маренго. — Иена — город в Германии, под стенами которого французские войска в 1806 г. разбили прусские войска. Маренго — деревня в Северной Италии, около которой в 1800 г. французские войска одержали победу над австрийской армией.

Стр. 239. *Калиостро* — имя авантюриста Джузеппе Бальзамо (1743—1794).

...*статью «Нечто о любви душ».* — Видимо, это шутка Бестужева — такой статьи в «Соревнователе просвещения и благотворения» нет.

Стр. 241. *Маймисты* — финны (от финск. maa — земля, mies — муж).

Годдем (англ. God damn) — проклятье, ругательство.

Брюно (Брюне Жан-Жозеф; 1766—1851) — актер французской труппы в Петербурге.

Стр. 243. *Вместо того, чтобы вторить ... в арии di tanti palpiti, тебе бы надо уверить ее, что una voce pocofa...* — слова из арии Розины в опере итальянского композитора Россини (1792—1868) «Севильский цирюльник» (1816).

Дромадер (дромадар) — одногорбый верблюд.

...*пояса затянуты гордиевым узлом...* — См. коммент. к с. 418 тома I.

Стр. 244. *Ситха* — остров на северо-западе Северной Америки.

Крепость Росс — русское поселение в Калифорнии, основанное в 1812 г. Российско-Американской компанией.

Теология — богословие, церковное учение.

Геральдика — составление, истолкование и изучение гербов.

Реомюр Рене-Антуан (1683—1757) — французский естествоиспытатель, изобретатель спиртового термометра (1730).

Стр. 245. *Супир* — подаренное на память колечко, надеваемое на мизинец.

«Недолго женскую любовь...» — стихи из поэмы Пушкина «Кавказский пленник» (1821). Третья строка читается так: «Пройдет любовь, настанет скука...»

Стр. 246. *Авель* — по библейской легенде, второй сын Адама и Евы, «пастырь овец»; убит своим старшим братом Каином за то, что бог предпочел принять жертвоприношение Авеля.

Стр. 248. Эпиграф взят из первой главы романа французского писателя Оноре Бальзака (1799—1850) «Шагреневая кожа» (1831).

Авзония — поэтическое название Италии.

Колизей — амфитеатр, памятник древнеримской архитектуры (75—80 гг. до н. э.).

Брента — река на севере Италии.

...дремля под напев Торкватовых октав! — Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт, ренессансная лирика которого воспевала природу и любовь.

...не отличил бы Караважа от Поль Поттера... — Караваджо Микеланджело Меризи да (1573—1610) — итальянский живописец, основоположник реалистического направления в европейской живописи XVII в. Поттер Поль (Поттер Паулюс; 1625—1654) — голландский живописец и офортист, изображавший природу, жанровые сценки.

Кранах Лука (Кранах Лукас Старший; 1472—1553) — немецкий живописец и график.

...о пушках Пексана... — Пексан Генрих-Жозеф (1783—1854) — французский генерал, пушки которого, стрелявшие разрывными снарядами и названные бомбовыми, были приняты на вооружение в 1830 г.

Стр. 250. *...седьмая роковая пуля во Фрейшице...* — По немецкому преданию, фрейшиц — вольный стрелок, находился в союзе с чертом. Каждая седьмая его пуля направлялась чертом. «Фрейшиц» — «Волшебный стрелок», опера немецкого композитора К. Вебера (1786—1826).

...надписи, начертанной огненным перстом на стене пиршества для Валтасара!.. — Валтасар — сын последнего вавилонского царя. Войска персидского царя Кира, овладев Вавилоном, убили Валтасара (539 г. до н. э.). В библейской книге пророка Даниила описывался пир Валтасара («Валтасаров пир») и содержалось пророчество о его гибели.

...на гомеровском щите Ахиллеса... — Щит Ахиллеса описан Гомером в XVIII песне «Илиады».

Стр. 251. *Жилблаз* (Жиль Блас) — герой романа А.-Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1715—1735).

Роб-Рой — герой одноименного романа (1818) Вальтера Скотта.

Стр. 252. *Иегова* — искаженная форма имени бога Яхве в иудейской религии.

Алла (аллах) — бог в мусульманской религии.

Стр. 255. *Гемисфера* — полушарие.

...раздолье между Тигром и Ефратом... — Тигр и Ефрат — реки в Ираке, в междуречье которых, по иудаистской и христианской мифологии, был рай для первых людей рода человеческого — Адама и Евы.

Эдем — по библейской легенде, земной рай; здесь: благодатный уголок земли.

Стр. 258. *Эддистонский маяк* — маяк, сооруженный в 1697 г. на скале в проливе Ла-Манш.

Стр. 259. Эпиграф взят из шестой сатиры Ювенала. У Ювенала эта строка читается так: «Hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas».

Брамсель — парус третьего яруса. *Брам-стеньга* — третье колено составной мачты.

Фальстаф — герой комедии В. Шекспира «Виндзорские кумушки» (1598), а также его хроники «Генрих IV» (1597—1598).

Афонская гора — полуостров на Эгейском море, который известен своими монастырями.

Стр. 260. *Тимур-Ленг* — Тамерлан.

Стр. 261. *Ариман* — древнеперсидское божество, олицетворяющее злое начало.

Стр. *Тароватый* — здесь: щедрый.

Стр. 267. *...похищенною пери на коленях сурового дива...* — Пери — в персидской мифологии добрая фея, охраняющая людей от «злых духов»; див — чудовище, злой дух.

Стр. 268. *Мирра* — благоуханная смола.

Стр. 269. *Лобзанье Иудино* — «иудин поцелуй», выражение из евангельской легенды о предательстве одного из учеников Иисуса — Иуды.

Приговор неумытных жюри — справедливых, неподкупных.

Стр. 272. *Гюйс* — морской флаг, поднимаемый только во время стоянки корабля и при убранных парусах.

Стр. 273. *Мушкель* — деревянный молоток, применяемый при такелажных работах и конопатке деревянных судов.

Стр. 274. *Турникет* — хирургический инструмент для зажима кровеносных сосудов.

Стр. 275. *Лисель-спирт.* — Лисель — парус, приставляемый при слабом ветре к основным прямым парусам и увеличивающий их площадь.

Фордевинд (голл.) — ветер, совпадающий с курсом судна, или курс судна, совпадающий с направлением ветра.

Ундерзейль (голл.) — нижние паруса.

Грот-марса-рей — брус, прикрепляющий второй снизу парус.

Топенант (голл.) — снасть, поднимающая и поддерживающая горизонтальные и наклонные реи.

Стр. 280. *Доломан* — короткий гусарский мундир.

Девять сестриц Парнаса...—в греческой мифологии девять муз, покровительниц искусств, живших на священной горе Парнасе.

...сова Минервы... — В древнеримской мифологии богиня Минерва, покровительница искусств и ремесел, изображалась с совою — символом мудрости.

Ирида — в греческой мифологии вестница богов, изображавшаяся быстроногой крылатой девушкой.

Вулкан — бог огня и кузнечного дела у древних римлян.

...сына своей жены... — сын Вулкана Цекуль, бог очага.

Стр. 281. *Мальтийский мундир* — форма представителя монашеского католического ордена, обосновавшегося на о. Мальта.

Стр. 282. *Ток* — женский головной убор.

Стр. 283. *Не на варшавском ли приступе...* — Речь идет о взятии Варшавы русскими войсками 26 августа 1831 г.

«Молва» — газета-приложение к журналу «Телескоп», выходила в Москве с 1831 по 1836 г.

Ловелас — имя главного героя романа английского писателя Ричардсона «Кларисса», ставшее нарицательным для обозначения волокиты, соблазнителя.

Стр. 284. *Белладонна* (красавка) — ядовитое и лекарственное растение.

Тацит Публий Корнелий (ок. 58 — после 117 гг.) — римский историк, оратор, прославлявший старинный республиканский строй и обличавший деспотизм императоров.

Нойяда (Наяда) — в древнегреческой мифологии нимфа рек и ручьев.

Мореход Никитин. Быль (стр. 285). Впервые — в «Библиотеке для чтения», 1834, т. IV, за подписью: Александр Марлинский, с пометой: 1834 г. Дагестан.

Основой произведения является устное народное предание об архангельском мореходе Савелии Никитине, восходящее к подлин-

ному историческому факту: Матвей Герасимов, русский хлеботорговец, совершил в 1810 году рейс из Архангельска в Норвегию на парусном судне. В пути команда судна была захвачена в плен английским кораблем, но сумела освободиться и привести корабль к родным берегам.

Стр. 286. *Слово корабль... произвожу я от короба...* — По мнению ученых (А. Мейе), слово «корабль» все же греческого происхождения — kαραβiov, kαραβos.

Аргонавты — древнегреческие герои; предводительствуемые Язоном, совершили поход на корабле «Арго» в Колхиду (ныне район г. Сухуми) за золотым руном.

Штын-болт (мор.) — особый узел при связывании толстых веревок, канатов, тонкая снасть.

Шитик — мелкое речное судно.

Стр. 287. *Ситка* (Ситха) — ныне Ново-Архангельск.

Виргинский табак — нюхательный табак, выращенный в Виргинии (Сев. Америка).

...кушала сочинителей всех темных, пестрых и голубых сказок... — Видимо, здесь имеется в виду В. Ф. Одоевский (1804—1869), автор книги «Пестрые сказки с красным словцом» (1833).

Стр. 288. *Соломбол* (Соломбал) — остров в устье Северной Двины, на котором Петр I в 1693 г. заложил верфь.

Противоскорбутный — от нем. скорбут — цинга, развивающаяся вследствие отсутствия в пище витамина С.

Сороковой — то же, что сорокаведерный.

...летописи и несомненнее Несторовой... — Нестор (годы рожд. и смерти неизв.) — русский писатель конца XI — нач. XII в., предполагаемый автор «Жития Феодосия Печерского», «Чтения о Борисе и Глебе» (80-е гг. XI в.) и составитель летописного свода «Повести временных лет» (ок. 1113 г.).

Стр. 289. *Кювье* Жорж (1769—1832) — французский естествоиспытатель, автор известных трудов по анатомии, палеонтологии и систематике животных.

...не делают фантастических путешествий... — Речь идет о восточных новеллах О. И. Сенковского «Фантастические путешествия Барона Брамбеуса» (Фантастическая книга) (1833).

...китайчаты шаровары... — из «китайки», хлопчатобумажной ткани, первоначально привозившейся из Китая.

Топсель (голл.) — косой треугольный парус, прикрепляемый вершиной вниз поверх косого четырехугольного паруса, в треугольнике между ним и мачтой.

...на кораблях купца Брандта... — Брандт Карстен (ум. в 1693 г.) — голландец, корабельный мастер, первый наставник Петра I в морском деле.

Стр. 290. *Шкот* (голл.) — снасть для натягивания и управления парусом.

Шкипер (голл.) — командир грузового судна.

Стр. 292. *...за ней приданое не рогато* — невелико (нет рогатого скота).

Заговенье (церк.) — последний день перед постом, когда можно употреблять скоромную (мясную) пищу.

Спас — церковный праздник.

Стр. 293. *Миткаль* — самая простая хлопчатобумажная ткань, ненабивной ситец.

Ростни (росстани) — прощание, проводы.

Капер — торговое морское судно, вооруженное частным владельцем, с разрешения властей, для военного грабежа и нанесения вреда неприятелю.

...тогда с англичанами была война... — В 1807 г. Россия, по условиям Тильзитского мира, прекратила торговые отношения с Англией, присоединившись к континентальной блокаде.

Стр. 295. *Альциона* (Алькиона) — звезда третьей величины, самая яркая из Плеяд.

Диез (муз.) — знак повышения звука на полтона.

Стр. 296. *Брандвахта* (нем.) — караульное судно на рейде или в гавани.

Стр. 297. *Мартингал* — в конской упряжке ремень, идущий от удил к нагруднику для направления головы лошади в нужное положение.

Шлих-цигель, шпаниш-рейтер — особые аллюры (способ бега или хода лошади) при верховой езде.

Стр. 298. *«Записки» Трелонея* — Трелоуни (Трелонет; 1797—1881) — английский писатель, друг Байрона.

«Последняя нескромность современницы» — вышедшие в 1827 г. записки французской авантюристки де Фонье.

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — книгопродавец и книгоиздатель.

Жоанно Тони (ум. в 1853 г.) — французский гравер и рисовальщик, два брата тоже были граверами и рисовальщиками.

Видок Эжен-Франсуа (1775—1857) — французский сыщик, в прошлом уголовный преступник, автор «Мемуаров», частично переведенных на русский язык в 1829—1830 гг.

Стр. 299. *Крупчатик* — хлеб из лучшего сорта пшеничной муки.

Караван-сарай — в Азии — гостиница или постоялый двор со складом для караванных товаров.

Маливаться — то есть молиться.

Чудотворцы Зосима и Савватий — монахи Кирилло-Белозер-

ского монастыря, основатели Соловецкого монастыря (в 20—30-х гг. XV в.).

Стр. 303. *Румб* (англ.) — направление от наблюдателя к точкам видимого горизонта относительно стран света.

Бюффон Жорж-Луи-Леклерк (1707—1788) — французский ученый-естествоиспытатель, автор «Естественной истории», имевшей большое значение для развития науки XVIII в., и ряда работ в области геологии.

Стр. 304. *Шейлок* — герой трагедии В. Шекспира «Венецианский купец» (1596).

Попель — см. коммент. к с. 297 тома I.

Стр. 305. *Касьянов день* — 29 февраля. Христианский святой Касьян, по повериям, имеет недобрый взгляд, в отличие от святого Николая.

Куттер (англ.) — катер.

Гик (голл.) — вращающееся рангоутное дерево, упирающееся в мачту, растягивающее нижнюю кромку паруса.

Стр. 306. *Линь,* линек (голл.) — очень тонкая веревка.

Каронада — артиллерийское орудие с коротким стволом.

Приватирство, корсарство — морской разбой.

Темляк (польск.) — петля из ремня на рукоятке шпаги, надеваемая на руку для нанесения удара.

Стр. 307. *Георг III* (1738—1820) — английский король.

Джиг (джига, жига; англ.) — быстрый английский танец.

Стр. 310. *Канал* — то есть Ла-Манш (Английский канал).

...герои красного флота... — корсары, морские разбойники; во времена римлян и позднее разъезжали в судах, украшенных в пурпур и золото.

Кола — город, расположенный на слиянии рек Кола и Тулома на Кольском полуострове (недалеко от Мурманска).

Стр. 311. *...суп из костей для бедных...* — См. коммент. к с. 305 тома I.

Стр. 313. *Абордаж* (фр.) — тактический прием морского боя, представляющий собой сцепку судов для рукопашной схватки.

Штур-трос — кожаный трос для вращения верхнего бруса руля.

Стр. 315. *...два яруса вавилонского столпа...* — то есть вавилонское столпотворение — по библейскому мифу, попытка построить в Вавилоне башню (столпотворение — строение столпа, башни).

Стр. 316. *Бар* (англ.) — наносная мель в устьях рек.

Стр. 317. *...подвиг Долгорукого при Петре...* — Долгорукий Яков Федорович (1639—1720) — государственный деятель при Петре I; в битве под Нарвой в 1700 г. был взят в плен шведами, пробыл там

более 10 лет; в 1711 г. вместе с товарищами захватил шхуну и приплыл в Таллин (Ревель).

Он был убит (стр. 318). Впервые — в «Библиотеке для чтения», 1835, т. XII, за подписью: А. Марлинский, второй отрывок — 1836, т. XV, за подписью: А. Бестужев, в серии «Кавказские очерки». Текст 1-го отрывка печатается по автографу, хранящемуся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, ф. 69, ед. хр. 10.

Стр. 319. *Феникс* — в древнегреческой мифологии птица, способная возрождаться из пепла после сожжения.

Чингисхан Темучин (ок. 1155—1227 гг.) — основатель единого Монгольского государства, полководец.

Ванька Каин — известный московский вор, грабитель; в 1755 г. был приговорен к смертной казни, замененной каторгой; существовало много его жизнеописаний, иногда в форме автобиографии.

Стр. 320. *...мечом Дамокла грозится пасть на все живое.* — По древнегреческому преданию, сиракузский тиран Дионисий подвесил на конском волосе над головой завидовавшего ему Дамокла острый меч. Здесь: «дамоклов меч» — постоянно грозящая опасность.

Стр. 323. *...подобно Гамлетовым гробокопам?* — Имеется в виду сцена с могильщиком в «Гамлете» (1601) В. Шекспира.

...куски Геркулесовой кожи... — По греческой мифологии, жена Геркулеса из ревности послала ему плащ, пропитанный ядом. Чувствуя ужасную боль, срывая одежду и узнав о неизбежной смерти, Геркулес велел сжечь себя на костре, в результате чего вознесся в сонм олимпийских богов.

Стр. 326. *...будь халифом хотя на час...* — «Халиф (калиф) на час» — так называют человека, на короткое время наделенного властью, — из арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

...поэт, гость вельможи, есть уже слуга его, ...гость высшего света, — его игрушка? — Речь идет о стихотворении Пушкина «К вельможе» (1830), адресованном князю Н. Б. Юсупову (1750—1831). Это стихотворение вызвало несправедливые нападки на Пушкина Н. А. Полевого на страницах «Московского телеграфа». Поэта обвиняли в низкопоклонстве перед знатью.

Меценат (лат.) — богатый покровитель наук и искусств, по имени римского богача, жившего в I в. до н. э., широко покровительствовавшего поэтам и художникам.

...я, второй Исав, продам свое первородство за блюдо чечевицы? — По библейскому преданию, Исав, старший сын патриарха Исаака, продал за чечевичную похлебку своему младшему брату-

близнецу Иакову право первородства, дававшее особые преимущества. Здесь: за что-нибудь ничтожное отдано что-то очень ценное.

Стр. 327. *Россини* Джоаккино Антонио (1792—1868) — итальянский композитор.

...из обломков Китайской стены... — Китайская стена в древности отделяла Китай от Монголии.

...к какой школе принадлежит ... к горной или озерной? — Здесь иронически говорится о группе известных английских романтиков начала XIX в., в которую входили Вордсворт, Кольридж, Саути. Ее называли «Озерной школой».

Стр. 328. *Саламандра* — земноводная ящерица, по преданию, не горящая в огне. По средневековым поверьям, сказочные духи живут в огне и олицетворяют стихию огня.

Кунсткамера (нем.) — бессистемное собрание разнообразных редкостей, диковинок, а также помещение для такого собрания.

Стр. 329. *«Что слава? Яркая заплата...»* — неточная строфа из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824).

Гальванизм — по имени основателя учения о постоянном электрическом токе итальянского ученого Гальвани (1737—1798).

...с рукавами à la folle — то есть фантастического фасона.

Стр. 330. *Протей любезности.* — Протей, в древнегреческой мифологии, морское божество, обладающее способностью изменять свой вид; здесь: что-то непостоянное.

Маммон, Маммона — по древней мифологии, бог богатства и наживы у древних сирийцев.

Не воскресить юности дождем Данаи. — По греческой мифологии, Зевс, пленившись красотой Данаи, дочери аргосского царя Акрисия, явился к ней в виде золотого дождя.

Гривна — монета в десять копеек, денежная единица в Древней Руси.

Стр. 334. *Армида* — волшебница, героиня поэмы великого итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим» (1580).

Сураб (араб.) — подземелье.

Стр. 336. *Фуражировка* — заготовка для войсковых частей продовольствия и фуража (корма), хранение и выдача их.

Шапсуги — в прошлом одно из адыгейских племен, живущее ныне в Адыгейской автономной области и в Краснодарском крае.

Абрек — в эпоху завоевания Кавказа русскими — горец-партизан; позднее — горец-разбойник на Кавказе.

Дантов «Paradiso» — «Рай», третья часть «Божественной комедии» Данте Алигьери (1265—1321), великого итальянского поэта.

Беатриче (Беатриса) — возлюбленная Данте, которую он воспевал в юношеских стихах, сонетах и «Божественной комедии».

Стр. 338. *...из циклопеанских гробниц...* — Имеются в виду египетские пирамиды, гробницы фараонов (от греч. cyclops — круглоглазый, переносное значение — огромный).

Тигр — река, протекающая в Турции и Ираке.

...бархат ковров хорасанских... — Хорасан — в III — сер. XVIII в. область на Среднем Востоке (часть Ирана, часть Туркмении, часть Афганистана), очень развитая в экономическом отношении; славилась ткачеством.

Муравленый — покрытый глазурью.

Стр. 339. *...роза пиршества в благоуханном фалерне...* — Фалерн — название виноградного вина, производившегося в древней Италии в Фалернской области.

Абин — река в Северной Италии.

Стр. 341. *Роковой баламут подобран...* — то есть карты растасованы шулерским способом.

Соника (фр.) — в азартных карточных играх выигрыш или проигрыш с первой ставки.

...с жажды поцелуев своей Элеоноры. — Имеется в виду герцогиня Элеонора д'Эсте, в которую был влюблен Торквато Тассо.

Стр. 342. *Не шамбертеном он их потчует...* — Шамбертен — французская деревня, славившаяся своим вином.

Бекеша (венг.) — старинное долгополое пальто.

Стр. 343. *Трансценденталисты* — представители идеалистической философии, отстаивавшие идею о «потустороннем» мире, недоступном познанию.

Стр. 345. *Терцет* — стихотворная строфа из трех строк.

Ариосто Лудовико (1474—1533) — итальянский поэт, автор героической рыцарской поэмы «Неистовый Роланд» (1516).

...Муровы мелодии... — Томас Мур (1779—1852) — английский поэт, автор «Ирландских мелодий» (5 томов, 1807—1834).

...стихи Вальтера Скотта... — Имеются в виду поэмы В. Скотта «Песнь последнего менестреля» («The Lay of the Last Minstrel», 1805) и «Дева озера» («The Lady of the Lake», 1810).

Стр. 346. *...зоревая пушка...* — пушка, посредством которой бьют зорю, возвещают о наступлении зари.

...духи из Макбетова котла... — Речь идет об эпизоде из трагедии В. Шекспира «Макбет» (1606).

«Морфей, до утра дай отраду...» — из стихотворения Пушкина «К Морфею» (1816).

Стр. 347. *Рунд* — помощник дежурного по караулам; здесь: ночной обход караулов.

Стр. 348. *Помпея* — город в Италии, который был разрушен в результате извержения Везувия в 79 г.

Стр. 349. *Маркотча* и *Атакваф* — небольшие речки в Дагестане.

Стр. 352. *Натухайцы* — одно из горских племен.

Каменский Михаил Федотович, граф (1738—1809) — генерал-фельдмаршал.

Стр. 353. *Магомет* — пророк, по арабским преданиям основатель в VII в. исламской (мусульманской) религии, изложенной в Коране.

Стр. 354. *Пук и Ариель* — герои комедии Шекспира «Буря».

...карикатурами Гетевого шабаша ведьм... — Имеются в виду пляски ведьм в сцене «Вальпургиева ночь» из «Фауста» Гете.

Фалшфейер (фальшфейер; нем.) — См. коммент. к с. 341 тома I.

Стр. 355. *Полуда* — сплав для лужения, луда; здесь: вещь очень незначительной ценности.

Стр. 356. *Кирасиры* — кавалеристы, носившие кирасы, то есть металлические латы, защищавшие спину и грудь от ударов.

...братья Иосифа! — Имеется в виду Иосиф Прекрасный, проданный, по библейским преданиям, братьями в рабство в Египет вельможе фараона; жена вельможи пыталась обольстить юного Иосифа.

Стр. 357. *Стикс* — в древнегреческой мифологии одна из рек «подземного царства», за которой обитали души умерших.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихотворное наследие А. Бестужева, включая поэму «Андрей, князь Переяславский», агитационные стихи, написанные совместно с Рылеевым, и стихи, извлеченные из его писем и прозаических произведений, составляет более семидесяти названий. Основная его часть публиковалась в периодической печати 20—30-х годов XIX века и была частично собрана в издании его Сочинений, вышедших в 1838 году. Первым научным изданием стихотворений Бестужева является «Полное собрание стихотворений» (Большая серия «Библиотеки поэта», 1948). Тексты печатаются по изданию: Большая серия «Библиотеки поэта», А. Бестужев-Марлинский. Полное собрание стихотворений. Л., 1961. При всем значении ранних стихотворных опытов Бестужева наиболее важная декабристская тема звучит в его агитационных стихах, написанных совместно с Рылеевым. Поэтому считаем целесообразным в настоящем издании начать стихотворный раздел с агитационных песен.

АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ, НАПИСАННЫЕ А. БЕСТУЖЕВЫМ СОВМЕСТНО С РЫЛЕЕВЫМ

Песни «Ах, где те острова...», «Ты скажи, говори...», «Царь наш — немец русский» впервые были опубликованы А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в лондонской «Полярной звезде на 1859 год», книга V, под общим названием «Стихотворения Рылеева и Бестужева» с явно ошибочным зачином последнего стихотворения по неточной редакции: «Царь наш — немец прусский». В воспоминаниях различных лиц — Д. И. Завалишина, А. О. Смирновой и И. Г. Головина — приводится правильный текст: «...немец русский». Песня «Ах, тошно мне...» впервые, по авторитетной копии автографа Рылеева, — в «Полном собрании стихотворений К. Ф. Рылеева» (Л., 1934), перед тем печаталась в русских и зарубежных публикациях весьма неточно. В нашем издании печатается по проверенному сводному тексту, опубликованному Ю. Г. Оксманом в «Литературном наследстве», т. 59, стр. 97—99. Песня «Как идет кузнец да из кузницы...» впервые в сборнике Н. П. Огарева «Русская потаенная литература XIX столетия» (Лондон, 1861, с. 70—71) с заголовком «Пропущенное стихотворение Рылеева». Песня «Вдоль Фонтанки-реки» — впервые в «Литературном наследстве», т. 59, 1954, стр. 115.

Ах, где те острова... (стр. 361). *Pucelle* — то есть «Орлеанская девственница» (1735) Вольтера.

Бестужев-драгун — то есть А. А. Бестужев.

Князь-чудодей — цесаревич Константин, главнокомандующий русскими войсками в Польше.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — реакционный журналист и писатель, до 14 декабря 1825 г. вращавшийся в кругу передовой молодежи. См. далее коммент. к стр. 391.

Танта — так называли в литературных кругах тетку жены Булгарина, жившую у него в доме.

Магницкий М. Л. (1778—1855) — попечитель Казанского учебного округа, известный реакционер.

Мордвинов Н. С. (1754—1845) — адмирал, председатель департамента гражданских и духовных дел государственного совета, пользовался среди декабристов большим уважением за оппозицию царскому режиму.

...не думает Греч, что его будут сечь... — Намек на слухи, что Греч в 1821 г. был выпорот в тайной полиции по необоснованному подозрению в участии в восстании Семеновского полка.

Сперанский М. М. (1772—1839) — государственный деятель при Александре I, автор проекта государственных реформ; в

1812 г. был сослан в Нижний Новгород, позднее в Пермь; возвращенный в 1821 г., стал защитником неограниченной монархии, поддерживал реакционеров и церковников.

Измайлов-чудак. — Измайлов А. Е. — баснописец, автор собирательного образа завсегдатая кабаков Пьянюшкина.

Ты скажи, говори... (стр. 362). *А жена пред дворцом//Разъезжала верхом...* — Екатерина II совершила в 1762 г. придворный переворот, вследствие которого ее муж Петр III был заточен на мызу Ропшу и там удавлен.

...курносый злодей... — царь Павел I (1754—1801), задушенный в 1801 г.

Царь наш — немец русский (стр. 363). *Царствует он где же?//Всякий день в манеже.* — Имеется в виду царь Александр I (1777—1825), увлекавшийся «прусской» военной системой с ее плац-парадами, учениями, муштрой в манеже.

Аракчеев А. А. (1769—1834) — граф, временщик при дворах Павла I и Александра I, насаждал прусские военные порядки, палочную дисциплину, проводил политику крайней реакции и полицейского деспотизма, так называемой «аракчеевщины».

Волконский П. М. (1776—1852) — князь, генерал-адъютант, видный сановник и личный друг Александра I, состоял начальником Главного штаба, министром двора.

А другая баба//Губернатор в Або. — Имеется в виду Закревский А. А. (1783—1865), граф, состоял генерал-губернатором с 1823 г. в городе Або (шведское название г. Турку) в Финляндии, когда она входила в состав России.

А Потапов дурный//Генерал дежурный. — Потапов А. Н. — генерал-майор, дежурный генерал Главного штаба с 1823 г., член Следственного комитета над декабристами.

Масоны — намек на запрещение в России масонских лож в 1822 г.

Вдоль Фонтанки-реки (стр. 365). *Фонтанка* —река в Петербурге.

Да Семеновский полк//Покажет им толк! — Семеновский полк, восставший в 1820 г. против аракчеевского режима, ставится Бестужевым в пример солдатам петербургской гвардии.

Ах, тошно мне... (стр. 365). Первые строки — перепев популярной песни поэта Ю. А. Нелединского-Мелецкого: «Ах, тошно мне//На чужой стороне...», которую распевали гребцы на Неве. Песня в 1825 г. была запрещена, возможно в связи с распространением песни Рылеева и Бестужева на тот же мотив.

Синюха — пятирублевая ассигнация синего цвета; здесь: намек на взяточничество судей.

А под царским орлом... — Вывески кабаков и питейных лавок украшались царским гербом с изображением двуглавого орла.

<Эпиграмма на Жуковского> (стр. 367). Первоначально приписывалась Пушкину и печаталась в его «Стихотворениях». На принадлежность ее А. Бестужеву впервые указал его брат Михаил Бестужев («Русская старина», 1870, № 6). В эпиграмме пародируются начальные строки стихотворения Жуковского «Певец».

Грей Томас (1716—1771) — английский поэт, представитель сентиментализма. Его «Элегию» перевел В. А. Жуковский под названием «Сельское кладбище» (1801).

Камер-лакей — старший придворный лакей.

К Рылееву (стр. 368). Впервые — в «Русской старине», 1893, № 4, с. 54, по копии, хранившейся в Берлинской королевской библиотеке. По форме стихотворение является пародией на балладу Жуковского «Иванов вечер» («Замок Смальгольм», 1822).

Канапе (фр.) — небольшой диван с приподнятым изголовьем.

Рапе (фр.) — напиток, приготовленный из свежего винограда.

«Поэма» — возможно, имеется в виду поэма Рылеева «Войнаровский» (1825).

Плетнев П. А. (1792—1865) — русский критик и поэт, друг Пушкина; направлению творчества Рылеева не сочувствовал.

Михаил Тверской (стр. 368). Впервые в «Сыне отечества», 1824, № 39, стр. 277—279, за подписью: Б.....в. Принадлежность этой думы А. Бестужеву долгое время оставалась неизвестной. Авторство установил Б. В. Томашевский (см.: «Ученые записки ЛГУ», № 200, вып. 25, 1955). Написано в духе исторических «Дум» Рылеева.

И Михайловой главою... — Князь Михаил Тверской был замучен в Золотой Орде в 1318 г.

Шебутуй (Водопад Станового хребта) (стр. 369). Впервые — в «Московском телеграфе», 1831, № 12, стр. 425—426, с пометой вместо подписи:* 1829. Иркутск. В Полном собрании стихотворений 1948 года напечатано по тексту автографа.

Ловитва — то же, что ловля, охота.

Халцедоновый. — Халцедон — разновидность кварца, полудрагоценный камень, обычно светлого тона.

Часы (стр. 371). Впервые — в «Литературной газете», 1830, № 27, от 11 мая, без подписи.

К облаку (стр. 372). Впервые — в Полном собрании сочинений, ч. XI, 1838, стр. 139, под заглавием «Облако», с неточным текстом 8-й строки. В Собрании стихотворений 1948 года напечатано по автографу. Подпись: А. Б. Дата: 1829, Якутск.

СТАТЬИ

Взгляд на старую и новую словесность в России (стр. 375). Впервые — в «Полярной звезде на 1823 год», стр. 11—29, за подписью: А. Бестужев. Статья вошла в Полное собрание сочинений, 1838 г., ч. XI. Текст печатается по первой публикации.

Стр. 375. *...слили воедино с родом славянским язык и племена свои...* — Бестужев неверно трактует вопрос о происхождении русского языка от слияния с языком норманнов.

Стр. 377. *«Русская правда»* — свод древнерусского права эпохи Киевского государства и феодальной раздробленности (дошел до нас в списках XIII—XVIII вв. в 3-х редакциях).

Народные песни изменены преданием и едва ли древнее трехсот лет. — Бестужев неверно считал, что исконно свободолюбивые мотивы русского фольклора были изменены в условиях татарского ига и княжеского деспотизма. На самом деле фольклор сохранил в себе многие черты даже и более древних эпох языческого периода.

...в Песне о битве Донской... — «Задонщина», — памятник русской литературы конца XIV в.; вошла в Никоновскую летопись и упоминается в «Истории государства Российского» Карамзина.

Стр. 378. *Тредиаковский* В. К. — оценивается А. Бестужевым, в духе сложившейся традиции, явно пристрастно, как «бездарный» стихотворец.

Стр. 379. *Академия Российская* — научный центр по изучению русского языка и словесности в Петербурге (1783—1841), позднее была преобразована во 2-е Отделение Академии наук, а затем — в Отделение русского языка и словесности; в 1813—1841 гг. президентом Российской академии был А. С. Шишков.

Заслуги Екатерины для просвещения отечества неисчислимы... — Здесь и далее Бестужев чрезмерно преувеличивает «заслуги» Екатерины, беспощадно расправлявшейся с писателями-вольнодумцами (Новиков, Радищев); ее собственное литературное творчество не представляет никакой ценности.

Стр. 380. *Оссиан* (III в.) — легендарный кельтский бард; по-

пулярность в конце XVIII — начале XIX в. приобрели «Песни Оссиана», сочиненные шотландским поэтом Джемсом Макферсоном (изданы в 1765 г.).

Пиндар (518—442 или 438 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор торжественных песнопений; высоко расценивал роль поэта, сохраняющего для потомков память о славных деяниях.

...певца водопада, Фелицы и бога... — Имеются в виду оды Г. Р. Державина (1743—1816): «Водопад» (1794, посвящена смерти Потемкина), «Ода к Фелице» (1782, посвящена Екатерине II), «Бог» (1784).

Стр. 381. *Время рассудит Карамзина как историка...* — отголосок тогдашней полемики вокруг «Истории государства Российского» (1818—1829) Н. М. Карамзина (1766—1826). В отличие от других декабристов, А. Бестужев не занимал по отношению к «Истории...» отрицательной позиции.

«Елисей». — Имеется в виду поэма В. И. Майкова (1728—1778) «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771), исполненная социальной сатиры, изображающая нравы петербургского «дна», полемически направленная против высокопарного стиля придворного поэта В. П. Петрова.

Осипов Н. П. (1751—1799) — автор поэмы «Вергилиева Энейда, вывороченная наизнанку», ч. I—IV, 1791—1796, продолжена Котельницким, ч. V—VI, 1802—1808; эта поэма представляет собой вольный перевод «Похождений благочестивого героя Энея» (1783—1786) австрийского поэта, писателя-просветителя А. Блумауэра (1755—1798); сыграла заметную роль в развитии русской ироикомической поэмы.

Котляревский И. П. (1769—1838) — украинский писатель, поэт, автор травестированной бурлескной поэмы «Энеида» (1798, полное издание — в 1842 г.).

Нелединский-Мелецкий Ю. А. (1752—1829) — поэт-сентименталист, статс-секретарь при Павле I.

Салтыков П. С. (1698—1772) — граф, фельдмаршал.

Бобров С. С. (кон. 1760-х — 1810 гг.) — поэт религиозно-дидактического характера, злоупотреблявший славянизмами, громоздкими аллегорическими образами и картинами. Автор поэмы «Херсонида, или Картина лучшего летнего дня в Херсонесе Таврическом» (1798). Один из «шишковистов», высмеивавшихся «карамзинистами» и Пушкиным.

Долгорукий И. М. (1764—1823) — князь, русский поэт, автор песен, любовных и сатирических посланий; некоторые из его произведений, по словам Белинского, отличались «неподдельным русским юмором».

Хвостов Д. И. (1756—1835) — граф, стихотворец, член «Беседы любителей русского слова». Бестужев оценивает его очень снисходительно, между тем он слыл как бездарный поэт, сам себя рекламировавший, литературный консерватор, эпигон классицизма, архаист в языке и стиле, был мишенью для многочисленных эпиграмм «арзамасцев» и Пушкина.

Стр. 382. *Муравьев* М. Н. — поэт и писатель, близкий к Карамзину, один из зачинателей русского сентиментализма; Бестужев имеет в виду его прозаические произведения 1790-х гг. «Эмилиевы письма» и «Обитатель предместья».

Подшивалов В. С. — писатель, перевел роман Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1793).

Макаров П. И. — критик и переводчик романа Матье «Граф де Сен Марац, или Новые заблуждения сердца и ума» (1799—1800).

Востоков А. Х. (1781—1864) — поэт, филолог-славист, участник «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», автор «Опытов лирических и других мелких сочинений в стихах» (2 части, 1805—1806), «Опыта о русском стихосложении» (1812).

Марин С. Н. (1775—1813) — поэт, сатирик, пародист.

Горчаков Д. П. (1758—1824) — князь, поэт-сатирик, драматург. Бестужев неверно указывает его год рождения: 1762. Особенным успехом пользовались его сатиры, распространявшиеся в списках и содержавшие резкие нападки на современное общество.

Пнин И. П. — один из поэтов-«радищевцев».

Кайсаров М. С. (1780—1825) — переводчик Л. Стерна.

Мартынов И. И. (1771—1833) — переводчик греческих и латинских писателей; издатель ежемесячного журнала «Муза» — выходил в Петербурге в 1796 г. Вышло 4 части.

Шаликов П. И. (1767—1852) — князь, «слащаво-слезливый» стихотворец, редактор газеты «Московские ведомости», а позднее — «Дамского журнала». К числу его «нежной» прозы Бестужев, вероятно, относит его «Путешествие в Малороссию» (1803—1804).

Дюпати Шарль (1746—1788) — французский писатель либерального направления.

Сумароков П. П. (1765—1814) — журналист, поэт, внучатый племянник А. П. Сумарокова; в 1786 г был сослан в Сибирь за невольное соучастие в подделке ассигнации, вернулся в 1801 г. Писал басни, стихотворные сказки в традициях сатирической и ироикомической поэзии русского классицизма.

Беницкий (Бенитцкий, Бенитский) А. П. — писатель. Бестужев выделяет его *«образцовую прозу»*, то есть «восточные» повести и сказки, в которых он обличал пороки дворянского общества.

Шишков А. С. (1754—1841) — президент Российской академии,

занимал консервативные позиции; перевел с немецкого и переработал многотомную «Детскую библиотеку» И. Г. Кампе (1746—1818).

Стр. 383. *Шатров* Н. М. (1767—1841) — поэт; см. о нем: «Русская эпиграмма XVIII—XIX вв.», «Библиотека поэта», Малая серия, 3 изд.; «Песни, романсы русских поэтов», М. — Л., 1965.

Шихматов, князь. — Неясно, кого из Ширинских-Шихматовых, двух известных тогда писателей, имеет в виду Бестужев. Видимо, это Ширинский-Шихматов П. А. (1790—1853), для стихов которого характерны религиозно-мистические мотивы, охранительно-политические тенденции, особенно проявившиеся в цикле «Опыты духовных стихотворений», изданном отдельной книгой в 1825 г., но прежде печатавшемся в различных журналах.

Судовщиков Н. Р. (кон. XVIII — нач. XIX в.) — драматург, автор комедии в стихах «Неслыханное диво, или Честный секретарь» (1802); см. о нем: «Стихотворная комедия конца XVIII — начала XIX в.», М. — Л., 1964, «Библиотека поэта», Большая серия, 2 изд.; см. также: Могилянский А. в журн. «Русская литература», 1966, № 3, с. 92—95.

Ефимьев. — Бестужев, вероятно, неправильно написал фамилию писателя, который умер в 1804 г. Это Ефимов Д. В. (1768—1804) — драматург, писавший комедии в стихах.

Аблесимов А. О. (1742—1783) — драматург, автор комической оперы «Мельник, колдун, обманщик и сват» (1779). Бестужев неверно указывает год его смерти: 1784.

Крюковский М. В. — драматург; см. о нем: В. А. Бочкарев. Русская историческая драматургия нач. XIX в. Куйбышев, 1959, с. 414—434 (Уч. зап. Куйбышевского пед. ин-та, вып. 25).

Озеров В. А. (1769—1816) — драматург. Бестужев неверно указывает дату его рождения: 1770. Для декабристов была характерна завышенная оценка достоинств драматургии Озерова.

Стр. 384. *Жаль, что Крылов подарил театр только тремя комедиями.* — Имеются в виду, очевидно, лучшие из них: «Трумф» («Подщипа»; 1799—1800), «Урок дочкам» (1807) и «Модная лавка» (1807). Крылов написал еще комическую оперу «Кофейница» (1782), комедии «Бешеная семья» (1786), «Сочинитель в прихожей» (1786), «Проказники» (1787) и «Илья Богатырь» (1807).

С Жуковского и Батюшкова начинается новая школа нашей поэзии. — Бестужев объединяет в одну «новую школу русской поэзии» В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова, справедливо относя их к романтическому направлению в литературе.

Оригинальная повесть его «Марьина Роща» стоит наряду с «Марфою-Посадницею» Карамзина. — Такое неожиданное объедине-

ние Бестужевым двух различных повестей продиктовано, повидимому, тем, что героем у Жуковского и Карамзина является Вадим, но это уподобление носит чисто внешний характер: Вадим у Жуковского ничего общего не имеет с Вадимом Храбрым у Карамзина, боровшимся во главе новгородцев против Рюрика в IX веке.

Стр. 385. *Анакреон* (ок. 570—478 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик, воспевавший, по преимуществу, любовь и пиршества («анакреонтическая лирика»).

Парни Эварист Деформ (1753—1814) — французский поэт, автор популярных в свое время любовных элегий.

...на могиле Овидиевой... — Бестужев, как и многие современники, ошибочно полагал, что Пушкин был сослан в места, где отбывал в свое время изгнание римский поэт Овидий; на самом же деле Овидий жил в ссылке намного южнее, в дельте Дуная.

Вяземский П. А. (1792—1878) — поэт, публицист и критик.

Стр. 386. *Глинка* Ф. Н. (1786—1880) — автор «Писем русского офицера», которые писались в ходе событий Отечественной войны 1812 г. В 1819—1825 гг. Глинка был председателем «Вольного общества любителей российской словесности, являвшегося своего рода легальным филиалом тайного общества декабристов — «Союза благоденствия». Бестужев неверно указывает дату рождения Глинки: 1787.

Стр. 387. *Воейков* А. Ф. (1779—1839) — поэт, переводчик, журналист. Его сатирические способности наиболее ярко проявились в стихотворных памфлетах под названием «Дом сумасшедших» (перв. ред. 1814) и «Парнасский адрес-календарь» (1818—1820). Дата рождения Воейкова указана Бестужевым неверно: 1783.

Делиль Жак (1738—1813) — французский поэт. Популярно было его произведение — «Сады» (1782, рус. перев. 1814).

Остолопов Н. Ф. (1783—1833) — поэт, переводчик, теоретик стиха. Бестужев в особую похвалу ему ставит «Словарь древней и новой поэзии» (3 части, изд. 1821) — первый свод знаний по теории и истории стиха, подводивший итог классицистическому периоду русской литературы («Словарь...» дает толкование четыремстам поэтическим терминам).

Родзянко (Родзянка) А. Г. (1793—1846) — поэт, сотрудник «Полярной звезды» (1824), «Невского альманаха» (1826) и других изданий.

...пристрастясь к германскому эмпиризму... — Это выражение означает пристрастие *Дельвига* А. А. (1798—1831) к немецкой идеалистической философии, рассматривавшей опыт (эмпиризм) как субъективное содержание сознания.

В безделках его видна ненарумяненная природа. — Речь идет

о стихах Дельвига в духе русских народных песен: «Соловей» (положен на муз. А. А. Алябьевым), «Не осенний мелкий дождичек» (муз. М. И. Глинки).

Идиллии Панаева... — Имеется в виду Панаев В. И. (1792—1859), произведения которого в жанре идиллий (отдельное изд. в 1820 г.) были проникнуты духом сентиментализма: в них заметно влияние Геснера С. (1730—1788), швейцарского поэта и художника.

Стр. 388. *Крылов* А. А. (1799—1829) — поэт, переводчик.

...Михайла Дмитриева... с душою ограниченною... — Бестужевым дано удивительно точное определение последующих позиций М. А. Дмитриева (1796—1866), уже в 1820-х гг. выступившего как рьяный блюститель классицизма. Выступал он против романтических поэм и романа «Евгений Онегин» Пушкина, «Горя от ума» Грибоедова, был постоянным противником Н. Полевого, Белинского.

Переводы Раича Виргилиевых «Георгик» (1821) были литературным дебютом С. Е. Раича (1792—1855) — замечательного педагога, литературного наставника М. Ю. Лермонтова и Ф. Ф. Тютчева, одно время входившего в «Союз благоденствия».

Стр. 389. *Поспешность, с которою пишет он...* — Этот отзыв об А. А. Шаховском отличается нелицеприятностью: Бестужев не мог не знать, что Шаховской сблизился с кругом Кюхельбекера, Грибоедова, Катенина.

Буасси Луи (1694—1758)—французский драматург, автор комедии «Говорун» («Babillard», 1817), в переводе Н. И. Хмельницкого.

Колен д'Арлевиль (д'Арвиль). — Его произведение «Испанские замки» («Les Châteaux en Espagne») было переделано Н. И. Хмельницким под названием «Воздушные замки» в 1818 г. (см.: Соч. Н. И. Хмельницкого, тт. 1—3, вступит. статья С. Дурова. СПб., 1849; а также: «Старый русский водевиль», М., 1937).

Жандр, с товарищами... — Имеется в виду А. А. Жандр (1789—1873) и его товарищи по литературной деятельности в области драматургии: Катенин, Грибоедов, Шаховской. К моменту выхода статьи Бестужева им были переведены с французского комедии: «Аталлия» Расина («Гофолия» (1816—1817), «Гораций» (1817) Корнеля (совместно с Шаховским) и «Притворная неверность» (1818) Барта (совместно с Грибоедовым).

Грессетова комедия — «Le méchant» («Злой человек», 1747) Грессе Ж.-Б. Луи (1709—1777), французского поэта и драматурга. Перевод Катенина этой комедии относится к 1819 г.

Стр. 390. *Федоров* Б. М. (1794—1875) — журналист, драматург, детский писатель; реакционный литератор. Бестужев дал ему сдержанную характеристику, а Дельвиг писал на него эпиграммы.

Каченовский М. Т. (1775—1842) — историк, журналист и переводчик, издатель «Вестника Европы». Бестужев высоко оценивает Каченовского на основании того, что Каченовский как историк, глава скептической школы, выступал за критическое отношение к историческим источникам, непредвзятому их истолкованию, что объективно приобретало значение протеста против официальной идеологии и привлекало симпатии молодежи.

Броневский В. Б. (1784—1835) — военный историк; упоминается как автор «Записок морского офицера в продолжение кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Д. Н. Сенявина от 1805 по 1810 год». СПб., 1818—1819.

Греч Н. И. — Отзыв Бестужева о Грече объясняется тем, что до середины 1820-х годов Греч вращался в дворянских кругах, из которых впоследствии вышли передовые люди; но затем стал ярым монархистом и реакционером. С 1812 г. издавал «Сын отечества», подпавшего под влияние декабристов. Гречу принадлежала «Учебная книга российской словесности» (1819—1822), «Опыт краткой истории русской литературы» (1822, первая книга по истории теории литературы в России). Известен был и своими работами в области грамматики.

Стр. 391. *Булгарин* Ф. В. — реакционный журналист и писатель, до восстания декабристов поддерживал связи с Грибоедовым, Рылеевым и Бестужевым, сотрудничал в «Полярной звезде». После выступления декабристов примкнул к крайне реакционным силам, стал тайным осведомителем полиции, издателем газеты «Северная пчела» и журнала «Сын отечества», направленных против всего прогрессивного.

«Записки об Испании» — появились в печати в 1823 г. Оценка литературного творчества Ф. Булгарина Бестужевым сильно преувеличена.

Головнин В. М. (1776—1831). — Имеется в виду, видимо, моряк, который побывал на Камчатке, Курильских островах, более полутора лет провел в японском плену, совершил кругосветное путешествие, описание которого издал в 1822 г.

Гамалея Пл. Я. (1766—1817) — моряк, ученый, автор трудов по мореходству.

Свиньин П. П. (1787—1839) — писатель, историк, путешественник; автор «Опыта живописного путешествия по Северной Америке» (1815), «Ежедневных записок в «Лондоне» (1817). *«Обо всем русском, достойном внимания»,* писал с консервативных позиций в своем журнале «Отечественные записки», которые издавал с 1818 по 1830 гг.

Львов Ф. П. (1766—1836) — поэт, вместе с Н. Ф. Остолоповым издавал «Ключ к сочинениям Державина» (1821).

Критики Сомова колки и не всегда справедливы. — Сомов О. М. (1793—1833) — журналист, писатель, критик, был близок к декабристам, состоял членом «Вольного общества любителей российской словесности». Главное его произведение, трактат «О романтической поэзии» (1823), обсуждалось на заседании Общества. Не совсем ясно, какие именно и в каких его статьях Бестужев усмотрел *«колкости»* и *«не всегда справедливые»* суждения.

П. Яковлев обещает многое в роде Жуи... — Имеется в виду Яковлев П. Л. (1796—1835) — писатель, автор повестей «Эраст Чертополохов» (1828), «Записки Москвича» (1828), «Удивительный человек» (1831), отзыва о «Борисе Годунове» Пушкина (1831). Брат лицейского товарища Пушкина М. Л. Яковлева.

Жуи Виктор-Жозеф (1764—1846) — французский писатель, драматург, автор бытовых комедий, писал в духе Вольтера. Особенно прославился нравоописательными очерками и рассказами, содержащими политические намеки.

«Европейские письма» В. К. Кюхельбекера (1797—1846) — печатались в «Невском зрителе», 1820, февраль (Предуведомление и Письма I—IV) и апрель (Письма IX—XI) и в «Соревнователе просвещения и благотворения», 1820, ч. IX (Письма V—VIII) и ч. XI (Письмо XII). Описывается воображаемое путешествие в Европу «26-го столетия». В действительности же дается описание современной ему России.

Нарежный В. Т. (1780—1825) — писатель. «Славенские вечера» его были опубликованы в 1809 г. В них воспевались полуисторические легендарные герои Древней Руси, что импонировало декабристам. Автор трех романов: «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1814) (из 6 частей в 1814 г. были опубликованы только 3 части, остальные были запрещены и увидели свет лишь в советское время), «Аристион, или Перевоспитание» (1822), в духе обобщенного юмора XVII века, и «Бурсак» (1824).

Стр. 392. *Княжевич* Д. М. (1788—1844) — литератор, журналист, этнограф, автор произведения «Два синонима», опубликованного в «Полярной звезде» на 1824 г.

Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года (стр. 394). Впервые — в альманахе «Полярная звезда» на 1824 год, стр. 265—271, за подписью: Александр Бестужев. Вошла в Полное собрание сочинений, ч. XI, 1838. Печатается по тексту первой публикации.

Стр. 395. *...поверхность сонной Леты...* — Лета (миф.) — река, символ забвения.

Броневский С. М. (1764—1830) — градоначальник Феодосии (1810—1816), автор сочинения «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе», 1—2 тт. (1823), знаток Крыма.

Муравьев-Апостол И. М. (1768—1851) — дипломат, писатель.

Стр. 396. *Мерзляков* А. Ф. (1778—1830) — поэт, переводчик, литературный критик. Его «Краткое начертание теории изящной словесности» в 2-х частях вышло в 1822 г. Сторонник классицизма, но к концу жизни занимал эклектические позиции. Отсюда — подражание И. И. Эшенбургу (Эшембургу) (1743—1820), немецкому историку литературы.

Бутурлин Д. П. (1790—1849) — военный историк, автор «Истории нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году» (1823—1824), а также «Истории смутного времени в России в начале XVII века», ч. I (1839—1846).

Ростопчин Ф. В. — генерал-губернатор в Москве в 1812—1814 гг.

Грамматин Н. Ф. (1786—1827) — поэт, переводчик, филолог; издал перевод «Слова о полку Игореве» с примечаниями. М., 1823.

Калайдович К. Ф. (1792—1832) — археолог, историк, филолог.

Глинка С. Н. (1776—1847) — писатель и журналист, брат Ф. Н. Глинки, придерживался монархических и консервативных позиций. *«Новое детское чтение»* — журнал, выходивший в Москве с 1821 по 1824 г. по частям, цель его — воспитание «благочестия, послушания». *«Русская история»* вышла в 1816 г.

Олин В. Н. (ок. 1788—1841) — писатель, журналист, переводчик, издатель «Журнала древней и новой словесности» (1819), автор трагедии «Корсер» (1828), заимствованной из поэмы Байрона «Корсар», и др.

Легуве Г.-М.-Ж. (1764—1812) — французский писатель, журналист, один из эпигонов классицизма.

Глебов Д. П. (1789—1843) — поэт, переводчик.

Стр. 397. *Шаховской* А. А. (1777—1846) — князь, автор многочисленных комедий и водевилей: «Новый Стерн» (1805), «Расхищенные шубы» (1811—1815), «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815), «Пустодомы» (1820), «Ссора, или Два соседа» (1821), и др.

Загоскин М. Н. (1789—1852) — писатель, автор исторических романов, драматург.

Сушков Н. В. (1796—1871) — поэт, драматург, журналист.

Ростовцев Я. И. (1803—1860) — поручик лейб-гвардии егерского полка, литератор; доносил на декабристов Николаю I. Впоследствии один из деятелей по подготовке крестьянской реформы 1861 г.

Лобанов М. Е. (1787—1856) — поэт, драматург, переводчик. Перевел трагедии Расина «Ифигения в Авлиде» (1815), «Федра» (1823). Пушкин отрицательно относился к переводу, который Бестужев назвал «прекрасным».

Туманский В. И. (1800—1860) — поэт, был близко знаком с Рылеевым, Бестужевым. Его «Послание к Державину» написано в духе декабристского поклонения перед поэтом, в котором они усматривали родственные себе гражданские мотивы.

В прозе Греча и князя Вяземского отрывки из жизни И. И. Дмитриева. — Отрывки в прозе Греча разыскать не удалось. Имеется в виду статья П. А. Вяземского «Известия о жизни и сочинениях И. И. Дмитриева», приложенная к изданию Сочинений Дмитриева (СПб., 1823).

Стр. 398. *«Труды общества при Московском университете»* — «Труды Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете», которые издавались в 1812, а затем возобновились в 1816 и выходили по 1826 г.

«Сочинения и переводы», издаваемые Российской Академией наук — выходили с перерывами с 1805 по 1813 г. и были возобновлены с 1823 г. в Петербурге под редакцией А. С. Шишкова.

«Журнал художеств» — «Журнал изящных искусств», издавался в Петербурге в 1823—1825 гг. В. И. Григоровичем (1815—1876).

«Сибирский вестник» — издавался в Петербурге Г. И. Спасским (1783—1864) с 1818 по 1824 г.

«Инвалид» — «Русский инвалид», газета, выходившая в Петербурге с 1813 г., была основана П. П. Памианом-Пезаровиусом в пользу раненных в войне с Наполеоном, а с 1822 по 1839 г. ее арендовал А. Ф. Воейков и она стала чисто ведомственным изданием. Ценным в газете был раздел о театре и «Прибавления», в которых помещались стихи. После событий 1825 г. газета приобретает правительственный характер. С 1831 г., под редакцией Воейкова, а с 1837 г. — А. А. Краевского «Прибавления» становятся «Литературными прибавлениями к «Русскому инвалиду», в которых печатались лучшие произведения русской и зарубежной литературы.

«Благонамеренный» — журнал, издававшийся с 1818 по 1826 г. в Петербурге А. Е. Измайловым. Журнал не имел определенного политического направления, над чем и иронизирует А. Бестужев.

«Журнал общества соревнователей, просвещения и благотворения». — «Соревнователь просвещения и благотворения» издавался в Петербурге с 1818 по 1825 г. как орган Вольного общества любителей российской словесности», находился под влиянием декабристов.

«Вестник Европы»... — патриарх русских журналов — начало его издания относится к 1802 г.; был основан в Москве Н. М. Карамзиным, издавался В. А. Жуковским (1808—1809), В. В. Измайловым (1814), М. Т. Каченовским (1815—1830), при последнем сделался весьма отсталым журналом.

Стр. 399. *«Северный архив»* (СПб., 1822—1828) — с 1825 г. стал называться «Журналом древностей и новостей по части истории, статистики, путешествий, правоведения и нравов» (выходил в Петербурге под ред. Ф. Булгарина и Н. Греча). В нем принимали участие декабристы А. О. Корнилович, В. К. Кюхельбекер.

Лелевель И. (1786—1861) — польский историк и общественный деятель, придерживался демократических взглядов.

«Прибавления к «Северному архиву» — «Литературные листки», журнал, выходивший в Петербурге в 1823—1824 гг. (издатель Ф. В. Булгарин), в нем было опубликовано несколько стихотворений Пушкина, Рылеева, а также В. И. Туманского, Ф. Н. Глинки и А. О. Корниловича.

...парижского пустынника... — Так назван Ф. В. Булгарин, который до перехода в русское подданство служил в армии Наполеона, жил в Париже, а с 1818 г. осел в России и стал заниматься журналистской деятельностью.

«Сын отечества» — исторический и политический журнал, выходивший в Москве с 1812 по 1852 г. (с перерывами), издавался и редактировался в разное время Н. И. Гречем, А. Ф. Воейковым, Ф. В. Булгариным, О. И. Сенковским, А. Ф. Смирдиным и др. Сотрудниками журнала в 20-е годы становятся декабристы и близкие им лица: здесь печатались К. Рылеев, А. Бестужев, В. Кюхельбекер, А. Грибоедов, А. Пушкин, П. Вяземский.

«Освобожденный Иерусалим» Раича — то есть поэма Торквато Тассо в переводе С. Е. Раича (1828), опубликованная в «Альбоме северных муз», альманахе на 1828 г., издаваемом А. А. Ивановским (Старожиловым).

«Прибавления к «Сыну отечества» — «Литературные прибавления», выходили в 1821—1824 гг., издавались Д. М. Княжевичем (1788—1844).

«Иван Костин» (СПб., 1824) — повесть Панаева В. И.

...в журнале г. Ольдекопа... — Имеется в виду библиограф Е. И. Ольдекоп (1787—1845), издававший с 1822 по 1826 г. на немецком языке «Санкт-петербургский журнал» («St.-Petersburgische Zeitschrift»), в котором А. Бестужев опубликовал свои ранние произведения «Поездка в Ревель» (1821) и «Замок Эйзен» (1824).

Линде Самуэл Богумил (1771—1847) — польский литератор, перевел, кроме «Опыта краткой истории русской литературы»

Н. И. Греча, более десятка критических статей Н. М. Карамзина, статьи Батюшкова, Каченовского, Вяземского и др., а также статью А. Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России».

Стр. 400. ... *г. Сен-Мор, по следам Боуринга, Борха и Гетце...* — В 1820-х гг. появился ряд первых антологий русской поэзии на европейских языках: Сен-Мора «Русская антология» (Saint Maure. Emile Dupré. Anthologie russe suivie de Poésies originales, 1823), Бауринга (Боуринга) Джона «Российская антология» в двух частях, Лондон, 1821—1823 («Specimens of the Russian poets»); П. О. Гётце в 1817 г. перевел на немецкий язык 80 русских народных песен, издал их в 1828 г.: Goetze P. O. Stimmen des russischen Volks in Liedern («Голоса русского народа в песнях»). Дерптский студент К. Ф. Борг (у Бестужева — Борх) выпустил в 1820—1823 гг. антологию своих переводов. А. Бестужев приветствовал «Антологию» Бауринга как факт популяризации русской литературы в Англии. В. К. Кюхельбекер дал обстоятельный критический анализ труда Борга (в журн. «Сын отечества»), где упрекал автора за чрезмерную ориентацию на романтизм Жуковского.

Алкид — то есть Геракл, Геркулес.

Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов (стр. 401). Впервые — в альманахе «Полярная звезда» на 1825 год, стр. 488—499, за подписью: А. Бестужев.

Почти весь тираж альманаха с обозрением литературы за 1824 г. погиб во время петербургского наводнения в ноябре 1824 г. Пришлось его снова перепечатывать, и он вышел в свет весной 1825 г. Задержка эта позволила Бестужеву в своем обзоре литературы откликнуться на произведения, появившиеся в самом начале следующего, 1825 г. Статья вошла, с цензурным вычерком упоминания о Рылееве, в Полное собрание сочинений, ч. XI, 1838. Печатается по тексту первой публикации.

Стр. 402. *...века Людовика XV...* — Людовик XV — французский король (с 1715 по 1774 г.), из династии Бурбонов. Правление его ознаменовалось кризисом французского абсолютизма.

Д'Арленкур (Дарленкур) Шарль-Виктор-Прево (1789—1856), французский писатель-романист, популярный в 1820-е гг.

Лафар Шарль-Огюст де (1644—1712) — французский поэт.

Делиль Жак (1738—1813) — французский поэт и переводчик, автор описательно-дидактических поэм в духе классицизма.

Джеффери (Джеффри) Френсис (1773—1850) — английский публицист и критик, противник романтизма. Издатель «Эдинбургского обозрения».

Стр. 403. *Торквато из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий...* — Торквато Тассо много лет провел в изгнании и только перед самой кончиной был увенчан лаврами на римском Капитолии.

...даже Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стене Бастилии. — Во время заключения в Бастилии (1717—1718) Вольтер начал писать свою поэму «Генриада».

Стр. 405. *Альфиери* (Альфьери) Витторио (1749—1803), итальянский драматург и публицист, республиканец.

Стр. 406. *Тимковский* Е. Ф. (1790—1875) — русский дипломат; в 1820-х гг. сопровождал в Пекин русскую православную миссию. Его трехтомное сочинение «Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 1821 гг.» (1824) было переведено на основные европейские языки и сохраняет свое значение до сих пор.

Метакса Е. П. — военный моряк, переводчик.

Дешаплет — то есть Шаплет Самуил Самуилович (ум. в 1834 г.) — переводчик.

Строев П. М. (1796—1876) — археолог и историк, сотрудник «Московского вестника». *«Жизнь Али-Паши Янинского»* — книга Г. Пукевиля.

Филимонов В. С. (1787—1858) — поэт, прозаик, переводчик. Близость Филимонова с А. Бестужевым относится к 1824—1825 гг., затем между ними произошла размолвка.

Румянцев Н. П. (1754—1826), граф, государственный деятель, издатель памятников русской истории, проявивший заботу о создании научных славистских центров (1835).

Стр. 407. *Тимковский* Р. Ф. (1785—1820) — филолог, профессор Московского университета.

В. А. Жуковский издал ... свои сочинения. — Имеется в виду сборник стихотворений, вышедший в 1824 г.

...разговор с книгопродавцем... — «Разговор книгопродавца с поэтом» был опубликован в качестве предисловия к первой главе «Евгения Онегина» (1825). В последующих изданиях Пушкин снял это предисловие.

...это счастливое подражание Гете... — Имеется в виду «Театральное вступление» к «Фаусту» (1808—1831) Гете, представляющее собой «разговор» между директором театра, поэтом и комическим актером.

Стр. 407—408. *Гнедич* Н. И. (1784—1833) — поэт, переводчик. Кроме «Илиады» Гомера (1829), Гнедич перевел с новогреческого языка песни клефтов — «Простонародные песни нынешних греков» (1825); клефты — греческие партизаны, участники национально-освободительной борьбы против турецкого владычества. Гнедич пользовался большим уважением декабристов.

Козлов И. И. (1779—1840) — поэт, переводчик.

Шихматов С. А. (Ширинский-Шихматов С. А.) (1783—1837) — князь, поэт-архаик, автор героических поэм. *«Ночи на гробах»* — «Иисус в Ветхом и Новом Завете, или Ночь у креста» (1824).

Кокошкин Ф. Ф. (1773—1838) — драматург, перевел комедию «Школа стариков» Делавиня К.-Ж.-Ф., французского поэта и драматурга либерального направления (1793—1843).

Стр. 409. *«Мнемозина»* — альманах, выходивший в Москве в 1824—1825 гг. Вышло 4 части. Издатели — В. К. Кюхельбекер и В. Ф. Одоевский.

...Греч «О русском театре»... — Статья Н. И. Греча в «Русской Талии» называлась: «Исторический взгляд на русский театр до начала XIX столетия».

«Русская старина» — альманах, издававшийся А. О. Корниловичем и В. Д. Сухоруковым в Петербурге в 1825 г.; находился в сфере влияния декабристской идеологии.

«Невский альманах» на 1825 г. издавался Е. В. Аладьиным, выходил в Петербурге в 1825—1833, 1846—1847 гг. Вышло 11 книжек. В первые годы на его страницах выступали крупные поэты.

Стр. 410. *«Северные цветы»* — альманах, издавался в Петербурге в 1825—1832 гг. А. А. Дельвигом и И. В. Слениным. С 1827 г. в нем принимал участие О. М. Сомов; объединял писателей пушкинского круга, близких декабристам.

«Инвалид» — то есть «Русский инвалид».

«Северная пчела» — газета политическая и литературная, выходила в Петербурге в 1825—1864 гг., издатель-редактор Ф. В. Булгарин, с 1831 г. — Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч. Газета была рупором монархизма и реакции.

Стр. 411. *«Библиографические листки»* — то есть «Библиографические листы», журнал, выходивший в Петербурге в 1825—1826 гг.; вышло всего 46 номеров. Издатель-редактор П. И. Кеппен. В журнале публиковались списки книг по самым различным отраслям знаний. Здесь была напечатана аннотация на первые главы «Евгения Онегина» Пушкина, рецензия на «Думы» и поэму «Войнаровский» Рылеева.

«Московский телеграф» — «Журнал литературы, критики, наук и художеств», издавался братьями Н. и Кс. Полевыми в Москве в 1825—1834 гг. В нем принимали участие видные писатели 1820—1830-х гг. По своему направлению был органом последекабристского романтического движения в России.

«Revue Encyclopédique» — популярный журнал, издававшийся в Париже в 1819—1835 гг. Сен-Жюльеном де Пари. В нем принимали участие русские авторы, близкие к декабристам.

«Клятва при гробе господнем. Русская быль XV века». Сочинение Н. Полевого. М., 1832 (стр. 412).

Впервые — в «Московском телеграфе», 1833 год, № 15, стр. 399—420; № 16, стр. 541—555; № 17, стр. 85—107; № 18, стр. 216—244; за подписью: Александр Марлинский, с пометой: Дагестан, 1833. Вошла в Полное собрание сочинений, ч. XI, 1838. Печатается по тексту первой публикации.

Статья была искажена цензурой: снят кусок о Евангелии, который сохранился в архиве III отделения как отдельная статья под названием «О христианской религии». Он приведен в книге Н. Котляревского «Декабристы. Кн. А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная деятельность». СПб., 1907, с. 342—344. Недавно в архиве московской цензуры был обнаружен список статьи Бестужева, дающий возможность восстановить изъятое место, в котором говорится о Евангелии как первой разновидности романтизма. См.: М. И. Гиллельсон. А. А. Бестужев и московская цензура. — «Русская литература», 1967, № 4, с. 106—108. Приводим этот недостававший отрывок: «Но забудем ли, что Греция, умирая, оказала важную услугу новому миру: сладкозвучный величественный язык Омира раздался в этот раз голосом с небес — то было Евангелие; обет новой прекрасной жизни, высказанный наречием старины; то была песня лебедя — то был завет старца на одре кончины.

Сперва гонимая, терзаемая скитальница, христианская вера восторжествовала, наконец, благочестием первых христиан; и не мечом войны, не топором казни покорила она души полумира, нет, но убеждением слова, по истиною правил Евангелия. Из подземных пещер она овладела землею и соединила землю с небом. Боги языческие были порочны, как люди, апостолы чисты, как ангелы. Язычник унизил божество до себя, христианин вознес человека до бога. Философия была верою немногих мудрецов, а христианская вера стала философиею целых народов, практическою мудростью, не только законом, но и наставницею совести. Вникните в сущность Евангелия, прочтите его даже просто как книгу, и вы убедитесь, что оно есть высокая романтическая поэма, тем драгоценнейшая, что каждая страница его — действительность, что каждое слово его освящено примером и запечатлено кровью спасителя мира. Да, я смело утверждаю, что Евангелие было первообразом новой словесности, первым рассадником идеализма. Оно заключало в себе все, что сказалось и свершилось потом и доселе. Каких стихий новой поэзии нет в благовестии, в этом завете неба земле, в завете бога с человеком? Не стройно ли сохранено в нем одно единственно возможное природе — единство це-

ли? Не проникнуто ль оно насквозь одною смелою, пылкою священною мыслью побратать все народы любовью, обратить любовь в веру, возвысить и усовершить людей этой верою в бога, который сам себя назвал любовь, который завещал платить добром за зло, любить врагов своих, не осуждать проступившегося; который произнес: «Месть мне!», и потом дивность, таинственность судеб Иисусовых, слитых с дивным пророчеством Иудеи; и потом многозначность и непроницаемость речей евангелистов, когда они бренными устами поведают вдохновение божества; и все, даже до форм оного, объемлющих вместе историю и драму; до слова, в котором рассказ перемешан с разговором; до языка, поражающего восточной яркостию оборотов и подобий, краткостию и силой выражения — все там ново, все там юно. Нов совершенно и театр, избранный для действия. Не только на площадях, не в одних палатах и храмах является спаситель, но в пустыне, на торжище, в толпах простого народа, в кругу детей и прокаженных, на свадьбе, на погребении, на месте казни. Он беседует с мытарями, он спасает блудницу; он с двенадцатью рыбарями бросает живые семена слова в души простолюдинов. И с какой драматической занимательностию близится кровавая развязка этой умилительной, ужасной трагедии! Друг продает его врагам за серебро, продает на муки поцелуем. Любимый ученик отрицает его... Робкий судия шепчет: «Он невинен» и дарит его злобной черни, в которой большинство — саповники иудеи. И вот спаситель мира гибнет позорной казнию, распятый между двумя разбойниками, молясь за своих злодеев! О, кто ни разу не плакал горькими слезами над Евангелием, тот, конечно, не испытал сам несчастия и не уважал его в других, тот не стоит и отрады, проливаемой в души этой святынею. Какой нечестивец не подымал из праха головы, подумав «и он страдал». Как утешительно трогательно следить борение божественного духа с земными скорбями, на которые осужден был Христос телом. «Лазарь, брат наш, умер!» — восклицает он и горько плачет. Кровавый пот орошает чело его, когда он молится. «Да мимо идет чаша сия — отравленная чаша судьбы!» Он падает, изнемогая под крестом, он жаждет, пригвожденный на кресте, — и ему на острие копья подают уксус... Это страшно и отрадно вместе. Страшно потому, что в этом символе мы видим свет, каков он был всегда, действительную жизнь, какова она доныне. Тут нет ни награды добродетели, ни казни пороку; напротив, тут самые высокие чувства попраны пятами, святая истина закована в железо; чистейшая добродетель ведет на Голгофу. Но утешьтесь, тени страдальцев мира, — разве не для вас слова: «Блаженны изгнанные правды ради»... Камоэнс, Торквато, Дант, Альфиери, Шенье, Байрон, и вы,

все избранники небес! мир налагал на вас терновый венец, облекал в багряницу и с посмеянием плевал в лицо; бил палками — и называл царями! Но разве не настало время, когда потомство принесло мирру к гробнице вашей и нашло ее пустою, и некто светозарный указал на небо...

Там награда наша!

Не извиняюсь, распространившись так о Евангелии, пред теми, у которых привычка очерствила сердце к красотам его; ни пред теми, которые его исповедуют языком фарисеев и целуют устами Иуды, — мне необходимо нужно было указать на стихи, которые разовьются потом в нравах, обличаяся в переворотах, проявятся в отшельничестве, в крестовых походах, в войне реформы, в «Освобожденном Иерусалиме», в «Аде», в «Вертере», в «Чайльд Гарольде», в «Notre-Dame de Paris». Я сказал и повторяю, что Евангелие стало знамением новой словесности, как св. крест стал знамением нового мира; что оно было первою песнею, действием той огромной поэмы или драмы, которой история не досказала до сих пор».

Обнаруженная Котляревским статья «О христианской религии» является сокращенным вариантом страниц, подвергшихся цензурному изъятию из статьи Бестужева о романе Полевого. Другие цензурные искажения устранены по их своду, приведенному в упомянутой статье М. И. Гиллельсона.

Эпиграф взят из произведения Жюль-Габриэля Жанена (1804—1874), французского писателя, критика и журналиста, автора многих романов в духе французского романтизма «неистовой школы».

Стр. 412. *Ристание* — состязание в беге, езде, скачке.

Стр. 413. *Эмин* Ф. А. (ок. 1735—1770 гг.) — писатель и журналист, автор «Российской истории» («История» Эмина, 1767—1769).

Извекова (Бедряга) М. Е. (1794—1830) — поэтесса и романистка.

«Никанор, несчастный дворянин» — роман «Несчастный Никанор, или Приключения жизни российского дворянина Н.» (1775—1789), приписываемый М. Комарову.

«Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» — роман (1799—1801) А. Е. Измайлова.

...русского Жилблаза... — Имеется в виду роман В. Т. Нарежного «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1814).

Стр. 416. *Веллингтон* Артур-Уэлсли (1769—1852) — герцог, английский военный и государственный деятель, победитель Наполеона при Ватерлоо (1815).

Клитемнестра — героиня древнегреческих сказаний.

Шенье Андре (1762—1794) — французский поэт, казнен правительством Робеспьера по обвинению в заговоре в пользу монархии.

...белая бумажка... — двадцать пять рублей.

Она верна, как Обриева собака... — «Обриева собака, или Лес при Бонди», историко-романтическая мелодрама французского писателя и драматурга Гильбера де Пиксерекура Рене-Шарля (1773—1844).

Брегетовы часы. — Брегет — французский часовщик, изобретший часы, показывающие числа месяца и отбивающие время.

Нибур Бартольд-Георг (1776—1831) — немецкий историк, труды которого ценили в России.

Стр. 417. *Коломб* — то есть Колумб Христофор (1451—1506).

...начнем с яиц Леды... — то есть с самого начала.

Лукреций Кар (98—55 гг. до н. э.) — римский поэт, автор материалистической поэмы «О природе вещей».

Окен Лоренц (1779—1851) — немецкий философ.

...это мнение... Гюго... — Эту мысль Гюго выразил в «Предисловии» к своей драме «Кромвель» (1827) — манифесте французского романтизма: «В первобытную эпоху, когда человек пробуждается в только что родившемся мире, вместе с ним пробуждается и поэзия. Чудеса эти ослепляют и опьяняют его, и первое его слово — это гимн». Еще раньше подобные рассуждения о преимущественно лирическом характере изначальной поэзии человечества развивала мадам де Сталь в трактате «О литературе».

Стр. 418. *Зонтаг* Г. (1803—1854) — немецкая певица, с успехом выступавшая в России в 1830-х гг.

Ласепед Б.-Ж.-Э. (1756—1825) — граф, французский биолог и зоолог, автор книги «Естественная история человека» (переведена на русский язык в 1831 г.), в которой говорилось о четырех первобытных племенах.

Джон Булль — ироническое прозвище англичан.

Стр. 419. *Моаллаки* (Моаллака) — стихотворение, входящее в цикл поэтических произведений в сборнике «Муаллакат» (литература доисламской Аравии).

...приносит жертвы Ариману... — Ариман, по древнеперсидской мифологии, божество смерти, олицетворение лжи и зла.

...с жизнедавцем Сивою... — Сива (Шива) — один из богов брахманизма и индуизма: Брахма — созидатель, Вишну — хранитель, Шива — разрушитель, а не «жизнедавец».

Стр. 420. *«Магабхарата»* и *«Рамайяна»* («Рамаяна») — индийские эпические поэмы (первые века н. э.).

Магада (Магадха) — одно из рабовладельческих государств в VI в. до н. э., расположенное на востоке Северной Индии.

Тумен (туман, томан; перс.) — иранская золотая монета.

Фердуси (Фирдоуси) Абулькасим (ок. 940—1020/1030 гг.) — персидский и таджикский поэт; в 976 г. продолжил поэму «Шахнаме» *(повесть царей)*, начатую поэтом Дакики, и завершил ее к 1010 г.

Стр. 421. *Франкони-сын* — содержатель цирка.

Феб (миф.) — второе имя Аполлона как божества солнечного света.

Стр. 422. *Гинецей* (гинекей) — отделение для женщин в домах древних греков.

Алкивиад (451—404 гг. до н. э.) — афинский политический деятель и полководец, отличавшийся непомерным самолюбием.

...сколько веков протекло между Омиром и Платоном. — Омир (Гомер) жил в X в. до н. э. (по другим источникам — между XII и VII вв. до н. э.). Платон, древнегреческий философ, жил в 428/427—348/347 гг. до н. э.

Стр. 423. *Феогония* (теогония; греч.) — собрание мифов о происхождении богов.

«Энеида» — поэма римского поэта Вергилия (Виргилия) Марона (70—19 до н. э.). Ироническая цитата приводится Бестужевым из «Россияды» Хераскова.

Торквато — Торквато Тассо, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580), в которой автор проводил компромисс между христианскими идеями и литературными традициями вергилиевского эпоса.

Стр. 424. *...их человек-мещанин...* — Бестужев имеет в виду то, что с конца XVIII в. героями произведений стали не боги, а граждане (мещане).

Атриды — по греческой мифологии, дети царя Древней Греции Атрея: Агамемнон и Менелай.

Ксеркс (V в. до н. э.) — персидский царь.

Югурта (II в. до н. э.) — нумидийский царь.

Пирей — греческий порт, укрепленный Фемистоклом (V в. до н. э.). Бестужев, как и Аристофан (в своих комедиях), ассоциировал порт с жизнью плебейской среды, подгулявших моряков.

Стр. 425. *Сократ толковал об единстве бога...* — Сократ (470/469—399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, проповедовавший свое учение на площадях и боровшийся против софистов (учителей мудрости и красноречия, продававших свое искусство за деньги). Софисты обвинили его в безбожии и осудили на смерть. Он выпил яд (цикуту).

Школа неоплатоников — защитники мистического философского направления, возникшего в Римской империи в III в. н. э., сочетавшего элементы идеализма Платона с восточной мистикой и выражавшего процесс распада античной философской мысли.

Дафнис и *Меналк* — мифологические персонажи, герои любовной идиллической лирики XVI—XVII вв.

Стр. 426. *Индиго* — растение, из которого изготовлялась краска того же названия.

Кошениль — самка насекомых, из которой в высушенном виде изготовляли пурпурную краску кармин.

Катон Марк Порций Младший (95—46 гг. до н. э.) — римский политический деятель, оратор, республиканец.

Тацит Публий Корнелий (ок. 58 — после 117 гг.) — римский писатель, историк, защитник республиканского строя, обличитель деспотизма императоров.

Преторианские когорты. — Преторианцы в Древнем Риме — личная охрана полководца; позднее — императорская гвардия.

Август Октавиан (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) — римский император. «Август» означает «возвеличенный богами».

Тарпейская скала — первоначальное название всего Капитолийского холма в Древнем Риме, позднее — южная его вершина, с которой сбрасывали изменников и преступников.

Константин Великий (ок. 285—337 гг.) — римский император.

Стр. 427. *Тиртей* (VII в. до н. э.) —греческий поэт, вдохновлявший своими гимнами спартанцев во время войн.

Сафо (Сафа; первая пол. VI в. до н. э.) — греческая поэтесса.

Демосфен (ок. 384—322 гг. до н. э.) — греческий политический деятель и оратор.

Иоанн Златоуст (ок. 350—407 гг.) — константинопольский архиепископ, церковный оратор.

Святой Августин (Августин Аврелий Блаженный; 354—430) — католический богослов.

Григорий Назианзин (Григорий Богослов; ок. 330 — ок. 390 гг.) — греческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель.

Синезий (Синесий) Киренский (между 370 и 375 — ок. 413 гг.) — греческий оратор, философ и поэт.

Киринеи (Киренская школа) — древнегреческая философская школа, основанная Аристиппом из Кирены (откуда и название) в IV в. до н. э.; выражала идеологию рабовладельческого общества.

Птолемаида (Птолемаис) — название ряда городов в Киренаике, Египте, Финикии, Памфилии и других областях, основанных или переименованных в IV—III вв. до н. э. Птолемеями (царская

династия, правившая в эллинистическом Египте в 305—30 гг. до н. э.).

Лонгобарды — племя в раннем средневековье, принадлежащее к западным германцам.

Стр. 428. *Сюзерен* (фр.) — в эпоху феодализма в Западной Европе высший сеньор (господин) по отношению к вассалам (подчиненным). Главным сюзереном был король.

Труверы (фр.) — поэты средневековой Франции (конец XI—начало XV в.).

Миннезингеры (нем.) — придворные рыцарские поэты в германских странах средневековой Европы.

Менестрели (фр.) — странствующие народные певцы-поэты в средневековой Франции и Англии.

Стр. 429. *Один* (Оден) — бог, властитель мира (в скандинавской мифологии).

Валкирии (Валькирии) — в скандинавской мифологии воинственные девы-богини, которые помогали героям в битвах и души убитых уносили в рай, в Валгаллу (дворец бога Одина).

Вильгельм I Завоеватель (1027 или 1028—1087) — король Англии с 1066 г.

Стр. 430. *Поабдил* (Боабдиль) — вариант имени мавританского царя Абу-Абдаллаха Мухаммеда. Был эмиром Гранады, воевал с Кастилией, но потерпел поражение (1492), в результате чего мавры были насильственно обращены в христианство.

Стр. 434. *Кальдерон* (1600—1681) — испанский драматург.

Оржад (оршад; фр.) — прохладительный напиток.

Стр. 435. *Орест, маркиз, шевалье Брютюс, мадам Агриппина.* — Ирония Бестужева направлена против переделки французскими драматургами героев античной литературы и драм Шекспира: Орест — герой трилогии Эсхила «Орестея» (458 г. до н. э.) или драмы Еврипида «Орест»; Брютюс (Брут) — герой трагедии Шекспира «Юлий Цезарь»; Агриппина — героиня трагедии Ж. Расина «Британик», историческое лицо: мать императора Нерона и по второму браку жена императора Клавдия.

Оросман — герой трагедии Вольтера «Заира» (1732).

Альзира — герой трагедии Вольтера «Альзира, или Американцы» (1736).

Стр. 436. *...войны Лиги...* — то есть войны между католиками и протестантами во Франции в конце XVI в.

Варфоломеевская ночь — ночь на 24 августа (день св. Варфоломея) 1572 г., когда католики по приказу французского короля и духовенства устроили в Париже резню гугенотов, то есть протес-

тантов (сторонников кальвинизма во второй половине XVI в.). Было убито несколько тысяч человек.

Аква-тофана — яд.

Медицисы — династия Медичей, флорентийский род, игравший важную роль в политической и экономической жизни Италии с начала XIV до середины XVI в.

Витри — начальник королевской гвардии при Людовике XIII.

Равальяк Франсуа (1578—1610) — убийца французского короля Генриха IV (1553—1610).

...Заговорщики приходят толковать об идах марта в переднюю Цезаря... — «Иды», праздники, посвященные Юпитеру, отмечались у древних римлян в 15-е числа марта, мая, июня и октября (и в 13-е числа других месяцев). Цезарь был убит 15 марта 44 г. до н. э.

Стр. 437. *Баттё* Шарль (1713—1780) — французский эстетик и педагог; *Делиль* — французский поэт, переводчик; сторонники классицизма.

Одеон — концертный зал в Париже.

Тальма Ф. (1763—1826) — французский трагический актер.

Монтань (Монтень) Мишель де (1533—1592) — французский писатель-моралист.

Лафонтен Жан (1621—1695) — французский баснописец.

Стр. 438. *«Элоиза»* — «Юлия, или Новая Элоиза» — произведение Руссо (1761).

...система Лау... — Имеется в виду французский финансист Ж-Л. Лоу (1671—1729), выпустивший необеспеченные банкноты.

Кребильон Клод-Проспер-Жолио (1707—1777) — французский писатель, сын драматурга П.-Ж. Кребильона, писал занимательные романы, новеллы, сказки из жизни аристократии.

Грекур Ж.-Б. (1683—1743) — французский поэт, писавший в духе «легкой поэзии».

Стр. 439. *Бирон* Э. И. (1690—1772) — временщик императрицы Анны Иоанновны, курляндский герцог, жестокий деспот.

Галантин (галантир; фр.). — кушанье французской кухни из холодной фаршированной дичи.

Клелия, Нерон, Полифонт, Зефир, Адонис, Оронт и Селимен — здесь и далее у Бестужева смешиваются имена исторических деятелей и героев древних произведений, ставших персонажами низкопробной литературы.

Систербецкий завод. — Оружейный завод под Петербургом (Систербедск или Сестрорецк; основан в 1721 г.).

Ленотр (А. Нотр; Андре ле Нотр; 1613—1700) — французский архитектор, декоратор садов и парков.

Ванлоо — фамилия нескольких французских художников: Жан-Батист (1684—1745), Шарль-Андре (1705—1765) и сыновья Жан-Батиста: Луи-Мишель (1707—1771) и Шарль-Амеде-Филипп (1719—1795).

Стр. 440. *Публика экспликовала свою десперацию*... — объясняла свое отчаяние (от фр. expliquer, désespoir).

Аттенция — от фр. attention — внимание.

Курганов Н. Г. (1725—1796) — писатель, автор «Письмовника» (1777, первое изд. — 1769, под другим названием), учебника русского языка, бывшего настольной книгой до начала XIX в.

...*Скюдери обновилась для нас*... — Имеется в виду, что Ф. А. Эмин подражал французской писательнице, автору популярных в свое время сентиментальных романов М. Скюдери, а Я. Б. Княжнин — французскому драматургу, мастеру фарсовых сцен Реньяру.

Стр. 441. ...*лубочными картинками Спасского моста*... — В допетровской Руси на мосту перед Спасскими воротами Московского Кремля стояли лавки, в которых, помимо прочего товара, продавались народные лубочные картинки.

Коцебу Август (1761—1819) — немецкий драматург и романист, платный агент русского правительства, пропагандист реакционной политики Священного союза.

Жанлис Ф. (1764—1830) — французская писательница сентиментального направления.

Стерн Лоуренс (1713—1768) — английский писатель, автор романа «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768).

Стр. 442. *Шиболет* — характерный признак чего-либо.

Мармонтель Ж.-Ф. (1723—1799) — французский писатель умеренного крыла Просвещения.

Ость — длинный волос меха.

Стр. 443. *Изида* (Исида) — богиня Древнего Египта, покровительница плодородия, празднества в честь которой носили характер мистерий.

Розенкрейцеры — члены тайного религиозного общества XVII в. в Германии, стремившиеся усовершенствовать церковные обряды.

Зенд-Авеста — священная книга древних иранцев.

Уланд И. (1787—1862) — немецкий поэт, представитель «унылого» романтизма.

Потемкин Г. А. (1739—1791) — русский государственный и военный деятель, дипломат, фаворит Екатерины II.

Стр. 444. *Лафар* Ш.-О. (1644—1712) — французский поэт.

...*певец Минваны*... — В. А. Жуковский (см. его балладу «Эолова арфа»).

Нодье Шарль (1780—1844) — французский писатель-романтик.

Стр. 445. *Голиаф* — библейский великан, которого победил юный Давид.

И весь... образ напечатал. — Цитата из поэмы В. И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771): «И весь седалища в нем образ напечатал».

«Гамбургский корреспондент» — «Гамбургский беспартийный корреспондент», политическая газета в Германии, издававшаяся в 1910—1920-х гг. Штевером.

Гиббон Э. (1737—1794) — английский историк, автор сочинения «История упадка и разрушения Римской империи».

Нибур Б.-Г. (1776—1831) — немецкий историк античности, в своем труде «Римская история» утверждал, что у Рима была своя неписаная история — древний эпос, который сохранился в измененном виде в песнях исторического содержания.

Стр. 446. *Мадам де Сталь* Анна-Луиза (1766—1817) — французская писательница, предшественница романтизма, автор романов и книги «О Германии» (1810), в которой она рассказала о выдающихся немецких писателях, поэтах, философах, о традициях немецкой культуры.

Барант А. (1785—1866) — французский историк, публицист, государственный деятель, с 1834 г. — посланник в России. *«Романтической летописью»* А. Бестужев, называет труд Баранта «История бургундских герцогов из Дома Валуа» (1824—1826).

«Montaigne eût dit...» — цитата из драмы В. Гюго «Marion de Lorme» (1831), act IV, ch. 8.

Стр. 447. *Нибелунги* («Песнь о Нибелунгах») — древнегерманский эпос, сложившийся к XIII в.

...карловингские поэмы... — цикл французских эпических поэм о Карле Великом и его времени.

Гебер Р. — английский епископ, долго живший в Индии и написавший книгу о ней.

«Димитрий Самозванец» — роман Ф. В. Булгарина. Оценка этого произведения Бестужевым чрезвычайно преувеличена.

Стр. 448. *«Петр Иванович Выжигин»* — роман Ф. В. Булгарина (1831).

Коленкур О.-А.-Л. (1773—1827) — маркиз, французский государственный деятель, приверженец Наполеона.

«Веверлей» («Ваверлей», «Уэверли») — роман Вальтера Скотта (1814).

Метампсихоза — здесь: копия, подражание.

Эмпечинадо (Эль Емпесинадо) Хуан Мартин Диас — испанский патриот, один из организаторов борьбы против Наполеона

(1808—1814), генерал, участник революции 1820—1823 гг.; после ее поражения казнен по приказу Фердинанда VII.

Зарядьев — герой романа М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831).

«Освобожденная Москва» (1798) — трагедия М. М. Хераскова.

Стр. 449. *Калашников* И. Т. (1797—1863) — писатель-сибиряк (с 1823 г. — в Петербурге).

Масальский К. П. (1802—1861) — писатель.

«Последний Новик» (1831—1833) — роман И. И. Лажечникова.

«Шемяка». — Имеется в виду роман П. Свиньина «Шемякин суд, или Междуусобие князей русских». (1832).

Орлов А. А. (1791—1840) — московский литератор, автор малохудожественных произведений.

Стр. 450. *Вите* (Витте) Луи (1802—1873) — французский политический деятель и драматург. Имеется в виду его произведение «Лига, исторические сцены» (1827—1829).

«Симеон Кирдяпа» («Симеон Кирдяна») — повесть Н. А. Полевого (1832).

Стр. 451. *Черные клобуки* — каракалпаки.

Электор — средневековый титул курфюрста, имевшего право голоса при выборе германского императора.

Стр. 453. *Пук и Ариель* — персонажи пьес Шекспира «Сон в летнюю ночь», «Буря» и пьесы Ш. Нодье «Трильби».

Казак Луганский — псевдоним В. И. Даля.

...чародей Вельтман... — Имеется в виду роман А. Ф. Вельтмана «Странник» (1831—1832).

Кирша Данилов — предполагаемый собиратель русских былин, сказок и песен (XVIII в.).

Стр. 456. *Серинетка* — маленький орга́н.

Misère! — Игра слов: «Misère» (фр.) — несчастье; «Мизер» — карточный термин, обозначающий прием, сулящий крупный выигрыш.

Стр. 459. *...худо понятой пословицей...* — Имеется в виду пословица «шемякин суд», то есть суд несправедливый.

Стр. 462. *Цшокке* Г.-Д. (1771—1848) — швейцарский писатель.

Трим — герой романа В. Скотта «Айвенго» и Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди».

О романтизме (стр. 465). Печатается по рукописи, хранящейся в ЦГИА, фонд 109, д. 61, часть 53. Впервые — в альманахе «Новогодник, собрание сочинений в прозе и стихах современных русских писателей», изданном Н. Кукольником. СПб., 1839, с. 337—341. Подпись: А. Марлинский.

В первой публикации была редакторская правка; последний абзац был выпущен.

Время написания неизвестно. В архивных материалах есть пометка: 1826 год. На чем она основана и кому принадлежит — неизвестно. Возможно, что отрывок был написан и значительно позднее, когда Бестужев работал над статьею о романе Полевого.

Отрывок этот замечателен разбором «высоких» философских категорий романтической эстетики.

ПИСЬМА

1. П. А. Вяземскому (стр. 471). Впервые — «Литературное наследство», т. 60, 1956, с. 210—211.

...святых святок... — намек на известный сатирический ноэль П. А. Вяземского «Святки», не увидевший света при жизни автора.

Стр. 472. *Из Пушкина запрещено 4 пьесы...* — Цензура не пропустила следующие стихотворения Пушкина: «Кривцову», «Мой милый, как несправедливы...» (Послание Алексееву), «Что восхитительней, живей...» (Послание В. Л. Пушкину) и «Иностранке».

Князь Глаголь — очевидно, князь А. Н. Голицын (1773—1844), обер-прокурор Синода, министр просвещения, известный своим ханжеством.

Иван Иванович — И. И. Дмитриев.

Ваш молоток и гвоздь... — А. Бестужев цитирует стихотворения П. А. Вяземского, опубликованные в этой же книжке «Полярной звезды»: «Молоток и гвоздь», «Воли не давай рукам», «Давным-давно» и «В шляпе дело».

Денис Васильевич — Д. В. Давыдов.

Стр. 472. *...журнал Фиоллиской кампании...* — Что подразумевает А. Бестужев в этом случае — установить не удалось.

Стр. 473. *...метрополию вкуса и словесности.* — Имеется в виду альманах «Мнемозина», в котором сотрудничали П. А. Вяземский и Д. В. Давыдов.

...пудра стала его стихия... — Имеется в виду придворная служба В. А. Жуковского.

...ваша кузина Карамзина... — племянница Вяземского Софья Николаевна Карамзина, старшая дочь историка.

2. П. А. Вяземскому (стр. 473). Впервые — там же, с. 212—216. Письмо А. Бестужева является ответом на письмо П. А. Вяземского от 20 января 1824 года, в котором последний

разбирает очередной выпуск «Полярной звезды» (письмо Вяземского — «Русская старина», 1888, № 11).

Родзянко — см. коммент. к с. 387.

Башуцкий А. П. (1801—1876) — хороший рассказчик, впоследствии литератор.

Стр. 474. *«Деревенский философ»* (1823) — комедия М. Н. Загоскина.

«Лукавин» и *«Пир мудрецов»* — комедии И. А. Писарева (1803—1828).

«Школа злословия» (1780) — пьеса английского драматурга Шеридана Р.-Б.

За немца моего немного заступлюсь... — А. Бестужев говорит о герое своей повести «Замок Нейгаузен».

О брате — не судья... — Говорится об очерке Н. А. Бестужева (1791—1855) «Об удовольствиях на море».

...в Жуковском нахожу не сцены, а декорации. — Речь идет об «Орлеанской деве» Шиллера в переводе Жуковского (1817—1821).

Пушкин виден у нас, как в обломках зеркала... — Имеется в виду то обстоятельство, что в «Полярной звезде» на 1824 г. было опубликовано девять стихотворений Пушкина в разных жанрах и на различные темы.

Баратынский Е. А. — Имеется в виду ода Баратынского «Истина» (1824).

Дельвиг А. А. опубликовал в «Полярной звезде» две русские песни, два романса и сонет.

Федор Иванович — Толстой («Американец»; 1782—1846) — офицер, приятель Вяземского.

Глинка — см. коммент. к с. 396.

...Что ж обезобразила пренелепая... — Речь идет о цензуре, которая в вольнолюбивом стихотворении П. А. Вяземского «Петербург» разрешила напечатать только первую половину (вторая половина, призывавшая царя дать свободу русскому народу, опубликована лишь в советское время).

Стр. 475. *«В шляпе дело»* — песня Вяземского, кончавшаяся куплетом в честь Александра I как победителя Наполеона.

Упоминаемое *«ученическое»* произведение С. Е. Раича в «Полярной звезде» не появилось.

...коротенькое обозрение... — Свое обещание Вяземский не выполнил; Бестужеву пришлось писать обозрение самому.

Четверогранный альманах — «Мнемозина» В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского, объявленная с самого начала как издание в четырех частях.

...обед всем участникам «Полярной звезды». — На обеде 24 января 1824 г. на квартире у А. А. Бестужева присутствовали: И. А. Крылова, А. А. Шаховской, А. Е. Измайлов, Н. И. Греч и др.

3. П. А. Вяземскому (стр. 476). Впервые — там же, с. 219—220.

Бейрон (Байрон) умер 19 апреля 1824 г. в Греции. Сообщения об этом в русской печати появились в конце мая.

...выходки М. Дмитриева с товарищи... — Речь идет о полемике П. А. Вяземского, автора предисловия к пушкинской поэме «Бахчисарайский фонтан», с консервативным критиком М. А. Дмитриевым по общим вопросам классицизма и романтизма.

Прадон (1630—1698) — бездарный, беспринципный французский критик, нападавший на Расина (у А. Бестужева ошибочно вместо Расина назван Вольтер, родившийся в 1694 г.).

Сампсон. — По библейскому преданию, Самсон побил филистимлян ослиной челюстью.

Стр. 477. *У Дельвига будет много хороших стихов...* — Имеется в виду альманах А. А. Дельвига «Северные цветы», в котором участвовало много первоклассных поэтов.

Рылеев потерял мать... — Мать К. Ф. Рылеева умерла 2 июня 1824 г.

4. П. А. Вяземскому (стр. 477). Впервые — там же, с. 223—224.

...письма ... к Воейкову... — Речь идет о письме Бестужева и Рылеева к А. Ф. Воейкову от 15 сентября 1824 г. по поводу незаконной публикации Воейковым в своем журнале «Новости литературы» 35 стихов (строк) из пушкинской поэмы «Братья-разбойники», присланной поэтом для «Полярной звезды».

Стр. 478. *Лев* — Лев Сергеевич Пушкин (1805—1852), младший брат поэта.

Иван Иванович — И. И. Дмитриев.

...с Грибоедовым... — Знакомство Бестужева с Грибоедовым состоялось в августе 1824 г.

...напорол он в своей «Мнемозине»... — Имеется в виду статья В. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» («Мнемозина», 1824, ч. II).

Брюс Я. В. (1670—1735) — сподвижник Петра I, математик, составитель «Брюсова календаря».

Стр. 479. *...кого считаете лучшими своими друзьями...* — Бестужев, вероятно, имеет в виду Дельвига и Жуковского.

...поспешить присылкою... — В «Полярную звезду» на 1825 г. Вяземский прислал два стихотворения.

5. П. А. Вяземскому (стр. 479). Впервые — там же, с. 226.

Стр. 480. *«Разбойники»* — поэма Пушкина «Братья-разбойники» (1821—1822).

«Иерусалим» — «Освобожденный Иерусалим», поэма Т. Тассо, переведенная Раичем С. Е. (1828).

Лжедмитриев — М. А. Дмитриев; Бестужев отрицательно отзывается о его выступлении против Вяземского.

«Каплун» — басня И. И. Дмитриева «Орел и каплун».

Качан — М. Т. Каченовский.

...от его комедии в восхищении... — Свое восторженное мнение о комедии Грибоедова Бестужев высказал в статье «Взгляд на русскую словесность в конце 1824 и начале 1825 годов».

Орджинский (Оржицкий) М. Н. (1796—1861) — офицер; Бестужев познакомился с ним 2 января 1824 г.; был близок к декабристам.

Денис Васильевич — Д. В. Давыдов, (1784—1839), поэт, герой партизанского движения в Отечественную войну 1812 г.

6. П. А. Вяземскому (стр. 480). Впервые — там же, с. 228.

Аксельбанты — наплечные шнуры с металлическими наконечниками; здесь: офицеры.

...выписку из «Меркурия»... — Упоминается полемика в парижском журнале «Le Mercure...». У Бестужева неточно излагается история полемики. См. о ней подробно в «Литературном наследстве», т. 60, кн. I, с. 228—229.

...Катенин воззрился и пишет... — Катенин послал в «Сын отечества» и в «Вестник Европы» полемическое письмо, опубликованное Гречем в «Сыне отечества», 1825, № 3, под названием «Письмо к издателям» (от 23 декабря 1824 г.).

«Conservateur» —то есть «Le Conservateur Impartial» («Беспартийный консерватор»), полуофициальная газета, выходившая в Петербурге с 1813 по 1824 г. при Коллегии иностранных дел.

Муханов Н. А. (1802—1871) — поручик лейб-гвардии гусарского полка.

Стр. 481. *...Булгарин... мирился... с Дельвигом и Б. Федоровым...* — Ссора произошла в середине 1824 года на почве конкуренции «Северных цветов» с «Полярной звездой».

Никитин А. А. (1790—1859) — литератор, переводчик, один из

основателей «Вольного общества любителей российской словесности».

Лобанов М. Е. (1787—1846) — драматург и переводчик, член Российской академии.

Чеславский И. Б. (1790—1844) — поэт, переводчик «Федры» Расина (1827).

...добродушием Плетнева в акафисте Баратынскому и прочим. — Бестужев подразумевает его «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах».

...что будет, то будет, а будет то, что бог даст... — слова Богдана Хмельницкого, используемые Бестужевым в качестве эпиграфа к VII главе «Ревельского турнира» («Полярная звезда» на 1825 г.).

Пущин И. И. (1798—1859) — декабрист; 11 января 1825 г. Пущин был у Пушкина в Михайловском, откуда привез для «Полярной звезды» на 1825 г. начало «Цыган». 1-я глава «Евгения Онегина» вышла в свет 14—16 февраля 1825 г.

...Рылеев ... письмо к Муханову... — Письмо к декабристу П. А. Муханову (1799—1854) не сохранилось. В нем, по-видимому, речь шла об издании «Дум» и «Войнаровского» Рылеева.

7. А. С. Пушкину (стр. 481). Впервые — в «Русском архиве», 1881, № 1. Печатается по изд.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XIII М — Л., Из-во АН СССР, 1937, с. 148—150 (двусторонняя переписка).

Долго не отвечал я тебе, любезный Пушкин... — Последнее до этого из известных писем Пушкина А. А. Бестужеву датировано концом января 1825 г. и послано из Михайловского в Москву. Ранее в письмах Рылеев и Бестужев ставили «Онегина» ниже романтических поэм Пушкина.

Пушкин ответил на них в письме к Рылееву от 25 января 1825 г., посланном из Михайловского, где есть фраза: «Бестужев пишет мне много об «Онегине». Вероятно, Рылеев показал Бестужеву это письмо Пушкина, чем и объясняется фраза в приводимом здесь письме Бестужева Пушкину: *«Ты очень искусно отбиваешь возражения».*

Стр. 482. *Рубан* В. Г. (1742—1795) — писатель, автор тяжеловесных од и хвалебных стихов, вызывавших насмешки у современников.

...свет можно описывать в поэтических формах... — Бестужев оспаривает тезис Пушкина, высказанный в упомянутом письме к Рылееву: «Картина светской жизни также входит в область поэзии...» Еще более «искусно» Пушкин парировал замечания об

«Евгении Онегине» в своем ответе Бестужеву на настоящее письмо, посланном из Михайловского в Петербург 24 марта 1825 г. (см.: А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9. М., «Художественная литература», 1977, с. 135—136).

...Прочти Байрона; он, не знавши нашего Петербурга, описал его схоже... — Петербургский высший свет Байрон описывает в поэме «Дон Жуан» (1824).

Стр. 483. *Пракситель* (IV в. до н. э.) — древнегреческий скульптор.

...глинкинскую страсть... — Вероятно, имеется в виду Ф. Н. Глинка.

Ты великий льстец насчет Рылеева и так же справедлив, сравнивая себя с Баратынским в элегиях... — По-видимому, Пушкин об этом писал в не дошедших до нас письмах Бестужеву. Имеется «лесная фраза о «Войнаровском» Рылеева, упоминавшемся в письме Пушкина к нему от 25 января 1825 г., но о Баратынском там нет речи.

8. П. А. Вяземскому (стр. 484). Впервые — в «Литературном наследстве», т. 60, с. 230.

«Океан» — о каком произведении Вяземского идет речь, не установлено.

9. Письмо Николаю I из Петропавловской крепости (Об историческом ходе свободомыслия в России) (стр. 485). Впервые (неполный текст) — в книге «Из писем и показаний декабристов» под ред. А. К. Бороздина. СПб., 1906, стр. 33—44. Текст печатается по изданию: «Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика». Сост. Вл. Орлов. М. — Л., 1951, с. 510—514. Написано в Петропавловской крепости в декабре 1825 г. во время следствия над декабристами. Это своеобразный трактат, отражающий глубокое понимание декабристами исторических причин своего вольномыслия и необходимости практических революционных действий с целью преобразования России. Вместе с тем в нем отражены иллюзии подследственных декабристов о том, что новый царь Николай I их поймет, прислушается к их советам, тем более что сам царь лицемерно намекал на якобы существующее между ними взаимопонимание во время искусно разыгранных им допросов.

Стр. 489. *Брат мой Николай...* — Бестужев Н. А. (1791—1855) — брат А. А. Бестужева, декабрист, капитан-лейтенант флота, писатель, художник, был осужден на каторгу.

Торсон К. П. (ум. в 1851 г.) — морской офицер, декабрист, член Северного общества; был приговорен к каторге.

...*повытчик...* (и с т о р.) — в старину должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде.

Стр. 490. *Батенков* (Батеньков) Г. С. (1793—1863) — декабрист, был приговорен к каторге, провел в крепости более двадцати лет.

Государь-цесаревич — великий князь Константин Павлович.

...*правительница Анна... Великая Екатерина...* — Воцарение Анны Иоанновны в 1730 г., Екатерины II — в 1762 г., вопреки мнению А. Бестужева, было делом дворянства, а не «народа».

Стр. 491. *Ланкастерские школы* — учебная система английского педагога Ланкастера (1771—1838), по которой более сильные ученики должны были помогать слабым. Эта система пользовалась большой популярностью в декабристских кругах.

Стр. 492. *Конституция Никиты Муравьева...* — Н. М. Муравьев (1796—1843) — декабрист, которому принадлежит проект Конституции, являющийся важнейшим политическим документом декабризма, хотя она и сводилась к некоторым ограничениям царизма. Приговорен был к пятнадцати годам каторги.

...*возвести на престол Александра Николаевича* — то есть сына Николая I, будущего Александра II, которому в 1825 г. было семь лет.

...*не хуже Орловых времен Екатерины.* — Братья Григорий и Алексей Орловы — русские военные и государственные деятели, содействовавшие приходу Екатерины II к власти в 1762 г.

Виртембергский Александр-Фридрих (1771—1833) — герцог, брат императрицы Марии Федоровны, генерал русской службы, с 1822 г. главноуправляющий путями сообщения, при котором А. А. Бестужев состоял адъютантом.

Нам известны были дарования... — Комплименты по адресу Николая I являлись, видимо, чисто тактическим ходом А. Бестужева, который знал, как непопулярно было имя великого князя Николая Павловича в гвардии и в светском обществе.

10. П. А. Б е с т у ж е в у (стр. 493). Впервые — в журн. «Былое», 1925, № 5(33), с. 116—117.

Анакреон-Мур — имеется в виду Томас Мур, английский поэт-романтик, которого А. Бестужев сравнивал с Анакреоном (VI—V вв. до н. э.), греческим поэтом-лириком, воспевавшим по преимуществу любовь и пиршества.

Стр. 494. *Кстати о дороге: я проехал 9 тысяч верст...* — то есть в сибирскую ссылку.

11. Н. А. и М. А. Бестужевым (стр. 495). Впервые — в «Русском вестнике», 1870, № 5, с. 235—236 (оригинал на франц. яз.).

Бестужев М. А. (1800—1871) — брат А. А. Бестужева, декабрист.

...слабые женщины возвысились до прекрасного идеала геройства... — Жены декабристов, последовавшие за своими мужьями в Сибирь: П. Е. Анненкова, Е. И. Трубецкая, М. Н. Волконская, А. Г. Муравьева и др.

...ученый агроном Иван... — Иван Дмитриевич Якушкин (ум. в 1858 г.), декабрист, приговорен к каторге.

Стр. 496. *Пущин* Иван Иванович — умер 3 апреля 1859 г.

Евгений — князь Евгений Петрович Оболенский, умер 26 февраля 1865 г.

Штейнгель — барон В. И. Штейнгель (1783—1862), декабрист.

«Андрей» — «Андрей, князь Переяславский», поэма А. Бестужева, начата была до ареста, напечатана в феврале 1828 г. (1-я глава) без согласия и имени автора.

...Яков с длинными усами... — возможно, Яков Дмитриевич Казимирский.

Чижов Н. А. (ум. в 1848 г.) — декабрист.

Назимов М. А. (1801—1888) — декабрист.

Матвей — возможно, Матвей Иванович Муравьев-Апостол (1793—1886) — декабрист, старший брат С. И. Муравьева-Апостола, один из основателей Союза Спасения и Союза Благоденствия, который был с А. Бестужевым на каторге в Сибири.

Стр. 497. *Глебов* М. Н. (1804—1851) — декабрист.

Репин Н. П. (1796—1831) — декабрист.

Завалишин Д. И. (1804—1892) — декабрист, лейтенант флота, приговорен к 20 годам каторги. Бестужев называет его «наш Пик-де-Мирандола».

12. А. М. Андрееву (стр. 497). Впервые — в «Русском архиве», 1869, № 3, с. 606—608.

Андреев А. М. и *Греч* Н. И. — издатели сочинений Марлинского.

«Поездка в Германию» (1836) — роман Н. И. Греча.

«Наезды» (1831) — повесть А. А. Марлинского.

13. Н. А. Полевому (стр. 498). Впервые — в «Литературном современнике», 1934, № 11, с. 138—140.

Кази-мулла — один из предводителей горцев.

Стр. 499. *Стрекалов* Э. — генерал русской армии.

Эммануэль Г. А. (1775—1837) — генерал, с 1826 г. — командующий войсками на Кавказской линии; после ранения в 1831 г. ушел в отставку.

Паскевич И. Ф. (1782—1856) — командующий войсками на Кавказе с 1828 г.; заменил А. И. Ермолова, которого власти заподозрили в связях с декабристами.

Котляревский П. С. (1782—1851) — генерал, отличавшийся жестокостью в «замирении» Кавказа.

Вельяминов А. А. (1785—1838) — с 1831 г. — командующий войсками на Кавказской линии; начальник Кавказской области.

Коханов С. В. (1785—1857) — генерал русской армии.

Стр. 500. *История ваша...* — Имеется в виду «История русского народа» (1829—1833) Н. А. Полевого.

...не напечатали отзыва моего об «Андрее»... — Речь идет о заметке А. Бестужева «Несколько слов от сочинителя повести «Андрей, князь Переяславский» (по поводу печатания повести без ведома автора) («Московский телеграф», 1832, ч. 47).

Стр. 501. *Братцу Петру Алексеевичу...* — описка Бестужева. Надо: Ксенофонту Алексеевичу.

Иван Петрович — И. П. Жуков, штабс-капитан, сосланный на Кавказ по делу декабристов.

14. Н. А. Полевому (стр. 501). Впервые — в «Литературном современнике», 1934, № 11, с. 140—141.

Полевой Н. А. (1796—1846) — писатель, драматург, историк, в журнале которого «Московский телеграф» Бестужев активно участвовал с 1831 г.

Стр. 502. *...выпросить меня из Сибири у государя.* — См. статью Н. Пиксанова «Грибоедов и Бестужев» («Известия Отделения русского языка и словесности АН», т. XI, 1906, кн. IV).

15. К. А. Полевому (стр. 502). Впервые — в «Русском вестнике», 1861, № 4, с. 429—430.

Полевой К. А. (1801—1867) — писатель, критик, брат Николая Полевого.

Стр. 503. *...статью о Державине...* — Статья «Державин и его творения» Н. А. Полевого (1845) напечатана в «Московском телеграфе», 1832, № 15, 16 и 18.

Веста — богиня домашнего очага в римской мифологии; здесь: хранительница традиций, преданий.

Стр. 504. *Смит Адам* (1723—1790) — английский экономист, основатель классической школы буржуазной политической экономии.

16. Н. А. Полевому (стр. 504). Впервые — в «Русском вестнике», 1861, № 4, с. 439—443.

Стр. 506. *Рюисдаль* (Рёйсдал С. и Рёйсдал Я.) — семья голландских живописцев XVII в.

Подолинский А. И. (1806—1886) — малодаровитый поэт.

Нодье Шарль (1780—1844) — французский писатель-романтик, автор романа «Жан Сбогар» (1818), ставшего вехой в истории французского романтизма.

Стр. 507. *Гёц* — герой драмы Гете «Гёц фон Берлигинген» (1773).

Ришелье Арман-Эммануэль (1766—1822) — герцог, государственный деятель России и Франции.

«Лукреция Борджиа» (1833) — драма В. Гюго.

«Последний день осужденного» — рассказ Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (1829).

«Клятва...» — Имеется в виду «Клятва при гробе господнем» (1832) — роман Н. А. Полевого.

Нечаев С. Д. (1792—1860) — литератор и археолог, декабрист.

17. К. А. Полевому (стр. 508). Впервые — в «Русском вестнике», 1861, № 4, с. 451—453.

«Блаженство безумия» (1833), *«Живописец»* (1833) — повести Н. А. Полевого.

Аркадий — герой повести Н. А. Полевого «Живописец».

Стр. 509. *Автоклав* (фр.) — плотно закрывающийся котел для нагревания под повышенным давлением.

А — в — автор не установлен; возможно, С. Т. Аксаков.

...ответ на выходку Смирдина. — Смирдин А. Ф. — книгопродавец и издатель в духе так называемого торгового направления, сотрудничавший с Булгариным, Гречем, Сенковским. Без ведома А. Марлинского Смирдин напечатал некоторые сочинения последнего в журнале «Библиотека для чтения», издававшемся по инициативе О. И. Сенковского в Петербурге с 1834 г.

18. К. А. Полевому (стр. 510). Впервые — в «Русском архиве», 1874, № 7, с. 6—10.

Медея — в древнегреческой мифологии волшебница, жена аргонавта Язона, свирепо отомстившая ему за неверность.

Стр. 511. *Строганов* А. С. (1733—1811) — президент Академии художеств и сенатор. Отец Бестужевых находился с ним в дружеских отношениях.

Менщиков — то есть Меншиков А. Д. (1673—1729), ближайший сподвижник Петра I.

Стр. 512. *Бестужева* А. Г. (ум. в 1751 г.) — статс-дама при

дворе Елизаветы Петровны (1709—1761), была сослана в Якутск за участие в заговоре против императрицы.

Войнаровский Андрей (ум. в 1740 г.) — единомышленник и доверенное лицо гетмана Мазепы, герой одноименной поэмы К. Ф. Рылеева.

19. Н. А. и М. А. Бестужевым (стр. 513). Впервые — в «Русском вестнике», 1870, № 7, с. 53—55.

Стр. 514. *Саарвайерзен* — герой повести А. Марлинского «Лейтенант Белозор» (1831).

Белозор — герой одноименной повести Марлинского.

Кокорин — герой повести А. Марлинского «Фрегат «Надежда» (1833).

...у вас так... — то есть в Петровском заводе в Сибири.

...госпожа Жюль... кафтана Колибадроса... — герои произведения О. Бальзака «История тринадцати», появившегося частично в русском переводе в «Телескопе», 1833, № 9—12, под названием «Одна из тринадцати».

Стр. 515. *...с приезда я писал их по крайней мере 20...* — Дошло только 8 писем.

20. К. А. Полевому (стр. 515). Впервые — в «Литературном современнике», 1934, № 11, с. 141—142.

Стр. 516. *...принимаясь за журнал...* — С 1831 г. фактическим редактором «Московского телеграфа» был не Н. А., а Кс. А. Полевой.

Красовский А. И. (1780—1857) — цензор, отличавшийся крайне реакционными взглядами.

...символ прокрустовой <sic> постели... — «Прокрустово ложе» — мерка, под которую насильственно подгоняют что-либо, для нее не подходящее. В 1833 г. «Московский телеграф» подвергался беспрестанным цензурным преследованиям и в 1834 г. был закрыт.

Стр. 517. *...«Историю Видоков-досмотрщиков».* — В «Северной пчеле» были помещены отрывки из «Мемуаров» французского сыщика Видока Э.-Ф., переведенных на русский язык в 1829—1830 гг. Литературные противники называли Булгарина Видоком.

Шнитникова Т. М. — жена майора Шпитникова, сослуживца Бестужева.

...«Телеграф» мне скажет за то спасибо... — В 1833 г. А. Бестужев передал братьям Полевым права на издание своих «Повестей и рассказов». Н. И. Греч, в типографии которого печаталось первое издание «Повестей и рассказов» А. Бестужева (5 частей), вел конкурентную борьбу с Полевыми.

...мнение о романтизме... — О каком из отрывков о романтизме идет речь, сказать затруднительно. Может быть, об отрывке «О романтизме или о страницах, изъятых цензурой из статьи Бестужева «Н. Полевой. Клятва при гробе господнем» (см. с. 569—571).

...пошлите в журнал французский, в Петербурге издаваемый.— «Journal de St.-Pétersbourge». Публикация в нем не появилась.

21. Н. А. и М. А. Бестужевым (стр. 518). Впервые — в «Русском вестнике», 1870, № 7, с. 63—66.

Стр. 519. *Тьерри* Огюстен (1795—1856) — французский историк.

Щербатов М. М. (1733—1790) — историк.

Сисмонди (Sesmondi) Жан-Шарль-Леонард (1773—1842) — французский экономист и историк.

Стр. 520. *Ирвинг* Вашингтон (1783—1859) — американский писатель, мастер фантастического жанра.

Поп Александр (1688—1744) — английский поэт и критик, автор дидактических поэм в духе классицизма.

Батлер (Ботлер) Сэмюэл (1612—1680) — английский поэт-сатирик.

Шапсуги — одна из народностей Кавказа.

Стр. 521. *Корнилович* А. О. (1800—1834) — историк, журналист, издатель альманаха «Русская старина», декабрист.

Иван Дмитриевич — И. Д. Якушкин.

Александр Иванович — А. И. Якубович.

Поль — Павел Александрович Бестужев.

Кривцов С. И. (1802—1864) — декабрист.

22. П. А. Бестужеву (стр. 521). Впервые — в «Отечественных записках», 1860, № 7, с. 66—67.

Тет-де-пон (фр.) — предмостное укрепление.

Стр. 522. *Мингрельский* (мегрельский) — от слова: мегрелы, мингрельцы — южнокавказская народность.

Тантал — по древнегреческой мифологии, лидийский царь, осужденный Зевсом на вечные муки.

23. П. А. Бестужеву (оригинал — на франц. яз.) (стр. 523). Впервые — в «Отечественных записках», 1860, № 7, с. 71—72 (по копии А. Н. Креницына).

Стр. 524. *Арбелианов* (Орбелиани) Мамук (Мамука) — грузинский общественный деятель, друг Бараташвили.

Розен Е. Ф. (1800—1860), барон — поэт, драматург, критик.

24. Духовное завещание А. А. Бестужева (стр. 524). Впервые — в «Отечественных записках», 1860, № 7, с. 79—80.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТАТЬИ

ПИСЬМА

Александр Александрович
Бестужев-Марлинский
СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ
Том второй

Редактор В. Волина. Художественный редактор С. Масляненко. Технический редактор Л. Синицына. Корректор Г. Ганапольская.

ИБ № 1578

Сдано в набор 27.06.79. Подписано в печать 01.12.80. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 31,08 усл. печ. л. 32,605 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 50 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Набрано и сматрицировано в Ярославском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97. Отпечатано в полиграфическом комбинате им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220005, Минск, Красная, 23. Заказ № 1362.